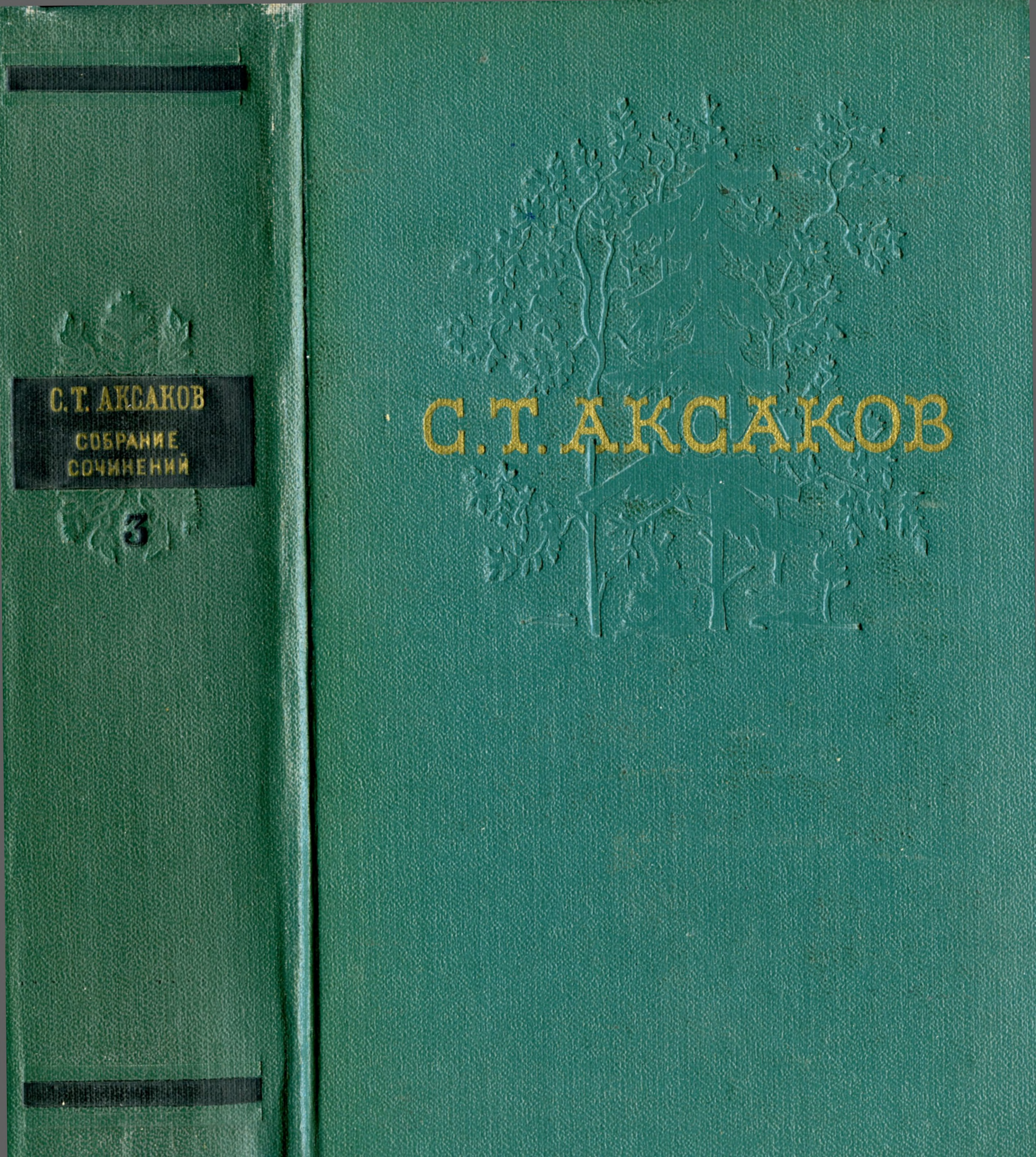


С. Т. АКСАКОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
3
С. Т. АКСАКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

С. Т. АКСАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

С. Т. АКСАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Подготовка текста и примечания
С. МАШИНСКОГО



ВОСПОМИНАНИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Благодаря трудам наших библиографов и биографов, трудам, принимаемым читающею публикою с видимым участием, мы имеем теперь довольно важных сведений о писателях второстепенных, которые начинали приходить у нас в забвение, потому что они имели достоинства, относительные к своему времени. Кроме того, что все такие биографические сведения и разыскания любопытны, полезны и даже необходимы, как материал для истории нашей литературы, — в этом внимании, в этих знаках уважения к памяти второстепенных писателей выражается чувство благодарности, чувство справедливости к людям, более или менее даровитым, но не отмеченным таким ярким талантом, который, оставя блестящий след за собою, долго не приходит в забвение между потомками. Писатели второстепенные приготовляют поприще для писателей первоклассных, для великих писателей, которые не могли бы явиться, если б предшествующие им литературные деятели не приготовили им материала для выражения творческих созданий, — среды, в которой возможно уже проявленье великого таланта. Всякий кладет свой камень при построении здания народной литературы; велики или малы эти камни, скрываются ли внутри стен, погребены ли в подземных сводах, красуются ли на гордом куполе,—все равно, труды всех почтенны и достойны благодарных воспоминаний.

Желая по возможности содействовать успеху важного, по моему убеждению, дела, я хочу присоединить к нему и мою скудную долю. Я нисколько не беру на себя обязанности библиографа или биографа, я не собираю сведений изустных и печатных, разбросанных по журналам и брошюркам: я стану рассказывать только то, что видел и слышал сам при моих встречах с разными литераторами. Моя цель — доставить материал для биографа. Я расскажу также о тех впечатлениях, которые производили на общество тогдашние литературные явления именно в том круге, в котором я жил, или, правильнее сказать, куда я заглядывал до 1826 года. С этого времени рассказы мои будут подробнее, последовательнее и точнее.

1812 год

В начале 1812 года, зимою, Яков Емельянович Шушерин познакомил меня в Москве с некоторыми литераторами и прежде всех с Сергеем Николаевичем Глинкою, издававшим тогда «Русский вестник». Шушерин звал издателя «русским мужичком». Его оригинальная личность, его патриотическое участие в московских событиях 1812 года гораздо замечательнее его многотомных сочинений; говорить о нем с полной свободою еще не время. Скажу только, что я нашел тогда в Сергее Николаевиче Глинке, несмотря на его странности в приемах, привычках и суждениях, самого доброго, прямого, открытого и правдивого человека. Русское направление было для него главным делом в жизни; проповедовать его он считал своим гражданским долгом, ибо такое проповедование он находил полезным для государства, которого был гражданином. Это слово часто употреблялось Глинкой в разговорах. Он никогда не принадлежал к числу исключительных, так называемых и тогда, славянофилов. Воспитанник кадетского корпуса, товарищ и приятель Озерова, он был такой же горячий любитель французского языка и французской литературы, как Озеров, знал хорошо этот язык, помнил множество стихов и прозы лучших французских писателей и любил читать их наизусть. Он был живого, даже то-

ропливого нрава: весь состоял из порывов. Он думал, говорил и писал, так сказать, *на ходу*, сентенциями, а потому все, им написанное, несмотря на природную даровитость автора, не выдерживало и тогда моего юношеского разбора и суда. Во всех его сочинениях, без исключения; везде вырывались горячие слова, живые выражения, даже строки, полные внутреннего чувства; они производили сначала впечатление, но повторенные сочинителем несколько раз, иногда некстати, сделавшись стереотипными, казенными фразами, — они начинали уже опошливаться и надоедать людям разборчивым, а потому и взыскательным. Я не знаю, кто-то сказал, вероятно после нашествия французов, и сказал довольно верно, что «Глинка был бы недурен, если б у него не было соуса из *веры, верности и донцов* [1], который и хорош для винегрета, а он обливает им все блюда». Впрочем, в отдаленных углах России, особенно после великого двенадцатого года, особенно на Дону, Глинка пользовался большим авторитетом. Успех его «Русского вестника» и еще более блистательный, хотя непродолжительный, успех его пансиона для донцов служат тому неоспоримым доказательством. Доброта души С. Н. Глинки была известна его знакомым: он не мог видеть бедного человека, не поделившись всем, что имел, забывая свое собственное положение и не думая о будущем, отчего, несмотря на значительный иногда прилив денег, всегда нуждался в них... Но, повторяю, рано еще говорить обо всем набело. — Сергей Николаевич Глинка очень меня полюбил, особенно за мое русское направление. Он захотел познакомить меня с Николаем Михайловичем Шатровым, который был тогда в славе — и в светском обществе и в кругу московских литераторов — за стихотворение свое «Мысли россиянина при гробе Екатерины Великой» [2], в котором точно очень много было

---

[1] В 1813 году С. Н. Глинка напечатал книжку или брошюрку «Вера, верность и слава донцов»; она-то, вероятно, подала повод к рассказанной мною шутке.

[2] Впоследствии оно называлось иначе, а именно: «Праху Екатерины Второй»; под сим заглавием напечатано оно в третьей части «Стихотворений Н. Шатрова», изданных в пользу его от Российской академии.

сильных стихов; они казались смелыми и удобоприлагались к современной эпохе. Еще более славился Шатров подражаниями или переложениями псалмов Давида, которые положительно имеют большое достоинство. Шатров был сын пленного персиянина *Шатра*, вывезенного мальчиком в Россию около 1727 года. Шатр воспитался в доме Михаила Афанасьевича Матюшкина, командовавшего русскими войсками в персидском походе; у него же в доме вырос и воспитался Н. М. Шатров, которого потом определили в службу в Москве, где он успел познакомиться и сблизиться со многими знатными людьми и особенно с другом Новикова и покровителем знаний и талантов, богатым барином П. А. Татищевым, у которого в доме и жил. Умом, дельностью по службе и талантом, а всего более покровительством Татищева Шатров скоро проложил себе дорогу. Дослужившись до чина, который давал ему право на потомственное дворянство, он просил себе грамоты и герба. Император Павел I приказал ему составить герб, поместя в нем золотую лиру в голубом поле [1]. Шатров не имел научного образования, но русскую грамоту знал твердо, и язык у него везде правилен и благозвучен. Он был немаловажного о себе мнения и в то же время человек веселый и любезный по-своему; в молодости он, вероятно, был очень хорош собою; к обществу высшего, или, вернее сказать, лучшего, круга новых литераторов он не принадлежал, по крайней мере я никогда не видал его ни у Кокошкина, ни у других. Шатров обласкал меня и между прочим спросил, знаком ли я с знаменитым русским писателем Николаем Петровичем Николевым? Должно признаться, что я не имел никакого понятия о знаменитости Николева; слыхал только от Шушерина об его трагедии «Сорена и Замир», напечатанной в «Российском феатре» и не попавшей в «Творения Николева», которую обыкновенно называли просто «Сорена». Шушерин говаривал мне, что в ней есть славные места, но что после Крюковского и Озерова ее читать нельзя,

---

[1] Все это я слышал тогда же от Шушерина несколько в превратном виде; но сказанное мною здесь сообщено мне из достоверных источников С. А. М. и П. И. Б.

потому что язык слишком устарел. Хотя я очень помнил два стиха из одной рукописной сатиры кн. Горчакова [1]:

Гуситы, Попугай предпочтены Сорене,
И Коцебятина одна у нас на сцене,

из которых я должен был заключить, что «Сорена» имеет высокое достоинство, но на ту пору я все это забыл и откровенно отвечал, что не имею понятия о Николеве. Шатров удивился, посмотрел на меня с улыбкою сожаления и сказал: «Это оттого, что вы всегда жили в Петербурге, а там не умеют и не хотят ценить московских талантов. Я познакомлю вас с Николевым и попрошу его прочесть что-нибудь из новой его трагедии «Малек-Адель», заимствованной из «Матильды» [2]; эта трагедия лучше всех его прежних сочинений и написана с таким огнем, как будто ее писал молодой человек. Поедемте завтра же поклониться нашему славному слепцу». Я очень был рад такому предложению. Шатров прочел нам два новых псалма и какое-то патриотическое стихотворение; псалмами я восхищался от искреннего сердца.

---

[1] Рукописные сатиры кн. Горчакова пользовались в восьмисотых годах большою известностью и особенным уважением в славянофильском кругу Шишкова. Кажется, они никогда не были напечатаны. В них сильно и резко выставлялись тогдашние злоупотребления. Описывая роскошные пиры чиновников, наворовавших себе богатство от продовольствия солдат, сочинитель говорит:

Меж тем как воин, к ним пришедший на клюке
И через них одних не в лавровом венке,
Простря под оконью исстреленну десницу,
За счастье чтит достать от их стола крупицу.

Не менее знаменательны и следующие два стиха, которые говорит один из общественных грабителей:

И, шествуя путем воров без остановки,
На шее с лентою, избавлюсь от веревки.

Да простит мне тень благородного сочинителя этих стихов, если память моя сколько-нибудь их исказила!

[2] «Матильда, или Рыцари крестовых походов». Сочинение г-жи Коттен. В брошюре «Памятник друзей Н. П. Николеву» два раза упоминается о ненапечатанной трагедии «Матильда»; вероятно, ее слышал я под названием «Малек-Адель».

Тот же день Шушерин, чтобы приготовить мне хороший прием, съездил к Николеву, разумеется, расхвалил меня и мое чтение и, к сожалению, наговорил лишнего о моем восхищении и благоговении к таланту хозяина. Шушерин, однако, успел меня предупредить о том и дать мне более подробное понятие о «Сорене», даже прочел некоторые места наизусть. Он рассказал мне, что Николев любит похвалы и что мне, как очень молодому (мне было двадцать лет) и неизвестному литератору, только что вступающему на это поприще (я переводил тогда «Филоктета»), необходимо высказать мое удивление к великим творениям Николева. Это меня порасхолодило, но делать было нечего. Я приехал на другой день поутру к Шатрову, и мы вместе отправились к слепому поэту, который желал казаться зрячим и очень не любил, если кто-нибудь давал ему чувствовать, что знает его слепоту. Об этом предупредил меня Шатров. Николев принял нас в своем кабинете; он был одет парадно и неопрятно, чего по слепоте своей не мог видеть, но чего терпеть не мог. Он даже хвалился всегда свежестью своего белья и чистотою в комнатах, тогда как, напротив, все было грязно и в беспорядке: разумеется, никто не выводил его из приятного заблуждения. Николев сидел в креслах у письменного стола; возле него стоял мальчик. Отворяя нам дверь, человек громко сказал: «Николай Михайлович и господин Аксаков». Николев встал, очень свободно пошел нам навстречу, протянул мне руку, приветствовал очень ласково, запросто поздоровался с Шатровым и, пригласив нас сесть, воротился к своим креслам и сел в них так ловко, что если б я не был предупрежден, то не догадался бы, что он слеп, тем более, что глаза его были совершенно ясны. Хозяин был очень любезен; но в этой любезности слышалось снисхождение знаменитого писателя, который с высоты своего величия благодушно и приветливо обращается к простым смертным. Шатров без всяких церемоний называл его в глаза «великим Николевым», и он принимал такие слова, как должную и привычную дань, все равно, как будто называли его Николаем Петровичем. Я кое-как подлаживался к Шатрову, и если б Николев не был слеп, то мог бы заметить по моему сму-

щенному лицу, что я говорил не искренно. Впрочем, едва ли так. Тут самоуверенность была так сильна, что и смущение и молчание было бы принято за выражение того благоговения, с которым обыкновенный человек приближается в первый раз к великому человеку. Разговор вертелся на сочинениях хозяина; Шатров управлял разговором и лгал на меня бессовестно, разумеется насчет моего благоговенья к сочиненьям Николева. Когда речь дошла до новой трагедии хозяина, до «Малек-Аделя», то я сказал, что был бы очень счастлив, если б мог ее прочесть или что-нибудь из нее услышать. Николев отвечал, что «кроме писца, никто не имел его трагедии в своих руках, но что он сам, зная ее наизусть, *играет* некоторые сцены из нее друзьям своим, потому что драматическое сочинение надобно *играть*, а не читать». Шатров начал просить, чтобы *бессмертный* Николев сыграл какую-нибудь сцену. Я присоединил мою убедительную просьбу, и Николев согласился. Он вышел на средину комнаты и продекламировал целую, очень большую, сцену, играя все лица разными голосами, предварительно называя их по именам, переходя с места на место и принимая приличное их характерам положение. Несмотря на такие комические приемы, несмотря на мимику и жесты, доводимые до крайнего излишества, мне показалось тогда так много силы в стихах и огня в выраженных чувствах, что я на первый раз был увлечен и превозносил искренними похвалами игру и сочинение хозяина. Впоследствии я слышал еще несколько сцен, которые уже не производили на меня такого впечатления; но из всего слышанного я вывел заключение, что в трагедии много сильных мест, а в чувствах Малек-Аделя много пылкости. У меня врезались в памяти четыре стиха, которые говорит, кажется, Матильда, может быть и кто-нибудь другой, описывая скачущего на коне Малек-Аделя:

Блистал[1] конь бел под ним, как снег Атлантских гор,
Стрела летяща — бег, свеща горяща — взор,
Дыханье — дым и огнь, грудь и копыта — камень,
На нем — Малек-Адель, или сражений пламень.

---

[1] Не отвечаю за слово «блистал». Иногда мне кажется, что вместо него стояло «сверкал». «Малек-Адель» значит пламень битвы, так говорил мне Шатров.

Что сделалось с этой трагедией, равно как и со всеми рукописными сочинениями Николева, умершего в 1815 году, — ничего не знаю[1]. Из приведенных мною четырех сильных стихов можно заключить, что вся трагедия написана в таком же лирическом, восторженном духе.

Продекламировав сцену, Николев, совершенно как зрячий, воротился к своим креслам и сел на них. Шатров не преминул назвать его неподражаемым актером и писателем. Чтение или игра Николева была самая напыщенная, неестественная, певучая декламация, не совсем, однако, похожая на обыкновенное тогда чтение нараспев трагических стихов; что же касается до огня, до пылу, то его было гораздо более во внешнем выражении, чем во внутреннем чувстве. Тогда немногие понимали это различие; но сила, стремительность, поражающие и увлекающие сначала всякого слушателя, были в его чтении. Николев был очень доволен собою и говорил, что давно так хорошо не играл; он сделался веселее, разговорчивее и ласковее; заставил меня прочесть один монолог из переводимого мною тогда «Филоктета», похвалил и перевод и чтение и, услышав от Шушерина, что я перевел стихами комедию Мольера «Школа мужей», потребовал, чтоб я непременно прочел ему свой перевод. Потом пригласил меня приезжать как можно чаще к нему, обещая прочесть мне много кой-чего «важного и забавного»; потом, взяв слово, что завтра мы приедем к нему обедать, отпустил нас с Шатровым, осыпав меня множеством любезностей на русском и даже на французском языке.

Шатров не был доволен впечатлением, произведенным на меня Николевым: похвалы мои казались ему холодны, а замечания, откровенно высказанные мною Шатрову, — непозволительными. Ему было дико, что двадцатилетний юноша, ничего еще не сделавший в литературе, смеет судить и критиковать писателя, которого он (Шатров) и весь кружок его считает великим писа-

---

[1] По сведениям, полученным мною от почтенного С. А. М., находившегося в близких сношениях с Н. П. Николевым, все его бумаги перешли в руки Н. М Шатрова и, вероятно, были доставлены им ближайшему наследнику.

телем. Он высказал мне довольно прямо свои мысли и назвал мои суждения «самонадеянной дерзостью молодого человека»; но впоследствии я убедился, что Шатров немножко прикидывался передо мною, как перед новичком, из каких причин — не знаю. Да и возможно ли, чтобы человек, писавший тогда прекрасным языком, даже и теперь сохраняющим свое достоинство, не чувствовал устарелости, неестественности, пухлости, а иногда и уродливости языка Николева?.. Шушерин понимал это совершенно. Шатров, однако, сказал мне, в виде наставления, что и великие люди имеют свои странности, иногда доходящие до смешного. «Так и Николев, — продолжал он, — имеет странное желание казаться зрячим и любит говорить о чистоте своего платья и опрятности своих комнат, тогда как мошенники-слуги одевают его в черное белье, нечищеное платье и содержат его комнаты засоренными и грязными; вот завтра будем мы обедать у него, и я вас предупреждаю, что кушанье будет приготовлено жирно и даже вкусно, но все будет подано неопрятно, особенно столовое белье. Николев любит, чтоб его гости кушали много и хвалили кушанья: от первого можно себя уволить, а второе необходимо». Шатров простился со мною с чувством своего достоинства и превосходства. Я рассказал все Шушерину. Он смеялся и уверял, что Николай Михайлович «задает мне тоны», что он сам забавляется над смешными причудами Николева и даже над его слепотою и что со временем все это я сам увижу. Шушерин не предупредил меня, что Николев обедает в два часа с половиной; я приехал нарочно пораньше, то есть в три часа, и все-таки заставил полчаса себя дожидаться. Это было мне очень досадно и очень меня смутило. Я думал, что мы только двое с Шатровым будем обедать у Николева, но я нашел там и Шушерина, и С. Н. Глинку, и Н. И. Ильина, и еще несколько человек, вовсе мне незнакомых. Предсказания Шатрова совершенно оправдались: обед был жирен, вкусен и неопрятен; все комнаты были в беспорядке. Хозяин посадил меня возле себя, ласкал и потчевал радушно. Вина было довольно, и как Николев наливал мне из своей бутылки, то вино оказалось отличное, а у других гостей

посредственное; даже подаваемые вина особо были разного достоинства: хозяину подавали одно, а гостям другое. Впоследствии я слышал от Шатрова, что Николев до того верил своей прислуге, особенно своему любимцу камердинеру и дворецкому, что не было возможности самым близким людям убедить его в неряшестве его слуг и плутнях его любимца. Николев, кроме поэзии, имел претензию быть и гастрономом, и политиком, и светским человеком, чем, без сомнения, он и был в свое время. За обедом и помину не было о литературе; говорили о Наполеоне, об его тайных замыслах, о городских новостях и преимущественно о скандалезных историях. Хозяин представлял любезного весельчака: смеялся и заставлял смеяться, рассказывая множество нескромных анекдотов «веселого прошедшего времени», которые неприятно было слышать из уст слепого старика. Вообще можно было заметить, что Николев некогда живал в знатном кругу и был известен при дворе. Н. И. Ильин сидел подле меня, и я возобновил с ним петербургское знакомство. В обращении Ильина была всегда какая-то важная чопорность, которая именно тогда особенно кинулась мне в глаза, равно как и его высокое о себе мнение; со мною он был благосклонно ласков и звал меня к себе. На другом конце стола председательствовал Шатров; по поручению хозяина он всех угощал и, зная наизусть его нрав, старался поддержать шумную веселость гостей; Шушерин усердно помогал ему. Когда встали из-за стола, Николев взял меня под руку и вместе со мною отправился в гостиную; мы шли впереди всех. Хозяин спросил меня: «Не правда ли, что у меня довольно весело?» Я, разумеется, отвечал утвердительно и горячо. «Нынче пропадает уменье жить весело», — сказал с сожалением весьма довольный собою хозяин. Я понял, что Николеву нужен вожак, и довольно искусно исполнил это дело, то есть вел его так, как будто мы шли вместе. Он сел на диван, а гости расселись около него; подали кофе, ром и ликер. Я заметил, что все были довольно веселы. Разговор не замедлил склониться к литературе, или, лучше сказать, Шатров не замедлил круто своротить его на эту дорогу, обратившись с просьбою, от имени всех, чтобы великий Николев, бесконечно раз-

нообразный в своих творениях, прочел что-нибудь из своих эротических и сатирических сочинений. Хозяин не замедлил согласиться, начал читать и читал очень много, основываясь на том, что я, как новичок в Москве и в литературе, ничего еще не слыхивал из его заповедных мелочей и шалостей.

Ничего из слышанного мною не сохранилось в моей памяти: помню только, что Николев прочел всем известную тогда пародию на Тредьяковского, которую я знал наизусть еще в Петербурге.

Аз Тредьяковский, строгий *пиита*,
Красного слога борзый *писец*,
Сиречь чья стопно мысль грановита —
Что же бы в рифму? Русский певец.
Брякну стихами песни похвальны
Ратничкам русским, аки русак:
Прочь скоротечно, мысли печальны!
Вас не изволю слушать никак; и пр.[1]

Тут только я узнал, что она принадлежала Николеву. Часа через два Николев лег спать, и гости разъехались. Через несколько дней я был у Николева один поутру, согласно его приглашению и моему обещанию. Мальчик от него не отходил, часто исполняя разные его приказания. Вероятно, он давно служил при своем господине: он был так наметан, что по одному знаку без слов отгадывал, что ему нужно, и всегда стоял против своего барина. Разговор недолго держался на посторонних предметах и скоро перешел к сочинениям хозяина. Читая какую-то пиесу наизусть, он запнулся, сделал знак рукой мальчику, и тот сейчас бросился к шкафу, достал из него и принес, кажется, пять больших книг, в лист, в переплете, но рукописных: это были сочинения Николева[2].

---

[1] Эта пародия была напечатана в 4-м томе «Творений» Николева (1797), под названьем: «Ода 1-я. Российским солдатам на взятие крепости Очакова сего 1796 года, декабря 6-го, сочиненная от лица некоего древнего Российского пииты»; она начинается так: «Аз чудопевец» и пр.

Год поставлен неверно. Очаков взят в 1788 году. *(Поздн. прим. сочинителя.)*

[2] Сочинения Николева были давно напечатаны (1795—1797); отчего подали нам рукописные — не знаю. Вероятно, это были сочинения, исправленные и дополненные самим автором.

Он попросил меня, чтобы я в таком-то томе отыскал такую-то пиесу и начал бы ее читать вслух. Едва я дошел до того места, где поэт остановился, как он вспомнил забытый стих и продолжал уже декламировать сам. Подобное обстоятельство, случившееся еще несколько раз, конечно изобличало слепоту Николева; но он и тут продолжал прежнюю комедию: заглядывал ко мне в книгу, как будто справляясь, не ошибся ли я, потом брал ее в руки и, как будто по книге, продолжал чтение начатой мною пиесы. Были ошибки, пожалуй, смешные, но скорее жалкие. В стихотворениях Николева было множество примечаний, разумеется писанных прозою; их все читал уже я, и автор слушал с наслаждением. Он придавал великую важность своим примечаниям и весьма наивно говорил, что тут скрыта бездна знаний и учености и что одни примечания могли бы составить великую славу их сочинителю. О новейших писателях по большей части он говорил с насмешкою или презрением. Мне очень хотелось выслушать всего «Малек-Аделя», но автор не стал читать, откладывая это до другого времени. Впоследствии, бывая довольно часто у Николева, я слышал несколько сцен из «Малек-Аделя», но всегда при других посетителях, наедине же он никогда не читал мне своей трагедии. Вероятно, Николеву одного меня или вообще одного слушателя было мало, потому что в присутствии Шатрова и Глинки он охотно разыгрывал некоторые сцены; всей пиесы я никогда не слыхал, а потому и содержания ее хорошенько не знаю. — Предсказания Шушерина оправдались: Шатров мало-помалу начал при мне подшучивать над Николевым и особенно над его старанием скрывать свою слепоту. Конечно, эта странная слабость, казалось бы несвойственная умному человеку, как-то уменьшала то сожаление, которое чувствуется всеми к человеку, лишенному зрения. Обман являлся так явен, что иногда нельзя было не улыбнуться; но Шатров наводил Николева наглым образом на смешные промахи и ставил его в карикатурные положения, даже до неприличия. Это были совершенно школьничьи шутки, которые меня никогда не забавляли, а также и С. Н. Глинку; но Шушерин очень ими потешался и даже подстрекал Шат-

рова к разным выдумкам. Что за мудреное создание человек! Шатров любил Николева, как близкого родного, ухаживал за ним во время его болезни, развлекал во время скуки, видел в нем великого писателя, прибавляя по секрету, что у него много и дряни, — и тот же Шатров ругался над слепотой Николева и задыхался от сдержанного смеха, когда слепец натыкался на подставленный ему стул и больно ушибался [1].

Я вторично встретился с Н. И. Ильиным, кажется, на литературном вечере у Ф. Ф. Кокошкина. Ильин с благосклонною важностью опять пригласил меня к себе, и я на другой день поехал к нему; жил он ужасно далеко, где-то за Красными воротами, в деревянном ветхом домишке, помнится, своей сестры. Он помещался очень тесно, в небольшом чулане, который с важностью называл своим «рабочим кабинстом». Все обличало большой недостаток состояния и в то же время ярко и карикатурно прикрывалось великолепием обращения. По важности приемов и тона можно было принять Ильина за богатого вельможу, а ветхость шлафрока и всей обстановки обличали в нем бедняка. Мне сейчас пришел в голову испанский дворянин Дон Ранудо де Калибрадос, выведенный в комедии Коцебу, который, три дня не евши, ковырял в зубах. Вспоминая теперь об этих людях, я нахожу, что Ильин и Николев разыгрывали одну и ту же комедию: слепой представлял зрячего, а бедняк — знатного богача. Ильин принял меня, однако, с большою вежливостью и даже ласкою, не теряя, впрочем, своего высокого достоинства. У этого господина было такое же огромное самолюбие, как у Шатрова и Николева, но он умел его скрывать в Петербурге. Я видел его по крайней мере двадцать раз у Шушерина, и не более, как за год; тогда это был совсем другой человек. Ну, подумал я, как разбухает авторское самолюбие в Москве! Впрочем, это было справедливо только в отношении к трем сочинителям, сейчас мною названным, принадлежавшим к особому кругу людей с отсталыми понятиями. Сценические успехи Ильина вскружили

---

[1] Через восемь лет Шатров ослеп и прожил еще с лишком двадцать лет.

ему голову. В самом деле, «Лиза, или Торжество благодарности» и «Рекрутский набор» — пиесы точно с некоторым достоинством, особенно последняя, — производили при своем появлении и в Москве и в Петербурге такое сильное впечатление, даже восторг, какого не бывало до тех пор, как мне сказывали старожилы-театралы. Я видел много раз эти пиесы на сцене, когда они были уже не новость, и могу засвидетельствовать, что публика и плакала навзрыд и хлопала до неистовства: в Петербурге поменьше, в Москве побольше. Говорят, вызов на сцену авторов начался с Ильина[1]. В последнее время он ничего уже замечательного не писал и отдыхал на лаврах. Самолюбие Н. И. Ильина довольно выражается тем, что он впоследствии одну из своих ничтожных театральных пиесок печатно посвятил «Великому своему учителю Фон-Визину». В этот раз я заметил в Ильине еще другую слабость, которая и тогда уже развивалась в нем наравне с авторским самолюбием, а впоследствии выросла до нелепых и гибельных размеров, — слабость к знати. Он беспрестанно упоминал о своем близком знакомстве с знатными людьми: графы, князья, генералы и действительные тайные советники не сходили у него с языка. У князя Юсупова он ужинал, у княгини N. N. завтракал, у графа Шереметева обедал, у графини N. N. был на бале, с его высокопревосходительством ездил на охоту, со всеми короткий друг — только у него было и речей. Мне стало это гадко, и когда он предложил мне свое покровительство, чтоб познакомить меня в некоторых знатных домах, то я с горячностью молодости выразительно ему отвечал, что ищу знакомства людей, отмеченных дарами божьими, а не знатностью. Ильин осудил мою выходку и сказал что-то вроде наставления. Когда я собирался уехать, благосклонный хозяин спросил меня, куда я еду; я отвечал, что домой, то есть в дом, нанимаемый моим семейством в Старой Конюшенной. — «В чем вы приехали?» — «На извозчике», — отвечал я. «Ну, так я вас

---

[1] Кажется, это несправедливо: Н. П. Николев был вызван за свою «Сорену», в 1783 году, три представления сряду. «Памятник друзей Н. П. Николеву», стр. 21.

довезу. Мне самому надобно ехать в Старую Конюшенную к княгине N. N., я у нее обедаю», — сказал Ильин; свистнул и, видя, что никто не идет, принялся звонить в колокольчик; наконец, пришел старый слуга, очень бедно одетый, и хозяин величественно сказал: «Прикажи кучеру Федору заложить мне возок или лучше сани, потому что дорога дурна (тут последовало молчание): в корень — Оленя, на пристяжку — Куницу». Лакей отвечал, что лошади давно готовы. Хозяин попросил позволения одеться и вышел; одевался очень долго; я проклинал себя, что не отказался от его предложения. Наконец, пришел, одетый с большой изысканностью и претензией на щегольство, считавший себя в то же время красавцем, ужасно надоевший мне Н. И. Ильин, и мы вышли на крыльцо. Увы! Олень и Куница оказались такими клячами, что мы едва дотащились до Старой Конюшенной, а барин беспрестанно приказывал сдерживать лошадей по причине дурной дороги, которая в самом деле разрушалась от весеннего солнца. В другой раз я уже не был у Ильина, несмотря на скорый его визит и учтивые приглашения.

Я поспешил рассказать Шушерину мое свидание с Ильиным и думал удивить его; но Шушерин, посмеявшись, сказал мне, что он давно знает эти грешки за Н. И. и что в Москве они пошли в гору. Вообще Шушерин был очень умен и знал насквозь всех своих знакомых; он любил посмеяться над слабостями своего ближнего за глаза и даже в глаза, но так искусно, что ни с кем не ссорился; он умел держать себя прилично в разных слоях общества. Я бывал с ним вместе на литературных вечерах у Ф. Ф. Кокошкина, у которого обыкновенно собирались Каченовский, Мерзляков и Ф. Ф. Иванов, сочинитель драматических пиес «За богом молитва, а за царем служба не пропадают» и «Не бывать фате» — пиес, которые в свое время имели значительный успех. Иванов слыл большим остряком и в самом деле был остроумный и веселый собеседник. Приезжали иногда гр. Салтыков, Вельяшев-Волынцев, Смирнов, зять Мерзлякова, и другие; Шушерин вел себя с большим тактом со всеми. Кокошкин иногда читал на этих вечерах свой перевод Мольерова «Мизантропа»

и просил замечаний. Замечания Каченовского всегда были очень дельны, но умеренны, а Мерзляков, бывавший по вечерам обыкновенно веселее, часто нападал беспощадно на переводчика. Один раз Кокошкин, выведенный из терпенья его беспрестанными придирками, положил рукопись на стол, очень важно сложил руки и сказал: «Да помилуйте, Алексей Федорыч, предоставьте же переводчику пользоваться иногда *стихотворной вольностью*». — «Стихотворная вольность состоит в том, чтоб писать хорошо», — возразил Мерзляков, произнося слова своим пермским выговором на *о*. Все громко засмеялись и одобрили такой ответ. Но едва ли кто больше Мерзлякова пользовался так называемой стихотворной вольностью, в которой он так резко отказывал Кокошкину — особенно в своих переводах Тасса, из которых отрывки он также иногда читывал у Кокошкина... и никто, кроме Каченовского, не делал ему никаких замечаний, да и те были весьма снисходительны. Я тут же сообщал потихоньку Шушерину на ухо мои критические заметки и один раз попросил у него совета: «Не сказать ли мне моих замечаний самому Мерзлякову?» Но Шушерин удержал меня, сказав: «Ну, полно, любезный друг, что тебе за охота? Ведь ты еще юноша, а это знаменитый муж, профессор словесности. Разумей про себя и не делай сам того, что критикуешь у Мерзлякова». Я послушался Шушерина и, конечно, сделал хорошо. Нет, однако, никакого сомнения, что перевод Кокошкина много обязан своим достоинством, правильностью и (по-тогдашнему) чистотою языка строгим замечаниям Мерзлякова.

Шушерин присутствовал также при чтении моего перевода Мольеровой комедии «Школа мужей», которую я должен был, наконец, прочесть Николеву, по настоятельному его требованию. На чтение были приглашены Шатров и Глинка. Я приехал вместе с Шушериным, который обратился с убедительнейшею просьбою ко всем присутствующим, чтобы они меня не щадили и прогнали *сквозь строй критических розог*. «Это будет тебе полезно, — сказал он мне, отведя меня в сторону, — ты же любишь сам критиковать, так попробуй на себе; я ведь нарочно подбил Николева, чтоб он потребовал

этого чтения». Я был озадачен, и смущен, и даже не совсем доволен: но Шушерина это забавляло, и он трунил надо мной в начале чтения. Я читал первый акт неудачно, так что Шушерин выходил из терпенья. «Что с тобой сделалось? — говорил он мне. — Неужели ты струсил? Как тебе не стыдно, ведь это все шутка!» На втором акте я ободрился и дочитал хорошо свой перевод. Замечаний делали много, которыми я потом и воспользовался, но по окончании пиесы очень хвалили и перевод и чтение. Я успокоился и был очень благодарен Шушерину.

Между тем кончил я свой перевод «Филоктета». Прочитав его сначала у Кокошкина, прочел и Николеву в присутствии Глинки и Шатрова. Тогда не скупы были на похвалы, и, право, смешно вспомнить, как они хвалили меня за этот перевод! Даже замечаний делали мало, отговариваясь тем, что нечего замечать.

Остальное время пребывания моего в Москве до 15 июня было исключительно поглощено двумя спектаклями, в которых играл Шушерин, о чем я довольно говорил в моих о нем воспоминаниях. Частые свидания с Кокошкиным у директора театра А. А. Майкова, на репетициях в самом театре, которые, однако, я слушал часто издали или стоя за другими, потому что Шушерин не пускал меня на авансцену, свидания на предварительных частых пробах у Кокошкина в доме, где я довольно наслушался, как хозяин ставил на роль Энея молодого дебютанта Дубровского, вовсе не имевшего таланта и физических сил для сцены, — сблизили меня с Кокошкиным, несмотря на несходство наших лет и свойств.

Во время представления «Дидоны» я увидел Ильина в креслах; он не садился на свое место, а картинно стоял у самого оркестра, прислонясь к бенуару, у всех на виду, беспрестанно кланяясь с знакомою знатью и разговаривая во время антрактов с проходившими мимо него московскими джентльменами из первых рядов кресел. Изредка он как-то величественно аплодировал Шушерину. Я сидел от него в двух шагах и слышал, с каким достоинством и лаконизмом отвечал он одному молодому франту, разумеется, не князю и не графу, который подскочил к нему с словами: «Что это Шушерин все

дрожит: это нынче не в моде?» — «Хорошее всегда в моде», — и закричал браво Шушерину.

По окончании трагедии многочисленная публика при громе общих рукоплесканий вызвала Шушерина, но дальновидный и расчетливый старик вышел, ведя с собою Борисову и Дубровского... Он хорошо знал, как это будет приятно директору и особенно Кокошкину, благосклонностью которого очень дорожил.

Этим ограничиваются мои литературные и театральные воспоминания 1812 года.

1815 год

Глубокой осенью 1815 года приехали мы в Москву. Я был в ней проездом в 1814 году, всего на одни сутки, и у меня осталось в памяти бесконечное, печальное пожарище. Но теперь Москва представляла другое, более отрадное зрелище. Конечно, следы исполинского пожара еще не были изглажены: огромные обгорелые каменные дома, кое-как прикрытые старым железом, окна, заделанные деревянными досками с нарисованными на них рамами и стеклами, с красными и закоптелыми полосами и пятнами по стенам, печальными знаками пламени, за три года вылетавшего из всех отверстий здания, пустыри с обгорелыми фундаментами и печами, заросшие густою травою, искрещенные прямыми тропинками, проложенными и протоптанными расчетливыми пешеходами, самая новизна, свежесть множества деревянных, прекрасной новейшей архитектуры домов, только что отстроенных или строящихся, — все красноречиво говорило о недавнем посещении Европы... Но не грустно было смотреть на возникающую из пепла Москву. Она сгорела не даром: пал великий завоеватель, освобождена явно благословлявшая нас, а втайне уже замышлявшая козни Европа, имя русского народа стояло на высшей степени славы, и не грустно, а весело было смотреть на шумно строящуюся, неприбранную, заваленную строительными припасами Москву.

Мы наняли также новенький дом, только что отделанный, купца Чернова на Молчановке. Я поспешил возобновить свои литературные знакомства. Шушерина и Николева уже не было на свете; Николев умер в этом же году, 24 января[1]. С Ильиным я видался редко, а с Шатровым еще реже; с Кокошкиным же и с Сер. Ник. Глинкою, напротив, видался я очень часто. При первом взгляде мне кинулось в глаза какое-то особенное выражение в лице Сер. Ник. Глинки, которого я прежде не замечал: как бы след прожитого необычайного времени; это выражение сохранилось навсегда. Глинка, при первой встрече со мною, напомнил мне наше последнее свиданье и прощанье в июне 1812 года. Я тогда был так еще молод, что все справедливые опасения Глинки насчет возникающей военной грозы и страшных сил Наполеона казались мне преувеличенными, а угрозы взять Москву и Петербург — намерением запугать нас и заставить заключить невыгодный для нас мир. Так думал не один я; были люди постарше и поопытнее меня, разумевшие, казалось, военные и политические дела, которые говорили, что у Наполеона закружилась голова, что он затеял дело невозможное, что это мечта, гасконада. Конечно, действительность показала недальновидность этих людей; но давно ли мы все считали высадку англичан и французов в Крым, в таких гигантских размерах, совершенно невозможною?.. Итак, должно отдать справедливость провидению Глинки: он и в июне 1812 года не надеялся, чтобы мы могли отразить военную силу — военною же силою. Он надеялся на народную войну, на твердость правительства и не ошибся. Много наслушался я любопытнейших рассказов от С. Н. Глинки, который сам был действующим лицом в этом великом событии; долго, при каждом свидании, я упрашивал его рассказать еще что-нибудь[2], но все имеет свой конец, и незаметно перешли мы с ним от

---

[1] «Памятник друзей Николаю Петровичу Николеву», Москва, 1819 года, стр. 10.

[2] В 1836 году С. Н. Глинка выдал книгу под названием «Записки о 1812 годе С. Г., *первого ратника Московского ополчения»*, но в этих записках помещены далеко не все его рассказы.

событий громадных к мелким делам, житейским и литературным.

В 1812 году, когда император Александр приезжал в Москву, Сергей Николаевич Глинка получил орден св. Владимира 4-й степени «за любовь к отечеству, доказанную сочинениями и деяниями», как сказано было в высочайшем рескрипте. Я сам читал этот рескрипт: он особенно замечателен потому, что был написан на листочке самой простой почтовой бумаги и написан рукою А. С. Шишкова. Это обстоятельство вполне выражает время: видно, тогда было не до того, чтобы соблюдать обыкновенные приличия и формы. В настоящее время Глинка имел довольно большой пансион для детей генералов и офицеров донского казачьего войска и продолжал издавать «Русский вестник» с большим успехом.

У Н. И. Ильина, который стал еще важнее от каких-то своих успехов по службе, я нашел, совершенно неожиданно, рукописный экземпляр переведенного мною «Филоктета», списанный рукою Шушерина собственно для себя. Перед французами он дал этот экземпляр прочесть Ильину, который не слыхал моего перевода. В суматохе бегства из Москвы оба забыли об этой рукописи. Шушерин вскоре умер, и она осталась у Ильина, который вспомнил о ней только тогда, когда я сказал, что у меня нет чернового списка перевода «Филоктета», а посланный экземпляр в цензуру, перед нашествием неприятеля, пропал без вести. Я обрадовался моей находке, и хотя Ильин не уступил мне своего списка, но позволил снять копию. Я немедленно напечатал свой перевод *в пользу бедных*... но, увы, бедным пришлось бы не выручить своих денег, если б трагедия была напечатана на их счет; всего разошлось экземпляров семьдесят, а остальные сгнили в кладовых у Ширяева [1] или проданы на вес для изделий из папье-маше.

Кокошкин мне очень обрадовался, и я ему. Деревянный дом его на Арбате сгорел, и он купил себе огромный каменный дом у Арбатских ворот, где Мерзляков читал свои публичные лекции о русской литературе и где

---

[1] Первый тогдашний книгопродавец.

впоследствии было столько прекрасных благородных спектаклей. В Кокошкине незаметно было, что он пережил такую великую историческую годину: об ней и речи не было. Он весело встретил меня литературными и театральными новостями, точно как будто ничего не случилось важного с тех пор, как мы не видались. «Милый, как я вам рад! — восклицал Кокошкин, обнимая меня при первом нашем свидании, — как кстати вы приехали; Алексей Федорович у меня в зале читает публичные лекции, и, конечно, ничего подобного Москва не слыхивала; я решился поставить на сцену моего «Мизантропа» (он всегда называл его *мой*), я теперь весь погружен в репетиции — работы по горло. Ваши советы будут мне полезны (разумеется, это была учтивость). Кажется, я могу вам поручиться за два главные персонажа: за Мочалова [1] в Крутоне и за Львову-Синецкую в Прелестиной. Ах, да вы и не знаете ее! Какой я нашел талант для Москвы — и где же? В Рязани, куда я уезжал от французов. Синецкой девятнадцать лет, собою прелесть, страстно любит театр, умна и готова учиться с утра до вечера. Поедемте же завтра на репетицию, и я вам ее представлю; впрочем, она не служит еще при театре, а играет в первый раз, как дилетантка. Без нее, конечно, я не дал бы «Мизантропа». Что касается до Мочалова, то я сам не ожидал, чтоб он был так хорош в Крутоне. Вы оставили Мочалова в двенадцатом году весьма плохим актером, но у него вдруг открылся талант, и он сделался любимцем публики; талант у него точно есть, и большой, но искусства, искусства мало. Я боялся двух вещей: во-первых, что он не выучит роли (это его большой порок) и станет перевирать стихи, и, во-вторых, что он будет дурен во французском кафтане; но ему так хотелось дать «Мизантропа» себе в бенефис, что он заранее выпросил у меня пиесу и выучил роль претвердо. Я заставляю его репетировать во французском кафтане со шпагой и треугольной шляпой — и вы удивитесь, как он ловко себя держит; с его прекрасной наружностью и талантом он

[1] Степан Федорович Мочалов, отец нашего незабвенного П. С. Мочалова.

произведет большой эффект... но чего мне это стоило и стоит, этого никто, кроме вас, не оценит! Ну, да завтра вы все увидите». Хотя я сам очень любил театр, но не мог не улыбаться, слушая Кокошкина, который все это говорил с таким театральным жаром, как будто он играл роль человека, помешанного на любви к театру. Вообще в словах Кокошкина слышна была напыщенность, декламация, и это отнимало искренность у его речи, касающейся даже предмета, страстно им любимого.

Мне удалось слышать только одну лекцию Мерзлякова, именно ту, в которой он разбирал «Дмитрия Донского», и разбирал очень строго и справедливо. Несмотря на убедительные и ясные доказательства профессора, почти все слушатели нашли такой разбор любимой трагедии пристрастным и недоброжелательным, даже осердились за него. Стихи Озерова, после Сумарокова и Княжнина, так обрадовали публику, что она, восхитившись сначала, продолжала семь лет безотчетно ими восхищаться, с благодарностью вспоминая первое впечатление, — и вдруг, публично, с кафедры, ученый педант — чем был в глазах публики всякий профессор — смеет называть стихи по большей части дрянными, а всю трагедию — нелепостью... Волнение было сильное. Едва ли кто-нибудь из слушателей был так доволен, даже обрадован этой лекцией, как я, потому что лекция очень совпадала с жестоким разбором «Дмитрия Донского», написанным А. С. Шишковым; разбор этот я считал почти во всем справедливым. После чтения был завтрак у Кокошкина, и он, по моей просьбе, познакомил меня с Мерзляковым; я с горячностью высказал ему мое сочувствие и уважение и сообщил о критике Шишкова. В этот же день я видел в первый и последний раз Батюшкова.

На репетицию «Мизантропа» я не попал по каким-то особенным обстоятельствам; но первое представление в бенефис Мочалову, бывшее 15 декабря, я видел и не мог забыть этого спектакля. Он произвел на меня самое приятное и глубокое впечатление: Мочалов и Синецкая доставили мне истинное наслаждение, особенно Мочалов, потому что Синецкая была еще слишком неопытна, а

роль требовала искусной и опытной актрисы. Впрочем, ее молодость, прекрасная наружность, благородство во всех движениях, необыкновенная чистота произношения обещали в ней со временем замечательную артистку (что и оправдалось), и публика приняла ее с громким и общим одобрением. Мочалов же был так хорош во всей пиесе, что я лучше его не видел актера в роли Мизантропа. Тогда же, по окончании пиесы, я поспешил с ним познакомиться; я нашел в нем очень доброго человека, любящего свое дело, но понимающего его только по инстинкту. В душе у него было много чувства и огня.

Через несколько дней я уехал в Петербург.

1816 год

В этом году, во время трехмесячного моего пребывания в Петербурге, когда я имел счастие так близко узнать Державина, познакомился я самым оригинальным образом с М. Н. Загоскиным, о котором до тех пор не имел никакого понятия. Живя вместе с полковником П. П. Мартыновым в Гарновском доме, я находился постоянно в кругу измайловских офицеров; с некоторыми из них я был знаком очень дружески, откровенно рассказывал им все, о чем говорил с Гаврилом Романовичем Державиным, и, кстати, о всех моих литературных убеждениях. Тогда еще пользовалась успехом на театре комедия кн. Шаховского «Липецкие воды». Я приехал из Москвы, сильно восстановленный против этой комедии; ее успех на сцене, которого она, конечно, вполне не стоила, еще более раздражил меня. В откровенных разговорах с Державиным я жестоко критиковал «Липецкие воды». Старик соглашался иногда с моими замечаниями и сказал мне, чтоб я написал обстоятельный разбор комедии кн. Шаховского. Я написал и прочел Гавриле Романовичу в присутствии его домашних и некоторых обыкновенных его посетителей; хозяин во многом был одного мнения со мной; но двое из гостей горячо заступились за кн. Шаховского и в опровержение моих критических замечаний ссылались на комедию

Загоскина «Комедия против комедии, или Урок волокитам», которой я еще не знал. Разумеется, я прочел мою критику и в Гарновском доме, не пропустив случая побранить Загоскина, которого в глаза не видывал и комедии которого не читал. Хозяин мой, Мартынов, очень забавлялся моими выходками против Загоскина, близкого ему родственника, и, чтоб еще более потешиться моей горячностью, отыскал завалившуюся где-то у него «Комедию против комедии», подаренную ему от сочинителя с родственной надписью, и дал мне прочесть. Все общество было против меня, и я, по моей вспыльчивости, очень рассердился за офицерскую антикритику и даже насмешки. Я стал читать вслух пиесу Загоскина с предубеждением, даже с положительным намерением найти ее дурною. Бессовестно придирался к каждому слову и, взбешенный моими антагонистами, наконец бросил под стол комедию и сказал, что сочинитель глуп. Мартынов хохотал до упаду. — Чрез несколько дней, будучи нездоров, я сидел один дома; вдруг с шумом растворилась дверь, хозяин мой, Мартынов, почти вбежал в комнату, ведя за руку плотного молодого человека, белого, румяного, с прекрасными вьющимися каштановыми волосами и золотыми очками на носу. С неудержимой веселостью и смехом Мартынов подвел ко мне неизвестного мне господина и сказал: «Это моя роденька, Михайла Николаич Загоскин»—и, обратясь к Загоскину, продолжал: «А это мой оренбургский земляк, С. Т. Аксаков, который на днях, читая нам твою комедию, плюнул на нее, бросил под стол и сказал, что автор глуп». Мартынов, очень довольный такой остроумной шуткой, принялся хохотать; но мы с сочинителем комедии стояли, как окаменелые, друг против друга, каждый с протянутою рукою — и, конечно, были смешны. Загоскин, очень конфузливый и вспыльчивый от природы, покраснел, как вареный рак, я также, но я опомнился первый и, кое-как собравшись с духом, сказал: «Ваша родня, а мой приятель Павел Петрович заранее придумал эту неприличную шутку, чтобы поссорить нас при первом свидании и чтобы позабавиться нашей литературной схваткой». Загоскин что-то пробормотал, и мы кое-как пожали друг другу руки; но

неугомонный Мартынов начал уверять, что все это правда. Я рассердился и весьма серьезно сказал ему несколько жестких слов, которые уняли и образумили его; он в свою очередь стал извиняться и уверять, что он только хотел пошутить и что он очень желает, чтобы мы были приятелями. Через несколько минут, после нескольких пустых фраз, Загоскин, ехавший куда-то на вечер, ушел. Я крепко поссорился с Мартыновым, даже хотел переехать от него на другую квартиру, и он едва упросил меня остаться. Надобно сказать, что Мартынов, встретившись нечаянно с Загоскиным на улице близ Гарновского дома, вспомнив недавно происходившее чтение его комедии, захотел потешиться и затащил к себе своего родственника почти насильно, уверив, что имеет сообщить ему что-то нужное. Можно судить, каков был сюрприз бедного Загоскина, который не слыхивал даже моего имени! Я не имел духу сделать визит ему и уехал из Петербурга, более с ним не видавшись.

В эти же три месяца 1816 года, столь счастливые для меня на знакомства с замечательными людьми, увиделся я в первый раз с кн. А. А. Шаховским, и увиделся весьма неприятно. Я упомянул об этом мимоходом, говоря о знакомстве с Державиным, а теперь должен коснуться подробнее и отчасти повторить уже сказанное мною. Дело состояло в том, что князь Шаховской, несмотря на свое детское добродушие, любил выказывать себя едким остряком и вообще был способен к крайнему предубеждению. Он не благоволил к Ф. Ф. Кокошкину, не благоволил к его переводу Мольерова «Мизантропа»; поморщился, что М. И. Вальберг выпросила себе эту пиесу в бенефис, и сделал прекислую гримасу, когда я приехал к нему с рукописью и письмом, в котором Кокошкин предоставлял мне свое право — поставить «Мизантропа» на петербургской сцене. Мне рассказывал покойный Я. Г. Брянский, находившийся свидетелем первого моего свидания с кн. Шаховским и бывший со мною впоследствии в приязненных отношениях, что Шаховской, принявший меня весьма сухо и отделавшийся от меня в несколько минут, после моего ухода разразился целым потоком насмешек и брани на мою невинную

личность. Шаховского трудно передразнить[1], еще труднее передать на бумаге его смешное бормотанье, какое-то особенное пришепетыванье, его горячность и скороговорку, которая иногда доходила до такого глотанья слов, что нельзя было понять, что он говорит, а потому я буду приводить его разговоры обыкновенным образом, кроме некоторых слов, что, конечно, моим читателям, не знавшим лично кн. Шаховского, не передаст его речи. — Только что я вышел за дверь (сказывал Брянский), кн. Шаховской вскочил с кресел, хватил себя ладонью по лысине (это был его обыкновенный прием, выражение вспышки), забормотал, затрещал и запищал своим в высшей степени фальшивым голосом: «Это что еще? дуляк Кокоскин переложил глупейшим образом на лусские нравы несчастного Мольера и прислал к нам из Москвы какого-то дуляка ставить свой перевод, как будто бы я без него не умел этого сделать! Этот Кокоскин, этот накрахмаленный галстук, который не умеет разинуть рта по-человечески, хочет учить меня и всех петербургских артистов, через своего длуга, как надобно разыграть Мольерову пиесу! Да из этого надобно сделать водевиль в следующий бенефис Марьи Ивановны. Хорошо! Мы позовем его поверенного на лепетицию. Разумеется, его никто не будет слушать; зато он нас посмешит»[2]. Вместо того, чтоб пригласить меня, как это

---

[1] Один только Сосницкий, в роли Фальстафа, по совету самого же кн. Шаховского, умел мастерски передразнить его на сцене; но и тут произношение было передано не совсем верно; зато весь комизм его фигуры, походка, движенье рук, все приемы и манеры и даже вся мимика лица были переданы в совершенстве. Мне рассказывали, что сам же Шаховской, восхищавшийся на репетициях искусством Сосницкого, на настоящем представлении рассердился на своего любимца и ученика и нашел его игру карикатурною. Копия была так похожа на оригинал, что в креслах поднялся хохот, послышались восклицания: «Это Шаховской, это князь Шаховской!!» и последовало такое продолжительное хлопанье, что актеры принуждены были на время остановиться в представлении пиесы. Повторяю, что я говорю слышанное мною: первого представления пиесы я не видал.

[2] Передать речь кн. Шаховского потому невозможно, что он иногда не выговаривал буквы *р*, иногда *с*, иногда *ш*, а в иных случаях эти же самые буквы произносил хорошо, а коверкал совсем другие.

водится, прочесть пиесу артистам, в ней играющим, кн. Шаховской сам читал им перевод «Мизантропа», и тот же Брянский сказывал мне, что они не могли удержаться от смеху, слушая Шаховского, который, браня Кокошкина почти после каждого стиха, до того горячился и до того был смешон, что никто не понимал ни одного слова из пиесы и что, наконец, Шаховской сам расхохотался... Так и кончилась считка на первом акте. Меня пригласили на первую репетицию. Актеры читали скоро и довольно твердо, но заглядывали иногда в роли. Мне показалось, что многое понято не так и не так выражается, как следует, а потому по выслушании пиесы я весьма скромно сказал о том кн. Шаховскому, прибавя, что Ф. Ф. Кокошкин, мастерское чтение и сценический талант которого, а также знание театрального искусства признаны всеми, не один раз читал мне свой перевод именно с тем намерением, чтоб я мог прочесть его петербургским артистам и чтоб они из моего чтения поняли, чего желает в их игре переводчик «Мизантропа». Я заключил свою речь просьбою позволить мне прочесть пиесу гг. участвующим актерам и актрисам. Кн. Шаховской, саркастически прищуря свои маленькие глаза и нюхая табак своим огромным носом, или, лучше сказать, нюхая кончики своих пальцев, вымаранных когда-то в табаке, отвечал мне, что труд мой был бы напрасен, что петербургские артисты не станут играть по-московски, да и времени свободного не имеют выслушать мою декламацию; что теперь они еще не знают ролей; что меня пригласят на настоящую репетицию и что мне предоставляется право остановить артиста и сделать ему замечание, если я не буду доволен его игрой. Все это было говорено таким тоном и с таким выражением, что мне не трудно было понять, какую смешную и глупую роль играю я сам в этой комедии. Но горячая любовь к театру и желание оправдать доверенность Кокошкина заставили меня еще раз приехать на репетицию. Это была предпоследняя репетиция, разумеется без ролей. Кн. Шаховской сказал актерам, чтоб играли во весь голос, как на настоящем представлении пиесы. Я заранее решился никого не останавливать, да это и неудобно на главной репетиции и

совершенно нарушило бы ход и лад комедии; но после третьего акта я решительно сказал кн. Шаховскому, что пиеса совсем идет не так, как желает переводчик, что главные лица: Крутон (Альсест) и Прелестина (Солимена) чрезвычайно холодны и не одушевляют своих ролей; что Брянский груб, а не горяч и что в нем не слышно пламенной и чувствительной души Альсеста; что Валберхова тоже холодна; что Сосницкий отвратительно карикатурен... Кн. Шаховской как будто почувствовал правду моих слов, как будто вдруг проснулись в нем добросовестность и любовь к искусству, и он вдруг заговорил совершенно другим, уже добродушным тоном. «Послушайте, — сказал он, — говоля по истине и по плавде, пиеса идет нехолошо, да ей и нельзя идти холошо. Друг мой Федор Федорович (*друг* в подобных случаях значил у Шаховского бранное слово) сам об этом посталался. Я его очень люблю и уважаю, но ведь он немножко нелеп; ведь он сам испакостил «Мизантропа». Переделать совсем, как говорится, на лусские нравы храбрости у него не хватило, а все-таки Альсеста перекроил в Крутона, и Палату какую-то приплел и лусскую песню, и вышел — господи, прости ему его соглешение — совершенный сумбур. Теперь эту пиесу нельзя иглать по французским традициям, а ведь я знаю, что другу моему Федору Федоровичу хочется, чтоб ее иглали по-французски; а по-лусски ее тоже нельзя иглать: разве это лусские люди? Это не люди, это бог знает кто такие; с луны попадали... Ну, разве так кто-нибудь говорит:

И, словом, тот, кто друг всего земного круга,
Того я не могу считать себе за друга!..

Ведь Мольер-то просто говорит: «Друг всего света не может быть моим другом». Я тоже в свою очередь почувствовал правду слов кн. Шаховского и согласился с ним, что переводчик сделал ошибку. Но я старался доказать Шаховскому, что актеры, играющие главные лица в комедии, весь интерес которой заключается в ярком, выпуклом, живом изображении людей, потому что эта пиеса характеров, а не интриги, — такой безжизненной игрой наскучат зрителям. Шаховской со мной

не согласился и уверял, что пиеса пойдет отлично, забыв уже, что сейчас говорил о невозможности идти ей хорошо, и что он придаст огня Брянскому и Валберховой на вечерней репетиции, которая будет у него на квартире, куда и пригласил меня; но я, разумеется, не поверил его словам и не поехал на его домашнюю репетицию. С тех пор я не видался с кн. Шаховским до 1826 года, когда мы сделались уже большими приятелями.

В исходе марта я воротился из Петербурга в Москву. Я рассказал Кокошкину все проделки кн. Шаховского; рассказал, с каким успехом я читал его перевод в доме Державина, как был доволен Гаврила Романович и как велел его благодарить; рассказал даже и то, что после первого представления «Мизантропа», во время антракта перед какой-то другой пиесой, я пошел в ложу к Державину, который при других сказал мне, что он «больше оценил достоинство перевода, когда я читал «Мизантропа» у него в гостиной, и что после моего чтения он остался недоволен игрою актеров». Кокошкин обнимал и благодарил меня. «Ах, милый Сергей Тимофеич, как мне больно, — говорил он, — что этот сумасшедший Шаховской так неприятно вас встретил. Ведь он сумасшедший и не любит меня, считая, что я поклонник Карамзина и враг Шишкова, а я, как вы сами знаете, мой милый, ничей не поклонник и не враг. Я вот не люблю двоедушия: когда я читал первый акт моего «Мизантропа» в Беседе русского слова, Шаховской больше других меня хвалил. Ну, да я его усмирю при свиданье». — Мне показались странными и невероятными последние хвастливые слова; но чрез десять лет, когда кн. Шаховской, Кокошкин и я жили в Москве, я несколько раз имел случай видеть, как равнодушная важность Кокошкина укрощала вспыльчивость кн. Шаховского, впрочем весьма податливого на уступки.

Последний месяц жизни моей в Москве я был полон совсем другими интересами, а потому литературные и театральные мои знакомства не поддерживались с прежнею живостью. Я видел, однако, Мочалова в двух самых лучших его ролях, в комедиях «Гваделупский житель» и «Тон модного света». Обе эти пиесы, теперь давно забытые, даже и тогда уже сходили с репертуара и

давались очень редко; едва ли не в последний раз видела их тогда на сцене московская публика, и вместе с нею я — в первый и последний раз. Кокошкин, пользуясь сильным авторитетом при театре, устроил нарочно для меня оба спектакля: ему хотелось, чтоб я видел Мочалова в тех ролях, в которых он хорош безукоризненно, и в самом деле Мочалов привел меня в изумление и восхищение. Это было совершенство, которого я и вообразить не мог! Это было какое-то чудо, превращение! Мочалова в других пиесах, особенно в трагедиях, и Мочалова в «Гваделупском жителе» и преимущественно в «Тоне модного света» нельзя было признать одним и тем же человеком. Если б кто-нибудь видел Мочалова только в этих двух пиесах, он счел бы его за одного из первоклассных, великих артистов, между тем как этот же самый актер являлся во всех трагедиях без исключения, а в драмах и комедиях с исключениями — весьма плохим актером; у него бывали одушевленные места, но по большей части одушевление приходило некстати, не к месту, одним словом: талант был заметен, но отсутствие всякого искусства, непонимание представляемого лица убивали его талант. У него был один прием, всегда блистательно удававшийся ему на московской сцене: в каком-нибудь патетическом месте своей роли бросался он на авансцену и с неподдельным чувством, с огнем, вылетавшим прямо из души, скорым полушепотом произносил он несколько стихов или несколько строк прозы — и обыкновенно увлекал публику. В первый раз это, точно, был сценический порыв, избыток вскипевшего чувства, пришедшийся кстати и по справедливости восхитивший публику. Мочалов, заметив успех, стал употреблять этот прием чаще; сначала тогда только, когда чувствовал прилив одушевления, а потом уже без всякого прилива и совершенно невпопад, но благосклонная и благодарная публика всегда награждала его громкими рукоплесканиями. Это его избаловало; он начал плохо учить новые роли, забывал старые, изленился, загулял и начал постепенно падать в мнении публики. В самое это время его подняла и отрезвила роль Мизантропа, а потом роли в «Гваделупском жителе» и «Тоне модного света». Я с удовольствием вспо-

минаю тогдашнее мое знакомство с этим добрым и талантливым человеком; он как-то очень полюбил меня, и когда, уезжая из Москвы в августе, я заехал проститься, месяца два перед этим не видавшись с ним, он очень неприятно был изумлен, и очень сожалел о моем отъезде, и сказал мне: «Ну, Сергей Тимофеич, если это уже так решено, то я вам открою секрет: я готовлю московской публике сюрприз, хочу взять себе в бенефис «Эдипа в Афинах»; сам сыграю Эдипа, сын — Полиника, а дочь — Антигону. Вы послезавтра едете, а мне хочется, чтоб вы нас послушали. Паша, Маша! — закричал он, — ступайте сюда». Паша и Маша явились и вместе с отцом разыграли передо мною несколько сцен из «Эдипа в Афинах». Старик Мочалов мог бы очень хорошо сыграть Эдипа, если б понимал лучше роль и не молодился. Мочалов-сын и тогда уже показывал необыкновенный талант, бездну огня и чувства; дочь ничего не обещала, несмотря на прекрасные глаза, хотя и была впоследствии несколько лет любимицей Москвы и даже знаменитостью, особенно когда выучилась с голосу подражать некоторым блестящим местам в игре Семеновой, приезжавшей от времени до времени восхищать Москву. Старик Мочалов просил меня никому об этом не сказывать, даже Ф. Ф. Кокошкину, что мне было легко исполнить, потому что я до отъезда с Кокошкиным не видался. Через два дня я уехал в Оренбургскую губернию, с намерением прожить там десять лет. Через несколько месяцев меня уведомили, что старик Мочалов исполнил свое намерение и дал себе в бенефис «Эдипа в Афинах»; что сам он большого успеха не имел, а сын и дочь были приняты публикой с восторгом. Роль Полиника осталась одною из самых блестящих ролей молодого Мочалова.

1820 и 1821 годы

В 1820 году, в исходе августа, приехал я по особенным обстоятельствам, вопреки моему намерению прожить десять лет безвыездно в деревне, на год в Москву, уже с семейством. Я возобновил свое знакомство

с Ф. Ф. Кокошкиным, начавшееся в 1812 году, перед нашествием французов, и сделавшееся очень близким в 1815 и 1816 годах. От него я узнал, что М. Н. Загоскин, также уже женатый человек, отец двух сыновей, переехал на житье в Москву за два месяца до моего приезда, что он предобрейший человек и очень часто у него бывает. Я рассказал Кокошкину про оригинальную встречу с Загоскиным и прибавил, что хочу съездить к нему, что мне совестно перед ним и что я постараюсь истребить неприятное впечатление, которое, вероятно, у него осталось от первого нашего свидания. Кокошкин рассмеялся и сказал мне, что я не имею понятия о добродушии Загоскина. В самом деле, через несколько дней я встретился с ним у того же Кокошкина, и Загоскин, предупрежденный обо мне в хорошую сторону, равно и о том, что я хочу к нему приехать, что мне совестно на него взглянуть, — бросился ко мне на шею, расцеловал меня в пух и чуть не задушил в своих объятиях, потому что был очень силен. «Ну как вам не стыдно помнить о таком вздоре! — сказал он, — как я рад, что мы с вами встретились и будем жить вместе в Москве. Ну, давайте же руку и подружимтесь». Все это было сказано так искренно, так просто и добродушно, что я полюбил Загоскина с первого разу. Он пользовался в это время уже авторской известностью и написал несколько комедий в прозе, которые имели большой успех на театре и в Петербурге и в Москве. На другой день поутру Загоскин предупредил меня, ранехонько приехал ко мне и просидел у меня несколько часов. Мы окончательно подружились и стали говорить друг другу «ты».

Загоскин был самый добродушный, простодушный, неизменно веселый, до излишества откровенный и прямо честный человек. Узнать его было нетрудно: с первых слов он являлся весь, как на ладонке, с первого свиданья в нем никто уже не сомневался и не ошибался. Соединяя с такими качествами крайнюю доверчивость, даже легковерие и убеждение, что все люди — прекрасные люди, он, можно сказать, приглашал всякого недоброго человека обмануть Загоскина, и, конечно, пригла-

шение принималось часто охотно, и едва ли какой-нибудь смертный бывал так надуваем во всю свою жизнь, как Загоскин. Он имел прямой, здравый русский ум и толк: вся православная Русь знает это из его сочинений; но в светском обществе самые ограниченные светские люди считали Загоскина простяком; мошенники, вероятно, выражались об нем еще бесцеремоннее. Даровитость его признавалась уже всеми, но в то время еще никто не подозревал, чтоб Загоскин мог написать «Благородный театр» и еще менее — «Юрия Милославского».

При первом свидании Загоскин рассказал мне всю свою жизнь и свое настоящее положение, причем, однако, нетрудно было заметить, что у него лежало что-то на душе, что он чего-то неприятного и тяжелого не договаривает. Он убедительно просил меня, чтоб я не отдавал ему визита, но, я, разумеется, его не послушал и на другой же день к нему поехал. Загоскин жил в доме своего тестя, в мезонине, с женой и детьми, и помещался очень тесно. Я видел, что мое посещение его смутило. Комнатка, в которой он меня принял, была проходная; все наши разговоры могли слышать посторонние люди из соседних комнат, а равно и мы слышали все, что около нас говорилось, особенно потому, что кругом разговаривали громко, нимало не стесняясь присутствием хозяина, принимающего у себя гостя. Загоскин, очень вспыльчивый, беспрестанно краснел, выбегал, даже пробовал унять неприличный шум, но я слышал, что ему отвечали смехом. Я понял положение бедного Загоскина посреди избалованного, наглого лакейства, в доме господина, представлявшего в себе отражение старинного русского капризного барина екатерининских времен, повидимому не слишком уважавшего своего зятя. Я понял, чего не договорил Загоскин, и поспешил уехать, дав себе слово никогда не смущать своими посещениями нового моего приятеля. Он был так внутренно благодарен мне за то, что я уезжаю, что несколько раз принимался меня целовать, обещая всякий день навещать меня; даже в тот же день хотел приехать вечером, но я сказал ему, что должен провести этот вечер у своей хозяйки, княгини Несвицкой. Загоскин сдержал свое

обещание и бывал у меня всякий день, даже и в те дни, когда мы вместе с ним обедали или проводили вечера у общих наших знакомых. Правду сказать, я сам жил довольно тесненько и особенного кабинета у меня не было, но зато сидели мы в маленькой угловой гостиной, где никто нам не мешал и где могли мы говорить свободно и громко, потому что оба были большие и горячие крикуны.

Всего чаще мы бывали с Загоскиным у Ф. Ф. Кокошкина, который жил постоянно в Москве, в своем прекрасном и большом доме у Арбатских ворот, на углу Воздвиженки. Он пользовался тогда общим уважением как литератор (за перевод «Мизантропа»), как знаменитый декламатор, любитель и покровитель театрального искусства, как благородный артист и как гостеприимный хозяин; у него нередко бывали все московские литераторы и даже петербургские, когда приезжали в Москву. Кокошкин, страстный охотник играть на театре, подкрепленный моим горячим сочувствием, не замедлил завести у себя в доме благородные спектакли, в которых впоследствии принимал участие и Загоскин, хотя он вовсе не имел сценических дарований и притом был забывчив, рассеян и очень способен приходить в крайнее смущение. Для первого спектакля была выбрана комедия «Два Фигаро», пиеса огромная, очень трудная для исполнения. Главную роль старого Фигаро играл Кокошкин мастерски, по общему признанию тогдашних знатоков; молодой Фигаро, кажется г-н Ф—р, был недурен. Я также с успехом занимал роль графа Альмавивы, обыкновенно пропадавшую на публичной сцене и в Москве и в Петербурге, потому что ее никогда не играл хороший актер, а роль требовала понимания и труда. Долго работали мы общими силами над постановкой этой пиесы, и я беспристрастно скажу, что не видал во всю мою жизнь такого непубличного, так называемого благородного, спектакля. Самое большое затруднение представляли женские роли; но тогда и это затруднение было счастливо побеждено; наши благородные артистки любили искусство, слушались советов и не скучали репетициями; роль же Сусанны

с блистательным успехом игралась известным тогда в Москве талантом благородной сцены, Е. А. В — ю. Два раза смотрело лучшее московское общество эту пиесу, осыпая ее громкими рукоплесканиями, и долго шумела молва об этом великолепном и поистине прекрасном спектакле. Сами актеры были очарованы им. Сойдя со сцены, мы были еще так полны своими и чужими впечатлениями, что посреди шумного бала, сменившего спектакль, не смешались с обществом, которое приветствовало нас восторженными, искренними похвалами; мы невольно искали друг друга и, отобравшись особым кружком, разумеется кроме хозяина, говорили о своем чудном спектакле; тем же особым кружком сели мы за великолепный ужин — и, боже мой, как были счастливы! Я обращаюсь ко всем вам, моим сотоварищам и собеседникам в этот вечер, уцелевшим на жизненном пути, вам, пощаженным еще временем! Вы, верно, не забыли этого спектакля и этого ужина, не забыли этого чистого, упоительного веселья, которому предавались мы с увлечением молодости и любви к искусству; не правда ли, что это было что-то необыкновенное, никогда уже не повторившееся?..

Кокошкин приходил к нам, на минуту оторвавшись от своих почетных гостей; он завидовал нам и выпил в честь нашего спектакля «актерский бокал».

Загоскин не участвовал в спектакле, но присутствовал на каждой репетиции, ужинал вместе с нами и разделял наше увлечение. Ему уже хотелось играть самому, но он еще боролся с своей робостью. На другой день мы все собрались обедать к Кокошкину. Странное дело! Многие из нас чувствовали какое-то грустное настроение духа; разумеется, каждый приписывал это личному расположению, и каждый был удивлен, заметив то же самое у других. Один из самых страстных актеров написал стихи... но к чему таиться — это был я. Стихи плоховаты, но в них именно высказывалась грусть, что кончились наши заботы и тревоги, что уже не существует предмета и цели наших стремлений, что нет впереди такого спектакля, которого мы ждали, к которому готовились, как будто к важному событию. Стихи пришлись очень кстати: они

каждому объясняли его чувство и потому были приняты с восторгом, от некоторых дам — даже со слезами. Вот уцелевшие в памяти моей строки:

. . . .
Где вы, тревожные заботы, суеты,
Сердец приятное волненье,
Боязни и надежд пременно ощущенье
  И самолюбия мечты?
Где зрителей восторг и удивленье,
Талантам истинным нельстивые хвалы,
Рукоплесканий гром, благодаренье,
Весельем искренним шумящие столы?
Исчезло все... и пустота, смущенье,
Уныние на сердце налегло!
Зачем же цели достиженье,
Свершившись, — нам отрад не принесло?

Здесь многих стихов не помню, но вот заключение:

Прочь, души хладные, хулители суровы,
Дерзающие нас с презреньем порицать! [1]
Влачите рабские приличия оковы!
Не вам божественный огонь в себе питать.
Веселье чистое утехи благородной,
Любовь к искусству — ты питай меня всегда.
От предрассудков всех души моей свободной
Не покидай в сей жизни никогда!

Сколько детского и, пожалуй, смешного было в этом увлечении! Как оно живо выражает отсутствие серьезных интересов или, пожалуй, серьезность интереса и взгляда на искусство, может быть у многих бессознательного. Но приятно вспомнить об этом времени. В тридцать шесть лет постарели не мы одни, не наши только личности — постарело, или, правильнее сказать, возмужало, общество, и подобное увлечение теперь невозможно между самыми молодыми людьми. В Москве же тогда много находилось даже пожилых людей и стариков, для которых спектакль «Два Фигаро» был важным событием в летописях благородной сцены театрального искусства. Но, конечно, никто так не оценил и никто не принял так близко к сердцу нашего спектакля, как кн. Ив. Мих.

---

[1] Этот стих относился к двум значительным дамам, родственницам Кокошкина по покойной его жене.

Долгорукий, который был не только сам *в душе* страстный и отличный, по-тогдашнему, актер, но не менее того любил щеголять постановкою благородных спектаклей в своем доме.

Князь И. М. Долгорукий был поистине достолюбезное лицо, также невозможное в настоящее время. Он прекрасно изображен, как писатель и человек, в биографии, написанной М. А. Дмитриевым и напечатанной в 1851 году под названием: «Князь Иван Михайлыч Долгорукой и его сочинения». Он считался в Москве одним из остроумнейших людей своего времени и первым мастером говорить в обществе, особенно на французском языке. Я помню, что на больших обедах или ужинах обыкновенно сажали подле него с обеих сторон по самой бойкой говорунье, известной по уму и дару слова, потому что у одной недостало бы сил на поддержание одушевленного с ним разговора. Я сам слыхал, как эти дамы и девицы жаловались после на усталость головы и языка, как все общество искренно им сочувствовало, признавая, что «проговорить с князем Иваном Михайловичем два часа и не ослабить живости разговора — большой подвиг». Это было действительно справедливо, только я думаю, что этот подвиг больше требовал бойкости и быстроты речи, любезной болтовни, чем настоящего остроумия. При всей своей светскости кн. И. М. бывал иногда простодушен и весел, как дитя, и, говоря по-русски, в коротком обществе мужчин очень любил выражаться не только попросту, но даже по-простонародному: он любил употреблять слишком резкие и точные слова, любил озадачивать ими своих слушателей. — Кокошкин давно уже познакомил меня с ним, но князь мало обращал на меня внимания: он любил светскость и бойкость в молодых людях, а именно этих качеств я не имел никогда, я был даже немножко дик с людьми, не коротко знакомыми; впрочем, князь пригласил меня на свой спектакль, который шел недели за две до «Двух Фигаро». Спектакль состоял из двух небольших пиес: комедии «Холостой заряд», не знаю, кем написанной, и пословицы (proverbe) «У семи нянек дитя без глазу» (кажется, так), сочиненной самим хозяином. Последняя пиеса была очень жива и забавна. Содержание ее состояло в следующем: один

русский помещик-агроном, для лучшего устройства своего хозяйства на иностранный манер, разделяет сельское управление на несколько частей и каждую вверяет особому наемному управителю или директору, в числе которых находится ученый немец и еще, кажется, один семинарист; все директоры должны сноситься между собою письменно или словесно в конторе, не выходя из назначенной им колеи, не переступая пределов их власти. Разумеется, из этого выходит страшная кутерьма, так что и деревня совсем было сгорела оттого, что заведовавший пожарною частью не получил во-время надлежащего уведомления. По счастью, близкий сосед, не нововводитель, не агроном, а умный русский помещик, увидя пожар, прискакивает с своими людьми и пожарными инструментами и спасает от конечной погибели село и дом своего соседа. Он делает еще более — он образумливает помещика-агронома, который был не что иное, как своего рода и времени Кошкарев, выведенный Гоголем во втором томе «Мертвых душ». Я помню, что было очень много презабавных сцен, что зрители очень много смеялись и что А. Д. Курбатов играл ученого немца с удивительным совершенством; вообще спектакль был слажен очень хорошо, и публика осыпала его громкими рукоплесканиями и единодушными, горячими похвалами. Хозяин был в восторге и, как я слышал, выражался несколько иронически насчет будущего спектакля у Кокошкина, о котором мы уже два месяца хлопотали. В свою очередь и Кокошкин, великолепно и напыщенно хваля спектакль кн. Долгорукова, прибавлял, по доверенности, коротким людям, что «невелика премудрость поставить хорошо две пиески и что постановка серьезной, классической комедии (уж как попали «Два Фигаро» в классические комедии — решительно не знаю) требует побольше трудов и знаний». До князя И. М. дошли эти слова, и он, задетый за живое в самом чувствительном месте — в искусстве составлять благородные спектакли, — приехал с сильным предубеждением и расположением найти наше представление невыносимо скучным. Но как истинный артист, он скоро забыл мелочные расчеты оскорбленного тщеславия, пришел в восхищение и в продолжение всего спектакля беспрестанно повторял:

«C'est magnifique, c'est sublime»[1]. Когда опустился занавес, он с живостью молодого человека прибежал к нам на сцену, всех нас обнимал, особенно меня, тут же признаваясь, что виноват передо мной, прося приехать к нему непременно на другой день и обещая во всем мне покаяться. Я приехал на другой день поутру. Восхищение кн. Ивана Михайлыча несколько прошло, или, лучше сказать, было уже подавлено досадой на блистательный успех нашего спектакля. С откровенностью, доходившею до излишества, он сказал мне между прочим, что считал меня оренбургским медведем, способным сыграть разве степного помещика, а не графа Альмавиву... Тут осыпал он меня похвалами, которые мне совестно повторять и которые, конечно, были чересчур преувеличены; он кончил тем, что будто до сих пор не только зрители, но и сами актеры не ведали, что такое «граф Альмавива», и что теперь только познакомилась с ним и поняла его публика. Потом вновь овладела им досада, и старик, ходя по комнате, с комическим жаром и детскою наивностью говорил как будто сам с собою: «Какой счастливец этот Федор Федорыч! Точно с неба сваливаются ему таланты! И рад бы был сыграть большую комедию, да где же взять актеров? Где найти такую Сусанну, какая у него? Мало этого: ему вдруг нежданно-негаданно падает охотник с Рифейских гор, который целый век гонялся за оленями и ловил сурков, и в этом охотнике открывается капитальный талант! Да и сам Федор Федорыч сроду ни в чем не был так хорош, как в старом Фигаро: эта роль выкроена по нем...» Не знаю, откуда пришли в голову кн. Долгорукову Рифейские горы, олени и сурки, только они так прочно засели у него в голове, что я никогда не мог разуверить его, что не бывал на Рифейских горах, не гонялся за оленями, не ловил сурков и что я давнишний актер. С этих пор князь меня очень полюбил. Я много читывал ему из его ненапечатанных сочинений, и в том числе огромную трагедию в три тысячи варварских стихов, которая происходила в неведомом месте, у неизвестного народа. Впрочем, сочинитель сам подсмеивался над своим творением. Когда впоследствии, уезжая из

[1] Это великолепно, это превосходно (*франц.*).

Москвы, я приехал с ним проститься, он с истинной грустью вскричал: «Опять на свой Рифей, опять гоняться за оленями, опять ловить сурков! Ну, там ли ваше место?..» Разумеется, я ему уже не противоречил.

Через месяц после «Двух Фигаро» составился опять спектакль у князя Ив. Мих. Долгорукова. Я сам напросился сыграть какую-нибудь роль, и хозяин с благодарностью принял мое предложение; кажется, спектакль состоял из небольшой комедии Н. И. Хмельницкого «Нерешительный, или Семь пятниц на неделе», и также маленькой комедии Коцебу «Новый век»; в последней я играл старого купца или банкира Верлова. Спектакль был миленький, но должно признаться, что Кокошкин говорил правду: это были *пиески*!

В продолжение зимних месяцев 1820 и 1821 годов мы составили еще несколько спектаклей в доме Кокошкина. Все они были более или менее замечательны по своей постановке и по отличному исполнению некоторых ролей; но спектакль «Двух Фигаро» остался несравненным и незабвенным. Загоскин также решился выйти на сцену; он выбрал для этого маленькую пиеску в стихах, кажется «Говорун», в которой только одно и есть действующее лицо, говорящее беспрестанно; она шла перед большой комедией Княжнина «Хвастун». Выбор весьма неудачный, как и самая мысль сочинить такую болтовню; имени сочинителя не помню. Вероятно, она была написана для известного лица в обществе, для известного таланта, для мастера говорить живо, весело, разнообразно и увлекательно. Ничего этого в Загоскине не было, и я, право, не знаю, для чего мы допустили его играть эту роль. Правда, зрители беспрестанно хлопали и без умолку хохотали; но было смешно не представляемое лицо, а Загоскин: с первых слов он начал уже конфузиться, перепутывать стихи, забывать роль и не слушать суфлера. Чем больше хохотала и чем больше хлопала публика, тем больше смущался бедный Загоскин и несколько раз хотел уйти со сцены, не доиграв пиесы. Кокошкин и все мы, стоя за кулисами, знаками, жестами и поклонами едва могли упросить его, чтоб он продолжал. Поистине ска-

зать, явление было вполне комическое. Загоскин бесился на себя, зачем он вздумал играть; кровь бросалась ему в лицо, он краснел, как бурак, а по пиесе ему следовало быть веселым, шутить и любезно болтать; эта борьба была так забавна в Загоскине, что людям, знавшим его коротко, трудно было удержаться от смеха. Но Кокошкин и я, принимавшие горячее участие в спектакле, не смеялись, а испугались. Когда опустился занавес, Загоскин должен был, по пиесе, продолжать несколько времени свою болтовню, но на сцене поднялся такой шум, крик и хохот, что зрители принялись аплодировать: Загоскин шумел и бранился, а мы все неудержимо хохотали. Загоскин тут же наложил на себя заклятие — никогда более не играть; но «где клятва, там и преступление», не знаю, кем-то было сказано, и сказано справедливо: Загоскин играл еще раза два, и каждый раз с такою же неудачею.

Самым интересным спектаклем, после «Двух Фигаро», была небольшая комедия «Два Криспина», сыгранная вместе с какой-то пиесой. Двух Криспинов играли знаменитые благородные актеры-соперники: Ф. Ф. Кокошкин и А. М. Пушкин, который, так же, как и Кокошкин, перевел одну из Мольеровых комедий — «Тартюф» и также с переделкою на русские нравы. Этот спектакль — была дуэль насмерть между двумя признанными талантами. Любители театрального искусства долго вспоминали этот «бой артистов». Следовало бы кому-нибудь одержать победу и кому-нибудь быть побеждену; но публика разделилась на две равные половины, и каждая своего героя считала и провозглашала победителем. Почитатели Пушкина говорили, что Пушкин был гораздо лучше Кокошкина, потому что был ловок, жив, любезен, прост и естествен в высшей степени. Все это правда, и в этом отношении Кокошкин не выдерживал никакого сравнения с Пушкиным. Но почитатели Кокошкина говорили, что он худо ли, хорошо ли, но играл Криспина, а Пушкин сыграл — Пушкина, что также была совершенная правда, из чего и следует заключить, что оба актера в Криспинах были неудовлетворительны. Криспин — известное лицо на французской сцене; оно игралось и теперь играется (если играется) по *традициям;* так играл его и Кокош-

кин, но, по-моему, играл неудачно именно по недостатку естественности и жизни, ибо в исполнении самих традиций должна быть своего рода естественность и одушевление. Пушкин решительно играл себя или по крайней мере — современного ловкого плута; даже не надевал на себя известного костюма, в котором всегда является на сцену Криспин: одним словом, тут и тени не было Криспина.

Изредка продолжал я видаться с Н. И. Ильиным, который делался как-то час от часу страннее и начинал как будто заговариваться. Люди, которые видались с ним часто, замечали это уже давно, а теперь стали замечать все. Он был прежде коротко знаком с Кокошкиным; они даже некогда игрывали вместе на театре, в доме у кн. Юрья Владимировича Долгорукого, который все еще продолжал жить на Большой Никитской, в своих безобразных барских палатах, одна половина которых все еще оставалась неоштукатуренною. Я сказал *продолжал жить*, во-первых, потому, что кн. Юрью Владимировичу было, как говорили, за восемьдесят лет, а во-вторых, потому, что тридцать лет тому назад он уже умирал, лежал в гробу, едва не был похоронен, ожил каким-то чудом и продолжал жить и давать спектакли. Так по крайней мере утверждала общая молва; мне помнится даже, что где-то было напечатано об этом. — Во всех кругах общества говорили, что Ильин влюблен в одну знатную графиню и что он дожидается чина действительного статского советника, чтобы сделать формальное предложение; но, кажется, и чина статского советника было довольно, чтобы вскружить бедную его голову. Я помню, что Кокошкин предлагал ему чрез меня принять участие в наших спектаклях, а именно: сыграть роль Верхолета в «Хвастуне» Княжнина, роль, которую он некогда игрывал с успехом. Ильин отвечал мне, что *российскому* статскому советнику, по его мнению, неприлично выходить на сцену, но что он благодарит за приглашение и очень будет рад посмотреть наш спектакль. Кокошкин и кн. Ив. Мих. Долгорукий всегда его приглашали. Роль Верхолета я принужден был взять на себя. Это была с моей стороны жертва; роль вовсе не шла ко мне, и я был в ней положительно дурен. Ник. Ив. Ильин уже не за-

нимался литературой и даже говорил о ней с пренебрежением, авторская слава уже не пленяла его: государственная служба, чины, ордена, высокие места в правительстве — вот что составляло предмет его разговоров и желаний. Впоследствии несчастный Ильин, не дождавшись чина действительного статского советника, сделал предложение, получил отказ, помешался окончательно и, кажется, скоро умер. Я получил об этом известие уже в деревне. Любовь или честолюбие были первоначальною причиною сумасшествия бедного Ильина — это был вопрос и спорный пункт в московских гостиных. Любопытно, что во время совершенного помешательства Ильин опять обратился к литературе и к стихотворству, которым прежде никогда не занимался. Он душил стихами всякого, кто только ему попадался.

В эту же зиму узнал я и очень горячо полюбил Александра Иваныча Писарева, который находился еще в университетском благородном пансионе: впрочем, это было только за полгода перед выпуском воспитанников. Он участвовал в наших спектаклях, хотя сценических способностей у него было так же мало, как у Загоскина. Несмотря на восемнадцатилетнюю молодость, блестящий острый ум Писарева был уже серьезен и глубок. Вся пансионская молодежь признавала его превосходство, и все, кто его знал, смотрели на Писарева как на будущего славного писателя; его проза и стихи превозносились не только товарищами и начальством пансиона, но и всеми; театр, литература были его призванием, страстью, жизнью. С первого свиданья Писарев почувствовал искренность моего участия и полюбил меня как брата; все время, свободное от классного ученья, он проводил у меня в доме. Писарев имел раздражительный, но сосредоточенный характер: внешнее выражение у него было тихо, спокойно и холодно даже и тогда, когда он задыхался от внутреннего волнения. Он не краснел ни от гнева, ни от радости, а бледнел. Это гораздо тяжеле и вредно действовало на его всегда слабое здоровье. Писарев вышел вторым воспитанником из университетского пансиона; он был очень дружен только с одним товарищем своим, Юшневским; они оба получили при выпуске десятый класс, но имя Писарева, написанное золотыми буквами на

мраморной доске, осталось навсегда между именами Жуковского и других отличных воспитанников. В ту же минуту, после пансионского акта и за несколько часов до личного со мной свидания, Писарев написал ко мне молодое, горячее письмо, которое, к сожалению, потеряно. Писарев немедленно уехал к отцу и матери в орловскую деревню; не дождавшись его возвращения в Москву, я также отправился в свой путь, но с этого времени началась между нами живая, искренняя переписка, продолжавшаяся постоянно все пять лет моего пребывания в Оренбургской губернии. Загоскин и Кокошкин также были знакомы с Писаревым и очень его любили, а равно и весь литературный кружок, собиравшийся в доме Кокошкина. Я не называю всех членов, его составлявших, я вспоминаю только о тех, кого уже нет на свете. — Воспоминаниям о Писареве надобно будет посвятить особую статью [1].

Летом у нас, то есть в доме Кокошкина, был еще спектакль, который можно назвать прощальным; он был приготовлен секретно для сестры Кокошкина, Аграфены Федоровны, в день ее именин, женщины редкой по своей доброте и добродетельной жизни: мы сыграли маленькую комедию Коцебу «Береговое право» и комедию Хмельницкого «Воздушные замки».

Загоскин, по своему доброму и уживчивому нраву, примирился с своим стеснительным положением, и литературная деятельность его проснулась. В этом же году он в первый раз начал писать стихами, чего никак невозможно было предположить: он не имел уха и не чувствовал меры и падения стиха. Своим посланием к Н. И. Гнедичу он удивил всех московских и петербургских литераторов. Обо всем этом написано мною подробно в биографии Загоскина.

В этот год, то есть с августа 1820 по август 1821, собственно моя литературная деятельность ограничивалась немногим: я напечатал свой перевод X сатиры

---

[1] Особой статьи я не написал; но о Писареве я довольно говорю впоследствии. *(Поздн. прим. сочинителя.)*

Буало. Увы, я также подчинился нелепому направлению большей части литераторов того времени — и переложил Буало на русские нравы! Казалось, так лучше, понятнее, сильнее произведет впечатление на читателей, а притом — все так делали. Этот перевод, читанный Кокошкиным и самим мною в разных общественных кругах, имел успех и подкрепил мою небольшую литературную известность, доставленную мне переводом «Филоктета» и Мольеровой комедии «Школа мужей», которая игралась на Петербургском театре тоже не без успеха. Тогда же я написал и напечатал в «Вестнике Европы» стихи «Уральский козак» (истинное происшествие) — слабое и бледное подражание «Черной шали» Пушкина, и «Элегию в новом вкусе» — протест против туманно-мечтательных стихотворений, порожденных подражанием Жуковскому, и, наконец, «Послание к кн. Вяземскому в ответ на его послание к Каченовскому», не помню где напечатанное, которое начиналось так:

Перед судом ума сколь, Каченовский, жалок
Талантов низкий враг, завистливый зоил!
Как оный вечный огнь пред алтарем весталок,
Так втайне вечный яд, дар лютых адских сил,
В груди несчастного неугасимо тлеет.

Я вовсе не был пристрастен к скептическому Каченовскому, но мне жаль стало старика, имевшего некоторые почтенные качества, и я написал начало послания, чтоб показать, как можно отразить тем же оружием кн. Вяземского [1]; но Загоскин, особенно Писарев, а всех более М. А. Дмитриев упросили меня дописать послание и даже напечатать. Они сами отвозили стихи

---

[1] Послание мое начиналось так:

Перед судом ума сколь, Вяземский, смешон,
Кто самолюбием, пристрастьем увлечен,
Век раболепствуя, с слепым благоговеньем —
Творений критику считает преступленьем
И хочет, всем назло, чтоб весь подлунный мир
За бога признавал им славимый кумир
и проч.

Каченовскому, который чрезвычайно был ими доволен и с радостью их напечатал. Но я до сих пор не знаю, по какой причине вместо «Послание к кн. В.» он напечатал: «К Птелинскому-Ульминскому», и вместо подписи: С. А. — поставил цифры 200—1. С этого времени Каченовский всегда мне очень приветливо улыбался и кланялся, чего удостоивал весьма немногих.

В продолжение великого поста (1821 год) кн. И. М. Долгорукий, которого живая природа требовала деятельности современной, общественной, как бы ни было мелко ее содержание, составил у себя в доме приятельское литературное общество, над которым и тогда подсмеивались иные члены и посетители. Некоторые из нас, конечно из одного желания утешить любезного хозяина, согласились принять участие в его детской или стариковской забаве. Заседаний было пять, и в каждое я, как и другие, представлял по одному и по два стихотворения. Все члены желали, чтоб я читал их сочинения, а как это было невозможно, то, по предложению хозяина, было постановлено правилом: чтоб каждый сочинитель *сам* читал свою пиесу. Все это очень живо рассказано в брошюре М. А. Дмитриева, и я добавлю только, что общество существовало, даже в обширнейших размерах, и на следующий год. А. Писарев, впоследствии также бывший членом, писал ко мне в 1822 году, что выбрано несколько новых членов и что на предпоследнем заседании, в числе других посетителей, находился *главнокомандующий* кн. Д. В. Голицын, который охотно принимал участие во всякой просвещенной забаве: следовательно, нет сомнения, что собрание было многочисленно, блистательно и что хозяин был совершенно счастлив.

В этом же году был я выбран в действительные члены Общества любителей российской словесности при Московском университете и выбран единогласно. Я сознаюсь, что это было мне очень приятно и лестно. Я не представлял никакого сочинения: итак, меня удостоили этой чести за переводы. Кажется, при мне в эту зиму были два публичные заседания; посетителей было довольно, и мы с Кокошкиным попеременно декламировали почти все пиесы, разумеется по желанию самих сочини-

телей. Это Общество имело значение и влияние. Московская публика приняла живое участие в его заседаниях и начала очень охотно посещать их, потому что они получили менее сухой, ученый характер, а более чисто литературный, более понятный, доступный людям светским и особенно приятный любителям изящной словесности. Собрания становились многочисленны и блистательны; образованные женщины лучшего круга оживляли их своим присутствием! Года с 1821 по 1829 включительно можно назвать самым цветущим периодом Московского общества любителей российской словесности, которое с 1834 года без всякой видимой причины перестало собираться и не собирается до сих пор. То же случилось, в разные сроки, со всеми литературными обществами в России. — А. А. Прокопович-Антонский был постоянным председателем Общества в его блистательное время. Едва ли не ему одному обязано оно своим процветаньем. Не могу сказать, из каких причин, только Антонский заботился и хлопотал о составлении публичных чтений с неутомимою ревностью; Мерзляков и Каченовский были главными его помощниками.

В августе я уехал в Оренбургскую губернию, напутствуемый искренним сожалением и дружбою моих приятелей, особенно Кокошкина и Загоскина. Писарева не было в Москве, и он горевал о моем отъезде заочно, выражая свое огорчение в письмах ко мне.

Я уехал из Москвы с особенным грустным чувством, никогда еще мною не испытанным. Никогда еще не сживался я так с Москвою, как в этот год! Публичный театр, частные спектакли, литературные собрания, дружеский круг добрых приятелей, более или менее сходных со мною в своих наклонностях и увлечениях, а главное Москва, со всем своим историческим и народным значением, яснее прежнего понятым и глубже почувствованным мною, — все вместе наполняло мою душу, в минуту разлуки, смущением и унынием. Мне самому было ново и странно такое чувство. Мне ли, страстному поклоннику вечных красот природы и моего чудного, родимого края, свободы его полей и лесов, его роскошного простора и приволья, мне ли, безумному охотнику, грустить,

расставаясь с неволей и шумом городской жизни, с пыльной и душной Москвой? Всегда весело расставался я с обеими столицами, всегда с радостным волнением спешил в благословенную деревню... и мне больно было, что я не испытывал прежнего чувства. Конечно, были и другие причины: я уезжал не в милое свое Аксаково, не на берега Бугуруслана, а в другое имение, находящееся в глухом Белебеевском уезде. Кроме того, что местоположение его было ровно и скучно, без освежающей тени дерев, без реки, следовательно не привлекало охотника; кроме того, что я не любил этой деревни, меня ждало другое горе: я должен был заняться хозяйством, которого терпеть не мог!.. Я смутно предчувствовал, что только там ляжет на меня вся тяжесть ложных и печальных отношений... Но не в моей природе было надолго предаваться унынию! Благодаря живости моего воображения и мечтательному легкомыслию я раскрашивал радужными цветами будущую мою сельскую деятельность, уже виднелась мне в отдалении Москва, и я с горячею бодростью готовился к новой для меня жизни хозяина, как единственному средству жить потом в Москве.

1825 и 1826 годы

Уже с лишком четыре года жил я отдельно с своей семьей в Оренбургской губернии, в селе Надежине, в семи верстах от одного из самых дряннейших уездных городишек в России Белебея, произведенного в звание города из чувашской деревушки, сидевшей на речке Билыбей, которую русские перекрестили в Белебейку. Таких переименований в нашем уезде было множество. Я, например, жил на речке Сююш, получившей имя Сивушка, в соседстве же у меня была деревня, прозывавшаяся, по имени своей речки, Иу-елга: ее просто звали Иволга.

По принятому мною заранее плану: прожить десять лет безвыездно в Оренбургской губернии, мне оставалось жить в деревне еще один год; но как в продолжение этого времени я уезжал в Москву ровно на год, то

мне следовало прожить в Надежине еще два года. Я давно уже разочаровался в моих надеждах сделаться хорошим хозяином и накопить порядочную сумму денег до переезда на житье в Москву. Я никак не ожидал такой неудачи. Прежде, в отсутствие моего отца, мне случалось управлять несколькими деревнями и смотреть за производством сельских работ. Конечно, я занимался неприлежно, неохотно, но узнал и понял дело хорошо. Видел, что можно ввести много улучшений и следственно — увеличить доход. Основываясь на таких данных, я подумал, что, управляя собственным имением, имея такие сильные побудительные причины заниматься хозяйством, при всей моей нелюбви к нему я наделаю чудеса. Но вышло совсем не так. Во-первых, много прошло времени после первоначальных моих хозяйственных опытов и я не так уже поверхностно и легкомысленно смотрел на отношения помещика к своим крестьянам. Во-вторых, мои хозяйственные сведения и опыты оказались вовсе недостаточными, потому что грунт земли в Надежине был другой и далеко не так хорош, как в Аксакове; да и значительная возвышенность местности сильно охлаждала почву и подвергала растительность хлебов несвоевременным морозам. Два неурожайных года сряду лишили меня бодрости. Нетерпение и недостаток твердого постоянства были свойственны моей впечатлительной природе — и я бросил хозяйство. Хорошо, что я скоро догадался *не мешать старосте:* все пошло попрежнему, и хозяйственные дела пошли гораздо лучше; но зато нравственное мое чувство беспрестанно оскорблялось, и сознание в собственном «бессилии быть полезным» отравляло мою тихую, уединенную деревенскую жизнь.

Ружейная охота, степная, лесная и болотная, уженье форели всех трех родов (другой рыбы поблизости около меня не было), переписка с московскими друзьями, чтение книг и журналов и, наконец, литературные занятия наполняли мои летние и зимние досужные часы, остававшиеся праздными от внутренней, семейной жизни. Общества не было или было такое, какое хорошо только в художественном воспроизведении, а не в действительности. Я перевел осьмую сатиру Буало, несколько сцен

из французских трагедий и написал с десяток посланий в стихах. Статья моя о театре и театральном искусстве, не помню только под каким заглавием, была напечатана в «Вестнике Европы», туда же послал я подробный и строгий разбор «Федры», переведенной Лобановым, но, не знаю почему, Каченовский не напечатал моей критики, и я более ничего ему не посылал. Всего чаще переписывался я с А. И. Писаревым, который во время моего отсутствия сделался блистательным водевилистом; водевили были все переводные, но куплеты оригинальные и так хороши, что до сих пор остаются лучшими водевильными куплетами. Все приспособленные к настоящему времени литературной полемики, остроумные, колкие и даже злые, они скоро доставили Писареву обольстительное титло — любимца московской публики. Впрочем, Писарев не одними водевилями заслужил свою известность и славу. Кроме многих, по-тогдашнему прекрасных, стихотворений, из которых были особенно замечательны две сатиры, напечатанные под названием «Послании к молодому любителю словесности», он переложил гладкими и сильными стихами старинную комедию Шеридана «Школа злословия» и назвал ее «Лукавин», по имени одного из действующих лиц, характер которого развит Писаревым гораздо шире и полнее, чем у Шеридана. Он переделал также стихами французскую комедию в трех действиях (Voyage à Dieppe) на русские нравы и назвал «Поездка в Кронштадт». Обе комедии были напечатаны и приняты всеми без исключения, разумеется кроме литературных врагов, с великими похвалами. «Поездку в Кронштадт» он посвятил мне. Стихи в ней еще лучше, чем в «Лукавине».

Кстати: надобно предварительно сказать, что в Москве, через год после моего отъезда, из театральной конторы, находившейся под непосредственным управлением московского военного генерал-губернатора, образовалась отдельная дирекция. Директором был определен Кокошкин, а членом дирекции по хозяйственной части — Загоскин; репертуарным членом был назначен Арсеньев, человек очень любезный и образованный, даже знаток и страстный поклонник греческой литературы; но в репертуарные дела он не мешался и предоставил их Кокош-

кину, который, по страстной своей охоте к театру, ревностно занимался репертуарною частью. Писарев, живший у Кокошкина в доме и находившийся в самых близких отношениях к нему и Загоскину, даже много обязанный им обоим, прямо попал в театральную сферу, полюбил ее и определился в службу дирекции переводчиком и помощником репертуарного члена Арсеньева; успехи пиес на сцене, разумеется, еще более увлекли Писарева, и скоро он утонул в закулисном мире.

Наступила зима 1825 года. Все было тихо и спокойно в нашей пустынной глуши. Ничто не предвещало важности грядущих событий, а между тем историческая драма уже начиналась... 6 декабря, на именинах у кого-то из соседей, где находились, между прочим, все белебеевские чиновники и живший в этом городке прежний наш губернатор М. А. Наврозов, получили мы известие, что государь Александр Павлович скончался в Таганроге. Весть эта поразила всех таким ужасом, какого я ни прежде, ни после не видел и сам не испытывал. Конечно, много было причин к такому общему поражению, но было что-то и особенное. Покойный император находился в самой поре мужества и зрелости человеческого возраста, ему шел сорок восьмой год, все привыкли считать его крепким, здоровым, способным переносить безвредно всякие телесные труды и всякие душевные тревоги, которых, как известно, он испытал немало; не было ни малейшего слуха об его болезни, даже о нездоровье — внезапная весть об его кончине должна была потрясти всех. Это был громовой удар из безоблачных небес. Притом смерть императора, во время царствования которого совершились мировые события, которого имя неразрывно связано с «вечной памятью двенадцатого года», возведшего Россию на высшую степень славы и могущества, императора, твердостью которого, по общему убеждению, пал Наполеон, недавно кончивший дни свои узником на острове св. Елены, — смерть такого государя всех заставила невольно почувствовать безотчетный страх. Когда мы несколько опомнились и вышли из оцепенения, первая мысль представилась: кто будет царем? Все присутствующие, кроме меня и Наврозова, не сомневались, что

преемником Александра Павловича будет цесаревич Константин; но мы с Наврозовым были убеждены в противном. Мы очень хорошо помнили, что в 1820 году был расторгнут брак цесаревича с его законною супругою и последовал манифест, которым узаконялось, что всякий член императорской фамилии, вступивший в брачный союз с лицом, не принадлежащим к владетельному дому, не может сообщать ему права императорской фамилии и что дети их на престол никогда взойти не могут. Вслед за тем цесаревич женился на графине Лович, полячке и католичке, — как же можно было ей сделаться русской императрицей? Притом впоследствии носились темные слухи, что цесаревич Константин потому и получил согласие императора Александра на развод и вторичную женитьбу, что отрекся от права наследия на русский престол. Каково же было мое удивление, когда на другой день поутру уведомили меня из города, что с нарочным курьером получен указ правительствующего сената, извещающий о кончине императора Александра I и о присяге законному наследнику его Константину Павловичу. Сильно смущенный, поехал я немедленно в Белебей, чтоб потолковать с Наврозовым. Там уже все присягнули. Людям, понимавшим сколько-нибудь дело, крепко не нравилась новая императрица, хотя, по слухам, она была превосходная женщина. «Веру-то переменит, — говорил мой родственник, уездный судья Бунин. — Это пустое, будто католички веры не меняют. Для всероссийского престола можно и две веры переменить. Да вот беда: кровь-то в ней польская; будет руку поляков держать, а Константин Павлович, говорят, и без того в них души не чает». Оставшись наедине с Наврозовым, сообщили мы друг другу свои тревожные опасения и расстались убежденными, что дела так идти не могут. Недели через три прочли мы в «Московских ведомостях» известие о 14 декабря и вслед за тем новый указ о присяге новому императору Николаю Павловичу, а также его манифест с приложением всех бумаг, касающихся до отречения цесаревича Константина Павловича сначала от права наследия, а потом от престола, — когда уже была принесена ему присяга во всей России. В уезде, в котором я жил, вторая присяга не произвела никакого смущения;

помещики, чиновники и вообще весь грамотный люд не могли сомневаться в правде и подлинности актов и очень были довольны, что цесаревич не будет императором, потому что все опасались польского влияния. Простой же народ состоял из помещичьих крестьян, которые не присягают, и из инородцев, то есть башкир, татар, мордвы, чуваш и вотяков, которым, разумеется, никакой не было надобности до законности прав престолонаследия, но которые, без сомнения, пришли бы в отчаяние, если б им объявили, что у них не будет царя. Сказывал мне, однакож, исправник, что на двух горных медеплавительных заводах, находившихся в нашем уезде и состоявших из одних раскольников, много было толков и что, по каким-то их соображениям, они ожидали, что цесаревич Константин будет благосклонен к староверам.

В начале 1826 года мои собственные печальные обстоятельства нарушили тишину и спокойствие моей деревенской жизни. Надежино никогда мне не нравилось, а тут сделалось даже противным. Я решился ускорить мой переезд в Москву и в августе месяце, вместе с остальным семейством, навсегда простился с Оренбургским краем.

1826 год

1826 года, 8 сентября, часов в восемь вечера, в осеннюю звездную ночь остановилась наша карета перед Москвой, у Рогожской заставы. Москва, еще полная гостей, съехавшихся на коронацию из целой России, Петербурга и Европы, страшно гудела в тишине темной ночи, охватившей ее сорокаверстный Камер-коллежский вал. Десятки тысяч экипажей, скачущих по мостовым, крик и говор еще неспящего четырехсоттысячного населения производили такой полный хор звуков, который нельзя передать никакими словами. Это было что-то похожее на отдаленные, беспрерывные громовые раскаты, на шум падающей воды, на стукотню мельниц, на гуденье множества исполинских жерновов. Никакой резкий стук или крик не вырывался отдельно, все утопало в общем шуме, гуле, грохоте, и все составляло непрерывно

и стройно текущую реку звуков, которая с такою силою охватила нас, овладела нами, что мы долго не могли выговорить ни одного слова. Над всей Москвой стояла беловатая мгла, сквозь которую светились миллионы огоньков. Бледное зарево отражалось в темном куполе неба, и тускло сверкали на нем звезды. И в эту столичную тревогу, вечный шум, гром, движение и блеск переносил я навсегда, из спокойной тишины деревенского уединения, скромную судьбу мою и моего семейства. В эту минуту с особенной живостью представилась мне недостаточность вещественных средств моих, непрочность надежд и все последствия такого неосновательного поступка... Но подорожную прописали, часовому скомандовали «подвысь» — и карета въехала в Москву.

Дом Кавелиных, в котором мы должны были остановиться, последний дом тогда у Спасской заставы, был очень недалеко, но люди долго проискали его. Я сам не умел указать, как проехать, потому что с этой стороны никогда не подъезжал к нему. Наконец, кое-как отыскали дорогу. Хозяйки не было дома: она ночевала в Вознесенском монастыре у своей знакомой белицы, для того чтоб быть поближе к брату, который жил во флигеле Николаевского дворца, прямо против кабинета государя, и не имел свободного времени, чтоб ежедневно ездить для свидания с родными в Таганку.

На другой день отправился я прямо в контору театра, зная, что я, наверное, найду там Кокошкина, Загоскина и Писарева. Большой Петровский театр [1], возникший из старых, обгорелых развалин, лет двадцать неприятно поражавших глаза московских жителей, — изумил и восхитил меня. Я еще горячо любил театр; десятилетняя жизнь в оренбургской глуши, конечно, не могла охладить этой любви, и великолепное громадное здание, исключительно посвященное моему любимому искусству, уже одною своей внешностью привело меня в радостное волнение. Я вошел в контору; в первой комнате, занятой столами чиновников и множеством всякого театрального народа, спросил я о Кокошкине и Загос-

---

[1] Сгоревший еще при Медоксе, кажется, в 1805 году, перед началом представления первой части «Днепровской русалки».

кине; мне отвечали, что они в «присутственной комнате»; я хотел войти в нее, но стоявший у дверей капельдинер в придворной ливрее не пустил меня, говоря, что «без доклада директору и без его дозволения никто туда войти не может». Напрасно я уверял, что директор мне приятель, что я хочу нечаянно его обрадовать, — капельдинер недоверчиво посматривал на мой поношенный, очень немодный сюртук и не согласился пустить меня. Делать было нечего. Я сказал свои имя и фамилию. Капельдинер растворил дверь и едва успел выговорить: «Сергей Тимофеич Аксаков», как Кокошкин, ходивший по комнате и говоривший с каким-то значительным господином, забыв свою обычную великолепную важность, выбежал ко мне навстречу и бросился обнимать меня... Загоскин же, услыхавши мое имя, как буря восстал из-за стола, разбрасывая бумаги, опрокидывая кресла, давя людей, ворвался в канцелярию, вырвал меня у Кокошкина и, говоря без преувеличения, едва не задушил в своих объятиях: впрочем, это была его обыкновенная манера. С радостными восклицаниями ввели они меня в свою присутственную комнату и снова принялись обнимать. Непритворная радость светилась на их лицах. Я был сердечно растроган. После нескольких отрывочных, взаимных вопросов и ответов я спросил о Писареве. Оба мои приятели вскрикнули от удивления, вспомнив, что он, по какому-то предчувствию моего приезда, поехал проведать обо мне в Таганку, потому что знал адрес дома, где я должен был остановиться. Значительный господин со звездою, видя, что директору не до него, раскланялся, и мы на свободе обо всем порасспросили друг друга, обо всем переговорили друг с другом. Я не был знаком лично с Верстовским и Щепкиным, и потому сейчас послали за ними на сцену, где репетировалась для завтрашнего вечера новая тогда комедия в стихах кн. Шаховского «Аристофан, или Представление комедии Всадники», которая игралась на московской сцене с большим успехом. Верстовский определился директором музыки в Московский театр во время моего отсутствия, Щепкин также без меня поступил на сцену; но мне столько об них писали, а им столько обо мне наговорили и Кокошкин, и Загоскин, и особенно Писарев, что мы

заочно были уже хорошо знакомы и потому встретились, как давнишние приятели, и даже обрадовались друг другу. «Да зачем же, милый, — сказал Кокошкин, обращаясь к Загоскину, — мы отвлекаем Михаила Семеныча от репетиции? Лучше мы поведем на сцену Сергея Тимофеича: он увидит там почти всю нашу труппу и наши будущие надежды». Я охотно согласился, и мы пошли на сцену. Я никогда не мог объяснить себе, отчего репетиция пиесы, разумеется уже хорошо слаженной, даже в позднейшие годы часто производила на меня очень сильное и приятное впечатление. Я знал многих людей, которые утверждали, что никогда не надобно смотреть репетиции, если хочешь вполне почувствовать достоинство пиесы в настоящем представлении, — и трудно спорить против этого мнения; но на деле я испытывал другое. В этот же день, о котором я говорю, мне было весьма естественно предаться увлечению. Я не видел театра пять лет, прожив их безвыездно в деревне. Взволнованный своим переездом в Москву, горячим приемом моих старых и новых приятелей, а всего более притихшей на время и с новою силою вспыхнувшей моей страстью к искусству, взошел я на огромную, великолепную сцену Петровского театра, полную жизни, движения и людей, мелькавших, как тени, в полумраке, который сначала ослепил меня; гром музыки, пение хоров, пляски на празднике Вакха — все это вместе показалось мне чем-то волшебным. Я пригляделся к темноте, стал различать и узнавать людей; сцена очистилась, и мелодический, звучный, страстный голос Аристофана, в котором я не вдруг узнал молодого Мочалова, довершил очарование. Музыка, танцы, стихи, игра Мочалова и Синецкой, игра, которая в самом деле была хороша, показались мне тогда чем-то необыкновенным, даже каким-то совершенством. Во время антракта толпа актеров и актрис, певиц и танцовщиц всякого возраста окружила нас. Кокошкин не пропустил случая произнесть коротенькую, но торжественную речь ко всем, нас окружающим, в которой, представляя мне всю труппу, не поскупился наговорить мне великолепных похвал. Я возобновил мое знакомство с Синецкой и Мочаловым, который очень помнил, как отец заставлял его декламировать передо мною Поли-

ника, и познакомился со многими, которых не знал. Тут в первый раз увидел я Сабурова и Рязанцева; Кокошкин назвал их блистательными надеждами московской сцены. Про Рязанцева и Щепкин шепнул мне: «Это наш капитал». Все меня встретили с необыкновенным радушием, как мне показалось тогда при моем настроении увлекаться. Репетицию стали продолжать; мы сели с Кокошкиным на помост храма Вакха, и он с патетическим одушевлением сказал: «Не правда ли, милый, что мы в Афинах? Шаховской ничего не написал, да и ничего не напишет лучше Аристофана». Я не спорил. Я сам находился в каком-то упоении, да и пиесы не знал. — Очень мне хотелось дослушать репетицию «Аристофана», но я, несмотря на свое увлечение, вспомнил, что мне необходимо видеться с Кавелиным и что Писарев ждет меня в Таганке — иначе он давно бы воротился. Не слушая убедительных просьб Кокошкина остаться на полчаса, чтоб увидеть Синецкую в одной сцене, которую она, по словам его, превосходно играла, я извинился и уехал, дав, однако, слово Кокошкину, что завтра приеду смотреть «Аристофана» в его ложу или кресло. Кавелина я не застал; мне сказали, что он с сестрой уехал к нам, и я поспешил домой.

Точно, я нашел у себя дома Кавелина с его сестрой и Писарева. Много произошло перемен с Кавелиным с тех пор, как мы не видались. Из поручика или штабс-капитана Измайловского полка он сделался полковником, флигель-адъютантом и одним из самых близких людей к царствующему императору... Но все рассказы были отложены до более свободного времени, а теперь ему надобно было немедленно ехать, и мы простились. Писарев дожидался меня недаром. Кроме желания поскорее меня увидеть и обнять, ему нужно было предупредить меня, и, к сожалению, весьма невыгодно, об одном из близких со мною людей. Разумеется, мне это было больно и неприятно, потому что всегда неприятно ошибаться; но меня гораздо более огорчил сам Писарев: он был худ, бледен, глаза его потеряли свой прежний блеск, и он довольно часто кашлял. Зловещая мысль промелькнула у меня в голове, и сердце болезненно сжалось. Но я овладел собою и с наружным спокойствием выслушал

невеселую повесть пяти лет, проведенных нами в разлуке. Здесь не место подробно рассказывать эту повесть, а скажу только, что я вывел из нее следующее заключение: Писарев, будучи от природы очень слабого сложенья, имел расположение к раздражительности, которая ужасно развилась в продолжение нашей разлуки. По несчастию, эта раздражительность никогда не выражалась во внешности; холодный по наружности, он рвался внутренно, и эта постоянная тревога сокрушила его здоровье. Причин к волненью было много: сначала блистательные успехи, и особенно на сцене, вскружили ему голову. Писарев, повидимому, очень спокойно раскланивался из директорской ложи с публикой, вызывавшей его за каждую пиесу восторженными криками, но после каждого вызова у него была лихорадка. На поприще журнальной литературы он не захотел сойтись с издателем «Московского телеграфа». Он был прав, но, может быть, поступил слишком резко и нажил себе заклятого врага. Закипела страшная полемика. Писарев, умея наносить жестокие язвы своим противникам, не умел равнодушно сносить никакой царапинки. Раздражительность, желчность ослепляли его, и в число его литературных врагов попали такие люди, которые заслуживали полного уважения по своим талантам. Публика любит петушиный бой, и, осыпая громкими рукоплесканьями острые и злые куплеты Писарева, она с таким же удовольствием читала язвительные выходки против него в «Московском телеграфе», не разбирая, справедливы они или нет. Публика тешилась, а бойцам была накладна эта потеха; для Писарева по крайней мере она была очень вредна. — Писарев говорил со мной много и долго, с внутренним волнением, от которого час от часу становился бледнее. Я поспешил остановить его и успокоить, сколько мог. Он хотел было остаться до шести часов вечера, то есть до начала спектакля, но я, под разными предлогами, выпроводил его. Я знал, что, оставшись со мною, он не перестал бы рассказывать мне про свое прошедшее и настоящее и не перестал бы волноваться.

На другой день мы отправились в театр. Великолепная театральная зала, одна из огромнейших в Европе,

полная зрителей, блеск дамских нарядов, яркое освещение, превосходные декорации, богатство сценической постановки — все вместе взволновало меня более вчерашнего; я должен признаться, что был очарован «Аристофаном». Он был очень хорошо поставлен на московской сцене самим князем Шаховским, опытным знатоком и мастером этого дела. Шаховской имел необыкновенное искусство пользоваться всеми личностями, составляющими театральную труппу, и часто актер, считавшийся вовсе бесталанным, являлся в его пиесе, к общему изумлению зрителей, играющим свою роль очень хорошо. Я же, никогда не видавший большей половины актеров и актрис, был совершенно обманут — и господин Баранов (жалкая посредственность везде), в роли Казнодара Клеона, показался мне прекрасным актером. Щепкин занимал самую ничтожную роль Созия, состоявшую из нескольких строк, но и тут он умел так сказать ничего не значащий стих:

Гермес! петух твой улетел, —

что зрители громким смехом и рукоплесканием выразили свое удовольствие. Хотя я видел Щепкина на сцене в первый раз, но по общему отзыву знал, что это артист первоклассный, и потому я заметил Писареву, что немного странно играть такую ничтожную роль такому славному актеру, как Щепкин; но Писарев с улыбкою мне сказал, что князь Шаховской всем пользуется для придачи блеска и успеха своим пиесам и что Щепкин, впрочем, очень рад был исполнить желание и удовлетворить маленькой слабости сочинителя, великие заслуги которого русскому театру он вполне признает и уважает. Князь Шаховской был болен и потому не приезжал на ту репетицию, которую я видел вчера; его не было также и сегодня на настоящем представлении; но он взял слово с Писарева, что Писарев вечером побывает у него и расскажет, как шла пиеса. Мне была очень понятна и приятна такая нежная и беспокойная заботливость автора о своем произведении. Синецкая была очень хороша в роли Алкинои, но я заметил, что средства ее несколько слабы для такой огромной сцены, на которой, правду

сказать, никогда не следовало давать комедий, а только большие оперы и балеты. Шаховской знал это лучше всех; но как его пиеса была сопровождаема великолепным спектаклем, то есть множеством народа, певцов, певиц, танцовщиков и танцовщиц, то ее и нельзя было давать на сцене Малого театра. Великолепный спектакль — была также маленькая слабость Шаховского, как я после узнал. — Мочалов привел меня в восхищение. Сколько огня, сколько чувства и даже силы было в его сладком, очаровательном голосе! Как он хорош был собой и какие послушные, прекрасные и выразительные имел он черты лица! Все чувства, как в зеркале, отражались в его глазах! Греческий хитон и мантия скрывали недостатки его телосложения и дурные привычки к известным движениям, которые и тогда были в нем уже заметны. Одним словом, я был очарован им и был уверен, что из него выйдет один из величайших артистов. Впрочем, и Кокошкин и Писарев также восхищались и говорили, что он никогда так хорошо не играл Аристофана; они приписывали удачную игру Мочалова отсутствию князя Шаховского, который своим постоянным наблюдением и взыскательностию за каждое неверно сказанное слово приводил в смущение молодого актера: он старался играть как можно лучше и оттого играл хуже. Узнав от Писарева, что Мочалов дик в обществе порядочных людей, что он никогда не бывает в литературном кругу Кокошкина без официального приглашения, я тогда же составил план сблизиться, подружиться с Мочаловым, ввести его в круг моих приятелей у меня в доме и употребить все средства для его образования, в котором он, как я слышал, очень нуждался. Я так горячо этого желал, что не сомневался в успехе; я сообщил мои намерения Писареву, который, сомнительно покачав головой, сказал: «Дай бог тебе удачи больше, чем нам; ты скорее нас можешь это сделать; ты ему не начальник, и твоя бескорыстная любовь к театральному искусству придаст убедительность твоим советам, которые подействуют на него гораздо лучше директорских наставлений. Я уверен, что Мочалов тебя полюбит, — а это самое важное». Обо всем этом я успел переговорить с Писаревым во время антрактов, ходя с ним

по огромной сцене, представлявшей площадь в Афинах, в толпе театрального народа, превращенного в греков, в Вакховых жрецов и вакханок. Не откладывая дела в долгий ящик, по окончании пиесы, после шумного вызова Синецкой и Мочалова, я, с врожденною мне пылкостью, бросился к Мочалову и высказал ему мое восхищение, мои надежды, мое желание сблизиться с ним. В моих словах не было недостатка в искренности и в неподдельном горячем чувстве. Мочалов не умел хорошо выражать своих внутренних движений, но, очевидно, был тронут моим участием и в несвязных словах пробормотал мне, что сочтет за особенное счастие воспользоваться моим расположением и что очень помнит, как любил и уважал меня его отец. Несмотря на мои тридцать пять лет, я был еще очень молод, голова моя горела, и я в большом волнении отправился в свою уединенную и отдаленную Таганку.

На другой день вместе с Кавелиным поехали мы к П. П. Мартынову, который жил в Спасских казармах; с ним также произошла значительная перемена, равно с другим моим приятелем Воропановым. Ровно за десять лет оставил я их офицерами Измайловского полка: Мартынов был полковником, служакой, а Воропанов — капитаном, вовсе фронтовой службы не знающим, потому что всегда находился адъютантом у полкового командира. Я был коротким приятелем с обоими и, прощаясь с ними в Петербурге в 1816 году, я убедительно доказывал, что им не следует оставаться в гвардии; оба не получили почти никакого образования и не имели никакого состояния. Я советовал им выйти в армию полковыми командирами, жениться на деревенских девушках с состоянием и зажить припеваючи, и что же? В 1826 году Мартынов служил гвардейским бригадным генералом, а Воропанов командовал гвардейским полком: оба были генерал-адъютанты. События 14 декабря выдвинули их вперед, потому что они имели случай показать свою преданность государю; впрочем, Мартынов, кроме титла известного фрунтовика, имел много душевных достоинств и был давно известен императору, когда он еще был великим князем и шефом Измайловского полка. Личность Мартынова заслуживала полного уважения; но для этого надо

было знать его очень коротко и примириться с невыгодною внешностью. Мартынов был мой земляк, очень меня любил и обрадовался мне, как родному. Он вспомнил, что я советовал ему и Воропанову перейти в армию и, встряхнув своими золотыми эполетами и эксельбантом, засмеявшись, сказал мне, что предсказания мои не сбылись и что незнание французского языка и *грамматики* не помешало ему занять такое высокое место и пользоваться милостью и доверенностью государя. Я искренно порадовался его возвышению и пожелал ему дальнейших успехов.

Александр Семеныч Шишков был в это время министром народного просвещения. Разумеется, я поспешил с ним увидеться. Я говорил уже в одном из моих воспоминаний, что он назначил меня цензором в московском, будущем, отдельном от университета, цензурном комитете, который должен был открыться через несколько месяцев. Это обстоятельство много облегчало для меня трудность московской жизни.

Через месяц опустела Москва от приезжих гостей. Двор, дипломатический корпус, министерства и гвардия воротились в Петербург, и Москва приняла свой обыкновенный, будничный характер. Я нанял себе большой дом на Остоженке, и мало-помалу начала устроиваться моя городская жизнь.

В продолжение этого времени я почти ежедневно бывал в театре и виделся с Кокошкиным, Загоскиным и Писаревым. Князь Шаховской недели две был болен и не выезжал из своей квартиры. Все трое моих приятелей, в том числе и Кокошкин, которого кн. Шаховской, как известно моим читателям, некогда бранил беспощадно, были с ним очень дружны и хотели немедленно повезти меня к нему; но я решительно отказался и объявил, что не намерен сближаться с Шаховским. Все думали, что я сержусь на него за петербургскую нашу встречу, случившуюся за десять лет при постановке на русскую сцену «Мизантропа», — но это было совершенно несправедливо. Я вовсе был неспособен к злопамятности, да и дело того не стоило. Мне даже досадны были слова Кокошкина, который не один раз говорил мне: «Нет, милый, ты все сердишься на Шаховского за меня. По-

верь, что он это так. Он ведь пребешеный и когда взбеленится, то сам не помнит, что говорит; а злобы у него никакой нет, и он предобрый, он всех нас любит от всего сердца, хотя при случае, осердясь, и укусит». Загоскин, который о других судил по себе, у которого все были прекрасные люди, распинался за честность и доброту князя Шаховского. Даже Писарев, которого суд об людях был скорее строг, чем снисходителен, уверял меня, что кн. Шаховской — раздражительное, но добродушное дитя, что у него много смешных слабостей, что он прежде в Петербурге находился под управлением известной особы, что за нее прогнали его из петербургской дирекции, где заведовал он репертуарною частью, и что, переехав на житье в Москву на свою волю, так сказать, он сделался совсем другим человеком, то есть самим собою. Но предубеждение мое против князя Шаховского было слишком сильно. Он имел множество врагов в Петербурге, которые составили ему весьма дурную славу в обществе. С самых молодых лет я привык считать кн. Шаховского притеснителем Шушерина, интриганом, гонителем великого таланта Семеновой, ласкателем, угодником людей знатных и сильных и, наконец, заклятым врагом Озерова, которого он будто бы преследовал из зависти и даже, как утверждали многие, был причиною его смерти. Вследствие таких-то предубеждений и слухов, которым я более или менее верил, сколько меня ни уговаривали, я не поехал к Шаховскому; когда же он выздоровел, я старался не встречаться с ним, и как этого совершенно избежать было невозможно, то я отделывался учтивым поклоном. Общие приятели наши наговорили много доброго обо мне Шаховскому, и он еще до моего приезда желал коротко со мной познакомиться и подружиться. При первой встрече у Кокошкина он, как хозяин, должен был познакомить нас с Шаховским. Не упоминая о нашей прежней, довольно близкой встрече, мы отрекомендовались друг другу, как люди, которые видятся в первый раз в жизни. Шаховской впился было в меня со всею ласковостью своей забавной болтовни, но скоро моя сухость и холодность укоротили его неумолкаемый язык, и он должен был оставить меня в покое. При следующем свидании вторичная попытка князя

Шаховского сблизиться со мной также была неудачна. Я упрямился, хотя видел, что такое положение огорчало всех моих приятелей, что оно нарушало согласный строй дружеских собраний всего нашего круга. Шаховской приставал с расспросами к Кокошкину, Загоскину и Писареву: что значит мое отчуждение? и они были в затруднении, что отвечать на такие вопросы. Наконец, Писарев решился поступить прямо и откровенно; он сказал Шаховскому, что я, наслышавшись много дурного о нем, не хочу с ним войти в приятельские отношения. Шаховской огорчился и в свою очередь поступил так же прямо: он приехал ко мне сам и рассказал мне искренно и добродушно всю историю своей службы при Петербургском театре; рассказал мне несколько таких обвинений против него, каких я не знал, и, опровергнув многое положительно, заставил меня усомниться в том, чего опровергнуть доказательствами не мог. Я был побежден, протянул руку Шаховскому — и не имел причины раскаиваться. С каждым днем узнавая короче этого добродушного, горячего до смешного самозабвения и замечательно талантливого человека, я убедился впоследствии, что одну половину обвинений он наговорил и наклепал сам на себя, а другая произошла от недоразумений, зависти и клеветы петербургского театрального мира, оскорбленного, раздраженного нововведениями князя Шаховского: ибо при его управлении много людей, пользовавшихся незаслуженными успехами на сцене или значительностью своего положения при театре, теряли и то и другое вследствие новой системы как театральной игры, так и хода дел по репертуарной части. К этому должно прибавить, что князь Шаховской, не видя никакой возможности переучить или переделать на свой лад людей старых и даже не старых, но уже закоренелых в старой методе сценических традиций, выбрал несколько молодых людей и образовал их по-своему. Правда, однакож, и то, что он был пристрастен к ним и видел в них великие таланты, тогда как они имели от природы мало дарований. Впрочем, тем более чести им. Они, под руководством более светлого, истинного взгляда на искусство, переданного им князем Шаховским, умели сделать из себя таких артистов, которые долго были украше-

нием петербургской сцены и пользовались в свое время громкою славою и полным сочувствием снисходительной и благодарной петербургской публики. Это поучительный пример для людей с положительным талантом, блистательно начинающих и потом от лени, неуважения к труду, от непонимания искусства переходящих в жалкую посредственность. Я знаю, что и теперь, назвав актеров, любимцев князя Шаховского, по имени, я вооружу против себя большинство прежних любителей театрального искусства; но, говоря о предмете столь любезном и дорогом для меня, я не могу не сказать правды, в которой убежден по совести. Эти актеры были: Брянский, Сосницкий, г-жи Валберхова и Ежова. Первые трое, лично ни в чем не виноватые, возбуждали только зависть; но последняя госпожа была самою главною причиною дурной славы князя Шаховского. Имея на него большое влияние, она умела раздражать его, а в раздражении Шаховской бывал иногда несправедлив и на словах и на деле. Всего хуже было то, что Шаховской, несмотря на свою вспыльчивость, проходившую мгновенно, не умел, не смел и не мог обуздать неизвинительных поступков этой женщины: все это падало на князя Шаховского, и, конечно, все имели полное право обвинять его.

Возвращаюсь к моему рассказу. К общему удовольствию нашего круга, объяснившись, мы сошлись с Шаховским очень скоро и сделались короткими приятелями. Почти весь наш круг был составлен из людей, служащих при театре, пишущих для театра и театралов по охоте. Присутствие кн. Шаховского, поселившегося в Москве на неопределенное время, первого драматического писателя, первого знатока в сценическом деле, преданного ему всем существом своим, еще более всех одушевляло. Хотя Кокошкин сам очень любил ставить пиесы на сцену, но он благодушно признавал превосходство кн. Шаховского, называл его «первым сценическим мастером» и уступал ему свои права. Это время можно назвать одним из лучших для Московского театра: Щепкин, в полной зрелости своего таланта, работая над собою буквально и день и ночь, с каждым днем шел вперед и приводил всех нас в восхищение и изумление своими успехами.

Может быть, публика этого и не замечала; но мы, страстные любители театра и внимательные наблюдатели, видели, что с каждым представлением даже старых пиес Щепкин становился лучше и лучше. Блестящий, ослепительный и увлекательный талант Мочалова развивался, без его ведома, всегда неожиданно и не там, где можно было надеяться этого развития. Он приводил нас то в восторг, то в отчаяние. Сам князь Шаховской впоследствии боялся давать ему советы и часто говорил: «Беда, если Павел Степаныч начнет рассуждать; он только тогда и хорош, когда не рассуждает, и я всегда прошу его только об одном, чтобы он не *старался* играть, а старался только не думать, что на него смотрит публика. Это гений по инстинкту; ему надо выучить роль и сыграть; попал, так выйдет чудо; а не попал, так выйдет дрянь». И такое определение было совершенно справедливо. Сабуров и Рязанцев, особенно последний, оба имели драгоценное и редкое качество на сцене: веселость. Впрочем, Рязанцев был гораздо выше по таланту; в его игре была такая простота, такая естественность, какой тогда еще не видывали. Он имел один недостаток, мало заметный по комическому характеру его ролей: игра его была холодновата; но говорят, что впоследствии, уже в Петербурге, у него начинала проявляться теплота и одушевление представляемого лица. Если это правда, то Рязанцев должен был достигнуть степени великого артиста. Отчетливая, умная, благородная игра Синецкой, которой вредили иногда советы Кокошкина, свежее дарование Репиной, прекрасная старуха и баба-хлопотунья — Кавалерова, Лавров, Степанов и другие, менее замечательные дарования, — не говорю о богатых надеждах театральной школы, иногда появлявшихся на публичном театре, — все это вместе придавало московской сцене высокое достоинство. Водевили Писарева разыгрывались с неподражаемым совершенством. Публика горячо сочувствовала и сочинителям и актерам, и в партере театра было так же много жизни и движения, как и на сцене.

Загоскин, с таким блестящим успехом начавший писать стихи, хотя они стоили ему неимоверных трудов, заслуживший общие единодушные похвалы за свою коме-

дию в одном действии под названием «Урок холостым, или Наследники»[1], решился написать большую комедию в четырех актах, а именно: «Благородный театр». Мы были с ним очень дружны, и он первому мне открылся в своем намерении. Эта комедия долго его занимала. Он имел возможность сделать много наблюдений по предмету ее содержания и заранее придумал множество забавных сцен и даже множество отдельных стихов с звучными и трудными рифмами, до которых он был большой охотник, — а между тем твердого плана комедии у него не было; я убедил его, чтобы он непременно написал, так сказать, остов пиесы и потом уже, следуя своему плану, пользовался придуманными им сценами и стихами. Загоскин послушался меня, писал несколько дней — и ничего не написал. Рассердился, разбранил меня за мой совет, себя — за то, что последовал ему, и решился засесть

---

[1] После блестящего успеха этой комедии на сцене, когда все приятели с искренней радостью обнимали и поздравляли Загоскина с торжеством, добродушный автор, упоенный единодушным восторгом, обняв каждого так крепко, что тщедушному Писареву были невтерпеж такие объятия, сказал ему: «Ну-ка, душенька, напиши-ка эпиграмму на моих «Наследников»!» — «А почему же нет», — отвечал Писарев и через минуту сказал следующие четыре стиха:

Комический давнишний проповедник
«Наследников» недавно написал
И очевидно доказал,
Что он Мольеров не наследник.

Громкий смех и одобрение встретили эту импровизированную эпиграмму, и можно себе представить, как был озадачен Загоскин. Писарев особенно отличался необыкновенной находчивостью, быстротой своих эпиграмм, сказанных или написанных часто в одну минуту, без всякого приготовления. Вот еще случай в доказательство моих слов: после одного из предварительных заседаний Общества любителей русской словесности при Московском университете, в котором было читано переложение нескольких псалмов М. А. Дмитриева, члены стали хвалить их, но Писарев молчал. Спросили его мнения, и он, взяв лежащий перед ним листок бумаги, написал следующее:

Шатров и Дмитриев, Полимнии сыны
Давида вызвали из гроба.
Как переводчики хоть тем они равны,
Что хуже подлинника оба.

за работу без всякого плана и писать что ему придет в голову. Трудно себе вообразить, каких тяжелых усилий стоил ему каждый стих. Вот была поистине египетская работа. У Загоскина не было музыкального уха, и он никак не мог различить пятистопного стиха от семистопного и, пожалуй, от восьмистопного. Часто приходил он в бешенство, когда в написанных им стихах, стоивших ему продолжительной работы и которыми, наконец, он был очень доволен, — вдруг находил я то пять с половиною стоп вместо шести, то семь вместо шести с половиной, то неправильное сочетание рифм, то цезуру не на месте... Часто горячился он, сердился и даже не верил мне. Нередко случалось, что не было другого средства убедить его, как разделить стих черточками на слога и стопы. Даже при таком очевидном доказательстве иногда Загоскин спорил, и, наконец, я уговорил его призвать на помощь еще Писарева, которому в этом отношении он совершенно верил и с которого взял честное слово не открывать никому секрета, как он пишет комедию. Нельзя поверить, читая его прекрасные, звучные и свободные стихи, чтобы они выковывались так медленно, и так тяжело, и таким человеком, который был совершенно лишен музыкального уха для стихов. Загоскин писал свою комедию с лишком год, и она явилась на сцене только 29 декабря 1827 года. — Кокошкин также начинал писать большую комедию в стихах, под названием «Воспитание», и еще до моего приезда перевел комедию Делавиня «Урок старикам», которая давалась с большим успехом на сцене. — Писарев переводил водевиль «Дядя напрокат» для бенефиса капельмейстера Шольца; водевиль этот должен был идти в первых числах генваря наступающего 1827 года; но Писарев уже чувствовал, что пора приняться за что-нибудь более серьезное, более достойное его таланта, «пора перестать набивать руку», как он сам говаривал, «на водевильных куплетах», хотя они очень нравились публике. У него был задуман план большой комедии «Христофор Колумб». Он постоянно обработывал его и уже написал пролог [1]. — Князь

[1] Писарев успел написать только один акт этой комедии, который и был напечатан после его смерти, в 1830 году, в «Московском вестнике», выходившем тогда сборниками.

Шаховской и подавно не оставался праздным. Кроме большой комедии-водевиля «Притчи, или Езоп у Ксанфа», подражение французскому, он задумал написать трагедию «Смольяне», которая и была впоследствии написана и даже сыграна, но никакого успеха не имела.

Весь пыл полемических схваток Писарева с издателем «Телеграфа» происходил без меня; тем не менее враждебность была и теперь в полной силе в обеих сторонах. Прекратились выходки Писарева в остроумных куплетах на Полевого и кн. Вяземского, возбуждавших страшный шум в театре, который выражал борьбу двух партий; но не прекратилось взаимное ожесточение и росла взаимная неправость обеих сторон. Круг людей, в котором я жил, был весь против Полевого, и я с искреннёю горячностью разделял его убеждение. Теперь можно хладнокровно рассуждать о прошедшем и находить даже пользу в существовании «Московского телеграфа» — пользу отрицания. Отрицание было необходимо, и Полевой, имевши много русской сметливости, ловкости, не лишенный даже некоторого дарования, служил выражением этого отрицания. Он ничего почти не сказал нового, *своего;* все было более или менее известно во всех кругах образованных обществ, обо всем этом говорили и спорили московские литераторы; но Полевой первый заговорил об этом печатно, и заговорил с тою решительною дерзостью, к которой бывает способно самонадеянное, поверхностное знание дела и которая в то же время всегда имеет успех. Очень приятно низвергать с высоты почетные имена, ломать давно утвердившиеся репутации — и жадно бросается молодость на такой строгий суд, совершающийся во имя правды! Самые те люди, которые давно уже, хотя, может быть, не ясно, не положительно, имели подобные мысли, обрадовались, увидя их в печати, и даже сочли новыми. Об остальной публике нечего и говорить. Большинство было на стороне Полевого; но торжество «Телеграфа» еще более, и законно, раздражало его противников и доводило ожесточение до крайних пределов. Впрочем, должно сказать, в извинение им, что тяжело, оскорбительно было видеть, как самоуверенно судил Полевой часто о таких предметах, о

которых он не имел надлежащего понятия. Самая правда, которую он все же иногда высказывал, как человек умный, была под его пером так же невыносима для его противников и так же раздражала. Я не намерен распространяться об этой полемике, которая впоследствии вышла из всяких пределов приличия и сделалась вовсе не литературною. Я сам был, к сожаленью, одним из наиболее раздраженных, следственно и не всегда справедливых, деятелей и неохотно вспоминаю об этом времени; притом же еще нельзя говорить обо всем откровенно: еще живут многие, принимавшие горячее участие в этой борьбе или слишком близкие к бойцам, погибшим рановременно.

Шестнадцатого декабря, в бенефис актера Воеводина, была дана комедия-водевиль кн. Шаховского, о которой я уже говорил: «Притчи, или Езоп у Ксанфа». Содержание пиесы, совершенно чуждое нашей жизни, мало имело достоинства, и только уменье кн. Шаховского все приладить к русской сцене, сообразно со средствами актеров и актрис, дало успех этой комедии, или водевилю. Разумеется, Щепкин играл Езопа и с большим искусством читал басни в стихах, взятые у Езопа французскими и немецкими баснописцами и от них уже перешедшие в русскую литературу. Тут были басни Хемницера, И. И. Дмитриева и Крылова, о высоком достоинстве которых говорить не нужно. Еще с бо̀льшим искусством передавал Щепкин лукавство раба, который изобрел притчу как средство выражать перед своим властелином свою потаенную мысль, которую прямо сказать нельзя. Много работал над этой ролью Щепкин, чтоб по возможности скрыть себя, свою горячность и свои приемы под личиною Езопа. Кн. Шаховской и все мы с восхищением смотрели на этого истинного артиста, который трудился неутомимо. Но Шаховской не был им вполне доволен и уверял меня, что петербургский актер Брянский в этой роли гораздо лучше. Впоследствии я видел Брянского в Езопе и не согласен с Шаховским. Точно, у Брянского было больше простоты, ибо Щепкин никогда не мог отделаться вполне от искусственности, которая была слышна в самой естественной игре его; точно,

некоторые басни Брянский читал гораздо лучше; но уже во всем остальном не было сравнения: зритель не видел и не слышал в нем, несмотря на покорную наружность — хитрого, тонкого, лукавого раба, кипящего внутренним негодованием. А в этом-то и был превосходен Щепкин. В том же декабре было два бенефиса: Мочалов дал «Поликсену», трагедию Озерова, а Синецкая — большую комедию в стихах, в пяти действиях, сочинения Головина, под названием «Писатели между собой». Обе пиесы не имели успеха. Синецкая была не Клитемнестра, да и Мочалов не Ахиллес, хотя некоторые порывы и страстные движения были выражены им прекрасно. Не помогли и блестящие стихи Озерова, тогда еще всех приводившие в восхищение. Так называемая классическая трагедия начинала уже колебаться и сходить со сцены. Комедия же Головина вполне доказала, что один набор слов и мыслей, высказанных в довольно гладких и бойких стихах, еще ничего не значит. В октябре 1826 года вышел драматический альбом с нотами, изданный Верстовским и Писаревым.

Собственно с 1827 года началась в Москве эта изумительная театральная деятельность князя Шаховского. В прошедшем году он поставил на московскую сцену также довольно пиес, но уже игранных на Петербургском театре. Замечательнее других были опера «Сусанин», водевили «Ломоносов», «Пурсоньяк-Фалелей», «Ворожея» и «Феникс, или Утро журналиста», а из комедий — «Пустодомы» и «Аристофан». В 1827 же году он беспрестанно писал и ставил новые пиесы. Эта напряженная деятельность, эта беспрерывная работа во всех родах драматических сочинений, без сомнения, были вредны цельности таланта и правильности его развития. Отчасти это проистекало от добродушного и легкого характера: Шаховской не мог отказать никому из актеров или актрис, которые, разумеется, во зло употребляли его снисходительность. Он беспрестанно сочинял, переводил или переделывал для их бенефисов оперы, водевили, комедии, трилогии, романтические зрелища и проч. и проч. Довольно проследить с точностью его авторскую произ-

водительность только в 1827 году[1], из этого можно будет сделать посылку на все прежние годы его петербургской деятельности. Какой замечательный и даже серьезный талант не растратится на такие мелочные и часто пустые произведения! Чтобы сделать бенефисные пиесы заманчивыми для публики, Шаховской прибегал к помощи музыки, танцев, декораций и даже превращений. На упреки за такую смесь он обыкновено отве-

---

[1] В генваре 1827 года, в бенефис г-жи Борисовой, Шаховской поставил новую свою пиесу под названием «Керим-Гирей, трилогия», написанную по большей части прекрасными стихами. Содержание он взял из «Бахчисарайского фонтана» Пушкина и даже местами удержал его стихи. В том же генваре, в бенефис г-жи Синецкой, он поставил комедию-балет в трех действиях, подражание Шекспиру, под названием «Батюшкина дочка, или Нашла коса на камень», и сцены: «Ермак, представление, взятое из сочинений И. И. Дмитриева». В апреле, в бенефис сирот Рыкалова, были даны в первый раз «Буря, волшебное романтическое зрелище в трех действиях, из Шекспира» и «Адвокат, или Любовь-живописец», водевиль в двух действиях, подражание Мольеру. Обе пиесы принадлежали кн. Шаховскому. В мае месяце, в бенефис двум танцовщицам, Е. Ивановой и Заборовской, нисколько не замечательным, опять были даны две пиесы кн. Шаховского: «Урок женатым», комедия в одном действии в вольных стихах, и «Бенефициант», комедия-водевиль в одном действии. В июне, в бенефис г-на Баранова, актера вовсе бесталанного, но выбранного в прошлом году кн. Шаховским для выполнения роли Казнодара Клеона в комедии «Аристофан» и каким-то чудом сыгравшего эту роль очень удачно, написал и поставил кн. Шаховской «Восковые фигуры, или Волшебная механика», интермедия-водевиль. В этом же июне, в бенефис Сабуровых, была дана новая и очень забавная комедия в одном действии кн. Шаховского «Фальстаф», заимствованная из Шекспира. В августе, в бенефис самой ничтожной актрисы Баранчеевой, игравшей наперсниц в трагедиях, кн. Шаховской поставил (конечно, из одной жалости) свою новую пиесу под названием «Привидение, или Разоренный замок». В ноябре, в бенефис Сабуровых, опять шла новая пиеса Шаховского «Молодая мать и жених в 48 лет, или Домашний спектакль», комедия-водевиль в четырех действиях, перевод с французского. Наконец, 1 декабря, в бенефис Мочалова, была дана огромная комедия в пяти действиях кн. Шаховского под названием «Судьба Ниджеля, или Все беда для несчастного», взятая из известного романа Вальтер-Скотта. Эта пиеса была точно несчастная. Она была так длинна и скучна, хотя многие отдельные сцены были прекрасны, что в четвертом действии зрители начали разъезжаться. Убедительное доказательство, что превосходный роман, облеченный в драматические формы, может быть скучен до невероятности. — Итак, вот сколько разнородных пиес написал и поставил на сцену кн. Шаховской в один год!

чал: «Все искусства — братья и должны помогать на сцене один другому».

Чтобы иметь о князе Шаховском полное понятие, надобно было видеть, как он ставил на сцену пиесу, свою или чужую — это все равно. Я беспрестанно это видел и всегда с любопытством и удовольствием. Конечно, если бы перенесть человека, чуждого театральному делу и равнодушного к театральному искусству, на сцену или в одну из боковых зал, где идет репетиция пиесы при кн. Шаховском, то он бы расхохотался и счел его за сумасшедшего; даже я, тогда еще страстно любивший театр, иногда не мог удерживаться от смеха; но зато часто я восхищался Шаховским. Весь проникнутый любовью к искусству, не чувствуя ни жара, ни холода, не видя окружающих его людей, ничего не помня, кроме репетируемой пиесы, никого не зная, кроме представляемого лица, Шаховской часто был великолепен, несмотря на свою смешную, толстую фигуру, свой длинный птичий нос, визгливый голос и картавое произношение. По вспыльчивости своей он часто выходил из себя; но бешенство его не всегда и не вдруг обнаруживалось неистовыми криками, воплями или бормотаньем никем не понимаемых слов; нет, нередко сначала оно скрывалось под напряженным спокойствием, равнодушием, шутками, и потом уже следовал взрыв и полное самозабвение; в этих-то принужденных шутках подавленного бешенства Шаховской был неподражаемо забавен. Можно было бы рассказать множество истинных происшествий в доказательство справедливости моих слов; но эти анекдоты потеряют много в рассказе, потому что никакое точное описание не может дать настоящего понятия о личности незабвенного кн. Шаховского: эти анекдоты надобно разыгрывать, а не рассказывать. Я попытаюсь, однако, передать моим читателям одну из бесчисленных выходок нашего комика, которая случилась именно в этом году. В Москву приехала из Петербурга г-жа Ежова, чтобы сыграть несколько раз в пользу московской дирекции и потом получить бенефис, как это обыкновенно водилось, да и теперь водится. В репертуаре г-жи Ежовой, между прочим, назначена была небольшая опера «Любовная почта», уже несколько лет сочиненная кн. Шаховским и

давно не игранная на московской сцене. Сочинитель ее думал, что г-жа Ежова — совершенство в этой пиесе, и непременно требовал, чтобы ее сыграли. Актеры подучили свои роли, назначили репетицию, и мы с Писаревым отправились в театр вместе с кн. Шаховским. Он с самого начала был уже недоволен плохим знанием ролей и вялым ходом репетиции; она шла на сцене Большого театра. Сначала кн. Шаховской несколько раз вскакивал с своих кресел, подбегал то к тому, то к другому актеру или актрисе, стараясь ласкою, шуткою и собственным одушевлением оживить, поднять тон действующих лиц; так, одному говорил он: «Василий Петлович, ты, кажется, устал; велно, позавтлакал и хочешь уснуть. Ведь ты не слыхал, что тебе сказал Федор Антоныч. Ведь он тебя обидел, а ты не сердишься...» Тут Шаховской начинал повторять прерванную речь из роли Василья Петровича, немилосердно коверкая и совершенно перевирая слова собственной своей пиесы. — Трудно было удержаться от смеха. — Молодая актриса, игравшая роль любовницы, говорила с спокойным видом, как показалось кн. Шаховскому, о своем весьма затруднительном положении. Шаховской вспыхнул: «Дусенька, — закричал он, — ну как же тебе не стыдно, как же тебе не глешно, ведь тебе совсем не жаль человека, который тебя так любит, ты, велно, забыла о нем, ведь ты подумала, что сказываешь урок своей мадаме [1], а ты вообрази, что это N. N.», — и он назвал по имени человека, к которому, как думали, была неравнодушна молодая актриса... Тут уже никто не мог удержаться от смеха. Вялое пенье хора, тогда как он должен был выражать живое и горячее волнение, окончательно взбесило Шаховского. Он бросился в толпу хористов, передразнивая то того, то другого, называя их блинниками, сапожниками и показывая собственным примером, как надобно петь и выражать живое сочувствие к тому, что поешь. Это было уже до того смешно, что мы с Писаревым уходили хохотать за кулисы. Наконец, видя безуспешность своих стараний, Шаховской присмирел, впал в немое отчаяние и уже не говорил ни одного слова. Репетиция тянулась по-

[1] Актриса была из театральной школы.

прежнему вяло. Игрою Катерины Ивановны Ежовой кн. Шаховской также был недоволен и тихо бормотал, что не узнает ее. Вдруг пришла сцена, в которой Ежова должна была петь какую-то длинную арию. Актриса несколько раз ошибалась. Шаховской, сидя в креслах, только кланялся ей при всякой ошибке; он молчал, но лицо его выражало такую комическую скорбь, что поистине было и жалко и смешно смотреть на него. Хотя г-жа Ежова коротко знала автора по петербургской сцене, привыкла к его безумным вспышкам и, будучи неуступчивого нрава, никогда ему не покорялась, а, напротив, заставляла его плясать по своей дудке, но в Петербурге она была дома, как будто в своей семье, здесь же— совсем другое дело; она сама приехала в гости в Москву, и сцена Большого Петровского театра, полная разного народа, казалась ей чужой гостиной. Ежова, видимо, сконфузилась наружным спокойствием Шаховского, зная, что это тишина перед бурей, забыла роль и, когда опять пришлось ей петь, запела стихи из другой оперы... Кн. Шаховской незаметно сполз с своих кресел, стал на колени и повалился ей в ноги. Репетиция остановилась. Шаховской долго не переменял своего положения, бормоча самым жалостливым, пискливым голосом: «Господи, за что ты меня наказуешь! Помилуй меня, грешного! Покорнейше благодарю, матушка Катерина Ивановна...» и вдруг, вскочив с бешенством разъяренного тигра, завопил диким, нечеловеческим, каким-то калибановским голосом: «Так это свои-то? свои-то... Сначаля! До завтра, сначаля!..» Это, наконец, становилось уже не смешно. На сцене было холодно, все были в шубах, в шляпах или шапках; Шаховской в одном фраке и с открытой головой; лицо его горело, слезы и пот катились по щекам, и пар стоял над его лысиной. Тогда мы все бросились к нему, стараясь его успокоить, — и как легко это было! В одну минуту прошло его бешенство, он просил прощенья у всех и сам первый смеялся над своими выходками. Никто не сердился, охотно простили авторскую горячность, возобновили репетицию сначала, и она сошла гораздо лучше. Одна Катерина Ивановна не простила и целый день при нас язвила своим неумолимым языком смирного уже, как овечка, жалкого кн. Шаховского. —

Таков был этот человек, на которого так много наклеветали добрые люди и который, конечно, более всех наклепал на себя сам. Я слыхал на него обвинения в том, что всегда было противно его чувствам и убеждениям. Я слышал, например, что Шаховского называли неверующим, а он был не только верующий, но очень богомольный человек, даже немножко ханжа, что не мешало, впрочем, проявляться иногда его невинному детскому кощунству, — остаток недавней эпохи, уже исчезавший. Я сам сначала, заметив его некоторые выходки, не хотел верить, что он так богомолен. Один раз Писарев спросил меня, знаю ли я, отчего у Шаховского на лбу коричневое пятно? Я отвечал, что не знаю, и Писарев рассказал мне, что кн. Шаховской каждый день, особенно по ночам, по нескольку часов молится богу, а как ему по толщине почти невозможно кланяться в землю, то он обыкновенно стоит на коленях и даже иногда лежит врастяжку и, крестя свой лоб, стукается им об пол. Я посмеялся и сказал, что это выдумка; но в непродолжительном времени вот что я увидел своими глазами: Шаховской любил в коротком приятельском обществе играть в карты; мы с Писаревым — тоже. У нас образовалась карточная приятельская игра. К нам пристали Загоскин, Кокошкин и другие. Обыкновенно мы играли в «мушку»; главным интересом игры была горячность Шаховского и Загоскина; нередко они до того ссорились, что казалось, и помириться нельзя: но чрез несколько минут они были друзья попрежнему. Один раз заигрались мы часов до двух утра. Простившись поспешно с хозяином, мы разъехались в разные стороны; со мной был Писарев; недалеко отъехав, я вспомнил, что забыл у Шаховского в кабинете нужную мне книгу; я воротился; по обыкновению, никого не нашел в лакейской, а также и в зале; заглянул к хозяину в кабинет и увидел, что он буквально лежит врастяжку, шепчет молитву и стукается лбом об пол. Я не захотел его встревожить, без книги воротился к Писареву и сказал ему, что он совершенно прав насчет коричневого пятна.

Мне пришел теперь на память очень смешной случай, почти современный сейчас мною рассказанному, который мог бы соблазнить всякого доброго человека, не коротко

знавшего кн. Шаховского, насчет его православия. Я уже говорил, что Мочалов то восхищал, то огорчал нас своей игрой. Один раз, когда давали комедию «Пустодомы», кн. Шаховской как-то опоздал и приехал в директорскую ложу Кокошкина к концу первого акта. Мы поспешили ему сказать, что сегодня Мочалов бесподобен, и Шаховской сел так, чтобы его не было видно. Зрителей было мало; Мочалов играл, как говорится, спустя рукава и был неподражаемо хорош. Какая натура, какая правда, простота, тонкость в малейших изгибах, в малейших оттенках человеческой речи, человеческих ощущений! Мы были просто поражены совершенством его игры. Чтоб не смущать Мочалова, Шаховской не показывался, а мы решились даже не ходить на сцену во время антрактов, как это обыкновенно бывало. В продолжение всей комедии кн. Шаховской то бесновался от восторга, то умилялся до слез. По окончании пиесы мы поспешили в уборную, где переодевался Мочалов, и восхищенный автор едва не бросился перед ним на колени. Шаховской обнимал, целовал в голову удивленного, недовольного собою Мочалова и дрожащим от радости голосом говорил: «Тальма? какой Тальма! Тальма в слуги тебе не годится: ты был сегодня бог!» — Через несколько дней после этого спектакля, когда Шаховской находился еще в упоении от игры Мочалова в роли князя Радугина, приехал в Москву из Петербурга какой-то значительный господин, знаток и любитель театра, давнишний приятель князя Шаховского. При первом разговоре о театре петербургский гость выразился как-то с неуважением о таланте Мочалова. Шаховской вспыхнул, превознес московского актера похвалами и, чтоб совершенно убедить своего старинного приятеля, упросил Кокошкина повторить комедию «Пустодомы». Зная хорошо Мочалова, мы скрыли от него причину скорого повторения комедии и, чтобы лучше обмануть и не смущать его, Шаховской даже не поехал на репетицию. В день представленья мы все собрались у Кокошкина в ложе; петербургского гостя усадили на почетном месте; Шаховской был весел, но вдруг смутился, когда кто-то прочел вслух афишу: вместо Ширяева, который очень хорошо играл роль Радимова, дебютировал в ней переходивший

из Петербурга на московскую сцену актер Максин-старший. Шаховской очень поморщился, потому что не жаловал этого актера, и пробормотал себе под нос: «Боюсь, боюсь я его плоповеди». Но Кокошкин поспешил его успокоить, уверяя честным словом, что Максин будет лучше, что он сам им занимался. Но, увы, беда произошла не от Максина: Мочалов как-то узнал, что его будет смотреть значительная особа из Петербурга, узнал, что Шаховской хочет похвастаться его игрою, и — *постарался*... Он был невыносимо дурен. Шаховской бесился, приписывая эту перемену новому актеру, который, правду сказать, был очень нелеп в своей роли. Каждое его слово и движение осыпал Шаховской бранью и проклятием. Наконец, совершенно вышел из себя и, когда Максин подошел поближе к директорской ложе, Шаховской, будучи уже не в состоянии говорить, начал высовываться из ложи и дразнить языком бедного актера. Кокошкин, схватив его за руки, усадил в кресла, в глубине ложи, и умиленным голосом произнес: «Помилуй, князь! Что ты делаешь? За что ты его обижаешь и конфузишь? Ведь он прекраснейший человек!» — «Федоль Федолычь», — бормотал, дрожа от бешенства, не помнивший себя Шаховской, — я лад, что он плекраснейший, доблодетельнейший человек, пусть он будет святой — я лад его в святцы записать, молиться ему стану, свечку поставлю, молебен отслужу, да на сцену-то его, лазбойника, не пускайте!..» Ну, что должен был подумать о религиозности князя Шаховского человек, не совершенно близко его знающий? Конечно, чрез минуту Шаховской уже крестился и вопил: «Господи! плости мое соглешение!» И мы уже знали, что он мысленно клал на себя эпитимью из нескольких десятков лишних поклонов!

Впрочем, добродушие кн. Шаховского, его страстная, бескорыстная любовь к театру и сценическому искусству были так известны всем, что никто не сердился за его безумные вспышки, да и нельзя сердиться на того, кто смешит. К этому надобно прибавить, что припадки бешенства проходили у него мгновенно и заменялись самым любезным и забавным раскаяньем; он так умел приласкать или приласкаться к обиженному им лицу, что нельзя было не простить и даже не полюбить его от души.

Начинаю продолжение моих «Воспоминаний» пополнением сделанного мною пропуска. Я ни слова не сказал о замечательном спектакле, которого был самовидцем в 1826 году, вскоре по приезде в Москву. Это был спектакль-гратис[1] для солдат и офицеров. Фрака не было ни одного в целом театре, кроме оркестра, куда иногда и я приходил; остальное же время я стоял или сидел за кулисами, но так глубоко, чтобы меня не могли увидеть из боковых лож. Спектакль этот шел 13 сентября. В шесть часов вечера я приехал в театр. Ни одного экипажа не стояло около него. Я заглянул в директорскую ложу и был поражен необычайным и невиданным мною зрелищем; но чтоб лучше видеть полную картину, я сошел в оркестр: при ярком освещении великолепной залы Большого Петровского театра, вновь отделанной к коронации, при совершенной тишине ложи всех четырех ярусов (всего их находится пять) были наполнены гвардейскими солдатами разных полков; в каждой ложе сидело по десяти или двенадцати человек; передние ряды кресел и бельэтаж, предоставленные генералам, штаб- и обер-офицерам, были еще пусты. Скоро стали наполняться и они, кроме последних двух рядов кресел, которые наполнились вдруг перед самым приездом государя. Всего более поражала меня тишина, которая безмятежно царствовала при таком многочисленном стечении зрителей; даже на сцене и за кулисами было тихо или по крайней мере гораздо тише обыкновенного, несмотря на то, что все актрисы и актеры, танцовщицы, хористы и проч. были давно одеты и толпились на сцене. Некоторые посматривали сквозь занавесь на чудный вид залы и лож, полных невиданными зрителями в разноцветных мундирах, сидящими неподвижно, как раскрашенные восковые фигуры. Все служащие при театре, которым следовало тут присутствовать, были в мундирах. Наконец, пробежал слух, что сейчас приедет государь, и Кокошкин, Загоскин и Арсеньев поспешили его встретить у подъезда. Через несколько минут в боковую малую императорскую ложу вошел государь и, не показываясь зрителям, сел на кресло в глубине ложи; в большой цар-

[1] Бесплатный (*лат.* gratis).

ской ложе помещались иностранные послы. По данному знаку загремел оркестр и через несколько минут, не дожидаясь окончания увертюры, поднялась занавесь и началась известная, очень забавная комедия князя Шаховского «Полубоярские затеи», за которою следовал его же водевиль «Казак-стихотворец». Я слышал, что обе пиесы были назначены самим государем. Тишина не прерывалась, и я не могу описать, какое странное действие она на меня производила. На сцене кипела жизнь, движение, звучали людские речи, а кругом царствовали безмолвие и неподвижность! Если б пиеса давалась в пустом театре, то это было бы естественно; но театр был полон людьми от верху до низу. Я сидел в самой середине оркестра и видел, что государь часто смеялся, но не хлопал — и ни малейшего знака одобрения или участия не выражалось между зрителями. Все актеры, начиная со Щепкина, игравшего главную роль Транжирина, до последнего официанта, все играли совершенно свободно; а Щепкин, как говорили видавшие его прежде в этой роли, превосходил самого себя. Я не удивлялся Щепкину: это такой артист, для которого зрители не существуют; но я удивлялся всем другим актерам и актрисам. Я думал, что эта подавляющая тишина, это холодное безучастие так на них подействуют, что пиеса будет играться вяло, безжизненно и роли будут сказываться наизусть, как уроки, которые сказывают мальчики, не принимающие в них никакого участия, стоя перед своим строгим учителем; но комедия шла живо и весело, как будто сопровождаемая теплым сочувствием зрителей. Пиесы кончились точно так же тихо, как и начались. Государь уехал; театр ожил, зашумел, зрители в ложах встали и стройно, без всякой торопливости и суеты, начали выходить. Я поспешил увидеть, как эти маленькие, отдельные кучки станут соединяться в толпы, выходя из театра. Все происходило в удивительном порядке. Я сел на дрожки и отправился в свою Таганку. По всей дороге я обгонял множество солдат, идущих уже вольно и разговаривающих между собою. Это тоже было необыкновенное зрелище. В глухом гуле и мраке ночи, по улицам довольно плохо освещенной Москвы, особенно когда я переехал Яузу, по обоим тротуарам шла непрерывная толпа людей, веселый

говор которых наполнял воздух. Солдаты шли по одной со мной дороге; они жили в Крутицких казармах [1]. Я поехал шагом, желая вслушаться в солдатские речи, но в общем говоре мало долетало до меня отдельных выражений. Я думал, что виденный сейчас спектакль будет единственным предметом разговоров, но я ошибся: солдаты говорили, судя по долетавшим до меня словам, о своих собственных делах; впрочем, раза два или три речь явственно относилась к театру, и я слышал имя Щепкина с разными эпитетами «хвата, молодца, лихача» и проч. Иногда они сопровождались такими прилагательными, которые в других случаях имеют смысл бранных слов; но здесь это были слова похвальные или знаки восклицания, которыми русский человек очень энергически любит украшать свою речь. Впечатление виденного мною спектакля долго владело мною и навело меня на множество размышлений. Можно себе представить, какое действие произвело это зрелище на иностранцев!..

Приехав в Москву, уже при первом свидании с Писаревым я был поражен его худобою, бледностью и кашлем. Не говоря Писареву, как известно моим читателям, о моих опасениях, я, разумеется, переговорил о них со всеми нашими общими друзьями; но все были удивлены моими тревожными замечаниями и уверяли меня, что Писарев худ и бледен всегда, что кашель его чисто нервный, что он иногда, особенно по летам, совершенно проходит, что Писарев прибегал раза два к помощи театрального доктора N., «прекраснейшего человека» (заметил Кокошкин), и что тот никакого значения его кашлю не придавал. Спокойствие лиц, уверенность, с какою были сказаны эти слова, и даже улыбка, с которою смотрели на мою тревогу, заставили меня подумать, что я, занимаясь в деревне постоянно лечением больных, перенеся жестокие потери в моем семействе, сделался мнителен и смотрю на такого рода предметы с темной стороны. Я расспросил легонько и осторожно Писарева,

---

[1] Разумеется, это была часть солдат, бывших в театре: некоторым пришлось возвращаться в лагерь на Ходынке.

нет ли у него каких-нибудь лихорадочных явлений, и, получив положительно отрицательный ответ, совершенно успокоился. Но всю зиму, с 1826 года до весны 1827 года, Писарев не переставал кашлять. К весне кашель его даже усилился, и я возил его к моему доктору М. Я. Мудрову, с которым я и все мое семейство были давно знакомы и дружны и который не переставал слыть в Москве знаменитым практическим врачом. Мудров тоже не нашел ничего важного, прописал какое-то лекарство, спокойствие духа, умеренность в умственных занятиях и проч. Лекарство было Писареву очень полезно, и весною он совсем выздоровел.

В продолжение зимних месяцев 1827 года прежде других пиес, именно 7 января, шел, переведенный Писаревым с французского, премиленький водевиль «Дядя напрокат», о котором я уже упоминал. Этот водевиль, превосходно разыгранный лучшими московскими артистами, памятен мне по особенному обстоятельству. — После какой-то скучноватой пиесы стояли мы с Писаревым на сцене в ожидании, когда все будет готово для начинания водевиля. Глядя на все, вокруг нас происходившее, я говорил Писареву о темных сторонах театрального мира и в особенности закулисной сферы. Писарев качал головой и молча не соглашался со мною; вдруг окружили нас одетые в свои костюмы Щепкин, Рязанцев, Сабурова [1] и Н. В. Репина, которая была тогда украшением московской сцены в водевилях и даже в комических операх [2]. Каждый из них с живостью и одушевлением обратился к Писареву, показывал, как он хорошо одет, и спрашивал, доволен ли автор? (Переводчика всегда актеры называют автором.) Писарев расхвалил всех, особенно Репину, которая была очень мило и к лицу одета. В самом деле, все было придумано до

---

[1] Девица Сабурова, воспитанница театральной школы, с прекрасным сопрано, подавала большие надежды не только как певица, но и как актриса. Она вышла потом за известного оперного актера г. Лаврова, стала редко являться на сцене и довольно скоро умерла.

[2] В известной комической опере «Невеста» г-жа Репина превосходно играла эту роль и ясно доказала, что она могла бы быть прекрасной драматической актрисой.

последней мелочи, чтобы придать наружную характерность представляемому лицу. Во всех была видна забота, любовь к делу, желание угодить автору. Все актеры горели нетерпением начать водевиль, предвещая Писареву блистательный успех и вызов... Когда раздались слова режиссера: «Пожалуйте со сцены!» — Писарев, слушавший живые речи артистов как будто с равнодушием, но тронутый до глубины души, что выражалось особенною бледностью его лица, крепко сжал мою руку, увел меня за дальнюю декорацию и сказал голосом, прерывающимся от внутреннего волнения: «Вот с какими людьми я хочу жить и умереть, — с артистами, проникнутыми любовью к искусству и любящими меня, как человека с талантом! Стану я томиться скукой в гостиных ваших светских порядочных людей! Стану я умирать с тоски, слушая пошлости и встречая невежественное понимание художника вашими, пожалуй, и достопочтенными людьми! Нет, слуга покорный! Нога моя не будет нигде, кроме театра, домов моих друзей и бедных квартир актеров и актрис, которые лучше, добрее, честнее и только откровеннее бонтонных оценщиц, с презрением говорящих о нравах театральной сволочи». Писарев час от часу становился бледнее, глаза его горели, он почти дрожал. Я едва мог его успокоить и увести в директорскую ложу. Водевиль шел очаровательно. Писарев холодно улыбался и от времени до времени говорил: «Надобно обнять Щепкина, Репину и Рязанцева». По окончании водевиля публика с неистовым восторгом вызвала переводчика и потом всех актеров. Возвращаясь домой, подумал я: крепки нити, привязывающие Писарева к театру, и никто не оторвет его от обольстительной сферы сценического мира.

Тринадцатого января, в бенефис актрисы г-жи Борисовой, была дана большая трилогия князя Шаховского «Керим-Гирей», взятая из «Бахчисарайского фонтана» с удержанием многих стихов Пушкина. Общего успеха она не имела, но многие места были приняты публикой с увлечением. Надобно сказать правду, что, несмотря на излишнюю плодовитость и болтовню князя Шаховского, несмотря на невыгодное соседство стихов Пушкина, в трилогии встречаются целые тирады, написанные силь-

ными, живыми, звучными стихами, согретыми неподдельным чувством. Мочалов, игравший Керим-Гирея, не один раз увлекал публику своим огнем и верным чувством. В той же сцене, где он, напав на замок польского магната, предавая все огню, мечу и грабежу татар, вдруг увидел Марию и оцепенел от удивления, пораженный ее красотою, Мочалов, в первое представление пиесы, был неподражаем! Долго не могла публика удержать себя от восторженных рукоплесканий. Но, увы, никогда уже потом Мочалов не был так хорош в этой сцене! Чем более он старался, тем выходило слабее, безжизненнее. Итак, это был только сценический порыв, не подвластный актеру, улетевший без следа!

Бенефис г-жи Синецкой, бывший 27 января, заканчивался небольшим водевилем Писарева, также переведенным с французского: «Две записки, или Без вины виноват». Этот водевиль слабее других писаревских водевилей, но куплеты, как и всегда, были остроумны, ловки и метки. Переводчик был вызван.

Щепкин дал в свой бенефис (4 февраля) очень большую комедию в прозе (подражание английской комедии «The way to keep him») под названием «Школа супругов», переведенную с французского Кокошкиным. Комедия имела много существенных достоинств, но была тяжела, длинна и наскучила публике. Мочалов, поистине неподражаемый в тех местах, где, без его ведома, находило на него вдохновение свыше, играл в этой пиесе весьма серьезную и необычайно большую роль. Он знал ее наизусть (как и все свои роли) с удивительной точностью и во многих местах был так хорош, что Шаховской, ставивший пиесу, удивлялся ему. У него в роли находился один монолог на семи страницах; казалось, не было возможности высказать его публике, не наскучив ей. Шаховской намеревался обрезать эту рацею на две трети, но, услышав, на первой репетиции, как Мочалов читал свой семистраничный монолог, Шаховской не решился выкинуть из него ни одной строчки; ему захотелось сделать опыт: как примет публика эту *длинноту*? Не почувствует ли она истину и простоту игры

Мочалова? Он не ошибся. Во время представления пиесы Мочалов превосходно разрешил эту мудреную задачу, и публика выслушала весь монолог с удовольствием и наградила актера продолжительным рукоплесканьем. Эту пиесу, кажется, давали еще один раз, и опять длинный монолог сказан был Мочаловым превосходно. За комедией шел водевиль Писарева «Странствующие лекаря». Вопреки обыкновению водевиль был серьезного содержания, прекрасно написан и превосходно разыгран; но как публика после наскучившей ей комедии хотела и надеялась посмеяться, слушая писаревский водевиль, то и «Странствующие лекаря» были приняты холодновато; даже превосходные куплеты не поправили дела. Вот один из них, хуже других написанный, но имевший для публики особое значение. Щепкин, игравший одного из лекарей, передал этот куплет мастерски:

Все празднолюбцы-эгоисты,
Себя привыкшие любить,
Врали, педанты, журналисты
Однажды б только стали жить.
Но автор — честь своей отчизны,
Блюститель правого суда,
Герой, родясь однажды в жизни,
Не умирал бы никогда [1].

Публика обрадовалась нападению на журналистов, подразумевая в числе их издателя «Телеграфа», и заставила повторить куплет. Нам всем показалось, что публика своим одобрением выразила желание, чтоб Писарев продолжал свои злые выходки против Полевого.

В продолжение великого поста, по случаю закрытия театра, мы чаще ездили друг к другу. Все шло прежним порядком, и карточная эпидемия не ослабевала. Привычка — великое дело, и мы все скучали без театра. Для какого-то значительного лица, чуть ли не для главного директора императорских театров, проезжавшего

---

[1] Доктор говорит о том, что бы он сделал, если б имел средства продлить жизнь человеческую.

через Москву, Кокошкин, вместо рапорта о благосостоянии театра, составил два спектакля: один французский, а другой, школьный, русский. Во французском спектакле я в первый раз увидел водевиль «Кеттли» — и увидел с наслаждением. Роль Кеттли играла очень немолодая французская актриса Дюпарк; мне показалась игра ее очаровательною, — может быть, оттого, что я уже пять недель не был в театре и еще три недели не мог его видеть. Спектакль в театральной школе был очень замечателен. Многие воспитанники и воспитанницы обещали талантливых артистов или артисток. К сожалению, большая часть из них погибли рановременной смертью, в том числе девицы Карпакова и Лаврова; уцелели только Шумский, наш славный артист в настоящее время, и Куликова, теперешняя г-жа Орлова. В апреле замечательных спектаклей не было, кроме бенефиса в пользу сирот Рыкалова, составленного из двух пиес кн. Шаховского: «Буря», волшебное романтическое зрелище в трех действиях, из Шекспира, и «Адвокат, или Любовь-живописец», водевиль в двух действиях, подражание Мольерову «L'amour peintre». Ни та, ни другая пиеса не имела настоящего успеха, хотя в обеих было много недурного.

Наступала весна. После десятилетнего пребывания в Оренбургском крае, на вольном сельском воздухе, где не только весною, летом и осенью, но даже и зимой я, как страстный охотник, никогда не сидел взаперти, восьмимесячная жизнь безвыездно в Москве, несмотря на множество интересов, сильно меня занимавших, произвела на меня тяжелое впечатление; а весеннее тепло и роскошно распустившиеся в Москве сады и бульвары живо напомнили мне весну в деревне, и я с величайшим удовольствием принял предложение Кокошкина — уехать на несколько дней в его подмосковную вместе с ним, с Писаревым, кн. Шаховским, Верстовским, А. С. Пущиным, презабавным оригиналом, и еще двумя приятелями из нашего общества. Загоскин и Щепкин должны были остаться по делам театральным. Подмосковная называлась «Бедрино» и славилась старым парком, великолепным озером, в две версты длиною, и пловучими на нем островами. Писарев, написавший прекрасную эле-

гию «Бедринское озеро», с восторгом, к какому только был способен, хвалил мне эту чудесную, по его словам, местность. Вдобавок ко всему Бедринское озеро изобиловало рыбой, а Писарев был страстный охотник удить. Дождавшись самой лучшей погоды, запасшись рыболовными снарядами (хотя Писарев уверял меня, что в Бедрине хранится много прошлогодних, совсем готовых, удочек), мы весело отправились, в двух четвероместных колясках, в знаменитое Бедрино. Надобно было проехать верст тридцать по проселочной, весьма дурной и лесистой дороге. Товарищи мои жаловались на толчки; но я, когда пахнуло на меня свежим лесным воздухом, когда со всех сторон открылся не заслоняемый строениями горизонт, когда зелень полей и лесов обняла меня со всех сторон, — я пришел в упоение, несмотря на скудную подмосковную природу, кочковатую почву и незавидную растительность. Все смеялись надо мною, говоря, что дикий оренбурец помешался от радости, вырвавшись на простор из столичной тесноты, и применяли ко мне стихи Пушкина: «Мне душно здесь, я в лес хочу». Но Писарев не смеялся, а завидовал мне, завидовал силе и полноте моих впечатлений. Я не отвечал на приятельские шутки, а всю дорогу говорил только с Писаревым, описывая ему мою чудную родину. Он слушал меня неравнодушно и еще более завидовал мне.

Часа через три мы приехали в Бедрино. Местоположение было довольно плоское и обыкновенное, но огромная полоса воды светлела издали и красила все. Большой деревянный дом стоял на покатом пригорке, недалеко от края озера, весь окруженный зеленью распустившихся лип и берез. Старый и темный парк тянулся вверх по озеру, вдоль дорожки, которая живописно лепилась по самому краю берега. Прежде всего мне хотелось взглянуть хорошенько на воду; но гостеприимный хозяин желал показать мне дом, и я должен был сделать ему это удовольствие. Он вздумал было также показывать мне парк, объясняя, где и как он намерен устроить «воздушные спектакли», то есть спектакли на открытом воздухе, до которых Кокошкин был страстный охотник; но я попросил его объяснить мне все это после и побежал на

озеро: оно было огромно и величаво расстилалось в отлогих зеленых берегах своих. Озеро было точно очень хорошо — да и когда же вода не бывает хороша? Я сейчас догадался, что это был собственно пруд, потому что нижний конец его упирался в высокую, широкую, вековую, отлогую земляную плотину, засаженную деревьями. Она так срослась с берегами, что ее не вдруг можно было отличить. Спуска для вешней воды не было — вероятно, она текла через низкий край плотины, который соединялся в уровень с противоположным отлогим берегом. Без сомнения, теперешнее озеро было какое-нибудь болото, а может быть, и озеро с родниками, через которое весной текло много ручьев с полей: стоило только перегородить всю лощину плотиной, отчего и составилась двухверстная, вверху очень широкая полоса воды. Откуда же взялись пловучие острова, которые я увидел в разных местах? Для другого это был бы трудный вопрос; но я уже знал образование таких островов и сейчас решил, что это были отмокшие и отставшие края противоположного болотного берега. Удовлетворившись моим первым обзором, я поспешно воротился в дом и нашел Писарева, сильно озабоченного устройством удочек, а прочих моих приятелей и хозяина — занятых своим размещением и ожиданием завтрака, потому что мы выехали из Москвы довольно рано. Писарев называл их обжорами и звал меня ехать с ним на небольшой лодке, управляемой тутошним рыбаком, прицепиться к одному из островов, около которых всегда держатся окуни, и начать уженье немедленно. Я решительно не принял его предложения; я вообще боялся плавать на маленькой лодке, а здесь надобно было плыть по неизвестным водам и глубинам, с неизвестным мне кормчим. Я доказывал Писареву, что теперь уже одиннадцатый час и рыба брать не будет, что теперь лучше хорошенько позавтракать и отправиться целым обществом на большой, безопасной лодке погулять по озеру, посмотреть его хорошенько и выбрать место к завтрему. Писарев отвечал насмешкой над моей трусостью, схватил свои прошлогодние удочки и отправился удить один. Кокошкин был очень благодарен мне, что я не поехал. Он угостил зато меня и других роскошным завтраком

на прекрасной, широкой пристани, вдавшейся в воду и покрытой тогда тенью высоких дерев. Было тепло и свежо; кн. Шаховской, Верстовский и Пущин своею веселостью и шутками оживляли нашу полудеревенскую, оригинально помещенную трапезу. Много было всякой болтовни, безобидных шуток и смеха. Кокошкин беспрестанно декламировал наизусть разные стихи, даже отрывки из трагедий. Правду сказать, он даже надоедал нам своей декламацией. Он и дорогу всю читал, да и здесь продолжал читать. Орган у него был чудесный, грудь высокая и необыкновенно развитая, он мог декламировать с большим наружным жаром, не уставая, от утра до вечера; он находил в этом большое наслаждение и видимо утешался чисто взятыми верхними интонациями или полнотою грудных своих тонов. Надобно сказать, что его чтение с первого раза поражало и даже увлекало всех, что большинство людей, его слыхавших, считало Кокошкина первым, несравненным чтецом. На публичных чтениях, в Обществе любителей русской словесности, он был поистине великолепен: полнозвучный, сильный, приятный и выработанный голос его обнимал всю залу, и не было слушателя, который бы не слыхал явственно каждого слова, потому что произношение его было необыкновенно чисто. Но должно признаться, что истинного, сердечного чувства и теплоты в его чтении не было. Услыхав Кокошкина, несколько раз читающего одну и ту же пиесу, можно было сейчас это почувствовать: одинаковость приемов, одинаковость переходов из тона в тон, несмотря на наружный жар и даже подчас вызванные слезы, обличали поддельность и недостаток истинного чувства. А потому люди, никогда не слыхавшие или очень редко слушавшие Кокошкина, слушали его с восхищением или по крайней мере с удовольствием, а люди, составлявшие его почти ежедневное общество, со скукою и даже с досадою.

Окончив завтрак, согласно моему совету и желанию, мы отправились кататься по озеру на такой лодке, которая, кроме нас, могла бы поднять еще дюжину Шаховских. Погода стояла тихая, гребцы и кормщик были привычны к своему делу, и наша большая лодка легко скользила по гладкой водяной поверхности. Скоро мы

увидели острова с распустившимися деревьями, покрытые зеленою травою и молодым камышом. Они стояли в разных местах, точно корабли на якорях; к одному из них прильнула лодка Писарева, и мы поплыли было прямо к нему, несмотря на его маханье и крики, что мы отпугаем всю рыбу. Я упросил Кокошкина уважить беспокойство рыбака, подъехать к острову с противоположной стороны и, держась возле его края, тихонько подплыть к лодке Писарева. Так и сделали. Он был в большом волнении, показывая две оборванные удочки, уверял, что одну оторвал огромный окунь, а другую откусила щука. Я изъявил сомнение, потому что, попробовав крепость оборванных лес, увидел, что они перегнили, и доказывал Писареву, что такую лесу, при сильной неосторожной подсечке, оторвет всякая и небольшая рыба. Разумеется, Писарев не согласился и не верил мне; он отказался от привезенного ему завтрака, просил только оставить его в покое, называл меня не рыбаком, а дилетантом. Я не стал его уверять в противном, и мы отправились продолжать свою прогулку. Мы достигли верховья так называемого Бедринского озера, и, увидев, что в него впадал небольшой ручеек из соседнего болота и такие же два ручейка из парка, я убедился, что озеро имеет постоянную небольшую прибыль свежей, проточной воды. Вот отчего масса воды мало убывала в летние жары, отчего она не портилась, как это бывает в стоячих водах, и отчего подвергалась только обыкновенному летнему цветению.

Накатавшись досыта, осмотрев, по моей просьбе, противоположный болотный берег озера и все пловучие острова, налюбовавшись огромным зеркалом воды, которую начинал подергивать мелкой рябью южный ветерок, и опять-таки наслушавшись декламации Кокошкина, мы возвращались домой весело. Подъехав к Писареву, мы нашли его уже более склонным и к завтраку и к возвращению в дом. От ветерка остров начинал колебаться и двигаться, рыба не брала, солнце припекало рыбака, и Писарев, выудивший, однако, двух или трех окуней, пересел к нам в лодку. На возвратном пути я старался растолковать Писареву, что я истинный рыбак, что охота для меня не шутка, а серьезное дело, что я

или предаюсь ей вполне, или вовсе ею не занимаюсь, что охотничьих parties de plaisir [1] я терпеть не могу и что завтра, когда все собираются удить рано утром (то есть часов в восемь, а не в два, как следует), я решительно с ними не поеду под предлогом, что хочу удить с берега; выберу себе местечко под тенью дерев, для виду закину удочки, хотя знаю, что там ни одна рыбка не возьмет, и буду сидеть, курить, наслаждаться весенним утром, свежим воздухом и молодою пахучею зеленью недавно распустившихся деревьев. Писарев признавался, что не понимает меня, и сказал, что на заре уедет опять к островам, потому что бедринский рыбак обещал ему обильный клев.

В доме было прохладно, и мы, проведя несколько часов на солнце, очень обрадовались этой прохладе. Сначала все отдыхали, чувствуя какую-то приятную усталость, а потом всякий занялся тем, что ему было по вкусу: кто читал, кто пошел гулять; мы же с Писаревым занялись удочками. Я навязал ему несколько новых и крепких лес с крючками, грузилами, наплавками и поводками из струны, чтоб щуки не могли перекусить их: навязал, к сожалению, на старые, сухие и негнуткие удилища, потому что вырубать новых и сушить было некогда; приготовил и себе две удочки. Кончив свое дело, я предложил Кокошкину осмотреть его парк и выслушать его затеи. Кокошкин очень обрадовался моему предложению. Парк был нехорош. Мне показалось, что местами он был вырублен, но вековые аллеи остались, и некоторые были так широки, что Кокошкин хотел устроить в них сцену. Ему хотелось уладить два спектакля: ночной и денной; для ночного назначалась аллея, а для денного — небольшая круглая насыпь, под которой находились подвалы или ямы для хранения картофеля и разных других огородных овощей. «Милый! — говорил Кокошкин с увлечением, — на этой насыпи я поставлю деревеньку из *пратикаблей* [2], а бока засажу срублен-

---

[1] увеселительных прогулок *(франц.)*.

[2] Пратикабелью называется пристановочная, вырезанная декорация, представляющая отдельную избу, лестницу, дерево и т. п.

ными березками. Само собою разумеется, что занавесь будет не подниматься кверху, а раздергиваться на две стороны; на ней я прикажу нарисовать ту самую деревеньку в перспективе, которую зрители увидят на сцене; занавесь же в аллее будет представлять дремучий лес. В аллее пойдут отлично «Попугаи» Хмельницкого, а здесь, для денного спектакля, надобно выбрать пиеску, представляющую деревенскую улицу: таких пиес много. Разница между освещением солнечным и освещением лампами будет поразительна, и ты увидишь, как изменятся в твоих глазах одни и те же актеры и актрисы, особенно последние. Надобно признаться, что искусственный свет выгоднее для прекрасного пола и вообще для сцены. Я перевезу сюда театральную школу недели на две; это будет очень полезно для здоровья моих воспитанников и воспитанниц; девицам отдам весь дом, а сам с воспитанниками и гостями помещусь во флигеле, который для этого исправляют; другой же флигель, для московских дам, уже готов. Ты, конечно, милый, прогостишь у меня все это время». — Я отвечал Кокошкину решительно, что никак этого не сделаю, но что приехать на день или на два постараюсь. Кокошкин был очень недоволен, старался прельстить меня ночными катаньями по озеру с музыкою, пением и факелами, небольшими фейерверками на пловучих островах и проч. и проч., но я решительно отказался. Я дал слово приехать, если не будет препятствий, именно на первый спектакль, который назначался на 22 июля, в день именин его дочери [1], для которой воздушный театр будет сюрпризом. Походив, мы воротились довольно поздно и нашли уже накрытый стол хотя не на пристани, которую жгло уже яркое солнце, но все-таки на берегу озера, в густой древесной тени. Товарищи наши, несмотря на завтрак, про-

[1] В этот год мне не удалось исполнить мое обещание. Года через два или три, именно в это число, я был в Бедрине и видел денной и ночной спектакль на открытом воздухе. Я откровенно сказал Кокошкину, что оба спектакля произвели на меня неприятное впечатление, что это та же, противная мне, театральная partie de plaisir; Кокошкин удивлялся и остался в восхищении от своей выдумки. Впрочем, кроме меня, все были довольны, и мужчины и дамы.

голодались и ожидали нас с нетерпением. Обед шел живо, весело и даже шумно, как вдруг один из старинных слуг Кокошкина торжественно сказал ему: «Ваше превосходительство! острова приплыли посмотреть, как вы изволите кушать!» Мы оглянулись и сквозь ветви дерев увидели подплывшую флотилию островов. Мы вскочили из-за стола и сошли на берег: шесть островов, из которых некоторые были значительной величины, пригнанные легким ветерком, полукругом, тихо подходили к пристани. Мы приветствовали их громкими восклицаниями; хозяин потребовал шампанского, и мы отсалютовали прибывшим гостям полными бокалами. К вечеру острова подошли еще ближе к пристани, потому что тут вода была глубока; но когда село солнце и ветерок потянул от запада, острова как-то столпились и потом начали медленно отплывать: поутру они были уже на другом конце озера.

Мы отобедали поздно, когда уже наступал очаровательный майский вечер. Я вполне им наслаждался, но, судя по местности, как опытный рыбак и охотник, предвидел, что по захождении солнца будет сыро и прохладно. Я уговорил всех отложить вечернюю прогулку на лодке и просидеть вечер на пристани.

Общество наше уменьшилось. Мы потеряли самого приятного собеседника: Верстовский, как директор музыки при театре, должен был уехать в Москву. В Бедрине не было фортепьяно, и потому мы лишены были удовольствия слушать одушевленное пение Верстовского: без аккомпанемента он никогда не пел, отзываясь слабостью голоса. Кокошкин торжественно обещал, что к будущему нашему приезду будет привезена рояль.

Предвидение мое относительно позднего вечера вполне оправдалось; еще солнце не совсем зашло, как по болотистой стороне озера начали подниматься пары; точно, по лесу местами курился дымок и не шел кверху, а расстилался по земле. Скоро струи тумана побежали от берега по неподвижному зеркалу воды — и я увел насильно Писарева в дом, убеждая его и доказывая, что такая сырость для него очень вредна. Он плохо верил моим медицинским сведениям, но слушался меня из

дружбы. Через полчаса пришли к нам Кокошкин и все остальное общество. Туманная сырость заставила их последовать нашему примеру. Кокошкину непременно захотелось сделать конец вечера литературным, и за стаканами и чашками душистого чаю, с деревенскими сливками, началось чтение. Писарев прочел элегию «Бедринское озеро», которую Шаховской и еще двое из присутствующих не знали; прочел еще какие-то стихи. Я читал наизусть отрывки из моего перевода 8-й сатиры Буало; прочел также мою русскую идиллию «Рыбачье горе», которую Писарев очень любил. Пущин с удивительным искусством прочел несколько басен Крылова. Такой натуры и простоты чтения я ни у кого не слыхал, кроме как у самого Крылова. Пущин не был литератор, но писал очень легкие и забавные стихи. Кокошкин, разумеется, не остался в долгу. Он прочел нам рассказ откупщика из своей комедии «Воспитание» и новую басню, написанную им для чтения в первом собрании Общества любителей русской словесности. Названия басни не помню, но она начиналась стихом Державина: «Шекснинска стерлядь золотая» и проч. Шаховской ничего не помнил наизусть, но сказал нам, что он привез с собой начало своей комедии, еще никому не читанной, под названием «Игроки». Шаховской был известный полуночник и хотел было немедленно начать чтение новой своей пиесы; но было уже поздно, мы все были утомлены от наслаждения прекрасным весенним днем и просили автора отложить чтение до завтра. Кокошкин благословил нас на сон грядущий «во имя муз и Аполлона». Эта декламаторская выходка рассмешила всех.

Мы с Писаревым спали в одной комнате. Великого труда для меня стоило упросить его, чтоб он не ездил удить слишком рано, то есть до восхождения солнца. Он долго не соглашался. Я сам дал оружие против себя: я сказал ему, что самое лучшее уженье рыбы на заре. Теперь напрасно я уверял молодого моего друга, что это совершенно справедливо только в отношении к таким породам рыб, каких в Бедринском озере не водилось, как, например, язей, головлей, лещей и линей. Линей, как говорил тутошний рыбак, было много, только на удочку

они не шли. Я растолковал ему, что на глубине никогда линя не выудишь, что он держится в местах мелких, тинистых, в заливах, заросших травою, которая тогда едва начинала показывать свои верхушки в полоях пруда. Я должен был побожиться Писареву, что хищная рыба рано поутру не берет, а берет после восхождения солнца. По счастию, старый рыбак, тут находившийся, подтвердил мои слова, и Писарев согласился. Приказано было разбудить меня, когда солнышко станет в дерево вышиною.

Рыбак с точностью исполнил приказание и часа в четыре разбудил меня. Писарев крепко спал и не слыхал наших переговоров с рыбаком. Я проворно оделся и вышел на пристань. Чудное весеннее утро охватило меня приятною свежестью. Солнце, казалось, спешило на горизонт и торопливо укорачивало древесные тени, лежавшие с нашей стороны поперек озера. Не было и признаков сырости и тумана, только роса белела и светилась на деревьях и на траве. На несколько мгновений я пришел в какое-то упоение, но не Бедринское озеро расстилалось передо мною, а другие, более милые и дорогие мне места представились моему воображению. Я грустно очнулся и пошел к Писареву. Он тихо и крепко спал сном молодости и здоровья, как мне казалось; даже жалко было прервать такой спокойный сон; но, боясь, что он осердится, зачем разбудили его поздно, я разбудил его. Через четверть часа все было готово; я заставил Писарева сверх платья накинуть шинель, и он, полный охотничьих надежд, тем более, что старый рыбак достал мелкой рыбы для щук, нетерпеливо и весело отправился на уженье. Разумеется, все наше общество спало непробудным сном, хотя с вечера все решились встать рано, чтоб ехать удить; но как не было дано приказания, чтоб их разбудить, то я был уверен, что они проспят часов до восьми. Я взял свои удочки, табак и трубку, пошел по береговой дорожке, выбрал себе живописное местечко и уселся на нем, чтобы вполне насладиться прекрасным утром. Утро в самом деле было очаровательное: пение птичек заглушалось раскатами и щелканьем соловьев; с полей доносилось пение жаворонков; на противоположной, болотистой стороне токовали бекасы и свистали

погоныши. Я погрузился в сладкое самозабвенье, всю очаровательную прелесть которого можно чувствовать только после, в воспоминании. Но всему бывает конец, тем более такому блаженному состоянию, и я через час точно проснулся к действительности: бессознательно закинутые мною удочки лежали неподвижно, я почувствовал, что сидеть было сыро, и воротился назад, чтоб провесть остальное утро на пристани, в покойных креслах, и чтоб исполнить мелькнувшую у меня вечером мысль — попробовать, не будет ли брать там рыба: глубина была значительная. Но едва я только уселся и закинул свои удочки, как в доме послышался шум и громкие разговоры, люди бегали и суетились, к лодке пришли гребцы и кормчий. Я удивился, что мои приятели поднялись так рано: было только шесть часов. Я пошел в дом, и весело было смотреть, как торопливо вставали, одевались и в то же время пили чай и кофе мои любезные рыбаки. Они приветствовали меня радостными восклицаниями и горячими просьбами ехать вместе с ними, быть их наставником и руководителем в рыболовстве. К общему и неожиданному их удовольствию я согласился. Мне вдруг представилась мысль, как будут забавны Кокошкин, Пущин, а особенно Шаховской с удочками в руках! Я решился забыть об охоте и полюбоваться комическим зрелищем, напился и чаю и кофе — и мы отправились.

Я не имел причины раскаиваться, что согласился на просьбы моих товарищей. Я и теперь не могу вспомнить без улыбки тех забавных сцен, которые так наивно они передо мною разыгрывали. Прежде всего начался спор, у которого острова пристать. У всех были свои важные причины; но авторитет Кокошкина, как хозяина, более знакомого с местностью, получил перевес; мы подошли и привязались обоими концами лодки к самому длинному острову, более других заросшему лесом. С нами в лодке был мальчик для насаживания червей, очень хорошо знающий свое дело; но и здесь Кокошкину захотелось поумничать, и он велел насадить себе червяка совершенно не так, как надобно. Пущин последовал его примеру, и только Шаховской и двое других дилетантов благоразумно подчинились уменью и опытности мальчика. Все замолчали; несколько времени продолжалась

совершенная тишина, и я имел время произвесть наблюдения над лицами моих приятелей. Кокошкин стоял на ногах, приняв театральную позу какого-то героя. Он с важностью и уверенностью держал в одной руке удилище, а другою подперся в бок; небольшая его фигурка в большой соломенной шляпе была очень забавна. Пущин, в серой пуховой шляпе, сидел, завернувшись в шинель, положа удилище на край лодки, и зорко смотрел на свой наплавок, как на поставленную карту (он любил играть в банк). Шаховской представлял из себя большую копну сена, на которой лежала голова, покрытая белой фуражкой с длинным козырьком от солнца, из-под которого торчал длинный, птичий его нос, готовый, казалось, клюнуть подбородок; он не выпускал из рук удилища, но в маленьких и прищуренных его глазах можно было заметить, что он думает не об рыбе, а скорее о каком-нибудь действующем лице в своих «Игроках»... Тишина и спокойствие продолжались недолго. При первом колебании наплавка каждый спешил выхватить свою удочку и с жаром уверял, что у него сорвалась большая рыба. Я старался убедить их, что рыба и в рот не брала их червяков, что это трогала какая-нибудь маленькая плотичка или верховка задевала за лесу и даже за наплавок, около которого она всегда вертится. Приятели плохо верили моим словам, покуда многократные опыты не доказали, что они справедливы. Между тем один из гребцов, усевшись верхом на носу лодки, закинул одну из запасных удочек и вытащил порядочного окуня. Это обстоятельство разгорячило еще более моих рыбаков, а слова гребца, что он тогда потащил удочку, когда уже и наплавка не было видно, убедили их гораздо сильнее моих красноречивых уверений. Все решились последовать благому примеру и дожидаться, *покуда наплавка не будет видно.* Это могло бы иметь свою дурную сторону; но как здесь брали только окуни и щуки, то это безусловное правило было недурно. Вскоре успех увенчал терпенье, и несколько окуней было выужено; но зато охотники так разгорячились, подняли такой шум, крик и шлепанье удилищами по воде, что испугали и отогнали рыбу. Напрасное ожидание не замедлило наскучить им, и началось придумыванье разных

хитростей, как бы приманить рыбу; бросали хлеб, червей, листья и траву, которые доставали с острова, даже землю. Кто подвязывал наплавок к самому грузилу, кто удил вовсе без наплавка, кто болтал удилищем в воде, услыхав от одного из гребцов, что окуни бросаются на шум и на муть [1]; Кокошкин принялся было уже читать, думая подманить рыбу своей декламацией, а Шаховской пустился импровизировать забавную галиматью стихами, к чему он имел большую способность и чем иногда забавлял приятельское общество... Все это было очень смешно и забавно, но, наконец, мне наскучило, я громко стал требовать возвращения домой, где ожидал нас завтрак: сейчас избитое сливочное масло, редис, только что вынутый из парника, творог, сметана, сливки и прочее. Требования мои были уважены. На возвратном пути мы заехали к тому острову, где виднелась лодка Писарева, но ее уже там не было; гребцы наши сказали, что лодка уже у пристани, куда и мы поспешили.

Писарев встретил нас с сияющим лицом. Лов был удачен, и рыба клевала очень хорошо; он поймал двух щук, из которых одну фунтов в шесть, и десятка полтора окуней; в числе их были славные окуни, с лишком по фунту. Писарев обнимал и благодарил меня за удочки. «Всем тебе обязан, — говорил он, — а у моего товарища две удочки откусили щуки, а третью оторвал большой окунь». Вся добыча была отправлена к повару для приготовления к обеду.

После завтрака Шаховской напомнил нам о своих «Игроках», и мы изъявили общее желание его слушать. Надобно предварительно сказать, что слушать чтение Шаховского было дело не легкое, особенно если он читал по черновой рукописи. Мы испытали это уже не раз. По большей части случалось так, что Шаховской начинал читать свою пиесу, чтоб *«дать тон»*, как он говорил, и потом передавал ее Кокошкину или мне; разумеется, это делалось только в таком случае, если рукопись была начисто переписана; но в настоящую минуту он притащил кучу листов такого маранья, что мы заранее пришли в

---

[1] Это справедливо, но делается только на местах мелких.

ужас: очевидно, что читать должен он был сам. Мы заметили Шаховскому, что трудно будет разбирать черновую рукопись, до такой степени испещренную поправками, до невероятности запачканную; но удержать его от чтения было уже невозможно. Он говорил: «Пелвый акт я сам пелеписал, и по нем будет холосо читать; втолой, плавда, не пелеписан, ну, да я лазбелу как-нибудь». Но, увы, набело переписанный первый акт похож был на самый первый черновой набросок. Шаховской весьма плохо разбирал его, заикался, плевал, перевирал стихи и слова: вместо «друг мой» говорил «труп мой», вместо «я отплачу тебе»—«я поплачу по тебе» и, наконец, рассердился на себя. Досталось бедной его лысине, которую он шлепал немилосердно. «Ну, сказите, ради бога, — вопил Шаховской, — есть ли в Лоссии какой-нибудь сапозник, какой-нибудь подлец, котолый бы писал так, как я! Ну, да тепель я посталаюсь», — и начинал стараться. От старанья выходило хуже; наконец, Шаховской поперхнулся, закашлялся и задохся. Я вызвался попробовать: не могу ли читать, покуда он отдохнет? Шаховской с радостью согласился, но читать не было никакой возможности: кроме скверненшего почерка, грубейших ошибок в правописании, знаков препинания или совсем не было, или они ставились наперекор человеческому смыслу. Я возвратил рукопись, сказав, что никак разобрать не могу. Шаховской сделал гримасу и стал продолжать чтение сам. За одним актом он промучил нас часа два. По несчастию, действующих лиц было множество и с презатейливыми именами; были князья и графы, и Шаховской, не разбирая их фамилий, беспрестанно употреблял фамилии своих знакомых — то граф Завадовский, то граф Комаровский, то князь Вадбольский! Невозможно было не хохотать! Князь Шаховской был тем хорош, что от всей души сам смеялся над собою. Наконец, кончился первый акт. Мы сидели в тени на берегу озера, ветерок продувал нас, и сидеть было прохладно, но Шаховской был весь в мыле, как добрая лошадь, проскакавшая десятка два верст. Мы уговаривали его отдохнуть, пройтись или даже полежать на стоявшей тут широкой садовой скамейке. Он пошел походить с нами по тенистой береговой дорожке; мы старались заговорить с ним о

другом: о постановке его пиесы кому-то в бенефис, о петербургских интригах против него, даже о Шекспире, о котором он никогда не мог довольно наговориться, но, увы, все наши хитрости были напрасны: через полчаса Шаховской сказал: «Ну, тепель я вам плочту втолой акт или хоть половину его. Вы слышали только изложение пиесы, а тепель начинается интлига». Делать было нечего, опять пошли к столу и сели вокруг Шаховского. Можно себе представить, каково было чтение второго акта, написанного на листах ненумерованных, да и слово «написанного» не идет сюда: это просто прыгали по листам какие-то птицы, у которых ноги были вымараны в чернилах; листов один к другому он не мог подобрать, и выходила такая путаница и ералаш, что, наконец, сам Шаховской, к общему нашему удовольствию, сказал: «Надо напелед листы лазобрать по порядку и пеленумеловать, но я рассказу вам интлигу». И начал рассказывать интригу, в которой мы, правду сказать, также ничего не поняли. По догадкам, дело состояло в том, что шайка мошенников-игроков приезжает на ярмарку, чтобы обыграть каких-то богатых князей и графов; сначала успевает в своем намерении, потом игроки ссорятся между собою и выводят друг на друга разные плутни. Молодые графы и князья их прощают и отпускают мошенничать по всей православной Руси. Шаховской просил нас сказать ему откровенно наше мнение о первом акте и о содержании пиесы. Кокошкин отделался тем, что по первому акту нельзя судить, но что, вероятно, в последних трех будет много комических сцен и что князь не может написать пиесы, в которой не был бы виден его талант; но мы, все остальные, мягче или резче, неблагоприятно отозвались о новой пиесе. Я откровенно сказал князю Шаховскому, что считаю оскорблением искусству представлять на сцене, как мошенники вытаскивают деньги из карманов добрых людей и плутуют в карты. Я был не совсем прав и не предчувствовал гоголевских «Игроков»; неясно и нетвердо понимал я тогда, что высокое художество может воспроизводить и пошлое и до известной степени низкое в жизни, не оскорбляя чувство изящного в душе человеческой. Некоторые нападали на спутанность и неясность отношений

между игроками, на стихи, изрубленные, как лапша, в разговорах действующих лиц; а Пущин сказал, что Шаховской только по слухам знает черных игроков и что язык у них и приемы совсем другие. Всех более впился в Шаховского Писарев и доказывал ему несообразность в определении характеров некоторых лиц и непоследовательность, неестественность в их поступках. Он даже говорил, что это не люди, а воплощенные мысли князя Шаховского, что это безжизненные куклы. Итак, бедный князь Шаховской, не привыкший к такому дружному и положительному охуждению, претерпел совершенное поражение. Он защищался, сколько мог, но крепко призадумался и приуныл. Как-то и все были, казалось, не очень довольны, что огорчили старика своею резкою искренностью [1].

Рано позавтракав, рано сели обедать, а после обеда все полегли спать, в том числе и я. Но мне не спалось; я взял себе в провожатые одного из бедринских старожилов и пошел осматривать противоположный, болотистый берег. Я нашел, что почти во всю длину озера или пруда, шириною сажен на сто, вплоть до небольшого возвышения, тянулось топкое, кочковатое торфяное болото, поросшее мелким лесом. Не имея длинных сапог, я не мог исследовать его сам, но мой спутник ходил по нем до самого озера; я увидел, что почва колыхалась и опускалась под его ногами, и чем ближе к воде, тем сильнее. Я убедился, что вода уже подмыла земляную поверхность этого болота, избитого окнами, или прососами, и что рано или поздно оно все превратится в плавучие острова, а вода займет его место до самого того возвышения, по которому я шел. Тогда-то Бедринское озеро, подумал я, будет поистине великолепно [2].

---

[1] Князь Шаховской не продолжал этой комедии и, конечно, хорошо сделал; но пролог к ней был где-то напечатан.

[2] Предсказанию моему не суждено было осуществиться. После смерти Кокошкина Бедрино перешло в другие руки, а может быть, в третьи и в четвертые. Теперь озеро спущено: в глубине лощины течет маленький ручеек, острова осели на дно и приросли к нему, а по всему логову прежнего бассейна, в иных местах до двенадцати аршин глубиною, населенного множеством рыбы, производится изобильный сенокос.

Я поспешил домой, чтобы поздравить Кокошкина с блестящею будущностью так горячо любимого им Бедринского озера; но, к удивлению моему, нашел все общество, занятое — картами. «Как,— сказал я,— и в деревне понадобились карты! Это верный знак, что пора в Москву; это значит, мы пресытились красотами весенней природы и всеми деревенскими удовольствиями». Я смутил моих приятелей своей ораторской выходкой, а сам в ту же минуту присоединился к ним и с увлечением занялся игрою. Впрочем, я поспешил сказать моим товарищам, что мы не деревенские жители, а городские гости, приехавшие в подмосковную полюбоваться природой, и что для нас простительно примешивать городские забавы к деревенским. Шаховской был удивительно забавен в игре! Он все хитрил и считал свои хитрости непроницаемыми, но их почти все отгадывали, кроме Кокошкина; Писарев же умел так искусно его подлавливать, что бедной лысине Шаховского и коричневому пятну на лбу доставались частые удары ладонью.

После игры я упросил Кокошкина и уговорил других, чтоб завтра воротиться в Москву не к вечеру, как предполагали, а к обеду. Все приняли мое предложение без всякого затруднения, даже охотно, как мне показалось. Я вспомнил, что у меня было нужное дело. Итак, решились на другой день только позавтракать в Бедрине. Писарев, сначала споривший со мною, соглашался с одним условием, чтобы завтра, часов в пять утра, я поехал с ним удить на большой лодке туда, где он удил сегодня. Я охотно согласился.

К большой радости Писарева, на другой день уженье было так же удачно и с большой лодки, как и с маленькой, особенно потому, что накануне было выброшено много снулой рыбешки и червей: это была отличная прикормка для хищной рыбы. Окуни и щуки точно дожидались нас, и в короткое время мы поймали также двух щук и более вчерашнего крупных окуней. Часу в двенадцатом мы отправились в Москву.

Дорогой мне стало как-то грустно, и я мало принимал участия в веселых разговорах моих спутников. Бедринский парк, озеро, пловучие острова, весеннее утро,

соловьиные песни и токование бекаса вытеснялись другими воспоминаниями, поднимавшимися со дна души. Я полон был этой борьбой. Но только въехали мы в Рогожскую заставу, только обхватил меня шум, гам и говор, только замелькали передо мною лавочки с калачами и цирюльни с безобразными вывесками, только запрыгала наша коляска по мостовой, как мгновенно исчезли и новые и старые воспоминания и мне показалось, что я не выезжал из Москвы: два дня, проведенные в деревне, канули в восемь месяцев московской жизни, как две капли в стакан воды.

Прежняя московская жизнь потекла своим обыкновенным порядком. Каждую неделю, в известные дни, собиралось все наше общество у Кокошкина, у Шаховского и у меня; но видались мы ежедневно, даже не один раз. Загоскин и Щепкин завидовали нашему пребыванию в Бедрине, о котором мы все отзывались с удовольствием, а Писарев с восторгом.

Служащие при театре Кокошкин, Загоскин и другие разумеется бывали в нем ежедневно: утром в конторе, вечером в спектакле. Но и мы с князем Шаховским почти от них не отставали. Внимание Писарева было тогда особенно обращено на бенефис двух танцовщиц, Ивановой и Заборовской, для которого он написал оперу-водевиль в трех действиях, заняв содержание у Фавара: «Пастушка, старушка, волшебница, или Что нравится женщине». Одна из танцовщиц играла тут говорящее лицо. Кн. Шаховской, усердно помогавший Писареву, написал для этого бенефиса вольными стихами «Урок женатым», комедию в одном действии, и «Бенефициант», премиленькую комедию-водевиль также в одном действии. Причина горячего участия Писарева в этом спектакле, конечно, мне и другим была известна; но, к несчастию, ничто не могло поколебать его безумного увлечения. Этот бенефис шел 20 мая. Писарев до истощения сил хлопотал, чтобы вдохнуть жизнь в игру хорошенькой, очень мило танцующей куклы — но, увы, понапрасну! Сам же он считал себя Пигмалионом, а в ней видел Галатею.

Теперь время сказать, какой имело успех мое намерение сблизиться с Мочаловым, сблизить его со всем

нашим кругом и через это сближение быть ему полезным. Увы, никакого успеха не имело мое доброе намерение! Мочалов был одарен великим талантом; но сам был уже неспособен к усовершенствованию своего таланта. Гром рукоплесканий и восторги публики совершенно его испортили. Он не любил бескорыстно искусства, а любил славу; он не верил в труд, в науку и хорошо знал, что как бы он ни играл свою роль, не только одно вдохновенно сказанное слово, но всякая горячая выходка увлечет большинство зрителей и они станут превозносить его до небес. Он был в этом прав и доказал нам свою правость на факте, который превзошел даже его собственные ожидания. Не помню, в какой-то новой переводной пиесе Мочалов играл большую и трудную роль. Он играл совсем не то, что следовало, но публика осыпала его рукоплесканиями и единодушно вызвала по окончании пиесы. Торжествующий Мочалов, увидя на сцене Шаховского, подлетел к нему с низкими поклонами (он чрезвычайно уважал графов, князей и генералов, особенно военных, которых даже боялся) и сказал: «Ваше сиятельство, хотя публика удостоила меня лестного одобрения-с, но мнение вашего сиятельства для меня всего дороже-с. Может быть-с, я не всю роль играл правильно. Удостойте меня вашими замечаниями». Шаховской отвечал ему: «Хоть публика тебя, любезный Павел Степаныч, и вызвала, но ты иглал челт знает кого». Шаховской сказал эти слова мимоходом и сейчас ушел. Мочалов обратился ко мне и Писареву и просил растолковать ему, отчего князь им недоволен. Мы растолковали, и на этот раз показалось нам, что он нас понял. «Извольте, — сказал он нам, — я исполню ваше желание-с и послезавтра сыграю эту роль точно так, как вы требуете». На другой день он прочел мне всю роль вполголоса, но со всеми интонациями; я был чрезвычайно доволен. На третий день он сыграл два первые акта точно так, как обещал; но публика, встретив его громкими рукоплесканиями, в продолжение двух актов уже ни разу ему не хлопнула. Мы все, сидя в директорской ложе, любовались Мочаловым и сердились на публику. Наконец, в третьем акте, в средине сильной сцены, которая была ведена прекрасно, а публикой принимаема

равнодушно, Мочалов взглянул на меня, потряс немного головой, поднял свой голос октавы на две и пошел горячиться. Это был совершенный разлад и с прежней его игрой и с характером роли, но публика точно проснулась и до конца пиесы не переставала аплодировать. Увидав меня на сцене, Мочалов сказал мне: «Виноват-с, не вытерпел; но, Сергей Тимофеич, ведь актер-с играет для публики. Пять, шесть человек знатоков будут им довольны-с, а публика станет зевать от скуки и, пожалуй, разъедется; поверьте, что сегодня не дослушали бы пиесы, если бы я-с не переменил игру». Он был неоспоримо прав. Я пожал только плечами и сказал, что это правда, но очень горькая. В заключение Мочалов просил меня не пересказывать его последних слов князю Шаховскому (которому сейчас говорил другое); он его как-то побаивался.

Мочалов был не довольно умен, не получил никакого образования, никогда не был в хорошем обществе, дичился и бегал его; бог знает из каких расчетов женился он на дочери какого-то трактирщика, потом бросил жену и пил запоем. Сначала он хаживал ко мне только рано по утрам, чтоб ни с кем у меня не встретиться. Мы читали с ним друг другу то Пушкина, то Баратынского, то Козлова, который ему почему-то особенно нравился. Много говорили о театре, о сценических условиях, о той мере огня и чувства, которою владели славные актеры; но я видел, что, несмотря на ответы Мочалова: «да-с, точно так-с, совершенно справедливо-с» — слова мои отскакивали от него, как горох от стены. Один раз Мочалов пришел ко мне в таком виде, что я должен был вывести его насильно, и с тех пор он у меня в доме уже не бывал.

Во время наших приятельских обедов и вечеров редко обходилось дело без карт; но сначала обыкновенно что-нибудь читали или слушали музыку. Иногда Писарев читал свои стихи, которых, впрочем, он стал писать гораздо менее. Он прочел также переведенное им в трех актах какое-то драматическое представление для будущего бенефиса Щепкина — «Пятнадцать лет в Париже». Пиеса показалась мне скучновата. Но зато водевиль «Пять лет в два часа, или Как дороги утки», переведенный

им для бенефиса Синецкой, всех нас заставил хохотать и восхищаться куплетами. В это время Писарев был особенно занят, по поручению Общества любителей русской словесности, сочинением похвального слова уже несколько лет умершему Капнисту: разумеется, и оно было прочтено нашему ареопагу. Но по большей части читали на этих вечерах стихи Шаховского, который, кроме своих театральных сочинений, имел время и несчастную претензию писать патриотические стихотворения[1]. Одно из них, чрезвычайно длинное, в котором описывалась война 12-го года и торжество русских в Париже, ужасно надоело мне. По несчастию, чтение мое нравилось автору, и я читал его тетрадищу плохих стихов не один раз. А что всего несноснее — бывало, прочтешь около половины, как вдруг войдет новый гость, и Шаховской непременно скажет самым умильным голосом, с нежностью смотря мне в глаза: «Селгей Тимофеич, да мы повтолим для него сначаля», и я, проклиная нового гостя и Шаховского, повторял сначала. На таких собраниях был прочтен, каждый раз по одному акту, мой прежний перевод Мольеровой комедии «Школа мужей», по возможности мною выправленный и отданный на следующий бенефис Щепкину, который тосковал по Мольере и вообще по ролям, требующим работы. Я обещал ему перевесть на следующий год Мольерова «Скупого» и сдержал мое обещание.

Слушали мы, и с наслаждением, музыку и пение Верстовского. Его «Бедный певец», «Певец в стане русских воинов», «Освальд, или Три песни» Жуковского и «Приди, о путник молодой» из «Руслана и Людмилы», «Черная шаль» Пушкина и многие другие пиесы чрезвычайно нравились всем, а меня приводили в восхищение. Музыка и пение Верстовского казались мне необыкно-

---

[1] Шаховской имел слабость придавать большую цену своим лирическим стихотворениям. В 1830 году я напечатал в «Московском вестнике» статью о заслугах кн. Шаховского в русской литературе, где, отдавая ему должную справедливость, я сказал, что лирические его стихотворения плохи. Кн. Шаховской очень осердился. Хотя поистине он должен был благодарить меня, потому что никто не говорил о нем печатно доброго слова. Статейку мою я помещаю в «Приложениях».

венно драматичными. Говорили, что у Верстовского нет полного голоса; но выражение, огонь, чувство заставляли меня и других не замечать этого недостатка. Один раз спросил я его: «Отчего он не напишет оперы?» Верстовский отвечал, что он очень бы желал себя попробовать, но что нет либретто. Я возразил ему, что, имея столько приятелей-литераторов, хорошо знакомых с театром и пишущих для театра, нетрудно, кажется, приобресть либретто. Верстовский сказал, что у всякого литератора есть свое серьезное дело и что было бы совестно, если б кто-нибудь из них бросил свой труд для сочинения ничтожной оперы. Я, однако, с этим не согласился и при первом случае напал на Кокошкина, Загоскина и Писарева: для чего никто из них не напишет оперы для Верстовского, когда все они, да и вся публика, признают в Верстовском замечательный музыкальный талант? Мне отвечали самыми пустыми отговорками: недосугом, неуменьем и тому подобными пустыми фразами. Я расшумелся и кончил свои нападения следующими словами: «Послушайте, господа: я ничего никогда для театра не писывал: но ведь я осрамлю вас, я напишу Верстовскому либретто!» Кокошкин, с невозмутимым спокойствием и важностью, отвечал мне: «Милый! сделай милость, осрами!» Ободрительный смех Загоскина и Писарева ясно говорил, что они сочувствуют словам Кокошкина. По опрометчивости и живости моей я не сообразил, до какой степени это дело будет ново и трудно для меня, и вызвался Верстовскому написать для него оперу и непременно волшебную. Нечего и говорить, как был он мне благодарен. Напрасно ломал я себе голову, какую бы написать волшебную оперу: она не давалась мне, как клад. Я бросился пересматривать старинные французские либретто и, наконец, нашел одну — именно волшебную [1], и где были даже выведены цыгане, чего Верстовский очень желал. Мы оба придумали разные перемены, исключения и дополнения, и я принялся за

[1] Кажется, она называлась по имени главного действующего лица, волшебника, вызывающего духов, «Заметти». Много каламбурили над словом «Заметти», придавая ему русское значение.

работу. Первый акт я кончил и начал второй, который открывался цыганским табором. Дело кое-как подвигалось вперед... но я после, в своем месте, расскажу, чем кончилась моя работа и какие имела последствия.

В приятельской нашей игре в карты и беседах много происходило комических сцен между Шаховским и Загоскиным, хотя они горячо и нежно любили друг друга. Загоскин в свою очередь часто бывал смешнее Шаховского: младенческое простодушие, легковерие и вспыльчивость, во время которой он ничего уже не видел и не слышал, были достаточными к тому причинами. Часто посреди игры все мы остальные, положив карты, хохотали над ними до слез. Они беспрестанно спорили и ссорились, подозревали друг друга в злонамеренных умыслах, и нередко случалось, что один другого обвинял в утайке той карты, которая находилась у него самого в руках; но один раз случилось особенно забавное происшествие, впрочем не зависящее от карт. Ехали мы, то есть я, Кокошкин, Загоскин и Писарев, в условленный день на вечер к Шаховскому. Вдруг Загоскин говорит: «Надоел мне Шаховской своими стихами; опять что-нибудь будет читать. Я придумал вот что: как приедем, я заведу с ним спор. Скажу, что я сегодня прочел «Кумушек» Шекспира, и начну их бранить; скажу, что Шекспир скотина, животное, — Шаховской взбесится и посмешит нас своими выходками и бормотаньем. Между тем время пройдет; мы скажем, что слушать его стихов уже некогда, и сядем прямо за карты». — Мы охотно согласились, потому что как-то давно Шаховской с Загоскиным не схватывались и не бранились. Приехав к Шаховскому, мы нашли у него Щепкина и еще двух приятелей из нашего круга. Загоскин с первого слова повел свою атаку, и так неосторожно и неискусно, так по-топорному, что Шаховской сейчас сметил его намерение. Вместо того, чтоб разгорячиться, он весьма хладнокровно начал подсмеиваться над Загоскиным; сказал, между прочим, что с малолетными и с малоумными о Шекспире не говорят; что вся русская литература, в сравнении с английской, гроша не стоит и что такому отсталому народишку, как русский, надобно еще долго жить и много учиться, чтобы

понимать и ценить Шекспира. Шаховской знал, что ничем нельзя так раздразнить Загоскина, как унижением русского народа; знал, что он подносил горящий фитиль к бочонку с порохом. Так и случилось — последовал такой взрыв, какого мы и не видывали! Загоскин совершенно вышел из себя и не только уже от всей души принялся ругать Англию, Шекспира и Шаховского, но даже бросился на него с кулаками. Разумеется, его удержали. Он сейчас опомнился, и Шаховской, прищурив свои маленькие глаза и придав своему лицу, как он думал, самое насмешливое, язвительное выражение, сказал: «Ну что, блат, ты хотел меня лаздлазнить и потешить публику, а я смекнул делом да лаздлазнил тебя; только чул впелед не длаться». Друзья сейчас помирились, мы все досыта насмеялись, время было выиграно и цель достигнута: мы сели прямо за карты.

В июне, в бенефис Сабуровых, дана была комедия в одном действии князя Шаховского, заимствованная из Шекспира, «Фальстаф». Эта небольшая пиеса была написана очень остроумно, живо и весело. Шаховской роль Фальстафа отдал молодому актеру Сабурову и так же, как некогда в Петербурге от Сосницкого, требовал от Сабурова, чтоб он передразнил автора. Сабуров исполнил это и с поддельным брюхом, носом и лысиной, с перенятыми некоторыми ухватками Шаховского точно был на него несколько похож, но, видно, не так, как Сосницкий, — и Шаховской остался доволен. О других летних спектаклях не стоит и говорить.

В московской журналистике все было довольно тихо. В «Вестнике Европы», доживавшем последние годы своей жизни, появлялись выходки Каченовского «о купечестве в литературе» и о «Каланче», то есть о «Московском телеграфе». Полевой отвечал очень умеренно; перебранки между ним и Писаревым совершенно прекратились; но схватки издателя «Телеграфа» с «Сыном отечества» и «Северной пчелою» продолжались. Замечательное событие в журналистике 1827 года было появление «Московского вестника», учено-литературного

журнала, издаваемого г. Погодиным. Пушкин помещал в нем все свои новые стихотворения. В первой его книжке явился в первый раз известный отрывок из «Бориса Годунова». Сцена в монастыре между летописцем Пименом и иноком Григорием произвела глубокое впечатление на всех простотою, силою и гармонией стихов нерифмованного пятистопного ямба; казалось, мы в первый раз его услышали, удивились ему и обрадовались. Не было человека, который бы не восхищался этой сценой. Но, кроме литературных и ученых достоинств, «Московский вестник» был журнал честный. Критика его могла быть пристрастна, но никогда не основывалась на расчетах и никого не хвалила из видов. К удивлению моему, этот журнал, в котором, кроме стихов Пушкина, исключительно в нем помещавшихся, много было прекрасных статей самого издателя, а также гг. Хомякова, Шевырева, Веневитинова (скоро похищенного смертью), Венелина, Рожалина и других, не имел большого успеха. Разумеется, петербургские журналисты были против «Московского вестника».

Между тем приближалась осень; указ об учреждении отдельного цензурного комитета в Москве был давно уже подписан, и новый устав напечатан. Председателем комитета был утвержден кн. Мещерский, а я — цензором. Говорили, что третьим цензором будет С. Н. Глинка, с которым мои сношения как-то совсем прекратились. Наконец, в начале сентября приехал в Москву председатель нового цензурного комитета и привез с собой секретаря, Новикова, природного москвича. Я немедленно поехал познакомиться с моим председателем и товарищем: председатель был в то же время и цензор и никаких особенных прав не имел. Я нашел в кн. Мещерском чрезвычайно любезного, ловкого, умного и образованного человека; о нравственных его качествах я не имел никакого понятия и от всей души радовался такому товарищу, опытному, много служившему и все на свете знающему человеку, начиная от тайных придворных интриг до Пиндеттевских штук в картах. Председатель мой хотел немедленно открыть комитет и ежедневно тормошил для того университетское начальство; но известно, что старые ученые люди, занятые своими головоломными делами,

двигаются не очень поспешно. Оказалось, что для помещения нового цензурного комитета в университетских зданиях (как сказано было в уставе) нет места и что прежний цензурный комитет не приготовил к сдаче своего архива, своих текущих дел, запрещенных и неразрешенных рукописей и пр. Но кн. Мещерский был не такой человек, который стал бы ждать и останавливаться такими препятствиями. Взяв предписание от попечителя университета, бывшего командира гренадерского корпуса, генерал-лейтенанта А. А. Писарева, который был не то что начальник нового цензурного комитета, а какой-то ходатай, через которого производились сношения с министром, кн. Мещерский потащил с собою ректора, профессора Двигубского, по всем зданиям, принадлежавшим университету, и сейчас нашел удобное помещение в доме университетской типографии: нужно было только сделать какие-то поправки и небольшие переделки. Но чтобы не тратить времени в ожидании этих переделок, иногда очень медленных в казенных зданиях, мой председатель, живший на Воздвиженке, в великолепном доме графа Шереметева, с которым был очень близок, приказал управляющему отвесть в том же доме несколько комнат для временного помещения комитета, на что попечитель охотно согласился. Неготовность к сдаче дел также нисколько не остановила моего председателя, который, имея в руках предписание министра о немедленном открытии нового цензурного комитета, не отставал от попечителя до тех пор, покуда он не исполнил его требования. Сдачу же дел и архива положили сделать после. Итак, в исходе сентября в зале университетского совета или в правлении (хорошенько не знаю, только помню, что на столе стояло зерцало) собрались профессоры, члены старого цензурного комитета, под председательством своего попечителя, явились и мы с председателем и своим секретарем; прочли указ, предписание министра и наши утверждения в должностях. В другой комнате, в присутствии попечителя, привели нас к присяге. Сдали нам несколько бумаг, книг и рукописей, и затем попечитель и профессоры, поздравив нас с новыми должностями, раскланялись с нами и оставили нас одних. Председатель наш хорошо знал, что я и Новиков вовсе

не знакомы с канцелярским порядком, захотел позабавиться над нами и сказал: «Господин секретарь, извольте исполнять вашу должность». Новиков смотрел на него во все глаза, ничего не понимая, и, наконец, спросил: «Что будет угодно приказать?» Председатель обратился ко мне и сказал мне очень серьезно: «Сергей Тимофеевич, не угодно ли вам потрудиться и вразумить господина секретаря, в чем состоит его должность. Он, как видно, ее не знает». Я сначала немного смешался, но, зная, что кн. Мещерский большой шутник, предполагая и тут шутку, я, смеясь, отвечал ему: «Вы видите, что мы оба не знаем, что делать: так научите нас». Председатель наш расхохотался, взял лист бумаги и написал, без помарки, журнал открытия нового «отдельного цензурного комитета»; мы все трое подписали его; секретарь взял подмышку все старые дела и архив и отправился с ними в квартиру председателя, а я поехал домой. На другой день в «Московских ведомостях» было напечатано объявление об открытии нового цензурного комитета с приглашением всех, имеющих до него надобность, являться ежедневно с девяти часов утра до трех часов пополудни. Разумеется, было напечатано, где помещался комитет. На другой день я приехал в девять часов и нашел уже в комитете несколько человек с разными просьбами и надобностями, как-то: с объявлениями о книгах, с небольшими брошюрками и с множеством разных лубочных картинок. Председатель сидел уже в присутственной комнате и разбирал разные рукописи, оставшиеся не цензурованными в прежнем комитете. Через полчаса мы удовлетворили всех просителей и рукописи разделили пополам. Кн. Мещерский приказал Новикову написать опять журнал, который мы все трое подписали, по которому мы требовали деньги из московского уездного казначейства, ассигнованные на наше жалованье и содержание канцелярии. Председатель поехал сам за деньгами и воротился очень скоро. Мы пересчитали деньги; а как у нас не было еще казенного сундука для хранения их в университетском казначействе, то мы взяли уже выслуженное нами жалованье, а остальную сумму, с моего согласия, председатель вызвался беречь у себя. Затем мы с кн. Мещерским пошли в его каби-

нет, находившийся через одну комнату от комитета. Мы закурили трубки, позавтракали и стали дожидаться новых посетителей, предполагая, что в этот же день должны явиться к нам издатели журналов, в чем и не ошиблись. Председатель условился со мной брать журналы по порядку: первый ему, второй мне и т. д. Первый явился М. П. Погодин, которого я до тех пор и не видывал. Мы вышли в присутственную *камеру,* как называл ее всегда Новиков, познакомились с журналистом, а председатель мой объявил, что он сам будет цензуровать «Московский вестник». Погодин тут же вручил ему рукопись — «Повествование о России» Николая Арцыбашева. Погодин уехал, а мы воротились в кабинет. Кн. Мещерский развернул погодинскую рукопись и сейчас мне сказал: «Любезнейший Сергей Тимофеевич! Чтобы внушить к себе полное уважение, мы должны действовать с строгою точностью, не отступая ни от одной буквы устава; вот эту рукопись я читать не буду: она написана слишком мелко, особенно выноски и ссылки, которых наберется не меньше текста. Я по службе обязан читать рукописи, но не обязан терять глаз; в уставе именно есть параграф, в котором сказано, что рукописи должны быть чисто, четко и разборчиво писаны». Я посмотрел толстую тетрадь Арцыбашева и увидел, что она написана очень четко и что только ссылки и выписки из грамот написаны мелко. Я сказал моему председателю, что это слишком строго, что если у него не слабы глаза, то рукопись прочесть очень можно. Потом я завел серьезный разговор с ним о новом цензурном уставе и доказывал ему, что если буквально его держаться и все толковать в дурную сторону, на что устав давал полное право цензору, то мы уничтожим литературу, что я намерен толковать все в хорошую сторону. У нас зашел горячий спор... В самое это время доложили, что приехал издатель «Телеграфа». Мы опять вышли в присутственную комнату. Кн. Мещерский был знаком с Полевым, но я увидел его так же в первый раз, как и Погодина. Мы познакомились, и председатель объявил журналисту, что я буду цензором его журнала. Полевой, конечно, знал о моей дружбе с заклятым его врагом, А. И. Писаревым, и вообще о моем мнении относительно редактора

«Московского телеграфа». Ему, конечно, была очень неприятна моя цензура, да и мне также. Я получил для просмотра от Полевого большой сверток бумаг. Издатель «Телеграфа» сейчас уехал, а мы с председателем опять воротились в кабинет продолжать наш спор: он длился до четырех часов, и мы расстались, ни в чем не согласившись, ни в чем не убедив один другого.

Спор о цензурном уставе с моим председателем привел меня в большое недоуменье. Мне даже казалось, не хотел ли он испытать меня? Мне не верилось, чтоб такой умный, светский, любезный и подчас веселый человек мог иметь такие инквизиторские понятия о цензуре. Чем более я думал, тем более утверждался в этой мысли, но впоследствии кн. Мещерский убедил меня в своей искренности.

Через несколько дней пришло определение С. Н. Глинки, и он явился к нам в комитет. Председатель, несмотря на то, что я старался предварительно объяснить ему все хорошие стороны нашего нового товарища, глядел на него с насмешкою, как на юродивого или как на шута, но был очень вежлив. В самом деле, дико было смотреть на одетого крайне небрежно, всегда с полувыбритою бородою и странными движениями, не подчиняющегося никаким формам общественного и служебного приличия, нового нашего цензора. Ему достался «Дамский журнал» кн. Шаликова; он был давно знаком с издателем, и они, встретясь в комитете, принялись осыпать друг друга комплиментами на французском языке. С. Н. Глинка распространился о французской литературе и начал было декламировать Расина, — как вдруг наш председатель, смотревший на них с язвительною усмешкою, наскучив их болтовнею, бесцеремонно сказал кн. Шаликову, что его дело по цензуре кончено и что комитет имеет свои дела, не терпящие отлагательства. Издатель «Дамского журнала» сделал кислую мину и сейчас раскланялся с нами, однако с большими учтивостями. Глинка наморщился: ему не понравилась выходка нашего председателя, который сейчас предложил Глинке, как новому цензору, прочесть журналы, состоявшиеся до его вступления. Но С. Н. Глинка не мог сидеть спокойно за столом на одном

месте: почитав немного, он начал ходить по комнате взад и вперед и едва не запел какой-то французский романс. Наконец, не вытерпел, подошел к председателю и сказал: «Вы хозяин канцелярии, и у вас всегда есть дело; цензоров и так здесь двое; мне, третьему, совершенно нечего делать; дайте мне мою работу, то есть какую-нибудь рукопись, и отпустите меня домой». Председатель отвечал, что это совершенно от него зависит и что одного цензора довольно для постоянного присутствия в комитете до трех часов; а как он здесь живет и до четырех никуда не выезжает, то мы можем оставаться здесь столько, сколько нам угодно. Глинка был очень доволен; взяв огромную тетрадь, он проворно раскланялся с нами, шаркнув и притопнув ногой по своей привычке, и почти выбежал из комитета, махая своей до невероятности измятой, изломанной шляпой, в дверях уже напевая и насвистывая какой-то куплет. Председатель называл его Диогеном, циником и очень забавлялся им, но беспрестранно повторял: «Какой же он цензор, особенно при нынешнем уставе?» Желая вразумить меня, как осмотрительно и внимательно должно цензуровать журналы, он повел меня в кабинет и показал мне все, что он вымарывает красными чернилами из «Московского вестника» и из какого-то несчастного дюжинного романа; я пришел в совершенное недоумение, а выслушав объяснения кн. Мещерского, его подозрения, догадки и соображения, пришел в ужас и негодование. Я не знал, что мне ему сказать. Я уже догадывался, что говорить с ним откровенно нельзя и не должно. Я отвечал, однако, что не верю своим глазам и что не понимаю его. Он самодовольно улыбнулся и жалел о моей неопытности; но сам сказал, что нам нечего рассуждать и спорить об этом предмете, потому что мы никогда не сойдемся; прибавил только, что при этом уставе я и трех месяцев не пробуду цензором. Я отвечал, что это для меня все равно. После такого нашего положительного объяснения он оставался, однако, со мной в самых любезных отношениях, рассказывал мне много любопытных подробностей из своей жизни, и хотя он, видимо, умалчивал о многом, но я догадывался, что он, как говорит русский народ, «черезо все произошел». К многим своим способностям

кн. Мещерский присоединял необыкновенное дарование писать по-русски сильно, резко и дельно; он показывал мне толстую книгу писем, писанных им для разных лиц, находившихся в самых трудных обстоятельствах, — писем к государю и к другим особам царской фамилии, а также и к разным министрам. Все письма были написаны мастерски и очень смело; писать такие бумаги была его страсть, и он сам напрашивался на них.

Так шли дела недели три. В один день, приехав в комитет, я долго сидел один, читая и подписывая всякий вздор, как вдруг председатель прислал мне сказать, что он нездоров и просит меня к себе в кабинет. Я пришел. Кн. Мещерский, очень расстроенный, протянул мне руку, крепко пожал мою и сказал: «Конечно, вы не ожидаете, какую я сообщу вам новость: я отставлен от службы; меня уведомляет об этом правитель канцелярии министра просвещения, а завтра получится официальная бумага о моем увольнении». Я был поражен, как громом, и только мог промолвить: «Что же это значит?» — «Враги мои, — с горячностию сказал кн. Мещерский, — я их очень хорошо знаю, — успели очернить меня. Прошу вас сохранить секрет до завтра. Ах, если б знали вы, — продолжал он самым встревоженным голосом, — в какое ужасное положение приводит меня эта отставка!» Мне стало его очень жаль. В самое это время доложили, что приехал Погодин. Кн. Мещерский велел сказать, что он нездоров и просит г. Погодина к себе в кабинет. Погодин вошел, но председатель был уже другой человек: он встретил журналиста спокойно, величаво и грозно. «Милостивый государь, — сказал он, — журнал ваш имеет самое вредное направление; только для первого раза я вымарываю, а не вношу в комитет для запрещения ваши статьи». И он начал показывать Погодину разные места, зачеркнутые красными чернилами. «Отрывок же из повести вашей, — продолжал он, — таков, что я не смею его вынести из моего кабинета, потому что в той комнате (он указал на комитет) я должен буду преследовать вас судебным порядком. Повесть ваша вся зачеркнута. Получили вы, для более разборчивой переписки, рукопись

господина Арцыбашева?» Погодин отвечал, что «рукопись эта написана рукою самого автора, с неимоверною точностью, по особенной методе знаков и сокращений, что всякий переписчик необходимо наделает сотни ошибок, а потому он решается не печатать статьи и возвратить рукопись автору». Я весь вспыхнул от негодования и ушел из кабинета; когда же Погодин, совершенно расстроенный, проходил чрез комитет, я остановил его и шепнул ему на ухо: «Председатель отставлен от службы: завтра я возьму цензуровать ваш «Вестник». Можно себе представить радость Погодина. Я сделал ему знак, чтобы он, не говоря ни одного слова, уехал. Долго не мог я успокоиться, так взволновал меня поступок кн. Мещерского. Вся жалость моя исчезла, и я не пошел к нему в кабинет. Кончив поскорее свое дело и приказав секретарю не беспокоить председателя подписанием бумаг, а оставить их до завтра, я сейчас уехал.

На другой день получена была бумага об увольнении председателя и предписание министра исправлять мне его должность; третьим цензором назначен был известный писатель В. В. Измайлов. Через месяц комитет переместился в дом университетской типографии, и я весь погрузился в исполнение моей должности, которую очень полюбил, потому что она соответствовала моей склонности к литературе.

Посвящая всякий день шесть часов присутствию в комитете, где, в свободное от просителей время, я читал на просторе рукописи спокойнее, чем дома, я уже не мог уделять столько времени на приятельские беседы и частые посещения театра, как прежде. Приятели посмеивались надо мною, и я теперь охотно сознаюсь, что в самом деле было нечто комическое в моем излишнем увлечении, усердии и уважении к моей должности; но таково было уж мое свойство. Опера для Верстовского сильно затянулась. Это меня беспокоило. Но в один благополучный час дело получило неожиданный и самый счастливый исход: я убедил Загоскина, который оканчивал свой «Благородный театр», сочинить либретто для Верстовского, и он, кончив свой важный труд, принялся писать оперу «Пан Твардовский». Тут было забавное

обстоятельство, в котором выражалась добродушная оригинальность Загоскина. В «Пане Твардовском» также выведены были цыгане, и также второе действие открывалось цыганским табором, песнями и плясками. Загоскину очень нравилась написанная мною цыганская песня, но поместить ее в своей опере без оговорки он ни за что не хотел; оговариваться же, что песня написана другим, ему казалось неловко и странно. Долго он находился в пресмешном раздумье; наконец, приехал ко мне и сказал: «Нет, брат, всей твоей песни ни за что не возьму, а уступи ты мне четыре стиха, но отрекись от них совершенно. Позабудь, что ты их написал, и никому не сказывай». Я охотно согласился. Вот эти четыре стиха:

Голод, жажду, холод, зной
Иногда мы сносим;
Но не чахнем над сохой,
Но не жнем, не косим!

Всего же забавнее, что через несколько дней Загоскин опять приехал ко мне и сказал: «Нет, душа моя, не могу взять и четырех стихов; это много; дай только два последние». Разумеется, я на это также охотно согласился; эти два стиха и теперь находятся в его прекрасной цыганской песне, которую превосходно положил на музыку А. Н. Верстовский и которая впоследствии встречена была публикой с восторгом. Песня эта сделалась народною, и много лет наигрывали ее органы, шарманки, пели московские цыгане и пел московский и даже подмосковный народ. Она начинается так:

Мы живем среди полей
И лесов дремучих;
Но счастливей, веселей
Всех вельмож могучих.

Рано с солнцем не встаем
Для чужой работы;
Лишь проснулись — и поем...
Нет у нас заботы!
и проч.

Вместе с октябрьской холодной погодой опять закашлял Писарев, опять возобновились мои беспокойства, потому что характер кашля мне не нравился; притом же Писарев был в высшей степени неосторожен, или, лучше сказать, он не понимал, что такое осторожность. К этому присоединились другие обстоятельства, которые усилили мое беспокойство. Писарев жил до сих пор у Кокошкина. Вдруг объявил он мне решительно, что нанимает квартиру и хочет жить особо. Это меня удивило, тем более, что я знал недостаточность его денежных средств. В то же время дошел до меня верный слух, что Писарев хочет жениться на известной особе и потому переезжает на квартиру. Я сейчас объяснился с ним и с горячностью напал на его намерение. Писарев выслушал меня спокойно и потом сказал: «Ты совершенно прав, любезный друг; я безусловно согласен с тобой. Признаюсь, прежде я точно хотел сделать эту глупость, но сам начинал уже колебаться; твои же слова совершенно открыли мне глаза. Я не женюсь, но тем не менее переезжаю на свою квартиру и хочу жить *своим домом*». Я понял очень хорошо его цель, и хотя она мне также не нравилась, хотя я попробовал восстать против нее горячо, но убедить Писарева в справедливости моего мнения не было никакой возможности, и он немедленно исполнил свое несчастное намерение.

Не помню, кем именно был затеян в это время спектакль, который надобно было дать в подмосковном селе Рожествене в день рождения московского военного генерал-губернатора князя Димитрия Владимировича Голицына. В село свое Рожествено он уезжал иногда для отдохновения и обыкновенно проводил в нем день своего рождения. Князь Голицын был всеми очень любим, и этим праздником все занимались с большим усердием и одушевлением. Загоскин для спектакля написал очень живую и забавную интермедию; Писарев — прекрасные куплеты, а Верстовский — прекрасную на них музыку. Эта интермедия отличалась тем, что некоторые лица играли самих себя: А. А. Башилов играл Башилова, Б. К. Данзас — Данзаса, Писарев — Писарева, Щепкин — Щепкина и Верстовский — Верстовского, сначала

прикидывающегося отставным хористом Реутовым[1]. Разумеется, спектакль давался сюрпризом. Я всегда был не охотник до подобных сюрпризов начальнику от подчиненных, а в этот раз имел особенные причины быть очень недовольным: я боялся за здоровье Писарева. Но делать было нечего, и 29 октября он ездил вместе с другими в Рожествено, кажется с лишком за тридцать верст, для представления этой интермедии. Опасения мои, к несчастию, оправдались. Холод и сырость поздней осени сильно подействовали на Писарева. Он возвратился в Москву с бо̀льшим кашлем и даже небольшой лихорадкой. Я хотел было снова обратиться к М. Я. Мудрову; но Писарев, по общему совету наших общих приятелей, пожелал лечиться у первого тогда практика в Москве, которого сами доктора называли «князем врачей», Григорья Яковлевича Высоцкого. Знаменитость его была не прихоть публики, увлекающейся иногда шарлатанством, не мода: Высоцкий ее заслуживал. Я сам был очень хорошо знаком с ним и сам имел случай быть свидетелем его верного взгляда на очень опасных больных, которых он вылечил чудесно: следовательно, я не имел причин не согласиться с желанием Писарева. Мы вместе отправились к Высоцкому, которому я накануне обстоятельно рассказал всю историю болезни Писарева и постарался возбудить участие к больному. После внимательных расспросов и осмотров Высоцкий сказал, что ничего еще нет опасного и даже важного, но может быть и то и другое, если болезнь будет запущена. Он прописал лекарства, диету, образ жизни и запретил больному выезжать. Когда Писарев хотел поблагодарить, как водится, за совет и рецепты, Григорий Яковлевич оттолкнул руку Писарева с двадцатипятирублевой бумажкой и сказал сме-

---

[1] Я видел этот спектакль. Он был повторен в Москве, в доме Кокошкина, для многочисленных почитателей князя Голицына, которым не удалось быть в Рожествене. Вся эта интермедия напечатана в 1845 году г-м Араповым, но в ней сделана одна ошибка. В печати Реутов говорит: «Не плюй вербу в кашу», а он должен сказать: «Леплю вербу в кашу», что гораздо более соответствует первому стиху французского романса: «Le plus vert bocage» <Самая зеленая роща>.

ясь: «Вы заплатите мне вашими будущими сочинениями; дня через два я заеду к вам». Писарев был необыкновенно доволен и весел, и я опять успокоился. В самом деле, больному вскоре стало гораздо лучше, и через две недели, не переставая, впрочем, кашлять своим обыкновенным зимним кашлем, он начал выезжать, с разрешения доктора. В одном только Писарев не слушался Высоцкого: он продолжал сильно заниматься; в одно и то же время он дописывал похвальное слово Капнисту, переводил водевиль для бенефиса Щепкина и переводил роман Вальтер-Скотта «Певериль де Пик» — для приобретения средств к жизни *своим домом*, как он любил выражаться [1].

Мои дела по цензурному комитету шли очень мирно и успешно. Нет ничего мудреного, что литераторы и крупные и самые мелкие, все журналисты, книгопродавцы, содержатели типографий и букинисты были очень довольны существованием нового комитета. Все требования по текущим книжным делам исполнялись немедленно, кто подавал брошюрку листа в два или три, тот, даже не выходя из комитета, получал ее обратно процензурованною. Этого не мог делать прежний цензурный комитет, состоявший из профессоров, занятых постоянно своим ученым делом, для которых просматриванье книг и всякого литературного хлама, книжных объявлений, картинок и пр. было излишнею тягостью, ничем невознаграждаемою; да и комитет их собирался один раз в неделю. Строгости нового цензурного устава никто не чувствовал, потому что не было ни малейшей надобности прибегать к ней, если цензор не имел собственного желания пускаться в злонамеренные толкования. Издатель «Московского телеграфа» сначала пробовал сблизиться со мной; я откровенно ему сказал, что «только как цензор, я могу быть в сношениях с г-м Полевым; что же касается до исполнения моей обязанности, то, без сомнения, он сам видит мою полную готовность к скорому и

---

[1] Писарев перевел первый том и несколько листов второго. Желая, чтобы было выполнено намерение и обещание покойного моего друга, я окончил перевод этого романа и напечатал.

снисходительному удовлетворению его требований». С издателем же «Московского вестника» М. П. Погодиным и сотрудником его С. П. Шевыревым я познакомился и сблизился очень скоро. Я даже предложил Погодину писать для него статьи о театре с разбором игры московских актеров и актрис, что могло разнообразить и оживлять его журнал. Издатель был очень благодарен, и для помещения моих статей о театре прилагал к каждой книжке «Московского вестника» по листу и по два, под весьма неправильным названием «Драматических прибавлений». Я постоянно участвовал небольшими статейками в «Московском вестнике», и в 1830 году, когда журналисты, прежде поклонявшиеся Пушкину, стали бессовестно нападать на него, я написал письмо к Погодину о значении поэзии Пушкина и напечатал в его журнале. Я помещаю это письмо в «Приложениях»; Пушкин был им очень доволен. Не зная лично меня и не зная, кто написал эту статейку, он сказал один раз в моем присутствии: «Никто еще, никогда не говаривал обо мне, то есть о моем даровании, так верно, как говорит, в последнем номере «Московского вестника», какой-то неизвестный барин».

Будучи давно и даже коротко знаком с С. Н. Глинкой и пользуясь всегда его уважением, я имел возможность сдерживать его неправильные порывы и подчинять его действия установленным формам. В. В. Измайлов был человек очень тихих свойств; опасаясь строгости устава, он бывал иногда слишком робок; но я нашел средство совершенно его успокоить: всякое сомнительное место цензуруемой им рукописи он вносил на рассмотрение в общее присутствие комитета, а мы с С. Н. Глинкой, по большинству голосов, пропускали его; дело записывалось в журнал, и Измайлов, как цензор, уже не подвергался ответственности. Убедительным доказательством, что новый устав не внушал опасений и не стеснял литературы, служили три просьбы об издании новых журналов с будущего 1828 года. Известный своими заслугами ученый К. Ф. Калайдович просил дозволения издавать журнал отечественной истории, словесности и критики, под названием «Русский зритель», по две книжки в месяц, с приложением разных картинок и в том числе старинных

нарядов[1]. Также известный профессор в Москве М. Г. Павлов подал просьбу о дозволении издавать журнал «Атеней», содержание которого должны были составлять история наук, словесность и критика, — по две книжки в месяц. Наконец, известный же в Москве литератор, le Cointe Delaveau, вошел с прошением издавать журнал на французском языке Bulletin du Nord. Комитет немедленно ходатайствовал о дозволении издавать вышеупомянутые журналы, а как разрешение тогда зависело от министерства народного просвещения, то и было получено очень скоро.

Прошел ноябрь. Писарев продолжал кашлять, работать и выезжать. Лекарства, избавившие его от усиленного кашля и лихорадочного состояния, дальнейшего действия не имели. Г. Я. Высоцкий говорил, что это ничего, что с наступлением теплой погоды он примется за Писарева и вылечит его радикально.

Первого декабря был бенефис Мочалова. Неутомимый Шаховской поддоброхотал ему огромнейшую комедию в пяти действиях, взятую из романа Вальтер-Скотта; она называлась «Судьба Ниджеля, или Все беда для несчастного». Я уже говорил об этом несчастном спектакле, которого дослушать со вниманием не было никакой

---

[1] Несчастная болезнь, через несколько месяцев постигшая К. Ф. Калайдовича, излечение от которой сократило его жизнь, известна всем. Говорили коротко знавшие его люди, что самая мысль издавать журнал была уже признаком умственного расстройства; но я, прежде не знавший Калайдовича, не только тогда, когда он подавал просьбу в комитет (почему и познакомился со мною), но даже впоследствии, когда он печатал первую книжку своего журнала, — я не замечал в нем ни малейшего расстройства. Прежде чем до меня достигла молва об его помешательстве, он предупредил меня сам об этой молве и с таким спокойствием, с такою ясностью и отчетливостью рассказал мне источник этого слуха, что я совершенно поверил Калайдовичу и спорил с другими, утверждавшими противное. Калайдович уверил меня, что этот слух распущен его врагами, чтоб лишить его какого-то выгодного места, им занимаемого. Но печальная истина, наконец, обнаружилась. «Русский зритель» был, однако, издаваем целый год людьми, принимавшими живое участие в его несчастном издателе: одну книжку издал я, другую — В. Н. Каразин, третью — Погодин, четвертую — Шевырев, пятую — А. Ф. Томашевский, остальных не помню.

возможности; к концу пиесы многие зрители разъехались. Мы дружно напали на Шаховского и упрекали его, что он не послушал наших предостережений. Сильно сконфуженный автор, беспрестанно нюхая табак или свои пальцы, вымаранные в табаке, сознавался, что «надобно немноско посоклатить; только жаль: все это длагоценности не мои, а Валтел-Скотта; вплочем, лусская публика еще молода для такой сельезной комедии; делать нечего: я соклащу, соклащу»... но сокращения не последовало, а пиесу даже не повторили.

В это время шла уже постановка на сцену комедии Загоскина «Благородный театр». Я не видывал, чтоб князь Шаховской когда-нибудь так хлопотал о своей пиесе, как он хлопотал об этой комедии. Почти на всех репетициях я сидел подле князя и слышал все его бормотанье с самим собою: «Плелесть, плелесть! — шептал он. — Какое богатое комическое положение, какая веселость, какие счастливые стихи! Откуда это все белется?.. Господь бог ему посилает». Один раз Шаховской даже вскочил, треснул себя по лысине и закричал, как мог, своим диким голосом: «Это лучшая комедия из всех втолоклассных французских комедий, котолыми плославились их автолы». Актерами Шаховской также восхищался, и поистине эта комедия была разыграна с таким совершенством, какого я на московской сцене не видывал [1]. Новая комедия Загоскина была принята публикой с непрерывающимся смехом и частым, но сейчас утихающим хлопаньем; только по временам или по окончании актов взрывы громких, общих и продолжительных рукоплесканий выражали удовольствие зрителей, которые до тех пор удерживались от аплодисментов, чтоб не мешать самим себе слушать и смеяться. Я не стану давать отчета в ходе этого прекрасного спектакля и в относительном совершенстве многих московских артистов. Я подробно говорил об этом в биографии Загоскина.

---

[1] В первый раз «Благородный театр» был дан 28 декабря 1827 года; по крайней мере так напечатано было в «Московских ведомостях»; подлинный же репертуар сгорел вместе со всем театральным архивом в последнем пожаре Петровского театра.

Приступаю теперь к рассказу самого тяжелого и грустного времени в моих «Воспоминаниях». Я уже сказал, что Писарев продолжал кашлять и неутомимо работать. Он кончил, поправил и вторично прочел нам и переписал набело отличным почерком «Слово в память Капниста». Все мы были увлечены силою и красотою языка, стройностью и глубоким чувством, и даже чувствительностью, с которою было написано это сочинение; последнего качества мы никогда не замечали во всем, что писал Писарев, и это нас всех изумило. Имея слабую грудь и голос, он поручил мне чтение своей прекрасной статьи в Обществе любителей российской словесности. Довольно большая пиеса для бенефиса Щепкина «Пятнадцать лет в Париже, или Все друзья одинаковы», драматическое представление в трех действиях, была уже давно готова и даже процензурована. После нее должен был идти мой перевод комедии Мольера «Школа мужей», а в заключение спектакля, назначенного 26 января будущего 1828 года, шел водевиль в одном действии, переведенный с французского Писаревым, «Средство выдавать дочерей замуж». Это была его последняя работа для театра, и хотя водевиль состоял из пустого, впрочем забавного фарса, но Писарев занимался им с особенной любовью и очень был доволен куплетом:

Ах, дочери — мученье!
Скажите, кто им рад?
Плати за их ученье,
Плати за их наряд;
А подрастут поболе,
Тогда отца и мать
Спросите вы, легко ли
Их замуж выдавать?

Никому из нас Писарев еще не читал своего последнего перевода, потому что торопился его переписать и послать в цензуру. В один ужасно холодный день, градусов в тридцать мороза, он приехал ко мне после обеда и прочел по черновому списку свой водевиль. По несчастью, я недавно переехал на новую и очень холодную квартиру: Писарев озяб и, кончив чтение, поспешно уехал, кажется к В. М. Бакунину, у которого князь

Шаховской, Загоскин и другие из нашего круга проводили этот вечер; он хотел прочесть также и им свой водевиль. Уезжая, Писарев был необыкновенно бледен, часто кашлял и казался усталым; сколько я ни уговаривал его, сколько ни просил, чтоб он не ездил в такую стужу и не читал два раза в один вечер своего водевиля, — он меня не послушал и уехал.

На другой день я получил известие, что Писарев жестоко болен. Не могу с точностью определить число этого рокового дня. Мне кажется, что Писарева уже не было в театре при первом представлении комедии «Благородный театр». Следовательно, он захворал окончательно до 28 декабря 1827 года. Я немедленно поехал и нашел у Писарева Кокошкина и Г. Я. Высоцкого, который очень сердился на больного и на всех нас за то, что мы допустили его до такой сильной простуды. Когда я вышел провожать доктора в другую комнату, он сурово сказал мне: «Теперь штука поважнее; он очень простудился и получил воспаление в печени; с этим делом я слажу, но оно будет иметь сильное влияние на весь его организм, а до теплой погоды еще далеко». Слова эти потрясли меня, но скрепя сердце я воротился к больному и уверил, что Высоцкий не придает важности его болезни. Тут я узнал, что вчера в квартире у Бакунина было очень жарко, что Писарев читал свой водевиль, очень устал, сильно вспотел и мокрый, в тридцатиградусный мороз, в ваточной шинели, воротился домой; у него сейчас оказалась лихорадка с острою болью в боку и трудностию дыханья. Огорченный до глубины души, я отправился в свой комитет. Возвращаясь домой, заехал к Писареву: жар не уменьшался, но дыхание стало не так тяжело и боль не так остра; пиявки и другие лекарства уже оказали свое действие. На следующий день я опять съехался с Высоцким, который нашел Писарева в лучшем положении и сказал, что воспаление через несколько дней пройдет, но что больной ослабеет и должен будет пролежать долго в постели, совершенно отстранив от себя всякое беспокойство, волнение и умственное занятие; даже чтение позволил слушать только самое легкое. Сверх того, доктор находил, что квартира сыра, и советовал при первой возможности переменить ее. Легко

отдавать такие приказания, да исполнять трудно. При раздражительности характера Писарева, которая должна была усилиться от болезни в печени, при недостатке средств, при недостатке ухода какое тут спокойствие? Все друзья ежедневно его навещали, но от этого никакой пользы не было, а иногда и вред. Домашнее хозяйство больного находилось в жалком положении: молодая экономка ничего в нем не смыслила и умела только плакать. С помощью Кокошкина, который любил Писарева и принимал в нем большое участие, я устроил по возможности уход около больного. Всего было лучше то, что Кокошкин радушно предложил перевезть Писарева в новый свой дом, находившийся против того, в котором обыкновенно жил Кокошкин[1]. Прекрасная, сухая квартира в нижнем этаже, по счастию, была не занята. Разумеется, это перемещение предполагалось сделать тогда, когда больной несколько оправится. Кокошкин совершенно справедливо говорил: «Милый, это все равно, что в одном со мной доме; я могу всякий день по нескольку раз его видеть; хозяйством им заниматься будет не нужно: кушанье будет готовиться у меня, и переносить его через улицу нетрудно; печи будет топить подряженный мною на год дровяник. К тебе также поближе, и, куда бы ты ни поехал, тебе Арбатских ворот не миновать». Но кроме этих, весьма существенных, выгод, было еще обстоятельство, которое я считал не менее важным, — и не ошибся: в том же доме, в ближайшем соседстве от Писарева, жила наша первая актриса, М. Д. Синецкая; она любила Писарева, как брата, и я был уверен, что она не оставит его без участия и помощи, а умного женского участия при постели больного ничто заменить не может. Писареву становилось день ото дня лучше, и через две недели, закутав с ног до головы в шубу и одеяла, мы перевезли его благополучно на новую квартиру. Больной, будучи очень слаб, радовался, как ребенок, новому своему помещению; мы также были все очень рады,

---

[1] Дом, в котором жил Кокошкин, находится у Арбатских ворот, на углу Воздвиженки, принадлежит теперь г. Левшину. В том доме некогда жил Карамзин и писал «Историю Российского государства».

потому что, конечно, в доме Кокошкина Писареву было гораздо спокойнее и лучше во всех отношениях.

Между тем вокруг больного жизнь текла своей неизменной чередой, и все дела шли своим обычным порядком. 4 января был дан бенефис г-жи Борисовой. Играли новую анекдотическую комедию-водевиль в трех действиях кн. Шаховского «Федор Григорьевич Волков, или День рождения русского театра». Эта пиеса тогда только была вполне всеми нами оценена, когда была сыграна. Должно признаться, что когда нам читал Шаховской свою комедию-водевиль, то мы не поняли ее достоинств и я думал, что на сцене выйдет из нее какая-то возня и суматоха: так показалась мне она сложна и даже запутана. Для других могло служить оправданием то, что они слушали комедию-водевиль один раз, читанную самим кн. Шаховским, а моим читателям известно, каково было его чтение; но мне нет никакого извинения. Я брал рукопись к себе на дом, прочел и остался при моем прежнем мнении, хотя многие сцены отдельно, при чтении, мне понравились более. Мы делали даже замечания Шаховскому, но он не смущался, не слушал нас и, улыбаясь, говорил: «А вот посмотлите, что будет на сцене». Он был прав: именно сцену знал превосходно Шаховской. Он очень усердно занимался постановкою своей пиесы, а мы и не смотрели ее репетиции, потому что все более или менее были отвлечены болезнью Писарева; когда же увидели «Волкова», превосходно разыгранного на сцене, то мы ахнули от изумления, признали «Волкова» одним из лучших произведений Шаховского и сознались в своей ошибке. Публика приняла пиесу с единодушным и шумным одобрением, вызвала автора и осыпала громом продолжительных рукоплесканий. Обо всем было подробно донесено Писареву, и он, несмотря на свою слабость, принял живое участие в торжестве Шаховского и очень ему радовался, сказав, что «так же, как и мы, не ожидал такого успеха».

Тринадцатого января, в бенефис г-на Булахова, была дана опера в трех действиях «Белая волшебница», уже давно переведенная Писаревым, кажется, с французского. Это был труд для денег: бенефициант запла-

тил ему триста рублей ассигнациями; все же другие водевили Писарева были подарки артистам. К переводу «Белой волшебницы» переводчик был совершенно равнодушен, хотя он стоил ему большой работы: он должен был все арии писать уже на готовую музыку и располагать слова по нотам: дело очень скучное.

Со дня переезда на новую свою квартиру Писарев первое время чувствовал себя как будто свежее и крепче. Он вставал с постели в течение дня часа на два или на три; принимался даже продолжать свой перевод «Певериля» и слабою рукою, в разные приемы, перевел десять страниц, старательно скрывая от нас свою работу. Я с беспокойством замечал, что больной чувствовал усталость, несвободно дышал, несвободно откашливался, слышал боль и тяжесть в печени и не имел аппетита; пил же много, особенно ночью. На мои вопросы Высоцкий обыкновенно отвечал: «Хорошего мало, да и дурного покуда нет: как-нибудь дотянем до весны, а там поправимся».

Водевиль Писарева в двух действиях «Пять лет в два часа, или Как дороги утки», за несколько месяцев переведенный им с французского для бенефиса М. Д. Синецкой, шел 20 января. Когда князь Шаховской начал ставить пиесу на сцену, что обыкновенно делалось в течение последней недели перед бенефисом, Писарев пригласил к себе актеров и актрис и просил прочесть по ролям тех, которые не знали ролей наизусть. Писарев остался совершенно доволен всеми артистами, особенно Щепкиным и Рязанцевым; он беспрестанно улыбался, глядя на их мастерскую игру. В самом деле, они оба были хороши до совершенства, да и водевиль необыкновенно забавен и отличался прелестными куплетами. Писарев, вероятно, утомился и почувствовал себя хуже. Впрочем, через несколько дней он пришел в прежнее положение. Во время представления водевиль был принят публикою с восхищением и громкими рукоплесканиями. По окончании пиесы большинство зрителей, не знавших о болезни Писарева, вызывало его с большим увлеченьем. Принуждены были объявить, что переводчик болен и его нет в театре; но переводчик и больной не оставался в

этот вечер равнодушным к своему водевилю, нетерпеливо ждал известия, как он прошел, и был очень доволен его успехом. К несчастью, всякое волнение, даже приятное, вредило Писареву, а причин к волнению жизнь представляет много, да и сам больной всегда найдет их, особенно такой раздражительный больной, как Писарев. Чтение водевиля и рассказы о первом представлении его на сцене, без сомнения, были ему вредны. Я видел, что больной становился слабее и, наконец, почти уже не вставал с постели.

Двадцать седьмого января, в бенефис Щепкина, были разыграны последние труды для театра Писарева — в последний раз при его жизни. Первая пиеса, о которой я уже не один раз говорил, «Пятнадцать лет в Париже» и проч., показалась публике скучной, да и в самом деле она была длинна и разыгрывалась как-то вяло. Эта скука приготовила благосклонный прием моему переводу «Школы мужей»; Мольер, которого давно не слыхали на московской сцене, оживил зрителей; мастерская же игра Щепкина и всех других лучших наших артистов, потому что пиеса была обставлена превосходно, доставила решительный успех этой комедии. Если бы не лежал на сердце моем тяжелый камень, то, конечно, этот вечер доставил бы мне живейшее удовольствие. В первый раз я слышал свои стихи, произносимые на сцене[1] отличными актерами и актрисами, часто прерываемые взрывом смеха и рукоплесканий. Несмотря на сердечное горе, я не мог оставаться равнодушным. По окончании пиесы я был вызван горячо и единодушно. Это было лестно для моего самолюбия; но я по совести говорю, что не был ни увлечен, ни обольщен, а только взволнован; даже не вдруг согласился на убеждения Кокошкина и Загоскина выйти в директорскую ложу, чтобы раскла-

---

[1] «Школа мужей» за несколько лет еще была разыграна в Петербурге без меня, и тоже с успехом, как мне писали. Впрочем, где-то было напечатано об этом и перевод мой назван *недюжинным;* а правду сказать, он был тогда именно *дюжинным,* и комедия отчасти переложена на русские нравы, по существовавшему тогда варварскому обычаю. Разумеется, впоследствии все это было, по возможности, исправлено мною.

няться с публикой. Я сначала просил их объявить, что меня нет в театре, хотя это было бы странно и неловко, потому что все знакомые меня видели. В воображении моем беспрестанно представлялся Писарев, бледный, с осунувшимся лицом, тяжело дышащий, лежащий на своей постели, возле которой на стуле дремала сиделка... Водевиль Писарева «Средство выдавать дочерей замуж», которым заканчивался бенефисный спектакль, был разыгран прекрасно и принят публикою очень хорошо, но все не так, как он заслуживал. Вероятно, публика, поскучав в первой пиесе и повеселясь второю, уже утомилась и желала поскорее разъехаться. Впрочем, несколько голосов начали было громко вызывать переводчика, но, вероятно, соседи сказали им о его болезни, и голоса замолкли. Писарев взял с меня честное слово, что я заеду к нему по окончании спектакля, как бы это ни было поздно. Он сказал мне, что у него с вечера нет настоящего сна, какая-то дремота, и что если я не заеду, то он и дремать не станет. Я заехал; Писарев не спал. Кто-то из наших общих приятелей успел уже прежде меня побывать у него прямо из театра, и Писарев встретил меня словами: «Поздравляю тебя с блистательным успехом. Моя первая пиеса не понравилась публике; но я рад, что хотя последним водевилем моим я разделил с тобою торжество». И бледная, исхудалая рука его, и в то же время горячая, слабо сжимала мою руку, а голос прерывался. Больной не вдруг отпустил меня, я принужден был рассказать ему много подробностей о ходе спектакля и уехал уже часа в два. Я никогда не видывал Писарева в эту пору, и мне показалось, что он находится в лихорадочном состоянии. У меня родилось подозрение, что у больного всякий день по ночам бывает лихорадка, разрушающая его ослабленный организм. Никогда еще мысль о неизбежной и скорой смерти Писарева не представлялась мне с такою достоверностью.

Я уже с неделю не видал Высоцкого. Он ежедневно навещал больного, но всегда в те часы, когда я сидел в цензурном комитете. На другой день поутру, после ночной беседы с Писаревым, я отправился прямо к Высоцкому и, не застав его дома, оставил ему записку, в

которой сообщал мое подозрение относительно ночной изнурительной лихорадки у больного. Заехав к Писареву, я нашел его несколько в лучшем положении и, расспросив окружающих, узнал, что у больного к утру был пот, после которого он почувствовал облегчение. Я уехал в комитет, и опять Высоцкий приезжал без меня и никаких перемен в лекарствах не сделал. На третий день я заехал к Писареву из комитета, и сиделка подала мне, потихоньку от больного, записку Высоцкого. Он писал, что мои беспокойства напрасны, что никакой изнурительной лихорадки нет, а есть волнение перед выступлением пота, происходящего от слабости. При всем моем уважении к знаменитому врачу я не мог ему вполне поверить. При ближайших моих наблюдениях над больным в разные часы дня и ночи я еще более убедился в существовании лихорадки. Я виделся потом не один раз с Высоцким, доказывал ему справедливость моего заключения; доктор упорно не соглашался, хотя и сделал некоторые изменения в лекарствах. Я до сих пор не могу понять, отчего происходило такое упорство? Мог ли такой славный практический врач, каким был тогда Гр. Як. Высоцкий, не видеть изнурительной лихорадки у больного и близкой его опасности, очевидной для всех? Если же он видел, то не мог из одного упрямства утверждать противное? Я думаю теперь, что он хорошо и ясно понимал дело, знал неминуемую гибель и не сказывал мне и другим, не желая нас бесполезно тревожить. Так шло время до половины февраля; мы собирались иногда у Писарева по вечерам, человека по два и по три, не более, часа за три перед обедом. В эту пору он чувствовал себя несколько крепче; играли с ним, лежащим в постели, в карты, а если он скоро утомлялся, то мы играли одни между собою, у его постели, а он смотрел кому-нибудь в карты и занимался игрою; но скоро и это развлечение стало его утомлять. Чтения он не мог уже слушать: оно раздражало его слух и головные нервы. Итак, нам оставалось сидеть у него и говорить между собою о таких предметах, которые бы его не возмущали, а развлекали.

Медленно тянулся великий пост. Театральная деятельность прекратилась, а вместе с ней иссяк источник

разных новостей, анекдотов и происшествий, которые прежде мы могли сообщать больному и в которых он не переставал принимать иногда даже живое участие. Последнее житейское событие, обратившее на себя внимание Писарева, было публичное собрание Общества любителей русской словесности, в котором я должен был прочесть написанное Писаревым «Похвальное слово Капнисту». Я читал его много раз сам для себя и некоторые места знал наизусть. Я обработал, как умел, свое чтение и надеялся, что сочинение Писарева произведет сильное впечатление на слушателей. Писарев это знал и, будучи не в состоянии выслушать всю пиесу, просил меня прочесть ему некоторые места. Он был вполне доволен; впрочем, он был всегда пристрастен к моему чтению. В этом же публичном заседании Общества я должен был читать отрывки из моего перевода осьмой сатиры Буало «На человека». Писарева очень занимало и это чтение, потому что один из моих отрывков, по его мнению, как раз можно было применить к издателю «Московского телеграфа». Наконец, наступил вечер публичного собрания Общества. Зала была полна посетителей и посетительниц из лучшего московского круга, в том числе находился и московский военный генерал-губернатор, кн. Дм. Вл. Голицын. Все ученые, литераторы, дилетанты наук и литературы, артисты по всем отраслям искусств — все были там. Это было самое цветущее время Общества. Я не ошибся в моем ожидании: «Похвальное слово» Писарева в память Капниста было выслушано с большим вниманием, сочувствием и живейшими знаками одобрения. Я читал очень удачно. Мысль, что красноречивая и одушевленная речь об умершем уже в старости поэте написана молодым, умирающим поэтом и драматическим писателем, без сомнения потрясала души всех слушателей, способных сочувствовать такому горестному событию. Нечего и говорить, как я сам был глубоко проникнут этим чувством и как оно сильно выражалось в моем чтении. Потом я читал отрывки из моего перевода также весьма удачно и с большим успехом. Читая нижеприведенные стихи, я вдруг увидел прямо против меня стоящего Полевого. Все, знавшие нас обоих и наши

отношения, обратили на него глаза, многие нескромно улыбались, и смущенный Полевой исчез в толпе, как скоро я кончил чтение.

Итак, трудись теперь, профессор мой почтенный,
Копти над книгами, и день и ночь согбенный!
Пролей на знания людские новый свет,
Пиши творения высокие, поэт, —
И жди, чтоб мелочей какой-нибудь издатель,
Любимцев публики бессовестный ласкатель,
Который разуметь язык недавно стал,
Пером завистливым тебя везде марал...
Конечно, для него довольно и презренья!..
Холодность публики — вот камень преткновенья,
Вот бич учености, талантов и трудов!
и проч.

Не нужно доказывать, что мой поступок был вовсе неумышленный: я перевел сатиру в деревне, еще не зная о существовании Полевого. Я никогда не замечал его в числе слушателей во время публичных заседаний Общества и, конечно, не мог ожидать, чтоб он явился для выслушания стихов, которые можно было применить к нему, и чтоб он встал со стула, как нарочно, для привлечения на себя общего внимания. Когда я, проехав из Общества прямо к Писареву, рассказал ему это происшествие, он улыбнулся прежнею своей злою улыбкой, которая говорила: «ништо ему». С сожалением я должен сказать, что он ненавидел Полевого.

Писареву становилось хуже и хуже. 1 марта хотел было он написать записку и поздравить одну очень любимую и уважаемую им женщину со днем ее рожденья, но дрожащая его рука писала одни каракульки; он бросил с досадой перо и сказал: «Таким почерком я только напугаю». На другой день он просил меня продать книгопродавцу Ширяеву «Белую волшебницу», «Пятнадцать лет в Париже» и четыре водевиля: «Дядя напрокат», «Две записки», «Как дороги утки» и «Средство выдавать дочерей замуж». — «Продай за что-нибудь,— сказал мне Писарев слабым голосом; — Ширяев предлагал мне прежде по сто пятьдесят рублей за каждый водевиль в одном акте». Я поехал прямо к Ширяеву и продал все шесть пиес, числом одиннадцать актов, за тысячу рублей ассигнациями. Возвращаясь из комитета, я заехал

к Писареву и отдал ему деньги. Он был очень доволен, спросил свой маленький ларчик, положил в него тысячу рублей и запер ключиком. Кончив эту, для него уже тяжелую, работу, он сказал с какой-то странной улыбкой: «Пригодятся».

Я повидался с Высоцким; он сказал мне, что с некоторого времени у больного появилось опять раздражение в печени, что завтра он ощупает его при мне, для чего и просил, чтоб я непременно приехал в три часа. «Писарев уже два раза не дался осмотреть себя,— продолжал Григорий Яковлевич, — а вас, вероятно, послушается: мне необходим хирургический осмотр».

Высоцкий приехал в условленный час, и Писарев весьма неохотно, но согласился дать себя ощупать. Как только Высоцкий впустил свои пальцы под ребра больного, больной болезненно вскрикнул, оттолкнул с досадою руку доктора и раздраженным голосом сказал: «Какой вы!.. настоящий хирург! Вы мне бок проткнули!» Высоцкий не отвечал и более не беспокоил больного, прописал новое лекарство и, выйдя со мною в другую комнату, сказал: «Ну, теперь дело плохо: у него рецидив воспаления в печени, а он так слаб, что я даже пиявок не смею поставить». — Я давно чувствовал, что дело плохо, и говорил Высоцкому не один раз; я напомнил об этом и теперь; но Высоцкий утверждал, что плохо стало недавно. «Скажите, Григорий Яковлевич, прямо: имеете ли вы какую-нибудь надежду?» — спросил я. «Как доктор — никакой; а как христианин — верю в чудеса божьего милосердия», — отвечал Высоцкий.

Я сообщил Кокошкину и другим роковой приговор Высоцкого. Все были глубоко огорчены. Подумав вместе, мы решились, однако, собрать консилиум. Я поехал к Высоцкому и сообщил ему наше желание. Он был очень доволен и сказал, что он сам желал консилиума, не для больного, а для себя, но не хотел вводить его в бесполезные издержки. Григорий Яковлевич, по моему желанию, пригласил на консилиум Мудрова и Маркуса.

Когда на другой день узнал Писарев о назначенном консилиуме, то сквозь зубы сказал: «А, понимаю». Напрасно я старался его уверить, что это я требовал консилиума, что Высоцкий и слышать о нем не хотел,

считая его ненужным, и что он даже рассердился на меня: Писарев слегка улыбался, молчал и тяжело дышал. Консилиум собрался в назначенный час. Каждый из докторов о чем-нибудь спросил больного; кто пощупал пульс, кто посмотрел язык; но до бока Писарев не позволил дотронуться. При больном нельзя было говорить по-латыни (он знал этот язык), и потому Высоцкий, перед консилиумом, в другой комнате рассказал историю болезни. После консилиума доктора опять ушли в эту комнату, но уже не совещались, а прописав, для успокоения больного, какие-то невинные лекарства, разъехались. У подъезда, садясь в карету, М. Я. Мудров, никогда не говоривший по-французски, сказал мне: «Il est perdu, mon cher» [1]. — Я предчувствовал это давно, положительно знал из последних слов Высоцкого, но слова Мудрова прозвучали в моих ушах каким-то новым, будто неожиданным смертным приговором. Мне бы следовало сейчас воротиться к больному, но я долго не мог овладеть собою и прийти к нему с спокойным лицом. Я велел сказать, что поехал за лекарством, а сам просидел в другой комнате и вволю поплакал. Лились и другие искренние слезы... но слезы ничему не помогают. Лекарства принесли из аптеки. Я вооружился твердостью и с веселым лицом поспешно вошел к Писареву: больной дремал, и я в первый раз заметил, что он тихо бредит. С этой ночи он часто впадал в забытье и как скоро закрывал глаза — сейчас начинал бредить. Всех узнавал, но говорил мало и с трудом. — 12 марта я приехал к Писареву поутру, ранее обыкновенного, и сейчас заметил какое-то неестественное одушевление в его глазах, и больной тверже обыкновенного сказал мне: «Ты кстати приехал. Посиди у меня, я хочу приобщиться. Это лекарство лучше». Я отвечал, что могу остаться, сколько ему угодно. Церковь Бориса и Глеба у Арбатских ворот находилась в нескольких саженях, прямо против квартиры Писарева. Вскоре пришел священник. Писарев исповедался, приобщился спокойно и твердо, и когда я вошел к нему в комнату, то был поражен выражением его лица: на нем сияла светлая радость! — «Поздравь меня, друг мой, —

---

[1] Он погиб, мой милый.

сказал больной довольно звучным голосом.— Я надеюсь, что мне будет лучше; только жаль, что свечка погасла: это дурная примета». Часа два находился Писарев гораздо в лучшем положении, и слабый луч надежды начинал прокрадываться в мое сердце. Все наши друзья перебывали у него поодиночке, каждый минуты на две, чтобы не утомить больного. Часа в два пополудни Писарев опять впал в забытье. Бред усилился и не прекращался. 15 марта, рано утром, приехал я к больному и нашел его уже на столе. В пять часов утра догорело пламя жизни и тихо погасло. Невозмутимое спокойствие, ум и благообразие выражались во всех чертах лица покойника.

Так кончил свою жизнь, на двадцать седьмом году, Александр Иванович Писарев. Великие надежды возлагали на него все, коротко знавшие его необыкновенный ум, многосторонний талант, душевную энергию и нравственные силы. Он похоронен в Покровском монастыре.

Для гг. любителей биографии и библиографии считаю нелишним сообщить некоторые сведения о Писареве и о его театральных сочинениях, написанных и сыгранных до моего переезда в Москву. Эти сведения могут служить дополнением к литературной деятельности Писарева, о которой я говорил в моих «Воспоминаниях»; они взяты из писем его ко мне.

Писарев родился 1803 года, июля 14-го, Орловской губернии, Елецкого уезда, в селе Знаменском, принадлежавшем его отцу. По пятому году Писарев не только умел читать по-русски и по-французски, но даже любил чтение. Вообще в детстве своем он возбуждал удивление во всех окружавших его своим рановременным, необыкновенным умом [1]. Тринадцати лет он был отдан в университетский пансион и через четыре года вышел из него вторым учеником десятого класса. Имя его, как отличного воспитанника, было написано на золотой доске. Еще в пансионе он с увлечением занимался русской литературой, а по выходе из него вполне предался ей. Сначала

---

[1] Извлечение из письма ко мне матери Писарева.

писал множество стихов, но потом совершенно овладела им московская театральная сцена. Едва ли не первым трудом его для театра был перевод стихами с французского (кажется, с кем-то вместе) комедии «Проказники». Первый водевиль, переведенный Писаревым, назывался «Лотерея», который, вероятно, не был игран, потому что никто из театральных старожилов о том не помнит; но у меня есть письмо Писарева, в котором он пишет, что посылает в цензуру свой первый водевиль «Лотерея». Потом следует водевиль «Учитель и ученик, или В чужом пиру похмелье», игранный 24 апреля 1824 года в пользу Сабуровых. Водевиль имел блистательнейший успех. Особенно понравился куплет:

Известный журналист Графов (Каченовский)
Задел Мишурского (кн. Вяземского) разбором.
Мишурский, не теряя слов,
На критику ответил вздором;
Пошли писатели шуметь,
Писать, браниться от безделья...
А публике за что ж терпеть
В чужом пиру похмелье?

Второй водевиль Писарева — «Проситель» — не имел большого успеха. В 1824 же году, 4 ноября, в пользу г. Сабурова (?), была дана комедия «Наследница», переделанная Писаревым стихами из французского водевиля; она также не имела успеха, но зато игранный с нею в первый раз водевиль «Хлопотун, или Дело мастера боится» был принят с восторгом. Щепкин в роли хлопотуна был совершенство. Вероятно, в 1825 году был дан водевиль, написанный Писаревым вместе с другими литераторами (с М. А. Дмитриевым и П. Н. Араповым), «Встреча дилижансов». Он был жестоко ошикан публикой за резкость последнего куплета, написанного Писаревым:

Не помню я, в какой-то книжке
Писали за сто лет назад,
Что пьесу хвалят понаслышке
И понаслышке же бранят;
Но мы желаем знать, какое
Сужденье ваше про нее?
Скажите... только не чужое
Скажите — что-нибудь свое!

Куплет был обращен прямо к публике и хотя очень мило пропет Н. В. Репиной, но публика крепко обиделась и, вместо вызова, наградила переводчика общим шиканьем. Зато через неделю публика смягчилась и принуждена была хлопать, кричать браво и форо куплетам Писарева и вызывать его за новый водевиль «Тридцать тысяч человек, или Находка хуже потери». Потом следует водевиль «Забавы калифа, или Шутки на одни сутки», игранный в пользу капельмейстера Шольца. Водевиль как-то особенного успеха не имел, хотя заслуживал его. В том же году, октября 8-го, был игран водевиль, переделанный Писаревым с французского, в *шести* действиях, «Волшебный нос, или Талисман и финики». Это был пустой фарс, написанный для бенефиса танцовщицы Ворониной-Ивановой. В 1825 году в драматическом альманахе, изданном Писаревым и Верстовским, напечатан пролог в стихах к исторической комедии «Христофор Колумб», которая давно уже занимала Писарева; он назвал свой пролог «Несколько сцен в кондитерской лавке». Я выписываю небольшой отрывок из этого пролога, чтоб показать образ мыслей и направление Писарева, который вывел себя под именем Теорова. В этом прологе один из литераторов, названный Фиалкиным, утверждает, что у нас нет разговорного языка; Теоров возражает ему.

Теоров

Так думайте, пишите по-французски!
Потеря от того ничуть не велика.
Нет разговорного у русских языка!
Каким же языком вы говорите сами?
Каким же языком теперь я спорю с вами?
Нет разговора! так! не будет до тех пор,
Пока не надоест нам чужеземный вздор,
Пока не захотим по-русски мы учиться.
Теперь, благодаря ученью, можно льститься,
Что мы все русское полюбим, все свое;
Теперь сбывается желание мое:
Французский ваш жаргон уж многие бросают.
И... дамы, наконец, по-русски понимают!
И вы неправы, я еще вам повторю.

Фиалкин

За что ж вы сердитесь? Я просто говорю,
Что не богаты мы хорошими стихами.
Кто ж в этом виноват?

Теоров

Вы, сударь!

Фиалкин

Я?

Теоров

Вы сами
И вам подобные, которым все свое
Не нравится, кому противно в русских все,
Которым Кребильон известен весь до слова,
А скучны лишь стихи «Димитрия Донского»;
Которые, сударь, везде наперерыв
Читают Мариво, Фонвизина забыв,
И, выбрав Демутье предметом обожанья,
Бессмертной «Ябеды» не знают и названья!
Театра нашего вот вечные враги!..

Опера-водевиль в трех действиях «Три десятки, или Новое двухдневное приключение», одобренная к представлению 24 сентября 1825 года, вероятно, была сыграна в том же году. «Три десятки», хотя несколько чувствительного и даже серьезного содержания, должны были, по своим прекрасным куплетам, доставить Писареву новое торжество. Но тут было особенное обстоятельство, помешавшее его успеху. Там находился всем известный тогда куплет: куплет весьма натянутый и даже плохой, но возбудивший страшный шум в партере выходкой против Полевого. Издатель «Телеграфа» был тогда в апогее своей славы, и большинство публики было на его стороне. Вот куплет:

В наш век, на дело не похоже,
Из моды вышла простота,
И без богатства ум — все то же,
Что без наряда красота.
У нас теперь народ затейный,
Пренебрегает простотой:
Всем мил цветок оранжерейный,
И всем наскучил *полевой.*

Едва Сабуров произнес последний стих, как в театре произошло небывалое волнение: поднялся неслыханный

крик, шум и стукотня. Публика разделилась на две партии: одна хлопала и кричала браво и форо, а другая, более многочисленная, шикала, кашляла, топала ногами и стучала палками. По музыке следовало повторить последние два стиха, но оглушительный шум заставил актера Сабурова — а может быть, он сделал это и с намереньем (все артисты очень любили Писарева) — не говорить последнего стиха; как же только шум утих, Сабуров, без музыки, громко и выразительно произнес: «И всем наскучил полевой». Можно себе представить гнев защитников Полевого! Сильнее прежнего начался шум, стук и шиканье наполнили весь театр и заглушили голоса и хлопанье друзей Писарева. Мало этого: публика обратилась к начальству, и вместо *полевой* было поставлено *луговой;* наконец, и этим не удовольствовались, и куплет был вычеркнут. В конце этого же водевиля был еще куплет на Полевого, гораздо оскорбительнейший; но против него не так сильно восстали Телеграфисты — и сторона Писарева преодолела. Вот он:

Журналист без просвещенья
Хочет умником прослыть;
Сам не кончивши ученья,
Всех пускается учить;
Мертвых и живых тревожит...
Не пора ль ему шепнуть,
Что учить никак не может,
Кто учился как-нибудь.

В «Трех десятках» много прекрасных куплетов, и я приведу еще два, вероятно никому не известные. Странная судьба постигла эту пиесу: без всякой причины публика стала мало ездить в нее, и она скоро была снята с репертуара. Вот куплет молодого человека, который пробовал служить и нашел, что очень тяжело трудиться без всякой оценки и пользы.

И тут я очень испытал,
Что совестно трудиться даром,
Что честность — мертвый капитал,
А правда сделалась товаром.
Я видел множество людей,
Умевших разными путями
Занять премного должностей —
Не занимаясь должностями.

И вот другой куплет старого служаки-полковника, израненного в сражениях:

Я верно долг мой исполнял;
В сраженьях жертвовал собою
И вечно грудью то бирал,
Что многие берут спиною.
Защитника родной страны
С почтеньем, верно, всякий примет;
Пусть могут снять с меня чины,
Но ран никто с меня не снимет.

Об остальных комедиях и водевилях Писарева я уже говорил. Но у меня есть одна его рукописная комедия в пяти действиях, в прозе, взятая из сочинений Пикара: «Внучатный племянник, или Остановка дилижанса». Эта комедия не была играна по неизвестным причинам.

1858. Апрель. Москва.

ИСТОРИЯ МОЕГО ЗНАКОМСТВА С ГОГОЛЕМ

СО ВКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕЙ ПЕРЕПИСКИ С 1832 ПО 1852 ГОД

ВСТУПЛЕНИЕ

«История знакомства моего с Гоголем», еще вполне не оконченная мною, писана была не для печати, или по крайней мере для печати по прошествии многих десятков лет, когда уже никого из выведенных в ней лиц давно не будет на свете, когда цензура сделается свободною или вовсе упразднится, когда русское общество привыкнет к этой свободе и отложит ту щекотливость, ту подозрительную раздражительность, которая теперь более всякой цензуры мешает говорить откровенно даже о давнопрошедшем. Я печатно предлагал всем друзьям и людям, коротко знавшим Гоголя, написать вполне искренние рассказы своего знакомства с ним и таким образом оставить будущим биографам достоверные материалы для составления полной и правдивой биографии великого писателя. Это была бы, по моему мнению, истинная услуга истории русской литературы и потомству. Не знаю, принято ли кем-нибудь мое предложение, но я почти исполнил свое намерение. Очевидно, возникают вопросы: как можно печатать сочинение, писанное

не для печати? Какая причина заставила меня изменить цели, с которою писана книга? Первый вопрос разрешается легко: из «Истории моего знакомства с Гоголем» исключено все, чего еще нельзя напечатать в настоящее время. Причины же, почему я так поступил, состоят в следующем: четыре года прошли, как мы лишились Гоголя; кроме биографии и напечатанных в журналах многих статей, о нем продолжают писать и печатать; ошибочные мнения о Гоголе, как о человеке, вкрадываются в сочинения всех пишущих о нем, потому что из них — даже сам биограф его — лично Гоголя не знали или не находились с ним в близких сношениях. Я думаю, что мой искренний, никаким посторонним чувством не подкрашенный рассказ может бросить истинный свет не на великого писателя (для которого, говорят, это не важно), а на человека... Мне кажется, что дружба моя к Гоголю и долг его памяти требует от меня такого поступка. Записки мои потеряют не только большую половину своей занимательности, но и большую половину очевидности, то есть способности изъяснить предмет, о важности которого распространяться не нужно.

В 1832 году, кажется весною, когда мы жили в доме Слепцова на Сивцевом Вражке, Погодин привез ко мне, в первый раз и совершенно неожиданно, Николая Васильевича Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки» были давно уже прочтены, и мы все восхищались ими. Я прочел, впрочем, «Диканьку» нечаянно: я получил ее из книжной лавки, вместе с другими книгами, для чтения вслух моей жене, по случаю ее нездоровья. Можно себе представить нашу радость при таком сюрпризе. Не вдруг узнали мы настоящее имя сочинителя; но Погодин ездил зачем-то в Петербург, узнал там, кто такой был «Рудый Панько», познакомился с ним и привез нам известие, что «Диканьку» написал Гоголь-Яновский. Итак, это имя было уже нам известно и драгоценно.

По субботам постоянно обедали у нас и проводили вечер короткие мои приятели. В один из таких вечеров, в кабинете моем, находившемся в мезонине, играл я в карты в четверной бостон, а человека три не игравших сидели около стола. В комнате было жарко, и некоторые, в том числе и я, сидели без фраков. Вдруг Погодин, без всякого предуведомления, вошел в комнату с неизвестным мне, очень молодым человеком, подошел прямо ко мне и сказал: «Вот вам Николай Васильевич Гоголь!» Эффект был сильный. Я очень сконфузился, бросился надевать сюртук, бормоча пустые слова пошлых рекомендаций. Во всякое другое время я не так бы встретил Гоголя. Все мои гости (тут были П. Г. Фролов,

М. М. Пинский и П. С. Щепкин — прочих не помню) тоже как-то озадачились и молчали. Прием был не то что холодный, но конфузный. Игра на время прекратилась, но Гоголь и Погодин упросили меня продолжать игру, потому что заменить меня было некому. Скоро, однако, прибежал Константин, бросился к Гоголю и заговорил с ним с большим чувством и пылкостью. Я очень обрадовался и рассеянно продолжал игру, прислушиваясь одним ухом к словам Гоголя, но он говорил тихо, и я ничего не слыхал.

Наружный вид Гоголя был тогда совершенно другой и невыгодный для него: хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую физиономию его лицу; нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое. В платье Гоголя приметна была претензия на щегольство. У меня осталось в памяти, что на нем был пестрый светлый жилет с большой цепочкой. У нас остались портреты, изображающие его в тогдашнем виде, подаренные впоследствии Константину самим Гоголем.

К сожалению, я совершенно не помню моих разговоров с Гоголем в первое наше свидание; но помню, что я часто заговаривал с ним. Через час он ушел, сказав, что побывает у меня на днях, как нибудь поранее утром, и попросит сводить его к Загоскину, с которым ему очень хотелось познакомиться и который жил очень близко от меня. Константин тоже не помнит своих разговоров с ним, кроме того, что Гоголь сказал про себя, что он был прежде толстяк, а теперь болен; но помнит, что он держал себя неприветливо, небрежно и как-то свысока, чего, разумеется, не было, но могло так показаться. Ему не понравились манеры Гоголя, который произвел на всех без исключения невыгодное, несимпатичное впечатление. Отдать визит Гоголю не было возможности, потому что не знали, где он остановился: Гоголь не хотел этого сказать.

Через несколько дней, в продолжение которых я уже предупредил Загоскина, что Гоголь хочет с ним познакомиться и что я приведу его к нему, явился ко мне довольно рано Николай Васильевич. Я обратился к нему

с искренними похвалами его «Диканьке», но, видно, слова мои показались ему обыкновенными комплиментами, и он принял их очень сухо. Вообще в нем было что-то отталкивающее, не допускавшее меня до искреннего увлечения и излияния, к которым я способен до излишества. По его просьбе мы скоро пошли пешком к Загоскину. Дорогой он удивил меня тем, что начал жаловаться на свои болезни (я не знал тогда, что он говорил об этом Константину) и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: «Да чем же вы больны?» Он отвечал неопределенно и сказал, что причина болезни его находится в кишках. Дорогой разговор шел о Загоскине. Гоголь хвалил его за веселость, но сказал, что он не то пишет, что следует, особенно для театра. Я легкомысленно возразил, что у нас писать не о чем, что в свете все так однообразно, гладко, прилично и пусто, что

...даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой, —

но Гоголь посмотрел на меня как-то значительно и сказал, что «это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его не видим; но что если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его». Может быть, он выразился не совсем такими словами, но мысль была точно та. Я был ею озадачен, особенно потому, что никак не ожидал ее услышать от Гоголя. Из последующих слов я заметил, что русская комедия его сильно занимала и что у него есть свой оригинальный взгляд на нее. Надобно сказать, что Загоскин, также давно прочитавший «Диканьку» и хваливший ее, в то же время не оценил вполне, а в описаниях украинской природы находил неестественность, напыщенность, восторженность молодого писателя; он находил везде неправильность языка, даже безграмотность. Последнее очень было забавно, потому что Загоскина нельзя было обвинить в большой грамотности. Он даже оскорблялся излишними, преувеличенными, по его мнению, нашими похвалами. Но по добродушию своему и

по самолюбию человеческому ему приятно было, что превозносимый всеми Гоголь поспешил к нему приехать. Он принял его с отверстыми объятиями, с криком и похвалами; несколько раз принимался целовать Гоголя, потом кинулся обнимать меня, бил кулаком в спину, называл хомяком, сусликом и пр. и пр.; одним словом, был вполне любезен по-своему. Загоскин говорил без умолку о себе: о множестве своих занятий, о бесчисленном количестве прочитанных им книг, о своих археологических трудах, о пребывании в чужих краях (он не был далее Данцига), о том, что он изъездил вдоль и поперек всю Русь и пр. и пр. Все знают, что это совершенный вздор и что ему искренно верил один Загоскин. Гоголь понял это сразу и говорил с хозяином, как будто век с ним жил, совершенно в пору и в меру. Он обратился к шкафам с книгами... Тут началась новая, а для меня уже старая история: Загоскин начал показывать и хвастаться книгами, потом табакерками и, наконец, шкатулками. Я сидел молча и забавлялся этой сценой. Но Гоголю она наскучила довольно скоро: он вдруг вынул часы и сказал, что ему пора идти, обещал еще забежать как-нибудь и ушел.

«Ну что, — спросил я Загоскина, — как понравился тебе Гоголь?» — «Ах, какой милый, — закричал Загоскин, — милый, скромный, да какой, братец, умница!..» и пр. и пр.; а Гоголь ничего не сказал, кроме самых обиходных, пошлых слов.

В этот проезд Гоголя из Полтавы в Петербург наше знакомство не сделалось близким. Не помню, через сколько времени Гоголь опять был в Москве проездом, на самое короткое время; был у нас и опять попросил меня ехать вместе с ним к Загоскину, на что я охотно согласился. Мы были у Загоскина также поутру; он попрежнему принял Гоголя очень радушно и любезничал по-своему; а Гоголь держал себя также по-своему, то есть говорил о совершенных пустяках и ни слова о литературе, хотя хозяин заговаривал о ней не один раз. Замечательного ничего не происходило, кроме того, что Загоскин, показывая Гоголю свои раскидные кресла, так прищемил мне обе руки пружинами, что я закричал; а Загоскин оторопел и не вдруг освободил меня из моего тяжкого положения, в котором я был похож на растянутого

для пытки человека. От этой потехи руки у меня долго болели. Гоголь даже не улыбнулся, но впоследствии часто вспоминал этот случай и, не смеясь сам, так мастерски его рассказывал, что заставлял всех хохотать до слез. Вообще в его шутках было очень много оригинальных приемов, выражений, складу и того особенного юмора, который составляет исключительную собственность малороссов; передать их невозможно. Впоследствии бесчисленными опытами убедился я, что повторение Гоголевых слов, от которых слушатели валялись со смеху, когда он сам их произносил, — не производило ни малейшего эффекта, когда говорил их я или кто-нибудь другой.

И в этот приезд знакомство наше с Гоголем не подвинулось вперед, но, кажется, он познакомился с Ольгой Семеновной и с Верой. В 1835 году мы жили на Сенном рынке, в доме Штюрмера. Гоголь между тем успел уже выдать «Миргород» и «Арабески». Великий талант его оказался в полной силе. Свежи, прелестны, благоуханны, художественны были рассказы в «Диканьке», но в «Старосветских помещиках», в «Тарасе Бульбе» уже являлся великий художник с глубоким и важным значением. Мы с Константином, моя семья и все люди, способные чувствовать искусство, были в полном восторге от Гоголя. Надобно сказать правду, что, кроме присяжных любителей литературы во всех слоях общества, молодые люди лучше и скорее оценили Гоголя. Московские студенты все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую молву о новом великом таланте.

В один вечер сидели мы в ложе Большого театра; вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь и с веселым, дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку с словами: «Здравствуйте!» Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин, едва ли не более всех понимавший значение Гоголя, забыл, где он, и громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем вошел к нам в ложу Александр Павлович Ефремов, и Константин шепнул ему на ухо: «Знаешь ли кто у нас? Это Гоголь». Ефремов, выпуча глаза также от изумления

и радости, побежал в кресла и сообщил эту новость покойному Станкевичу и еще кому-то из наших знакомых. В одну минуту несколько трубок и биноклей обратились на нашу ложу, и слова «Гоголь, Гоголь» разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только, сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал.

Несмотря на краткость свидания, мы все заметили, что в отношении к нам Гоголь совершенно сделался другим человеком, между тем как не было никаких причин, которые во время его отсутствия могли бы нас сблизить. Самый приход его в ложу показывал уже уверенность, что мы ему обрадуемся. Мы радовались и удивлялись такой перемене. Впоследствии, из разговоров с Погодиным, я заключил (то же думаю и теперь), что его рассказы об нас, о нашем высоком мнении о таланте Гоголя, о нашей горячей любви к его произведениям произвели это обращение. После таких разговоров с Погодиным Гоголь немедленно поехал к нам, не застал нас дома, узнал, что мы в театре, и явился в нашу ложу.

Гоголь вез с собою в Петербург комедию, всем известную теперь под именем «Женитьба»; тогда называлась она «Женихи». Он сам вызвался прочесть ее вслух в доме у Погодина для всех знакомых хозяина. Погодин воспользовался этим позволением и назвал столько гостей, что довольно большая комната была буквально набита битком. И какая досада, я захворал и не мог слышать этого чудного, единственного чтения. К тому же это случилось в субботу, в мой день, а мои гости не были приглашены на чтение к Погодину. Разумеется, Константин мой был там. Гоголь до того мастерски читал, или, лучше сказать, играл свою пьесу, что многие понимающие это дело люди до сих пор говорят, что на сцене, несмотря на хорошую игру актеров, особенно господина Садовского в роли Подколесина, эта комедия не так полна, цельна и далеко не так смешна, как в чтении самого автора. Я совершенно разделяю это мнение, потому что впоследствии хорошо узнал неподражаемое искусство Гоголя в чтении всего комического. Слушатели до того смеялись, что некоторым сделалось почти дурно; но, увы, комедия не была понята! Большая часть говорила, что

пьеса неестественный фарс, но что Гоголь ужасно смешно читает.

Гоголь сожалел, что меня не было у Погодина; назначил день, в который хотел приехать к нам обедать и прочесть комедию мне и всему моему семейству. В назначенный день я пригласил к себе именно тех гостей, которым не удалось слышать комедию Гоголя. Между прочими гостями были Станкевич и Белинский. Гоголь очень опоздал к обеду, что впоследствии нередко с ним случалось. Мне было досадно, что гости мои так долго голодали, и в пять часов я велел подавать кушать; но в самое это время увидели мы Гоголя, который шел пешком через всю Сенную площадь к нашему дому. Но, увы, ожидания наши не сбылись: Гоголь сказал, что никак не может сегодня прочесть нам комедию, а потому и не принес ее с собой. Все это мне было неприятно, и, вероятно, вследствие того и в этот приезд Гоголя в Москву не последовало такого сближения между нами, какого я желал, а в последнее время и надеялся. Я виделся с ним еще один раз поутру у Погодина на самое короткое время и узнал, что Гоголь на другой день едет в Петербург.

В 1835 году дошли до нас слухи из Петербурга, что Гоголь написал комедию «Ревизор», что в этой пиесе явился талант его, как писателя драматического, в новом и глубоком значении. Говорили, что эту пиесу никакая бы цензура не пропустила, но что государь приказал ее напечатать и дать на театре. На сцене комедия имела огромный успех, но в то же время много наделала врагов Гоголю. Самые злонамеренные толки раздавались в высшем чиновничьем кругу и даже в ушах самого государя. Ни с чем нельзя сравнить нашего нетерпения прочесть «Ревизора», который как-то долго не присылался в Москву. Я прочел его в первый раз самым оригинальным образом. Однажды, поздно заигравшись в английском клубе, я выходил из него вместе с Великопольским. В это время швейцар подал мне записку из дому: меня уведомляли, что какой-то проезжий полковник привез Ф. Н. Глинке печатный экземпляр «Ревизора» и оставил у него до шести часов утра; что Глинка прислал экземпляр нам и что все ожидают меня, чтобы слушать

«Ревизора». Сгоряча я сказал об этом Великопольскому и не мог уже отказать ему в позволении услышать «Ревизора», и мы поскакали домой. Я жил тогда в Старой Басманной, в доме Куракина. Было уже около часу за полночь. Никто не спал, все сидели в ожидании меня, в моем кабинете, даже m-lle Potot, жившая у нас с матерью. Я не мог в первый раз верно прочесть «Ревизора»; но, конечно, никто никогда не читал его с таким увлечением, которое разделяли и слушатели. «Ревизор» был продан петербургской дирекции самим Гоголем за две тысячи пятьсот рублей ассигнациями, а потому немедленно начали его ставить и в Москве. Гоголь был хорошо знаком с Мих. Сем. Щепкиным и поручил ему письменно постановку «Ревизора», снабдив притом многими, по большей части очень дельными, наставлениями. В то же время узнали мы, что сам Гоголь, сильно огорченный и расстроенный чем-то в Петербурге, распродал с уступкой все оставшиеся экземпляры «Ревизора» и других своих сочинений и сбирается немедленно уехать за границу. Это огорчило меня и многих его почитателей. Вдруг приходит ко мне Щепкин и говорит, что ему очень неловко ставить «Ревизора», что товарищи этим как-то обижаются, не обращают никакого внимания на его замечания и что пиеса от этого будет поставлена плохо; что гораздо было бы лучше, если бы пиеса ставилась без всякого надзора, так, сама по себе, по общему произволу актеров; что если он пожалуется репертуарному члену или директору, то дело пойдет еще хуже: ибо директор и репертуарный член ничего не смыслят и никогда такими делами не занимаются; а господа артисты, назло ему, Щепкину, совсем уронят пиесу. Щепкин плакал от своего затруднительного положения и от мысли, что он так худо исполнит поручение Гоголя. Он прибавил, что единственное спасение состоит в том, чтоб я взял на себя постановку пиесы, потому что актеры меня уважают и любят и вся дирекция состоит из моих коротких приятелей; что он напишет об этом Гоголю, который с радостью передаст это поручение мне. Я согласился и ту же минуту написал сам в Петербург к Гоголю горячее письмо, объяснив, почему Щепкину неудобно ставить пиесу и почему мне это будет удобно, прибавя, что в сущности всем будет

распоряжаться Щепкин, только через меня. Это было первое мое письмо к Гоголю, и его ответ был его первым письмом ко мне. Вот оно:

«Я получил приятное для меня письмо ваше. Участие ваше меня тронуло. Приятно думать, что среди многолюдной неблаговолящей толпы скрывается тесный кружок избранных, поверяющий творения наши верным внутренним чувством; еще более приятно, когда глаза его обращаются на творца их с тою любовью, какая дышит в письме вашем.

Я не знаю, как благодарить за готовность вашу принять на себя обузу и хлопоты по моей пиесе. Я поручил ее уже Щепкину и писал об этом письмо к Загоскину. Если же ему точно нет возможности ладить самому с дирекцией и если он не отдавал еще письма, то известите меня: я в ту же минуту приготовлю новое письмо к Загоскину. Сам я никаким образом не могу приехать к вам, потому что занят приготовлениями к моему отъезду, который будет если не 30 мая, то 6 июня непременно. Но по возвращении из чужих краев я постоянный житель столицы древней.

Еще раз принося вам чувствительнейшую благодарность, остаюсь навсегда

Вашим покорнейшим слугою

Н. Гоголь».

Н а к о н в е р т е:

Мая 15, 1836

Его высокородию[1]

Милостивому государю

Сергею Тимофеевичу

Аксакову

от Гоголя.

---

[1] Я был тогда титулярным советником; но Гоголь, по фигуре моей, вообразил, что я непременно должен быть статским советником.

Как это странно, что письмо такое простое, искреннее не понравилось всем и даже мне.

Отсюда начинается долговременная и тяжелая история неполного понимания Гоголя людьми самыми ему близкими, искренно и горячо его любившими, называвшимися его друзьями! Безграничной, безусловной доверенности в свою искренность Гоголь не имел до своей смерти. Нельзя предположить, чтоб все мы были виноваты в этом без всякого основания; оно заключалось в наружности обращения и в необъяснимых странностях его духа. Это материя длинная, и, чтобы бросить на нее некоторый свет, заранее скажу только, что впоследствии я часто говаривал для успокоения Шевырева и особенно Погодина: «Господа, ну как мы можем судить Гоголя по себе? Может быть, у него все нервы вдесятеро тоньше наших и устроены как-нибудь вверх ногами!» На что Погодин со смехом отвечал: «Разве что так!»

Вследствие письма Гоголя ко мне Щепкин писал к нему, что письмо к Загоскину отдано давно, о чем он его уведомлял; но, кажется, Гоголь не получал этого письма, потому что не отвечал на него и уехал немедленно за границу.

Итак, «Ревизор» был поставлен без моего участия. Впрочем, эта пиеса игралась и теперь играется в Москве довольно хорошо, кроме Хлестакова, роль которого труднее всех. Гоголь всегда мне жаловался, что не находит актера для этой роли, что оттого пиеса теряет смысл и скорее должна называться «Городничий», чем «Ревизор» [1].

В 1837 году погиб Пушкин. Из писем самого Гоголя известно, каким громовым ударом была эта потеря. Гоголь сделался болен и духом и телом. Я прибавлю, что, по моему мнению, он уже никогда не выздоравливал совершенно и что смерть Пушкина была единственной причиной всех болезненных явлений его духа, вследствие которых он задавал себе неразрешимые вопросы, на которые великий талант его, изнеможенный борьбою

---

[1] Незадолго до своей смерти он передал эту роль г-ну Шумскому и сам ставил пиесу. Я тогда уже не ездил в театр, но все зрители восхищались Шумским; сам Гоголь видел его из нашей ложи в продолжение двух действий и остался им доволен.

с направлением отшельника, не мог дать сколько-нибудь удовлетворительных ответов.

В начале 1838 года распространились по Москве слухи, что Гоголь отчаянно болен в Италии и даже посажен за долги в тюрьму. Разумеется, последнее было совершенная ложь. Во всей Москве переписывался с ним один Погодин; он получил, наконец, письмо от Гоголя, уведомлявшее об его болезни и трудных денежных обстоятельствах. Это письмо было писано из Неаполя от 20 августа. Между прочим Гоголь писал в нем: «Мне не хотелось пользоваться твоею добротою. Теперь я доведен до того. Если ты богат, пришли вексель на две тысячи. Я тебе через год, много через полтора, их возвращу». Мы решились ему помочь, но под большим секретом: я, Погодин, Баратынский и ‹Н. Ф.› Павлов сложились по двести пятьдесят рублей, и тысячу рублей предложил сам, по сердцу весьма добрый человек, И. Е. Великопольский, которому я только намекнул о положении Гоголя и о нашем намерении. Секрет был вполне сохранен. Погодин должен был написать к Гоголю письмо следующего содержания: «Видя, что ты находишься в нужде, на чужой стороне, я, имея свободные деньги, посылаю тебе две тысячи рублей ассигнациями. Ты отдашь их мне тогда, когда разбогатеешь, что, без сомнения, будет». Деньги были отосланы немедленно. С этими деньгами случилась странная история. Я удостоверен, что они были получены Гоголем, потому что в одном своем письме Погодин очень неделикатно напоминает об них Гоголю, тогда как он дал честное слово нам, что Гоголь никогда не узнает о нашей складчине; но вот что непостижимо: когда финансовые дела Гоголя поправились, когда он напечатал свои сочинения в четырех томах, тогда он поручил все расплаты Шевыреву и дал ему собственноручный регистр, в котором даже все мелкие долги были записаны с точностью; об этих же двух тысячах не упомянуто; этот регистр и теперь находится у Шевырева.

В 1838 году, кажется 8 июня, уехал Константин за границу, намереваясь долго прожить в чужих краях (он не мог прожить долее пяти месяцев). Перед возвращением своим в Россию он написал к Гоголю в Рим самое

горячее письмо, убеждая его воротиться в Москву (Гоголь жил в Риме уже более двух лет) и назначая ему место съезда в Кельне, где Константин будет ждать его, чтоб ехать в обратный путь вместе. Гоголь еще не думал возвращаться, да и письмо получил двумя месяцами позднее, потому что куда-то уезжал из Рима. Письмо это, вероятно дышавшее горячей любовью, произвело, однако, глубокое впечатление на Гоголя, и хотя он не отвечал на него, но по возвращении в Россию, через год, говорил о нем с искренним чувством.

В 1839 году Погодин ездил за границу, имея намерение привезти с собою Гоголя. Он ни слова не писал нам о свидании с Гоголем, и хотя мы сначала надеялись, что они воротятся в Москву вместе, но потом уже потеряли эту надежду. Мы жили лето на даче в Аксиньине, в десяти верстах от Москвы. 29 сентября вдруг получаю я следующую записку от Михаила Семеновича Щепкина:

«Почтеннейший Сергей Тимофеевич, спешу уведомить вас, что М. П. Погодин приехал, и не один; ожидания наши исполнились: с ним приехал Н. В. Гоголь. Последний просил никому не сказывать, что он здесь; он очень похорошел, хотя сомнение о здоровье у него беспрестанно проглядывает. Я до того обрадовался его приезду, что совершенно обезумел, даже до того, что едва ли не сухо его встретил; вчера просидел целый вечер у них и, кажется, путного слова не сказал: такое волнение его приезд во мне произвел, что я нынешнюю ночь почти не спал. Не утерпел, чтобы не известить вас о таком для нас сюрпризе: ибо, помнится, мы совсем уже его не ожидали. Прощайте, сегодня, к несчастию, играю и потому не увижу его.

Ваш покорнейший слуга

Михаил Щепкин.

от 28-го сентября 1839 года».

Я помещаю эту записку для того, чтобы показать, что значил приезд Гоголя в Москву для его почитателей. Мы все обрадовались чрезвычайно. Константин, прочитавши записку прежде всех, поднял от радости такой крик, что

всех перепугал, а с Машенькой сделалось даже дурно. Он уехал в Москву в тот же день, а я с семейством переехал 1 октября. Константин уже виделся с Гоголем, который остановился у Погодина в его собственном доме на Девичьем поле. Гоголь встретился с Константином весело и ласково; говорил о письме, которое, очевидно, было для него приятно, и объяснял, почему он не мог приехать в назначенное Константином место, то есть в Кельн. Причина состояла в том, что он уезжал на то время из Рима, а воротясь, целый месяц не получал писем из России, хотя часто осведомлялся на почте; наконец, он решился пересмотреть сам все лежащие там письма и между ними нашел несколько адресованных к нему; в том числе находилось и письмо Константина. Бестолковый почтовый чиновник принимал Гоголя за кого-то другого и потому не отдавал до сих пор ему писем.

Разговаривая очень приятно, Константин сделал Гоголю вопрос самый естественный, но, конечно, слишком часто повторяемый всеми при встрече с писателем: «Что вы нам привезли, Николай Васильевич?» — и Гоголь вдруг очень сухо и с неудовольствием отвечал: «Ничего». Подобные вопросы были всегда ему очень неприятны; он особенно любил содержать в секрете то, чем занимался, и терпеть не мог, если хотели его нарушить.

На другой день моего переезда в Москву, 2 октября, Гоголь приехал к нам обедать вместе с Щепкиным, когда мы уже сидели за столом, совсем его не ожидая. С искренними, радостными восклицаниями встретили его все, и он сам казался воротившимся к близким и давнишним друзьям, а не просто к знакомым, которые виделись несколько раз и то на короткое время. Я был восхищен до глубины сердца и в то же время удивлен. Казалось, как бы могло пятилетнее отсутствие, без письменных сношений, так сблизить нас с Гоголем? По чувствам нашим мы, конечно, имели полное право на его дружбу, и, без сомнения, Погодин, знавший нас очень коротко, передал ему подробно обо всем, и Гоголь почувствовал, что мы точно его настоящие друзья.

Наружность Гоголя так переменилась, что его можно было не узнать: следов не было прежнего, гладко выбритого и обстриженного (кроме хохла) франтика в модном

фраке! Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам; красивые усы, эспаньолка довершали перемену; все черты лица получили совсем другое значение; особенно в глазах, когда он говорил, выражались доброта, веселость и любовь ко всем; когда же он молчал или задумывался, то сейчас изображалось в них серьезное устремление к чему-то высокому. Сюртук вроде пальто заменил фрак, который Гоголь надевал только в совершенной крайности. Самая фигура Гоголя в сюртуке сделалась благообразнее. Шутки Гоголя, которых передать нет никакой возможности, были так оригинальны и забавны, что неудержимый смех одолевал всех, кто его слушал, сам же он всегда шутил не улыбаясь.

С этого собственно времени началась наша тесная дружба, вдруг развившаяся между нами. Гоголь бывал у нас почти каждый день и очень часто обедал. Зная, как он не любит, чтоб говорили с ним об его сочинениях, мы никогда об них не поминали, хотя слух о «Мертвых душах» обежал уже всю Россию и возбудил общее внимание и любопытство. Не помню, кто-то писал из чужих краев, что, выслушав перед отъездом из Рима первую главу «Мертвых душ», он хохотал до самого Парижа. Другие были не так деликатны, как мы, и приступали к Гоголю с вопросами, но получали самые неудовлетворительные и даже неприятные ответы.

Гоголь сказал нам, что ему надобно скоро ехать в Петербург, чтоб взять сестер своих из Патриотического института, где они воспитывались на казенном содержании. Мать Гоголя должна была весною приехать за дочерьми в Москву. Я сам вместе с Верой сбирался ехать в Петербург, чтоб отвезть моего Мишу в Пажеский корпус, где он был давно кандидатом. Я сейчас предложил Гоголю ехать вместе, и он очень был тому рад.

Не зная хорошенько времени, когда должен был последовать выпуск воспитанниц из Патриотического института, Гоголь сначала торопился отъездом. Это видно из записки Погодина ко мне, в которой он пишет, что Гоголь просит меня справиться об этом выпуске; но торопиться было не к чему: выпуск последовал в декабре. Во всяком случае замедление отъезда происходило от нас. Я писал Гоголю 20 октября, что, «желая непременно

ехать вместе с вами, любезнейший Николай Васильевич, я обращаюсь к вам с вопросом, можете ли вы отложить свой отъезд до вторника? Если не можете, мы едем в воскресенье поутру». На той же записке Гоголь отвечал:

«Коли вам это непременно хочется и нужно и я могу сделать вам этим удовольствие, то готов отложить отъезд свой до вторника охотно».

Но и во вторник отъезд был отложен, и мы выехали в четверг после обеда 26 октября (1839 г.). Я взял особый дилижанс, разделенный на два купе: в переднем сидел Миша и Гоголь, а в заднем — я с Верой. Оба купе сообщались двумя небольшими окнами, в которых деревянные рамки можно было поднимать и опускать: с нашей стороны в рамках были вставлены два зеркала. Это путешествие было для меня и для детей моих так приятно, так весело, что я и теперь вспоминаю о нем с удовольствием. Гоголь был так любезен, так постоянно шутлив, что мы помирали со смеху. Все эти шутки обыкновенно происходили на станциях или при разговорах с кондуктором и ямщиками. Самый обыкновенный вопрос или какое-нибудь требование Гоголь умел так сказать забавно, что мы сейчас начинали хохотать; иногда даже было нам совестно перед Гоголем, особенно когда мы бывали окружены толпою слушателей. В продолжение дороги, которая тянулась более четырех суток, Гоголь говорил иногда с увлечением о жизни в Италии, о живописи (которую очень любил и к которой имел решительный талант), об искусстве вообще, о комедии в особенности, о своем «Ревизоре», очень сожалея о том, что главная роль, Хлестакова, играется дурно в Петербурге и Москве, отчего пиеса теряла весь смысл (хотя в Москве он не видал «Ревизора» на сцене). Он предлагал мне, воротясь из Петербурга, разыграть «Ревизора» на домашнем театре; сам хотел взять роль Хлестакова, мне предлагал Городничего, Томашевскому (с которым я успел его познакомить), служившему цензором в почтамте, назначал роль почтмейстера, и так далее. Много высказывал Гоголь таких ясных и верных взглядов

на искусство, таких тонких пониманий художества, что я был очарован им. Большую же часть во время езды, закутавшись в шинель, подняв ее воротник выше головы, он читал какую-то книгу, которую прятал под себя или клал в мешок, который всегда выносил с собою на станциях. В этом огромном мешке находились принадлежности туалета: какое-то масло, которым он мазал свои волосы, усы и эспаньолку, несколько головных щеток, из которых одна была очень большая и кривая: ею Гоголь расчесывал свои длинные волосы. Тут же были ножницы, щипчики и щеточки для ногтей и, наконец, несколько книг. Сосед Гоголя, четырнадцатилетний наш Миша, живой и веселый, всегда показывал нам знаками, что делает Гоголь, читает или дремлет. Миша подсмотрел даже, какую книгу он читал: это был Шекспир на французском языке.

Гоголь чувствовал всегда, особенно в сидячем положении, необыкновенную зябкость; без сомнения, это было признаком болезненного состояния нерв, которые не пришли еще в свое нормальное положение после смерти Пушкина. Гоголь мог согревать ноги только ходьбою и для того в дорогу он надел сверх сапогов длинные и толстые русские шерстяные чулки и сверх всего этого теплые медвежьи сапоги. Несмотря на то, он на каждой станции бегал по комнатам и даже улицам во все время, пока перекладывали лошадей, или просто ставил ноги в печку. Гоголь был тогда еще немножко гастроном; он взял на себя распоряжение нашим кофеем, чаем, завтраком и обедом. Ехали мы чрезвычайно медленно, потому что лошади, возившие дилижансы, едва таскали ноги, и Гоголь рассчитал, что на другой день, часов в пять пополудни, мы должны приехать в Торжок, следственно должны там обедать и полакомиться знаменитыми котлетами Пожарского, и ради таковых причин дал нам только позавтракать, обедать же не дал. Мы весело повиновались такому распоряжению. Вместо пяти часов вечера мы приехали в Торжок в три часа утра. Гоголь шутил так забавно над будущим нашим утренним обедом, что мы с громким смехом взошли на лестницу известной гостиницы, а Гоголь сейчас заказал нам дюжину котлет с тем, чтоб других блюд не спрашивать. Через

полчаса были готовы котлеты, и одна их наружность и запах возбудили сильный аппетит в проголодавшихся путешественниках. Котлеты были точно необыкновенно вкусны, но вдруг (кажется, первая Вера) мы все перестали жевать, а начали вытаскивать из своих ртов довольно длинные белокурые волосы. Картина была очень забавная, а шутки Гоголя придали столько комического этому приключению, что несколько минут мы только хохотали, как безумные. Успокоившись, принялись мы рассматривать свои котлеты, и что же оказалось? В каждой из них мы нашли по нескольку десятков таких же длинных белокурых волос! Как они туда попали, я и теперь не понимаю. Предположения Гоголя были одно другого смешнее. Между прочим, он говорил с своим неподражаемым малороссийским юмором, что, верно, повар был пьян и не выспался, что его разбудили и что он с досады рвал на себе волосы, когда готовил котлеты; а может быть, он и не пьян и очень добрый человек, а был болен недавно лихорадкой, отчего у него лезли волосы, которые и падали на кушанье, когда он приготовлял его, потряхивая своими белокурыми кудрями. Мы послали для объяснения за половым, а Гоголь предупредил нас, какой ответ мы получим от полового: «Волосы-с? Какие же тут волосы-с? Откуда прийти волосам-с? Это так-с, ничего-с! Куриные перушки или пух, и проч. и проч.». В самую эту минуту вошел половой и на предложенный нами вопрос отвечал точно то же, что говорил Гоголь, многое даже теми же самыми словами. Хохот до того овладел нами, что половой и наш человек посмотрели на нас, выпуча глаза от удивления, и я боялся, чтобы Вере не сделалось дурно. Наконец, припадок смеха прошел. Вера попросила себе разогреть бульону, а мы трое, вытаскав предварительно все волосы, принялись мужественно за котлеты.

Так же весело продолжалась вся дорога. Не помню, где-то предлагали нам купить пряников. Гоголь, взявши один из них, начал с самым простодушным видом и серьезным голосом уверять продавца, что это не пряники; что он ошибся и захватил как-нибудь куски мыла вместо пряников, что и по белому их цвету это видно, да и пахнут они мылом, что пусть он сам отведает и что

мыло стоит гораздо дороже, чем пряники. Продавец сначала очень серьезно и убедительно доказывал, что это точно пряники, а не мыло, и, наконец, рассердился. В моем рассказе ничего нет смешного, но, слушая Гоголя, не было возможности не смеяться.

Помню я также завтрак на станции в Померани, которая издавна славилась своим кофеем и вафлями и еще более была замечательна, тогда уже старым, своим слугою, двадцать лет ходившим, повидимому, в одном и том же фраке, в одних и тех же чулках и башмаках с пряжками. Это был лакей высшего разряда, с самой представительной наружностью и приличными манерами. Его знала вся Россия, ездившая в Петербург. В какое бы время дня и ночи ни приехали порядочно одетые путешественники, особенно дамы, лакей-джентльмен являлся немедленно в полном своем костюме. Меня уверяли, что он всегда спал в нем, сидя на стуле. С этим-то интересным для Гоголя человеком умел он разговаривать так мастерски, впадая в его тон, что всегда хладнокровно-учтивый старик, оставляя вечно носимую маску, являлся другим лицом, так сказать с внутренними своими чертами. В этом разговоре было что-то умилительно-забавное и для меня даже трогательное.

Тридцатого октября в восемь часов вечера приехали мы в Петербург. Не доезжая до Владимирской, где был дом Карташевских, Гоголь вышел из дилижанса, захватил свой мешок и простился с нами. Он не знал, где остановится: у Плетнева или у Жуковского. Он обещал немедленно прислать за своими вещами и чемоданом и уведомить нас о своей квартире; хотел также скоро побывать и сам. Но обещания Гоголя в этом роде были весьма неверны; в тот же самый вечер, но так поздно, что все уже легли спать, Гоголь приезжал сам, взял свой мешок и еще кое-что и сказал человеку, что пришлет за остальными вещами; но где живет, не сказал. На другой день я поехал его отыскивать, но не успел отыскать. По множеству моих разъездов я не успел побывать у Плетнева, а у Жуковского Гоголя не оказалось. Наконец, 3 ноября, я был у Гоголя. Он только что переехал к Жуковскому и обещал на другой день, то есть 4-го, приехать обедать к нам. Он очень мне

обрадовался, но казался чем-то смущенным и уже не походил на прежнего, *дорожного* Гоголя. Он развеселился несколько, говоря, что возьмет своих сестер и опять вместе с нами поедет в Москву; хотел немедленно, как только можно будет переехать через Неву, повезти нас в Патриотический институт, чтоб познакомить с своими сестрами. Он не остался у нас обедать, потому что за ним прислал Жуковский. Я познакомил его с моими хозяевами. Гоголь всем не очень понравился, даже Машеньке. Вообще должно сказать, что, кроме Машеньки, никто не понимал и не ценил Гоголя как писателя. Гр. Ив. Карташевский даже и не читал его; но я надеялся, что он может и должен вполне оценить Гоголя, потому что в молодости, когда он был еще моим воспитателем, он страстно любил «Дон Кихота», обожал Шекспира и Гомера и первый развил в моей душе любовь к искусству. Ожидания мои не оправдались, что увидим впоследствии.

Пятого ноября, я еще не сходил сверху, потому что до половины второго просидел у меня Кавелин, только что успели прибежать ко мне Вера и Машенька, чтоб послушать «Арабески» Гоголя, которые я накануне купил для Машеньки, как вбежал сам Гоголь, до того замерзший, что даже жалко и смешно было смотреть на него (в то время стояла в Петербурге страшная стужа, до двацати трех градусов при сильном ветре); но потом, посогревшись, был очень весел и забавен с обеими девицами. Сидел очень долго и просидел бы еще дольше, но пришел Ив. Ив. Панаев: это напомнило Гоголю, что ему пора идти. Несмотря на то, что Гоголь показался всем очень веселым, внутренно он был чрезвычайно расстроен. 5-го же ноября он был у меня опять и открыл мне свое затруднительное положение. Он был обнадежен Жуковским, что сестры его получат вспоможение при выходе из института от щедрот государыни; но теперь никто не берется доложить ей о том, ибо по случаю нездоровья она не занимается делами и беспокоить ее докладами считают неприличным. Гоголь сказал, что насчет его уже начались сплетни и что он горит нетерпением поскорее отсюда уехать. Очень просил, чтоб я с Верой и с ним съездил к его сестрам, и поручил мне

в каждом письме писать к моей жене и Константину по пяти поклонов. Я был взволнован его положением и предложил ему все, что тогда у меня было, разумеется безделицу; он сказал что-то весьма растроганным голосом и убежал. В тот же день я описал все подробно Ольге Семеновне, заметив, что, вероятно, Гоголю надобно много денег, что все это, как я надеюсь, поправится, а в противном случае — я поправлю.

Во всем круге моих старых товарищей и друзей, во всем круге моих знакомых я не встретил ни одного человека, кому бы нравился Гоголь и кто бы ценил его вполне. Даже никого, кто бы всего его прочел! О, Петербург, о, пошло деловой, всегда равно отвратительный Петербург! Вот, например, Владимир Иванович Панаев, тоже старый мой товарищ, литератор и член Российской академии, с которым, разумеется, я никогда о Гоголе не рассуждал, вдруг спрашивает меня при многих свидетелях: «А что Гоголь? Опять написал что-нибудь смешное и неестественное?» Не помню, что я отвечал ему; но, вероятно, присутствие других спасло его от такого ответа, от которого не поздоровилось бы ему.

В продолжение нескольких дней Гоголь еще надеялся на какие-то благоприятные обстоятельства; мы виделись с ним несколько раз, но на короткое время. Всякий раз условливались, когда ехать к его сестрам, и всякий раз что-нибудь мешало.

Наконец, 13 ноября обедал у нас Гоголь. Григорий Иванович, который успел прочесть кое-что из него и всю ночь хохотал от «Вия»... увы, также не мог вполне понять художественное достоинство Гоголя; он почувствовал только один комизм его. Это не помешало ему быть вполне любезным по-своему с своим земляком. Гоголь за обедом вдруг спросил меня потихоньку: «Откуда этот превосходный портрет?» — и указал на портрет Кирилловны, написанный Машенькой Карташевской. Я, разумеется, сейчас объяснил дело, и Машенька, которой по нездоровью не было за столом, также и Веры, была сердечно утешена отзывом Гоголя. После обеда он смотрел портрет Веры, начатый Машенькой, и портрет нашей Марихен, сделанный Верой, и чрезвычайно хвалил,

особенно портрет Марихен, и в заключение сказал, что им нужно коротко познакомиться с Вандиком, чтоб усовершенствоваться. Оба друга были в восхищении. Я объяснил ему, какое прекрасное существо Машенька Карташевская. После обеда Гоголь долго говорил с Григорием Ивановичем об искусстве вообще: о музыке, живописи, о театре и характере малороссийской поэзии; говорил удивительно хорошо! Все было так ново, свежо и истинно! И какой же вышел результат? Григорий Иванович, этот умный, высоконравственный, просвещенный и доступный пониманию некоторых сторон искусства человек, сказал нам с Верой: что малороссийский народ пустой, что и Гоголь сам точно такой же хохол, каких он представляет в своих повестях, что ему мало одного, что он хочет быть и музыкантом и живописцем, и начал бранить его за то, что он предался Италии. Это меня сердечно огорчило, и Вера печально сказала мне: «Что после этого и говорить, если Григорий Иванович не может понять, какое глубокое и великое значение имеет для Гоголя вообще искусство, в каких бы оно формах ни проявлялось!»

Тринадцатого ноября этого года осталось для меня незабвенным днем на всю мою жизнь. После обеда, часов в семь, мы ушли с Гоголем наверх, чтоб поговорить наедине. Когда я позвал Гоголя, обнял его одной рукою и повел таким образом наверх, то на лице его изобразилось такое волнение и смущение... Нет, оба эти слова не выражают того, что выражалось на его лице! Я почувствовал, что Гоголь, предвидя, о чем я буду говорить с ним, терзался внутренно, что ему это было больно, неприятно, унизительно. Мне вдруг сделалось так совестно, так стыдно, что я привожу в неприятное смущение, даже какую-то робость этого гениального человека, — и я на минуту поколебался: говорить ли мне с ним об его положении? Но, взойдя наверх, Гоголь преодолел себя и начал говорить сам.

Его обстоятельства были следующие: Жуковский уверил его через письмо еще в Москве, что императрица пожалует его сестрам при выходе из института по крайней мере по тысяче рублей (что, впрочем, я уже отчасти знал). С этой верной надеждой он приехал в Петербург,

но она не сбылась по нездоровью государыни, и неизвестно, когда сбудется. К довершению всего Гоголь потерял свой бумажник с деньгами да еще записками, для него очень важными. Об этом было публиковано в полицейской газете, но, разумеется, бумажник не нашелся именно потому, что в нем были деньги. Кроме того, что ему надобно было одеть сестер и довезти до Москвы, он должен заплатить за какие-то уроки... Что делать? К кому обратиться? Все кругом холодно, как лед, а денег ни гроша! У людей близких, то есть у Жуковского и Плетнева, он почему-то денег просить не мог (вероятно, он им был должен). Просить у других, не имея на то никакого права, считал он унизительным, бесчестным и даже бесполезным. Хотя я живо помню, но пересказать не умею, как вскипела моя душа. Прерывающимся от внутреннего чувства, но в то же время твердым голосом я сказал ему, что я могу без малейшего стеснения, совершенно свободно располагать двумя тысячами рублей; что ему будет грех, если он хотя на одну минуту усумнится; что не он будет должен мне, а я ему; что помочь ему в затруднительном положении я считаю самою счастливою минутой моей жизни; что я имею право на это счастье по моей дружбе к нему; имею право даже на то, чтобы он взял эту помощь без малейшего смущения и не только без неприятного чувства, но с удовольствием, которое чувствует человек, доставляя удовольствие другому человеку. — Видно, в словах моих и на лице моем выражалось столько чувства правды, что лицо Гоголя не только прояснилось, но сделалось лучезарным. Вместо ответа он благодарил бога за эту минуту, за встречу на земле со мной и моим семейством, протянул мне обе свои руки, крепко сжал мои и посмотрел на меня такими глазами, какими смотрел, за несколько месяцев до своей смерти, уезжая из нашего Абрамцева в Москву и прощаясь со мной ненадолго. Я верю, что в нем это было предчувствие вечной разлуки... Гоголь не скрыл от меня, что знал наперед, как поступлю я; но что в то же время знал через Погодина и Шевырева о моем нередко затруднительном положении, знал, что я иногда сам нуждаюсь в деньгах и что мысль быть причиною какого-нибудь лишения целого огромного

семейства его терзала, и потому-то было так ему тяжело признаваться мне в своей бедности, в своей крайности; что, успокоив его на мой счет, я свалил камень, его давивший, что ему теперь легко и свободно. Он с любовью и радостью начал говорить о том, что у него уже готово в мыслях и что он сделает по возвращении в Москву; что, кроме труда, завещанного ему Пушкиным, совершение которого он считает задачею своей жизни, то есть «Мертвые души», у него составлена в голове трагедия из истории Запорожья, в которой все готово, до последней нитки, даже в одежде действующих лиц; что это его давнишнее, любимое дитя, что он считает, что эта пиеса будет лучшим его произведением и что ему будет с лишком достаточно двух месяцев, чтобы переписать ее на бумагу. Он говорил о моем семействе, которое вполне понимал и ценил; особенно о моем Константине, которого нетерпеливо желал перенести из отвлеченного мира мысли в мир искусства, куда, несмотря на философское направление, влекло его призвание. Сердца наши были переполнены чувством; я видел, что каждому из нас нужно было остаться наедине. Я обнял Гоголя, сказал ему, что мне необходимо надобно ехать, и просил, чтобы завтра, после обеда, он зашел ко мне или назначил мне час, когда я могу приехать к нему с деньгами, которые спрятаны у моей сестры; что никто, кроме Константина и моей жены, знать об этом не должен. Гоголь, спокойный и веселый, ушел от меня. Я, конечно, был вполне счастлив; но денег у меня не было. Надобно было их достать, что не составляло трудности, и я сейчас написал записку — и попросил на две недели две тысячи рублей [1] — к известному богачу, очень замечательному человеку по своему уму и душевным свойствам, разумеется весьма односторонним, — откупщику Бенардаки, с которым был хорошо знаком. Он отвечал мне, что завтра поутру приедет сам для исполнения моего «приказания». Эта любезность была исполнена в точности. В тот же вечер я не вытерпел и нарушил обещание, добровольно данное

---

[1] Для уплаты этих денег я написал в Москву к должнику своему Великопольскому, который сейчас выслал мне две тысячи семьсот рублей, то есть весь долг.

Гоголю; я не мог скрыть моего восторженного состояния от Веры и друга ее Машеньки Карташевской, которую любил, как дочь (впрочем, они были единственным исключением). Обе мои девицы пришли в восхищение. 14 ноября Гоголь ко мне не приходил. 15-го я писал ему записку и звал за *нужным*. Гоголь не приходил. 16-го я поехал к нему сам, но не застал его дома. Зная от Бенардаки, который 14-го числа сам привез мне поутру две тысячи рублей, что именно 16-го Гоголь обещал у него обедать, я написал записку к Гоголю и велел человеку дожидаться его у Бенардаки; но Гоголь обманул и не приходил обедать. На меня напало беспокойство и сомнение, что Гоголь раздумал взять у меня деньги. Замечательно, что этот грек Бенардаки, очень умный, но без образования, был единственным человеком в Петербурге, который назвал Гоголя гениальным писателем и знакомство с ним ставил себе за большую честь!

В этот же день, 16 ноября, обедали у Карташевских два тайных советника: весьма известный и любимый прежде литератор Хмельницкий и другой, тоже литератор, мало известный, но не без дарования, Марков. Несколько раз разговор обращался на Гоголя. Боже мой, что они говорили, как они понимали его — этому трудно поверить! Я тогда же написал об них в письме к моей жене, что это были калибаны в понимании искусства, и это совершенная правда. Зная свою горячность, резкость и неумеренность в своих выражениях, я молил только бога, чтоб он дал мне терпение и положил хранение устам моим. Я ходил по зале с Верой и Машенькой, где, однако, были слышны все разговоры, и удивлялся вместе с ними крайнему тупоумию и невежеству высшей петербургской публики как служебной, так и литературной. Брату Николаю Тимофеевичу было даже совестно за старинного его приятеля Хмельницкого, а Григорию Ивановичу — за Маркова. Наконец, терпение мое лопнуло; я подошел к ним и с убийственным выражением сказал: «Ваши превосходительства, сядемте-ка лучше в карты!»

Только что мы кончили игру, в которую я с злобным удовольствием обыграл всех трех тайных советников, как пришел ко мне Гоголь. Я выбежал к нему

навстречу и увел его наверх. Слава богу, все исполнилось по моему желанию! Гоголь взял деньги и был спокоен, даже весел. Он не приходил ко мне потому, что переезжал от Плетнева к Жуковскому во дворец. Впрочем, я не вполне поверил его словам, потому что на его переезд достаточно было одного часа, и у меня осталось сомнение, что Гоголь колебался взять у меня деньги и, может быть, даже пробовал достать их у кого-нибудь другого. На другой день мы назначили ехать с ним в Патриотический институт.

Должно упомянуть, что в это время вышли из печати вторые «Три повести» Павлова, что, сравнивая их с прежними, многие нападали на них, а Гоголь постоянно защищал, доказывая, что они имеют свое неотъемлемое достоинство: наблюдательный ум сочинителя и прекрасный язык, и что они нисколько не хуже первых.

Наконец, 17-го ездили мы с Верой и с Гоголем к его сестрам. Гоголь был нежный брат, он боялся, что сестры его произведут на нас невыгодное впечатление; он во всю дорогу приготовлял нас, рассказывая об их неловкости и застенчивости и неумении говорить. Мы нашли их точно такими, как ожидали, то есть совершенными монастырками. Вера старалась обласкать их как можно больше; они были уверены, что в следующий четверг, 23 ноября, едут вместе с нами в Москву. Гоголь просил нас обмануть их, кажется для того, чтобы заранее взять их из института, с которым они не хотели расстаться задолго до отъезда. Меньшая, Лиза, веселая и живая, была любимицей брата. Может быть, и сам Гоголь этого не знал, но мы заметили. Из института мы завезли Гоголя на его квартиру у Жуковского, который жил во дворце, потому что Гоголь, давши слово обедать с нами у Карташевских, сказал нам, что ему нужно чем-то дома распорядиться. Мы дожидались его с четверть часа и не вдруг заметили, что он бегал на квартиру для того, чтобы надеть фрак. Гоголь сказал нам, что на другой день он перевозит сестер своих к княгине Репниной (бывшей Балабиной), у которой они останутся до отъезда. Гоголю совестно было оставлять их там слишком долго, и потому Гоголь просил меня ускорить наш отъезд из Петербурга. Это приводило меня в большое

затруднение, потому что судьба моего Миши не была устроена и отъезд мой мог быть отложен очень надолго. Я не вдруг решился сказать об этом Гоголю, потому что такое известие было бы для него ударом. Ему казалось невозможным ехать одному с сестрами, которые семь лет не выезжали из института, ничего не знали и всего боялись. Впоследствии мы испытали на деле, что опасения Гоголя были справедливы. Последующие дни Гоголь не так часто виделся с нами, потому что очень занимался своими сестрами: он сам покупал все нужное для их костюма, нередко терял записки нужных покупок, которые они ему давали, и покупал совсем не то, что было нужно; а между тем у него была маленькая претензия, что он во всем знает толк и умеет купить хорошо и дешево. Когда же Гоголь сидел у меня, то любимый его разговор был о том, как он весною увезет с собою Константина в Италию и как благотворно подействует на него эта классическая страна искусства. Я предупредил его, что мы не можем скоро ехать и чтоб он нас не дожидался. Гоголь с тяжелым вздохом признался мне, что без нас никак не может ехать и потому будет ждать нашего отъезда, как бы он поздно ни последовал. Очень жаловался на юродство институтского воспитания и говорил, что его сестры не умеют даже ходить по-человечески. Он хотел на днях привести их к нам, чтоб познакомить с сестрой Надиной и ее дочерью. Гоголь опять читал повести Павлова, опять многое хвалил и говорил, что они имеют свое неотъемлемое достоинство.

Двадцать четвертого ноября Гоголь сидел у меня целое утро и сказал мне, между прочим, что здешние мерзости не так уже его оскорбляют, что он впадает в апатию и что ему скоро будет все равно, как бы о нем ни думали и как бы с ним ни поступали. Совестно было мне оставлять его долго в этом положении и отнимать у него время, которое, может быть, было бы творчески плодотворно в Москве. К тому же сестры его грустили по институту, и дальнейшее пребывание их у княгини Репниной было для него тягостно. Но что же было мне делать? Нельзя же мне было пожертвовать для этого существенно важными обстоятельствами для собственного моего семейства!

Двадцать шестого ноября давали «Ревизора». У нас было два бельэтажа, но я никак не мог уговорить Гоголя ехать с нами. Он верно рассчитал, до чего должно было дойти его представление в течение четырех лет: «Ревизора» нельзя было видеть без отвращения, все актеры впали в отвратительную карикатуру. Сосницкий сначала был недурен; много было естественности и правды в его игре; слышно было, что Гоголь сам два раза читал ему «Ревизора», он перенял кое-что и еще не забыл; но как скоро дошло до волнений духа, до *страсти*, говоря по-театральному, — Сосницкий сделался невыносимым ломакой, балаганным паясом.

На другой день поутру я поехал к Гоголю. Мне сказали, что его нет дома, и я зашел к его хозяину, к Жуковскому. Я не был с ним коротко знаком, но по Кавелину и Гоголю он хорошо меня знал. Я засиделся у него часа два. Говорили о Гоголе. Я не могу умолчать, несмотря на все мое уважение к знаменитому писателю и еще большее уважение к его высоким нравственным достоинствам, что Жуковский не вполне ценил талант Гоголя. Я подозреваю в этом даже Пушкина, особенно потому, что Пушкин погиб, зная только наброски первых глав «Мертвых душ». Оба они восхищались талантом Гоголя в изображении пошлости человеческой, его неподражаемым искусством схватывать вовсе незаметные черты и придавать им такую выпуклость, такую жизнь, такое внутреннее значение, что каждый образ становился живым лицом, совершенно понятным и незабвенным для читателя, восхищались его юмором, комизмом — и только. Серьезного значения, мне так кажется, они не придавали ему. Впрочем, должно предположить по письмам и отзывам Жуковского, что он не понимал Гоголя вполне. Жуковский также много говорил со мной о Милькееве, принимая теплое участие в его судьбе. Он читал мне многие его письма, которые несравненно лучше его стихов, имеющих также достоинство, хотя одностороннее. Письма Милькеева очень меня разогрели, и я разделял надежды Жуковского, не оправдавшиеся впоследствии. Наконец, я простился с ласковым хозяином и сказал, что зайду узнать, не воротился ли Гоголь, которого мне нужно видеть. «Гоголь никуда не уходил, —

сказал Жуковский, — он дома и пишет. Но теперь пора уже ему гулять. Пойдемте». И он провел меня через внутренние комнаты к кабинету Гоголя, тихо отпер и отворил дверь. Я едва не закричал от удивления. Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спензер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной убор мордовок. Гоголь писал и был углублен в свое дело, и мы, очевидно, ему помешали. Он долго, *не зря, смотрел* на нас, по выражению Жуковского, но костюмом своим нисколько не стеснялся. Жуковский сейчас ушел, и я, скрепя сердце, сказал Гоголю, что мы поедем из Петербурга после 6 декабря. Он был очень огорчен, но отвечал, что делать нечего и что он покоряется своей участи. Я звал его гулять, но он возразил, что еще рано. Я, увидев, что ему надобно было что-то кончить, сейчас с ним простился.

Двадцать девятого ноября, перед обедом, Гоголь привозил к нам своих сестер. Их разласкали донельзя, даже больная моя сестра встала с постели, чтоб принять их; но это были такие дикарки, каких и вообразить нельзя. Они стали несравненно хуже, чем были в институте: в новых длинных платьях совершенно не умели себя держать, путались в них, беспрестанно спотыкались и падали, от чего приходили в такую конфузию, что ни на один вопрос ни слова не отвечали. Жалко было смотреть на бедного Гоголя.

Мы условились с ним послезавтра в одно время приехать в Эрмитаж: мы с <В. И.> Панаевым, который доставил нам вечный билет для входа, а Гоголь с сестрами и с Балабиной. Гоголь предлагал Верочке и Машеньке осмотреть картины Жуковского, между которыми были очень замечательные, и также его чудесный альбом, стоивший, как говорили, тысяч сорок. Разумеется, это надо было сделать в отсутствие хозяина, что мои девицы находили не совсем удобным. В Эрмитаже мы были 1 декабря с Панаевым до двух часов, а потом с каким-то чичероне вплоть до сумерек. Уже в последних комнатах, перед

самым выходом, встретили мы сестер Гоголя с старухой Балабиной и ее дочерью; но сам Гоголь не приезжал. Сестры его сказали нам, что они сейчас от Жуковского; они, вероятно, осматривали картины и знаменитый альбом.

Второго декабря был у нас Гоголь, и мы вновь опечалили его известием, что и после 6 декабря отъезд наш на несколько дней отлагается. 3 декабря я читал «Арабески» Григорию Ивановичу, Машеньке и Верочке. Я прочел «Жизнь», «Невский проспект», с некоторыми выпусками, и «Записки сумасшедшего». Григорий Иванович очень хвалил, а Машенька и Вера были в восхищении и тронуты до слез. До 6 декабря мы виделись с Гоголем один раз на короткое время. 6 декабря я ездил в Царское село, и надежда на помещение Миши в лицей разрушилась. Я решился поместить его или в экстерны Пажеского корпуса, или в Юнкерскую школу. 7 декабря я написал к Гоголю обо всем случившемся со мной и также о том, что теперь я сам не знаю, когда поеду, и чтоб он не ждал меня. Я получил ответ самый нежный и грустный [1]. Гоголь обвинял в моей неудаче свою несчастную судьбу, не хотел без меня ехать и жалел только о том, что я огорчен. Жестокие морозы повергли его в уныние, и вдобавок он отморозил ухо. Он хотел приехать ко мне на другой день, но я намеревался предупредить его, потому что он очень легко одет. Гоголь не стал дожидаться следующего дня; он приехал ко мне в тот же день после обеда, сильно расстроенный моею неудачей, и утешал меня, сколько мог, даже вызвался разведать об учителях Юнкерской школы. Он так страдал от стужи, что у нас сердце переболело, глядя на него.

До 11 декабря мы не видали Гоголя; морозы сделались сноснее, и он, узнав от меня, что я не могу ничего положительного сказать о своем отъезде, решался через неделю уехать один с сестрами. 13-го Гоголь был у нас, и так как мы решились через несколько дней непременно ехать, то, разумеется, условились ехать вместе. Федор Иванович Васьков также вызвался ехать с нами. 15-го

---

[1] Он потерян, но слова Гоголевой записки сохранились в письме моем к жене, писанном в тот же день.

Гоголь вторично привозил своих сестер; они стали гораздо развязнее, много говорили и были очень забавны. Они нетерпеливо желали уехать поскорее в Москву. Много раз уже назначался день нашего отъезда и много раз отменялся по самым неожиданным причинам, и Гоголь полагал, что именно ему что-то постороннее мешает выехать из Петербурга.

Наконец, дня через два (настоящего числа не знаю) выехали мы из Петербурга. Я взял два особых дилижанса: один четвероместный, называющийся фамильным, в котором сели Вера, две сестры Гоголя и я, другой двуместный, в котором сидели Гоголь и Фед. Ив. Васьков. Впрочем, в продолжение дня Гоголь станции на две садился к сестрам, а я — на место к Васькову.

Несмотря на то, что Гоголь нетерпеливо желал уехать из Петербурга, возвратный наш путь совсем не был так весел, как путь из Москвы в Петербург. Во-первых, потому, что Васьков, хотя был самое милое и доброе существо, был мало знаком с Гоголем, и, во-вторых, потому, что последнего сильно озабочивали и смущали сестры. Уродливость физического и нравственного институтского воспитания высказывалась тут выпукло и ярко. Ничего, конечно, не зная и не понимая, они всего боялись, от всего кричали и плакали, особенно по ночам. Принужденность положения в дороге, шубы, платки и теплая обувь наводили на них тоску, так что им делалось и тошно и дурно. К тому же, как совершенные дети, беспрестанно ссорились между собою. Все это приводило Гоголя в отчаяние и за настоящее и за будущее их положение. Надобно сказать правду, что бедной Верочке много было хлопот и забот, и я удивлялся ее терпению. Я не знаю, что стал бы с ними делать Гоголь без нее. Они бы свели его с ума. Жалко и смешно было смотреть на Гоголя; он ничего не разумел в этом деле, и все его приемы и наставления были некстати, не у места, не во-время и совершенно бесполезны, и гениальный поэт был в этом случае нелепее всякого пошлого человека. Один Васьков смешил меня всю дорогу своими жалобами. Мы пленили его описанием веселого нашего путешествия с Гоголем в Петербург; он ожидал того же на возвратном пути, но вышло совсем напротив. Когда Гоголь садился вместе

с Васьковым, то сейчас притворялся спящим и в четверо суток не сказал ни одного слова; а Васьков, любивший спать днем, любил поговорить вечером и ночью.

Он заговаривал с своим соседом, но мнимоспящий Гоголь не отвечал ни слова. Всякое утро Васьков прекомически благодарил меня за приятного соседа, которого он досыта наслушался и нахохотался. На станциях, во время обедов и завтраков, чая и кофе, не слыхали мы ни одной шутки от Гоголя. Он и Вера постоянно были заняты около капризных *патриоток*, на которых угодить не было никакой возможности, которым все не нравилось, потому что не было похоже на их институт, и которые буквально почти ничего не ели, потому что кушанья были не так приготовлены, как у них в институте. Можно себе представить, что точно такая же история была в Петербурге у княгини Репниной! Каково было смотреть на все это бедному Гоголю? Он просто был мученик.

Наконец, на пятые сутки притащились мы в Москву. Натурально, сначала все приехали к нам. Гоголь познакомил своих сестер с моей женой и с моим семейством и перевез их к Погодину, у которого и сам поместился. Они занимали мезонин: на одной стороне жил Гоголь, а на другой его сестры.

Тут начались наши почти ежедневные свидания. 2 января Ольга Семеновна с Верой уехала в Курск. Третьего числа, часа за два до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь (меня не было дома), вытаскивает из карманов макароны, сыр пармезан и даже сливочное масло и просит, чтоб призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны. В обыкновенное время обеда Гоголь приехал к нам с Щепкиным, но меня опять не было дома: я поехал выручать свою шубу, которою обменялся с кем-то в Опекунском совете. По необыкновенному счастью, я нашел свою прекрасную шубу, висящую на той же вешалке: хозяин дрянной шубы, которую я надел вместо своей, видно еще не кончил своих дел и оставался почти уже в опустевшей зале Опекунского совета. Чрезвычайно обрадованный, я возвратился весел домой, где Гоголь и Щепкин уже давно меня ожидали. Гоголь встретил меня следующими словами: «Вы теперь сироты, и я привез макарон, сыру и масла, чтоб вас утешить.

Я же слышал, что вы такой славный мех подцепили, что в нем есть не только звери, но и птицы и черт знает что такое». Когда подали макароны, которые, по приказанию Гоголя, не были доварены, он сам принялся стряпать. Стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя; он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло, и я подумал, что если б судьба не сделал Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Как скоро оказался признак, что макароны готовы, то есть когда распустившийся сыр начал тянуться нитками, Гоголь с великою торопливостью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Макароны точно были очень вкусны, но многим показались не доварены и слишком посыпаны перцем; но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались. В этот день бедный Константин должен был встать из-за стола и, не дообедавши, уехать, потому что он дал слово обедать у Горчаковых, да забыл. Особенно было это ему тяжело, потому что мы не переставали надеяться, что Гоголь что-нибудь нам прочтет; но это случилось еще не скоро. Во все время пребывания Гоголя в Москве макароны появлялись у нас довольно часто. На другой день получил я письмо от И. И. Панаева, в котором он от имени Одоевского, Плетнева, Врасского, Краевского и от себя умолял, чтоб Гоголь не продавал своих прежних сочинений Смирдину за пять тысяч (и новой комедии в том числе), особенно потому, что *новая комедия* будет напечатана в «Сыне отечества» или «Библиотеке для чтения», а Врасский предлагает шесть тысяч с правом напечатать новую комедию в «Отечественных записках». Я очень хорошо понял благородную причину, которая заставила Гоголя торопиться продажею своих сочинений, для чего он поручил все это дело Жуковскому; но о новой комедии мы не слыхали. Я немедленно поехал к Гоголю, и,

разумеется, ни той, ни другой продажи не состоялось. Под *новой комедией*, вероятно, разумелись разные отрывки из недописанной Гоголем комедии, которую он хотел назвать «Владимир третьей степени». Я не могу утвердительно сказать, почему Гоголь не дописал этой комедии; может быть, он признал ее в полном составе неудобною в цензурном отношении, а может быть, был недоволен ею как взыскательный художник.

Через несколько дней, а именно в субботу, обедал у нас Гоголь с другими гостями; в том числе были <Ю. Ф.> Самарин и Григорий Толстой, давнишний мой знакомый и товарищ по театру, который жил в Симбирске и приехал в Москву на короткое время и которому очень хотелось увидать и познакомиться с Гоголем. Гоголь приехал к обеду несколькими минутами ранее обыкновенного и сказал, что он пригласил ко мне обедать незнакомого мне гостя, графа Владимира Соллогуба. Если б это сделал кто-нибудь другой из моих приятелей, то я бы был этим недоволен; но все приятное для Гоголя было и для меня приятно. Дело состояло в том, что Соллогуб был в Москве проездом, давно не видался с Гоголем, в этот же вечер уезжал в Петербург и желал пробыть с ним несколько времени вместе. Гоголь, не понимавший неприличия этого поступка и не знавший, может быть, что Соллогуб, как человек, мне не нравился, пригласил его отобедать у нас. Через несколько минут вошел Толстой и сказал, что Соллогуб стоит в лакейской и что ему совестно войти. Я вышел к нему и принял его ласково и нецеремонно. Гоголь опять делал макароны и был очень весел и забавен. Соллогуб держал себя очень скромно, ел за троих и не позволял себе никаких выходок, которые могли бы назваться неучтивостью по нашим понятиям и которыми он очень известен в так называемом большом кругу. С этого дня Гоголь уже обыкновенно по субботам приготовлял макароны. Он приходил к нам почти всякий день и обедал раза три в неделю, но всегда являлся неожиданно. В это время мы узнали, что Гоголь очень много работал, но сам он ничего о том не говорил. Он приходил к нам отдыхать от своих творческих трудов, поговорить вздор, пошутить, поиграть на бильярде, на

котором, разумеется, играть совершенно не умел, но Константину удавалось иногда затягивать его в серьезные разговоры об искусстве вообще. Я мало помню таких разговоров, но заключаю о них по письмам Константина, которые он писал около 20 января к Вере в Курск и к Мише в Петербург. Вот что он говорит в одном своем письме: «Чем более я смотрю на него, тем более удивляюсь и чувствую всю важность этого человека и всю мелкость людей, его не понимающих. Что это за художник! Как полезно с ним проводить время! Как уясняет он взгляд в мир искусства! Недавно я написал письмо об этом к Мише, серьезное и важное, которое вылилось у меня из души».

В это время приехал Панов из деревни. Он вполне понимал и ценил Гоголя. Разумеется, мы сейчас их познакомили, и Панов привязался всею своею любящею душою к великому художнику. Он скоро доказал свою привязанность убедительным образом.

Так шло время до возвращения Ольги Семеновны с Верой и с Сонечкой Самборской из Обояни. Они воротились, кажется, 2-го или 3 февраля, вероятно в субботу, потому что у нас обедал Гоголь и много гостей. Достоверно, что во время их отсутствия, продолжавшегося ровно месяц, Гоголь нам ничего не читал; но когда начал он читать нам «Мертвые души», то есть которого именно числа, письменных доказательств нет. Легко может быть, что он читал один или два раза по возвращении нашем из Петербурга, от 23 декабря до 2 января, потому что в письмах Веры к Машеньке Карташевской есть известие, от 14 февраля, что мы слушали уже итальянскую его повесть («Анунциату») и что 6 марта Гоголь прочел нам уже четвертую главу «Мертвых душ».

Восьмого марта, при многих гостях, совершенно неожиданно для нас, объявил Гоголь, что хочет читать. Разумеется, все пришли в восхищение от такого известия, и все соединились в гостиной. Гоголь сел за боковой круглый стол, вынул какую-то тетрадку, вдруг икнул и, опустив бумагу, сказал, *как он объелся грибков*. Это было начало комической сцены, которую он нам и прочел. Он начал чтение до такой степени натурально, что ни один из присутствующих не догадался, что слышит

сочинение. Впрочем, не только начало, но и вся сцена была точно так же читана естественно и превосходно. После этого, в одну из суббот, он прочел пятую главу, а 17 апреля, тоже в субботу, он прочел нам, перед самой заутреней светлого воскресенья, в маленьком моем кабинете, шестую главу, в которой создание Плюшкина привело меня и всех нас в великий восторг. При этом чтении был Армфельд, приехавший просто поиграть со мной в пикет до заутрени, и Панов, который приехал в то время, когда уже Гоголь читал, и, чтоб не помешать этому чтению, он сидел у двери другого моего кабинетца. Панов пришел в упоение и тут же решился пожертвовать всеми своими расчетами и ехать вместе с Гоголем в Италию. Я уже говорил о том, как нужен был товарищ Гоголю и что он напрасно искал его. После чтения мы все отправились в Кремль, чтоб услышать на площади первый удар колокола Ивана Великого. Похристосовавшись после заутрени с Гоголем, Панов сказал ему, что едет с ним в Италию, чему Гоголь чрезвычайно обрадовался.

Перед святой неделей приехала мать Гоголя с его меньшой сестрой. Взглянув на Марью Ивановну (так зовут мать Гоголя) и поговоря с ней несколько минут от души, можно было понять, что у такой женщины мог родиться такой сын. Это было доброе, нежное, любящее существо, полное эстетического чувства, с легким оттенком самого кроткого юмора. Она была так моложава, так хороша собой, что ее решительно можно было назвать только старшею сестрою Гоголя. Натурально, Марья Ивановна жила вместе с своими дочерьми также у Погодина.

В это пребывание свое в Москве Гоголь играл иногда в домино с Константином и Верой, и она проиграла ему дорожный мешок (sac de voyage). Гоголь взял обещание с Веры, что она напишет ему масляными красками мой портрет, на что Вера согласилась с тем, чтобы он прислал нам свой, и он обещал.

Я не говорил о том, какое впечатление произвело на меня, на все мое семейство, а равно и на весь почти наш круг знакомых, когда мы услышали первое чтение первой главы «Мертвых душ». Это был восторг упоения,

полное счастье, которому завидовали все, кому не удалось быть у нас во время чтения; потому что Гоголь не вдруг стал читать у других своих знакомых.

Приблизился день именин Гоголя, 9 мая, и он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина. Можно себе представить, как было мне досадно, что я не мог участвовать в этом обеде: у меня сделался жестокий флюс от зубной боли, с сильной опухолью. Несмотря на то, я приехал в карете, закутав совершенно свою голову, чтобы обнять и поздравить Гоголя, но обедать на открытом воздухе, в довольно прохладную погоду, не было никакой возможности. Разумеется, Константин там обедал и упросил именинника позвать Самарина, с которым Гоголь был знаком еще мало. На этом обеде, кроме круга близких приятелей и знакомых, были: А. И. Тургенев, князь П. А. Вяземский, Лермонтов, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкин и многие другие. Обед был веселый и шумный, но Гоголь хотя был также весел, но как-то озабочен, что, впрочем, всегда с ним бывало в подобных случаях. После обеда все разбрелись по саду маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», и читал, говорят, прекрасно. Константин не слыхал чтения, потому что в это время находился в другом конце обширного сада с кем-то из своих приятелей. Потом все собрались в беседку, где Гоголь собственноручно, с особенным старанием, приготовлял жженку. Он любил брать на себя приготовление этого напитка, причем говаривал много очень забавных шуток. Вечером приехали к имениннику пить чай, уже в доме, несколько дам: А. П. Елагина, Е. А. Свербеева, Е. М. Хомякова и Черткова. На вечер многие из гостей отправились к Павловым, куда Константин, будучи за что-то сердит на Павлова, не поехал.

Последнюю неделю своего пребывания в Москве Гоголь был у нас всякий день и пять раз обедал, по большей части с своей матерью и сестрами. Отъезд Гоголя с Пановым был назначен на 17 мая.

Гоголь с сестрой своей Лизой был с моими детьми в театре. Играла m-lle Allan, приехавшая из Петербурга;

после спектакля он хотел ехать; но, за большим разгоном, лошадей не достали, и Гоголь с сестрою ночевали у нас. На другой день, 18 мая, после завтрака, в 12 часов, Гоголь, простившись очень дружески и нежно с нами и с сестрой, которая очень плакала, сел с Пановым в тарантас, я с Константином и Щепкин с сыном Дмитрием поместились в коляске, а Погодин с зятем своим Мессингом — на дрожках, и выехали из Москвы. В таком порядке ехали мы с Поклонной горы по Смоленской дороге, потому что путешественники наши отправлялись через Варшаву. На Поклонной горе мы вышли все из экипажей, полюбовались на Москву; Гоголь и Панов, уезжая на чужбину, простились с ней и низко поклонились. Я, Гоголь, Погодин и Щепкин сели в коляску, а молодежь поместилась в тарантасе и на дрожках. Так доехали мы до Перхушкова, то есть до первой станции. Дорогой был Гоголь весел и разговорчив. Он повторил свое обещание, сделанное им у меня в доме за завтраком и еще накануне за обедом, что через год воротится в Москву и привезет первый том «Мертвых душ», совершенно готовый для печати. Это обещание он сдержал, но тогда мы ему не совсем верили. Нам очень не нравился его отъезд в чужие края, в Италию, которую, как нам казалось, он любил слишком много. Нам казалось непонятным уверение Гоголя, что ему надобно удалиться в Рим, чтоб писать об России; нам казалось, что Гоголь не довольно любит Россию, что итальянское небо, свободная жизнь посреди художников всякого рода, роскошь климата, поэтические развалины славного прошедшего, все это вместе бросало невыгодную тень на природу нашу и нашу жизнь. В Перхушкове мы обедали, выпили здоровье отъезжающих; Гоголь сделал жженку, не потому, чтоб мы любили выпить, а так, ради воспоминания подобных оказий. Вскоре после обеда мы сели, по русскому обычаю, потом помолились. Гоголь прощался с нами нежно, особенно со мной и Константином, был очень растроган, но не хотел этого показать. Он сел в тарантас с нашим добрым Пановым, и мы стояли на улице до тех пор, пока экипаж не пропал из глаз. Погодин был искренно расстроен, а Щепкин заливался слезами. Я, Щепкин, Погодин и Константин сели

в коляску, а Митя Щепкин и Мессинг на дрожки. На половине дороги, вдруг откуда ни взялись, потянулись с северо-востока черные, страшные тучи и очень быстро и густо заволокли половину неба и весь край западного горизонта; сделалось очень темно, и какое-то зловещее чувство налегло на нас. Мы грустно разговаривали, применяя к будущей судьбе Гоголя мрачные тучи, потемнившие солнце; но не более как через полчаса мы были поражены внезапною переменою горизонта: сильный северо-западный ветер рвал на клочки и разгонял черные тучи, в четверть часа небо совершенно прояснилось, солнце явилось во всем блеске своих лучей и великолепно склонялось к западу. Радостное чувство наполнило наши сердца. Нетрудно было составить благоприятное толкование небесного знаменья. Каких блистательных надежд, каких великих созданий и какого полного торжества его славы мы не могли ожидать в будущем! Это явление произвело на нас с Константином, особенно на меня, такое сильное впечатление, что я во всю остальную жизнь Гоголя никогда не смущался черными тучами, которые не только затемняли его путь, но даже грозили пресечь его существование, не дав ему кончить великого труда. До самого последнего страшного известия я был убежден, что Гоголь не может умереть, не совершив дела, свыше ему предназначенного.

Обращаюсь назад. По возвращении из Петербурга, прожив несколько времени вместе с матерью и сестрами в доме Погодина, Гоголь уверил себя, что его сестры, *патриотки* (как их называют), которые по-ребячьи были очень несогласны между собой, не могут ехать вместе с матерью в деревню, потому что они будут постоянно огорчать мать своими ссорами. Итак, он решился пристроить как-нибудь в Москве меньшую сестру Лизу, которая была умнее, живее и более расположена к жизни в обществе. Приведение в исполнение этой мысли стоило много хлопот и огорчений Гоголю. Черткова, с которой он был очень дружен, не взяла его сестры к себе, хотя очень могла это сделать; у других знакомых поместить было невозможно. Наконец, через Надежду Николаевну Шереметеву, почтенную и благодетельную старушку, которая впоследствии любила Гоголя, как сына, поместил

он сестру свою Лизу к г-же Раевской, женщине благочестивой, богатой, не имеющей своих детей, у которой жили и воспитывались какие-то родственницы. Мать Гоголя уехала из Москвы прежде.

Гоголь читал первые главы «Мертвых душ» у Ив. Вас. Киреевского и еще у кого-то. Все слушатели приходили в совершенный восторг, но были люди, которые возненавидели Гоголя с самого появления «Ревизора». «Мертвые души» только усилили эту ненависть. Так, например, я сам слышал, как известный граф Толстой-Американец говорил при многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были горячими поклонниками Гоголя, что он «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь». В Петербурге было гораздо более таких особ, которые разделяли мнение графа Толстого.

Во второй половине июня получил я первое письмо от Гоголя из Варшавы. Вот оно:

«Варшава, 10 июня <1840>.

Здравствуйте, мой добрый и близкий сердцу моему друг, Сергей Тимофеевич. Грешно бы было, если бы я не отозвался к вам с дороги. Но что я за вздор несу: грешно! Я бы не посмотрел на то, грешно или нет, прилично ли, или неприлично, и, верно, бы не написал вам ни слова, особливо теперь, если бы здесь не действовало побуждение душевное. Обнимаю вас и целую несколько раз. Мне не кажется, что я с вами расстался. Я вас вижу возле себя ежеминутно и даже так, как будто бы вы только что сказали мне несколько слов и мне следует на них отвечать. У меня не существует разлуки, и вот почему я легче расстаюсь, чем другой. И никто из моих друзей по этой же причине не может умереть, потому что он вечно живет со мною. Мы доехали до Варшавы благополучно — вот покамест все, что вас может интересовать. Нигде, ни на одной станции, не было никакой задержки, словом, лучше доехать невозможно. Даже погода была хороша: у места дождь, у места солнце. Здесь я нашел кое-каких знакомых, а через два дни мы выезжаем в Краков и оттуда, коли успеем, того же дни

в Вену. Целую и обнимаю несколько раз Константина Сергеевича и снабжаю следующими довольно скучными поручениями: привезти с собою кое-какие для меня книжки, а именно миниатюрное издание «Онегина», «Горя от ума» и басней Дмитриева, и если только вышло компактное издание «Русских песней» Сахарова, то привезти и его. Еще: если вы достали и если вам случится достать для меня каких-нибудь докладных записок и дел, то привезти и их также. Михаил Семенович, которого также при сей верной оказии целую и обнимаю, обещался, с своей стороны, достать. Хорошо бы присообщить и их также. Уведомите меня, когда едете в деревню. Корь, я полагаю, у вас уже совершенно окончилась. Перецелуйте за меня все милое семейство ваше и Ольге Семеновне вместе с самою искреннейшею благодарностью передайте очень приятное известие, именно, что запасов, данных нам, стало не только на всю дорогу, но даже и на станционных смотрителей, и даже в Варшаве мы наделили прислуживавших нам плутов остатками пирогов, балыков, лепешек и прочего.

Прощайте, мой бесценный друг. Обнимаю вас множество раз».

Поручения Константину привезть с собою книги и деловые бумаги показывают, что Гоголь вполне был уверен в скором приезде Константина в Италию. У нас точно было это намерение, хотя не так твердое и непреложное, как это казалось Гоголю [1]. Впрочем, если б оно и было точно таково, то, конечно, не могло бы исполниться, потому что в 1840 году, 12 августа, умер муж у сестры Надежды Тимофеевны, и мы с Верой прожили четыре месяца в Петербурге, а в 1841 году, 5 марта, мы потеряли Мишу. Потому разлучаться было не время. Деловые бумаги и разные акты, которых Гоголь добивался постоянно, вероятно, были ему нужны для того, чтоб поверить написанные им в «Мертвых душах» разные судебные сделки Чичикова, которые так и остались неверными с действительностью.

[1] Но в доказательство, что оно было, прилагаю ответ мой на это первое письмо Гоголя.

Вскоре по получении этого первого письма я уехал с Гришей за Волгу в свои деревни, и об этом-то отъезде спрашивает меня Гоголь. Вот мое письмо к Гоголю.

«Да, мой милый, мой бесценный друг, Николай Васильевич! Между друзьями нет разлуки! Вы так прекрасно высказали мне мои собственные чувства! Письмо ваше из Варшавы от 10 июня нов. ст. обрадовало все наше семейство. Меня не было дома, когда его получили; зато слова *письмо от Гоголя* радостно и шумно встретили меня, когда я воротился. Не нужно говорить, как драгоценно мне это *душевное побуждение,* которое заставило вас написать его... По непонятной для меня самого какой-то недогадке я не спросил вас, куда писать к вам? Мне так это досадно! Мне так хотелось писать, так было необходимо высказать вам все, что теснилось в душе... Но от глупой мысли, что письмо мое нигде не может вас поймать и пролежит где-нибудь известное время, воротится опять в Москву, опускались у меня руки... Теперь я столько пропустил времени, что, вероятно, это в самом деле случится... Но нужды нет. Если письмо не застанет вас в Вене, то, может быть, если вы оставили свой адрес, настигнет вас на водах или где-нибудь в Германии. Я и все семейство мое здоровы. Корь миновалась благополучно. Все обнимаем вас, а Константин особенно и так крепко, что только заочно могут быть безвредны такие объятия. Все ваши поручения он выполнит с радостью. Он все еще готовится писать диссертацию. Лиза ваша здорова, начинает привыкать к новому своему житью-бытью и хорошо улаживается. Мы видимся нередко. Она гостит у нас другой день: вчера было воскресенье, а сегодня Раевской нет дома. Лиза сама пишет. Погодин, верно, написал вам, что у него родился сын в день рождения Петра Великого и назван Петром и что я крестил его с Лизаветой Григорьевной Чертковой. Это мне было очень приятно, потому что она ваша добрая приятельница. Едва ли я поеду в свои деревни за Волгу. Кажется, мы проведем лето в Москве: к этому есть много побудительных причин и не весьма приятных. Не такой год, чтоб расставаться. Я прочел Лермонтова «Героя

нашего времени» в связи и нахожу в нем большое достоинство. Живо помню слова ваши, что Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца. Письмо мое написано очень беспорядочно... Нужды нет, не хочу пропустить почты. Михаил Семенович очень было прихворнул, но теперь выезжает и поправляется. Пожалейте: он на строжайшей диете... Он обнимает вас и обещает достать много *записок из дел*, к которым я присоединю свои. Все это привезет вам Константин, если не встретится оказии прежде».

Из этого письма очевидно, что мы действительно имели твердое намерение послать Константина в Италию к Гоголю. Оно, вероятно, писано вскоре по получении письма от Гоголя.

Почти через месяц получил я от Гоголя второе письмо, уже из Вены.

«Вена. 7 июля 1840 года.

Я получил третьего дни письмо ваше, друг души моей Сергей Тимофеевич! Оно ко мне дошло очень исправно и дойдет, без сомнения, и другое так же исправно, если только вам придет желание написать его, потому что я в Вене еще надеюсь пробыть месяца полтора, попить воды и отдохнуть. Здесь покойнее, чем на водах, куда съезжается слишком скучный для меня свет. Тут все ближе, под рукой, и свобода во всем. Нужно знать, что последняя давно убежала из деревень и маленьких городов Европы, где существуют воды и съезды. Парадно — мочи нет! К тому же у меня такая скверная натура, что при взгляде на эту толпу, приехавшую со всех сторон лечиться, — уже несколько тошнит, а на водах это не идет: нужно, напротив, чтобы слабило. Как вспомню Мариенбад и лица, из которых каждое насильно и нахально влезло в память, попадаясь раз по сорока на день, и несносных русских с вечным и непреложным вопросом: «А который стакан вы пьете?» — вопрос, от которого я улепетывал по проселочным дорожкам... Этот вопрос мне показался на ту пору родным братцем другого известного вопроса: «Чем вы подарите нас новеньким?» Ибо всякое слово, само

по себе невинное, но повторенное двадцать раз, делается пошлее добродетельного Цинского или романов Булгарина, что все одно и то же... Я замечаю, что я, кажется, не кончил периода. Но вон его! Был ли когда-нибудь какой толк в периодах? Я только вижу и слышу толк в чувствах и душе. Итак, я на водах в Вене: и дешевле, и покойнее, и веселее. Я здесь один; меня не смущает никто. На немцев я гляжу как на необходимых насекомых во всякой русской избе. Они вокруг меня бегают, лазят, но мне не мешают; а если который из них взлезет мне на нос, то щелчок — и был таков!

Я совершенно покоен после вашего письма. Первое и главное — вы здоровы. Но мне жаль, если вы проведете лето в Москве. Перемена необходимо нужна вам, как и всякому человеку, проведшему зиму в Москве. Мне жаль, если у вас не будет дачи, пруда с рыбами, леса и дорог, которые бы заманили ходить.

Ради бога, сделайте так, чтобы ваше лето не было похоже на зиму. Иначе это значит — гневить бога и выпускать на него эпиграммы.

Вена приняла меня царским образом! Только теперь всего два дня прекратилась опера — чудная, невиданная. В продолжение целых двух недель первые певцы Италии мощно возмущали, двигали и производили благодетельные потрясения в моих чувствах. Велики милости бога! я оживу еще.

Обнимаю от души Константина Сергеевича, хотя, без сомнения, не так крепко, как он меня (но это не без выгоды: бокам несколько легче), и, между прочим, прошу его к наданным от меня комиссиям прибавить еще несколько, а именно: спросить у Погодина, не нашелся ли мой Шекспир, второй том, который взять ему с собою и прибавить к этому оба издания песней Максимовича, а может быть, и третье, коли вышло, а главное — купить или поручить Михаилу Семеновичу купить у лучшего сапожника петербургской выделанной кожи, самой мягкой, для сапог, то есть одни передки (они так уж вырезанные находятся, места не занимают и удобны к взятию); пары две или три. Случилась беда: все сапоги, сделанные мне Таке, оказались короткими. Упрямый немец! Я толковал ему, что будут коротки, — не

хотел, сапожная колодка, согласиться! и широки так, что у меня ноги распухли. Хорошо бы было, если бы мне были доставлены эти кожи, а делают сапоги здесь недурно.

Товарищ мой немного было прихворнул, но теперь здоров, заглядывается на Вену и с грустью собирается ее оставить послезавтра для дальнейшего пути. Он теперь сидит за письмом к вам.

Целую ручки Ольги Семеновны и посылаю мое душевное объятие всему вашему семейству. Прощайте, мой друг! Будьте здоровы и берегите свое здоровье!»

К этому письму не нужно прибавлять никаких объяснений. Но следует заметить, что здесь продолжается в душе Гоголя то же самое настроение, с каким он уехал из Москвы. Его же увидим мы и в следующем письме в Москву к Ольге Семеновне, ибо я известил Гоголя, что уезжаю с Константином за Волгу, куда я и уехал, кажется, 27 июня. Из этого письма также видно, какое значение имели для Гоголя все искусства и как благодетельно было их влияние на его душу. О сильном стремлении его к живописи я уже имел случай говорить; но здесь видно, как действовала на него музыка и как дороги были ему родные малороссийские песни. Даже третье издание Максимовича, почти одних и тех же песен, просит он Константина привезть ему в Рим. Итак, очень ошибочно это мнение, что будто Гоголь только в последние два года своей жизни вновь обратился к своей прекрасной родине и к ее прелестным песням. Вот его письмо к Ольге Семеновне из Венеции.

«Венеция, <?> августа 10 <1840. Вена.>

Так как Сергея Тимофеевича теперь, вероятно, нет в Москве, Константин Сергеевич, без сомнения, тоже с ним, то решаюсь, Ольга Семеновна, осадить вас моими двумя усерднейшими просьбами. Но прежде чем просьбы, позвольте поблагодарить вас, вы знаете за что: за все. Позвольте поблагодарить также вас и все ваше семейство за память обо мне. Впрочем, в последнем случае благодарить мне незачем, потому что здесь

плата тою же монетою с моей стороны, что вам, без сомнения, известно. А просьбы мои следующие. Отправьте прилагаемое при сем письмо к Лизе и вручите Михаилу Семеновичу прилагаемое при сем действие переведенной для него комедии. Еще одна просьба, о которой напоминать мне немножко бессовестно, но нечего делать. Просьба эта относится прямо к Вере Сергеевне, а в чем она заключается — это ей известно. Исполнению ее, конечно, теперь мешает отъезд Сергея Тимофеевича. Но по приезде... Вера Сергеевна простила меня за мой докучливый характер. Прощайте. Веселитесь веселее, сколь можно, и отведайте лета более, сколько можно. Я вас вижу очень живо и также вижу всех вас, все ваше семейство.

К Сергею Тимофеевичу я буду писать из Рима, не знаю только, куда адресовать. Впрочем, отправите вы.

Целую ваши ручки».

Первое действие комедии, о которой пишет Гоголь, принадлежит к той самой пиесе, которую Щепкин, под названием «Дядька в хлопотах», давал себе в бенефис в прошедшую зиму, через год после кончины Гоголя. Просьба к Верочке относится до моего портрета, который она обещала написать для Гоголя, исполнению которой, без сомнения, мешало мое отсутствие. Я воротился из-за Волги в исходе августа. Меня ожидало уже печальное известие, что Гр. Ив. Карташевского нет на свете. Через сутки мы уже уехали с Верой в Петербург. Писем от Гоголя долго не было. Наконец, пришло известие, что он был отчаянно болен, и вот письмо, которое я получил от него уже в январе 1841 года.

«28 декабря 1840 года. Рим.

Я много перед вами виноват, друг души моей Сергей Тимофеевич, что не писал к вам тотчас после вашего мне так всегда приятного письма. Я был тогда болен. О моей болезни мне не хотелось писать к вам, потому что это бы вас огорчило. Вы же в это время и без того, как я узнал, узнали великую утрату; лгать

мне тоже не хотелось, и потому я решился обождать. Теперь я пишу к вам, потому что здоров, благодаря чудной силе бога, воскресившего меня от болезни, от которой, признаюсь, я не думал уже встать. Много чудного совершилось в моих мыслях и жизни! Вы в вашем письме сказали, что верите в то, что мы увидимся опять. Как угодно будет всевышней силе! Может быть, это желание, желание сердец наших, сильное обоюдно, исполнится. По крайней мере обстоятельства идут как будто бы к тому.

Я, кажется, не получу места, о котором, помните, мы хлопотали и которое могло бы обеспечить мое пребывание в Риме. Я почти, признаюсь, это предвидел, потому что Кривцова, который надул всех, я разгадал почти с первого взгляда. Это человек, который слишком любит только одного себя и прикинулся любящим и то и се потому только, чтобы посредством этого более удовлетворять своей страсти, то есть любви к самому себе. Он мною дорожит столько же, как тряпкой. Ему нужно иметь при себе непременно какую-нибудь европейскую знаменитость в художественном мире, в достоинство внутреннее которого он хотя, может быть, и сам не верит, но верит в разнесшуюся его знаменитость: ибо ему — что весьма естественно — хочется разыграть со всем блеском ту роль, которую он не очень смыслит. Но бог с ним! Я рад всему, всему, что ни случается со мною в жизни, и как погляжу я только, к каким чудным пользам и благу вело меня то, что называют в свете неудачами, то растроганная душа моя не находит слов благодарить невидимую руку, ведущую меня.

Другое обстоятельство, которое может дать надежду на возврат мой, — мои занятия. Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том «Мертвых душ». Переменяю, перечищаю, многое переработываю вовсе и вижу, что их печатание не может обойтись без моего присутствия. Между тем дальнейшее продолжение его выясняется в голове моей чище, величественней, и теперь я вижу, что может быть со временем кое-что колоссальное, если только позволят слабые мои силы. По крайней мере, верно, немногие знают, на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий

сюжет, которого первые невинные и скромные главы вы уже знаете. Болезнь моя много отняла у меня времени; но теперь, слава богу, я чувствую даже по временам свежесть, мне очень нужную. Я это приписываю отчасти холодной воде, которую я стал пить по совету доктора, которого за это благослови бог и который думает, что мне холодное лечение должно помочь. Воздух теперь чудный в Риме, светлый. Но лето, лето — это я уже испытал — мне непременно нужно провести в дороге. Я повредил себе много, что зажился в душной Вене. Но что же было делать? Признаюсь — у меня не было средств тогда предпринять путешествие; у меня слишком было все рассчитано. О, если б я имел возможность всякое лето сделать какую-нибудь дальнюю, дальнюю дорогу! Дорога удивительно спасительна для меня... Но обратимся к началу. В моем приезде к вам, которого значения я даже не понимал вначале, заключалось много, много для меня. Да, чувство любви к России, слышу, во мне сильно. Многое, что казалось мне прежде неприятно и невыносимо, теперь мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, как я мог их когда-либо принимать близко к сердцу. И то, что я приобрел в теперешний приезд мой в Москву, вы знаете! Что я разумею, вам за этим незачем далеко ходить, чтобы узнать, какое это приобретение. Да, я не знаю, как и чем благодарить мне бога. Но уже когда я мыслю о вас и об этом юноше, так полном сил и всякой благодати, который так привязался ко мне, — я чувствую в этом что-то такое сладкое.

Но довольно; сокровенные чувства как-то становятся пошлыми, когда облекаются в слова. Я хотел было обождать этим письмом и послать вместе с ним перемененные страницы в «Ревизоре» и просить вас о напечатании его вторым изданием — и не успел. Никак не хочется заниматься тем, что нужно к спеху, а все бы хотелось заняться тем, что не к спеху. А между тем оно было бы очень нужно скорее. У меня почти дыбом волос, как вспомню, в какие я вошел долги. Я знаю, что вам подчас и весьма нужны деньги; но я надеюсь через неделю выслать вам переправки и приложения к

«Ревизору», которые, может быть, заставят лучше покупать его. Хорошо бы, если бы он выручил прежде должные вам, а потом тысячу, взятую у Панова, которую я пообещал ему уплатить было в феврале.

Панов молодец во всех отношениях, и Италия ему много принесла пользы, какой бы он никогда не приобрел в Германии, в чем он совершенно убедился. Это не мешает довести, между прочим, до сведения кое-кого. А впрочем, если рассудить по правде, то я не знаю, почему вообще молодым людям не развернуться в полноте сил и в русской земле. Но почему — может увлечь в длинные рассуждения. Покамест прощайте...»

Письмо это написано уже совсем в другом тоне, чем все предыдущие. Этот тон сохранился уже навсегда. Должно поверить, что *много чудного* совершилось с Гоголем, потому что он с этих пор изменился в нравственном существе своем. Это не значит, что он сделался другим человеком, чем был прежде; внутренняя основа всегда лежала в нем, даже в самых молодых годах; но она скрывалась, так сказать, наружностью внешнего человека. Отсюда начинается постоянное стремление Гоголя к улучшению в себе духовного человека и преобладание религиозного направления, достигшего впоследствии, по моему мнению, такого высокого настроения, которое уже несовместимо с телесною оболочкою человека. Я не спрашивал Гоголя в подробности, что с ним случилось: частью из деликатности, не желая насиловать его природной скрытности, а частью потому, что боялся дотрогиваться до таких предметов и явлений, которым я не верил и теперь не верю, считая их порождением болезненного состояния духа и тела. Но я слышал, что Гоголь во время болезни имел какие-то видения, о которых он тогда же рассказал ходившему за ним с братскою нежностью и заботою купцу Н. П. Боткину, который случился на то время в Риме. Что касается до места, которое мы все желали доставить Гоголю, то оно, кажется, вовсе не состоялось. Кривцов был назначен в Риме вроде какого-то попечителя и

официального ходатая всех русских художников, там живущих. Гоголь хотел быть его помощником, которому предполагали определить жалованья с лишком две тысячи рублей асигнациями; получив такое место, Гоголь был бы обеспечен в своем существовании. Что же собственно разумел Гоголь под словами: «к каким чудным пользам и благу вело меня то, что называют в свете неудачами», то это обстоятельство осталось для меня неизвестным. Слова самого Гоголя утверждают меня в том мнении, что он начал писать «Мертвые души» как любопытный и забавный анекдот; что только впоследствии он узнал, говоря его словами, «на какие сильные мысли и глубокие явления может навести незначащий сюжет»; что впоследствии, мало-помалу, составилось это колоссальное создание, наполнившееся болезненными явлениями нашей общественной жизни; что впоследствии почувствовал он необходимость исхода из этого страшного сборища человеческих уродов, необходимость — примирения... Возможно ли было исполнение такой задачи и мог ли ее исполнить Гоголь — это вопрос другой, к которому я обращусь в конце этих записок. В словах Гоголя, что он слышит в себе *сильное чувство к России*, заключается, очевидно, указание, подтверждаемое последующими словами, что этого чувства у него прежде не было или было слишком мало. Без сомнения, пребывание в Москве, в ее русской атмосфере, дружба с нами и особенно влияние Константина, который постоянно объяснял Гоголю, со всею пылкостью своих глубоких святых убеждений, все значение, весь смысл русского народа, были единственные тому причины. Я сам замечал много раз, какое впечатление производил он на Гоголя, хотя последний старательно скрывал свое внутреннее движение. Единственно в этом письме, в первый и последний раз, высказался откровенно Гоголь. И прежде и после этого письма он по большей части подшучивал над русским человеком. Есть еще доказательства этого русского движения, образовавшегося в Москве именно в 1840 году: в первом томе «Мертвых душ» многие места в этом духе очевидно вставлены и даже не совсем гармонируют с прежними речами. Под словами «и то, что я *приобрел в теперешний приезд мой в Москву*»

Гоголь разумеет дружбу со мной и моим семейством; а под словами *юноша, полный всякой благодати*, — Константина.

Я не получал писем от Гоголя около двух месяцев. Прилагаемое письмо от 5 марта 1841 года получено мною уже тогда, когда богу было угодно поразить нас ужасным и неожиданным ударом; именно 5 марта потеряли мы сына, полного крепости телесных сил и всяких блистательных надежд; а потому все поручения Гоголя передал я к исполнению Погодину.

«Марта 5 <1841> Рим.

Мне грустно так долго не получать от вас вести, Сергей Тимофеевич. Но, может быть, я сам виноват: может быть, вы ожидали высылки мною обещанных изменений и приложений, следуемых ко второму изданию «Ревизора». Но я не мог найти нигде их. Теперь только случаем нашел их там, где не думал. Если б вы знали, как мне скучно теперь заниматься тем, что нужно на скорую руку — как мне тягостно на миг оторваться от труда, наполняющего ныне всю мою душу! Но вот вам, наконец, эти приложения. Здесь письмо, писанное мною к Пушкину по его собственному желанию. Он был тогда в деревне. Пиеса игралась без него. Он хотел писать полный разбор ее для своего журнала и меня просил уведомить, как она была выполнена на сцене. Письмо осталось у меня неотправленным, потому что он скоро приехал сам. Из этого письма я выключил то, что собственно могло быть интересно для меня и для него, и оставил только то, что может быть интересно для будущей постановки «Ревизора», если она когда-нибудь состоится. Мне кажется, что прилагаемый отрывок будет нелишним для умного актера, которому случится исполнять роль Хлестакова. Это письмо под таким названием, какое на нем выставлено, нужно отнесть на конец пиесы, а за ним непосредственно следуют две прилагаемые, выключенные из пиесы, сцены. Небольшую характеристику ролей, которая находится в начале книги первого издания, нужно исключить. Она вовсе не нужна. У Погодина возьмите приложенное в

его письме изменение четвертого акта, которое совершенно необходимо. Хорошо бы издать «Ревизора» в миниатюрном формате, а впрочем, как найдете лучшим.

Теперь я должен с вами поговорить о деле важном. Но об этом сообщит вам Погодин. Вы вместе с ним сделаете совещание, как устроиться лучше. Я теперь прямо и открыто прошу помощи, ибо имею право и чувствую это в душе. Да, друг мой! я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля бога: подобное внушенье не происходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета! О, если бы еще три года с такими свежими минутами! Столько жизни прошу, сколько нужно для окончания труда моего; больше ни часу не нужно. Теперь мне нужны необходимо дорога и путешествие: они одни, как я уже говорил, восстановляют меня. У меня все средства истощились уже несколько месяцев. Для меня нужно сделать заем. Погодин вам скажет. В начале же 42 года выплатится мною все, потому что одно то, которое уже у меня готово и которое, если даст бог, напечатаю в конце текущего года, уже достаточно для уплаты.

Теперь я ваш; Москва моя родина. В начале осени я прижму вас к моей русской груди. Все было дивно и мудро расположено высшею волею: и мой приезд в Москву и мое нынешнее путешествие в Рим — все было благо. Никому не говорите ничего ни о том, что буду к вам, ни о том, что я тружусь — словом, ничего. Но я чувствую какую-то робость возвращаться одному. Мне тягостно и почти невозможно теперь заняться дорожными мелочами и хлопотами. Мне нужно спокойствие и самое счастливое, самое веселое, сколько можно, расположение души; меня теперь нужно беречь и лелеять. Я придумал вот что: пусть за мною приедут Михаил Семенович и Константин Сергеевич; им же нужно — Михаилу Семеновичу для здоровья, Константину Сергеевичу для жатвы, за которую уже пора ему приняться.

А милее душе моей этих двух, которые могли бы за мною приехать, не могло бы для меня найтиться никого. Я бы ехал тогда с тем же молодым чувством, как школьник в каникулярное время едет из надоевшей школы домой под родную крышу и вольный воздух. Меня теперь нужно лелеять не для меня, нет! Они сделают небесполезное дело. Они привезут с собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся в трещинах, довольно стара и еле держится; но в этой вазе теперь заключено сокровище; стало быть, ее нужно беречь. Жду вашего ответа, чем скорее, тем лучше. Если бы вы знали, как я теперь жажду обнять вас. До свиданья! Как прекрасно это слово!

Перецелуйте моим поцелуем всех ваших: Ольгу Семеновну, Веру Сергеевну, Ольгу Сергеевну — всех! всех! Письма мне адресуйте на имя банкира Валентини, это будет вернее, чем Poste restante[1]. Адрес его: Piazza Apostoli, Palazzo Valentini».

Это письмо привело в восхищение всех друзей Гоголя, а также меня и мое семейство настолько, насколько наши убитые горестью сердца могли принять в этом участие. Письмо это утверждает обращение Гоголя к России; слова «к русской груди моей» это доказывают. Можно также заключить, что Гоголь переезжал в Москву навсегда, с тем чтобы уже не ездить более в чужие края, о чем он и сам мне говорил сначала, по возвращении из Рима. Как слышна искренность убеждений Гоголя в этом письме в великость своего труда как в благую, свыше назначенную цель всей своей жизни! Поехать к Гоголю, так сказать навстречу, чтоб привезть его в Москву, никто не мог: Константину невозможно было разлучиться с нами в это печальное время. Щепкин не имел никаких средств ехать, да и получить заграничный отпуск было бы для него очень затруднительно. Что же касается до займа денег для Гоголя и вообще до его письма об этом предмете, то его не вдруг показали мне, потому что мне было не до

[1] До востребования.

того. Общее это письмо было написано ко мне, к Погодину и Шевыреву.

Второе и последнее письмо ко мне в этом году от Гоголя из Рима не имеет числа; но по содержанию его можно догадаться, что оно написано довольно скоро после письма от 5 марта, когда Гоголь еще не знал о нашем несчастье. Вот оно:

«Едва только я успел отправить письмо мое к вам с приложеньями к «Ревизору», как получил вслед за тем ваше. Оно было для меня тем приятнее, что мне казалось уже, будто я от вас бог знает когда не получал вести. Целую вас несколько раз в задаток поцелуев личных. «Ревизора», я полагаю, не отложить ли до осени? Время близится к лету; в это время книги сбываются плохо, и вообще торговля не движется. Отпечатать можно теперь, а выпуском повременить до осени. По крайней мере так говорит благоразумие и опытность.

Вы пишете, чтобы я прислал что-нибудь в журнал Погодину. Боже, если бы вы знали, как тягостно, как разрушительно для меня это требование, какую вдруг нагнало оно на меня тоску и мучительное состояние! Теперь на один миг оторваться мыслью от святого своего труда — для меня уже беда. Никогда б не предложил мне в другой раз подобной просьбы тот, кто бы мог узнать на самом деле, чего он лишает меня. Если бы я имел деньги, клянусь, я бы отдал все деньги, сколько б у меня их ни было, вместо отдачи своей статьи! Но так и быть, я отыщу какой-нибудь старый лоскуток и просижу над переправкой и окончательной отделкой его, боже! может быть, две-три недели, ибо теперь для меня всякая малая вещь почти такого же требует обдумыванья, как великая, и, может быть, еще большего и тягостно-томительнейшего труда; ибо он будет почти насильственный, и всякую минуту я буду помнить бесплодную великость своей жертвы, — преступную свою жертву. Нет, клянусь, грех, сильный грех, тяжкий грех отвлекать меня! Только одному неверующему словам моим и недоступному мыслям высоким позволительно это сделать. Труд мой велик, мой подвиг спасителен. Я умер теперь для всего мелочного; и для презренного ли журнального,

пошлого занятья ежедневным дрязгом я должен совершать непрощаемые преступления? И что поможет журналу моя статья? Но статья будет готова и недели через три выслана. Жаль только, если она усилит мое болезненное расположение. Но я думаю, нет. Бог милостив... Дорога, дорога! Я сильно надеюсь на дорогу. Она же так теперь будет для меня вдвойне прекрасна. Я увижу моих друзей, моих родных друзей. Не говорите о моем приезде никому и Погодину скажите, чтоб он также не говорил; если же прежде об этом проговорились, то теперь говорите, что это неверно еще. Ничего также не сказывайте о моем труде. Обнимите Погодина и скажите ему, что я плачу, что не могу быть полезным ему со стороны журнала; но что он, если у него бьется русское чувство любви к отечеству, он должен требовать, чтоб я не давал ему ничего.

Вы, может быть, дивитесь, что я вызываю Константина Сергеевича и Михаила Семеновича, но я делал это в том предположении, что Константину Сергеевичу нужно было и без того ехать, а Михаил Семенович тоже хотел ехать к водам, что ему принесло бы значительную пользу. Я бы их ожидал хоть в самом первом за нашею границею немецком городке. Вы знаете этому причины из письма моего, которое вы уже получили. Насчет денег нужно будет распорядиться скорее.

В мае месяце я полагаю выехать из Рима, месяцы жаркие провесть где-нибудь в холодных углах Европы — может быть, в Швейцарии, и к началу сентября в Москву — обнять и прижать вас сильно...

Прощайте, жду с нетерпением ваших писем. Обнимаю крепко все ваше семейство».

Желание Гоголя не исполнилось. «Ревизор» был напечатан Погодиным со всеми приложениями, которые предварительно были помещены в «Москвитянине», что, разумеется, было Гоголю неприятно. Хотя я был тогда в таком положении, что не могу обвинять строго себя, но я должен признаться, что финансовые расчеты журналиста не казались мне тогда так противными, как теперь, и что вообще я не умел понимать во всей полноте стра-

дальческого положения Гоголя. Очевидным доказательством тому служит мое письмо к Гоголю, в котором я просил, чтоб он прислал что-нибудь в журнал Погодину.

Теперь для меня это очень прискорбно, но прошедшего не воротишь. Я особенно должен обвинять себя потому, что только моя просьба (как мне кажется) могла заставить Гоголя оторваться от своего святого труда, пожертвовать своею чудною итальянскою повестью «Анунциата», которой начало он нам читал, и сделать из нее отдельную статью под названием «Рим», которая впоследствии была напечатана в «Москвитянине». Впрочем, у Гоголя недостало сил исполнить свое обещание так скоро; он точно оставил было «Мертвые души» и принялся за переделку «Анунциаты». Но он был так занят, так погружен в мир своей поэмы, что работа не спорилась и сделалась для него невыносимою. Он бросил ее и докончил уже в Москве.

Между тем Гоголь получил известие о нашем несчастье. Не помню, писал ли я сам к нему об этом, но знаю, что он написал ко мне утешительное письмо, которое до меня не дошло и осталось для меня неизвестным. Письмо было послано через Погодина; вероятно, оно заключало в себе такого рода утешения, до которых я был большой неохотник и мог скорее рассердиться за них, чем утешиться ими. Погодин знал это очень хорошо и не отдал письма, а впоследствии или затерял, или обманул меня, сказав, что письма не нашел.

Гоголя мы уже давно ждали, но, наконец, и ждать перестали, а потому внезапное появление его у нас в доме 18 октября произвело такой же радостный шум, как в 39-м году письмо Щепкина, извещавшее о приезде Гоголя в Москву: крик Константина точно так же всех напугал.

В этот год последовала сильная перемена в Гоголе не в отношении к наружности, а в отношении к его нраву и свойствам. Впрочем, и по наружности он стал худ, бледен и тихая покорность воле божией слышна была в каждом его слове: гастрономического направления и прежней проказливости как будто не бывало. Иногда, очевидно без намерения, слышался юмор и природный его комизм; но смех слушателей, прежде не противный ему

или не замечаемый им, в настоящее время сейчас заставлял его переменить тон разговора. Проявление последней его проказливости случилось во время переезда Гоголя из Петербурга в Москву. Он приехал в одной почтовой карете с Петр. Ив. Пейкером и сидел с ним в одном купе. Заметя, что товарищ очень обрадовался соседству знаменитого писателя, он уверил его, что он не *Гоголь*, а *Гогель*, прикинулся смиренным простячком, круглым сиротой и рассказал о себе преплачевную историю. Притом на все вопросы отвечал: «Нет, не знаю». Пейкер оставил в покое своего неразговорчивого соседа. Приехав в Москву, Пейкер немедленно посетил нас. Речь зашла о Гоголе, и петербургский гость изъявил горячее желание его видеть. Я сказал, что это очень немудрено, потому что Гоголь бывает у меня почти всякий день. Через несколько минут входит Гоголь своей тогда еще живою и бодрою походкой. Я познакомил его с моим гостем, и что же? Он узнает в Гоголе несносного своего соседа Гогеля. Мы не могли удержаться от смеха, но Пейкер осердился. Он был прав: за что Гоголь дурачил его трое суток? Между тем Гоголь сделал это единственно для того, чтоб избавиться от докучливых вопросов, предлагаемых обыкновенно писателю: «Что вы теперь пишете? Когда подарите нас новым произведением? Для чего вы не напишете того-то?» и пр. и пр. Можно ли строго осудить за это Гоголя, который так любил уединение дороги? Невинная выдумка возвращала ему полную свободу, и он, подняв воротник шинели выше своей головы (это была его любимая поза), всю дорогу читал потихоньку Шекспира или предавался своим творческим фантазиям. Между тем многие его за это обвиняли. Мы успокоили Пейкера, объяснив ему, что подобные мистификации Гоголь делал со всеми. Впоследствии они обедали у нас вместе, и Гоголь был любезен с своим прежним дорожным соседом.

Гоголь точно привез с собой первый том «Мертвых душ», совершенно конченный и отчасти отделанный. Он требовал от нас, чтоб мы никому об этом не говорили, а всем бы отвечали, что ничего готового нет. Начались хлопоты с перепискою набело «Мертвых душ». Я доставил было Гоголю отличного переписчика, бывшего при

мне воспитанником в Межевом институте, Крузе; но не знаю, или лучше сказать, не помню, почему Гоголь взял другого переписчика. Прилагаемая записка служит тому доказательством.

«Я к вам приходил, между прочим, с просьбою, которую совершенно позабыл. А именно, нельзя ли послать к Крузе взять у него десть или две чистой бумаги, которая ему теперь не нужна, а будет нужна моему переписчику. Из-за нее остановилось дело.

Гоголь».

Покуда переписывались первые шесть глав, Гоголь прочел мне, Константину и Погодину остальные пять глав. Он читал их у себя на квартире, то есть в доме Погодина, и ни за что не соглашался, чтоб кто-нибудь слышал их, кроме нас троих. Он требовал от нас критических замечаний не столько на частности, как на общий состав и ход происшествия в целом томе. Я решительно не был тогда способен к такого роду замечаниям; частности, мелочи бросались мне в глаза во время чтения, но и об них я забывал после. Итак, я молчал, но Погодин заговорил. Что он говорил, я хорошенько не помню; помню только, что он, между прочим, утверждал, что в первом томе содержание поэмы не двигается вперед; что Гоголь выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате урода. Я принялся спорить с Погодиным, доказывая, что тут никакого коридора и никаких уродов нет, что содержание поэмы идет вперед, потому что Чичиков ездит по добрым людям и скупает мертвые души... Но Гоголь был недоволен моим заступлением и, сказав мне: «Сами вы ничего заметить не хотите или не замечаете, а другому замечать мешаете...», просил Погодина продолжать и очень внимательно его слушал, не возражая ни одним словом.

Я говорил Гоголю после, что, слушая «Мертвые души» в первый раз, да хоть бы и не в первый, и увлекаясь красотами его художественного создания, никакой в свете критик, если только он способен принимать поэтические

впечатления, не в состоянии будет замечать какие-нибудь недостатки; что если он хочет моих замечаний, то пусть даст мне чисто переписанную рукопись в руки, чтоб я на свободе прочел ее и, может быть, не один раз; тогда дело другое. Но Гоголь не хотел и не мог этого сделать: рукопись поспешно переписывалась и немедленно была отослана в цензуру в Петербург. Тут случилось что-то такое, чего я и теперь объяснить не умею. Гоголь хотел послать первый том «Мертвых душ» в Петербург к Жуковскому или к графу Вьельгорскому для того, чтоб найти возможность представить его прямо к государю: ибо все мы думали, что обыкновенная цензура его не пропустит. Вдруг Гоголь переменил свое намерение и послал рукопись в Петербург прямо к цензору Никитенко и, кажется, послал с Белинским, по крайней мере не сказал нам с кем. У нас возникло подозрение, что Гоголь имел сношение с Белинским, который приезжал на короткое время в Москву, секретно от нас, потому что в это время мы все уже терпеть не могли Белинского, переехавшего в Петербург для сотрудничества в издании «Отечественных записок» и обнаружившего гнусную враждебность к Москве, к русскому человеку и ко всему нашему русскому направлению.

В это время, то есть в конце 1841 и в начале 1842 года, начали возникать неудовольствия между Гоголем и Погодиным. Гоголь молчал, но казался расстроенным, а Погодин начал сильно жаловаться на Гоголя: на его капризность, скрытность, неискренность, даже ложь, холодность и невнимание к хозяевам, то есть к нему, к его жене, к матери и к теще, которые будто бы ничем не могли ему угодить. Я должен признаться, к сожалению, что жалобы и обвинения Погодина казались так правдоподобными, что сильно смущали мое семейство и отчасти меня самого, а также и Шевырева. Я, однако, объясняя себе поступки Гоголя его природною скрытностью и замкнутостью, его правилами, принятыми сыздетства, что иногда должно не только не говорить настоящей правды людям, но и выдумывать всякий вздор для скрытия истины, я старался успокоить других моими объяснениями. Я приписывал скрытность и даже какую-нибудь пустую ложь, которую употреблял иногда

Гоголь, когда его уличали в неискренности, единственно странности его характера и его рассеянности. Будучи погружен в совсем другие мысли, разбуженный как будто от сна, он иногда сам не знал, что отвечает и что говорит, лишь бы только отделаться от докучного вопроса; данный таким образом ответ невпопад надобно было впоследствии поддержать или оправдать, из чего иногда выходило целое сплетение разных мелких неправд. Впрочем, я должен сказать, что странности Гоголя иногда были необъяснимы и остались навсегда для меня загадками. Мне нередко приходилось объяснять самому себе поступки Гоголя точно так, как я объяснял их другим, то есть что мы не можем судить Гоголя по себе, даже не можем понимать его впечатлений, потому что, вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас; что нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, чего мы не слышим, и содрогаются от причин, для нас неизвестных. На такое объяснение Погодин с злобным смехом отвечал: «Разве что так». Я тогда еще не вполне понимал Погодина и потому не догадывался, что главнейшею причиною его неудовольствия было то, что Гоголь ничего не давал ему в журнал, чего он постоянно и грубо требовал, несмотря на все, уже приведенные мною, письма Гоголя. После объяснилось, что Погодин пилил, мучил Гоголя не только словами, но даже записками, требуя статей себе в журнал и укоряя его в неблагодарности, которые посылал ежедневно к нему снизу наверх. Такая жизнь сделалась мученьем для Гоголя и была единственною причиною скорого его отъезда за границу. Теперь для меня ясно, что грубая, черствая, топорная натура Погодина, лишенная от природы или от воспитания всех нерв, передающих чувства деликатности, разборчивости, нежности, не могла иначе поступать с натурою Гоголя, самою поэтическою, восприимчивою и по преимуществу нежною. Погодин сделал много добра Гоголю, хлопотал за него горячо всегда и везде, передавал ему много денег (не имея почти никакого состояния и имея на руках большое семейство), содержал его с сестрами и с матерью у себя в доме и по всему этому считал, что он имеет полное право распоряжаться в свою пользу талантом Гоголя и заставлять его

писать в издаваемый им журнал. Погодин всегда имел добрые порывы и был способен сделать добро даже и такому человеку, который не мог заплатить ему тем же; но как скоро ему казалось, что одолженный им человек может его отблагодарить, то он уже приступал к нему без всяких церемоний, брал его за ворот и говорил: «Я тебе помог в нужде, а теперь ты на меня работай». Я сказал, что были случаи, в которых я никак не умел объяснить себе поступков Гоголя: именно, в течение первых четырех месяцев 1842 года было два таких случая. Приехал в Москву старый мой, еще по гимназии, товарищ и друг, Дмитрий Максимович Княжевич; он был прекраснейший человек во всех отношениях: умный, образованный, живой, добрый, любящий и одаренный сильным эстетическим чувством. Кроме того, что он, по крайней мере до издания «Мертвых душ», понимал и ценил Гоголя, он был с ним очень дружески знаком в Риме и, как гостеприимный славянин, не один раз угощал у себя Гоголя. Княжевич очень обрадовался, узнав, что мы с Гоголем друзья и что он бывает у нас всякий день. Я думал, что и Гоголь этому обрадуется. Что же вышло? В первый раз, когда Княжевич приехал к нам при Гоголе и стал здороваться с кем-то за дверьми маленькой гостиной, в которой мы все сидели, Гоголь неприметно юркнул в мой кабинет, и когда мы хватились его, то узнали, что он поспешно убежал из дому. Такой поступок поразил всех нас, особенно удивил Княжевича. На другой день продолжалась такая же история, только с тою разницею, что Гоголь не убежал из дому, когда приехал Княжевич, а спрятался в дальний кабинетец, схватил книгу, уселся в большие кресла и притворился спящим. Он оставался в таком положении более двух часов и так же потихоньку уехал. На вопросы, что с ним сделалось, он отвечал самыми детскими отговорками: в первый приезд Княжевича он будто вспомнил какое-то необходимое дело, по которому надобно было ему сейчас уехать, а в другой раз — будто ему так захотелось спать, что он не мог тому противиться, а проснувшись, почувствовал головную боль и необходимость поскорее освежиться на чистом воздухе. Мы все были не только поражены изумлением, но даже оскорблены. Я хотел даже заставить

Гоголя объясниться с Княжевичем, но последний упросил меня этого не делать и даже взял с меня честное слово, что я и наедине не стану говорить об этом с Гоголем. Он думал, что, вероятно, Гоголю что-нибудь насказали и что он имеет на него неудовольствие. Княжевич так любил горячо и меня и Гоголя, что буквально счел бы за несчастье быть причиною размолвки между нами. Несмотря на то, наше обращение с Гоголем изменилось и стало холоднее. Гоголь притворился, что не примечает того. На третий день опять приехал Княжевич с дочерью, тогда как мы с Гоголем сидели все в моем кабинете. Мы все сейчас встали, пошли навстречу своему гостю и, затворив Гоголя в кабинете, расположились в гостиной. Через полчаса вдруг двери отворились, вбежал Гоголь и с словами: «Ах, здравствуйте, Дмитрий Максимович!..» — протянул ему обе руки, кажется даже обнял его, и началась самая дружеская беседа приятелей, не видавшихся давно друг с другом... Точно он встретился с ним в первый раз после разлуки и точно прошедших двух дней не бывало. Покорно прошу объяснить такую странность! Всякое объяснение казалось мне так невыгодным для Гоголя, что я уже никогда не говорил с ним об этом, в чем раскаиваюсь теперь.

Таких недоразумений, оставшихся без объяснений, было много, и, вероятно, они были причиной тому, что Гоголь никогда не бывал со мною вполне откровенен. Другое происшествие состояло в следующем (домашние мои утверждают, что оно случилось в 1840 году, но это все равно). Гоголь еще не видал на московской сцене «Ревизора»; актеры даже обижались этим, и мы уговорили Гоголя посмотреть свою комедию. Гоголь выбрал день, и «Ревизора» назначили. Слух об этом распространился по Москве, и лучшая публика заняла бельэтаж и первые ряды кресел. Гоголь приехал в бенуар к Чертковой, первый с левой стороны, и сел или почти лег так, чтоб в креслах было не видно. Через два бенуара сидел я с семейством; пьеса шла отлично хорошо; публика принимала ее (может быть, в сотый раз) с восхищением. По окончании третьего акта вдруг все встали, обратились к бенуару Чертковой и начали вызывать автора. Вероятно, кому-нибудь пришла мысль, что Гоголь может уехать, не

дослушав пиесы. Несколько времени он выдерживал вызовы и гром рукоплесканий, потом выбежал из бенуара. Я бросился за ним, чтобы провести его в ложу директора, предполагая, что он хочет показаться публике; но вдруг вижу, что он спешит вон из театра. Я догнал его у наружных дверей и упрашивал войти в директорскую ложу. Гоголь не согласился, сказал, что он никак не может этого сделать, и убежал. Публика была очень недовольна, сочла такой поступок оскорбительным и приписала его безмерному самолюбию и гордости автора. На другой день Гоголь одумался, написал извинительное письмо к Загоскину (директору театра), прося его сделать письмо известным публике, благодарил, извинялся и наклепал на себя небывалые обстоятельства. Погодин прислал это письмо на другой день мне, спрашивая, что делать? Я отсоветовал посылать, с чем и Погодин был согласен. Гоголь не послал письма и на мои вопросы отвечал мне точно то же, на что намекал только в письме, то есть что он перед самым спектаклем получил огорчительное письмо от матери, которое его так расстроило, что принимать в эту минуту изъявление восторга зрителей было для него не только совестно, но даже невозможно. Нам казалось тогда, и теперь еще почти всем кажется, такое объяснение неискренним и несправедливым. Мать Гоголя вскоре приехала в Москву, и мы узнали, что ничего особенно огорчительного с нею в это время не случилось. Отговорка Гоголя признана была нами за чистую выдумку; но теперь я отступаюсь от этой мысли, признаю вполне возможным, что обыкновенное письмо о затруднении в уплате процентов по имению, заложенному в Приказе общественного призрения, могло так расстроить Гоголя, что всякое торжество, приятное самолюбию человеческому, могло показаться ему грешным и противным. Объяснение же с публикой о таких щекотливых семейных обстоятельствах, которое мы сейчас готовы назвать трусостью и подлостью или, из милости, крайним неприличием, обличает только чистую, прямую, простую душу Гоголя, полную любви к людям и уверенную в их сочувствии.

Гоголь продолжал бывать у нас очень часто, почти всякий день, и охотно слушал рассказы Константина о

том, как он держал себя и действовал в так называемом большом свете, который он начал посещать тогда и в котором искали его знакомства. Константин увлекался мыслью, что истины, которые он проповедовал там, согласно с своим задушевным и глубоким убеждением, произведут благотворное действие. Он ошибался. Свет с любопытством и удовольствием слушал его, как диковинное явление, и только. Это сделалось модою. Правда, некоторые полюбили его за теплоту убеждений, но самые убеждения считали прекрасными мечтами. Гоголь хорошо понимал настоящее значение этого явления и очень им забавлялся.

Докуки Погодина увенчались, однако, успехом. Он ‹Гоголь› дал ему в журнал большую статью под названием «Рим», которая была напечатана в 3-м № «Москвитянина». Он прочел ее в начале февраля предварительно у нас, а потом на литературном вечере у князя Дм. Вл. Голицына (у Гоголя не было фрака, и он надел фрак Константина). Несмотря на высокое достоинство этой пиесы, слишком длинной для чтения на рауте у какого бы то ни было генерал-губернатора, чтение почти усыпило половину зрителей; но когда к концу пиесы дело дошло до комических разговоров итальянских женщин между собою и с своими мужьями, все общество точно проснулось и пришло в неописанный восторг, который и остался надолго в благодарной памяти слушателей.

Многие дамы, незнакомые лично с Гоголем, но знакомые с нами, желали его видеть; но Гоголя трудно было уговорить прийти в гостиную, когда там сидела незнакомая ему дама. Одна из них, ***, желала особенно познакомиться с Гоголем, а потому Вера и Константин так пристали с просьбами к Гоголю, что каким-то чудом уговорили его войти в гостиную. Это точно стоило больших трудов Константину и Вере. Они приставали к нему всячески, убеждали его; он отделывался разными уловками: то заговаривал о другом, то начинал им читать вслух что-нибудь из «Московских ведомостей» и т. д. Наконец, видя, что он уступает, Константин громко возвестил его в гостиной, так что ему уже нельзя было не войти, и он вошел; но дама не сумела сказать ему ни слова, и он, оставшись несколько минут, ушел. Константин проводил

его и благодарил, но он был не совсем доволен, и на вопрос Константина, как он нашел даму, он сказал, что не может судить о ней, потому что не слыхал от нее ни слова, «а вы мне сказали, что она желает со мною познакомиться».

Еще в январе 1842 года дошли до нас слухи, что первый том «Мертвых душ» в рукописи ходит по рукам в Петербурге. Гоголь не знал, что и делать. Он писал туда к своим приятелям, даже хотел сам ехать на выручку его; но, наконец, нетерпеливо ожидаемая рукопись, вся без исключения пропущенная цензором, была получена. Я не могу утвердительно сказать, дознались ли мы тогда настоящим образом, где и по чьей милости прогуливался целый месяц первый том «Мертвых душ». У нас оставалось подозрение, что тот господин, которому поручено было его отправить на почту, или почтамтский чиновник, принявший посылку, вздумали наперед прочесть любопытную новость и дать почитать своим приятелям; дело только в том, что рукопись ехала из Петербурга до Москвы целый месяц. Я уверен, что Никитенко не смел пропустить ее сам и что она была показана какому-нибудь высшему цензору, если не государю. Мы не верили глазам своим, не видя ни одного замаранного слова, но Гоголь не видел в этом ничего необыкновенного и считал, что так тому и следовало быть. Вначале напечатаны две тысячи пятьсот экземпляров. Обертка была нарисована самим Гоголем. Денег у Гоголя не было, потому «Мертвые души» печатались в типографии в долг, а бумагу взял на себя в кредит Погодин. Печатание продолжалось два месяца. Несмотря на то, что Гоголь был сильно занят этим делом, очевидно было, что он час от часу более расстроивался духом и даже телом; он чувствовал головокружение и один раз имел такой сильный обморок, что долго лежал без чувств и без всякой помощи, потому что случилось это наверху, в мезонине, где у него никогда никого не было. Вдруг дошли до Константина слухи стороной, что Гоголь сбирается уехать за границу и очень скоро. Он не поверил и спросил сам Гоголя, который сначала отвечал неопределенно: «Может быть», но потом сказал решительно, что он едет, что он не может долее оставаться, потому что не может

писать и потому что такое положение разрушает его здоровье. Константин был очень огорчен и с горячностью убеждал Гоголя не ездить, а испытать все средства, чтоб приучить себя писать в Москве. Гоголь отвечал ему, что он именно то и делает и проживет в Москве донельзя. Вера, при которой происходил этот разговор, сказала Гоголю, что никак не должно доводить донельзя, а лучше уехать немедленно. Я с огорчением и неудовольствием узнал об этом. Все делалось как-то неясно, неоткровенно, непонятно для меня, и моя дружба к Гоголю тем оскорблялась. Теперь я вижу, что в этом виноват был я более всех, что я невнимательно смотрел на положение Гоголя, легкомысленно осуждал его, недостаточно показывал к нему участия, а потому и не пользовался его полной откровенностью. У меня всегда было правило — не навязываться с своим участием, не домогаться ничьей откровенности. Такое правило решительно иногда бывает ложно, а с Гоголем более ложно, чем с кем-нибудь. Будучи сам плохим христианином, я с неудовольствием и недоверчивостью смотрел на религиозное направление Гоголя. Вероятно, это было главною причиною, почему он не открывался мне в своих намерениях. Если б я с любовью и горячностью приставал к Гоголю с расспросами, если б я заставлял его быть с собою откровенным с самого приезда в Москву, то, вероятно, я мог бы не допустить до огромного размера его неудовольствий с Погодиным, и тогда, может быть, Гоголь не уехал бы из России, по крайней мере так скоро. Через несколько дней, перед вечером, уезжал я в клуб, и все меня провожали до передней. Вдруг входит Гоголь с образом спасителя в руках и сияющим, просветленным лицом. Такого выражения в глазах у него я никогда не видывал. Гоголь сказал: «Я все ждал, что кто-нибудь благословит меня образом, и никто не сделал этого; наконец, Иннокентий благословил меня. Теперь я могу объявить, куда я еду: ко гробу господню». Он провожал Иннокентия, и тот, прощаясь с ним, благословил его образом. Иннокентию, как архиерею, весьма естественно было благословить Гоголя образом, но Гоголь давно желал, чтоб его благословила Ольга Семеновна, а прямо сказать не хотел. Он все ожидал, что она почувствует к этому

влечение, и даже сам подговаривался; но Ольга Семеновна не догадывалась, да и как было догадаться? Признаюсь, я не был доволен ни просветленным лицом Гоголя, ни намерением его ехать ко святым местам. Все это казалось мне напряженным, нервным состоянием и особенно страшным в Гоголе как в художнике, — и я уехал в клуб. Без меня было много разговоров об этом предмете, и особенно Вера приставала к Гоголю со многими вопросами, которые, как мне кажется, не совсем были ему приятны. Например, на вопрос: «С каким намерением он приезжал в Россию — с тем ли, чтоб остаться в ней навсегда, или с тем, чтоб так скоро уехать?» — Гоголь отвечал: «С тем, чтоб проститься». Всем известно, что и письменно и словесно Гоголь высказывал совсем другое намерение. На вопрос, надолго ли едет он, Гоголь отвечал различно. Сначала сказал, что уезжает на два года, потом, что на десять и, наконец, что он едет на пять лет. Ольга Семеновна сказала ему, что теперь она ожидает от него описания Палестины, на что Гоголь отвечал: «Да, я опишу вам ее, но для того мне надобно очиститься и быть достойну». Через несколько времени он ушел [1], оставя образ у нас, и взял его уже на другой день.

В первых числах мая приехала мать Гоголя с его сестрой Анютой, чтоб взять с собой Лизу, которая целый год жила у Раевской, и чтоб проститься с сыном, который, вероятно, уведомил ее, что уезжает надолго. Она остановилась также у Погодина. 1 мая вот что случилось. Гоголь у нас обедал, после обеда часа два сидел у меня в кабинете и занимался поправкою корректур, в которых он не столько исправлял типографические ошибки, сколько занимался переменою слов, а иногда и целых фраз. Корректур был огромный сверток. Гоголь не успел их кончить, потому что условился ехать вместе с Шевыревым на гулянье, а Константин уехал ранее с Боборыкиным. В шесть часов мы дали Гоголю лошадь,

---

[1] В этот день вечером он хотел было идти к <М. А.> Дмитриеву, у которого очень давно не бывал по пятницам; но он был так расстроен, или, лучше сказать, так проникнут высоким настроением, что не имел силы идти на скучный вечер, где собирались нестерпимо скучные люди. Дмитриев, несмотря на свой замечательный ум, никогда вполне не понимал Гоголя.

и он отправился к Шевыреву, поручив мне спрятать и запереть корректуры так, чтоб их никто не видал. Зная, что Гоголь должен воротиться очень поздно и что в этот вечер никто нам не помешает, мы расположились в моем кабинете, и я начал читать вслух именно те главы «Мертвых душ», которых мое семейство еще не знало. Только что мы расчитались, как вдруг Гоголь въехал на двор... Сделалась страшная суматоха, и мы едва успели скрыть наше преступление. Мы переконфузились не на шутку, потому что очень боялись рассердить или, лучше сказать, огорчить Гоголя; по счастью, он ничего не заметил. Он приехал в большой досаде на Шевырева, который не подождал его пяти минут и уехал один, ровно в шесть часов. Поболтав кой о чем с нами и продолжая жаловаться на немецкую аккуратность Шевырева, Гоголь хотел было уже опять засесть за свои корректуры, как вдруг приехала карета четверкой в ряд, которую из Сокольников прислала Кат. Алекс. Свербеева и приказала убедительно просить Гоголя к ним в палатку. Она узнала от Шевырева, что он не подождал Гоголя и что Гоголь у нас. Гоголю не очень хотелось ехать, ему казалось уже поздно, но мы его уговорили, и он уехал.

Перед своими именинами, по случаю прекрасной погоды, еще до приезда матери, Гоголь пригласил к себе в сад некоторых дам и особенно просил, чтоб приехала Ольга Семеновна с Верой. В шесть часов вечера Ольга Семеновна с Верой и Лизой отправились к Гоголю. Он встретил их на террасе и изъявил сожаление, «что они не приехали раньше, что так было хорошо, а теперь уже солнце садится». Они сошли в сад и гуляли вместе. Вскоре приехали Катер. Алекс. Свербеева и Авд. Петр. Елагина. Гоголь был очень смешон в роли хозяина, и даже жалко было на него смотреть, как он употреблял всевозможные усилия, чтоб занимать приехавших дам. Ольга Семеновна, Авдотья Петровна и жена Погодина сели в саду у чайного стола, а Гоголь с Кат. Алекс. и за ними Лиза с Верой пошли гулять. Гоголь употреблял все усилия, чтоб занимать свою спутницу, которую можно было занимать только светской болтовней, как он думал. Две девушки шли за ними и посмеивались. Истощив, наконец, как видно, весь свой запас, Гоголь прибегал,

например, к следующим разговорам: «Хорошо, если б вдруг из этого дерева выскочил хор песельников и вдруг бы запел», и тому подобным в этом роде. Все было вяло, принужденно и некстати; но спутница его считала долгом находить все очень любезным и забавным и очень привлекательно улыбалась. Я слышал потом, как дамы говорили, что Гоголь был чрезвычайно любезен и остроумен. Наконец, пошли пить чай; сделалось холоднее. Гоголь подавал всем дамам салопы и услуживал как умел. После чаю воротились в комнату; тут Гоголь, для той же цели, принялся рассказывать всякий вздор и пустяки об водяном лечении Присница, чему дамы очень смеялись, хотя, правду сказать, тут ничего не было смешного, потому что слышалось тяжелое принуждение, которое делал себе Гоголь. Ольга Семеновна и Вера не могли не заметить, что он был очень доволен, когда уехали Елагина и Свербеева. Проводя их, он сел в угол дивана, как человек, исполнивший свой долг и довольный, что может отдохнуть. Тут он был совершенно свободен, расспрашивал их про недавно бывший вечер у Хомякова, именно о том, что там делалось после его ухода, про Одоевского, про Боборыкина, которые всегда его забавляли. Наконец, когда сделалось уже совершенно темно, Ольга Семеновна и Вера уехали.

Девятого мая сделал Гоголь такой же обед для своих друзей в саду у Погодина, как и в 1840 году. Погода стояла прекрасная; я был здоров, а потому присутствовал вместе со всеми на этом обеде. На нем были профессора Григорьев (проездом случившийся в Москве), Армфельд, Редкин и Грановский. Был Ст. Вас. Перфильев (особенный почитатель Гоголя), Свербеев, Хомяков, Киреевский, Елагины, Нащокин (известный друг Пушкина, любивший в нем не поэта, а человека, чем очень дорожил Пушкин), Загоскин, Н. Ф. Павлов, Ю. Самарин, Константин, Гриша и многие другие из общих наших знакомых. Обед был шумный и веселый, хотя Погодин с Гоголем были в самых дурных отношениях и даже не говорили, чего, впрочем, нельзя было заметить в такой толпе. Гоголь шутил и смешил своих соседей. После обеда Гоголь в беседке сам приготовлял жженку, и когда голубоватое пламя горящего рома и шампанского

обхватило и растопляло куски сахара, лежавшего на решетке, Гоголь говорил, что «это Бенкендорф, который должен привесть в порядок сытые желудки». Разумеется, голубое пламя и голубой жандармский мундир своей аналогией подали повод к такой шутке, которая *после обеда* показалась всем очень забавною и возбудила громкий смех. Не помню, тут ли был Перфильев.

Печатанье «Мертвых душ» приходило к концу, и к отъезду Гоголя успели переплесть десятка два экземпляров, которые ему нужно было раздарить и взять с собой. Первые совсем готовые экземпляры были получены 21 мая, в день именин Константина, прямо к нам в дом, и тут же Гоголь подарил и подписал один экземпляр имениннику, а другой нам с надписью: «Друзьям моим, целой семье Аксаковых». У нас было довольно гостей, и все обедали в саду. Были Погодин и Шевырев. Это был в то же время прощальный обед с Гоголем. Здесь он в третий раз обещал, что через два года будет готов второй том «Мертвых душ», но приехать для его напечатанья уже не обещал. Семейство Гоголя бывало у нас очень часто, почти всякий день. Мать его также собиралась ехать и брала с собой вторую свою дочь Лизу, которая во время пребывания своего у Раевской много переменилась к лучшему, чем Гоголь был очень доволен. Во время еще пребывания своей сестры у Раевской, месяца за два до отъезда, у нее в доме Гоголь познакомился короче с одной почтенной старушкой, Над. Ник. Шереметевой, которая за год перед сим, еще не зная Гоголя лично, упросила Раевскую взять его сестру. Шереметева была глуха и потому, видев Гоголя несколько раз прежде, не говорила с ним и почти совсем его не знала. Но по случаю болезни Раевской просидев с Гоголем наедине часа два, она была поражена изумлением, найдя в нем горячо верующего и набожного человека. Она, уже давно преданная исключительно молитве и добру, чрезвычайно его полюбила, несколько раз сама приезжала к нему, чтоб беседовать с ним наедине, и, наконец, непременно захотела его проводить. Гоголь, взявши место в дилижансе на 23 мая, сказал, что он едет из нашего дома, и пригласил ее без всяких церемоний прямо приехать к нам. Шереметева, побывав поутру у Гоголя, подарив ему шнурок

своей работы и отдав прощальное письмо, приехала к нам 23 мая в субботу, чтоб еще проститься с Гоголем. Через четверть часа нельзя было узнать, что мы не были целый век дружески знакомы с этой почтенной и достойной женщиной. Когда началось прощанье, она простилась с Гоголем прежде всех и уехала, чтоб не мешать Гоголю проститься с матерью и сестрами. Простившись со всеми, Гоголь, выходя из залы, обернулся и перекрестил всех нас. Я, Гоголь, Константин и Гриша сели в четвероместную коляску и поехали до первой станции, до Химок, куда еще прежде поехал Щепкин с сыном и где мы расположились отобедать и дождаться дилижанса, в котором Гоголь отправлялся в Петербург. Подъехав к Тверской заставе, я как-то выглянул из коляски и увидел, что Над. Ник. Шереметева едет за нами в своих дрожках. Мы остановились, Гоголь вышел и простился с ней очень нежно, а она благословила и перекрестила его, как сына. У самого шлагбаума подбежал к нам солдат и спросил: кто мы и куда едем? Константин, неспособный ни к какому роду лжи, начал было рассказывать: что мы такие-то и едем провожать Гоголя, отправляющегося за границу; но Гоголь поспешно вскочил и сказал, что мы едем на дачу и сегодня же воротимся в Москву. Я засмеялся, Константин несколько сконфузился, а Гоголь пустился объяснять, что в жизни необходима *змеиная мудрость*, то есть что не надобно сказывать иногда никому не нужную правду и приводить тем людей в хлопоты и затруднения; что если б он успел объявить о путешественнике, отъезжающем в чужие края, то у него потребовали бы паспорт, который находился в то время у кондуктора, в конторе дилижансов, и путешественника бы не пропустили. Потом Гоголь обратился ко мне с просьбами старательно вслушиваться во все суждения и отзывы о «Мертвых душах», предпочтительно дурные, записывать их из слова в слово и все без исключения сообщать ему в Италию. Он уверял меня, что это для него необходимо; просил, чтоб я не пренебрегал мнениями и замечаниями людей самых глупых и ничтожных, особенно людей, расположенных к нему враждебно. Он думал, что злость, напрягая и изощряя ум самого пошлого человека, может открыть в сочинении такие недостатки, которые усколь-

зали не только от пристрастных друзей, но и от людей, равнодушных к личности автора, хотя бы они были очень умны и образованны. В такого рода разговорах, но без всяких искренних, дружеских излияний, которым, казалось бы, невозможно было не быть при расставанье на долгое время между друзьями, из которых один отправлялся с намерением предпринять трудное и опасное путешествие ко святым местам, доехали мы до первой станции (Химки, в тринадцати верстах от Москвы). Мих. Сем. Щепкин, приехавши туда прежде нас с сыном, пошел к нам навстречу и точно встретил нас версты за две до Химок. Приехавши на станцию, мы заказали себе обед и пошли все шестеро гулять. Мы ходили вверх по маленькой речке, бродили по березовой роще, сидели и лежали под тенью дерев; говорили как-то мало, не живо, не связно и вообще находились в каком-то принужденном состоянии. Гоголь внутренно был чрезвычайно рад, что уезжает из Москвы, но глубоко скрывал свою радость. Он чувствовал в то же время, что обманул наши ожидания и уезжает слишком рано и поспешно, тогда как обещал навсегда оставаться в Москве. Он чувствовал, что мы, для которых было закрыто внутреннее состояние его души, его мучительное положение в доме Погодина, которого оставить он не мог без огласки, имели полное право обвинять его в причудливости, непостоянстве, капризности, пристрастии к Италии и в холодности к Москве и России. Он читал в моей душе, а также в душе Константина, что после тех писем, какие он писал ко мне, его настоящий поступок, делаемый без искренних объяснений, мог показаться мне весьма двусмысленным, а сам Гоголь — человеком фальшивым. Последнего мы не думали, но, конечно, с неприятным изумлением и некоторою холодностью, в сравнении с прежним, смотрели на отъезжающего Гоголя. Мы воротились с прогулки, довольно скучной, сели обедать, выпили здоровье Гоголя привезенным с собой шампанским и, сидя за столом, продолжали разговаривать о разных пустяках до приезда дилижанса, который явился очень скоро. Увидав дилижанс, Гоголь торопливо встал, начал собираться и простился с нами, равно как и мы с ним, не с таким сильным чувством, какого можно было ожидать. Товарищем Гоголя в купе

опять случился военный, с иностранной фамилией, кажется немецкой, но человек необыкновенной толщины. Гоголь и тут, для предупреждения разных объяснений и любопытства, назвал себя *Гонолем* и даже записался так, предполагая, что не будут справляться с его паспортом. Хотя я давно начинал быть иногда недоволен поступками Гоголя, но в эту минуту я все забыл и чувствовал только горесть, что великий художник покидает отечество и нас. Горькое чувство овладело мною, когда захлопнулись дверцы дилижанса; образ Гоголя исчез в нем, и дилижанс покатился по Петербургскому шоссе. В то же время, как мы отправились провожать Гоголя, его мать с дочерьми и Ольга Семеновна, также с дочерьми, отправились в двух экипажах к Троице помолиться богу. Марья Ивановна была очень огорчена: сердце матери предчувствовало долгую разлуку.

Из всего рассказанного мною очевидно, что в этот приезд Гоголя я не был доволен им так, как в первый приезд, хотя по его письмам должно было ожидать, что взаимная дружба наша сделается гораздо сильнее. Повторяю, что, несмотря на некоторые необъяснимые поступки Гоголя, я обвиняю в этом себя. Мне должно было вмешаться в его неудовольствия с Погодиным, стать между ними посредником и судьей. Не надобно было смотреть на то, что Гоголь скрывал их; по рассказам Погодина я должен был понять, как страдал Гоголь. Если б нельзя было уладить их неприятности, то надобно было так устроить, чтоб Гоголь не жил с ним вместе. Здесь кстати сказать, что, возвращаясь в Россию если не навсегда, то надолго, Гоголь не имел намерения жить у Погодина: он хотел жить вместе с Н. М. Языковым, который по болезни не мог тогда еще воротиться в Россию. Впрочем, и то надо сказать, что впоследствии Гоголь жил вместе с Языковым в чужих краях, но не ужился, и, конечно, в этом должно обвинять не Языкова, у которого был характер очень уживчивый. Причиною неудовольствия был крепостной лакей Николая Михайловича, который ходил за ним во все время болезни усердно, пользовался полной доверенностью своего господина и, по его болезни, полновластно распоряжался домашним хозяйством; Гоголь же захотел сам распоряжаться и вздумал нарушать

разные привычки и образ жизни больного. Так по крайней мере говорили братья Языкова, к которым будто он писал сам, а также и его доверенный лакей. Когда приехал Языков на житье в Москву, я спрашивал его об этом, но он отвечал мне решительно, что это совершенный вздор и что никаких неудовольствий между ним и Гоголем не бывало. Нельзя предположить, чтобы братья Языкова выдумали эту историю; но, вероятно, преувеличили, основываясь не на письмах брата, а на письмах его камердинера. Ник. Мих. Языков до кончины своей показывал искреннюю и горячую привязанность к Гоголю. Как бы то ни было, успел ли бы я, или нет в своих действиях — вина состоит в том, что я их не начинал и что все это пришло мне в голову гораздо позже.

Вскоре после отъезда Гоголя «Мертвые души» быстро разлетелись по Москве и потом по всей России. Книга была раскуплена нарасхват. Впечатления были различны, но равносильны. Публику можно было разделить на три части. Первая, в которой заключалась вся образованная молодежь и все люди, способные понять высокое достоинство Гоголя, приняла его с восторгом. Вторая часть состояла, так сказать, из людей озадаченных, которые, привыкнув тешиться сочинениями Гоголя, не могли вдруг понять глубокого и серьезного значения его поэмы; они находили в ней много карикатуры и, основываясь на мелочных промахах, считали многое неверным и неправдоподобным. Должно сказать, что некоторые из этих людей, прочитав «Мертвые души» во второй и даже в третий раз, совершенно отказались от первого своего неприятного впечатления и вполне почувствовали правду и художественную красоту творения. Третья часть читателей обозлилась на Гоголя: она узнала себя в разных лицах поэмы и с остервенением вступилась за оскорбление целой России. К сожалению, должно сказать, что некоторые добрые и хорошие люди принадлежали к этой категории и остались в ней навсегда.

Распродажей «Мертвых душ» заведовал Шевырев и по мере выручки денег расплачивался с долгами.

Мы довольно скоро переехали на дачу. Там перечел я «Мертвые души» вслух своему семейству, прочитывал каждый день по одной главе, и тут только я понял всю

великость этого творения. Я открыл в нем много красот, которые ускользнули от меня во время чтения Гоголя и даже моего собственного, всегда отрывочного и не вполне внимательного в суете городской жизни. Мать Гоголя с дочерьми уехала в свою Васильевку, или Яновщину, уже после нашего переезда на дачу. Марья Ивановна с дочерьми провожала нас, когда мы уезжали из Москвы, и простилась с нами очень грустно; особенно плакала Лиза, которую сестра Анюта напугала рассказами о жизни в глуши Малороссии. Марья Ивановна — женщина необыкновенная. Она так моложава и хороша собой, что дочери кажутся при ней уродами; она вся исполнена самоотвержения и тихой любви к своим детям: она отдала им свое сердце и сама не только не имеет воли, но даже своих желаний, по крайней мере не показывает их. Сына любит она более всего на свете и между тем должна от него почти отказаться, видеть изредка, и то на короткое время. Лицо ее постоянно грустно, особенно после отъезда Николая Васильевича; она плачет мало, но видно, как глубоко огорчена, и между тем говорит, что не надобно грустить: ибо у них есть поверье, что тот человек, о котором грустят, будет оттого грустить больше. Вера очень справедливо пишет в письме к М. Карташевской, что как-то странно видеть мать Гоголя и слышать, как она говорит о нем. Например: *«Когда Николенька писал «Мертвые души», он желал только добра людям»* и т. п. выражения в этом роде. В самом деле, соединение подчеркнутых мною слов очень странно отзывается в ушах и в уме слушателя. Она, конечно, не может смотреть на него иначе, как на сына, и во всех словах о нем слышится материнское чувство, даже тогда, когда она говорит о нем как о великом писателе. Как она боится того впечатления, которое произведет на целую Россию его новая книга! Она боится неприязненного впечатления только потому, что это может его расстроить и повредить его здоровью. Как интересны все те мелочные подробности, которые она рассказывает про детство своего Николеньки. Например, как он написал один раз какое-то сочинение и поднес ей, а потом сам же тихонько утащил его и, вероятно, истребил, как она подозревает, и пр. и пр. Как она смотрит на портрет сына,

который он оставил ей и который в самом деле похож чрезвычайно! Как она объясняет то, что выражается на лице его. Он улыбается, — говорит она, — но вместе с тем он думает грустное; как будто хочет сказать людям: вы ошибаетесь во мне, моя душа чиста и ясна, и много любви в ней». Вера прибавляет, что я советовал Марье Ивановне записывать все воспоминания о детстве сына (кажется, всего было бы благонадежнее записывать их самим нам) и продолжает так: как любит Марья Ивановна всех тех, кто принимает участие в ее сыне! Она все старается уверить себя, что он воротится скоро, хотя он сам сказал ей, что это может быть не прежде пяти лет (чего он мне собственно никогда не говорил). Она увидала один раз только что вышедший том «Мертвых душ», лежавший на столе у нас в гостиной; она развернула и прочла: «О моя юность, о моя свежесть...» и залилась слезами. Поразительно было видеть, как по наружности молодая, прекрасная и свежая женщина оплакивала увядшую юность и свежесть своего сына. 10 июня, живя на даче в деревне Гаврилкове, я только что кончил вслух чтение «Мертвых душ», как получил первое письмо от Гоголя из Петербурга.

«СПБ. Июня 4 <1842>.

Я получил ваше письмо еще в начале моего приезда в Петербург, милый друг мой Сергей Тимофеевич. Теперь пишу вам несколько строк перед выездом. Хлопот было у меня довольно. Никак нельзя было на здешнем бестолковье сделать всего вдруг. Кое-что я оканчивать оставил Прокоповичу. Он уже занялся печатаньем. Дело, кажется, пойдет живо. Типографии здешние набирают в день до шести листов. Все четыре тома к октябрю выйдут непременно. Экземпляр «Мертвых душ» еще не поднесен царю. Все это уже будет сделано по моем отъезде. Обнимаю вас несколько раз. Крепки и сильны будьте душой! Ибо крепость и сила почиет в душе пишущего сии строки, а между любящими душами все передается и сообщается от одной к другому, и потому сила отделится от меня, несомненно, в вашу душу. Верующие во светлое увидят светлое, темное существует только для неверующих.

Прощайте, обнимите Константина Сергеевича и передайте мое сердечное рукопожатье Ольге Семеновне, а с ним вместе и всему вашему семейству. Обнимите также всех моих знакомых, всех, кого я видел и с кем был в Москве. Прощайте. Пишите в Гастейн».

Первое мое письмо в Петербург, о котором говорит Гоголь, не нашлось в его бумагах. Печатанье всех его сочинений в четырех частях в числе пяти тысяч экземпляров было поручено школьному товарищу и другу Гоголя, г-ну Прокоповичу. Я его совсем не знаю и никогда не видывал, но дело это он исполнил не совсем хорошо. Во-первых, издание стоило неимоверно дорого, а во-вторых, типография сделала значительную контрфакцию. Когда Шевырев впоследствии, с разрешения Гоголя, вытребовал все остальные экземпляры к себе в Москву, оказалось, что у книгопродавцев в Петербурге, и частью в Москве, находился большой запас «Мертвых душ», не соответствующий числу распроданных экземпляров, так что в течение полутора года ни один книгопродавец не взял у Шевырева ни одного экземпляра, а все получали их из Петербурга с выгодною уступкою. По прошествии же полутора года экземпляры начали быстро расходиться и пересылаться в Петербург.

Теперь следует мое письмо с дачи.

«1842. Июля 3-го, Гаврилково.

Вот уже другой месяц живем мы в прелестной деревушке, милый друг Николай Васильевич. Другой месяц или читаем вас, или говорим о вас! Никому не поверю, чтоб нашелся человек, который мог бы с первого раза вполне понять ваши бессмертные «Мертвые души»! Я восхищался ими вместе с другими, а может быть, и больше других или по крайней мере многих; но восхищение мое было одностороннее. Некоторые, более выдающиеся (по натуре своей) части закрывали от меня остальное. Это мир божий... Можно ли одним взглядом его рассмотреть? Какое надобно внимание и разумение, чтоб открыть в нем совершенство творчества в малейших

подробностях, повидимому и не стоящих большого внимания? Признаю торжественно превосходство эстетического чувства в моем Константине. Он понял вас более меня и более всех, сколько мне известно, из прежних ваших творений. Что казалось восторженностью, доходившею до смешного излишества, то теперь стало истиною, понятою еще немногими, но тем не менее непреложной истиной! Конечно, молодое поколение образованных юношей, все без исключения почти, кроме несчастных, лишенных всякого чувства изящного, более и полнее вас поймет, чем сорокалетние и пятидесятилетние люди. Все мы, с некоторыми изменениями, успели засорить свой ум, притупить чувство и не можем вдруг стряхнуть с себя сего ложного воззрения и направления. Константин написал статью, которая печатается в «Москвитянине»: в ней верно и ясно указаны причины, отчего порядочные люди, понимавшие и чувствовавшие других поэтов, не могут вдруг и вполне понять и почувствовать «Мертвые души». Я прочел их два раза про себя и третий раз вслух для всего моего семейства; надобно некоторым образом остыть, чтоб не пропустить красот творения, естественно ускользающих от пылающей головы и сильно бьющегося сердца. Теперь мы с жадностью бросились перечитывать все, написанное вами прежде, по порядку, как оно выходило. Расстояние велико, но элементы уже те! Главное: свежесть, ароматность, так сказать, жизни непостижимые!.. Прочту ли я остальные части «Чичикова»? Доживу ли я до этого счастья? Кроме моего семейства, у меня нет другого, столь высокого интереса в остальном течении моей жизни, как желанье и надежда прочесть два тома «Мертвых душ». А трагедия? Помните ли, что вы говорили мне о ней в Петербурге?.. Вы сами тогда считали ее совершеннейшим своим произведением, хотя она не была написана. Неужели толпа новых лиц, живущая в похождениях Чичикова, вероятно после вами созданная, сгладит образы и характеры лиц драмы, которые тогда (как вы сами выразились) предстояли пред вами живые и одетые в полные костюмы *до последней нитки*? Но да будет, что угодно богу. Да сохранит он только вас здрава и невредима.

Я получил ваше письмецо из Петербурга от 4 июня. Вы намеревались выехать из него ранее, чем предполагали; по крайней мере я помню, что поднесение экземпляров назначаемо было при вас; мы еще не имеем точного известия, когда именно выехали вы из этого северного Вавилона. Сердечно вас благодарю, милый друг, за то, что вы побывали у Карташевских; особенно благодарит вас Вера: вы доставили ей истинное удовольствие, давши взглянуть на себя ее другу, Машеньке Карташевской. Эта необыкновенная девушка превзошла все мои ожидания! Как ни высоко я ценил ее эстетическое чувство, но не мог предполагать, чтоб она могла так понять и почувствовать «Мертвые души». Она удивила и восхитила меня своим письмом. Немного таких прекрасных существ можно встретить не только в Петербурге, но и в Москве и в целой православной Руси. — Я обещал вам записывать разные толки о Чичикове; я сделал это, сколько мог успеть, ибо через неделю мы уехали из Москвы. Вот они: выписываю их с дипломатическою точностью. С. В. Перфильев сказал мне: «Не смею говорить утвердительно, но признаюсь: «Мертвые души» мне не так нравятся, как я ожидал. Даже как-то скучно читать; все одно и то же, натянуто: видно желание перейти в русские писатели; употребление руссицизмов вставочное, не выливается из характера лица, которое их говорит». Он прочел залпом в один день. Я просил его через несколько времени прочесть в другой раз и не искать анекдота. Он хотел прочесть три раза. Уходя, он прибавил, что сальности в прежних сочинениях, даже в «Ревизоре», его не оскорбляли, но что здесь они оскорбительны, потому что как будто нарочно вставляются автором. Ф. И. Васьков говорил, «что состав губернского общества неверен (как и в «Ревизоре», где пропущены: стряпчий, казначей и исправник); что председателей двое; полицмейстер лицо ничтожное в губернском городе; что, представив сначала все в дрянном и смешном виде, странно делать такое горячее обращение к России; что часто шутки автора плоски, неблагопристойны и что порядочной женщине нельзя читать всю книгу». Наконец, нашелся один, который обиделся следующими словами: *«Посмотрим, что делает наш*

приятель?» «И кто же этот приятель?.. Селифан или половой!.. Что же они мне за приятели?..» Не сочтите за выдумку последнего выражения; все правда до последней буквы. Есть, впрочем, обвинения и справедливые. Я очень браню себя, что одно просмотрел, а на другом мало настаивал: крестьяне на вывод продаются с семействами, а Чичиков отказался от женского пола; без доверенности, выданной в присутственном месте, нельзя продать чужих крестьян, да и председатель не может быть в одно и то же время и доверенным лицом и присутствующим по этому делу. — Несмотря на лето, «Мертвые души» расходятся очень живо и в Москве и в Петербурге. Погодину отдано уже четыре тысячи пятьсот, в непродолжительном времени и другие получат свои деньги (забавно, что никто не хочет получить первый, а всякий желает быть последним)».

«5-го июля.

Вчера получил Константин письмо от Погодина, который отказывается напечатать его статью о «Мертвых душах», хотя она уже была набрана; будучи сам слеп, боится, что осмеют человека зрячего... Ох, уж эти мне друзья, которые, не понимая хорошенько, вступают не в свое дело и присваивают себе не принадлежащие им права. Константин напечатает свою статью особой брошюркой. Вы знаете, милый друг, что я не допустил бы Константина печатать восторженный вздор; напротив, эта статья указывает истинную точку, с которой надобно смотреть на ваше творение, и открывает причины, почему красоты его не вдруг могут быть доступны испорченному эстетическому чувству большей части людей. Погодин, наконец, третьего дни получил отпуск и скоро уезжает. Банкир ваш, Валентини, умер, итак пришлите мне немедленно ваш адрес в Рим. Жена моя не дождалась моего письма и писала к вам на прошедшей неделе.

Я теперь совершенно предался наслаждениям деревенской жизни. Местоположение у нас чудесное; дожди и грозы всякий день, но мимолетные, после которых еще свежее зелень, еще чище воздух, еще ароматнее цветы и травы. Всякий день встаю в четыре часа утра и спешу

удить: и река и пруды у самого дома. Пекусь на солнце часу до одиннадцатого и бросаюсь в реку, чтоб прохладиться и освежиться. До обеда немного вздремну, до вечера сижу и гуляю с своими, а вечером опять удить. Я точно уехал за тысячу верст: ни с кем не вижусь, ни во что не вхожу и ни с кем не переписываюсь... Письмо к вам, милый друг, исключение! С вами я не расстаюсь ни на один час, также и все мое семейство. Желание поговорить с вами не оставляло меня ни на минуту, но я слишком полон был сильных чувств и потому нарочно мешкал несколько времени. Грустно мне, когда вздумаю, что время вашего возвращения так далеко... Когда мы вас дождемся?.. Много воды утечет в продолжение почти трех лет!.. А кто знает, велик ли запас ее! Притом какое длинное, трудное, со многими опасностями сопряженное путешествие! Часто я думаю, думаю и никак не могу объяснить себе причины этого последнего вашего путешествия. Неправда ли, милый друг, у вас не было и помышления о нем, когда вы воротились в Москву? Оно родилось мгновенно. По крайней мере я не подозревал его. По моему свойству и правилам я никогда не навязываюсь на доверенность друзей своих; потому не спрашивал и вас о причинах такой быстрой перемены, хотя был поражен ею... Теперь же меня это беспокоит. Может быть, вы желали мне сказать о них и ожидали только моего вопроса; может быть, мое молчание вы растолковали в другую сторону — и жестоко ошиблись!.. Как бы я желал, чтоб срок вашего отсутствия сократился и чтоб мы увидели вас скорее, опять посреди нашего семейства, которое все без исключения привязано к вам, как к ближайшему родному. Сейчас получил письмо от Лизы. Маменька ваша и сестрицы доехали хотя не скоро, с хлопотами и убытками, но благополучно; они, верно, к вам пишут. Всем нам очень жаль Лизу: она будет скучать, и ей не сладиться с тамошней, деревенской жизнью. Константин будет к вам писать особо и скоро; но я не стал его дожидаться, потому что крепко захотелось перемолвить с вами словечко. К нам приехал третий и последний наш сын; часто бывает горько на душе, что уже не дождемся возвращения четвертого... Прощайте, милый, сердечный друг наш! По-

минайте нас так же часто, как мы вас; чаще этого нельзя. Я предлагал Погодину, сейчас после вашего отъезда, заплатить весь ваш долг, но он отказался. Если вам понадобятся деньги, то, чур, ни к кому, кроме меня, не писать. Обнимаю вас крепко и долго. Да сохранит вас милосердный бог для всех вообще и для нас особенно! Все вас обнимают. Я был два раза у Шереметевой; она вас помнит и любит сильно.

Ваш душою

С. Аксаков.

Погодин едет завтра».

Статья Константина, о которой говорится в этом письме, была принята Погодиным в журнал без всякого сопротивления, но его сбил Шевырев. Погодин очень боялся, что мы с Константином осердимся за его отказ напечатать статью, и написал об этом большое письмо ко мне, но оно затеряно. Я отвечал очень ласково, что, может быть, он, как журналист, обязанный заботиться о выгодах журнала, поступает очень благоразумно, не помещая статьи, которая, разумеется, озлобит всех недоброжелателей Гоголя. Я умолчал о том, что мы намерены напечатать статью особой брошюркой, и уверял его, что Константин не питает никакого неудовольствия, что и было совершенно справедливо. Погодин очень обрадовался и написал к нам пренежную записку, в которой расхвалил Константина за его скромность и кротость. Погодин немедленно уехал за границу и, уже будучи в Париже, получил известие, что статья Константина напечатана. Ниже я приложу выписки из письма Погодина. — С. В. Перфильев исполнил свое обещание, прочел «Мертвые души» три раза и оценил их по достоинству. В словах моих, что отсутствие Гоголя может продолжаться *почти три года,* заключается ясное доказательство, что он никогда не говорил мне о своем отъезде на пять лет. Здесь кстати сказать несколько слов о брошюре Константина. Погодин не ошибся в том, что она будет принята всеми враждебно. Статья называлась: «Несколько слов о поэме Гоголя: «Похождения

Чичикова, или Мертвые души». Как только она вышла из печати, все журналисты, все неприятели и даже почти все приятели Гоголя, говоря буквально, взбесились. Град ругательств, злобных насмешек и всякого рода оскорблений посыпался печатно и письменно на Константина. Раздражение было так велико, что сначала не было возможности ни с кем спорить. Я ожидал восстания, но не всеобщего и не в такой степени неистового. Я был так удивлен им, что даже на некоторое время усумнился в справедливости моего собственного взгляда и суда. Двенадцать уже лет прошло этому событию; не один раз перечитал я эту брошюру с искренним желанием найти в ней справедливые причины общего раздражения. Собираясь писать эти строки, я еще раз прочел ее и не нахожу ничего, что могло бы оправдать волнение, ею произведенное. Раздавался общий крик, что Константин назвал Гоголя Гомером, что совершенная неправда. Константин сказал только, что у *Гоголя есть эпическое созерцание, древнее, истинное, какое было и у Гомера.* Я спрашиваю по совести каждого: значит ли это, что Гоголь равен Гомеру, что он Гомер? Бесновавшийся тогда Шевырев сам через несколько лет переврал в одной из своих статей именно эту самую мысль Константина, а потом и еще кто-то в одном из петербургских журналов повторил эту же мысль — и никто не обратил даже внимания на них. Этот общий неистовый гнев есть психологическое явление, остающееся неразгаданным: оно, без сомнения, явилось законно, и было бы любопытно объяснить его законность. Гоголь также остался недоволен появлением брошюры Константина, осуждая не столько ее смысл, как то, что она появилась не во-время, в минуту общего недоуменья, поражения, так сказать, произведенного «Мертвыми душами», когда большинство публики, оскорбленное, раздраженное восторгами поклонников Гоголя, не знало, что делать: хвалить или бранить? Первого не хотелось делать, на второе не смели вдруг решиться. Брошюра Константина как будто развязала им язык, и скрываемая многими злоба на Гоголя излилась сначала на сочинителя брошюры, а потом и на творца поэмы. В этом отношении Гоголь был совершенно прав. Брошюра наделала ему много

зла. Нашелся, однако, один добросовестный человек, П. А. Плетнев, который, в издаваемом им журнале «Современник», отозвался с большою похвалою и уважением о статье Константина.

К письму моему к Гоголю, приведенному выше от 3-го и 5 июля, были приложены выписки из писем Машеньки Карташевской о «Мертвых душах», которые я считаю за нужное приложить здесь как факт, вполне выражающий то впечатление, которое произвела поэма Гоголя на человеческую душу, одаренную поэтическим чувством.

Выписки из писем Карташевской.

«6 июня.

Сегодня мы дочитали «Мертвые души». Боже мой, что это за совершенство! Я не могу передать тебе, как много я была поражена чтением этой поэмы! Как можно было создать с таким совершенством все характеры этого романа и среди этой пошлой, бесцветной ничтожности отделить всякого такими резкими отличительными чертами. Что это за разговоры! и что за восхитительные места везде, где автор говорит сам от себя!.. Я перечитывала их по нескольку раз и даже не могла удержаться, чтоб иных мест не прочесть Ванечке; я просила его передать тебе, в каком я полном восхищении. Я даже просила его позволения означить карандашом те места, которые особенно превосходны. Делая это, я воображала, что передам тебе хотя отчасти свои впечатления и что, когда ты взглянешь на эти отмеченные листочки и перечтешь их, мы как будто перечтем их вместе. Воображаю, в каком вы были восхищении! Мне кажется, что только после этого сочинения вполне начинаю я понимать, что такое Гоголь и что это за талант».

Из конца того же письма:

«...Вот и здесь (в деревне) скоро и жадно прочиталась поэма Гоголя. Это было чтение всеобщее. Любопытно слушала его и Надя. Я как-то предчувствовала, что Гоголь не просто едет за границу в Италию, что

не эта страна отнимает его у нас; но я не знала ничего, потому что ты не писала мне, что он едет в Палестину. Можно вообразить, как он опишет эту страну! Еще скажи мне, написаны ли уже другие две части «Мертвых душ» и скоро ли мы можем надеяться прочитать их? Что будет в них! Как выше всякого выражения будет то удовольствие, которое обещает он нам! Как велики должны быть наши надежды, когда он сам объявляет, что *«явятся чудные образы, и все повергнется в прах»*.

«16 июня.

Как верно угадала я, еще из предыдущего твоего письма, что ты, не сознавая, может быть, сама, боишься, что я не почувствую всего удивительного совершенства «Мертвых душ». Ты думала, что они ускользнут от моего внимания, и между тем стараешься сама найти мне оправдание, говоря, что все достоинство этого сочинения не может быть постигнуто сразу. Вот что говорят твои строки и чего, может быть, ты не знаешь сама... И мысль, что «Мертвые души» не произведут во мне должного удивления, должна была тебе прийти, потому что совсем не так слушала я «Ревизора» и не таково было впечатление на меня этой пиесы, и ты это знала! Этому причиною были совсем другие обстоятельства. Не знаю, передало ли мое предыдущее письмо то глубокое впечатление, которое произвело на меня это сочинение; я чувствую, что полный отчет отдать в нем было бы трудно. Только поверь мне, что я ценю его так высоко, как должно, и что ни одна мелочная подробность из разговоров всех этих ничтожных людей, а еще менее ни одно из тех восторженных, как ты говоришь, мест, где говорит Гоголь сам от себя, не прошло незамеченным, не почувствованным мною. Ах, как приятно и в разлуке знать, что чувства наши были одинаковы» и проч.

Вот вам точные выписки: выкинуты только нежные названия. Хотел было выбрать из других писем, но устал писать. Обнимаю вас, милый друг, крепко и горячо. Я лучше себя чувствую и привыкаю понемногу».

Погодин писал ко мне из Парижа от 1 октября <1842>:

«Как горько было мне услышать, что Константин напечатал свою статью о Гоголе! Как досадно мне было на вашу слабость! Неужели и в вас недостало столько литературной доверенности ко мне, чтоб согласиться со мною, что статья не годится для печати в первом виде? Неужели я не напечатал ее без основания? Неужели легко мне было прислать ее назад? Неужели не рад бы я был всякому успеху Константина?» и проч. и проч.

Теперь следует письмо Гоголя, полученное мною 11 августа.

«Гастейн. Июля 27/15 <1842>.

Здоровы ли вы, Сергей Тимофеевич, и что делаете со всеми вашими? Напишите мне об этом две-три строчки: это мне нужно. Вы, верно, знаете и чувствуете, что я об вас думаю часто. Из Москвы никто не догадался написать мне в Гастейн, и я слышу чрез то какую-то пустоту, которая мне несколько мешает вдыхать в себя полную жизнь. Я пробуду в Гастейне вместе с Языковым еще недели три, и в конце августа хотим ехать вместе в Венецию, где пробудем недели две, если не больше, и потому вы адресуйте, если почувствуете благодатное желание писать, прямо в Венецию, Poste restante. Напишите мне все: как вы проводите время, хороша ли дача, хороша ли рыбная ловля, веселятся ли как следует ваши дети? Ольге Семеновне скажу, что буду писать к ней, что предмет письма очень светел, и потому прошу ее быть как можно светлее до самого получения письма.

Да — кстати о письмах. Пошлите кого-нибудь на квартиру Нащокина (у Старого Пимена, в доме Ивановой) узнать, получено ли им письмо мое? Письмо это очень нужно и касается прямо его дела, а потому мне хотелось бы, чтобы оно было получено во всей исправности.

А моему милому Константину Сергеевичу напишу тоже письмо, несколько нужное для нас обоих. Сделайте милость, обнимите всех, кого увидите из моих знакомых. Если Павловы точно едут, то вы мне сделаете большую

услугу присланьем чрез них некоторых книг, а именно: «Памятник веры», такой совершенно, как у Ольги Семеновны, и «Статистику России» Андросова, и еще, если есть какое-нибудь замечательное сочинение статистическое о России вообще или относительно частей ее, вышедшее в последних годах, то хорошо бы очень присовокупить его к ним. Кажется, вышел какой-то толстый том от министерства внутренних дел.

А Григория Сергеевича попрошу присылать мне реестр всех сенатских дел за прошлый год с одной простой отметкой: между какими лицами завязалось дело и о чем дело. Этот реестр можно присылать частями при письмах ваших. Это мне очень нужно. Да чуть было не позабыл еще попросить о книге Кошихина: При царе Алексее Михайловиче. Я прошу вас записать цену их, чтобы я знал, сколько вам должен. Я уверен, что Павловы не откажутся привезть мне их. Обнимите их от меня обоих. Они, верно, не сомневаются в том, что я очень хотел бы их увидеть. Около октября 1-го я надеюсь быть в Риме. Прощайте. Не забывайте меня и пишите. Посылаю вам мой душевный поцелуй.

Ваш *Гоголь*.

Из Петербурга я писал письма — к вам, к Ел. В. Погодиной и к Над. Н. Шереметевой. Если вам случится увидеть последнюю, скажите, что я буду к ней еще писать скоро, и дайте ей мой адрес».

Надобно признаться, что почти все поручения Гоголя насчет присылки статистических и других книг, а также выписок из дел и деловых регистров исполнялись очень плохо; а между тем очевидно, что все это было ему очень нужно для второго тома «Мертвых душ». Павловы не поехали за границу, да и не думали ехать, а Гоголь счел их пустые слова за настоящее намерение. Конечно, отъезжающих за границу и кроме их было довольно, но мы плохо верили их аккуратности. Не помню, с кем-то были посланы один раз бумаги и книги, но они совсем не дошли до Гоголя и пропали. Несмотря на такие уважительные причины, должно сознаться, что все мы, без

исключения, были не довольно внимательны к просьбам Гоголя. Я должен к этому присовокупить, что некоторые сведения, каких требовал Гоголь, мне казались не только недостаточными для узнания настоящего дела, но даже вредными, потому что сообщали неверные понятия.

Теперь следует одно из самых замечательных и самое огромное письмо Гоголя.

Надобно рассказать, как я получил его. Это случилось в начале сентября, именно 2-го. В этот день поутру прочел я вслух переделанную и дополненную повесть Гоголя «Портрет», напечатанную в третьем номере «Современника». Не защищаю ее фантастического содержания; но все дополнения, относящиеся к погибающему дарованию художника, привели меня в такой восторг, что слезы несколько раз прерывали мое чтение; тем не менее оно было так выразительно, что все слушавшие меня вполне разделяли мое восхищение. Целый день мы все были полны того благодатного чувства, которое оставляет по себе художественное создание. Вечером поехал я в Английский клуб и сел, по обыкновению, играть в карты. Вдруг приходит Томашевский и подает мне очень толстое письмо от Гоголя. Продолжая играть, я распечатал его, чтоб пробежать некоторые строки, но я попал на такие слова, которые сделали для меня продолжение игры невозможным. Я нашел на свое место другого игрока и на извозчике прискакал домой; дома не только удивились, но даже встревожились моим необыкновенно скорым возвращением, но я развернул письмо и прочел моей семье следующее:

«Гастейн, 18/6 августа <1842>.

Я получил ваше милое письмо и уже несколько раз перечитал его. Вы уже знаете, что я уже было соскучился, не имея от вас никакой вести, и написал вам формальный запрос; но теперь, слава богу, письмо ваше в моих руках. Что же сделалось с тем, что писала, как видно из слов ваших, Ольга Семеновна, — я никак не могу понять: оно не дошло ко мне. Все ваши известия, все, что ни заключалось в письме вашем, все до последнего слова и строчки было для меня любопытно и равно приятно, начиная с вашего препровождения времени,

уженья в прудах и реках, и до известий ваших о «Мертвых душах». Первое впечатление их на публику совершенно то, какое подозревал я заране. Неопределенные толки, поспешность быстрая прочесть и ненасыщенная пустота после прочтенья, досада на видимую беспрерывную мелочь событий жизни, которая становится невольно насмешкой и упреком, — все это я знал заране. Бедный читатель с жадностью схватил в руки книгу, чтобы прочесть ее, как занимательный, увлекательный роман, и, утомленный, опустил руки и голову, встретивши никак не предвиденную скуку. Все это я знал. Но при всем этом подробные известия обо всем этом мне всегда слишком интересно слышать. Многие замечания, вами приведенные, были сделаны не без основания теми, которые их сделали. Продолжайте сообщать и впредь, как бы они ни казались ничтожны. Мне все это очень нужно. Само по себе разумеется, что приятнее всего было мне читать отчет ваших собственных впечатлений, хотя они были мне отчасти известны. Бог одарил меня проницательностью, и я прочел в лице вашем во время чтения почти все, что мне было нужно. Я не рассердился на вас за неоткровенность. Я знал, что у всякого человека есть внутренняя нежная застенчивость, воспрещающая ему сделать замечания насчет того, что, по мнению его, касается слишком тонких чувствительных струн, прикосновение к которым как бы то ни было, но все же сколько-нибудь раздражает самое простительное самолюбие. Самая искренняя дружба не может совершенно изгладить этой застенчивости. Я знаю, что много еще протечет времени, пока узнают меня совершенно, пока узнают, что мне можно все говорить и более всего то, что более всего трогает чувствительные струны, — так же, как я знаю и то, что придет, наконец, такое время, когда все почуют, что нужно мне сказать и то, что ‹заключается› в собственных душах, не скрывая ни одного из движений, хотя эти движения не ко мне относятся. Но отнесем будущее к будущему и будем говорить о настоящем. Вы говорите, что молодое поколение лучше и скорее поймет. Но горе, если бы не было стариков. У молодого слишком много любви к тому, что восхитило его; а где жаркая и сильная любовь, там уже невольное пристрастие.

Старик прежде глядит очами рассудка, чем чувства, и чем меньше подвигнуто его чувство, тем ясней его рассудок и может сказать всегда частную, повидимому маловажную и простую, но тем не менее истинную правду. Если бы сочиненье мое произвело равный успех и эффект на всех — в этом была бы беда. Толков бы не было; всякий, увлеченный важнейшим и главным, считал бы неприличным говорить о мелочах, считал бы мелочами замечания о незначительных уклонениях, о всех проступках, повидимому ничтожных. Но теперь, когда еще не раскусили, в чем дело, когда не узнали важного и главнейшего, когда сочинение не получило определенного недвижного определения, — теперь нужно ловить толки и замечания; после их не будет. Я знаю, что самые близкие люди, которые более других чувствуют мои сочинения, я знал, что и они все почти ощутят разные впечатления. Вот почему прежде всего я положил прочесть вам, Погодину и Константину, как трем различным характерам, разнородно примущим первые впечатления. То, что я увидел в замечании их, в самом молчании и в легком движении недоуменья, ненароком и мельком проскальзывающего по лицам, то принесло мне уже на другой день пользу, хотя бы оно принесло мне несравненно большую пользу, если бы застенчивость не помешала каждому рассказать вполне характер своего впечатления. Человек, который отвечает на вопрос ограждающими словами: «Не смею сказать утвердительно, не могу судить по первому впечатлению», делает хорошо, так предписывает правдивая скромность; но человек, который высказывает в первую минуту свое первое впечатление, не опасаясь ни компрометировать себя, ни оскорбить нежной разборчивости и чувствительных струн друга, тот человек великодушен. Такой подвиг есть верх доверия к тому, которому он вверяет свои суждения и которому вместе с тем вверяет, так сказать, самого себя. Иными людьми овладевает просто боязнь показаться глупее; но мы позабыли, что человек уже так создан, чтобы требовать вечной помощи других. У всякого есть что-то, чего нет у другого; у всякого чувствительнее не та нерва, чем у другого, и только дружный размен и взаимная помощь могут дать

возможность всем увидеть с равной ясностью и со всех сторон предмет.

Я был уверен, что Конст. Сер. глубже и прежде поймет, и уверен, что критика его точно определит значение поэмы. Но, с другой стороны, чувствую заочно, что Погодин был отчасти прав, не поместив ее, несмотря на несправедливость этого дела. Я думаю просто, что ей рано быть напечатанной теперь. Молодой человек может встретить слишком сильную оппозицию в старых. Уже вопрос: почему многие не могут понять «Мертвых душ» с первого раза? — оскорбит многих. Мой совет — напечатать ее зимою, после двух или трех других критик. Недурно также рассмотреть, не слышится ли явно: *я первый понял*. Этого слова не любят, и вообще лучше, чтобы не слышалось большого преимущества на стороне прежде понявших. Люди не понимают, что в этом нет никакого греха, что это может случиться с самым глубоко образованным человеком, как случается всякому, в минуты хлопот и мыслей о другом, прослушать замечательное слово. Лучше всего, если бы Кон. Сер. прислал эту критику мне в Рим, переписавши ее на тоненькой бумажке для удобного вложения в письме. Я слишком любопытен читать ее. Ваше мнение: нет человека, который бы понял с первого раза «Мертвые души», совершенно справедливо и должно распространиться на всех, потому что многое может быть понятно одному только мне. Не пугайтесь даже вашего первого впечатления, что восторженность во многих местах казалась вам доходившею до смешного излишества. Это правда, потому что полное значение лирических намеков может изъясниться только тогда, когда выйдет последняя часть. Вере Сергеевне скажите, что я был тоже доволен, увидевши в Петербурге ее друга Карташевскую, и не жалею даже о кратковременности нашего свидания. Есть души, что самоцветные камни; они не покрыты корой и, кажется, как будто и родились уже готовыми и обделанными. Их видит издали зоркий глаз ювелира, только замечает их место, сказавши: слава богу! и спешит к тем, где нужно много работы, чтобы отколоть грубую кору и сколько-нибудь огранить, дабы видел всякий, что это была не простая земля, но дорогой камень, закрытый вековыми накопленьями всего. Слова и

мнения ее вы также выпишите и пришлите мне, хотя, натурально, нужно, чтобы она никак не знала этого. Все то, что идет прямо от души и сердца, мне так же нужно знать, как все то, что идет от рассудка.

Вас устрашает мое длинное и трудное путешествие. Вы говорите, что не можете понять ему причины; вы говорите, что несколько раз хотели спросить меня и все останавливались, не решаясь навязываться самому на доверенность. Зачем же вы не спросили? Никогда душевная жажда вопросить не должна оставаться в груди. Никогда сердечный вопрос не может быть докучен или не у места. Самое большее было бы то, что я ответил бы вам на это молчанием; но если молчание это светло и выражает спокойствие душевное, то, стало быть, оно уже ответ, и ничем другим не мог выразиться этот ответ. А вопрос ваш все-таки был бы мне приятен, потому что он вопрос друга. И что бы мог я вам отвечать? Разве произнес бы слова только: Так должно быть! Рассмотрите меня и мою жизнь среди вас. Что вы нашли во мне похожего на ханжу или хотя на это простодушное богомольство и набожность, которою дышит наша добрая Москва, не думая о том, чтобы быть лучшею? Разве нашли вы во мне слепую веру во все без различия обычаи предков, не разбирая, на лжи или на правде они основаны, или увлечение новизною, соблазнительной для многих современностью и модой? Разве вы заметили во мне юношескую незрелость или живость в мыслях? Разве открыли во мне что-нибудь похожее на фанатизм и жаркое, вдруг рождающееся увлечение чем-нибудь? И если в душе такого человека, уже по самой природе своей более медлительного и обдумывающего, чем быстрого и торопящегося, который притом хоть сколько-нибудь умудрен и опытом, и жизнью, и познанием людей и света; если в душе такого человека родилась подобная мысль, мысль предпринять это отдаленное путешествие — то, верно, она уже не есть следствие мгновенного порыва, верно, уже слишком благодетельна она, верно далеко оглянута она, верно и ум, и душа, и сердце соединились в одно, чтобы послужить такой мысли. Но если б даже и не могло заключиться в ней никакой обширной цели, никакого подвига во имя любви к братьям, никакого дела

во имя Христа, то разве вся жизнь моя не стоит благодарности, разве небесные минуты тех радостей, которые я слышу, не вызывают благодарности, разве прекрасная жизнь тех прекрасных душ, с которыми встретилась душа моя, не вызывает благодарности? Разве любовь, обнявшая мою душу и возрастающая в ней более и более с каждым днем, не стоит благодарности? Разве в сих небесных торжественных минутах не присутствует Христос? Разве в сем высоком союзе душ не присутствует Христос? Разве эта любовь не есть уже сам Христос? Разве все, что отрывается от земли и земного, не есть уже Христос, разве в любви, сколько-нибудь отделившейся от чувственной любви, уже не слышится мелькнувший край божественной одежды Христа? И сие высокое стремление, которым стремятся прекрасные души одна к другой, влюбленные в одни свои божественные качества, а не земные, не есть ли уже стремление ко Христу? «Где вас двое, там есть церковь моя». Или никто не слышит сих божественных слов? Только любовь, рожденная землей и привязанная к земле, только чувственная любовь, привязанная к образам человека, к лицу, к видимому, стоящему перед нами человеку, та любовь только не зрит Христа. Зато она временна, подвержена страшным несчастьям и утратам. И да молится вечно человек, чтобы спасли его небесные силы от сей ложной, превратной любви! Но любовь душ — это вечная любовь. Тут нет утраты, нет разлуки, нет несчастий, нет смерти. Прекрасный образ, встреченный на земле, тут утверждается вечно; все, что на земле умирает, то живет здесь вечно, то воскрешается ею, сей любовью, в ней же, в любви, — и она бесконечна, как бесконечно небесное блаженство.

Как же вы хотите, чтобы в груди того, который услышал высокие минуты небесной жизни, который услышал любовь, не возродилось желание взглянуть на ту землю, где проходили стопы того, кто первый сказал слово любви сей человекам, откуда истекла она на мир? Мы движемся благодарностью к поэту, подарившему нам наслаждения души своими произведениями; мы спешим принесть ему дань уважения, спешим посетить его могилу, и никто не удивляется такому поступку, чувствуя,

что стоит уважения и самый великий прах его. Сын спешит на могилу отца, и никто не спрашивает его о причине, чувствуя, что дарованье жизни и воспитанье стоят благодарности. Одному только тому, кто рай блаженства низвел на землю, кто виной всех высоких движений, тому только считается как-то странным поклониться в самом месте его земного странствия. По крайней мере если кто из среды нас предпримет такое путешествие, мы уже как-то с изумлением таращим на него глаза, меряем его с ног до головы, как будто бы спрашивая, не ханжа ли он, не безумный ли он? Признайтесь, вам странно показалось, когда я в первый раз объявил вам о таком намерении? Моему характеру, наружности, образу мыслей, складу ума, и речей, и жизни — одним словом, всему тому, что составляет мою природу, кажется неприличным такое дело. Человеку, не носящему ни клобука, ни митры, смешившему и смешащему людей, считающему и доныне важным делом выставлять неважные дела и пустоту жизни, такому человеку, не правда ли, странно предпринять такое путешествие? Но разве не бывает в природе странностей? Разве вам не странно было встретить в сочинении, подобном «Мертвым душам», лирическую восторженность? Не смешною ли она вам показалась вначале, и потом не примирились ли вы с нею, хотя не вполне еще узнали ‹ее› значение? Так, может быть, вы примиритесь потом и с сим лирическим движением самого автора. И как мы можем сказать, чтобы то, которое кажется нам минутным вдохновением, нежданно налетевшим с небес откровением, чтобы оно не было вложено всемогущей волею бога уже в самую природу нашу и не зрело бы в нас невидимо для других? Как можно знать, что нет, может быть, тайной связи между сим моим сочинением, которое с такими погремушками вышло на свет из темной низенькой калитки, а не из победоносных триумфальных ворот в сопровождении трубного грома и торжественных звуков, и между сим отдаленным путешествием? И почему знать, что нет глубокой и чудной связи между всем этим и всей моей жизнью и будущим, которое незримо грядет к нам и которого никто не слышит? Благоговение же к промыслу! Это говорит вам вся глубина души моей. Помните, что в то время, когда

мельче всего становится мир, когда пустее жизнь, в эгоизм и холод облекается все и никто не верит чудесам, — в то время именно может совершиться чудо, чудеснее всех чудес. Подобно как буря самая сильная настает только тогда, когда тише обыкновенного станет морская поверхность. Душа моя слышит грядущее блаженство и знает, что одного только стремления нашего к нему достаточно, чтобы всевышней милостью бога оно ниспустилось в наши души. Итак, светлей и светлей да будут с каждым днем и минутой ваши мысли, и светлей всего да будет неотразимая вера ваша в бога, и да не дерзнете вы опечалиться ничем, что безумно называет человек несчастием. Вот что вам говорит человек, смешащий людей.

Прощайте. Это письмо будет и для Ольги Семеновны вместе; и не показывайте его другим. Лирические движения души нашей!.. неразумно их сообщать кому бы то ни было. Одна только всемогущая любовь питает к ним тихую веру и умеет беречь, как святыню, во глубине души душевное слово любящего человека. Впрочем, помните, что путешествие мое еще далеко. Раньше окончания моего труда оно не может быть предпринято ни в каком случае, и душа моя для него не в силах быть готова. А до того времени нет никакой причины думать, чтобы ‹мы› не увиделись опять, если только это будет нужно. Пишите мне все, что ни делается с вами и что ни делается вокруг вас. Все, что ни касается жизни, уже жизнь моя. Толков об «Мертвых душах», я думаю, до зимы вы не услышите. Но если, на случай, кто-нибудь будет вам писать о них, вы выпишите эти строки в письме ко мне.

Прощайте. Целую вас всей силою душевного лобзания; распространите его на всех близких вашему сердцу. Деньги мне не нужны раньше октября. Адресуйте на имя банкира duc de Torlonia для передачи Гоголю. Шевыреву я написал порядок, как уплачивать по случаю возникшего несогласия насчет первенства. Нужно, чтобы эти деньги были уплачены как можно скорее. Они должны были быть отданы в первые два месяца».

К этому письму почти не нужно никаких объяснений, кроме того, что в нем Гоголь, между прочим, отвечает на мое письмо, которое, как и многие другие, пропало. Хотя я не помню содержания этого письма, но решительно протестую против того, будто лирические места «Мертвых душ» показались мне смешными. Я никогда так не думал, а потому и не мог написать. Я подозреваю, не принял ли Гоголь мнений других, сообщенных мною в письме, за мои собственные единственно потому, что я вообще назвал их сделанными *не без основания*. Одно только лирическое место (стран. 58) показалось мне, да и теперь кажется, неуместным, сказанным рановременно. Можно ли говорить о том, что человек еще намерен произвесть. Разве будущее нам известно? К несчастию, смерть Гоголя и сожжение «Мертвых душ» служат ужасным доказательством справедливости моего замечания. Должно также сказать, что это чудное письмо произвело тогда на нас необыкновенно сильное впечатление, вероятно подготовленное утренним чтением переделанной или почти вновь написанной Гоголем повести «Портрет». Я сам, не совсем довольный религиозным направлением Гоголя, которое мне казалось мистическим, был не то чтобы убежден, но растроган, умилен, очарован этим письмом. Надобно признаться, что не совсем строго было выполнено желание Гоголя, требовавшего, чтобы мы только двое с Ольгою Семеновной прочли это письмо. Можно ли было не показать его Константину и старшим дочерям? Гоголь узнал об этом и был очень недоволен. Под большим секретом было оно прочтено некоторым нашим друзьям. В 1847 году, когда вышла известная книга: «Избранные места из переписки с друзьями», сильно меня взволновавшая, я имел непростительную слабость и глупость, в пылу спорного разговора, в доказательство постоянного направления Гоголя показать это письмо Павлову... Мне и теперь совестно, что я это сделал. Я был за это жестоко наказан: Павлов выпросил у меня это письмо на несколько часов, чтобы прочесть одному больному человеку, почтенному и достойному, любившему Гоголя, но сомневавшемуся в искренности его религиозных убеждений. Он уверил меня, что прочтение этого письма будет душевным и

целебным наслаждением для больного, что это будет истинным добрым делом. Павлов не возвратил мне этого письма до сих пор: сначала говорил, что забывает привезть; потом, что куда-то далеко его запрятал, и, наконец, сказал, что он мне возвратил его, уверяя меня, что я забыл об этом. Я сердился и огорчался постоянно таким поступком и был убежден, что Павлов потерял письмо; но с год тому назад я узнал положительно, что это письмо было найдено в его бумагах, когда их разбирали полицмейстер Бакунин и жандармский капитан Воейков. Теперь я вижу в этом письме лирический порыв, дифирамб, чем назвал сам Гоголь свое путешествие ко святым местам.

На это письмо Константин писал к Гоголю следующее:

«Наконец, пишу к вам, дорогой Николай Васильевич... до сих пор не мог собраться. Мы получили ваше последнее большое письмо из Гастейна; мне нечего сказать вам, как только, что ни одно слово письма вашего не пропало для меня даром; все они отозвались глубоко и остались во мне своею благодатною силою. Бог знает, когда мы вас увидим; но оставайтесь далеко, живите, где хотите, идите, куда вас влечет: бог благословит всякий путь ваш и ваше дальнее путешествие. Если же только можете, не уклоняясь от желанного пути, то приезжайте к нам в Москву, которую, верно, вы постоянно видите и чувствуете, где бы вы ни были: она живое сердце нашей великой России; на ней лежит судьба ее, из нее все великое благо. Как будем мы рады, мы собственно, когда вас опять увидим. Вы уехали, дорогой Николай Васильевич, и оставили нам книгу, которая произвела необыкновенный шум. Давно не бывало у нас такого движения, какое теперь по случаю «Мертвых душ». Ни один решительно человек не остался равнодушен; книга всех тронула, всех подняла, и всякий говорит свое мнение. Хвала и брань раздаются со всех сторон, и того и другого много; но зато полное отсутствие равнодушия. Отовсюду слышны мнения: их говорит всякий; всякий открыл свое суждение и потому — при этом всеобщем

объявлении своих мыслей, взглядов на вещи, при этом всеобщем признании, вынужденном книгою, — произошла такая разность мнений, такие поразительные несходства, что едва веришь ушам своим. Без этой книги и предполагать нельзя бы было такого различия мнений, которое вышло теперь на свет. Одни говорят, что только тут видят они Гоголя, который до сих пор далеко не так поражал их; что только тут почувствовали они его колоссальность; другие провозгласили было в самом начале, что эта книга — падение Гоголя, смерть его таланта; но скоро должны были замолчать, оглушенные всеобщим шумом, поднявшимся над их главами; они ограничиваются тем теперь, что указывают на прежние ваши сочинения, на Малороссию. Для иных здесь колоссально предстает Россия, сквозящая сквозь первую часть и выступившая на конце книги; слезы навертываются у них на глазах при чтении последних строк. Другие с горестью читают, говорят, что надо терзаться и плакать. *Посмотрите,* — говорил мне один, — *какая тяжелая, страшная насмешка в окончании этой книги.* — Какая? — спросил я, выпучив глаза. — *В словах, которыми оканчивается книга.* — Как, в этих словах? — *Да разве вы не заметили? Русь, куда несешься ты, сама не знаешь, не даешь ответа.* — И это говорят серьезно, с искреннею, глубокою грустью. Мне удалось, однако, поколебать это печальное мнение. — Одни говорят, что «Мертвые души» поэма, что они понимают смысл этого названия; другие видят в этом насмешку совершенно в духе Гоголя: *на-те вот, грызитесь за это слово.* Многие помещики не на шутку выходят из себя и считают вас своим смертельным, личным врагом. Само собою разумеется, что ко всему этому присоединяются нападения на вас, на неприличие; с другой стороны, дается этим нападениям живой отпор. Я говорю вам, дорогой Николай Васильевич, пока вообще; но потом постараюсь написать мнения в отдельности — некоторые выражены печатно. Журналы не могут перестать говорить о «Мертвых душах»; не показывается номера, в котором бы не было об них толков. Шевырев написал две, пишет еще третью статью. «Отечественные записки», беспрестанно говоря и браня все мнения о «Мертвых душах», обещаются написать

большую статью. Словом сказать, литераторы, журналисты, книгопродавцы, частные люди — все говорят, что давно не бывало такого страшного шума в литературном мире, одни браня, другие хваля. Из последних одни — со слезами на глазах от того живого света русской жизни, проникающего наружу теплым лучом, перед которым падает всякое сомнение и растет надежда вместе с силами и бодростью духа. Другие — со слезами на глазах от совершенного отчаяния; они говорят, что тот не русский, у кого сердце не обольется кровью, глядя на безотрадное состояние России; говорят: *Гоголь не любит России; посмотрите, как хороша Малороссия и какова Россия*; прибавляют: *заметьте, что самая природа России не пощажена и погода даже все мокрая и грязная.* Но мне хочется также сказать вам собственно про себя, дорогой Николай Васильевич. Когда я слышал «Мертвые души», еще никакого впечатления целого не было возбуждено во мне. Я прочел их; я чувствовал, что̀ прекрасно; видел красоту создания, жизнь всякой отдельной черты; но что такое самое создание, какой общий смысл его, в котором соединяются в одно целое все эти чудные, живые черты, — этого я не мог себе постигнуть. Мысль была в недоумении; но потом открылась для меня внутренняя гармония всего создания: стали в одно целое все малейшие черты, понятна стала глубочайшая связь всего между собою, основанная не на внешней анекдотической завязке (отсутствие которой смущает с первого разу), но на внутреннем единстве жизни, и тогда мог я наслаждаться самим созданием, целым его образом, который, кажется, стал доступен мне. Очень понятно, что тогда весь был я наполнен моим чувством наслаждения, впечатлением «Мертвых душ». Мне кажется, главная трудность лежит в настоящем уразумении слова: *Поэма*, так по крайней мере, как я его понимаю. Когда стал я говорить о «Мертвых душах», то нашел согласным с собой Хомякова и Самарина. *Это древний эпос с его великим созерцанием, разумеется современный и свободный, в наше время — но это он.*

Я сказал Хомякову, что хотел бы написать о «Мертвых душах», он советовал мне то же, и я написал статью: *Несколько слов* для «Москвитянина». Туда не была она

принята; тогда я напечатал ее брошюркой, которую не пустил в продажу, раздав только знакомым. Несмотря на то, она сделалась известна многим; брошюрка была написана скоро, может быть неясно, и на нее многие, почти все напали, искажая сказанные в ней мысли. Многого не досказал я еще там собственно о «Мертвых душах», что думаю и что случалось говорить мне здесь. Белинский умышленно или неумышленно изуродовал слова мои, напечатал на меня ругательную рецензию, на которую надо было мне отвечать, для того чтобы уничтожить ложь, на меня взводимую. Нет, Николай Васильевич, у меня не было чувства: *я первый понял,* и, кажется, не видать его в статье моей. Посылаю вам и брошюрку и мое возражение. Далеко и то и другое не дает еще чувствовать, что такое «Мертвые души». Прочтите и скажите мне, что вы думаете. В этих статейках сказано мое глубокое убеждение... Прощайте, дорогой мой Николай Васильевич, от всего сердца обнимаю вас. Белинский в восторге от «Мертвых душ», но, кажется, он их далеко не понимает».

В 1842 году писем Гоголя более не нашлось; но видно из письма Веры к Машеньке, что было письмо в декабре.

1843 год. Письмо без числа, но, вероятно, писанное в генваре:

«Благодарю вас, добрый друг мой Ольга Семеновна, за прекрасное письмо ваше. В нем слышны все движения души вашей. Всегда в минуты ваших душевных движений пишите ко мне. Все, что изольется из души вашей, останется святыней и тайной в душе моей. Слышите ли вы, что в последнем слове заключается упрек вам? Да, я люблю делать упреки тем, которых люблю: я просил вас, чтобы вы только вдвоем прочитали письмо мое, а письмо это читала вся ваша семья, и, кроме того, вы даже дали списать с него для себя копию. Я знаю, вы любите отвечать обыкновенно, что в семье вашей нет тайны, и отчасти думаете, что такой просьбой моей водит отчасти маленький каприз. Но бог весть, может быть, иногда не вовсе ничтожная причина двигает капризом. Но дело

уже сделано. Исполните же по крайней мере теперь мою просьбу. Просьба отсутствующего должна быть священна. Позабудьте вовсе письмо мое оное! Не читайте его, спрячьте на целые четыре года. Никто из вас пусть прежде не говорит и не упоминает о нем во все это время. Я так хочу, и больше ничего!

Еще просьба: не хвалите меня перед другими, по крайней мере менее сколько можно. Из письма вашего со страхом я увидел, что вы меня считаете чем-то вроде святости и совершенства. Ради бога, не думайте так, это грех. В моей душе есть точно стремление к этому, но вы слышите ли, какое страшное пространство между стремлением и достижением! Вот все, что вы можете говорить другим: у него добрая душа и есть истинное желание быть лучше, чем он есть. Эти слова вы можете только сказать обо мне. И если услышите нападения на меня, никогда не отвергайте их. Нападения не могут быть без причины. Лучше прилежно выслушайте их и передайте потом мне.

Прощайте! В минуты сильных ваших движений душевных всегда пишите ко мне. Если у вас родятся какие-нибудь упреки мне, смело их говорите. Упреков любящего человека всегда жаждало, как святыни, мое сердце».

Письмо это должно принадлежать к 1842 году и, вероятно, было приложено в письме ко мне, которое пропало. Оно, очевидно, есть ответ на письмо Ольги Семеновны, которое было писано к Гоголю перед отъездом на богомолье в Воронеж, что происходило в октябре.

Теперь по хронологическому порядку следует мое письмо к Гоголю от 6 февраля 1843, которое прилагается здесь в оригинале:

«У, какой хаос в голове! Как давно не писал к вам, милый друг Николай Васильевич, и как много накопилось всякой всячины, о которой надобно бы написать к вам и подробно и порядочно!.. Право, не знаю, с чего начать? Прежде всего надобно сказать вам причину такого долгого моего молчания, а потом, по возможности,

рассказать исторически все происшествия (очень жалею, что не вел записки вроде журнала; но обстоятельства были так важны и мы принимали их так близко к сердцу, что до благополучного их окончания я не в состоянии был ничего писать). Я и все мои здоровы, но не писал к вам, во-первых, потому, что сначала мы были встревожены слухами, будто государь был недоволен «Мертвыми душами» и запретил второе их издание; будто также недоволен был «Женитьбой» и что четвертый том ваших сочинений задержан, перемаран и вновь должен быть напечатан (все это, как оказалось после, или совершенная неправда, или было, да не так). Во-вторых, не писал я к вам потому, что в бенефис Щепкина ставились на здешнем театре «Женитьба» и «Игроки»; разумеется, я не пропускал репетиций и сколько мог хлопотал, чтобы пиесы были поняты и сколько-нибудь сносно сыграны. Вчера сошел бенефис Щепкина, и сегодня принимаюсь я писать к вам; но, вероятно, ранее понедельника это письмо не отправится в Рим. Еще к 1 ноября ожидали мы ваших сочинений; даже книгопродавцы московские, не получа еще их, объявили в газетах, что такого-то числа поступят в продажу сочинения Гоголя. Я непременно хотел дождаться их появления, чтоб написать о всем, и о моих собственных впечатлениях, и о том, что произведут они на всю массу читающей московской публики. Но сочинения ваши запоздали своим выходом сами по себе, и потом действительно четвертый том был задержан (так что у нас были получены два первых задолго до получения четвертого; почему не было получено третьего, не знаю). Впрочем, эти задержки произошли вследствие особенных обстоятельств. Два цензора были посажены под арест за пропуск какой-то статьи; это заставило их сделаться еще осторожнее и остановить выпуск некоторых уже отпечатанных книг, в том числе и четвертый том ваших сочинений. Наконец, все было получено без всяких исключений... Все (я разумею людей, способных понимать и чувствовать) были в восхищении, что истина восторжествовала. Все приписывают это самому государю (я то же думаю), и все восхищаются его высоким правительственным разумом. Вообще появление на сцене и в печати ваших творений будет памятником

его царствования; мы благословляем его от души! — Пиесы, цензурованные для представления на театре, «Женитьба» и «Игроки», были получены гораздо прежде ваших сочинений; я имел случай читать несколько раз в обществе мужчин и дам последнюю и производил восторг и шум необыкновенный, какого не произвела она даже на сцене. На это есть множество причин: 1) На Большом театре, где обыкновенно даются бенефисы, многого нельзя было расслушать; итак, публика только вслушивалась в пиесы. 2) Главные лица: Подколесин и Утешительный дурно были исполнены Щепкиным... Остальных, мелочных причин не нужно исчислять. Но когда подняли занавесь, продолжительный гром рукоплесканий приветствовал появление на сцене нового вашего сочинения. Я не понимаю, милый друг, вашего назначения ролей. Если б *Кочкарева* играл Щепкин, а *Подколесина* Живокини, пиеса пошла бы лучше. По свойству своего таланта Щепкин не может играть вялого и нерешительного творенья, а Живокини, играя живой характер, не может удерживаться от привычных своих фарсов и движений, которые беспрестанно выводят его из характера играемого им лица. Впрочем, надо было отдать ему справедливость: он работал из всех сил, с любовью истинного артиста, и во многих местах был прекрасен. Они желают перемениться ролями. Позволите ли вы? В продолжение великого поста они переучат роли, если вы напишете ко мне, что согласны на то. Верстовский (который вас обнимает: недавно я прочел ему «Разъезд», и он два дня был в упоении) и другие говорят, что в Петербурге Мартынов в роли Подколесина бесподобен, но все прочие лица несравненно ниже московских. Послезавтра бенефис должен повториться на Большом театре, а потом пиесы ваши навсегда сойдут на Малый театр. Актеры и любители театра нетерпеливо этого ожидают: там они ‹пиесы› получат настоящую цену и оценку.

Сам вижу, как беспорядочно мое письмо: но получение ваших сочинений, постановка пиес и все вообще так высоко настроили мои нервы, что они дрожат и предметы путаются и пляшут в голове моей. Лучше начать отчет о спектакле. «Женитьба» была разыграна лучше

«Игроков». В первой женихи, особенно Садовский (*Анучин*, или *Ходилкин*, как перекрестил его г. цензор Гедеонов, который по глупости своей много кое-что повымарал в обеих пиесах о купцах, дворянах и гусарах: слово «*гусар*» заменил «*молодцом*», вместо *Чеботарев* поставил *Чемоданов* и проч.), были недурны. Женщины, кроме Агафьи Тихоновны (Орлова, которая местами была хороша), сваха (Кавалерова) [1] и купчиха (Сабурова 1-я) вообще были хороши. Щепкин, ничуть меня не удовлетворяя в строгом смысле, особенно был дурен в сцене с невестой один на один. Его робость беспрестанно напоминала Городничего, и всего хуже в последней сцене. Переходы от восторга, что он женится, вспыхнувшего на минуту, появление сомнения и потом непреодолимого страха от женитьбы даже в то еще время, когда слова, повидимому, выражают радость, — все это совершенно пропало и было выражено пошлыми театральными приемами... Публика грозно молчала всю сцену, и я едва не свалился со стула. Мне тяжело смотреть на Щепкина... Он так мне жалок: он переслуживает свою прежнюю славу. Хомяков, который был подле нас в ложе, весьма справедливо заметил, что те же самые актеры, появившиеся в средней пиесе (какой-то водевиль) между двумя вашими, показались не людьми, а картонными фигурками, куклами выпускными. — Оставляю писать до завтра, ибо очень устал».

«7-го февраля.

После спектакля я отправился в Дворянский клуб, где я обыкновенно играю в карты и где есть огромная комната Кругелей, Швохневых и других. Они все дожидались нетерпеливо «Игроков» и часто меня спрашивали: что это за пиеса? Там все без исключения говорили следующее: «Женитьба» — не то, что мы ожидали; гораздо ниже «Ревизора», даже скучно, да и ненатурально; а «Игроки» хороша, только это старинный анекдот; да и все рассказы игроков — известные происшествия». Один сказал, что нынче уже таких штук не упо-

---

[1] Сваха лучше всех.

требляют и никто не занимается изучением рисунка обратной стороны. Нашлись такие, которые были в театре, но уехали поранее, и я нашел их уже за картами, уверяющими, что они не могли попасть в театр, но что после непременно посмотрят обе пиесы. Странное дело: «Женитьбу» слушали с большим участием; удерживаемый смех, одобрительный гул, как в улье пчел, ходил по театру; а теперь эту пиесу почти все осуждают. «Игроков» слушали гораздо холоднее, а пиесу все почти хвалят; все это я говорю о публике рядовой. Вчера был у меня Павлов, который, несмотря на больные глаза, приезжал в театр, который был поражен «Игроками» и, сидя подле меня, говорил, что это — трагедия, и ужасно бранил игру Ленского (занимавшего роль Ихарева. Я хотел дать ее Мочалову, но он пьет напропалую; да и Щепкин, по каким-то соображениям или отношениям, не хотел этого); но вчера, то есть на другой день представления, изволил говорить совсем другое, что «Женитьба» — шалость большого таланта, а «Игроков» не следовало писать, играть и еще менее печатать; что тут нет игроков, а просто воры или действие слишком одностороннее и проч., то есть говорил совершенный вздор. Когда же я ему напомнил вчерашнее его мнение, то он сказал, что был *ошеломлен* вчера и сегодня поутру все хорошенько обдумал... то есть признался откровенно во всем. (Хомяков говорит, что это торжество воли!..)»

«8-го февраля.

Загоскин в театре не был, но неистовствует против «Женитьбы» и особенно взбесился за эпиграф к «Ревизору». С пеной у рта кричит: «*Да где же у меня рожа крива?*» Это не выдумка. Верстовский просил меня написать к вам, что он берется поставить «Разъезд», а то дирекция возьмет его по разам. Исполняю его желание, хотя знаю наперед ваш ответ. — Обращаюсь к изданию ваших сочинений. Вообще оно произвело выгодное для вас впечатление на целую Москву, ибо главное ожесточение против вас произвели «Мертвые души». «Шинель» и «Разъезд» всем без исключения нравятся; полнейшее развитие «Тараса Бульбы» также. Судя по

нетерпению, с которым их ожидали, и по словам здешних книгопродавцев, которые были осаждаемы спрашивающими, должно предполагать, что издание будет иметь сильный расход. Что касается до меня и до всех моих, то трудно сказать что-нибудь новое о наших чувствах: мы наслаждаемся *вполне*. Конечно, новые ваши творения, например «Шинель» и особенно «Разъезд», сначала так нас поразили, что мы невольно восклицали: «*Это выше всего*», но впоследствии, повторив в несчетный раз старое, увидели, что и там та же вечная жизнь, те же живые образы. Но я, лично я, остаюсь, однако, при мнении, что «Разъезд», по обширному своему объему, по сжатости и множеству глубоких мыслей, по разумности цели пиесы, *по языку*, по благородству и высокости цели, по важности своего действия на общество, — точно выше других пиес. Не говорю о других красотах его, которые он разделяет со всеми вашими сочинениями такого рода или содержания. — Мы слышали, что куда-то прислан экземпляр ваших сочинений для нас. Благодарим вас. Дай бог, чтоб наступило скорее время, или, лучше сказать, чтоб оно пришло благополучно, когда вы, сидя посреди всех наших, напишете на первом листочке: «*Милым друзьям*» и пр. Хотя я очень знаю, что действия ваши, относительно появления ваших созданий, заранее обдуманы; что поэт лучше нас, рядовых людей, прозревает в будущее: но (следую, впрочем, более убеждениям других, любящих вас людей) теперь много обстоятельств требуют, чтоб вы, если это возможно, ускорили выход второго тома «Мертвых душ». Подумайте об этом, милый друг, хорошенько... Много людей, истинно вас любящих, просили меня написать вам этот совет. Впрочем, ведь мы не знаем, такое ли содержание второго тома, чтоб зажать рот врагам вашим? Может быть, полная казнь их заключается в третьем томе...

Вы так давно не писали к нам, что это наводит на меня сомнение; я боюсь, что вы недовольны или досадуете за брошюрку Константина и что чувство досады мешает вам писать. Вы дожидаетесь, может быть, пока оно пройдет совершенно. Если так, то, пожалуйста, пишите, не дожидаясь полного исчезновения неприятного

чувства. Я сам знаю, что это ошибка, и не маловажная: с его стороны написать, а с моей — позволить печатать. Но что же делать? Нам казалось, что смелое указание истинного взгляда может навести многих на настоящую точку зрения, и если это так, то чего смотреть на толпу, которая заревет, не понимая цели. Впрочем, это не извиняет меня: я, седой дурак, должен был понять, что этот рев будет неприятен вам. Есть люди, которые говорят, что он вам даже повредил; но я решительно не соглашаюсь с ними; вам вредить ничто не может. Одно могло бы быть вредно, и то как отсрочка — полное равнодушие, невнимание; но дело уж давно не так идет.

Теперь о нас самих. Мы здоровы по возможности. Я сижу на диете; только не умею ладить с временем и часто ложусь спать слишком поздно. Жена и все мое семейство вас обнимают. Намерение мое уехать в Оренбургскую губернию сильно поколебалось, и мы ищем купить деревню около Москвы, но до сих пор не находим. Я хочу только приятного местоположения и устроенного дома. Мысль, что вы, милый друг, со временем переселясь на житье в Москву, будете иногда гостить у нас, много украшает в глазах наших наше будущее уединение. Прощайте. Обнимаю вас крепко, да сохранит вас бог.

До гроба друг ваш

С. Аксаков».

Следующее письмо Гоголя — ответ на мое:

«Рим. Март 18 <1843>.

Наконец, я получил от вас письмо, добрый друг мой, и отдохнул душою, потому что, признаюсь, мне было слишком тягостно такое долгое молчание со всех сторон. Благодарю вас за ваши известия; мне они все интересны. Успех на театре и в чтении пиес совершенно таков, как я думал. Толки о «Женитьбе» и «Игроках» совершенно верны, и публика показала здесь чутье. Относительно перемены ролей актеры и дирекция имеют полное право, и я дивлюсь, зачем они не сделали этого сами. Кто же, кроме самого актера, может знать свои

силы и средства? Верстовского поблагодарите от души за его участие и расположение. А «Разъезда», натурально, не следует давать: и неприлично и для сцены вовсе неудобно. У Щепкина спросите, получил ли он два письма мои, писанные одно за другим, так же как получили ли вы сами мое письмо, в котором я просил вас о постановке «Ревизора», — дело, которым, пожалуйста, позаймитесь. Там же я просил дать какой-нибудь отрывок Живокини, по усмотрению Мих. Сем., за его усердные труды.

Константину Сергеевичу скажите, что я и не думал сердиться на него за брошюрку; напротив, в основании своем она замечательная вещь. Но разница страшная между диалектикою и письменным созданием, и горе тому, кто объявляет какую-нибудь замечательную мысль, если эта мысль еще — ребенок, не вызрела и не получила образа, видного всем, где бы всякое слово можно почти щупать пальцем. И вообще чем глубже мысль, тем она может быть детственней самой мелкой мысли.

Относительно второго тома «Мертвых душ» я уже дал ответ Шевыреву, который вам его перескажет. Что ж до того, что бранят меня, то слава богу: гораздо лучше, чем бы хвалили. Браня, все-таки можно сказать правду и отыскать недостатки; а у тех, которые восхищаются, невольно поселяется пристрастие и невольно заслоняет недостатки. И вы также не должны меня хвалить неумеренно никому и ни перед кем. Поверьте, что̀ хвалится горячо, неравнодушно, то уже неумеренно. Меньше всего я бы желал, чтобы вы изменили к кому-нибудь ваши отношения по поводу толков обо мне. Я совершенно должен быть в стороне. Напротив, полюбите от души всех несогласных с вами во мнениях; увидите — вы будете всегда в выигрыше. Если только человек имеет одну хорошую сторону, то уже он стоит того, чтобы не расходиться с ним. А те, с которыми вы в сношениях, все более или менее имеют хорошие стороны. Я бы попросил вас передать мой искренний поклон Загоскину и Павлову, но чувствую, что они не поверят: подумают, что я поднялся на штуки, или, пожалуй, примут за насмешку вроде *кривой рожи*, и потому пусть этот поклон останется между нами.

Но поговорим теперь о самом важном деле. Положение мое требует сильного вашего участия и содействия. Я думаю, вы уже знаете из письма моего к Шевыреву, в чем дело. Вы должны принесть для меня жертву, соединившись втроем вместе: вы, Шевырев и Погодин, — взять на себя дела мои на три года. От этого все мое зависит — даже самая жизнь. Тысячи важных, слишком важных для меня причин и самая важнейшая, что я не в силах думать теперь о моих житейских делах. Но обо всем этом, я думаю, вы узнали уже от Шевырева. Со вторым изданием распорядитесь, как найдете лучше; но так устройте, чтобы я мог получать по шести тысяч в год в продолжение трех лет, разделив это на два или три срока и чтобы эти сроки были слишком точны. От этого много зависит. Впрочем, распоряжение относительно этого предоставьте Шевыреву. Он точнее нас всех. Слова эти слишком важны, и во имя бога я молю вас, не пренебрегайте ими. Сроки должны быть слишком аккуратны. Что теперь я полгода живу в Риме без денег, не получая ниоткуда, это, конечно, ничего. Случился Языков, и я мог у него занять. Но в другой раз это может случиться не в Риме; мне предстоят глухие уединения, дальние отлучения. Не теряйте этого из виду. Если недостанет и не случится к сроку денег, собирайте их хотя в виде милостыни. Я нищий и не стыжусь своего звания.

А вас вместе с Погодиным я попрошу войти в положение моей маменьки, тем более, что вы уже знакомы с ней и несколько знаете ее обстоятельства. Я получил от нее письмо, сильно меня расстроившее. Она просит меня прямо помочь ей, в то время помочь, когда я вот уже полгода сижу в Риме без денег, занимая и перебиваясь коекак. Просьба о помощи меня поразила. Маменька всегда была деликатна в этом отношении: она знала, что мне не нужно напоминать об этом, что я могу чувствовать сам ее положение. Она знала это уже потому, что я отказался от своей части имения и отдал ей (сто душ крестьян с землями), тогда как сам не был даже на полгода обеспечен (последнего обстоятельства, натурально, она не знала, иначе бы отказалась и от имения и от всякой со стороны моей помощи, и потому я должен

был почти всегда уверять ее, что я не нуждаюсь и что состояние мое обеспечено). Но и в сей мысли она была, однакож, очень деликатна и не просила меня о помощи. Теперь это все произошло вследствие невинного обстоятельства. Ольга Семеновна, по доброте души своей, желая, вероятно, обрадовать маменьку, написала, что «Мертвые души» расходятся чрезвычайно, деньги плывут, и предложила ей даже взять деньги, лежащие у Шевырева, которые, вероятно, следовали одному из ссудивших меня на самое короткое время. Маменька подумала, что я богач и могу без всякого отягощения себя сделать ей помощь. Я никогда не вводил маменьку ни в какие литературные мои отношения и не говорил с нею никогда о подобных делах, ибо знал, что она способна обо мне задумать слишком много. Детей своих она любит до ослепления, и вообще границ у ней нет. Вот почему я старался, чтобы к ней никогда не доходили такие критики, где меня чересчур хвалят. И, признаюсь, для меня даже противно видеть, когда мать хвастается своим сыном: это все равно как бы хвастаться собою и своими добродетелями. Маменька должна меня знать просто как доброго сына, а судить о талантах моих не принадлежит ей. Письмо маменьки и просьба повергли меня в такое странное состояние, что вот уже скоро третий месяц, как я всякий день принимаюсь за перо писать ей и всякий раз не имею сил, — бросаю перо и расстраиваюсь во всем. В самом деле, положение затруднительно: чтобы объяснить все дело, нужно сказать правду и сделать ей ясным мое положение, а в объяснении моего положения будет уже заключаться ей упрек и беспокойство о моей участи; между тем письмо мое должно быть утешительно и заключать даже в себе умную инструкцию впредь. Но для того, чтобы разумно поступить в этом, для другого, может быть, незатруднительном, деле, мне нужно взглянуть как на совершенно постороннее для меня дело, взглянуть так, как я гляжу на характер и положение лица, которое принимаюсь внесть в мое творение: тогда только предмет может предо мною стать всеми своими сторонами и слово мое может быть проникнуто светом разума, а без этого слово мое будет глупее слова всякого обыкновеннейшего человека. Вот

как еще мне трудно отрешиться от многих, многих страстных отношений, чтобы стать на ту высоту бесстрастия, без которого все, что ни производится мною, есть пошло, презренно и несет мне упреки даже от тех, которые, думая доставить мне добро, заставили произвесть его! Итак, войдите вместе с Погодиным в положение этого дела, объясните его маменьке, как признаете лучше. Во всяком случае как вы ни поступите, вы поступите в двадцать раз умнее меня. Дайте ей знать, что деньги вовсе не плывут ко мне реками и что расход книги вовсе не таков, чтобы сделать меня богачом. Если окажутся в остатке деньги, то пошлите, но не упускайте также из виду и того, что маменька, при всех своих прекрасных качествах, довольно плохая хозяйка и что подобные обстоятельства могут случаться всякий год; и потому умный совет с вашей стороны, как людей, все-таки больше понимающих хозяйственную часть, может быть ей полезнее самих денег.

Я не знаю, могут ли принести мои сочинения, ныне напечатанные в четырех томах, какой-нибудь значительный доход. Одно напечатание их (листов, как я вижу по газетам, оказалось более, чем предполагалось) должно достигнуть до семнадцати тысяч. Притом как бы то ни было, книга в двадцать пять рублей не так легко расходится, как в десять, особенно если она даже не новость вполне. Я думаю, что в первый год она разве только окупит издание, а потом пойдет тише. Первые деньги после окупления издания я назначил на уплату долгов моих петербургских, которые хоть и не так велики, как московские, но все же требуют давно уплаты. Я знаю, что некоторым, даже близким душе моей и обстоятельствам, казалось странно, отчего у меня завелось так много долгов, и они всегда пропускали из вида следующее невинное обстоятельство. Шесть лет я живу, и большею частию за границей, не получая ниоткуда жалованья и никаких совершенно доходов (шесть лет я не издавал ничего); годы эти были годы странствия, годы путешествия: откуда же и какими средствами я мог производить все это? Если положить по пяти тысяч в год, то вот уже до тридцати тысяч в шесть лет. Один раз только я получил вспомоществование, которое было от

государя и дало мне возможность прожить год. Кроме того, я в это время должен был взять моих сестер из института, одеть их с ног до головы и всякой доставить безбедный запас хотя по крайней мере на два года. Два раза я должен был в это время помочь маменьке, не говоря уже о том, что должен был дать ей средства два раза приехать в Москву и обратно. Должен же я был все это произвести какими-нибудь деньгами и средствами, итак, немудрено, что у меня набрались такие долги. А вы знаете сами, я вовсе не такой человек, чтобы издерживать деньги на пустяки; желанья мои довольно ограничены, и при мне нет даже таких вещей, которые бы показались другому совершенно необходимы. Но довольно об этом.

Не забудьте моей глубокой, сильной просьбы, которую я с мольбой из недр души моей вам трем повергаю: возьмите на три года попеченье о делах моих. Соединитесь ради меня тесней, и больше, и сильней друг с другом и подвигнитесь ко мне святой христианской любовью, которая не требует никаких вознаграждений. Всякого из вас бог наградил особой стороной ума. Соединив их вместе, вы можете поступить мудро, как никто. Клянусь, благодеяние ваше слишком будет глубоко и прекрасно!

Прощайте. Больше я ничего вам не могу теперь писать. Да и без того письмо длинно. Напишите мне ваш адрес и, ради бога, не забывайте меня письмами. Они мне очень важны, как вы не можете даже себе представить, хотя бы даже были писаны не в минуту расположения и заключались в двух строчках, небольших. Не забывайте же меня.

Ваш *Г.*

Посылаю душевный поклон всему дому вашему. А Ольге Семеновне грех, что она совершенно позабыла меня и не прибавила от себя ни строчки ко мне. Конст. Серг. тоже грех, тем более, что ко мне можно писать, не дожидаясь никакого расположения или удобного времени, а в суматохе, между картами, перед чаем, на запачканном лоскуточке, в трех строчках, с ошибками и со всем, что бог послал на ту минуту.

Если кто-нибудь поедет за Языковым из Москвы, не забудьте прислать мне книг, если вышло что-нибудь относительно статистики России, известный «Памятник веры», который обещала Ольга Семеновна, и молитвенник самый пространный, где бы находились почти все молитвы, писанные отцами церкви, пустынниками и мучениками.

О моих сочинениях я не имею никаких известий из Петербурга. Прокопович до сих пор не отвечал на мое последнее письмо. К Плетневу я уже писал два письма, и ни на одно из них нет ответа.

Вот вам мой маршрут: до 1 мая в Рим, потом в Гастейн, в Тироле, до 1 июня. В июне, июле и августе адресуйте в Дюссельдорф на имя Жуковского, везде Poste restante».

Вслед за этим письмом Шевырев привез мне письмо, полученное им от Гоголя, которое хотя писано к Шевыреву, но равно относится как к нему, так ко мне и Погодину. Я считаю, что имею полное право поместить его в моей книге. Вот оно:

«Наконец, после долгих молчаний со всех сторон, я получил письмо от тебя, бесценный друг мой! Поблагодаривши тебя за него от всей души, я принимаюсь отвечать на все его пункты. 1) Ты говоришь, что я плохо распорядился относительно дел моих и между прочим не сказал: как и в чем плохо и относительно каких именно дел. Что я плохо распорядился — это для меня не новость: я не должен и не могу заниматься моими житейскими делами вследствие многих глубоких душевных и сердечных причин; но о них после. Но тебе ни в каком случае не должно со мною церемониться; ты должен говорить все напрямик, не опасаясь никаким образом задеть каких бы то ни было струн самолюбия ли авторского, или просто человеческого, или чего бы то ни было, что называется обыкновенно чувствительностью и щекотливою стороною. Все будет принято благодарно и с любовью. Это я тебе говорю раз навсегда и прошу, ради дружбы нашей, не заставить меня повторить это

в другой раз. Сколько я могу догадываться, вероятно плохое распоряжение относится к изданию моих мелких сочинений, и, вероятно, Прокопович сделал по неопытности какую-нибудь глупость. Впрочем, вот причины, почему я печатание их предпринял в Петербурге и распорядился не так, как бы следовало относительно разных выгод житейских. Издание всех сочинений моих непременно нужно было произвести, не откладывая и не затягивая этого дела, к Новому году или сейчас после Нового года: взглянувши на все и сообразя все, ты сам, может быть, проникнешь в необходимость этого. Признаюсь, я помышлял было обратиться к тебе, несмотря на то, что совесть кричала против этого. Но когда я увидел, что и Погодин едет за границу и что «Москвитянин» взвален на тебя, у меня недостало духу. Я думал обратиться к Серг. Т., но Сергей Тимофеевич сказал, что он будет летом в деревне; впрочем, молодые люди (Константин Сергеевич и братья) могут, оставаясь в городе, заведовать печатаньем. Я уже думал было поручить дело в Москве, но меня вдруг смутила мысль, что дело пойдет на страшную проволочку. Не говоря о медленности московских типографий, меня сильно остановило цензурное дело. Из всех цензоров один только Никитенко был подвигнут ко мне участием искренним, но беспрестанная пересылка мелких пиес из Москвы в Петербург (они же поступали и к цензору не в одно время), письменные объяснения и недоразумения — все это мне предвещало такую возню, что у меня просто не подымались руки. И как я вспомню, чего мне стоило вытребовать и получить из Петербурга рукопись «Мертвых душ», после того как она уже целый месяц была пропущена комитетом... И притом Никитенко, при всем доброжелательстве, малороссиянин и ленив; его нужно было подталкивать беспрестанно личными посещениями. Все это заставило меня печатание производить в Петербурге. Прокоповичу я поручил потому, что знаю его совершенно с детства как лучшего школьного товарища: это человек во всех отношениях честный, и благородный, и деятельный, когда того потребуют. Плетнева я просил напутствовать его во всяких затруднениях. У Пропоковича было все лето совершенно свободно, и он мог неутомимо

и безостановочно заняться печатанием. Этой работой я имел отчасти намерение возбудить его к деятельности, усыпленной несколько его черствой и непитательной работой.

Доходов от этого издания я не мог ожидать. Хотя, конечно, несколько неизвестных пиес (которых я имел благоразумие не печатать в журналах) могли придать некоторый интерес новости книге, но все же она не новость. Она из четырех томов, стало быть высокой цены никак нельзя было назначить. Большого куша вынуть из кармана при теперешнем безденежье не так легко, как вынуть пять или десять рублей. Но притом я не имею духа и бессовестности возвысить цену, зная, что мои покупатели большею частью люди бедные, а не богатые и что иной, может быть, платит чуть ли не последнюю копейку. Тут это мерзкое сребролюбие подлей и гаже, чем в каком-либо другом случае. Итак, несмотря на то, что напечатание стало свыше шестнадцати тысяч и что в книге сто двадцать шесть листов, я велел ее продавать никак не дороже двадцати пяти рублей. Первые экземпляры пойдут, конечно, шибче и окупят, может быть, издание, но там медленнее. Половину экземпляров или треть я хотел было назначить по отправке в Москву к тебе, но не знаю, удобно ли тебе и как это сделать — об этом меня уведоми. Итак, вот тебе все причины того распоряжения, которое сделал я относительно этого дела. Конечно, можно было распорядиться и умнее, но у меня не было сил на то, не было сил потому, что я и не могу и не должен заниматься многим, что относится к житейскому, но об этом будет речь после. Весьма может быть, что Прокопович, как еще неопытный, многое сделал не так, как следует, и потому ты, пожалуйста, извести меня об всем. Я, натурально, не скажу Прокоповичу, что слышал от тебя, а издалека дам ему знать быть осмотрительней и благоразумней. Но довольно об этом; поговорим о втором пункте твоего письма.

Ты говоришь, что пора печатать второе издание «Мертвых душ», но что оно должно выйти необходимо вместе со вторым томом. Но если так, тогда нужно слишком долго ждать Еще раз я должен повторить, что сочинение мое гораздо важнее и значительнее, чем

можно предполагать по его началу. И если над первою частью, которая оглянула едва десятую долю того, что должна оглянуть вторая часть, просидел я почти пять лет, чего, натурально, никто не заметил, один ты заметил долговременную и тщательную обработку многих частей... Итак, если над первой частью просидел я столько времени — не думай, чтоб я был когда-либо предан праздному бездействию; в продолжение этого времени я работал головой даже и тогда, когда думали, что я вовсе ничего не делаю и живу только для удовольствия своего... Итак, если над первой частью просидел я так долго, рассуди сам, сколько должен просидеть я над второй! Это правда, что я могу теперь работать увереннее, тверже, осмотрительнее благодаря тем подвигам, которые я предпринимал к воспитанию моему и которых тоже никто не заметил. Например, никто не знал, для чего я производил переделки моих прежних пиес, тогда как я производил их, основываясь на разуменье самого себя, на устройстве головы своей. Я видел, что на этом одном я мог только навыкнуть производить плотное создание, сущное, твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой трезвости духа. После сих и других подвигов, предпринятых во глубине души, я, разумеется, могу теперь двигать работу далеко успешнее и быстрее, чем прежде; но нужно знать и то, что горизонт мой стал чрез то необходимо шире и пространнее, что мне теперь нужно обхватить более того, что верно бы не вошло прежде. Итак, если предположить самую беспрерывную и ничем не останавливаемую работу, то два года — это самый короткий срок. Но я не смею об этом и думать, зная мою необеспеченную нынешнюю жизнь и многие житейские дела, которые иногда в силе будут расстроить меня, хотя употребляю все силы держать себя от них подале и меньше, сколько можно, о них думать и заботиться. Понуждение к скорейшему появлению второго тома, может быть, ты сделал вследствие когда-то помещенного в «Москвитянине» объявления, и потому вот тебе настоящая истина: никогда и никому я не говорил, сколько и что именно у меня готово, и когда, к величайшему изумлению моему, напечатано было в «Москвитянине»

извещение, что два тома уже написаны, третий пишется и все сочинение выйдет в продолжение года, тогда не была даже кончена первая часть. Вот как трудно созидаются те вещи, которые на вид иным кажутся вовсе не трудны. Если ты под словом *необходимость* появления второго тома разумеешь необходимость истребить неприятное впечатление, ропот и негодование против меня, то верь мне: мне бы слишком хотелось самому, чтоб меня поняли в настоящем значении, а не в превратном. Но нельзя упреждать время; нужно, чтоб все излилось прежде само собою, и ненависть против меня (слишком тяжелая для того, кто бы хотел заплатить за нее, может быть, всею силою любви), ненависть против меня должна существовать и быть в продолжение некоторого времени, может быть даже долгого. И хотя я чувствую, что появление второго тома было бы светло и слишком выгодно для меня, но в то же время, проникнувши глубже в ход всего текущего пред глазами, вижу, что все, и самая ненависть, есть благо. И никогда нельзя придумать человеку умней того, что совершается свыше и чего иногда в слепоте своей мы не можем видеть и чего, лучше сказать, мы и не стремимся проникнуть. Верь мне, что я не так беспечен и неразумен в моих главных делах, как неразумен и беспечен в житейских. Иногда силой внутреннего глаза и уха я вижу и слышу время и место, когда должна выйти в свет моя книга; иногда, по тем же самым причинам, почему бывает ясно мне движение души человека, становится мне ясно и движение массы. Разве ты не видишь, что еще и до сих пор все принимают мою книгу за сатиру и личность, тогда как в ней нет и тени сатиры и личности, что можно заметить вполне только после нескольких чтений; а книгу мою большею частию прочли только по одному разу все те, которые восстают против меня. Еще смотри, как гордо и с каким презрением смотрят все на героев моих. Книга писана долго; нужно, чтоб дали труд всмотреться в нее долго. Нужно, чтобы устоялось мнение. Против первого впечатления я не могу действовать. Против первого впечатления должна действовать критика, и только тогда, когда, с помощью ее, впечатления получат образ, выйдут сколько-нибудь из первого хаоса и станут

определительны и ясны, тогда только я могу действовать против них. Верь, что я употребляю все силы производить успешно свою работу, что вне ее я не живу и что давно умер для других наслаждений. Но, вследствие устройства головы моей, я могу работать вследствие только глубоких обдумываний и соображений, и никакая сила не может заставить меня произвести, а тем более выдать, вещь, которой незрелость и слабость я уже вижу сам; я могу умереть с голода, но не выдам безрассудного, необдуманного творения. Не осуждай меня! Есть вещи, которые нельзя изъяснить. Есть голос, повелевающий нам, пред которым ничтожен наш жалкий рассудок, есть много того, что может только почувствоваться глубиною души, в минуту слез и молитв, а не в минуты житейских расчетов!

Но довольно. Теперь я приступаю к тому, о чем давно хотел поговорить и для чего как-то не имел достаточных сил. Но помолясь, приступаю теперь твердо. Это письмо прочитайте вместе: ты, Погодин и Серг. Тим. С вами ближе связана жизнь моя, вы уже оказали мне те высокие знаки святой дружбы, которые основаны не на земных отношениях и узах и от которых не раз струились слезы в глубине души моей. От вас я теперь потребую жертвы, но эту жертву вы должны принесть для меня. Возьмите от меня на три или на четыре даже года все житейские дела мои. Тысячи есть причин, внутренних и глубоких причин, почему я не могу, и не должен, и не властен думать о них. Не в силах я изъяснить вам их; они находятся в таких соприкосновениях со внутренней моей жизнью, что я не в силах стать в холодное и вполне спокойное состояние души моей, дабы изъяснить все сколько-нибудь понятным языком. Ничего не могу я вам сказать, как только то, что это слишком важное дело. Верьте словам моим, и больше ничего. Если человек в полном разуме, в зрелых летах своих, а не в поре опрометчивой юности, человек, сколько-нибудь чуждый неумеренностей и излишеств, омрачающих очи, говорит, не будучи в силах объяснить бессильным словом, говорит только из глубины растроганной глубоко души, — верьте мне, тогда нужно поверить словам такого человека. Не стану вам говорить,

что благодарность моя будет за это вам бесконечна, как бесконечна к нам любовь Христа, спасителя нашего. Прежде всего я должен быть обеспечен на три года. Распорядитесь, как найдете лучше, со вторым изданием и с другими, если только последуют; но распорядитесь так, чтоб я получал по шести тысяч в продолжение трех лет всякий год. Это самая строгая смета. Я бы мог издерживать и меньше, если бы оставался на месте; но путешествие и перемены мест мне так же необходимы, как насущный хлеб. Голова моя так странно устроена, что иногда мне вдруг нужно пронестись несколько сот верст и пролететь расстояние, для того чтоб менять одно впечатление другим, уяснить духовный взор и быть в силах обхватить и обратить в одно то, что мне нужно. Я уже не говорю, что из каждого угла Европы взор мой видит новые стороны России и что в полный обхват ее обнять я могу только, может быть, тогда, когда огляну всю Европу. Поездка в Англию будет слишком необходима мне, хотя внутренно я не лежу к тому и хотя не знаю еще, будут ли на то какие средства. Издание и пересылку денег ты, как человек точный более других, должен принять на себя. Высылку денег разделить на два срока: первый — к 1 октябрю и другой — к 1 апрелю в место, куда я напишу, по три тысячи; если же почему-либо неудобно, то на три срока, по две тысячи. Но, ради бога, чтобы сроки были аккуратны. В чужой земле иногда слишком приходится трудно. Теперь, например, я приехал в Рим в уверенности, что уже найду здесь деньги, назначенные мною к 1 октября, и вместо того вот уже шестой месяц я живу без копейки, не получая ниоткуда. В первый месяц мы даже победствовали вместе с Языковым; но, слава богу, ему прислали, сверх ожиданья, больше, и я мог у него занять две тысячи с лишком. Теперь мне следует ему уже и выплатить. Ниоткуда не шлют мне, из Петербурга я не получил ни одного из тех подарков, которые я получал прежде, когда был там Жуковский. Вот уже четвертый месяц, как я не получаю даже ни письма, ни известия и не знаю, что делается с печатанием. Подобные обстоятельства бывают иногда для меня роковыми: не житейским бедствием своим и нищетой стесненной нужды, но состоя-

нием душевным. Это бывает роковым, когда случается в то время, когда мне нужно вдруг сняться и сдвинуться с места и когда я услышал к тому душевную потребность; состояние мое бывает тогда глубоко тяжело и оканчивается иногда тяжелой болезнью. Два раза уже в моей жизни мне приходилось слишком трудно... Не знаю, дадите ли вы веру словам моим; но слова мои душевная правда. И много у меня пропало чрез то времени, за которое не знаю чего бы не заплатил; я так же расчетлив на него, как расчетлив на ту копейку, которую прошу себе (у меня уже давно все мое состояние — самый крохотный чемодан и четыре пары белья). Итак, обдумайте и посудите об этом. Если не станет для этого денег за выручку моих сочинений, придумайте другие средства. Рассудите сами: я думаю, я уже сделал настолько, чтобы дали мне возможность окончить труд мой, не заставляя меня бегать по сторонам, подыматься на аферы, чтобы таким образом приводить себя в возможность заниматься делом, тогда как мне всякая минута дорога и тогда как я вижу надобность, необходимость скорейшего окончания труда моего. Если ж средств не отыщется других, тогда прямо просите для меня; в каком бы то ни было виде были мне даны, я их благодарно приму, и, может быть, всякая копейка, брошенная мне, помолится о спасении души тех, которые бросили мне эту копейку. Но если эта копейка будет брошена вследствие отказа в чем-либо нужном себе, тогда не берите этой копейки; я не должен никому стоить лишения и теперь еще не имею права. Относительно другой части дел моих, насчет матери моей и сестер, я буду писать к Сергею Тимофеевичу и Погодину и изложу им, каким образом по имению поступить наилучше, если потребуется надобность такая. Я, сделав все, что мог, отдал им свою половину имения, сто душ, и отдал, будучи сам нищим и не получая достаточно для своего собственного пропитания. Наконец, я одевал и платил за сестер, и это делал не от доходов и излишеств, а занимая и наделав долгов, которые должен уплачивать. Погодин меня часто упрекал, что я сделал мало для семьи и матери. Но откуда же и чем я мог сделать больше, мне не указал никто на это средств. Я даже

полагаю, что в делах моей матери гораздо важнее и полезнее будет умный совет, чем другая помощь. Имение хорошо, двести душ, но, конечно, маменька, не будучи хозяйкой, не в силах хорошо управиться; но в помощах такого рода должно прибегать к радикальным средствам, и об этом я буду писать к Сергею Тимофеевичу и Погодину, надеясь на прекрасные души их и на нежное участие их. И дай бог, чтоб я в силах был написать только; но мне кажется, что они лучше могут почувствовать мое положение, если только вникнут глубоко в мое положение. Боже! как часто недостает ни слов, ни выражений мне тогда, как толпится в душе много того, что б хотела выразить и сказать моя душа, и как ужасно тяжело бывает мне писать письмо... Есть миллионы причин, почему я не могу войти в дела житейские и относящиеся ко мне. Еще раз я должен сказать это: отнимите от меня на три, на четыре года все это.

Если Погодин и Сергей Тимофеевич найдут необходимость точно помочь иногда денежным образом моей матери, тогда, разумеется, взять из моих денег, вырученных за продажу, если только они окажутся; но нужно помнить тоже слишком хорошо мое положение, взвесить то и другое, как повелит благоразумие. Они на своей земле, в своем имении и, слава богу, ни в каком случае не могут быть без куска хлеба. Я в чужой земле и прошу только насущного пропитания, чтоб не умереть мне в продолжение каких-нибудь трех, четырех лет. Но да внушит вам бог и вразумит вас! Вы всячески сделаете умнее и лучше меня. Напиши мне, могу ли я надеяться получить в самом коротком времени, то есть накопилось ли в кассе для меня денег? Мне нужны по крайней мере три тысячи пятьсот; две тысячи с лишком я должен отдать Языкову, да тысячу с лишком мне нужно вперед для прожитья и поднятья из Рима.

Что касается до моего приезда в Москву, то ты видишь, что мне для этого необходимости не настоит, и, взглянувши глубоким оком на все, ты увидишь даже, что я не должен этого делать прежде окончания труда моего. Это, может быть, даже слишком тягостная мысль для сердца, потому что, сказать правду, для меня давно уже мертво все, что окружает меня здесь, и глаза мои

всего чаще смотрят только в Россию, и нет меры любви моей к ней, как нет меры любви моей к вам, которой я не в силах и не могу рассказать. Прощайте, пишите мне хоть по одной строчке, хоть по самой незначительной строчке. Письма ваши очень важны для меня, и они будут после еще важнее и значительней, когда я останусь один и потребую пустыней и удалений от всего для глубокого воспитанья, душевного воспитанья, которое совершается внутри меня святой чудесной волею небесного отца нашего. Прощай, я буду к тебе писать, может быть, скоро, вследствие другой уже моей потребности душевной. Целую и обнимаю тысячи раз... На это письмо дай немедленный ответ, чтобы я знал, что ты получил его. И если набрались деньги, то высылай их немедленно на имя Валентини, Piazza Apostoli, palazzo Valentini, потому что в апреле месяце мы думаем подняться из Рима.

Твой *Гоголь*».

Прочитав теперь внимательно, конечно не в первый раз, эти оба замечательные, задушевные письма, я должен признаться, что тогда они не были поняты и почувствованы нами, как того заслуживают. Я принял их к сердцу более моих товарищей. Погодин мутил нас обоих своим ропотом, осуждением и негодованием. Он был ужасно раздражен против Гоголя. Впоследствии докажет это его письмо к нему и ответ Гоголя. Шевырев хотя соглашался со многими обвинениями Погодина, но, по искренней и полной преданности своей к Гоголю, от всего сердца был готов исполнять его желания. Дело в самом деле было затруднительно: все трое мы были люди весьма небогатые и своих денег давать не могли. Сумма, вырученная за продажу первого издания «Мертвых душ», должна была уйти на заплату долгов Гоголя в Петербурге. Выручка денег за полное собрание сочинений Гоголя, печатаемых в Петербурге Прокоповичем (за что мы все на Гоголя сердились), казалась весьма отдаленною и даже сомнительною: ибо надобно было предварительно выплатить типографские расходы, простиравшиеся до семнадцати тысяч и более рублей ассигнациями. Цена непомерная, несмотря на то, что печаталось около пяти тысяч экземпляров. Мы рассчитывали,

что в Москве понадобилось бы на все издание не более одиннадцати тысяч.

Если мои записки войдут когда-нибудь, как материал, в полную биографию Гоголя, то, конечно, читатели будут изумлены, что приведенные мною сейчас два письма, написанные словами, вырванными из глубины души, написанные Гоголем к лучшим друзьям его, ценившим так высоко его талант, были приняты ими с ропотом и осуждением, тогда как мы должны были за счастье считать, что судьба избрала нас к завидной участи: успокоить дух великого писателя, нашего друга, помочь ему кончить свое высокое творение, в несомненное, первоклассное достоинство которого и пользу общественную мы веровали благоговейно. Я сам теперь удивляюсь этому. Все, что можно сказать в объяснение такой странности, заключается в одном слове: не было полной доверенности к Гоголю. Скрытность его характера, неожиданный отъезд из Москвы, без предварительного совета с нами, печатанье своих сочинений в Петербурге, поручение такого важного дела человеку совершенно неопытному, тогда как Шевырев соединял в себе все условия, нужные для издателя, не говоря уже о горячей и преданной дружбе; наконец, свидание Гоголя в Петербурге с людьми нам противными, о которых он думал одинаково с нами (как-то с Белинским, Полевым и Краевским), все это вместе поселило некоторое недоверие даже в Шевыреве и во мне; Погодин же видел во всем этом только доказательство своему убеждению, что Гоголь человек неискренний, что ему верить нельзя. Мы с Шевыревым не принимали такого убеждения, особенно я. Я объяснял поступки Гоголя странностью, капризностью его художнической натуры; а чего не мог объяснить, о том старался забыть, не толкуя в дурную сторону.

Первым моим делом было послать деньги Гоголю; на ту пору у меня случились наличные деньги, и я мог отделить из них тысячу пятьсот рублей. Такую же сумму думал я занять у Д. ‹Свербеева›. Я отправился к нему немедленно, рассказал все дело и — получил отказ. Благосостояние его и значительный капитал, лежавший в ломбарде, были мне хорошо известны. Я сделал ему горький упрек; но он, не обижаясь им, твердил одно:

«Я принял за правило не давать денег взаймы, а дарить такие суммы я не могу». Я отвечал ему довольно жестко и хотел уйти, но жена его прислала просить меня, чтоб я к ней зашел. Я исполнил ее желание, и хотя не был с ней очень близок, но в досаде на ее супруга я рассказал ей, для чего я просил у него взаймы денег и по какой причине получил отказ. Она вспыхнула от негодования и вся покраснела. Она быстро встала с своего дивана, на котором полулежала в грациозной позе, и, сказав: «Я вам даю охотно эти деньги», вышла в другую комнату и через минуту принесла мне тысячу пятьсот рублей. Я признаюсь в моей вине: не ожидал от нее такого поступка; поблагодарил ее с волнением и горячностью. Между тем явился муж, и я беспощадно подразнил и пристыдил его поступком жены. Он был очень смешон: пыхтел, отдувался и мог только сказать: «Это ее деньги, она может ими располагать, но других от меня не получит». Очень довольный, что скоро нашел деньги, я сейчас отправил их в Рим через Шевырева и написал письмо к Гоголю. Через полгода он хотел выслать остальные три тысячи рублей. Не знаю хорошенько, были ли эти деньги высланы к Гоголю, ибо денежные его обстоятельства вскоре переменились. Во-первых, потому, что вследствие представления графа Уварова государь приказал производить Гоголю по три тысячи рублей в продолжение трех лет, и во-вторых, потому, что продажа полных сочинений Гоголя, несмотря на чрезвычайные расходы и контрфакцию, доставила значительную сумму денег: их доставало и на добавок к содержанию Гоголя, и на уплату его долгов, и даже на добрые тайные дела [1]. Впрочем, я хорошо не знаю денежных дел Гоголя; всем этим заведовал с неусыпным старанием Шевырев.

Следующее письмо Гоголя к Ольге Семеновне, вероятно, писано в апреле 1843 года, потому что писано в ответ на поздравление Гоголя со днем его рождения, 19 марта.

---

[1] Вслед за моими деньгами Гоголь получил тысячу рублей серебром от Прокоповича в счет будущих доходов за продажу сочинений.

«Благодарю вас, Ольга Семеновна, за поздравление с днем рождения моего. Посылаю вам душевный поклон мой. Вы говорите, что для вас необходимо письмо мое, которое бы в минуту грусти и тревожного состояния души вознесло дух ваш превыше всего окружающего. Но какое письмо в силах это сделать? Глядите просто на мир: он весь полон божиих благодатей, в каждом событии сокрыты для нас благодати; неистощимыми благодатями кипят все несчастия, нам ниспосылаемые: и день, и час, и минута нашей жизни ознаменованы благодатями бесконечной любви. Чего ж вам более для возвышения духа? Будьте просто светлы душой, не мудрствуя. И если это вам покажется трудно и невозможно подчас, — все равно, старайтесь только стремиться к светлости душевной — и она придет к вам. Стремясь к светлости, вы стремитесь к богу, а бог помогает к себе стремиться. Старайтесь просто, безо всякого напряжения душевного быть светлу, как светло дитя в день светлого воскресения, и вы много, много выиграете и незаметно вознесетесь выше всего окружающего. Если же вы все-таки убеждены в той мысли, что вам нужно письмо мое, то напишите Лизе, чтобы она прислала вам копию с того длинного письма, которое я посылаю к ним в одно время с вашим. Ей нечего секретничать с вами, и она должна прислать добросовестную копию, не выпуская ни одного слова. Хотя в письме этом заключаются обстоятельства, собственно к ним относящиеся, но я молился в то время, когда писал его, и просил бога, чтобы для всякого, кому бы ни случилось читать его, было оно благодетельно: а потому, может быть, вы отыщете в нем что-нибудь собственно для себя. Вы пишете, что не смущают вас никакие толки и речи обо мне и что вы верите душе моей. Конечно, последнее благоразумно. Благоразумнее верить тому, что происходит из души, чем тому, что происходит невесть из какого угла и баламутицы. Веря в душу человека, вы верите в главное, а веря в пустяки, вы все-таки верите в пустяки и никогда не узнаете человека. Прощайте! Помните все это и будьте светлы душой. Душевно обнимаю вас и все ваше семейство.

Передайте два при сем следующие письма по принадлежности».

При хладнокровном взгляде на письма Гоголя можно теперь видеть, что большое письмо его о путешествии в Иерусалим, а равно вышеприведенное письмецо к Ольге Семеновне содержат в себе семена и даже всходы того направления, которое впоследствии выросло до неправильных и огромных размеров. Письмо к сестре, о котором упоминает Гоголь, осталось нам неизвестным. Но письма к другой сестре его, Анне Васильевне, написанные, без сомнения, в том же духе, находятся теперь у Кулиша, и мы их читали.

Вот письмецо без числа, но помеченное, что получено мною от Гоголя 22 апреля 1843 года.

«Я получил письмо от маменьки. Дела ее устроились; на этот год по крайней мере она обеспечена. В письме (которое вы, без сомнения, уже получили от меня чрез Хомякова) я забыл спросить вас, получили ли вы письмо, в котором я просил вас о постановке «Ревизора». В нем было вложено письмецо к Ольге Семеновне и Конст. Сергеевичу. Получили<ли>они эти письма и отчего никто из них не отвечал ниже́ двумя строчками? Что касается до Щепкина, то его просто следует выбранить. Я писал два письма к нему. Я не сержусь на него, если уж у него такой обычай, чтобы не отвечать на письма. Но он должен по крайней мере сказать вам, чтобы вы уведомили меня, что письма точно получены, чтобы я не думал по крайней мере, что пропадают они. Подумайте сами, что не могло прийти в мою голову, когда во время самое трудное для меня и такое время, когда я ожидал более всего писем отсюду, решительно отсюду, и в это время все будто сговорились и бросили меня на три месяца самого тягостного состояния. Не забывайте меня, бесценный друг. Вы уже знаете из письма, которое получили от Хомякова, как нужно писать ко мне. Да хранит вас бог всех в ненарушимой светлости души и здоровье. Адресуйте в Гастейн (в Тироле) Poste restante».

Я не помню, чтоб когда-нибудь получил письмо от Гоголя через Хомякова, и вообще я удивляюсь и не знаю, какая могла быть причина, что мы так долго не

писали к Гоголю? Надобно предположить, что письма как-нибудь задерживались на почте или вовсе не доходили.

Следующее небольшое письмецо Гоголя я решительно не знаю, к какому времени отнести.

«Мая 5.

На выезде из Рима пишу к вам несколько слов, почтеннейший друг мой Сергей Тимофеевич. Еду я для того, чтобы ехать. Езда, как вы знаете, мое всегдашнее средство; а потому и теперь, как я ни хил и болезнен, но надеюсь на дорогу и на бога, и прошу у него быть в дороге, как дома, то есть, как у него самого в покойные минуты души, дабы быть в силах и возможности что-нибудь произвести. О том прошу молиться вас и прошу вас также попросить обо мне всех, которые обо мне молились прежде, потому что их молитвами я был доселе чудно сохраняем и среди тягости болезненных состояний зрел и укреплялся душой.

Напишите домой к маменьке моей запрос, получила ли она два моих письма, писанные после того, которое было приложено при вашем. Последнее, от 1 мая здешнего штиля, весьма нужное; об этом пусть немедленно вас уведомит она или сестра, а вы сообщите мне.

Обнимаю вас всех.

Ваш *Н. Г.*»

Это сомнительное письмецо написано так сбивчиво и таким дурным почерком, что должно предполагать, что Гоголь был болен или сильно расстроен нервами. Вероятно, его надо отнести к другому периоду.

Вот, наконец, письмо с уведомлением о получении денег, писанное, без сомнения, в мае месяце 1843 года.

«Ваше письмо и деньги, бесценный друг мой, я получил исправно и скоро, и медлил ответом, выжидая писем от Шевырева и Погодина. Наконец, спустя две недели после вашего письма, получил я письмо от Шевырева от имени вас всех. В нем видна прекрасная душа писавшего, хотя заключается, впрочем, и журьба и что-то

вроде не совсем отчетливого нагоняя, который, может быть, и справедлив со стороны вашей или, лучше — со стороны Погодина, от которого, я думаю, проистек он. Но все же таки следует подумать и то: «Однакож мне неизвестна еще его сторона, и странно бы мне по моей натуре судить о натуре другого, когда эта натура так несходна с моею». Но оставим все это. Смерть не люблю изъяснений. Все это неразумная трата слов и больше ничего. Лицо я гласное, стало быть, и все, что бы я ни сделал, будет гласно всем. Дурное, если есть у меня, то уж его никак не спрячешь: *шила в мешке не утаишь;* оно где-нибудь да выткнется непременно. Оправдываться значит не доверять времени, которое уяснит все.

Вслед за вашими деньгами я получил еще от Прокоповича тысячу; стало быть, за первый год мне следует получить одну тысячу. Обо всем этом я уведомил уже Шевырева. Прокоповичу я написал выслать немедленно тысячу экземпляров и в продаже находящихся у него давать отчет в Москву всякий раз за два месяца до срочной высылки мне денег, дабы видеть по накопившейся сумме, откуда произвести мне высылку: из Петербурга или из Москвы? Прокопович находится вместе с экземплярами в полном распоряжении вашем, так что если бы потребовалось и все экземпляры выслать, то он их вышлет; но в этом я не вижу надобности: после вновь их нужно присылать в Петербург для тамошних книгопродавцев. К тому же экземпляры безопасны, если они только все находятся в руках Прокоповича, а не типографии, о проделках которой я узнал только теперь из письма Прокоповича. Он скрывал от меня, не желая меня ничем возмутить и думая расплатиться банковыми билетами покойного своего брата, выдачею которых водили его несколько месяцев в присутственных местах. Но довольно толковать. Дела мои, как видите, все теперь в ваших руках. Обратимся собственно к нам самим.

Я заехал на несколько дней в Гастейн отдохнуть от дороги и отправляюсь в Дюссельдорф, где проведу часть зимы, а остальную в Голландии; а потому письма адресуйте все в Дюссельдорф. Хорошо бы было, если бы вы прислали что-нибудь из тех книг, которых я просил. Из

Москвы, вероятно, отправляются немало этот год за границу; а так как всякий положил себе за правило побывать на Рейне, то ему не много труда будет стоить завезти посылку в Дюссельдорф и отдать ее Жуковскому.

На Константина Сергеевича я решительно теперь сердит: он мне не пишет ни строчки. Но вот лучше к нему самому записка. А вас обнимаю всею душою вместе с милым семейством вашим и жду от вас летних известий о покупке дачи и о прочем».

Записка Константину Сергеевичу:

«Что ж вы, Константин Сергеевич, мне ни слова? Я нахожусь в совершенном неведении теперь обо всех делах, которые делаются на свете. Не знаю, что делает Москва, ни о чем говорит она, ни что думает, ни о чем спорит, словом — не знаю вовсе, о чем идет теперь дело. Если вы несколько смутились письмом моим, которое когда-то было писано вам, то это письмо писано не в строку текущих дел; это письмо писано так, мимо; на него ответ вы мне дадите года через четыре, а известия текущие должны идти своим чередом; а потому вы уведомите меня обо всем, что делали и что слышали с самого того дня, как перестали ко мне писать. И что Николай Филиппович, и что Каролина Карловна, и что Ховрина, и что Самарин, и какие эффекты производите вы чтением, и что говорят вообще о чтениях Мих. Семеновича [1]. Все это, вы знаете, мне интересно. Простите, что я вас не благодарил до сих пор за присылку ваших статей о «Мертвых душах». И та и другая имеют свои достоинства (писанная, как мне кажется, должна принадлежать Самарину), но в печатной, не прогневайтесь — видно много непростительной юности, и написанная кажется перед нею написанною стариком, хотя в ней и нет тех двух-трех истинно поэтических мыслей, как в вашей.

Прощайте; обнимаю вас».

---

[1] Щепкин и, кажется, Садовский давали публичные чтения сочинений Гоголя. Разумеется, успех был, но не такой, какого можно было ожидать.

В приписке к Константину, вероятно, Гоголь говорит о прежнем своем письме. Впрочем, может быть, было и другое, как-нибудь затерянное, содержание которого я забыл. Вместе с печатной брошюркой Константина была послана рукописная статья Самарина, вполне заслуживающая отзыв Гоголя.

Вот ответ Гоголя на письмо Ольги Семеновны от 22 апреля.

«20 июня <1843>. Дюссельдорф.

Я получил от вас, Ольга Семеновна, письмо, присланное мне из Рима (от 22 апреля старого стиля), на которое нахожу приличным сей же час отвечать. Вы неправы в том, что упрекаете себя за то, что предложили маменьке взять деньги, вырученные за продажу «Мертвых душ», и разрушили, как вы говорите, деликатные семейственные отношения. Во-первых, вы не могли знать этих отношений. Во-вторых, в самом поступке вашем ничего нет неблагоразумного и никакого худого намерения. А все то, в чем нет дурного намерения и что вместе с тем не противно здравому рассудку, данному нам богом, не есть уже грех. Если же оно предпринято еще к тому с добрым намерением и желанием истинного добра, то уже оно никогда не может послужить худому. Бог направит его всегда к хорошему, хоть вовсе другим путем, чем мы думаем. В-третьих, в отношении меня вам вовсе не следует руководствоваться ни в каком случае осторожностью оскорбить какие-либо тонкие отношения. Со мной нужно все спроста; и к тому же все случаи жизни обращаются мне в пользу. Так по крайней мере было доселе, и так, я верю, будет вперед.

Письмо ваше заставило маменьку написать ко мне два такие письма, которые заставили меня строго подумать о другой важнейшей помощи, которой они все вправе ожидать от меня, и я написал, наконец, то письмо, которое бы мне давно следовало написать, но которого бы я не сумел никогда написать, не получивши прежде этих двух писем. Правда, обдумыванье его у меня отняло много времени, и я ничем не в силах был заняться до тех пор, пока не написал его. Но я исполнил свой долг и покоен в душе. И теперь вас благодарю за

то, за что вы себя упрекаете. А лучше все поблагодарим бога за все, что ни посылается нам. Ибо все, что ни посылается нам, посылается на вразумление и уяснение очей наших. Прощайте!»

Письмо это объясняется само собою; но сначала Гоголь сам был недоволен, и потому Ольга Семеновна писала к нему письмо, в котором обвиняла себя за то, что вмешалась не в свое дело. Что же касается до письма, писанного Гоголем к матери или вообще к своему семейству, то я его не знаю. Без сомнения, оно было нравственно-поучительного содержания. Очевидно, что мысль наставлять, поучать других уже существовала в голове Гоголя.

<Далее следует письмо из Бадена от 24 июля 1843 года>.

«Благодарю вас за книги, которые получил от кн. Мещерского в исправности. Вообще все посылки доходят до меня исправно: русские встречаются между собой поминутно и имеют всегда возможности препроводить и передать туда, где я. Мне жаль, что вы не дали знать Шевыреву: он бы тоже прислал мне свою речь об воспитании и взгляд на русскую словесность за прошлый год. Может быть, даже накопились и кое-какие критики и разборы моих сочинений. Всего этого мне бы очень хотелось.

Какая, между прочим, я скотина: я написал к вам об одном пункте письма, писанного Шевыревым от вас всех. Еще недавно я прочел его вновь. Письмо это так прекрасно и такой исполнено дружбы, что я удивлялся не один раз, как гадок человек: ему достаточно увидеть одно пятнышко какое-нибудь, и уж он только и видит пред собою это пятнышко, все прочее ему нипочем. Мне просто показалось, будто до сих пор еще не верят душевному моему слову. Я вспомнил одно обстоятельство Погодина относительно меня, которое просто произошло от простоты его, а не от чего другого, и в это время скользнула мне в письме одна фраза, показавшаяся намеком на то же. Но в сторону об этом. Оно послужит пусть уроком, что ни в каком случае не следует предаваться первому впечатлению, особенно если оно сколько-

нибудь неспокойно и если примешалась какая-нибудь оскорбленная мелкая страстишка. Слухи, которые дошли до вас о «Мертвых душах», все ложь и пустяки. Никому я не читал ничего из них в Риме, и, верно, нет такого человека, который бы сказал, что я читал что-либо вам неизвестное. Прежде всего я бы прочел Жуковскому, если бы что-нибудь было готового. Но, увы, ничего почти не сделано мною во всю зиму, выключая немногих умственных материалов, забранных в голову. Дела, о которых я писал к вам и которые просил вас взять на себя, слишком у меня отняли времени; ибо я все-таки не мог вполне отвязаться и должен был многое обработать оставшееся на мне, от которого иначе я не мог никак избавиться. Вы уже сами могли чувствовать по той просьбе, по отчаянному выражению той просьбы, какою наполнено было письмо мое к вам, как много значило для меня в те минуты попечение о многом житейском. Но так было, верно, нужно, чтоб время было употреблено на другое. Может быть, и болезненное мое расположение во всю зиму и мерзейшее время, которое стояло в Риме во все время моего пребывания там, нарочно отдаляло от меня труд для того, чтоб я взглянул на дело свое с дальнего расстояния и почти чужими глазами.

Но прощайте. Будьте здоровы. Пишите попрежнему в Дюссельдорф, Poste restante. Я только на одну неделю в Бадене. Жуковский тоже не в Дюссельдорфе, а в Емсе на водах. Уведомьте, купили ли дачу? Мне кажется, что вам поездка в Оренбургскую губернию пригодилась бы лучше всего».

Как много говорит это письмо в пользу Гоголя! Из предыдущего письма ко мне точно можно было заметить, что Гоголь был не совсем доволен письмом Шевырева, писавшего от себя и от Погодина вместе. Но он выразился так скромно, так кротко, как нельзя более; и со всем тем он раскаялся и в этих немногих словах и в чувстве негодования против Погодина. Вероятно, в письме к Шевыреву Гоголь обвинял себя еще более и выражал еще нежнее чувство своей благодарной дружбы. Решительно не знаю, какие житейские дела могли отнимать

у Гоголя время и могли мешать ему писать?[1] Мне кажется, эта помеха была в его воображении. Я думаю, что Гоголю начинало мешать его религиозное направление. Впрочем, это слово не выражает дело; это собственно не религиозное, а нравственно-наставительное, так сказать, направление. Гоголь, погруженный беспрестанно в нравственные размышления, начинал думать, что он может и должен поучать других и что поучения его будут полезнее его юмористических сочинений. Во всех его письмах тогдашнего времени, к кому бы они ни были писаны, уже начинал звучать этот противный мне тон наставника. В это время сошелся он с графом А. П. Толстым, и я считаю это знакомство решительно гибельным для Гоголя. Не менее вредны были ему дружеские связи с жещинами, большею частью высшего круга. Они сейчас сделали из него нечто вроде духовника своего, вскружили ему голову восторженными похвалами и уверениями, что его письма и советы или поддерживают, или возвращают их на путь добоодетели. Некоторых я даже не знаю и назову только Виельгорскую, Соллогуб и Смирнову. Первых двух, конечно, не должно смешивать с последней, но высокость нравственного их достоинства, может быть, была для Гоголя еще вреднее, ибо он должен был скорее им поверить, чем другим. Я не знаю, как сильна была его привязанность к Соллогуб и Виельгорской; но Смирнову он любил с увлечением, может быть потому, что видел в ней кающуюся Магдалину и считал себя спасителем ее души. По моему же простому человеческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашеский образ жизни, сам того не ведая, был несколько неравнодушен к Смирновой, блестящий ум которой и живость были тогда еще очаровательны. Она сама сказала ему один раз: «Послушайте, вы влюблены в меня...» Гоголь осердился, убежал и три дня не ходил к ней. Все это наделала продолжительная заграничная жизнь вне отечества, вне круга приятелей и литераторов, людей свободного образа мыслей, чуждых

---

[1] Книжными делами заведовали Прокопович и Шевырев; в деньгах он был обеспечен, из дома его ничто не беспокоило.

ханжества, богомольства и всяких мистических суеверий. Впрочем, я считаю, что ему также была очень вредна дружба с Жуковским, которого без сомнения погубила та же заграничная жизнь. Так по крайней мере я думаю.

Вот еще коротенькое письмецо Гоголя:

«Дюссельдорф. 30 августа <1843>.

Письмо ваше и вместе с ним другие, приобщенные к нему, я получил. Книги получены также в исправности, как чрез кн. Мещерского, так и чрез Валуева. Перешлите мне, если найдете оказию, «Москвитянин» за этот год: там есть статьи, меня интересующие очень. О благодарности за все ваши ласки нечего и заикаться. Константина Сергеевича благодарю также за письмо, хотя не мешало бы ему быть и подлиннее. Если увидите Шевырева, то напомните ему о присылке мне остальной тысячи за прошлый год. Да если можно, вместе с тем и вперед, что есть. Ибо первого октября, как вы знаете, срок и время высылки. Душевно скорблю о недугах Ольги Сергеевны и мысленно помолился о ниспослании ей облегченья.

Прощайте, душевно вас обнимаю всех.

Адрес попрежнему в Дюссельдорф».

Более писем Гоголя к нам в этом году не нашлось. В это время Погодин, бывший жестоко раздражен против Гоголя и не писавший к нему ни строчки, вдруг прислал мне для пересылки маленькое письмецо, которое я вместе с своим и отослал к Гоголю. Я считаю себя вправе поместить его в моих записках, потому что оно было возвращено мне Гоголем вместе с его ответом Погодину.

«Москва. 1843 г. сент. 12.

Наконец, нашел я в себе силу увидеть тебя, заговорить с тобою, написать к тебе письмо. Раны сердца моего зажили или по крайней мере затянулись... Ну что, каков ты? где ты? что ты? куда? Я чувствую себя теперь довольно хорошо, пил опять марьенбадскую воду,

а теперь на простой. Но зима была тяжелая: часто показывалась кровь из горла, и голова беспрестанно тяжела.

Не случилось ли чего особенного в душе у тебя около 3/15 сентября? Ты знаешь, что я немножко по Глинкиной части и верю миру невидимому с его силами. Около 3-го числа я как будто примирился с тобою; а до тех пор я не мог подумать о тебе без треволнения! Когда ты затворил дверь, я перекрестился и вздохнул свободно, как будто гора свалилась у меня тогда с плеч; все, что узнавал я после — прибавило мне еще больше муки, и ты являлся, кроме святых и высоких минут своих, отвратительным существом...

Посетив мать твою в прошлом году, я почувствовал, что в глубине сердца моего таилась еще искра любви к тебе, но она лежала слишком глубоко. Наконец, я стал позабывать тебя, успокоивался... и теперь все как рукой снято. Ну, слава богу! Я готов опять и ругать и любить тебя.

Твой *Погодин*».

Прилагаю письмо Погодина ко мне, из которого видно, что я противился помещению в «Москвитянине» добавочных сцен к «Ревизору». Это письмо вполне объясняет образ действий Погодина с Гоголем:

«Вы не советуете! Т. е. Гоголь рассердится!! Да помилуйте, Сергей Тимофеевич, что я в самом деле за козел искупления? Неужели можно предполагать, что он скажет: пришли и присылай, бегай и делай, и не смей подумать об одном шаге для себя. Да если б я изрезал в куски «Ревизора» и рассовал его по углам своего журнала, то и тогда Гоголь не должен бы был сердиться на меня; тем более, что «Ревизор» есть уже произведение аккредитованное, а не новое, которому ни вредить, ни помогать нельзя. А я, наоборот. думаю сделать подспорье своему же (т. е. «Ревизора») изданию: вот-де какие большие исправления и вставки. Впрочем, повторяю, я думаю так. Сыщите средство лучше. Я оставлю свое, вам прекословить не буду и буду содействовать. Дело в

том, что надо посылать ему деньги. Если средства вы не находите, то согласитесь на мое, но прямо, ясно, или скажите мне, что находите в нем несогласного с пользою автора? Я готов оставить его; но тогда вопрос: что же нам делать? Посылать деньги? Откуда? Печатать? На какие деньги? И дожидаться год, а он без гроша. Теперь я рассчитываю войти в сделку через месяц, как хозяин, с книгопродавцами, или и прежде, и выручить деньги, следовательно могу перехватить на месяц. Напечатать я готов, пожалуй, для него и продавать от него; но в таком случае посылать теперь нечего, а ему нужно. Избегая всего этого, я предлагаю самое верное средство и жду вашего разрешения».

Это письмо требует объяснения. Дело состояло в том, что Гоголь прислал «Ревизора» для напечатания вторым изданием или для продажи его книгопродавцу. Мне тогда было не до того, и я передал все Погодину. Он решился сам купить второе издание за тысячу пятьсот рублей ассигнациями и уведомил об этом Гоголя, но особые, добавочные сцены «Ревизора» вздумал напечатать особо в своем журнале. Я узнал об его намерении и писал, что не советую этого делать. Прилагаемое письмо Погодина — ответ на мою записку. Я согласился на предложение Погодина, потому что точно денег негде было взять для печатания и что выручка от распродажи должна была затянуться. Тогда-то и послали мы (о чем уже было сказано) шесть тысяч рублей на первый год, как просил Гоголь. Слова же Погодина, что *если б он изрезал в куски «Ревизора» и рассовал его по углам своего журнала, то Гоголь не имел бы права сердиться,* ясно показывают натуру Погодина, который, ссудив деньгами Гоголя, считал себя вправе поступать с его великим творением по собственному произволу.

Возвращая Аксакову письмо Погодина, Гоголь приложил следующий ответ последнему:

«Между нами произошло непостижимое событие: ту же тяжесть, какую ты чувствовал от моего присутствия, я чувствовал от твоего. Как из многолетнего мрачного

заключения, вырвался я из домика на Девичьем поле. Ты был мне страшен. Мне казалось, что в тебя поселился дух тьмы, отрицания, смущения, сомнения, боязни. Самый вид твой, озабоченный и мрачный, наводил уныние на мою душу; я избегал по целым неделям встречи с тобой. Когда я видел, как с помощью какой-то непостижимой силы закрутился между нами вдруг какой-то посторонний вихрь, в каком грубом, буквальном смысле принимался всякий мой поступок, какое топорное значение давалось всякому моему слову — почти ужас овладевал моей душой. Я уверен, что я тебе казался тоже одержимым нечистою силою: ибо то, что ты приписывал мне в уединенные минуты размышлений (чего, может быть, не сказывал никому), то можно приписать только одному подлейшему лицемеру, если не самому дьяволу. Надобно тебе сказать, что все это слышала душа моя. Несколько раз хотел я говорить с тобой, чувствуя, что все дело можно объяснить такими простыми словами, что будет понятно ребенку. Но едва я начинал говорить, как эти объяснения вдруг удерживались целою кучею приходивших других объяснений, объяснений душевных; но и им мешало излиться находившее вдруг негодование при одной мысли, против каких подлых подозрений я должен оправдываться и пред кем я должен оправдываться? Пред тем человеком, который должен был поверить одному моему слову. Но и негодование сменялось в ту же минуту презреньем к твоему характеру, который называл я внутренно бабьим, куриным, и, сказавши несколько бессвязных слов, которые ты все относил к моей необыкновенной гордости, я бежал от тебя. А убежавши, утешал себя злобным выражением: «Пусть его путается! Душевному слову не поверил, пусть же поверяет умом своим!» Все это быстро сменялось одно за другим в душе моей, и когда я подходил к дверям своей комнаты, все это исчезало и на место него оставался один вопрос: что это такое, что значит все это? Наконец, мало-помалу я начинал прозревать в этом событии справедливое себе наказание. Надобно сказать тебе, что, воспитываясь внутренно в душе моей, я уже начинал приобретать о себе гордые мысли. Мне уже казалось, что я ничем не могу быть рассержен и выве-

ден из себя. Я старался мысленно сжиться со всеми возможными оскорблениями, несчастиями, старался их всех, так сказать, перечувствовать на своем теле и уже чувствовал, что душа моя приобретает крепость, что я могу снести то, чего не снесет иной человек. Словом, я уж чуть не почитал себя преуспевшим в мудрости человеком. И вдруг событие это дало почувствовать мне, что я еще ребенок и стою до сих пор на низших ступенях пути своего. Противу дальнейших случаев я приготовил в душе отпор, а против близких не приготовил. Все несчастия я бы, может быть, перенес, а не перенес *сомнения обо мне одного из близких*. И в душе моей проснулись те враги, которых я давно считал отступившими от меня: мерзкий, подлый и гадкий гнев, которого ничего нет подлее, который подл даже и тогда, когда вспыхнет от справедливых причин. А у меня он был и несправедлив: я рассердился на то, что ты хватил сгоряча топором там, где следовало бы употребить инструмент помельче. Наконец, я сердился на себя и за то, что не в силах был перенести этого хладнокровно. Все это, натурально, я должен был таить в душе и могу сказать только то, что от меня никто не узнал о том, что между нами происходили какие-нибудь неудовольствия. Но когда вырвался я от тебя, у меня была одна и та же мысль: написать тебе подробно всю мою исповедь. Но тут увидел, что наши жизни так различны, так много следовало выводить тебе обяснений для того, чтоб познакомить тебя и ввести в этот мир. Всякое слово требовало объяснений на целых страницах, чтоб не быть приняту в другом смысле. Почти отчаяние овладело мною; я видел, что и конца не будет моей исповеди, а между тем оставить ее я не мог, потому что мысль о ней мешала всякому занятию. Наконец, я попробовал написать тебе маленькое письмо, в котором просил просто прощения за все оскорбления, которые я нанес тебе, складывая все на мой неровный характер, припомня, что ты иногда многое, чего не мог понять во мне, объяснял им. На это письмецо не было ответа — и поделом. Оно не было удовлетворительно. Если бы оно было удовлетворительно, то по отправлении его в душе моей настало бы спокойствие; но

мысль об этом мучила меня еще целый год. Наконец, после некоторых переездов из земли в другую, я стал покойнее и почувствовал, что могу объяснить хладнокровно все дело на нескольких страницах. Но получа твое нынешнее письмо, я отложил и эту мысль. Изъяснение будет уже походить на оправдание, а оправдание есть уже что-то подлое. Оправдывая себя, уже обвиняешь другого. Теперь же ты, как видно из письма твоего, хладнокровен и готов простить все. Итак, разбери сам все это дело. Не беспокойся, раны твои не оживут при этой работе, если ты точно решился простить. Тут-то и нужно представить живей все нанесенные нам оскорбления; а без того прощение ничего не значит, оно будет просто одно слабосильное забвение. Чтобы сделать это благороднее, начни обвинением самого себя, хотя бы ты и был прав. Я тебе помогу и скажу две твои первоначальные вины, от которых произошли все те поступки, на которые ты глядел, как на самобытные начала, и выводил из них отдельные истории, тогда как они все были звена одной и той же цепи. Вот эти вины: первая — ты сказал *верю* — и усумнился на другой же день, вторая — ты дал клятву ничего не просить от меня и не требовать, но клятвы не сдержал: не только попросил и потребовал, но даже отрекся и от того, что дал мне клятву. Отсюда произошло почти все. Но не пугайся: я больше твоего виноват, и ты увидишь, что я себя не пощажу, если начну обвинять. Но если ты начнешь обвинением себя, а не меня, тогда ты увидишь и свои и мои проступки. Припомни все. Я знаю, что ты способен забывать; но, к счастью, я памятлив и уверен сильно в том, что и добро и зло следует помнить вечно. Добро нужно помнить для того, что уже одно воспоминание о нем делает нас лучшими. Зло нужно помнить для того, что с самого того дня, как оно нам причинено, на нас наложен неотразимый долг заплатить за него добром. Большие мои проступки ты не позабудешь; но все малые мои мерзости и оскорбления, которые я нанес тебе, советую записать, чтобы я не напал на тебя врасплох и чтоб тебе не отречься от многих твоих же слов. Я вновь тебе повторяю, что помню все, даже угол и место комнаты, где было произнесено какое слово твое или мое.

Когда я в силах буду глядеть на тебя, как на совершенно постороннего, чужого человека, у которого не было со мной никаких связей и сношений, и когда таким же самым образом взгляну и на себя, как на совершенно чужого мне человека, тогда я дам тебе на все изъяснение. А между тем позволю себе сделать следующее замечание. Ты никогда не всматриваешься во внутренний смысл и значение происходящих событий. Все события, особенно неожиданные и чрезвычайные, суть божьи слова к нам. Их нужно вопрошать до тех пор, пока не допросишься: что они значат, чего ими требуется от нас? Без этого никогда не сделаемся мы лучшими и совершеннее. Самое это затмение, которое произошло между нами, так странно, что его нужно помнить во всю жизнь нашу. Я уже извлек из него много для себя, советую и тебе сделать то же. Я знаю, что у тебя, за тысячью разных хлопот и забот, дергающих тебя со всех сторон, нет времени переворачивать на все стороны всякое событие и оглядывать его со всех углов. Но нужно это делать непременно хотя в те немногие минуты, когда душа слышит досуг и способна хотя несколько часов прожить жизнью, углубленною в себя. Иначе ум наш невольно привыкает к односторонности, схватывает только то, что поворотилось к нему, и потому беспрестанно ошибается. Недурно также, хотя по поводу этого события, руководствоваться какими-нибудь данными положениями относительно познания людей. Для этого есть, по моему мнению, два способа. Те, которые не получили от природы внутреннего чутья слышать людей, должны руководствоваться собственным разумом, который дан нам именно на то, чтобы отличать добро от зла. Разум велит нам судить о человеке прежде по его главным качествам, а не по частным, начинать с головы, а не с ног. Прежде следует взять самое лучшее в человеке, потом сообразить с тем все замеченное нами в нем дурное и сделать такую посылку: возможны ли, при таких-то хороших качествах, такие-то и такие мерзости? Которые возможны, те допустить, которые же сколь-нибудь противоречат возможности и спутывают нас, — те нужно гнать, как вносящие одно смущение в душу, а смущение известно откуда исходит к нам: оно исходит к нам прямо

снизу. От бога свет, а не смущение. Да притом можно иногда и то себе сказать: точно ли я увидел так, как следует, вещь? Зачем такая гордая уверенность в непреложности и безошибочности взгляда? Все же я человек, а не бог. Выгода этого способа та, что будешь по крайней мере покойнее, если даже и не узнаешь совершенно человека, а сделавшись покойнее, уже проложишь шаг к совершенному его узнанию. Если же к неспокойству нашему да подоспеет на помощь гнев, тогда и всякие зрячие глаза ослепнут. Есть другой способ узнавать людей, гораздо действительнейший первого, но для тебя, по множеству твоих забот и беспрестанному рассеянию твоих мыслей среди тысячи предметов, невозможный. Нужно прожить долгою, погруженною глубоко в себя жизнью. Там обретешь всему разрешение. Света никогда не узнаешь, толкаясь между людьми. На свет нужно всмотреться только вначале, чтобы приобресть заглавие той материи, которую следует узнавать внутри души своей. Это подтвердят тебе многие святые молчальники, которые говорят согласно, что, поживши такою жизнью, читаешь на лице всякого человека сокровенные его мысли, хотя бы он и скрывал их всячески. Несколько я испытал даже это на себе, хотя жизнь мою можно назвать разве карикатурой на такую жизнь. Но, вкусивши одну крупицу такой жизни, я уже вижу ясней; и глаз и ум мой прояснился более (доказательством тому то, что вижу в себе более, чем когда-либо прежде, мои недостатки и нахожу их скорее, чем прежде), и несколько раз мне случалось читать на твоем лице то, что ты обо мне думал. Еще есть один способ, которым я руководствуюсь, если бы оба предыдущие не все объяснили мне. Если человек, хотя бы он был последний разбойник, но если этот человек, не плакавший ни пред кем, никому не показавший никогда слез своих, заплакал предо мною и во имя этих душевных слез потребовал веры к себе, — тогда все кончено: я ни глазам своим, ни уму своему, ни чувствам своим не поверю, а поверю всем словам его, произнесенным во имя этих слез. Но почему я так поступлю, этого я не обязан говорить, да и никого не склоняю следовать этому примеру, зная, что трудно отличить душевные слезы от иных слез. Но оставим все

способы. А пока, если ты захочешь получше поверить и себя и меня, я тебе советую сделать вот что. У тебя будет одно такое время, в которое ты будешь иметь возможность прожить созерцательною и погруженною в самого себя жизнью, именно во время говенья. Продли это время, если можно, подолее обыкновенного и займись в это время чтением одних таких книг, которые относятся к душе нашей и обнаруживают ее глубокие тайны. К счастию человечества, такие книги существуют, и было много передовых людей, проживших такою жизнью, которая доныне еще загадка. Книги эти настроят тебя к углублению в себя. Да и что говорить об этом! В такое время сам бог помогает человеку много и просвещает его мысленные взоры.

Скажу еще о последних словах твоего письма. Ты говоришь, что готов снова ругать и любить меня. За первое благодарю тебя душевно, потому что в этом теперь более, нежели когда либо, слышу надобность, а на второе скажу вот что: любить мы должны всегда, и чем более в человеке дурных сторон и всяких мерзостей, тем, может быть, еще более мы должны <его> любить. Потому что, если среди множества дурных его качеств, находится хотя одно хорошее, тогда за это одно хорошее качество можно ухватиться, как за доску, и спасти всего человека от потопления. Но это можно сделать только одною любовью, любовью, очищенною от всего пристрастного. Ибо если подлое чувство гнева хотя на время взнесется над этою любовью, то такая любовь уже бессильна и ничего не сделает. Итак, не будем ничего обещать друг другу, а постараемся безмолвно исполнить все, что следует нам исполнить относительно друг друга, руководствуясь одною любовью к богу, принимая ее как наложенный на нас закон. Ответа и наград будем ожидать от бога, а не от себя, так что, если бы кто-нибудь из нас был неблагодарен, мы не должны даже и замечать этого. Бог не бывает неблагодарен! На таких положениях заключенная любовь или дружба неизменна, вечна и не подвержена колебаниям. А если мы заключим нашу дружбу вследствие каких-либо побуждений наших собственных, хотя бы очень чистых, да вздумаем начертывать друг для друга закон ее действий относи-

тельно нас или же требовать какого-либо возмездия за нашу дружбу, то узы такие будут гнилые нитки: черт завтра же посмеется над такою дружбою и напустит такого туману в глаза, что не только другого, но даже и самого себя не разберешь. Все это рассуди и взвесь хорошенько!

Письмо мое писано в минуту непричастную волнению, — стало быть, и прочесть ты его должен в минуту рассудительную и покойную. В чем я ошибаюсь, то укажи. Затем обнимаю тебя душевно.

Твой *Гоголь*».

С. Т. Аксаков вместе с Шевыревым нашли письмо Гоголя слишком оскорбительным для Погодина и решили его не передавать ему. Об этом решении Аксаков сообщал Гоголю в следующем письме:

«1843 г. Ноябрь/Декабрь.

Я получил письмецо ваше, милый друг Николай Васильевич, из Дюссельдорфа от 2 ноября с приложением письма Погодину. По поручению вашему, мы с Шевыревым прочли его один раз вместе, да предварительно каждый из нас прочел его по нескольку раз. На общем совете мы положили: «Не отдавать письма Погодину до получения от вас ответа». Причины тому следующие: 1) Погодин нездоров и особенно расстроен о чем-то духовно. 2) Нам кажется, что это письмо не успокоит его, а раздражит, следственно не достигнет цели, которую вы, без сомнения, имеете: внесть тишину и спокойствие в его душу. 3) Письмо ваше, как нам кажется, слишком жестоко его поразит в настоящее больное место; а сами вы обвиняете себя в общих выражениях, идущих к каждому человеку: такие обвинения нисколько не облегчают вины Погодина ни в его собственных глазах, ни в наших. Это тяжело. Разумеется, после письма Погодина вы имеете полное право отвечать ему таким же письмом; но здесь дело идет не о том, кто прав. Вот наше мнение; мы решились откровенно высказать его вам. Вероятно, Шевырев напишет большое письмо и полнее

изложит вам все, что мы с ним говорили. Я хотел сделать то же; но, вероятно, не сделаю, потому что весьма расстроен: больной наш сильно нас беспокоит. Вы отгадали и должны были отгадать мои отношения с Погодиным. По моей еще не остывшей горячности и живости я много раз на него сердился. К несчастию, будучи слабым христианином, я не мог путем кротости, и смирения, и любви немедленно обезоруживать свой гнев, который вы справедливо браните; но время, рассудок и доброе сердце успокоивали меня и заставляли одуматься. Известная истина, всегда мною исповедуемая, что «надобно понимать человека, каков он есть, и не требовать от натуры его (разумеется, если в ней много доброго), чего в ней нет», вступала в свои права и усмиряла волнение души моей; но скажу по совести: между нами не может быть истинной дружбы. Можно найти причину его действий, извинить, оправдать их; можно уважать, даже любить этого человека; но дружба требует непременно одинаковости верований в некоторые предметы, одинаковости мнений о человеческом достоинстве. Не желая ничего скрыть в глубине сердца, я скажу вам, что не признаю истинной дружбы и между вами. Этим объясняется все. Нет и не может быть между вами полной веры, без которой нет истинной дружбы. Притом же у вас есть в характере не то что неискренность, не то что неоткровенность (все это неточные выражения), а какое-то недоговаривание таких вещей, которые необходимо должны быть известны друзьям и о которых они нередко узнают стороною. Это ваша особенность, но ею оскорбляются, и сомнение сейчас возникает!.. Скажите, ради бога, может ли вполне понять вас человек, который, по собственным словам вашим, «живет с вами в разных мирах?» Этою последнею мыслью я всегда объяснял Погодину то, чего он беспрестанно в вас не понимал; наконец, он перестал и говорить со мною. Вероятно, и я не понимаю вас вполне; но я по крайней мере понимаю, что нельзя высокую, творческую натуру художника мерить аршином наших полицейских общественных уставов, житейских расчетов и мелочных требований самолюбия. Мы оба с Погодиным недурные люди:

но я считаю то святотатством, что Погодин считает делом не только дозволенным, но даже должным. Он всегда готов на доброе дело...»

На этом обрывается сохранившийся отрывок письма Аксакова. Вскоре был получен ответ Гоголя:

« *1844. Ницца.* $\frac{\text{Февраль 10}}{\textit{Генварь 30.}}$

Я очень поздно отвечаю на письмо ваше, милый друг мой. Причиной этого было отчасти физическое болезненное расположение, содержавшее дух мой в каком-то бесчувственно-сонном положении, с которым я боролся беспрестанно, желая победить его, и которое отнимало у меня даже охоту и силу писать письма. Меня успокоивала с этой стороны уверенность, что друзья мои, то есть те, которые верят душе моей, не припишут моего молчания забвению о них. Ваше милое письмо читал я несколько раз: оно мне было так же приятно, как приятны все ваши письма. Все, что ни рассудили вы насчет моего письма к Погодину, я нахожу совершенно благоразумным и справедливым, так же как и ваши собственные мысли обо всем, к тому относящемся. Одно мне только было грустно читать, это то, что ваше собственное душевное расположение неспокойно и тревожно. Я придумывал все средства, какие могли только внушить мне небольшое познание и некоторые внутренние, душевные опыты. И, благословясь, решился послать вам одно средство против душевных тревог, которое мне помогает сильно. Шевырев вручит вам его в виде подарка на Новый год. Хотя он уже давно наступил, но я желал бы, чтобы для всех друзей моих наступил новый душевный год, прекраснейший и лучший всех прежних годов, и чтобы это обстоятельство способствовало именно к тому.

Прощайте, бесценный друг мой. Обнимаю вас и все ваше милое семейство.

Всегда ваш *Г.*

Письма адресуйте во Франкфурт на имя Жуковского. Из Ниццы я выезжаю через неделю от сего числа».

С. Т. Аксакова это письмо ввело в заблуждение: выражения относительно *средства от душевных тревог, посылаемого в виде подарка,* навели его на мысль, что посылается второй том «Мертвых душ». Впоследствии на собственноручной копии с этого письма он надписал: «Конечно, мне теперь самому смешно: как я мог убедить себя, что дело идет о «Мертвых душах»! Но мое ослепление разделяли все наши».

Заблуждение рассеял С. П. Шевырев, которому Гоголь писал по этому поводу 2 февраля 1844 г.:

«Мне кажется, судя по письмам как твоим, так и прочим, что вы все, то есть и ты, и Погодин, и Аксаков, терпите часто душевные беспокойства и тревоги. Они могут быть от разных причин, но могут быть приведены все к одному знаменателю. Я посылаю вам одно средство, уже мною испытанное, которое, верно, вам поможет уходить чаще в себя, а с тем вместе противиться всем душевным беспокойствам. При письме этом я прилагаю письмо ко всем вам. Ты прочитай его теперь же (прежде один) и купи немедленно во французской лавке четыре миниатюрные экземплярчика «Подражания Христу» для тебя, Погодина, С. Т. Аксакова и Языкова. Ни книжек не отдавай без письма, ни письма без книжек, ибо в письме заключается рецепт употребления самого средства, и притом мне хочется, чтоб это было как бы в виде подарка вам на Новый год, исшедшего из собственных рук моих. Прислать вам отсюда книги нет средств; в конце письма ты увидишь лаконические надписочки, которые разрежь ножницами и наклей на всяком экземплярчике. Подарок этот сопровожден сильным душевным желаньем оказать вам братскую помощь, и потому бог, верно, направит его вам в пользу».

Шевырев передал Сергею Тимофеевичу и письмо Гоголя, адресованное трем: Аксакову, Погодину и Шевыреву.

«Генварь. 1844-го г. Ницца.

Поздравляю вас с Новым годом, друзья мои, и от всего сердца желаю вам спокойствия душевного, то есть лучшего, чего мы должны желать друг другу. Мне чувствуется, что вы часто бываете неспокойны духом. Есть какая-то повсюдная нервически душевная тоска: она долженствует быть потом еще сильнее. В таких случаях

нужна братская взаимная помощь. Я посылаю вам совет: не пренебрегайте им. Он исшел прямо из душевного опыта, испытан и сопровожден сильным к вам участием. Отдайте один час вашего дня на заботу о себе, проживите этот час внутреннею, сосредоточенною в себе жизнию. На такое состояние может навести вас душевная книга. Я посылаю вам «Подражание Христу» не потому, чтобы не было ничего выше и лучше ее, но потому, что на то употребление, на которое я вам назначу ее, не знаю другой книги, которая была бы лучше ее. Читайте всякий день по одной главе, не больше, если даже глава велика, — разделите ее надвое. По прочтении предайтесь размышлению о прочитанном. Переворотите на все стороны прочитанное, с тем, чтобы, наконец, добраться и увидеть, как именно оно может быть применено к вам, именно в том кругу, среди которого вы обращаетесь, в тех именно обстоятельствах, среди которых вы находитесь. Отдалите от себя мысль, что многое тут находящееся относится к монашеской или иной жизни. Если вам так покажется, то, значит, вы еще далеки от настоящего смысла и видите только буквы. Старайтесь проникнуть, как может все это быть применено именно к жизни, среди светского шума и всех тревог. Изберите для этого душевного занятия час свободный и неутружденный, который бы служил началом вашего дня. Всего лучше немедленно после чаю или кофию, чтобы и самый аппетит не отвлекал вас. Не переменяйте и не отдавайте этого часа ни на что другое. Если даже вы и не увидите скоро от этого пользы, если чрез это остальная часть дня вашего и не сделается покойнее и лучше, не останавливайтесь и идите. Всего можно добиться и достигнуть, если мы неотлучно и с возрастающей силою будем посылать из груди нашей постоянное к тому стремление. Бог вам в помощь. Прощайте.

Ваш *Г.*».

Аксаков долго не отвечал Гоголю и 31 марта 1844 г. писал о том сыну Ивану:

«На сих днях получено еще письмо от Гоголя к нам троим: к Шевыреву, Погодину и мне. Верочка списывает его для тебя. Я виделся еще с Языковым и полу-

чил от него два письма Гоголя к нему, которые глубоко проникли в мою душу. Я совершенно растерялся; решительно не знаю, что писать к нему?.. Письма, прежде написанные, я не имею духа послать к нему».

И январское письмо Гоголя, адресованное Аксакову, Погодину и Шевыреву, и его последние письма к Языкову глубоко встревожили Аксакова. Они свидетельствовали о нарастании в Гоголе религиозно-мистических настроений, которых очень опасался Аксаков.

Только в апреле ответил он Гоголю:

«1844. Апреля 17. Москва.

Другой месяц или почти два, как я нахожусь в беспрестанном волнении; всякий день сбирался писать к вам, милый друг Николай Васильевич; несколько раз начинал и не мог кончить... в таком беспрестанном противоречии находился и теперь нахожусь я сам с собою. Говорят, что в каждом человеке находится два человека; не знаю, правда ли это, но во мне — решительно два; один из них сидит на другом верхом, совсем задавил его, но тот еще не умер.

Письмо ваше от 10 февраля (30 января старого стиля) из Ниццы ввело меня в странное заблуждение, из которого выйти было мне не только досадно, но и прискорбно. Представьте себе, что некоторые выражения в вашем письме относительно «средства от душевных тревог, посылаемого в виде подарка...» и пр. навели глупую мою голову на мысль, что вы посылаете нам второй том «Мертвых душ», обещанный через два года.

Все то, что в письме вашем, при чтении его теперь, разрушает очарование, истолковано мною было тогда в пользу моего страстного желания. Ошибку мою разделяли со мной и мои домашние. На другой день скачу к Шевыреву и не застаю его; наконец, в другой раз нахожу его дома... С первых слов разбил он с громким смехом мой кумир. Я был огорчен до глубины души, даже рассержен. Я думал помолиться, наслаждаясь созданием искусства, и вдруг... Друг мой, ни на одну минуту я не усумнился в искренности вашего убеждения и желания добра друзьям своим; но, признаюсь, недоволен

я этим убеждением, особенно формами, в которых оно проявляется. Я даже боюсь его. Мне пятьдесят три года. Я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы еще не родились. Я хорошо понимаю, что это не мешает вам видеть то, чего я не видел; но я тогда также был молодым человеком, с живым чувством, с свежею, легко понимающею головою и сильным стремлением в мир духовный. Я много перемыслил, перечувствовал, принимал, отвергал, сомневался и, по прошествии немалого времени, переболев душою и духом, наконец дал себе ответы на многие вопросы; ответы, может быть, неполные, неудовлетворительные, но такие по крайней мере, которые восстановили тишину и спокойствие в возмущенной душе моей, и я сдал это дело в архив. Я не порицаю никаких, ничьих убеждений, лишь были бы они искренни; но уже, конечно, ничьих и не приму... И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, нисколько не знав моих убеждений, да как еще? в узаконенное время, после кофею, и разделяя чтение главы, как на уроки... И смешно и досадно... И в прежних ваших письмах некоторые слова наводили на меня сомнение. Я боюсь, как огня, мистицизма; а мне кажется, он как-то проглядывает у вас... Терпеть не могу нравственных рецептов, ничего похожего на веру в талисманы... Вы ходите по лезвию ножа! Дрожу, чтоб не пострадал художник!.. Чтобы творческая сила чувства не охладела от умственного напряжения отшельника. Это вполне искренние слова сидящего верхом человека. Таков я всегда; но вот вам я, каким бываю уже редко. В одну из таких минут я записал для вас свои собственные мысли и чувства.

Вижу, как жалки и ничтожны все мои выражения, не имеющие даже достоинства искренности. Нет, я не рожден ни слепым, ни глухим. Я лгу, говоря, что не понимаю высокой стороны такого направления. Я понимал его всегда, особенно в молодости; но оно только скользило по моей душе. Лень, слабость воли, легкомыслие, живость и непостоянство характера, разнообразные страстишки заставляли меня зажмуривать глаза и бежать прочь от ослепительного и страшного блеска, всегда лежащего в глубине духа мыслящего человека. Вы

соединяете это стремление с теплою верою, но и другим путем можно стремиться к той же цели. Разумеется, так гораздо легче: «Не верю тому, чего не знаю, и не размышляю о том, чего не понимаю». Это даже и хорошо, если искренно. Но у меня это была ложь. Я надувал сам себя, чтоб жить спустя рукава. Я добровольно кидался в толпу непризванных, я наклепывал на себя их пошлость и таким образом отделывался от трудных подвигов разумной жизни. Я уже думал прожить так целый век; но нашелся человек, близкий моему сердцу сам по себе и драгоценный мне как великий художник. Он стал передо мной, лицом к лицу, поднял со дна души давно заброшенные мысли и говорит: «*Пойдем вместе! Я вот что делаю с собой. Помоги мне, а я потом помогу тебе*». Хотел было поступить по-русски: «*Знать не знаю и ведать не ведаю*»... Но стало стыдно. Недолго звенят во мне слишком долго не бранные струны; я рад тому: их сотрясение болезненно. Около них нет простора. Они заплыли всякой дрянью, которая вошла в состав моего организма... Мне больно, когда ее трогают.

Вот вам, милый друг, истинное состояние моей души. О том уже поздно. Оставим это дело навсегда. Прилагаю вам два письма. Одно из них огорчит вас сильно, но с горячею верою близко утешение. Наша больная все в том же страдательном положении.

Обнимаю вас очень крепко. Мы сошлись с Языковым. Все мои вас обнимают.

Ваш друг *С. Аксаков*».

На это письмо Гоголь дал следующий ответ:

«16 мая 1844. Франкфурт.

Я получил ваше милое и откровенное письмо. Прочитавши его, я мысленно вас обнял и поцеловал, а потом засмеялся. В письме вашем слышно, что вы боитесь, чтобы я не сел на вас верхом, и упираетесь, как Федор Николаевич Глинка, когда к нему подходят с тем, чтобы обнять его. Все это ваше волнение и мысленная борьба есть больше ничего, как дело общего нашего приятеля, всем известного, именно — черта. Но вы не упускайте

из виду, что он щелкопер и весь состоит из надуванья. Из чего вы вообразили, что вам нужно пробуждаться или повести другую жизнь? Ваша жизнь, слава богу, так безукоризненна, прекрасна и благородна, как дай бог всем подобную. Вы сделали много такого добра и таких услуг (что и мне отчасти известно), которые стоят многих копеек, разбросанных нищим, и будут оценены справедливо; ваша жизнь ни в чем не противуположна христианской. Один упрек вам следует сделать — в излишестве страстного увлеченья во всем: как в самой дружеской привязанности и сношениях ваших, так и во всем благородном и прекрасном, что ни исходит от вас. Итак, глядите твердо вперед и не смущайтесь тем, если в жизни вашей есть пустые и бездейственные годы. Отдохновенье нам нужно. Такие годы бывают в жизни всех людей, хотя бы они были самые святые. А если вы отыскиваете в себе какие-нибудь гадости, то этим следует не то чтобы смущаться, а благодарить бога за то, что они в нас есть. Не будь в нас этих гадостей, мы бы занеслись бог знает как и гордость наша заставила бы нас наделать множество гадостей несравненно важнейших. Без них, не было бы у вас и этого прекрасного смиренья, которое составляет первую красоту души.

Итак, ваше волнение есть просто дело черта. Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он — точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад — тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмет. Мы сами делаем из него великана, а в самом деле он *черт знает что*. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: *Хвалился черт всем миром овладеть, а бог ему и над свиньей не дал власти*. Его тактика известна: увидевши, что нельзя склонить на какое-нибудь скверное дело, он убежит бегом и потом подъедет с другой стороны, в другом виде — нельзя ли как-нибудь привести в уныние; шепчет: «Смотри, как у тебя много мерзости, пробуждайся!» — когда незачем и пробуждаться, потому что не спишь, а просто не видишь его одного. Словом, пугать, надувать, приводить в уныние — это его дело. Он

очень знает, что богу не люб человек унывающий, пугающийся, словом — неверующий в его небесную любовь и милость, вот и все. Вам бы следовало просто, не глядя на него, выполнить буквально предписанье, руководствуясь только тем, что дареному коню в зубы не глядят. Вы бы, может быть, нашли там только подтверждение тому, чему вы веруете и что в вас есть, и только установилось бы все яснее и утвердительнее на своих местах, воцарив чрез то строгий порядок в самую душу.

О себе скажу вам вообще, что моя природа совсем не мистическая. Недоразуменья произошли оттого, что я слишком рано вздумал было говорить о том, что слишком ясно было мне и чего я не в силах был выразить глупыми и темными речами, в чем сильно раскаиваюсь даже и за печатные места. Но внутренно я не изменялся никогда в главных моих положениях. С двенадцатилетнего, может быть, возраста я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаясь и не колеблясь никогда во мнениях главных, не переходил из одного положения в другое и, если встречал на дороге что-нибудь сомнительное, не останавливался и не ломал голову, а махнувши рукой и сказавши: «объяснится потом», шел далее своей дорогой; и точно, бог помогал мне, и все потом объяснялось само собой. И теперь я могу сказать, что в существе своем все тот же, хотя, может быть, избавился только от многого, мешавшего мне на моем пути, и, стало быть, чрез то сделался несколько умней, вижу ясней многие вещи и называю их прямо по имени, то есть черта называю прямо чертом, не даю ему вовсе великолепного костюма à la Байрон и знаю, что он ходит во фраке из <.....> и что на его гордость стоит вы<...>ться вот и все.

Спросите у Языкова, послал ли он книги мне и с кем именно? Я еще не получал, а между тем он мне обещал следующие: 1) «Добротолюбие», 2) Летописи, 3) Иннокентия и 4) сочинения святых отцов. Теперь, без сомнения, удобно послать, потому что из Москвы весной подымется много за границу. Да попрошу вас, если нельзя прислать «Москвитянина» всего за прошлый 1843, то хотя критики Шевырева; а Михаилу Семеновичу

скажите, что он *надуватель*, а деткам его скажите, что *яблоко от яблони недалеко падает*. Он сам вызвался доставить мне критики Сенковского и невинные замечания, напечатанные в «Сыне отечества». Времени было довольно, а случая и оказии для пересылки не нужно, потому что, писавши на тонкой бумаге, можно было легко послать во всякое время, разделив на два или на три письма, как я делаю с моими статьями, гораздо побольшими, которые ему же пригодились в бенефис. Он меня привел в неприятное и затруднительное положение писать к Сенковскому и просить его о присылке статей, потому что во многих вещах на близких людей никак нельзя полагаться и лучше писать к первому незнакомому лицу. Незнакомому человеку бывает иногда совестно показать себя в первый раз ненадежным человеком, а приятелям никогда не бывает совестно пустить дело в затяжку.

Прилагаемое письмо прошу вас доставить Надежде Николаевне. В нем содержится объяснение насчет одного слуха, распущенного обо мне в Москве. Объяснения об этом предмете я б не сделал никому, потому что ленив на подобные вещи; но так как она прямо и бесхитростно сделала мне запрос, то мне показалось совестно не дать ей ответа. А с вами о сем тратить слов не следует. Вы *человек-небаба*. *Человек-небаба* верит более самому *человеку*, чем *слуху о человеке*; а *человек-баба* верит более слуху о человеке, чем самому человеку. Впрочем, вы не загордитесь тем, что вы *человек-небаба*. Тут вашей заслуги никакой нет, ниже́ приобретения: так бог велел, чтоб вы были *человек-небаба*. Не унижайте также *человека-бабу*, потому что *человек-баба* может быть, кроме этого свойства, даже совершеннейшим человеком и иметь много таких свойств, которых не удастся приобрести *человеку-небабе*. Друг наш Погодин есть *человек-баба* — не потому, чтобы он вел не такую жизнь, как следует, или не имел твердости или характера, но потому, что иногда вдруг понесет от него бабьей юбкой. Это можно даже довесть до сведения его, потому что между нами должно быть отныне все просто и откровенно. Михаил Семенович, например, но он вовсе не *человек-баба*... он не баба, но он оказался *человек* —

<.....> по поводу упомянутого ниже дела. Константин Сергеевич, например... но об этих господах не следует говорить: они совершенно в *руце будущего*. В русской природе то по крайней мере хорошо, что если немец, например, *человек-баба*, то он останется *человек-баба* на веки веков. Но русский человек может иногда вдруг превратиться в *человека-небабу*. Выходит он из бабства тогда, когда торжественно, в виду всех, скажет, что он больше ничего, как *человек-баба*, и сим только поступает в рыцарство, скидает с себя при всех бабью юбку и одевается в панталоны.

Ваш *Г.*

Адрес — во Франкфурте.

Обнимаю от всей души весь ваш дом!»

В октябре того же года Гоголь спрашивал Н. М. Языкова в письме к нему из Франкфурта: «Спроси Аксаковых, зачем ни один из них не пишет ко мне?» — а самому С. Т. писал:

«12 ноября <1844>.

Письмо за вами, бесценный друг мой Сергей Тимофеевич. Вы не дали мне ответа на то, которое я писал к вам назад тому четыре месяца, где посылал весьма справедливый выговор Щепкину за то, что он надул меня, то есть вызвался сам вперед и отважно вместе с сыновьями доставить мне просимые мною критики и потом вместе с ними попятился на попятный двор. Я даже не знаю, как писать к вам, и дожидался от вас адреса, и до сих пор не знаю, где вы живете и куда следует адресовать вам. Итак, уведомьте меня как о вашем здоровье, так и о здоровье Ольги Семеновны, Константина Сергеевича и всего вашего милого семейства, и почему именно последовало такое долгое забвение? Я, видите, терпелив и долго иногда не спрашиваю, почему иные совсем не пишут и не шлют даже поклона. Потом уведомьте, как вы провели все время лета и каково состояние вашей больной. И, словом, уведомьте обо всем. А пока вас обнимаю от всей души и жду вашего ответа.

Ваш *Гоголь*».

Еще до получения этого письма Аксаков писал Гоголю:

«Ноября 16 1844 года.

Очень, очень давно не писал я вам, любезный друг Николай Васильевич... Да если б я десять лет не писал к вам, то все никто бы не заподозрил меня в забвении вас. На бумаге не то, что на словах: многого не скажешь, да и сказать нельзя. Давно поизносились фразы, за недостатком истины, в смысле: «страждущее сердце облегчит свою горесть, переливая ее в сердце друга». Во-первых, все горести что переливать, то хуже: только что мутить начинавший отстаиваться зловредный напиток. Во-вторых, что за облегчение возмущать спокойствие друга, разумеется отсутствующего? Конечно, когда друзья живут вместе и один видит и знает, что другой страдает, тогда излияние — необходимость.

Даже не помню, когда я писал... Знаю только, что я не отвечал на письмо ваше, которым не совсем был доволен: это был ваш ответ на мое горячее письмо, вылившееся из глубины души. Вы, конечно, не подумаете, что ваше письмо было причиной моего долговременного молчания. Совсем нет. Конечно, я не отвечал на него немедленно по неудобству переписки такого рода; но впоследствии это не помешало бы мне писать. Ничего не может быть суетливее, скучнее и огорчительнее того образа жизни, который вел я с 9 мая по 6 октября. Больная моя жила в Петровском парке, а остальное семейство в подмосковной; мы с Ольгой Семеновной скакали то туда, то сюда, ничуть не обретая спокойствия; в разлуке с больной — всего менее. Наконец, 5 октября переехали в Москву (в Газетный переулок, в дом княгини Шаховской). Болезнь часто меняла свою физиономию, а потому часто сменялись страх и надежда. Даже и теперь не знаю, что сказать вам! Если взглянуть на все простыми глазами, то дело находится в отчаянном положении: больная уже два месяца не встает с постели, худоба неимоверная, и ноги в сильной и болезненной опухоли. Но доктора называют эту опухоль критическою и видят много добрых признаков. Конечно, эта опухоль не прежняя, водянистая опухоль;

больная получила аппетит, и пищеварение хорошо; очевидно, что натура силится открыть давно закрытые пути; борьба несомненна, но выдержит ли изнуренный, ослабленный организм эту борьбу? Вот важный вопрос... Мой рассудок не допускает меня предаваться надеждам.

Я думаю, вы уже знаете о несчастии бедного Погодина... Слов недостает, чтоб выразить мое сожаление о нем, и нет их, чтоб сказать ему что-нибудь утешительное; но он, по счастию, истинный христианин и покуда переносит великодушно тяжкое испытание. Жена вчера была у него, а я уже несколько дней не видал его: два раза не застал дома.

В продолжение нашего взаимного молчания я кое-что слышал по временам об вас: то от Языкова, то от Шереметевой, то от Шевырева; но все грешно вам, что вы ко мне не писали. Никакие обстоятельства не лишают меня потребности знать об вас. Итак, напишите мне все: что ваше здоровье, что ваш труд? Мы остальные все здоровы. Костя переписывает набело свою диссертацию; Иван возвращается с ревизии из Астрахани, где он действовал с неожиданным, изумительным даже для меня, достоинством мужа, а не юноши; Гриша служит товарищем председателя Гражданской палаты во Владимире и хотя не изумляет меня, но утешает более Ивана... Вот вам все в кратких словах, милый друг мой... Кругом меня валятся, как снопы, мои сверстники, товарищи, приятели (вы знаете о Княжевиче?). Не хотелось бы мне свалиться, не обнявши крепко вас. Делаю это заочно. Прощайте, мой друг.

Ваш С. *Аксаков.*

Все мои вас обнимают».

До того, как прибыл ответ на это письмо, Аксаков получил вместе с Шевыревым поручение от Гоголя насчет благотворения бедным студентам. 14 декабря 1844 г. Гоголь писал в этой связи Шевыреву:

«Дело это должно остаться только между тобою и Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, и я требую в этом клятвенного и честного слова от вас обоих. Никогда получивший деньги не должен узнать, от кого он их

получил ни при жизни моей, ни по смерти моей. Это должно остаться тайной навсегда. Ты можешь сказать им, что деньги от одного богатого человека или правительственного сановника, который хочет остаться в неизвестности. Никто из вас никому даже в своем доме, как бы он близок к нему ни был, не должен этого открывать никогда и ни в каком случае. На все расспросы других давайте один ответ, что деньги идут мне и я получаю их в исправности. Я также не должен узнать, кому, как и когда идут эти деньги. Отчет в них и ответ принадлежит богу. И потому смотреть на это дело как на святое и употребить с своей стороны все силы к тому, чтобы всякая копейка обратилась во благо. Настоящие благодеяния будут принадлежать вам, более всего тебе, потому что все здесь зависит от умных распоряжений. Пословица говорит: «Не штука дело, штука разум». Это вы прочитайте вместе с Аксаковым. И никаких против этого возражений или представлений! Желанье мое непреложно. Только таким образом, а не другим должно быть решено это дело. Как бы ни показалось вам многое здесь странным, вы должны помнить только, что *воля друга должна быть священна;* и на это мое требованье, которое с тем вместе есть и моленье и желанье, вы должны ответить только одним словом: *Да*».

Вскоре прибыл и ответ Гоголя С. Т. Аксакову на его ноябрьское письмо.

«Франкфурт. Декабря 21 <1844>.

Наконец, я получил от вас письмо, добрый друг мой. Между многими причинами вашего молчания, с которыми почти со всеми я согласен, зная сам, как трудно вдруг заговорить, когда не знаешь даже, с которого конца прежде начать, одна мне показалась такою, которую я бы никак не допустил в дело и никак бы не уважил, именно — что состояние грустное души уже потому не должно быть передаваемо, что может возмутить спокойствие отсутствующего друга. Но для чего же тогда и друг? Он именно и дается нам для трудных

минут, а в минуты веселые и всякий человек может быть для нас хорош. Бог весть, может быть, именно в такие минуты я бы и пригодился. Что я написал глуповатое письмо, это ничего не значит: письмо было писано в сырую погоду, когда я и сам был в состоянии полухандры, в сером расположении духа, что, как известно, еще глупее черного, и когда мне показалось, что и вы тоже находитесь в состоянии полухандры. Желая ободрить и вас и с тем вместе себя, я попал в фальшивую ноту, взял неверно и заметил это уже по отправлении письма. Впрочем, вы не смущайтесь, если б даже и десять получили глуповатых писем (на такие письма человек, как известно, всегда горазд); иногда между ними попадется и умное. Да и глупые письма, даром что они глупы, а их иногда бывает полезно прочесть и другой и третий раз, чтобы видеть, каким образом человек, хотевши сделать умную вещь, сделал глупость. А потому о ваших грустных минутах вы прежде всего мне говорите, ставьте их всегда вперед всяких других новостей и помните только, что никак нельзя сказать вперед, чтобы такой-то человек не мог сказать утешительного слова, хотя бы он был и вовсе не умный. Много уже значит хотеть сказать утешительное слово, и если с подобным искренним желанием сердца придет и глуповатый к страждущему, то ему стоит только разинуть рот, а помогает уже бог и превращает тут же слово бессильное в сильное.

Вы меня известили вдруг о разных утратах. Прежде утраты меня поражали больше; теперь, слава богу, меньше: во-первых, потому, что я вижу со дня на день яснее, что смерть не может от нас оторвать человека, которого мы любили, а во-вторых, потому, что некогда и грустить: жизнь так коротка, работы вокруг так много, что дай бог поскорей запастись сколько-нибудь тем в этой жизни, без чего нельзя явиться в будущую. А потому поблагодарим покойников за жизнь и за добрый пример, нам данный, помолимся о них и скажем богу за все спасибо, а сами за дело! Известием о смерти Е. В. Погодиной я опечалился только вначале, но потом воссветлел духом, когда узнал, что Погодин перенес великодушно и твердо, как христианин, такую утрату.

Такой подвиг есть краса человеческих подвигов, и бог, верно, наградил его за это такими высокими благами, какие редко удается вкушать на земле человеку.

Обратимся же от Погодина, который подал нам всем такой прекрасный пример, и к прочим живущим. Вы меня очень порадовали благоприятными известиями о ваших сыновьях. Они все люди, созданные на дело, и принесут очень много добра, если при уме и при всех данных им больших способностях будут *сметливы*, то есть если заблаговременно и пораньше будут уметь смекнуть то, что следует смекнуть. Если Константин Сергеевич смекнет, что диссертацию, вместо того чтобы переписывать набело, следует просто положить под спуд на несколько лет, а вместо ее заняться другим; если он смекнет с тем вместе, что тот совет, в котором сходятся люди даже различных свойств и мнений, есть уже совет божий, а не людской и, стало быть, его нужно послушаться. Ему все до единого, начиная от Погодина до меня, говорили, чтобы занялся делом филологическим, для которого бог его наградил великими и очевидными для всех способностями. Он один может у нас совершить словарь русского языка такой, какого не совершит ни одна академия со всеми своими членами; но этого он пока не смекает. Еще также не смекает он до сих пор, что у него слишком велика замашка и слишком горячий прием к делу. Чрез это дело у него само собой выходит не в *ясном*, а в *пристрастном* виде, хотя он хотел быть ясным, а не пристрастным. Чрез это у него одежда, в которую он одевает мысль, не только не прозрачна, но даже не по ней. Это ощутительней оказывается у него в письме и на бумаге; тут иногда мысли то же, что короткие ноги в больших сапогах, так что формы самой ноги-то не видишь, а становится только смешно, что на ней большой сапог. Еще Константин Сергеевич не смекает, что в эту пору лет, в какой он <находится>, не следует вовсе заботиться о логической последовательности всякого рода развитий. Для этого нужно быть или вовсе старику, или вовсе немцу, у которого бы в жилах текла картофельная кровь, а не та горячая и живая, как у русского человека. Поэтому-то у него оказывается в статьях одна претензия на логическую последователь-

ность, а самой ее нет. Живая душа, русское сердце и нерасчетливая молодость пробиваются на всяком шагу, и чрез это еще сильней становится противуположность двух несоединенных вещей. Чрез это самый тон слога неверен, фальшив, не имеет никакой собственной личности и не служит орудием к выраженью того, что хотел писатель им выразить. Черты ребячества и черты собачьей старости будут в нем попадаться беспрестанно одни подле других и будут служить вечным предметом насмешек журналистов, насмешек глупых, но в основании справедливых. Если Константин Сергеевич сколько-нибудь верит тому, что я могу иногда слышать природу человека и знаю сколько-нибудь закон состояний, переходов, перемен и движений в душе человеческой, как наблюдавший пристально даже за своей собственной душою, что вообще редко делается другими, то да последует он хотя раз моему совету и именно следующему: не думать два-три года о полноте, целости и постепенном логическом развитии идей в статьях своих больших, какие случится писать ему. Поверьте, это не дается в такие годы и в такой поре душевного состояния. У него отразится повсюду только одно неясное стремление к ним, а их самих не будет.

Живой пример ему я. Я старее годами, умею более себя обуздывать, а при всем том сколько я натворил глупостей в моих сочинениях, именно стремясь к той полноте, которой во мне самом еще не было, хотя мне и казалось, что я очень уже созрел; и над многими местами в моих сочинениях, которые даже были похвалены одними, другие очень справедливо посмеялись. Там есть очень много того, что похоже на короткую ногу в большом сапоге; а всего смешней в них претензии на то, чего в них, покамест, нет.

Итак, да прислушается Константин Сергеевич к моему совету. Это не совет, а скорее братское увещание человека уже искусившегося и который хотел бы сколько-нибудь помочь своею собственною бедою, обратив ее не в беду, а в пользу другому. Теперь «Москвитянин», как я слышал, перешел к Ивану Васильевичу Киреевскому. Вероятно, это возбудит во многих рвение к трудам. Константин Сергеевич может множество приготовить

прекрасных филологических статей. Они будут интересны для всех. Это я могу сказать вперед, потому что я сам слушал с большим удовольствием, когда он изъяснял мне производство многих слов. Но нужно, чтобы они писаны были слишком просто и в таком же порядке, как у него выходили изустно в разговоре, без всякой мысли о том, чтобы дать им целость и полноту. То и другое выльется само собою гораздо удовлетворительнее, чем тогда, если бы он о них думал. Он должен только заботиться о том, чтобы статья была как можно короче. Русский ум не любит, когда ему изъясняют что-нибудь слишком долго. Статья его чем короче и сжатей, тем будет занимательней. Не брать вначале больших филологических вопросов, то есть таких, в которых было бы разветвление на многие другие, но раздробить их на отдельные вопросы, которые бы имели в себе неразделяемую целость, и заняться каждым отдельно, взяв его в предмет статьи; словом, как делал Пушкин, который, нарезавши из бумаги ярлыков, писал на каждом по заглавию, о чем когда-либо потом ему хотелось припомнить. На одном писал: *Русская изба*, на другом: *Державин*, на третьем — имя тоже какого-нибудь замечательного предмета, и так далее. Все эти ярлыки накладывал он целою кучею в вазу, которая стояла на его рабочем столе, и потом, когда случалось ему свободное время, он вынимал наудачу первый билет; при имени, на нем написанном, он вспоминал вдруг все, что у него соединялось в памяти с этим именем, и записывал о нем тут же, на том же билете, все, что знал. Из этого составились те статьи, которые напечатались потом в посмертном издании его сочинений и которые так интересны именно тем, что всякая мысль его там осталась живьем, как вышла из головы. (Из этих записок многие, еще интереснейшие, не напечатаны, потому что относились к современным лицам.) Таким образом и Константин Сергеевич да напишет себе на бумажке всякое русское замечательное слово и потом тут же кратко и ясно его производство, и отдаст ее Ивану Васильевичу Киреевскому. Журналист будет доволен, публика возбудится любопытством к предмету, для нее новому и незнакомому, а Константин Сергеевич покажет, наконец,

себя и скажет мне за это спасибо; ибо, как ни посмотрю, приходилось мне, а не кому-либо другому, натолкнуть его на дело. «Чем ушибся, тем и лечись», говорится; а так как он опозорился в глазах света на мне (написавши статью о «Мертвых душах»), то мною же должен быть подтолкнут на прославление в глазах того же света.

Но вот беда: у Константина Сергеевича нет вовсе слога. Все, о чем ни выражается он ясно на словах, выходит у него темно, когда напишется на бумаге. Если бы он был в силах схватить тот склад речи, который выражается у него в разговоре, он был бы жив и силен в письме, стало быть имел бы непременно читателей и почитателей. Но это ему менее возможно, чем кому-либо другому. Искусство следить за собой, ловить и поймать самого себя редко кому удается. А слог все-таки ему нужно приобресть; ему нужно непременно спуститься хотя двумя ступенями ниже с той педантской книжности, которая у нас образовалась и беспрестанно мешается с живыми и непедантскими словами. Есть один только для него способ, и если Константин Сергеевич точно так умен, как я думаю, то он его не бросит. Что бы он ни написал, ему следует перед тем, как он принимается за перо, вообразить себе живо личность тех, кому и для кого он пишет. Он пишет к публике, личность публики себе трудно представить, пусть же он на место публики посадит кого-нибудь из своих знакомых, живо представит себе его ум, способности, степень понятливости и развития и говорит, соображаясь со всем этим и снисходя к нему, — слово его непременно будет яснее. Чем он возьмет менее понятливого человека, чем этот человек будет менее сведущ, тем он более выиграет. Лучше всего, если он посадит вместо публики маленькую свою сестрицу и станет ей рассказывать (это особенно будет полезно в филологических статьях и производствах слов, которые требуют необыкновенной ясности слога), и если он сумеет так рассказать или написать, что, во время чтения, маленькой его сестрице не будет скучно и все понятно, тогда смело можно печатать статью: она понравится всем: старикам, гегелистам, щелкоперам, дамам, профессорам, учителям, и всякий подумает, что писано для него. Притом зная, что пишет маленькой сестрице,

Константин Сергеевич никак не зарапортуется, и если бы случилось ему написать производство слов: муж и жена (что он производит очень умно, я бы его прямо списал с его слов), он бы удержался в одних филологических границах, тогда как, если бы села на место маленькой сестрицы хоть, положим, Ховрина или кто другой, брошен бы был вдруг религиозный взгляд на брак и на высшее значение его — дело, конечно, тоже в своем роде умное, но годное для другой статьи. Словом, этот способ я предлагал Константину Сергеевичу как самый действительный, как бы он ни показался ему с виду ничтожным и незначащим. Я браню себя за свою недогадливость и глупость, что не хватился за него пораньше; я бы гораздо больше сказал дела и даже больше бы написал. Этот пустяк слишком важная вещь: только от нее приобретается слог и получается физиогномия слога. Это уже давно было сказано на свете, что слог у писателя образуется тогда, когда он знает хорошо того, кому пишет. Но если Константин Сергеевич будет *сметлив*, то принесет много добра, в чем помоги ему бог. Прочие ваши сыновья, если будут *сметливы*, то принесут тоже много добра. Жаль, что вы мне не описали, каким образом подвизался на ревизии Иван Сергеевич, хотя я уверен, что весьма умно, и внутренно обрадовался вашему прибавлению: *«с достоинством мужа»*. Но все-таки скажите и Ивану Сергеевичу, что если он будет *сметлив* и поступит таким образом (на какое бы ни послали следствие), что все до единого — и невинные и даже виноватые, и честные и взяточники — будут им довольны, то этот подвиг еще будет выше того, если бы только одни оправданные были довольны. В теперешнее время нужно слишком много разбирать и рассматривать взяточников; иногда они бывают не совсем дурные люди, даже такие, которых может подвигнуть доброе увещание, особенно, если сколько-нибудь его узнаем во всех его обстоятельствах как семейных, так и всяких других; если к тому в прибавку узнаем природу человека вообще и потом в особенности природу русского человека и если вследствие всего этого узнаем, как его попрекнуть, пожурить или даже ругнуть таким образом, что он еще сам скажет спасибо, — и он сделает много добра. Если Иван Сер-

геевич смекнет (а может быть, отчасти он уже и смекнул), что действовать *умирительно* еще действительней, чем *распекательно*, и что внушить повсюду отвагу на добрые дела впредь еще лучше, чем картинное дело свое собственное, и что заставить человека, даже плутоватого, сделать доброе дело еще картиннее, чем заставить доброго сделать доброе дело, — словом, если он все это смекнет, то *наделает много добра*. Если Григорий Сергеевич смекнет все, что нужно смекнуть в городе Владимире, то наделает также много добра. Если узнает не только самую палату, но и весь Владимир, и не только весь Владимир, но даже источники всех рек, текущих со всех сторон губернии в палату; если не пропустит никого из умных и старых чиновников и расспросит их обо всем и будет *уметь расспросить* обо всем, да не пренебрежет тоже и глупых чиновников, узнает и об них что следует, да тоже и людей посторонних приберет, даже и купцов и мещан, и узнает таким образом и то, кто кого водит за нос, кто кого просто дурачит и, наконец, кто на кого или имеет, или может иметь влияние, — то наделает он много добра не только во Владимире, но даже и потом, где ему ни случится и на каком месте ему ни случится быть. Да и Ивану Сергеевичу тоже не мешает вам, с своей стороны, обратить внимание на эти самые пункты.

Засим да будет это письмо вам поздравлением на Новый год, который стоит уже перед нами, — вам, вместе с любезною вашею супругой, в сопровождении желания искреннего иметь полное утешение от ваших деток, а сыновьям вашим (ибо женский пол не наше дело) тоже поздравленье, с желаньем искренним доставить вам это полное утешение; ибо письмо собственно для них было писано. А всем вместе желаю искренно — приносить на всяком месте бытия пользу, побольше узнавать, расспрашивать и входить всем в положение всякого страждущего и помогать ему утешительным словом и советом (деньги же есть мертвая помощь, и помочь ими еще немного значит: они почти всегда играют ту же роль, что жидкость, лиемая в бездонную бочку).

Затем скажу аминь и попрошу вас узнать: во-первых, от Киреевского Ивана Васильевича, получил он от Жуковского стихотворную повесть, которую тот послал два

дни тому назад, на имя Булгакова вместе с большим письмом Авдотье Петровне об «Одиссее»? во-вторых, получил ли Шевырев мое письмо от 14 декабря, в котором, между прочим, небольшое улучшение относительно дел по книге и ее продаже, о чем он должен вам сообщить? в-третьих, получил ли письмо Языков в ответ на присланную мне от кн. Вяземского книжечку его стихотворений? в-четвертых, получил ли Погодин письмо, отправленное в одно время с вашим, хотя и написанное прежде (вам следует с ним видеться почаще; вы можете быть ему полезны во многом вашею беседою)? в-пятых, что делает мною постыднейшим образом обруганный и неисправнейший из всех доселе существовавших смертных, Михаил Семенович Щепкин? которых всех, при этой верной оказии, поздравьте от всей моей души с Новым годом.

Затем прощайте до вашего ответа на это письмо.

Ваш *Гоголь*.

Напишите мне все о Погодине: как идет теперь его жизнь, каково его состояние души и вообще каковы его перемены во всем?»

За 1844 год сохранилась выписка из письма Веры Сергеевны Аксаковой к М. Г. Карташевской:

«Не так давно получено от него <Гоголя> большое письмо, состоящее большею частью из советов братьям, чем им и как заниматься. Многое очень справедливо. Он здоров и, кажется, довольно бодр, но работа его до сих пор шла очень медленно, и он сам пишет, что труд его продолжится гораздо долее, нежели он ожидал. Это досадно, когда еще выйдет вторая часть...»

В первые месяцы следующего, 1845 года не было переписки: Аксаков заболел. Лишь 10 марта этого года датировано его письмо к Гоголю:

«Давно я не писал к вам, милый мой друг Николай Васильевич, и сам давно не получал от вас писем. В продолжение этого времени «много утекло воды», как говорит

русская пословица. Кажется, я и прежде писал к вам, что начинаю худо видеть левым глазом; это худо все идет хуже. Один глаз — так и быть! Я дожил бы век с правым глазом, но вот беда: в нем уже начинаются те же явления, какие предшествовали помрачению левого!.. Делать нечего, обратился я к гг. докторам и — тут увидел все их невежество, по крайней мере здесь, теперь, по части глазных болезней!.. Назад тому две недели многие говорили не то, что теперь; Альфонский находит, что катаракт начался на обоих глазах. Ради бога просит не лечиться и не мучить себя попустому, ибо ничто не может остановить хода болезни. Броссе ничего не находит покуда, а Иноземцев грозит такой слепотой, которая хуже темной воды, и пр. и пр. Но все согласны (кроме Альфонского), что нужно кровопускание, пиявки, мушки, фонтанели, слабительные, диета... Всю эту мерзость я уже испытываю на себе другой месяц... Не видя пользы, я решился отдохнуть и теперь пятый день лечусь — гомеопатией у Хомякова... Разумеется, я не верил ей, но первые приемы сначала оказали сильное действие на припадок мой, происходящий от неправильного кровообращения. Как знать, чудес на свете много. Может быть, и глазам моим будет лучше!.. Как истинному другу, должен я вам признаться, что я нехорошо встречаю мою страшную беду. Если нет христианского смирения и покорности воле божией, то есть человеческое достоинство, твердость, спокойствие духа — я не могу ими похвалиться. Покуда я — гнев, ропот и волненье.

Вероятно, вы, милый друг, не станете более получать от меня собственноручных писем. Я иным уже не пишу их. Пусть эти строки напоминают вам последние усилия моего зрения. Обнимаю вас крепко.

Ваш *С. Аксаков*».

До получения известия о болезни Аксакова Гоголь спрашивал у Н. М. Языкова в письме от 5 апреля 1845 года:

«Узнай также от Константина Сергеевича, получил ли Сергей Тимофеевич от меня письмо с некоторым поученьем сыновьям его, в числе которых и ему, то есть Константину Сергеевичу, — и что он думает о сем?»

Через Языкова Гоголь в это время часто справлялся об С. Т. Аксакове; некоторые записки ему прилагал прямо в своих письмах к Языкову. Вот одна из них, написанная в ответ на извещение о том, что Аксаков теряет зрение:

«Франкфурт. 2 мая <1845>.

И вы больны, и я болен. Покоримся же тому, кто лучше знает, что нам нужно и что для нас лучше, и помолимся ему же о том, чтобы помог нам уметь ему покориться. Вспомним только одно то, что в его власти *все* и *все* ему *возможно*. Возможно все отнять у нас, что считаем мы лучшим, и в награду за то дать лучшее нам всего того, чем мы дотоле владели. Отнимая мудрость *земную*, дает он мудрость *небесную;* отнимая зренье *чувственное*, дает зренье *духовное*, с которым видим те вещи, перед которыми пыль все вещи земные; отнимая *временную*, ничтожную жизнь, дает нам жизнь *вечную*, которая перед временной то же, что *все* перед *ничто*. Вот что мы должны ежеминутно говорить друг другу. Мы, еще доселе не привыкнувшие к вечному закону действий, который совершается для всех непреложно в мире, желающие для себя непрерывных исключений, мы, малодушные, способны позабывать на всяком шагу то, что должны вечно помнить, наконец мы, не имеющие даже благородства духа ввериться тому, кто стоит того, чтобы на него положиться. Простому человеку мы даже вверяемся, который даже нам не показал и знаков достаточных для доверия, а тому, кто окружил нас вечными свидетельствами любви своей, тому только не верим, взвешивая подозрительно всякое его слово. Вот что мы должны говорить ежеминутно друг другу, о чем я вам теперь напоминаю и о чем вы мне напоминайте. Затем обнимаю вас от всей души и прошу вас вместо меня обнять ваше семейство. Напишите мне, куда едете или остаетесь в Москве, и что делают ваши дети; если можно — порознь о каждом. Если вам писать трудно, прошу Ольгу Семеновну. Прощайте. Бог да хранит вас.

Ваш *Г.*».

Аксаков отвечал письмом, писанным собственноручно, но уж не прежним твердым почерком.

«1845, мая 24, Москва.

Я получил последнее письмецо ваше через Языкова, милый друг Николай Васильевич! Все ваши слова справедливы, но... надобно иметь сердце, исполненное теплой веры и преданности воле божией безусловно, чтоб находить отраду, например, в самой мысли: что значит потеря зрения телесного, когда человеку откроется зрение духовное! Я не спорю, что это истина и что в ней можно найти отраду; но когда? Тогда, без сомнения, когда человек внешний, телесный преобразится в человека внутреннего, духовного. Я еще далек от этого преображения, да и не знаю, буду ли когда-нибудь его достоин, и потому откровенно скажу вам, что мне даже досадно было читать ваше письмо... Я хотел от вас живого участия, боялся даже, что слишком вас огорчил... Я — человек, и потому хотел человеческого огорчения, ропота... Я слепну, рвусь от тоски и гнева, прихожу в отчаяние иногда, и вы думали меня утешить, сказав, что слепота ничего не значит?..

Мы все еще живем в Москве и даже не знаем, когда и куда уедем. Переезд в деревню, куда намеревались перенесть нашу больную на руках в портшезе, кажется мне самому несбыточным. В то же время родилось у нас убеждение (происшедшее от слов одной ясновидящей, даже двух), что гомеопатия может помочь нашей больной и что надобно ее испытать. Для этого нужно жить в Москве или на даче, в самом близком от Москвы расстоянии. Дач теперь уже нет свободных, да и средств нет это исполнить; не говорю уже о том, что я не могу без горести подумать о разделении семейства, подобно прошлогоднему. Оставаться же на некоторое время в Москве на теперешней квартире невозможно по многим причинам: здесь летом слишком шумно и душно.

Киреевский отказался от «Москвитянина» также по многим уважительным причинам. Во-первых, Киреевский не создан от бога, чтоб быть издателем журнала. Это такой чудак в действительной жизни, что, при всем своем уме, хуже всякого дурака. Во-вторых, никакой

порядочный человек не может иметь денежных сношений с Погодиным. В третьих, от нелепого образа занятий Киреевский сделался болен. Довольно этих трех причин. До сих пор идут толки о выборе нового редактора, но все это вздор. Дело кончится тем, что Погодин опять примется за издание журнала и начнет сколачивать его топором, кое-как, или прекратит на шестой книжке. Какое торжество для всех врагов наших! Не останется уже места, где бы мог раздаться человеческий голос. Это нанесет удар возникающему чувству национальности! Но теперь наступает лето, все наши краснобаи разъедутся по деревням, и здесь хоть трава не расти!

Ваше нездоровье, и душевное и телесное, нас сердечно огорчает. Не знаю, где найдет вас это письмо, посылаемое с одним из товарищей моего сына, Погуляевым. Мой Иван посылает вам две свои стихотворные пиесы. Напишите о них правду. Не бойтесь оскорбить самолюбие молодого человека. Обнимаю вас крепко. Семейство мое делает то же. Разумеется, 9 мая мы выпили за ваше здоровье. Адрес мой на имя Томашевского, в почтамте.

Весь ваш *С. Аксаков*».

Гоголь, желая познакомить А. О. Смирнову со своими московскими друзьями и в особенности с Аксаковым, писал ей от 4 июня 1845 года:

«Вы спрашиваете, как познакомиться со стариком Аксаковым. Приехавши в Москву, пошлите прямо за ним, чтобы он приехал к вам. Скажите, что это мое желание. Отыщите также старушку Шереметеву; скажите также, что я велел вам с нею познакомиться. В минуты трудные она вам будет очень полезна. Навестите также Языкова. Он без ног, а потому к вам не в состоянии приехать. Прочих всех можете увидеть у Хомякова, который даст для вас вечер и на нем покажет вам всех».

На другой день Гоголь писал Н. М. Языкову:

«В Москве будет, вероятно, на днях Смирнова. Ты должен с ней познакомиться непременно. Это же посоветуй Сергею Тимофеевичу Аксакову и даже Надежде

Николаевне Шереметевой. Это перл всех русских женщин, каких мне случалось знать, а мне многих случалось из них знать, прекрасных по душе. Но вряд ли кто имеет в себе достаточные силы оценить ее».

В том же письме от 5 июня Гоголь просит Языкова:

«С. Т. Аксакову и Шевыреву скажи, что напрасно они собираются писать ответ на письмо, на которое просилось одного только дружеского: да. С тех пор прошло уже полгода, и молчанье принято, как следует, за совершенное согласие; напоминание же о чем-нибудь уже забытом будет мне неприятно».

С. Т. Аксаков писал Гоголю:

«Июня 11, 1845, Москва.

Завтра, если бог допустит, мы с Ольгой Семеновной и нашей несчастной страдалицей Оленькой отправимся в деревню. Доктора возлагают большую надежду на воздух и движение; но больная так слаба, так расстроена нервами, что я не смею верить в возможность переезда. Из Москвы по камням перенесем ее на руках, а за заставой положим в карету... Мрачно и страшно наше будущее! Особенно потому, что не за себя одного боишься, а за многих...

Несмотря на то, что собственное горе и еще более беспрестанное опасение за каждую минуту будущего ожесточает сердце (вопреки мнению некоторых), или, лучше сказать, лишает способности принимать живое и глубокое участие в положении друга и брата, последнее письмо ваше к Языкову, милый друг Николай Васильевич, сильно меня поразило... Дай бог, чтоб оно было написано в припадке мрачной ипохондрии! Что можем мы делать? Только молиться богу, кто сколько может и умеет, о вашем выздоровлении... Меня сильно тревожит мое последнее к вам письмо. Постоянно находясь в огорчительном и раздражительном состоянии, я, вероятно, написал к вам что-нибудь резкое и, может быть, огорчительное для вас... Я знаю, что вы меня ту же минуту простили; но мне очень прискорбно, если я и на

минуту огорчил вас. В нашем душевном союзе, с первой минуты столь чистом и прекрасном, не долженствовало быть ни одной темной минуты.

Уже давно сильно занимает меня Смирнова. Все, что свет говорит о ней с злобным наслаждением, мне хорошо известно. Живя давно на свете, я мало верю его слепым приговорам. Ваши слова возбудили во мне живейшее участие. Я дорого бы дал, чтоб узнать лично эту женщину. К сожалению, она в Москву, как говорят, не будет, ибо наняла дачу под Петербургом; я приехал бы из деревни, чтоб с ней познакомиться. Прощайте, милый друг! Напишите мне несколько слов через Языкова. Обнимаю вас крепко и надеюсь на милость божию. Все мы вас обнимаем.

Ваш С. *Аксаков*».

Гоголь не отвечал по болезни. В письме его к Языкову от 25 июля есть упоминание об Аксаковых:

«Поблагодари Аксаковых... за их милые письма. Отвечать же теперь совершенно не в силах, а буду, как только сколько-нибудь приду в состояние».

Об этом времени сохранилась выписка из письма Веры Сергеевны Аксаковой к М. Г. Карташевской:

«Сегодня утром получено неожиданное письмо от Смирновой (бывшей Розети), переслал его Самарин; оно по поводу Гоголя, который теперь в такой хандре и так болен, что не знают, что с ним делать. Он в переписке с Смирновой и пишет к ней о своем положении; и здесь также получены от него письма такого же содержания».

Наконец, в письме к Языкову же, в конце сентября 1845 года, был получен следующий ответ Гоголя Аксакову:

«Благодарю вас, бесценный Сергей Тимофеевич, за ваши два письма. Они мне были очень приятны. Здоровье мое, кажется, как будто немного лучше от купаний в холодной воде, но не могу и не смею еще предаться вполне надежде. Пишите в Рим, куда я отправляюсь;

от Языкова узнаете подробнее. Не имею ни минуты свободной. Обнимаю вас всей душою, а с вами вместе и все ваше милое семейство.

Весь Ваш *Гоголь*».

На это письмо отвечала Гоголю Ольга Семеновна; Сергей Тимофеевич сделал лишь приписку.

«1845 г. Октябрь 9-го.

Слава богу! Мы получили известие от вас, что вам хотя немного лучше, что вы едете в Рим, а в Риме вы всегда бывали здоровее и бодрее, нежели в этой Германии. Когда вы были в Карлсбаде, я надеялась, что вы решитесь приехать в Россию, что мы увидим вас, хотя уже тяжело становится не видать вас четвертый год. Да внушит вам господь мысль возвратиться скорее на родину, в Россию, где много людей, которые любят вас всею душою горячо, так, как вы никого не найдете в Европе, чтоб вас так любили — вы это знаете сами. Мы переехали жить в деревню, в четырнадцати верстах от Троицы — место святое, Филарет устроил скит, куда не пускают женщин; кто расположен молиться в уединении, тот вполне может. Оленька наша менее теперь страдает; но совершенного выздоровления она, кажется, не может получить; лекарства все оставлены; одно чудесное и видимое милосердие божие ее спасает. Константин с нами ожидает, когда прочтут его диссертацию профессора. Гриша во Владимире... Иван переехал в Калугу, где нетерпеливо ожидает приезда Александры Осиповны. Вот вам коротенький отчет о семье нашей, милый друг наш Николай Васильевич. Сколько могу и умею, молюсь о вас. Пишите к нам, обнимаю вас».

P. S. «Здравствуйте, милый друг Николай Васильевич! Я получил вашу записочку через Языкова, прочел также ваше письмецо к нему и знаю, что вы писали к Александре Осиповне, с которой, к душевному моему удовольствию, познакомился заочно и даже переписываюсь. Мой Ваня служит в Калуге и живет в совершенном пустынном сиротстве: Александра Осиповна заранее предлагает ему свой дом как родной, как *его собственный* (так она выражается). Я увижу эту

необыкновенную женщину в проезд ее через Москву и нетерпеливо ожидаю этого свидания. Мне очень хочется сохранить ее образ в моей памяти в числе немногих утешительных воспоминаний, и я не хочу пропустить этого случая: ибо слепота моя приближается. Молю бога, да подкрепит он ваше здоровье. В глубине души моей живет отрадное убеждение в полном вашем восстановлении. Еще дело не сделано, не кончено, и делатель не должен погибнуть... Долгое и трудное поприще вас ожидает!.. Константин мой меня сокрушает: он бездействует в лютой хандре (это между нами). Обнимаю вас крепко, горячо: сердце мое еще молодо!

Ваш друг *Сергей Аксаков*».

В ответ Гоголь писал:

«Рим. Октября 29 <1845>.

Уведомляю вас, добрый друг мой Сергей Тимофеевич, что я в Риме. Переезд и дорога значительно помогли; мне лучше. Климат римский подействует, если угодно богу, так же благосклонно, как и прежде. А потому вы обо мне не смущайтесь и молитесь. Уведомьте об этом также и маменьку мою. Я хотя и написал к ней письмо сей же час по приезде в Рим, и к ней первой, но вообще за письма мои к ней я сильно беспокоюсь. Двух или трех писем моих *сряду* она не получила. Два из этих писем были очень *нужны*. Это для меня неизъяснимо. Пропасть на почте, пожалуй, еще может одно письмо; но *сряду* два, писанные одно за другим — это странно. У маменьки есть неблагоприятели, которые уже не раз ее смущали какими-нибудь глупыми слухами обо мне, зная, что этим более всего можно огорчить ее. Подозревать кого бы то ни было грешно, но все не худо бы об этом разведать каким-нибудь образом, дабы узнать, как руководствоваться вперед; последние письма я даже не смел адресовать прямо на имя маменьки, но адресовал на имя одной ее знакомой, С. В. Капнист. Письмо, однакоже, из Рима было послано на ее собственное имя. Оно отдано мною здесь на почту 25 октября здешнего стиля. Об этом прошу вас, друг мой Сергей Тимофеевич,

уведомить маменьку немедленно или поручить кому-нибудь из ваших, кто с ней в переписке.

О себе, относительно моего здоровья, скажу вам, что холодное леченье мне помогло и заставило меня, наконец, увериться лучше всех докторов в том, что главное дело в моей болезни были нервы, которые, будучи приведены в совершенное расстройство, обманули самих докторов и привели было меня в самое опасное положение, заставившее не в шутку опасаться за самую жизнь мою. Но бог спас. После Греффенберга я съездил в Берлин нарочно с тем, чтобы повидаться с Шёнлейном, с которым прежде не удалось посоветоваться и который особенно талантлив в определении болезней. Шёнлейн утвердил меня еще более в сем мнении, подивился докторам, пославшим меня в Карлсбад и Гастейн. По его мнению, сильней всего поражены были у меня нервы в желудочной области, (в так называемой системе nervoso fascoloso), одобрил поездку в Рим, предписал вытиранье мокрой простыней всего тела по утрам, всякий вечер пилюлю, две какие-то гомеопатические капли поутру, а с началом лета и даже весной — ехать непременно на море, преимущественно северное, и пробыть там, купаясь и двигаясь на морском воздухе, сколько возможно более времени, — ни в каком случае не менее трех месяцев. Затем, обнимая как вас, так и все ваше милое семейство, остаюсь

Ваш *Гоголь*.

Адресуйте письма так: Via de la Croce, № 81, 3 piano».

Из-за усилившейся болезни глаз Аксаков уже не мог сам писать, а продиктовал ответ Гоголю; длинное письмо лишь в нескольких местах писано им собственноручно:

«1845. 22 ноября. Радонежье.

Как вы обрадовали меня, милый друг Николай Васильевич, письмецом своим из Рима от 29 октября (вероятно, нового стиля)! Хотя я питал в душе моей теплую веру и надежду, что милосердный бог подкрепит ваши силы и проявит на вас вновь свою великую милость: ибо еще не свершен ваш подвиг, не окончено дело; хотя

я ободрял этими словами и свою семью, горевавшую о вашем болезненном состоянии, и даже написал их в письме к Александре Осиповне, которая, в тревоге о вашем тяжелом положении, вошла со мною в переписку; но не без страха и внутреннего волнения повторял я утешительные слова сии!.. Будем молиться богу, чтоб он вполне восстановил ваши телесные и душевные силы. Мы уже знали через Надежду Николаевну, что ваша маменька получила от вас письмо через посторонние руки, из которого узнала, что прежние ваши письма пропали. Сообразив прежние обстоятельства, кажется, что пропажа их исходит из того же источника, из которого выходили разные вести о вас, много причинившие вашей маменьке горя. По-моему, это гнуснейшее злодейство; я глубоко возмущен им и, признаюсь, желаю, чтоб эти добрые люди получили достойную награду. Третьего дня моя Вера писала к вашей сестрице обо всем том, о чем вы желали известить их.

Мы живем в деревне тихо, мирно и уединенно; даже не предвидим, чтобы могла зайти к нам скука. Болезненное состояние нашей Оленьки продолжается, иногда несколько легче, иногда тяжелее: не смеем надеяться исцеления, но и за настоящее ее положение благодарим бога. Я ничего не вижу левым своим глазом, да и правым вижу нехорошо; но счел бы за великое благополучие, если бы мог сохранить этот остаток зрения во всю остальную мою жизнь. По первому зимнему пути, уступая желанию моего семейства, хочу съездить в Петербург для свидания с глазным доктором Кабатом, хотя крепко не хочется ехать. Ольга Семеновна моя часто прихварывает: теперь и у ней болит глаз; прочие все здоровы. Константин живет еще с нами; на днях будет возвращена из факультета его диссертация, которую профессора читали восемь месяцев. На следующей неделе он переедет жить в Москву, чтобы печатать и потом защищать на диспуте свой пятилетний труд: если он не будет совершенно искажен цензурой факультета и попечителя, то Москва услышит на диспуте много нового, и... мы испытаем много волнения и заочного беспокойства: ибо не поедем в Москву на это время. С одним из товарищей моих меньших сыновей, Погуляевым, мы послали вам

две стихотворные пиесы («Чиновник» и «Зимняя дорога») моего Ивана; сверток оставлен у Жуковского; когда ваше здоровье восстановится совершенно, то вытребуйте его и напишите мне голую правду.

Несколько месяцев тому назад началась у меня переписка с Александрой Осиповной. Разумеется, предметом содержания наших писем были вы; с первой строки она умела восстановить между собой и мной искреннюю короткость. В начале ноября она приехала в Москву, проезжая в Калугу; меня известили, и я ездил туда для свидания с нею; мы провели целый вечер в самых дружеских и откровенных разговорах большею частью о вас. Она намеревалась ехать к Троице и хотела непременно заехать к нам в деревню; но совершенное бездорожие помешало ей исполнить свое намерение. Я получил от нее письмо, в котором она пишет, что непременно будет у нас зимой или весной; я нетерпеливо хочу увидеться с ней в другой раз: одного свидания слишком недостаточно. Первое мое впечатление не во всем согласно с теми понятиями, которые я составил себе об этой необыкновенной женщине: многие черты не похожи на те, которые я придал заочно ее образу. Все это мне надобно согласить. Она захотела видеть Константина, и он был у ней в русском платье и бороде (на днях одно скидается, а другая сбривается); она с первого слова напала и на платье и на образ его мыслей. Константин твердо стоял и за то и за другое. По приезде в Калугу она так же просто и коротко обошлась с моим Иваном (нападая на его мысли, общие с братом), который, будучи так же неуступчив, сильно ей противоречил. Одно можно положительно заметить, что человеческие убеждения, хотя бы совершенно ложные, но тем не менее задушевные и серьезные, никогда не уступают самому шутливому нападению, а даже оскорбляются им. Она так умна, что, без сомнения, не думала перевоспитать этих молодых людей в первые полчаса первого своего в жизни с ними свидания. Я уверен, что она в иное время бывает иною и что даже не без намерения показалась тою, которою является по необходимости в этом душегубном омуте, называемом высшим кругом. Тихое прикосновение стали даже и к острому кремню не извлекает искр;

а ничтожные нападения и пустая светская речь, там где ее не ожидали, извлекла несколько огненных искр, ярко осветивших всю внутреннюю сторону моих юношей... Не могу долго писать: все зарябит в последнем глазу моем; а диктовать не умею. Я очень давно не видал ни Погодина, ни Шевырева, даже с Языковым не видался в последний приезд в Москву и потому ничего не могу вам сообщить о них; знаю только, что нет в Москве, между всеми нашими с вами общими знакомыми, и двух человек согласных между собою, а потому никакое литературное дело не может иметь успеха. Погодин печатает черт знает что в «Москвитянине»... ну, да лучше не говорить о нем. Лучше расскажу вам о нашем житье-бытье. От утреннего чая до завтрака и потом до позднего обеда все мы заняты своими делами: играют, рисуют, читают; Константин что-нибудь пишет, а я диктую. Я затеял писать книжку об уженье не только в техническом отношении, но в отношении к природе вообще; страстный рыбак у меня так же страстно любит и красоты природы; одним словом, я полюбил свою работу и надеюсь, что эта книжка не только будет приятна охотнику удить, но и всякому, чье сердце открыто впечатлениям раннего утра, позднего вечера, роскошного полдня и пр. Тут займет свою часть чудесная природа Оренбургского края, какою я зазнал ее назад тому сорок пять лет. Это занятие оживило и освежило меня. После обеда мы уже не расходимся по своим углам, а сидим вместе; весь вечер продолжается уж общее чтение. Каждый вечер мы читаем что-нибудь ваше по порядку выхода. Вчера кончили все; через несколько месяцев станем опять читать. Собирайте, укрепляйте ваши силы; да подействует на вас благодатно и плодотворно воздух вечного Рима. Пишите к нам, когда вам захочется: мы будем делать то же. Крепко обнимаю вас.

Ваш на всю жизнь *С. Аксаков.*

Оставил было местечко, чтоб жена приписала к вам, милый друг; но глаз у ней так разболелся, что она писать не может. Прощайте, усердно молим бога, чтоб он восстановил совершенно ваше здоровье. Еще раз вас обнимаю. Все мои вас обнимают и вам кланяются».

В пояснение строк: «Пропажа их <писем> исходит из того же источника, из которого выходили разные вести о вас, много причинившие вашей маменьке горя», и слов самого Гоголя: «У маменьки есть неблагоприятели, которые уже не раз ее смущали какими-нибудь глупыми слухами обо мне, зная, что этим более всего можно огорчить ее», следует привести выписку из письма Веры Сергеевны к М. Г. Карташевской от 31 мая 1849 года:

«Малороссы вообще, особенно в Миргороде, терпеть не могут Гоголя за то, что он их вывел в смешном виде, и говорят, что «Мертвые души» написаны на них же; всегда выдумывают на него всевозможные сказки, так что бедную мать часто мучат. Она сама нам рассказывала. Вообрази, что один раз один из них имел прежде дело с отцом Гоголя и потом мстил матери, и как он мстил! Она как-то долго не получала писем от сына из чужих краев. Этот господин написал ей, что сын ее сошел с ума или что-то такое — не помню. Хорошо, что она прочла это письмо после того, как получила письмо от сына».

Пропажа писем к матери не переставала беспокоить Гоголя, что видно еще из следующего письма его к Аксакову от 25 ноября 1845 года:

«Письмо Шевырева меня огорчило. Он заговорил вновь о том, о чем я просил, как о деле конченном, никогда не говорить мне. Вы меня все-таки больше знаете (вы утвердили обо мне свое мнение не из дел моих и поступков, а благородно поверили мне в душе своей, почувствовавши той же душой, что я не могу обмануть, не могу говорить одно, а действовать иначе); словом — вы меня все-таки больше знаете, а потому объясните Шевыреву, что все то, что я уже положил и определил в душе своей и произношу твердо, то уже не переменяется мною. Это не упрямство, но то решение, которое делается у меня вследствие многих обдумываний. Если ж он найдет исполнение моей просьбы несообразным своим правилам, то пусть передаст все в одни ваши руки. А вас прошу тогда выполнить, как святыню, мою просьбу. Не смущайтесь затруднительностью: бог вам поможет. Помните только то, что деньги не для бедных студентов, но

для бедных, слишком хорошо учащихся студентов, для талантов. Имя дающего должно быть навсегда скрыто, потому что у талантов чувствительней и нежней природа, чем у других людей. Многое может оскорбить <их>, хотя и не кажущееся другим оскорбительным. Когда же дающий скрыл свое имя — дар его примется твердо и смело, благословится во глубине благодарной души его неизвестное имя: ибо тот, кто скрыл свое имя, верно не попрекнет никогда своим благодеянием и не напомнит о нем. Не заботьтесь о том, что книга идет тупо, не хлопочите о ее распространении и берегите только экземпляры. Она пойдет потом вдруг; деньги тоже пока не нужны; таланты редки, и не скоро один после другого появляются. Нужно только, чтобы ни одна копейка не издержалась на что-нибудь другое, а собиралась бы и хранилась бы, как святая: обет этот дан богу. Объявите также Шевыреву, сколько я вам остался должен. Не бойтесь: я вам не заплачу этих денег, потому что я взял у вас их таким образом, как бы взял из моего собственного кармана. Но Шевыреву нужно объявить: он, кажется, подозревает, что я вам должен гораздо больше. Хотел было попенять вас за то, что пишете весьма мало о Константине Сергеевиче, но вижу в то же время, что это более следует сделать ему, нежели вам; до меня доходят только временами *слухи*, которые, как известно, даже и тогда бывают нелепы, когда бывают основательны. Передайте ему это маленькое письмецо и пришлите мне что-нибудь из стихов Ивана Сергеевича. Мне хвалили очень его «Зимнюю дорогу». Пришлите ее и все то, что ни было им написано в последнее время. Прилагаю вновь письмо к маменьке и вновь прошу вас переслать к ней; я все еще боюсь пропажи писем. Ольгу Семеновну благодарю много за ее милую приписку. Здоровье мое хотя и стало лучше, но все еще как-то не хочет совершенно устанавливаться. Чувствую слабость и, что всего непонятнее, до такой степени зябкость, что не имею времени сидеть в комнате: должен ежеминутно бегать, согреваться; едва же согреюсь и приду, как вмиг остываю, хотя комната и тепла, и должен вновь бежать согреваться. В такой беготне проходит почти весь день, так что не имеется времени даже написать письма, не

только чего другого. Но о недугах не стоит, да и грех говорить: если они даются, то даются на добро. А потому помолитесь и всю вашу семью попросите помолиться, и все, кто ни молились обо мне, да помолятся вновь, да обратится все в добро и да пошлет господь бог попутный ветр моему делу и труду. Затем прощайте, обнимаю вас!

Ваш *Г.*

Адрес мой: Via de la Croce, № 81, 3 piano».

Наступивший 1846 год не оправдал надежд на выздоровление Гоголя. За этот год сохранилось мало его писем к С. Т. Аксакову. Вот одно из них:

«1846. Рим. 23 марта.

Письмо ваше от 23 генваря я получил. Благодарю вас много за присылку стихов Ивана Сергеевича. В них много таланта, особенно в первом, то есть в стихах, начинающихся так:

«Среди удобных и ленивых,
Упорно-медленных работ...»

Я удивляюсь только, почему они лучше последних, тогда как бы следовало быть последним лучше первых: человек должен идти вперед. Прежних стихов, вами посланных к Жуковскому, я не получил. Жуковский не упоминает даже ни слова в письмах своих, была ли какая-нибудь к нему посылка на мое имя. Я послал, однакож, к нему запрос, на который доселе еще нет ответа. Благодарю также Ольгу Семеновну за сообщение прекрасной проповеди Филарета, которую я прочел с большим удовольствием. Насчет недугов наших скажу вам только то, что, видно, они нужны и нам всем необходимы. А потому как ни тяжко переносить их, но, скрепя сердце, возблагодарим за них вперед бога. Никогда так трудно не приходилось мне, как теперь; никогда так болезненно не было еще мое тело. Но бог милостив и дает мне силу переносить, дает силу отгонять от души хандру, дает минуты, за которые не знаю и не нахожу слов, как благодарить. Итак, все нужно терпеть, все переносить и

всякую минуту повторять: «Да будет и да совершится его святая воля над нами!» Покамест прощайте до следующего письма. Зябкость и усталость мешают мне продолжать, хотя я и желал бы вам писать более. Доселе изо всех средств, более мне помогавших, была езда и дорожная тряска; а потому весь этот год обрекаю себя на скитание, считая это необходимым и, видно, законным определением свыше. Летом полагаю объездить места, в которых не был, в Европе северной, на осень — в южную, на зиму — в Палестину, а весной, если будет на то воля божья, в Москву; а потому следующие письма адресуйте к Жуковскому. А всех вообще просите молиться обо мне, да путешествие мое будет мне во спасенье душевное и телесное и да успею, хотя во время его, хотя в дороге, совершить тот труд, который лежит на душе. Пусть Ольга Семеновна об этом помолится и все те, которые любят молиться и находят усладу в молитвах. Прощайте, друг мой. Обнимаю всех вас

Н. Гоголь».

Другое письмо Гоголя свидетельствует о долгом молчании Аксакова и относится уже к середине ноября 1846 года:

«Что вы, добрый мой, замолчали, и никто из вас не напишет о себе ни словечка? Я, однакож, знаю почти все, что с вами ни делается: чего не дослышал слухом, то дослышала душа. Принимайте покорно все, что ни посылается нам, помышляя только о том, что это посылается тем, который нас создал и знает лучше, что нам нужно. Именем бога говорю вам: все обратится в добро. Не вследствие какой-либо системы говорю вам, но по опыту. Лучшее добро, какое ни добыл я, — добыл из скорбных и трудных моих минут. И ни за какие сокровища не захотел бы я, чтобы не было в моей жизни скорбных и трудных состояний, от которых ныла вся душа и недоумевал ум помочь. Ради самого Христа, не пропустите без вниманья этих слов моих. Адресуйте мне в Неаполь. Раньше генваря последних чисел я не думаю подняться в Иерусалим.

Ваш *Г.*».

Сохранились за это время выписки из писем Веры Сергеевны к М. Г. Карташевской:

От 7 апреля. «Недавно пересылала нам Смирнова письмо от Гоголя; он пишет, что проведет все лето в дороге, что ему необходимо нужно; что поедет в Турцию, в Иерусалим; что он теперь, несмотря на свои физические страдания, испытывает чудные минуты; что его страдания самые необходимы для его труда; и по всему видно, что труд его уже почти готов; он просит всех молиться за него».

От 29 июля. «В 88-м № Московской газеты напечатана прекрасная, занимательная статья Гоголя, которая нас порадовала во многих отношениях; видно, что он теперь бодр и занят своим трудом. Эта статья — по случаю перевода Жуковским «Одиссеи». Может быть, Гоголь и ошибается насчет достоинства перевода и даже насчет того впечатления, которое произведет «Одиссея», но статья его не менее от того глубока и замечательна».

От 26 сентября. «Я тебе еще не писала, что на днях должно выйти новое сочинение Гоголя, содержание которого неизвестно; оно печатается под величайшим секретом в Петербурге по его поручению; ждем и нетерпеливо, что может оно заключать? У нас же прошли слухи, что будто это отрывки из его переписки с друзьями, что будто он сжег второй том «Мертвых душ» и так далее; слухи, по которым должно заключить, что он не совсем в здравом уме, по крайней мере слишком односторонен».

От 3 декабря. «Гоголь или болен, или потерял здравый смысл, живя так долго один в землях чужих. Может быть, даже и влияние, ему самому незаметное, католицизма, хотя не нарушая форм православия, дает этот странный характер его религиозному направлению, которое, наконец, овладело им до такой степени, что художник исчезает. Это так грустно и нам, даже несмотря на наши собственные невеселые обстоятельства. Отесенька так волновался и огорчался, что мы не допускали даже разговоров о Гоголе. Несмотря на наши все убеждения, отесенька, хотя не вдруг, продиктовал письмо

к Гоголю, вполне откровенное, и столько сильное и прекрасное, что, если в Гоголе осталась капля здравого смысла, оно должно его поразить и образумить. Вообрази, что он прислал к нам к четвертому и пятому изданию «Ревизора» «Предуведомление», которое состоит вот в чем: Гоголь назначает деньги, вырученные за «Ревизора», в пользу бедных, особенно мелких чиновников. Он просит всех читателей разузнать о бедных и сообщать об них сведения лицам, избранным им на это дело, и сообщать не только письменно, но и лично. Лица же эти обязаны разузнавать о причине бедности и даже давать наставления и употреблять даже священников на то. Лица же эти почти все наши знакомые: именно, Елагина, Свербеева и я, — как тебе это покажется, — несколько и мужчин; и так же в Петербурге. В своем предисловии к книге, которая должна выйти в Петербурге, он объявляет, что у него не остается манускриптов, что он сжег все свои бумаги и т. д.».

От 27 декабря. «Об Гоголе слухи все не лучше. Говорят, он еще хочет издать книгу о русском духовенстве, — не знаю, правда ли? Отесенька с тем и писал письмо к Плетневу, чтоб остановить печатание всех этих нелепостей, но Плетнев так ограничен, что не понял или не хочет понять всей этой нелепости, и говорит: нам порукой Жуковский, который одобрил все намерения Гоголя. Письмо отесеньки к Гоголю у нас есть, отесенька его никому почти не показывал, для того чтобы Гоголь не обиделся, но тебе, разумеется, показал бы. Что-то он будет отвечать! Мы мало имеем надежды на то, чтоб оно произвело благодетельное на него влияние; то есть, чтоб заставило его взглянуть здравыми глазами на все свои действия. Этот взгляд, эти мысли глубоко вкоренились в нем и слишком согласны вообще с его странным характером. Говорят даже, будто он целые дни проводит с монахами, но мы этому решительно не верим; он, напротив, сохранил все формы православия, принявши дух религии католической, — потому что все это желание проповедовать, обращать, налагать какие-то внешние формы и для молитвы и для благотворительности — все это в духе католическом, а не в нашем».

К этим строкам можно прибавить еще выписки из писем С. Т. Аксакова к сыну Ивану в Калугу.

От 26 августа 1846 г. «Мы получили верное и секретное известие из Петербурга, что там печатается целая книга, присланная от Гоголя: «Отрывки из писем, или Переписка с друзьями» (названия хорошенько не помню). Вероятно, там помещено много из его писем к А. О. <Смирновой>, к Языкову и ко мне. Между прочим, там Гоголь признает совершенную ничтожность всего им написанного и говорит, что изорвал продолжение «Мертвых душ»; объявляет, что едет в Ерусалим и делает какое-то завещание России. Плетнев печатает эту книгу в возможном секрете и потому не говорит об этом никому ни слова. Без сомнения, А. О. должна это знать. Увы! исполняется мое давнишнее опасение! религиозная восторженность убила великого художника и даже сделает его сумасшедшим. Это истинное несчастие, истинное горе».

От последних чисел ноября. «Я написал и послал сильный протест к Плетневу, чтобы не выпускал в свет новой книги Гоголя, которая состоит из отрывков писем его к друзьям и в которой точно есть завещание к целой России, где Гоголь просит, чтоб она не ставила над ним никакого памятника, и уведомляет, что он сжег все свои бумаги. Я требую также, чтобы не печатать «Предуведомления» к пятому изданию «Ревизора»: ибо все это с начала до конца чушь, дичь и нелепость, и если будет обнародовано, сделает Гоголя посмешищем всей России. То же самое объявил я Шевыреву. Не обязывая их к полному согласию со мною, я убеждаю их написать Гоголю с совершенной откровенностью, что они думают. Сам я начал диктовать большое письмо к Гоголю, где я высказываю ему беспощадную правду. Очень жаль, что диктовка этого письма, сильно меня волнуя, увеличивает мои страдания, что и заставляет диктовать понемногу: оно потеряет свою цельность и энергию. Если Гоголь не послушает нас, то я предлагаю Плетневу и Шевыреву отказаться от исполнения его поручения. Пусть он находит себе других палачей».

От 3 декабря. «Я уведомил тебя, что писал Плетневу; вчера получил от него неудовлетворительный ответ. Письмо к Гоголю лежало тяжелым камнем на моем

сердце; наконец, в несколько приемов я написал его. Я довольно пострадал за то, но согласился бы вытерпеть вдесятеро более мучения, только бы оно было полезно, в чем я сомневаюсь. Болезнь укоренилась, и лекарство будет не действительно или даже вредно; нужды нет, я исполнил свой долг как друг, как русский и как человек».

Об этом времени и по этому поводу есть еще особый рассказ С. Т. Аксакова, составляющий выдержку из его воспоминаний, которые были им отданы П. А. Кулишу.

«В конце 1846 года, во время жестокой моей болезни, дошли до меня слухи, что в Петербурге печатается «Переписка с друзьями», мне даже сообщили по нескольку строк из разных ее мест. Я пришел в ужас и немедленно написал к Гоголю большое письмо, в котором просил его отложить выход книги хотя на несколько времени. На это письмо я получил от Гоголя ответ уже в 1847 году... Из этого ответа видно, что если мое письмо и поколебало Гоголя, то он не хотел в этом сознаться; а что он поколебался, это доказывается отменением некоторых распоряжений его, связанных с изданием «Ревизора с Развязкой». На них я нападал всего более, но об этом говорить еще рано. Между тем мне прочли кое-как два раза его книгу (я был еще болен и ужасно страдал). Я пришел в восторженное состояние от негодования и продиктовал к Гоголю другое небольшое, но жестокое письмо. В это время Д. Н. Свербеев, в письме ко мне, сделал несколько очень справедливых замечаний. Я послал и его письмо вместе с своим к Гоголю».

Вот первое письмо, продиктованное С. Т. Аксаковым:

«9 декабря 1846 г.

Давно, очень давно надобно было писать к вам. Давно душа моя рвалась излиться в вашу душу; но с февраля прошедшего года я жестоко страдаю и только летом имею отдых, как будто для того, чтоб собраться с силами; с 1-го же октября по настоящее число декабря я страдаю постоянно. Но главное препятствие состояло не в этом: при всяком ослаблении болезни я думаю и думал об вас и часто говорю мысленно с вами; итак, стоило только эти мысли положить на бумагу, и это-то

меня до сих пор останавливало. Я хочу говорить с вами так глубоко откровенно, что только мой голос или моя рука имеет право произнести или написать такие речи; а я с трудом могу подписать мое имя! Необходимость заставила меня употребить Константина, такого человека, который любит вас и предан вам беспредельно. Кажется, вы не должны оскорбиться этим.

Уже давно начало не нравиться мне ваше религиозное направление. Не потому, что я, будучи плохим христианином, плохо понимал его и оттого боялся; но потому, что проявление христианского смирения казалось мне проявлением духовной гордости вашей. Многие места в ваших письмах ко мне меня смущали; но они были окружены таким блеском поэзии, такою искренностью чувства, что я не смел предаться, не смел поверить моему внутреннему голосу, их охуждавшему, и старался перетолковать свое неприятное впечатление в благоприятную для вас сторону. Я бывал даже увлечен, ослеплен вами и помню, что один раз написал к вам горячее письмо, истинно скорбя о том, что я сам, как христианин, неизмеримо далек от того, чем бы я мог быть.

Между тем ваше новое направление развивалось и росло. Опасения мои возобновились с большей силой: каждое ваше письмо подтверждало их. Вместо прежних дружеских, теплых излияний начали появляться наставления проповедника, таинственные, иногда пророческие, всегда холодные и, что всего хуже, полные гордыни в рубище смирения. Я мог бы доказать слова мои многими выписками из ваших писем, но считаю это излишним и слишком тягостным для себя трудом. Вскоре прислали вы нам при самом загадочном письме душеспасительное житие Фомы Кемпийского с подробным рецептом: как, когда и поскольку употреблять его, обещая нам несомненный переворот в духовной жизни нашей... Опасения мои превратились в страх, и я написал вам довольно резкое и откровенное письмо. В это время меня начинала постигать ужасная беда: я терял безвозвратно зрение в одном глазу и начинал чувствовать ослабление его в другом. Отчаяние овладевало мною. Я излил скорбь мою в вашу душу и получил в ответ несколько сухих и холодных строк, способных не умилить, не усладить страж-

дущее сердце друга, а возмутить его. После того вы были долго больны сами, и вскоре после вашего медленного выздоровления начались мои мучительные страдания, и теперь продолжающиеся. Немного было предметов, возбуждавших мое душевное участие; но вы были из первых. Телесное здоровье ваше, как видно, поправилось, и деятельность возобновилась; но какая деятельность? Каждое ваше действие было для меня новым ударом, и один другого сильнейшим. Статья ваша, напечатанная в «Московских ведомостях» о переводе «Одиссеи», заключая в себе много прекрасного, в то же время показывала ваш непростительно ошибочный взгляд на то действие, какое вы ему предсказываете с самоуверенностью, догматически. Похвалы ваши переводу превзошли не только меру, но и самую возможность достоинства такого труда. Одни видели в этом поэтическое увлечение, другие — пристрастие дружбы; но я знал вас хорошо: ясность и глубина взгляда и верность суда, даже в предметах, мало вам известных, были отличительными вашими качествами, и я, посреди похвал и восклицаний ваших друзей и почитателей, горестно молчал и, тоскуя, думал о будущем. Предисловие ваше ко второму изданию «Мертвых душ» поразило меня глубже, и когда Шевырев читал мне его, то мои стенания от физических мучений заменялись стенаниями душевными, и я тогда же предлагал не печатать вашего объяснения с читателями. В коротких словах скажу вам заключение, которое выведет из него здравый толк простого русского человека. «*Кой черт, — скажет он, — сочинитель сам признается, что плохо знает Русь, и для того, чтобы избежать промахов во втором томе своего сочинения, почти пять лет живет за границей, да, видно, и еще хочет там оставаться, потому что просит нас замечать его промахи, описывать нравы наши, обычаи и вообще весь русский быт и все это пересылать к нему через петербургских и московских корреспондентов! Он, видно, хочет, живя на чужбине и с каждым днем забывая то, что знал о святой Руси, чужими руками жар загребать*». Нужно ли говорить, что скажут те люди, которые понимают, как ложна мысль, будто из мертвых описаний житейских фактов и анекдотов может постигаться жизнь и дух об-

ширнейшей, разнообразнейшей страны и великого народа, в ней живущего. Вслед за этим разнеслись темные слухи, что в Петербурге печатается целая книга ваших сочинений, в которой помещена ваша переписка с друзьями, состоящая из проповедей и пророчеств, ваше признанье, что все написанное вами до сих пор ничтожно и не достойно внимания, ваше извещение, что вы сожгли продолжение «Мертвых душ» и что вы отправляетесь в Иерусалим, и, наконец, ваше завещание, чтоб не ставили никакого памятника на вашей могиле. Не зная, до какой степени справедливы эти слухи, тем не менее уже не я один, но многие из тех, для коих драгоценны вы и ваш великий талант, пришли в неописанный ужас. Враги ваши торжествовали, и уже Брамбеус торжественно и печатно объявил, что новый Гомер впал в мистицизм. Вскоре получили мы доказательства, после которых, по моему мнению, должно было всему поверить: мы получили для напечатания «Предуведомление» к четвертому изданию «Ревизора» в пользу бедных и новую Развязку. Друг мой, где же то христианское смирение, которое велит делать добро так, чтоб шуйца не ведала, что творит десница? Вы всенародно, в услышание всей России, устраиваете свое благотворительное общество, назначаете поименно членов оного и с подробностью предписываете им образ их действий, невозможный в исполнении, несообразный ни с чем до последней крайности. Как вы могли подумать, что лица, назначаемые вами, особенно женщины, могли быть так неразборчивы, так нескромны, что согласились бы принять публичные обязанности благотворения, вами на них возлагаемые?.. Разумеется, никто не согласится, и ваше «Предуведомление» уничтожается само собою. Но где же ваш прежний ясный и здравый взгляд на публичность, гласность в деле благотворения? Давно ли вы сами поручали такие дела Шевыреву и мне под условием глубокой тайны? Этой тайны не знают даже наши семейства. Наконец, обращаюсь к последнему вашему действию — к новой Развязке «Ревизора». Не говорю о том, что тут нет никакой развязки, да и нет в ней никакой надобности; но подумали ли вы о том, каким образом Щепкин, давая себе в бенефис «Ревизора», увенчает сам себя каким-то венцом, поднесенным

ему актерами? Вы позабыли всякую человеческую скромность. Вы позабыли, вы уже не знаете, как приняла бы все это русская образованная публика. Вы позабыли, что мы не французы, которые готовы бессмысленно восторгаться от всякой эффектной церемонии. Но мало этого. Скажите мне, ради бога, положа руку на сердце: неужели ваши объяснения «Ревизора» искренни? Неужели вы, испугавшись нелепых толкований невежд и дураков, сами святотатственно посягаете на искажение своих живых творческих созданий, называя их аллегорическими лицами? Неужели вы не видите, что аллегория внутреннего города не льнет к ним, как горох к стене; что название Хлестакова светскою совестью не имеет смысла, ибо принятие Хлестакова за ревизора есть случайность? Вы некогда обвиняли меня в неполной искренности, вы требовали беспощадной правды — вот она. Если выражения мои резки, то вы, зная меня, не должны ими оскорбиться; но берегитесь подумать, что это вспышка моей горячей, страстной, как вы называете, натуры, — вы жестоко ошибетесь. Пятый год душа моя наполняется этими чувствами и убеждениями, и, наконец, переполнилась мера. Посердитесь на меня, лишите меня вашей дружбы, но внемлите правде, высказанной мною».

Ответ Гоголя прибыл уже в 1847 году.

«Неаполь. 1847. Генваря 20, нового стиля.

Я получил ваше письмо, добрый друг мой Сергей Тимофеевич. Благодарю вас за него. Все, что нужно взять из него к соображению, взято. Сим бы следовало и ограничиться; но так как в письме вашем заметно большое беспокойство обо мне, то я считаю нужным сказать вам несколько слов. Вновь повторяю вам еще раз, что вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду. Я был только скрытен, потому что был неглуп, — вот и все. Причиной нынешних ваших выводов и заключений обо мне (сделанных как вами, так и другими) было то, что я, понадеявшись на свои силы и на (будто бы) совершившуюся зрелость свою, отважился заговорить о том, о чем бы следовало до времени

еще немножко помолчать, покуда слова мои не придут в такую ясность, что и ребенку стали бы понятны. Вот вам вся история моего мистицизма. Мне следовало несколько времени еще поработать в тишине, еще жечь то, что следует жечь, никому не говорить ни слова о внутреннем себе и не откликаться ни на что, особенно не давать никакого ответа моим друзьям насчет сочинений моих. Отчасти неблагоразумные подталкиванья со стороны их, отчасти невозможность видеть самому, на какой степени собственного своего воспитанья нахожусь, были причиной появления статей, так возмутивших дух ваш. С другой стороны, совершилось все это не без воли божией. Появление книги моей, содержащей переписку со многими весьма замечательными людьми в России (с которыми я бы, может быть, никогда не встретился, если бы жил сам в России и оставался в Москве), нужно будет многим (несмотря на все непонятные места) во многих истинно существенных отношениях. А еще более будет нужно для меня самого. На книгу мою нападут со всех углов, со всех сторон и во всех возможных отношениях. Эти нападения мне теперь слишком нужны: они покажут мне ближе *меня самого* и покажут мне в то же время *вас*, то есть *моих читателей*. Не увидевши яснее, что такое в настоящую минуту я сам и что такое мои читатели, я был бы в решительной невозможности сделать дельно свое дело. Но это вам покуда не будет понятно; возьмите лучше это просто на веру; вы чрез то останетесь в барышах. А чувств ваших от меня не скрывайте никаких! По прочтении книги тот же час, покуда еще ничто не простыло, изливайте все наголо, как есть, на бумагу. Никак не смущайтесь тем, если у вас будут вырываться жесткие слова: это совершенно ничего; я даже их очень люблю. Чем вы будете со мной откровеннее, тем в бо̀льших останетесь барышах. Руку для того употребляйте первую, какая вам подвернется; кто почетче и побойчее пишет, тому и диктуйте. Секретов у меня в этом отношении нет никаких. Один только секрет и был, о котором я просил вас никогда даже и мне не напоминать и о котором вы неблагоразумно упомянули в вашем письме. Сами сказали, что о нем и семейство ваше не знает, и дали написать эти слова не вашей

руке. Это нехорошо. Если вы почувствовали надобность упомянуть об этом деле для того, чтобы сделать сравнение с распоряжением по части продажи «Ревизора» (которого издание и представление мною отложено), то лучше было обойтись просто, без этого сравнения, тем более, что оно совсем неверно и невпопад. Есть дела, которые действительно нужно производить так, чтобы и другая рука наша не видела того, и есть дела, которые нужно производить открыто, в виду всех, которые суть просто наш непременный долг, а не подвиг благотворения. Если почти все наши писатели издавали книги для бедных, если даже Булгарин, Греч и многие другие, укоряемые в корыстолюбии, производили в пользу бедных пожертвованья, публичные чтения и тому подобные, — почему же я не могу также и что же я за исключение? и отчего копейка от другого есть долг, а от меня подвиг благотворения? Друг мой, вы не взвесили как следует вещи и слова ваши вздумали подкреплять словами самого Христа. Это может безошибочно делать один только тот, кто уже весь живет во Христе, внес его во все дела свои, помышленья и начинанья, им осмыслил всю жизнь свою и весь исполнился духа Христова. А иначе — во всяком слове Христа вы будете видеть свой смысл, а не тот, в котором оно сказано. Но довольно с вас. Не позабудьте же: откровенность во всем, что ни относится в мыслях ваших до меня! Обнимаю вас! Передайте поклон всем вашим.

Вас очень любящий *Г.*».

До получения ответа от Гоголя Аксаков успел уже прочитать «Выбранные места из переписки с друзьями» и под свежим впечатлением этой книги продиктовал два негодующих письма: одно в Калугу, к сыну Ивану, который сочувственно относился к «Выбранным местам», другое — к самому Гоголю. Вот первое из них:

«14 января 1847 г.

Сейчас получил письмо твое, милый друг Иван, от 11 января. Не будучи в состоянии заниматься теперь никаким другим делом, кроме разговора с тобою, я принимаюсь диктовать письмо, хотя оно пойдет еще послезавтра. Письмо твое не изумило, не поразило меня, а

просто уничтожило на некоторое время. Я также прочел всю книгу Гоголя. Если бы я не имел утешения думать, что он на некоторых предметах помешался, то жестким бы словом я назвал его. Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости, а не христианское смирение. Я никогда не прощу ему выходок на Погодина: в них дышит дьявольская злоба, а он изволит утопать в сладости любви христианской. Меня оскорбило письмо его к Веневитинову, которое и написать совестно, не только напечатать, которое нашпиговано *ангельскими устами* и *небесным голосом,* где определяется чисто католическое воззрение на красоту женщины и употребление оной и, между прочим, говорится о *рукоплесканиях на небесах.* Я не мог читать без отвращения печатное завещание человека живого и здорового, в каждом слове которого дышит неимоверная гордость и опять-таки злоба на Погодина, где эстамп «Преображения господня» так и ложится рядом с его портретом. Боже мой, какое впечатление произведет это завещание на его бедную мать! Я не мог без горького смеха слушать его наставление помещикам, как надобно им пахать, жать и косить впереди своих крестьян; как заставлять их прикладываться к некоторым словам священного писания, *тыкая* в них пальцем, как чинить суд и расправу и как уверить умный русский народ, что помещик для того только справляет барщину, чтоб они в поте лица снедали хлеб свой; как раскладывать свой годовой доход, которого никогда при начале года в руках не бывает, на семь куч и если в куче, назначенной для благотворения, недостает денег, то дать людям умирать возле себя, а из другой кучи не брать! Я не мог без жалости слышать этот язык, пошлый, сухой, вялый и безжизненный, которым ты упиваешься, и только статья о русской литературе и литераторах и письмо об Иванове напомнили мне прежнего Гоголя. Неужели не поразило тебя выражение: *прекрасный небесный отец наш* и рядом: *прекрасный друг мой* (говоря о Жуковском)? Я теперь уже готов услышать от тебя, что статья, которой не называю, непосредственно вытекает из духа христианского. Этот дух по крайней мере неглуп. Я прочел книгу и отдал читать другим; пишут теперь на память, которая у меня

плоха. Я уверен, что найду в ней десяток подобных доказательств. Я не буду знать, что мне возразить тому человеку, который скажет: это хохлацкая шутка; широко замахнулся, не совладел с громадностью художественного исполнения второго тома, да и прикинулся проповедником христианства.

Мы все сбираемся писать к Гоголю, более или менее в одинаковом смысле. Разумеется, все, что я написал тебе, я не только никому не скажу, но и не позволю сказать при мне, кроме истинных друзей Гоголя.

16 января. Обстоятельства переменяются. Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его. Шевырев даже хочет напечатать беспощадный разбор его книги. Дело в том, что хвалители и ругатели Гоголя переменились местами: все мистики, все ханжи, все примиряющиеся с подлою жизнию своею возгласами о христианском смирении, весь скотный двор Глинки, а особенно женская свита К. В. Новосильцевой утопают в слезах и восхищении. Я думал, что вся Россия даст ему публичную оплеуху, и потому не для чего нам присоединять рук своих к этой пощечине; но теперь вижу, что хвалителей будет очень много, и Гоголь может утвердиться в своем сумасшествии. Книга его может быть вредна многим. Вчера был у меня Погодин. Он признается, что в первые минуты был оскорблен до глубины души (Шевырев сказывал, что он горько плакал), но скоро успокоился и теперь искренно смеется. Он хочет написать к Гоголю: «*Друг мой, Иисус Христос учит нас подставлять правую ланиту, получив пощечину в левую; но где же учит он давать публичные оплеухи?*» Вся его книга проникнута лестью и страшной гордостью под личиной смирения. Он льстит женщине, ее красоте, ее прелестям; он льстит Жуковскому, он льстит власти. Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас. Может ли быть безумнее гордость, как требование, чтоб, по смерти его, его завещание было немедленно напечатано во всех журналах, газетах и ведомостях, дабы никто не мог отговориться неведением оного? Чтоб не ставили ему памятника, а чтоб каждый вместо того сделался *лучшим?* Чтоб все исправлялись о *имени его?..* Все это надобно повершить

фактом, который равносилен *41-му числу мартобря* (в «Записках сумасшедшего»)... Сейчас получили письмо твое от 14 января и вместе с ним письмо от матери Гоголя, которая еще не получила его книги, но получила его завещание... Добрый и нежный сын! Книги Гоголя в продаже нет, ибо всего было прислано тридцать пять экземпляров, а тысяча двести выслано из Петербурга в прошедший понедельник; итак, ты не скоро еще ее получишь. Я уверен, что мысли твои о книге Гоголя должны измениться. Ты обольстил сам себя предположением чистого христианского направления в Гоголе. Что Александра Осиповна? Если ты захочешь, то можешь показать ей или прочесть в моем письме все, касающееся до книги Гоголя. Я даже желал бы сообщить ей письмо мое к нему, читанное тобою. Неужели необыкновенный ум этой женщины не поймет меня? Целую, обнимаю и благословляю тебя. Отец и друг *С. Аксаков*».

А вот другое письмо С. Т. о «Выбранных местах», адресованное Гоголю, от 27 января 1847 года:

«Друг мой! Если вы желали произвести шум, желали, чтоб высказались и хвалители и порицатели ваши, которые теперь отчасти переменились местами, то вы вполне достигли своей цели. Если это была с вашей стороны шутка, то успех превзошел самые смелые ожидания: все одурачено! Противники и защитники представляют бесконечно разнообразный ряд комических явлений... Но, увы! нельзя мне обмануть себя: вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге... Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, — оскорбляете и бога и человека.

Если б эту книгу написал обыкновенный писатель — бог бы с ним! Но книга написана вами; в ней блещет местами прежний могучий талант ваш, и потому книга ваша вредна: она распространяет ложь ваших умствований и заблуждений. Издали предчувствовал я эту

беду, долго горевал и думал встретить грозу спокойно; но когда разразился удар, то разлетелось мое разумное спокойствие. О, недобрый был тот день и час, когда вы вздумали ехать в чужие края, в этот Рим, губитель русских умов и дарований! Дадут богу ответ эти друзья ваши, слепые фанатики и знаменитые маниловы, которые не только допустили, но и сами помогли вам запутаться в сети собственного ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христианское смирение. Горько убеждаюсь я, что никому не проходит безнаказанно бегство из отечества: ибо продолжительное отсутствие есть уже бегство — измена ему.

Я не хотел писать к вам до получения ответа на письмо мое от 9 декабря, но сердце не вытерпело. Вероятно, вы получите много писем. Вы просили печатно всех сказать свое мнение откровенно, и многие это сделают. Прилагаю письмо Д. Н. Свербеева, которое он пишет почему-то ко мне, а не прямо к вам. Прощайте. Обнимаю вас и молю бога, чтоб он укрепил ваше здоровье и успокоил ваш дух. Я не страдаю от своей болезни и понемногу оправляюсь.

Друг ваш *С. Аксаков.*

P. S. Я не хотел и не хочу касаться до частностей вашей книги, но не могу умолчать о том, что меня всего более оскорбляет и раздражает: я говорю о ваших злобных выходках против Погодина. Я не верил глазам своим, что вы даже в завещании (я верю вам, что вы писали точно завещание, а не сочинение, хотя этому поверить довольно трудно), расставаясь с миром и со всеми его презренными страстями, позорите, бесчестите человека, которого называли другом и который точно был вам друг, но *по-своему*. Погодин сначала был глубоко оскорблен, мне сказывали даже, что он плакал; но скоро успокоился. Он хотел написать к вам следующее: «Друг мой! Иисус Христос учит нас, получив оплеуху в одну ланиту, подставлять со смирением другую; но где же он учит давать публичные оплеухи?» Желал бы я знать, как бы вы умудрились отвечать ему.

Мой адрес: в Леонтиевском переулке, в доме Рюмина».

Едва только было отправлено это письмо, как прибыл ответ Гоголя на письмо от 9 декабря 1846 г. из Неаполя (см. выше, стр. 338). Об этом ответе С. Т. писал 17 февраля 1847 г. сыну Ивану; кроме того, об этом сохранилась и выписка из письма Веры Сергеевны к М. Г. Карташевской от 21 февраля 1847 г. Вот она:

«До выхода книги <«Выбранные места из переписки с друзьями»> отесенька никому не показывал письма своего к Гоголю; но после книги, видя, что для Гоголя не существует уже более никаких частных дружеских отношений, показал свое письмо и потом ответ его. Не осталось человека, который бы более или менее не был оскорблен им, и приговор был общий, что письмо хуже книги. Еще не получая ответа от Гоголя, отесенька не выдержал и написал ему несколько строк по прочтении его книги... Отесенька даже жалел, что послал его; но теперь доволен, потому что по получении такого ответа на первое письмо не был бы в состоянии написать ему о впечатлении, произведенном его книгою. Отесенька удивительно спокойно и кротко принял его ответ, но писать к нему с тою душевною горячею откровенностью, после такого ответа, разумеется, не в состоянии».

Вот выдержки из нескольких писем С. Т. к сыну Ивану:

От 23 января 1847 г. «О книге Гоголя надо говорить или писать много и долго: я читаю ее во второй раз и очень медленно. Благодаря бога я уже совершенно убежден в полной искренности сочинителя, и его духовное состояние объясняется для меня: он находится в состоянии перехода, всегда исполненного излишеств, заблуждений, ослеплений. Мне блещет луч надежды, что Гоголь выйдет победоносно из этого положения; но книга его чрезвычайно вредна: в ней все ложно, следственно и впечатления, будучи ложны... Самым близким и живым доказательством тому служишь ты сам... Говоря о примирении искусства с религией, он всеми словами и действиями своими доказывает, что художник погиб в нем; дай бог, чтобы это было только на время... Вчера вечером мне перечли письмо о *значении женщины в свете*. Большую статью надо написать на это письмо. Боже

мой, до какой степени оно противно духу христианскому! Это письмо не только католическое, но языческое; нигде так ярко не изобличается ложность направления Гоголя».

От 30 января. «Прочитав в другой раз статью о *лиризме наших поэтов*, я впал в такое ожесточение, что, отправляя к Гоголю письмо Свербеева, вместо нескольких строк, в которых хотел сказать, что не буду писать к нему письма об его книге до тех пор, пока не получу ответа на мое письмо от 9 декабря, написал целое письмо, горячее и резкое, о чем очень жалею... Вчера прочли мы, едва ли не в третий раз, письмо об Иванове, которое понравилось мне гораздо менее прежнего. Они оба погибают от лукавого мудрствования: верить надобно в простоте сердца. Это ужасная ошибка и даже дерзость, по-моему, мешать имя бога во все наши дела. Разумеется, всякий талант от бога; но мысль, что прежде надо сделаться святым, чтоб изобразить святое — нелепость. Из этого выйдет, что Иванов не кончит картины «Богоявления господня», а Гоголь — «Мертвых душ». Кто может осмелиться сказать самому себе: я теперь готов, я добродетелен, я свят? Много, много надобно говорить об этом. Я хочу переплесть книгу Гоголя с белыми листами, вновь перечитать ее и записать все мои замечания; эту книгу я отошлю к нему, разумеется с оказией. Я сделаю все, что может сделать друг для друга, брат для брата и человек с поэтическим чувством — теряющий великого поэта. До тех пор я не успокоюсь совершенно. Как мне больно слышать твои слова: *Все это может быть полезно людям... Просветленный художник уразумеет всю жизнь.* Какая мечта! Мы сходимся в одном с Александрой Осиповной Смирновой, что Гоголь не в состоянии кончить «Мертвые души».

От 6 и 8 февраля. «Книгу Гоголя мы прочли окончательно, иные статьи даже по три раза; беру назад прежние мои похвалы некоторым письмам или, правильнее сказать, некоторым местам: нет ни одного здорового слова, везде болезнь или в развитии, или в зерне». «Гоголь не перестает занимать меня с утра до вечера...»

От 17 февраля: «Я желаю, чтоб ты показал или прочел ей <А. О. Смирновой> все, что я писал о Гоголе. Я желал бы, чтоб все, мною написанное и сказанное о нем, было тогда же напечатано: ибо теперь, после его ответа на мое письмо, я уже не стану ни говорить, ни писать о нем. Ты не знаешь этого письма. Я перенес его спокойно и равнодушно; но самые кроткие люди, которые его прочли, приходили в бешенство».

Гоголь писал С. Т. Аксакову в ответ на письмо от 27 января:

«6 марта <1847>. Неаполь.

«Благодарю вас, мой добрый и благородный друг, за ваши упреки; от них хоть и чихнулось, но чихнулось во здравие. Поблагодарите также доброго Дмитрия Николаевича Свербеева и скажите ему, что я всегда дорожу замечаниями умного человека, высказанными откровенно. Он прав, что обратился к вам, а не ко мне. В письме его есть, точно, некоторая жестокость, которая была бы неприлична в объяснениях с человеком, не очень коротко знакомым. Но этим самым письмом *к вам* он открыл себе теперь дорогу высказывать с подобной откровенностью мне самому все то, <что> высказал вам. Поблагодарите также и милую супругу его за ее письмецо. Скажите им, что многое из их слов взято в соображение и заставило меня лишний раз построже взглянуть на самого себя. Мы уже так странно устроены, что по тех пор не увидим ничего в себе, покуда другие не наведут нас на это. Замечу только, что одно обстоятельство не принято ими в соображение, которое, может быть, иное показало бы им в другом виде, а именно: что человек, который с такой жадностью ищет слышать все о себе, так ловит все сужденья и так умеет дорожить замечаньями умных людей даже и тогда, когда они жестки и суровы, — такой человек не может находиться в *полном* и *совершенном* самоослеплении. А вам, друг мой, сделаю я маленький упрек. Не сердитесь: уговор был принимать не сердясь взаимно друг от друга упреки. Не слишком ли вы уже положились на ваш ум и непогрешительность его выводов? Делать *замечания* — это другое

дело, это имеет право делать всякий умный человек и даже просто всякий человек. Но выводить из своих замечаний *заключение* обо всем человеке — это есть уже некоторого рода самоуверенность. Это значит признать свой ум вознесшимся на ту высоту, с которой он может обозревать со *всех сторон* предмет. Ну что, если я вам расскажу следующую повесть? Повар вызвался угостить хорошим и даже необыкновенным обедом тех людей, которые сами не бывали на кухне, хотя и ели довольно вкусные обеды. Повар сам вызвался; ему никто не заказывал обеда. Он сказал только вперед, что обед его иначе будет сготовлен и потому потребуется больше времени. Что следовало делать тем, которым обещано угощение? Следовало молчать и ожидать терпеливо. Нет, давай кричать: «Подавай обед!» Повар говорит: «Это физически невозможно, потому что обед мой совсем не так готовится, как другие обеды, для этого нужно поднимать такую возню на кухне, о которой вы и подумать не можете». Ему в ответ: «Врешь, брат!» Повар видит, что нечего делать, решился, наконец, привести гостей самих на кухню, постаравшись, сколько можно было, расставить кастрюли и весь кухонный снаряд в таком виде, чтобы из него хотя какое-нибудь могли вывести заключенье об обеде. Гости увидели множество таких странных и необыкновенных кастрюль и, наконец, таких орудий, о которых и подумать бы нельзя было, чтобы они требовались для приуготовленья обеда, что у них закружилась голова. Ну, что, если в этой повести есть маленькая частица правды? Друг мой! вы видите, что дело покуда еще темно. Хорошо делает тот, кто снабжает меня своими замечаниями, все доводит до ушей моих, упрекает и склоняет других упрекать, но сам в то же время не смущается обо мне, а вместо того тихо молится в душе своей, да спасет меня бог от всех обольщений и самоослеплений, погубляющих душу человека. Это лучше всего, что он может для меня сделать, и, верно, бог за такие чистые и жаркие молитвы, которые суть лучшие благодеяния, какие может сделать на земле брат брату, спасет мою душу даже и тогда, если бы, повидимому невозвратно, одолели ее всякие обольщения. Но покуда прощайте. Передавайте мне все толки и суждения, какие

откуда ни услышите, и свои, и чужие, — первые, вторые, третьи и четвертые впечатления. Душевный поклон доброй Ольге Семеновне и всем вашим.

Весь ваш *Гоголь*.

Насчет Погодина есть также недоразумения, но, вероятно, он уже с вами об этом объяснился, потому что я ему писал подробно третьего дня, то есть 4 марта. К Шевыреву было также послано письмо от 4 марта...»

По поводу этого письма сохранилась выписка из письма Веры Сергеевны к М. Г. Карташевской от 2 апреля. В. С. Аксакова сообщает о получении от Гоголя нового письма, адресованного ее отцу.

«Это письмо совсем не похоже на предпоследнее, которое я тебе прислала. Гоголь опомнился и сам видит свои ошибки и признает их. Письмо это было для нас истинно радостной неожиданностью. Мы уже отчаялись в возможности достигнуть до него какими бы то ни было словами и советами, думали, что он оградил себя недосягаемой гордостью. Теперь же все не то; это я тебе говорю не только вследствие этого одного письма В одно время и даже после этого он написал уже несколько писем к разным лицам, и все они полны искреннего, простого признания своих заблуждений и смирения неподдельного.

Вообрази же себе его положение, когда он, поверивши всем упрекам и взглянувши беспристрастно на себя, увидал во многом, как истинны эти упреки и какую он сделал ошибку, напечатавши эту книгу. Вот его слова в одном письме: «Конечно, я никому не мог дать такой оплеухи как самому себе напечатанием этой книги»; и в другом месте: «Что ж делать, если уж мы так устроены, что не увидим своих недостатков, пока не укажут нам на них другие». Видно, что ему горько, глубоко больно слышать такие упреки и чувствовать, что он не прав, что сам обольстил себя; некоторые же упреки, которые он получает, столько оскорбительны, например упреки в тартюфстве, в двуличности, в обмане. Он также почувствовал, как оскорбил Погодина, и писал к нему самое нежное письмо. К Смирновой он пишет, что непременно

напечатает второй том «Мертвых душ»; он только умоляет всех писать к нему все мнения, и свои и чужие, о нем и его книге; говорит, что это ему необходимо нужно. Он теперь в душе своей унижен, а не то что унижается по произволу своей гордости. Его письма так искренни и просты — именно таковы, какие мог только написать человек в его положении. Он и оправдывает себя по-своему, и, разумеется, многие места отзываются его странными взглядами, от которых же не может он отказаться вдруг, это было бы неестественно; но он уже им не доверяет слепо».

О том же писал С. Т. Аксаков в письме к сыну Ивану от 28 марта:

«Не знаю, писал ли я тебе о самой радостной новости, о письмах Гоголя? Вот уже теперь четыре письма, написанные им с 4 марта: два к Шевыреву, одно ко мне и одно к Погодину, — и все эти письма писаны уже другим человеком! Уже нет ни высокомерного спокойствия, ни лицемерного смирения; но положение его ужасно. Кипяток последнего моего письма и ледяной холод письма Свербеева, обрушившиеся на него в одно и то же время, образумили и оскорбили его душу. Он благодарит меня, но в то же время негодует. Письмо его начинается так: «Благодарю вас, мой добрый и благородный друг, за ваши упреки! Хотя мне и чихнулось от вашего письма, но чихнулось во здравие!» Зато вся его нежность обратилась на Шевырева и Погодина: к последнему он пишет даже страстное письмо, что показывает еще продолжающееся болезненное состояние духа. Пусть он никогда ко мне не обратится, для меня это все равно. Для спасения Гоголя я готов сделаться и презренным орудием казни и отвратительнейшим палачом».

Вместо обычной оживленной переписки между Гоголем и Аксаковым теперь наступило долгое молчание. Первым его нарушил сам Гоголь. Он писал:

«Франкфурт. <Июля 10, 1847>.

Погодин мне сделал запрос: отчего я так давно не писал к вам и не сердит ли я на вас, Сергей Тимофеевич? Я к вам не писал, потому что, во-первых, вы сами

не отвечали мне на последнее письмо мое, а во-вторых, потому что вы, как я слышал, на меня за него рассердились. Ради самого Христа, войдите в мое положенье, почувствуйте трудность его и скажите мне сами: как мне быть, как, о чем и что могу я теперь писать? Если бы я и в силах был сказать слово искреннее — у меня язык не поворотится. Искренним языком можно говорить только с тем, кто сколько-нибудь верит нашей искренности. Но если знаешь, что пред тобою стоит человек, уже составивший о тебе свое понятие и в нем утвердившийся, тут у наиискреннейшего человека онемеет слово; не только у меня, человека, как вы знаете, скрытного, которого и скрытность произошла от неуменья объясниться. Ради самого Христа, прошу вас теперь уже не из дружбы. но из милосердия, которое должно быть свойственно всякой доброй и состраждущей душе, — из милосердия прошу вас взойти в мое положение; потому что душа моя изныла, как ни креплюсь и ни стараюсь быть хладнокровным. Отношения мои стали слишком тяжелы со всеми теми друзьями, которые поторопились подружиться со мной, не узнавши меня. Как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины — этого я и сам не могу понять! Знаю только, что сердце мое разбито и деятельность моя отнялась. Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами; но храни бог всякого от этой страшной битвы с друзьями! Тут все изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой! я изнемог. Вот все, что могу вам сказать теперь. Что же касается до неизменности моих сердечных отношений, то скажу вам, что любовь, более чем когда-либо прежде, теперь доступнее душе. Если я люблю и хочу любить даже тех, которые меня не любят, то как могу я не любить тех, которые меня любят? Но я прошу вас теперь не о любви. Не имейте ко мне любви, но имейте хотя каплю милосердия, потому что положенье мое, повторяю вам вновь, тяжело. Если бы вы вошли в него хорошенько, вы бы увидели, что мне трудней, нежели всем тем, которых я оскорбил. Друг мой, я говорю вам правду. Обнимаю вас от всей души.

Весь ваш *Г.*

Передайте поклон мой добрейшей Ольге Семеновне, а за нею Константину Сергеевичу и всем вашим. Не знаю сам, хорошо ли делаю, что пишу; может быть, и это письмо приведет вас в неудовольствие. Я теперь раскаиваюсь, что завел переписку с Погодиным. Хотя я только и думаю, принимаясь за перо, как бы не оскорбить его, но, однакоже, замечаю, что письма мои не приносят ему никакого успокоенья. При тех же понятиях, какие у него обо мне, ныне всякое слово с моей стороны обо мне самом может только его еще больше спутать. Друг мой, тяжело очутиться в этом вихре недоразумений! Вижу, что мне нужно надолго отказаться от пера во всех отношеньях и от всего удалиться...»

С. Т. Аксаков ответил:

«1847, июля 26. Подмосковная, Радонежье.

Я получил письмо ваше, милый друг Николай Васильевич, из Франкфурта от 10 июня. Оно меня очень огорчило, и я глубоко упрекаю себя, что так давно не писал к вам. Не знаю, почему Погодин сделал вам допрос: отчего вы так давно не пишете ко мне и не сердитесь ли на меня? Я ничего подобного ему не говорил. Я даже не ожидал от вас письма, потому что сам не отвечал вам на два. Прежде всего спешу уверить вас, что я никогда на вас не сердился (принимая это слово в настоящем его значении) и что я никогда не переставал верить искренности вашей. Грех тому опрометчивому человеку, который внушил вам такие мысли. Я подозреваю, что это сделала Смирнова: она случайно услыхала несколько строк из письма моего к сыну об вас, не поняла их и не могла понять хорошо, потому что они получали полный смысл в связи с другими, а в отрывке имели даже превратный смысл. Смирнова сделала горячую схватку с моим сыном, наговорила ему, мне и всему моему семейству много грубостей, сама получила их столько же и грозилась открыть вам глаза. Я вижу, она это исполнила; но безрассудная женщина, в которой многие достоинства я ценю высоко и которую, именно за

эту вспышку, я полюбил больше, вместо открытия глаз ваших несколько отуманила их, разумеется на время. Она не подозревала, что прежде всего я с полною, жестокою искренностью излил в письмах к вам самим всю горечь огорченной дружбы к человеку и оскорбленного чувства уважения к великому таланту. Она не различила во мне любящей души от озлобления и гнева. По моему убеждению, вы книгой своей нанесли себе жестокое поражение, и я кинулся на вас самих, как кинулся бы на всякого другого, нанесшего вам такой удар, без пощады осыпая вас горькими упреками. Вы так мне дороги, что всякий действительный вред, всякое поражение вашей славы, как писателя и человека, — мне тяжкое оскорбление! Но оставим это: если вы сами не объяснили себе моих чувств и поступков и поняли их не так, как следует, то мое объяснение не поможет. Я готов даже признать, что выражение не соответствовало чувству. Вы, мой друг, имеете право спросить: отчего я так давно не писал к вам? Мое последнее письмо требовало продолжения, ваше — ответа. Я очень это чувствовал. Много раз принимался писать, писал и жег написанное, ибо был им недоволен... Трудно сказать, что мешало мне писать; но что-то мешало. Попытаюсь, однако, объяснить себе и вам эту странную помеху. Для этого необходимо поднять дело, хоть в нескольких словах, сначала. Первое, большое письмо мое (кажется, от 12 января) было написано и послано к вам до выхода вашей книги. Второе, небольшое письмо, с приложением письма Свербеева, написано по прочтении книги, но *до получения* вашего ответа на мое большое письмо. Ответ ваш был ужасен... Вы не признали, не оценили, не почувствовали истинной дружбы человека, писавшего это письмо; и боже мой! в каком положении я писал его! Я даже не желаю, чтоб вы вполне поняли мое тогдашнее положение. Ваш ответ дышал холодом, высотою величия, на котором вы тогда думали стоять в непроницаемом вооружении вашего нового, мнимого призвания. Если б я получил это письмо до отправления моего второго, то не послал бы его — в этом я должен признаться; я счел бы невозможностью достигнуть до вашего ума и сердца. Но милосердный бог устроил иначе... Ответ ваш на мое второе письмо,

начинающийся замечательными словами, что вам *чихнулось во здравие*, обрадовал меня чрезвычайно, письмо же ваше к кн. Львову обрадовало еще более. Хотя в обоих этих письма есть выражения и мысли, которые были мне не по сердцу, которые показывали, что вы еще не совсем здоровы, но вдруг выздороветь совершенно нельзя. Для этого нужно время. Я видел, что вы очнулись, что часть пелены спала с глаз ваших. Этого для меня было довольно. Я был (и теперь остаюсь) убежден, что вы сами докончите дело. Вот тут-то я и не знал, что и как писать вам: продолжать в прежнем тоне было уже неуместно, не нужно и для самого меня невозможно. Высказать свою радость я не смел: я боялся помешать процессу вашего восстановления. Теперь вижу, что я сделал большую глупость. Вы имели причину растолковать мое молчание в другую сторону, и эта мысль вас огорчала. Поверьте, друг мой, что я не только хорошо понимаю трудность настоящего вашего положения, но и хорошо его предвидел! Оттого-то ваша книга свела было с ума меня самого, оттого-то скорбь моя была так мучительна. Но бог милостив. Он подкрепит ваши расстроенные душевные и телесные силы, а время залечит раны вашего сердца. Вы исполните свой обет, помолитесь у гроба господня, талант ваш явится с новым блеском, и все забудут вашу несчастную книгу. Конечно, вам нельзя было воротиться в Россию скоро, но будущей весной приезжайте *непременно к нам.* Полное выздоровление вы получите только на родной почве, подышав родным воздухом своей земли. Если вам почему-нибудь будет тяжело жить в Москве постоянно, то у меня есть премилый уголок в пятидесяти верстах от Москвы, в котором я надеюсь жить даже по зимам (кроме нынешнего года; ибо я тогда только поверю своему выздоровлению, когда проведу благополучно осень и зиму). Дом у нас большой и хорошо расположенный. Вы будете иметь спокойное и удобное помещение; при нас или без нас — это все равно. Не нужно говорить, рады ли будут вам ваши искренние друзья. К тому же вам необходимо поездить по России. Надобно заглянуть вглубь ее, в степную и приволжскую сторону. Константин может быть вашим товарищем, если вы захотите. Я сам имею намерение,

если бог подкрепит мое здоровье, уехать на целый год в Оренбургскую губернию; это еще впереди. Теперь же надобно только успокоиться, забыть, сколько возможно, обо всем случившемся с вами и укрепить свое здоровье. Истребите всякую мысль, что моя дружба к вам изменилась: это нелепость и оскорбление для меня. Хотелось мне написать все письмо своей рукой, но глаз утруждается. Мы теперь все живем в нашей подмосковной, кроме больной нашей Оленьки, которая живет в Москве, вместе с братом своим Иваном, который там служит в Сенате обер-секретарем. Не знаю, дошла ли до вас диссертация Константина? 7 марта был его диспут; несмотря на многие гонения, все кончилось благополучно. Прощайте, милый друг; не могу больше писать. Обнимаю вас крепко. Вы можете адресовать одно письмо в *Сергиевской посад, Московской губернии*, на мое имя, но всего вернее через Шевырева. Все мое семейство вас обнимает.

Душою ваш *С. А.*».

Гоголь отвечал на это следующим письмом:

«Остенде. Август 28 <1847>.

В любви вашей ко мне я никогда не сомневался, добрый друг мой Сергей Тимофеевич. Напротив, я удивлялся только излишеству ее, — тем более, что я на нее не имел никакого права: я никогда не был особенно откровенен с вами и почти ни о чем том, что было близко душе моей, не говорил с вами, так что вы скорее могли меня узнать только как писателя, а не как человека, и этому, может быть, отчасти способствовал милый сын ваш Конст. Сергеевич. В противность составившейся в Москве обо мне сказке, которой вы так охотно верите, что я, то есть, люблю угождения и похвалы каких-то знатных маниловых, скажу вам, что я скорее старался отталкивать от себя, чем привлекать всех тех, которые способны слишком сильно любить; я и с вами обращался несколько не так, как бы следовало. Обольстили меня не похвалы других, но я сам обольстил себя, как обольщаем себя мы все, как обольщает себя всяк, кто сколько-

нибудь имеет свой собственный образ мыслей и слышит в чем-нибудь свое превосходство, как обольщает себя, в великодушных мечтах своих, и любезный сын ваш Конст. Сергеевич, как обольщаем мы себя все до единого, грешные люди; и чем кто больше получил даров и талантов, тем больше себя обольщает. А демон излишества, который теперь подталкивает всех, раздует так наше слово, что и смысл, в котором оно сказано, не поймется.

Не сердитесь на Смирнову, не называйте ее безрассудною женщиною. Женщина эта почтена была короткою дружбой Пушкина и Жуковского, которые любили ее именно за здравый рассудок и за добрую душу. Она меня знала еще прежде, чем вы меня знали, — знала как человека, а не как писателя, видела меня в те душевные состояния мои, в которые вы меня не видели. С ней мы были издавна как брат и сестра, и без нее бог весть был ли бы я в силах перенести многое трудное в моей жизни; а потому и немудрено, что, несмотря на пристрастие ее ко мне, многое в моей книге она почувствовала полнее и не перетолковала в такую превратную сторону, как перетолковали вы.

Да, книга моя нанесла мне пораженье; но на это была воля божия. Да будет же благословенно имя того, кто поразил меня! Без этого поражения я бы не очнулся и не увидал бы так ясно, чего мне недостает. Я получил много писем очень значительных, гораздо значительнее всех печатных критик. Несмотря на все различие взглядов, в каждом из них, так же как и в вашем, есть своя справедливая сторона. Но вывести вполне верного заключения о всей книге вообще никто не мог, и немудрено. Осудить меня за нее справедливо может один тот, кто ведает помышления и мысли наши в их полноте. Из нас же, грешных людей, может справедливее других произнесть ей окончательный суд только тот, кто имеет полный ум, способный обнимать все стороны дела, и не влюбился еще сам ни в какую свою собственную мысль; потому что, как бы то ни было, несмотря на все ребячество и незрелость этой книги, в ней видны следы взгляда более полного, чем у тех, которые делают на нее замечания и критики, несмотря на то, что в авторе ее и нет

тех знаний, какие могут быть по частям у всякого критика.

К чему вы также повторяете нелепости, которые вывели из моей книги недальнозоркие, что я отказываюсь в ней от звания писателя, переменяю призванье свое, направление, и тому подобные пустяки? Книга моя есть законный и правильный ход моего образования внутреннего, нужного мне для того, чтобы стать писателем не мелким и пустым, но почувствовавшим святость и своего звания, как и всех других званий, которые все должны быть святы. Выразилось все это заносчиво, получило торжественный тон от мысли приближения к такой великой минуте, какова смерть. А дьявол, который надмевает всякого из нас самоуверенностью, раздул до чудовищности кое-какие места. Невоздержание заставило меня издать мою книгу. Видя, что еще не скоро я совладаю с моими «Мертвыми душами», и скорбя истинно о бесхарактерности направления и совершенной анархии в литературе, проводящей время в пустых спорах, я поспешил заговорить о тех вопросах, которые меня занимали и которые готовился развить или создать в живых образах и лицах. Опрометчивая, а по-вашему, *несчастная*, книга вышла в свет. Она меня покрыла позором, по словам вашим. Она мне, точно, позор; но благодарю бога за этот позор, благодарю за то, что попустил он явиться ей в свет. Не увидел бы я без нее ни неряшества моего, ни самоослепления, ни многого того, чего не хочет видеть в себе человек; не изъяснилось бы без нее много того, что мне необходимо нужно знать для моих «Мертвых душ», и не узнал бы <я>, ни в каком состоянии находится наше общество, ни какие образы, характеры, лица ему нужны и что именно следует поэту-художнику избрать ныне в предмет творения своего.

Друг мой! не будьте и вы так же самоуверенны в непреложности своих заключений. Повторяю вам вновь: по частям разбирая мою книгу, вы можете быть правы, но произнести так решительно окончательный суд моей книге, как вы произносите, это гордость в уме своем. Мне показалось даже, как бы в устах ваших раздались не ваши, а какие-то юношеские речи, как бы в этом месте вашего письма сказал, несколько понадеясь на себя,

Конст. Сергеевич, а не вы. В них отзывается такой смысл: «Твоя голова не здрава, а моя здрава; я вижу ясно вещь и потому могу судить о тебе». Друг мой, теперь такое время, что вряд ли у кого из нас здрава как следует голова. Глядеть на меня, как на блудного сына, и ожидать моего возвращения на путь истинный может только тот, кто сам стоит уже на этом истинном пути. А это один только бог ведает, кто из нас на каком именно месте стоит. Лучше всем нам иметь больше смирения и меньше уверенности в непреложной истине и верности своего взгляда. Что касается до меня, я буду от всех моих сил, сколько их есть во мне, молиться богу на тех самых местах, которые зрели его в образе Христа, чтобы простил мне за все, на что подтолкнула меня моя самоуверенность, гордость и самоослепление.

За ваше гостеприимно-дружеское приглашение остановиться у вас во время приезда моего в Москву благодарю от души, но не воспользуюсь им только потому, что в рассуждении помещения своего гляжу просто на материальные удобства. Во всяком случае у кого бы то ни остановился, вы этого никак не считайте знаком какого-нибудь предпочтения или чего другого, тому подобного. Притом, если бог благословит возврат мой в Россию, я в Москве не думаю пробыть долго. Мне хочется заглянуть в губернии: есть много вещей, которые для меня совершенная покуда загадка, и никто не может мне дать таких сведений, как бы я желал. Я вижу только то, что и все другие, так же, как и я, не знают России.

Что касается до зимнего моего пребывания, то я еще не уверен, останусь ли на зиму в России. После моей последней тяжкой болезни во мне осталась такая зябкость, что даже Рим стал для меня холоден, и я должен был переехать в Неаполь. Последняя зима, проведенная мною в Москве, мне была очень тяжела и оставила грустное воспоминание. Натура моя сделалась несколько похожею на стариковскую, требующую юга: крови мало, и та движется медленно; а нервы в то же время так чувствительны, что малейшая северная мгла действует сильно, от морозного же дня у меня захватывает дух в груди. Вы говорите, что воздух родины подействует благотворно на мое здоровье, и сами надеетесь тоже

себе возобновления сил. Друг мой, не позабудем того, что вы находитесь уже в тех летах, когда невозможен совершенный возврат прежнего здоровья; а я, будучи слабым и болезненным от дня рождения моего и перешедши за лучшую половину жизни моей, не могу тоже быть тем, чем был прежде. Будем лучше просить бога о том, чтобы остальные дни наши помог нам провести в полном мире с совестью нашей, где бы ни случилось нам провести их, и чтобы хоть чем-нибудь дал нам возможность загладить часть прежнего, искупя хоть чем-нибудь бесполезность и праздность нашей жизни.

Мне кажется, что, если бы вы стали диктовать кому-нибудь воспоминания прежней жизни вашей и встречи со всеми людьми, с которыми случилось вам встретиться, с верными описаниями характеров их, вы бы усладили много этим последние дни ваши, а между тем доставили бы детям своим много полезных в жизни уроков, а всем соотечественникам лучшее познание русского человека. Это не безделица и не маловажный подвиг в нынешнее время, когда так нужно нам узнать истинные начала нашей природы, которые, покуда, мы рассматриваем только в мужике, да и то плохо.

Но прощайте. Бог да хранит вас! Благодарю Ольгу Семеновну: мне кажется, что она обо мне молится. Это лучшая услуга, какую только на земле мы можем оказать своему брату.

Ваш *Н. Г.*».

Письмо это было вложено Гоголем в другое, адресованное С. П. Шевыреву, который вскоре и сообщил Гоголю, что его письмом Аксаков остался недоволен. По этому поводу Гоголь писал Шевыреву 2 декабря 1847 года:

«Весьма жалею, если моим письмом огорчил моего доброго Сергея Тимофеевича Аксакова. Но что делать? Ты видишь, что я именно уже как бы рожден на то, чтобы огорчать тех, которые меня наибольше любят. Уговор ведь у нас был — писать все, что ни есть на душе. Я писал, что в ней было. В письмах Сергея Тимофеевича было тоже немало того, от которого бы другой огорчился. Но зачем же один я только не вправе огорчаться ничем,

а прочие вправе огорчаться? Слово *размолвка* напрасно ты употребил. Храни бог от размолвки даже с людьми менее мне близкими, чем Аксаков! Что я меньше любил Аксаковых, чем они меня, это совершенная правда, и зачем мне это скрывать? Но дело в том, что я теперь больше люблю все то, что достойно любви, чем когда-либо прежде; стало быть, неминуемо должно быть, что и любовь моя к друзьям моим стала большею, чем когда-либо прежде. Это также правда, и ее ты передай Сергею Тимофеевичу, если только он действительно на меня в неудовольствии».

В том же месяце Гоголь писал и самому С. Т. Аксакову:

<18 декабря 1847>

«Шевырев мне пишет, что в моем письме к вам было что-то для вас огорчительное, так что он даже не хотел его вам показывать, опасаясь им расстроить вас. Правда ли это, любезный друг мой? Ведь мы обещали писать друг другу все чувства и ощущения, как они есть, не скрывая ничего, хоть бы в них было и неприятное для нас. Если в письме моем нашлось кое-что занозистое и колкое, то это ничуть не дурно. Это новые горючие вещества, подкладываемые в костер дружбы, который без того пламенел бы лениво и вяло, что всегда почти бывает, если друзья живут вдали друг от друга. Рассудите сами, что за соус, если не поддадут к нему лучку, уксусу и даже самого перцу, — выйдет пресное молоко. В письме моем к вам я сказал сущую правду: я вас любил, точно, гораздо меньше, чем вы меня любили. Я был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех вообще, потому что я не был способен ни к кому питать ненависти. Но любить кого-либо особенно, предпочтительно я мог только из *интереса*. Если кто-нибудь доставил мне *существенную пользу* и чрез него обогатилась моя голова, если он натолкнул меня на новые наблюдения или над ним самим, над его собственной душой, или над другими людьми, словом, если чрез него как-нибудь раздвинулись мои познания, я уже того человека люблю, хоть будь он и меньше достоин любви, чем другой, хоть он и меньше

меня любит. Что ж делать? вы видите, какое творенье человек: у него прежде всего свой собственный интерес. Почему знать? может быть, я и вас полюбил бы несравненно больше, если бы вы сделали что-нибудь собственно для головы моей, положим хоть бы написаньем записок жизни вашей, которые бы мне напоминали, каких людей следует не пропустить в моем творении и каким чертам русского характера не дать умереть в народной памяти. Но вы в этом роде ничего не сделали для меня. Что ж делать, если я не полюбил вас так, как следовало бы полюбить вас! Кто же из нас властен над собою? и кто умеет принудить себя к чему бы то ни было? Мне кажется, что я теперь все-таки люблю вас больше, нежели прежде, но это потому только, что любовь моя ко всем вообще увеличилась: она должна была увеличиться, потому что это *любовь во Христе*. Так я уверен. А на самом деле, может быть, и это ложь и я ничуть не умею любить лучше, чем прежде. Поэты лгут иногда невинным образом, обманывая сами себя. Рожденные понимать многое, постигать мыслию красоту чувств и высокие явленья в душе человеческой, они часто думают, что уже вмещают в самих себе то, что могут только несколько оценить и с некоторой живостью выставить на глаза другим, и величаются *чужим*, как своим *собственным добром*. Напишите мне что-нибудь. Письмо ваше еще застанет меня в Неаполе. Пожалуйста, не глядите на то, если какая колкость слетит с пера. Что толку в пресном молоке!

Весь ваш *Гоголь*».

Это письмо также было вложено в письмо к Шевыреву, которому Гоголь и прибавил от себя:

«При сем следует также письмецо к Сергею Тимофеевичу Аксакову. Хотя я уверен, что неудовольствие его на меня прошло, но тем не менее пусть он из этих строк увидит, что совсем не нужно давать серьезного, строгого толкования многим нашим словам, которые вырываются весьма часто без расчета и намерения».

В следующем, 1848 году, 23 января, Гоголь вновь просит Шевырева напомнить о себе Аксаковым:

«Проси всех и особенно доброго Сергея Тимофеевича, совокупно с Константином Сергеевичем и всем семейством, писать ко мне в Константинополь».

Весною 1848 года Гоголь возвратился в Россию через Одессу. С. Т. писал ему 21 мая 1848 года:

«Здравствуйте, здравствуйте на святой Руси, мой любезный друг Николай Васильевич! Давно должны были написаться эти строки, но... все человеческие предположения — прах и суета! Не написал 4 мая, отложил до 7-го, а 6-го я захворал... Теперь оправляюсь понемногу. Но должно все рассказать подробно и по порядку, а для этого нужна чужая рука. В самых последних числах апреля приехал ко мне рано поутру Щепкин и сказал, что вы в Одессе. Я так обрадовался, что ту же минуту хотел писать к вам, хотя решился было бросить письменные разговоры и ожидать личного свидания; но я уже был готов к отъезду в деревню (куда давно манила меня ранняя весна) и остался только до 2 мая, потому что 1-го был день рождения Хомякова. 2-го я переехал в деревню с Константином и Любенькой, остальная семья должна была переехать через неделю. Хотел было писать 4-го или 5 мая, но отложил до 9-го, чтоб тут же и поздравить вас со днем ангела; но 6 мая сделалась такая жаркая, летняя погода, что я забыл числа и подумал, что это июнь или июль, оделся полегче, посидел с удочкой на пруду подольше и тот же вечер получил воспаление в правой стороне груди и нижней части печени. Болезнь, как водится, сопровождалась сильной лихорадкой и кровохарканием. Можете себе представить положение бедных моих детей! На Константина до сих пор еще страшно смотреть. По счастию, у Троицы (в двенадцати верстах от моей деревни) есть очень порядочный лекарь, которого мы выписали и который мне очень скоро помог. Нельзя было скрыть моей болезни от остальной моей семьи, и потому все, перепуганные,

прискакали ко мне [1]. Как нарочно, на другой день их приезда, 12 мая, получил я рецидив воспаления уже в одной печени, но со всеми прежними явлениями. Тот же лекарь помог мне опять, и через несколько дней усадили меня в карету и благополучно перевезли в Москву, где я поправлялся очень быстро до вчерашнего дня; со вчерашнего же утра я постоянно чувствую шум в голове и какую-то нервическую слабость, которая мешает мне даже диктовать письмо. Но все это, я надеюсь, скоро пройдет, и с наступлением настоящей летней погоды мы переедем уже все в нашу прекрасную деревеньку. Именинник мой с матерью у обедни. Успеют ли они сегодня написать к вам, не знаю, но сам уже откладывать не хочу. На днях вы получите драму Константина. Прочтите ее на досуге, сбросив с себя все чужие понятия, усвоенные всеми нами с младенчества. Вдумайтесь глубоко в старую русскую жизнь и произнесите суд нелицеприятный. Погодин облаял ее, как взбесившаяся собака. Давно затаенная злоба на Константина (в которой он и сам много виноват), наконец, выбилась ключом бешеной слюны и помрачила даже его рассудок...

Прощайте, друг мой. Обнимаю вас крепко. Будьте здоровы, освежитесь и укрепитесь родным воздухом и приезжайте к нам. Пишите в Сергиевский посад, Московской губернии.

Ваш душою С. *Аксаков*».

Гоголь прислал на это следующий ответ:

«Июня 8 <1848>. Васильевка.

Как вы меня обрадовали вашими строчками, добрый друг Сергей Тимофеевич! Но меня печалит, что вы так часто хвораете. Ради бога, берегите себя. Не позабывайте ни на час, что ваша натура, нервически-пылкая, склонна более других к простудам. Теперь вечера очень опасны. Именно оттого, что дни невыносимо жарки и в воздухе засухи. Имейте всегда кого-нибудь при себе

[1] Они привезли мне ваше милое письмецо, которое мне было целебно.

с плащом, который бы мог набросить его на вас в ту же минуту, как только станет холодеть. Теперь тысячами вокруг болеют и мрут. В Полтавской губернии свирепствует холера почти повсеместно и в самой Полтаве. Бог да хранит вас! Драмы Константина Сергеевича я еще не имею; сегодня, однако, пришло объявленье о посылке на рубль с половиной серебром. Вероятно, это она. Я ее прочту с любопытством уже и потому, что в ней должен заключаться вопрос, решеньем которого я серьезно теперь занят не менее самого Константина Сергеевича. Поблагодарите Ольгу Семеновну и милых дочерей ваших за то, что они не позабывали матушку и сестер.

Весь ваш *Н. Г.*».

Аксаков получил это письмо уже в своей подмосковной, в Абрамцеве, откуда и отвечал Гоголю 21 июня 1848 года:

«Я получил письмо ваше, милый друг Николай Васильевич, от 8 июня и очень ему обрадовался. Благодарю вас за добрые советы: они совершенно справедливы, и я волею-неволею следую им постоянно. Вы знаете, сколько за мною блюстителей. Боюсь только, чтобы сохранение меня от простуды не было доведено до излишества. С 8 июня мы живем в нашей прелестной деревеньке, и я вполне наслаждался бы природою, если б мы не были встревожены нездоровьем Веры: у ней сильное раздражение желудка и всей нервной системы. Когда мы уезжали из Москвы, там была сильная холера, но теперь, благодаря бога, стала гораздо потише. У Троицы и кругом около нас также есть эта болезнь, но в слабом виде и, кажется, исчезает.

Вы не можете себе представить, с каким нетерпением стану ждать я каждую почту вашего письма *по прочтении* драмы. Если б я не был отцом сочинителя, то непременно напечатал бы об ней критическую статью. Эту статью вмещу я в письмо к вам и непременно пришлю ее. Завтра же начну писать и, каков бы ни был ваш суд, не переменю в ней ни одного слова. Два года тому назад провел я зиму в деревне и, между прочим, написал книжку под названием: «Записки об уженье», которую к вам и посылаю. Она невелика, вы прочтете ее на досуге. Я писал ее

с большим наслаждением. Воспоминание прошедшего освежало и оживляло меня. Если бог исполнит мое желание и я проведу эту зиму в деревне, то начну писать другую книжку: «Об охоте с ружьем»; с двенадцатилетнего возраста до тридцатилетнего я был предан этой охоте страстно, безумно. Я уже написал «Прилет птицы весною» и думаю, что даже не охотник может прочесть с удовольствием этот отрывок. «Семейная хроника» пишется как-то вяло. Кажется, надобно переменить план: сократить подробности и не соблюдать строгой последовательности. Вот как много наболтал я вам о себе. Прощайте! Да сохранит вас бог здрава и невредима. Обнимаю вас. Мое почтение вашей доброй матушке и сестрицам. Душою ваш С. Аксаков. Все мои вас обнимают. Костя вам кое-что посылает».

Гоголь отвечал на это письмо из Васильевки 12 июля 1848 года:

«И за письмо и за книги благодарю вас, добрый Сергей Тимофеевич. Как ни слаб я после недуга, от которого еще не оправился как следует, но не могу отказать себе написать к вам несколько строчек. Какое убийственно нездоровое время и какой удушливо томительный воздух! Только три или четыре дни по приезде моем на родину я чувствовал себя хорошо. Потом беспрерывные расстройства в желудке, в нервах и в голове от этой адской духоты, томительнее которой нет под тропиками. Все переболело и болеет вокруг нас. Холера и все роды поносов не дают перевести дух. Тоска (еще более оттого, что никакое умственное занятие не идет в голову). Даже читать самого легкого чтенья не в силах. А потому не ждите от меня покуда никаких отчетов относительно впечатлений, произведенных присланными книгами. Я после напишу Константину Сергеевичу мое мнение о его драме. Статья его о современном споре мне понравилась, может быть, оттого, что во время чтенья голова моя была свежа и внимания достало на небольшую статью. Ваш разбор драмы я бы желал нетерпеливо прочесть хотя по кусочкам. Мне кажется, вы сделаете очень нелишнее дело, если займетесь <им>, тем более, что самый пред-

мет, о котором пойдет речь, так важен для всех нас, что и сама драма и сам сочинитель могут остаться почти в стороне. В драме постигнуто *высшее свойство* нашего народа — вот ее главное достоинство! Недостаток — что, кроме этого высшего свойства, народ не слышен другими своими сторонами, не имеет грешного тела нашего, бестелесен. Зачем Константин Сергеевич выбрал форму драмы? Зачем не написал прямо историю этого времени? Странное дело, когда разворачиваю историю нашу, мне в ней видится такая живая драма на каждой странице, так просторно открывается весь кругозор тогдашних действий и видятся все люди и на первом и на втором плане, и действующие и молчащие. Когда же я читаю извлеченную из нее нашу так называемую историческую драму, кругозор предо мною тесен, я вижу только те лица, которые выбрал сочинитель для доказанья любимой своей мысли. Полнота жизни от меня уходит; запаха свежести, первой весенней свежести, я не слышу. Наместо действия я слышу словопрения, и мне кажется все бледно. Не распространяю этих слов на драму Константина Сергеевича. В ней вялости нет, язык свеж, речь жива. Но зачем, не бывши драматургом, писать драму? Как будто свойства драматурга можно приобресть! Как будто для этого достаточно живо чувствовать, глубоко ценить, высоко судить и мыслить! Для этого нужно *осязательное, пластическое* творчество, и ничто другое. Его ничем нельзя заменить. Без него история всегда останется выше всякого извлеченного из нее сочинения.

Может быть, все это, что я вам теперь говорю, есть плод нынешнего мутного состоянья моей головы, неспособной рассуждать отчетливо и ясно; может быть, в другой раз, когда прочту внимательней это сочинение, и притом в минуту более свежую, я выражусь иначе и лучше; но мне кажется, я и тогда не соглашусь с Константином Сергеевичем, будто драма есть художественное понимание истории в известную эпоху. Скорей разве можно сказать художественное *воспроизведенье* ее. Пониманья одного мало для драмы. Но обо всем этом потолкуем после. Сочиненье это во всяком случае *немаловажно* и всегда останется замечательно тою высокою задачей, которую оно задало нам и над которою стоит всякому истинно-

русскому поразмыслить и порассудить сурьезно. Прощайте, добрейший Сергей Тимофеевич. Обнимаю вас крепко.

Не знаю, когда с вами увижусь. Хотел было ехать теперь, несмотря на болезненную слабость, но узнал, что дилижансы из Харькова в Москву уничтожились. Заводить свой экипаж нет средств и скука. Попутчика покуда не отыскивается. Напишите мне слова два о Михаиле Семеновиче, не будет ли он в Харькове? Он, кажется, имеет обыкновение заглядывать туда в августе около ярмарки. Как бы мне было приятно прокатиться с ним! Пишите.

Весь ваш *Н. Гоголь*.

Всем вашим дружеский поклон».

Константин Аксаков еще ранее, при первом известии о возвращении Гоголя в Россию и в ожидании свидания с ним, писал ему в Васильевку о «Выбранных местах из переписки с друзьями»:

«Полная откровенность необходима... Я должен сказать вам все, что у меня на душе. Во всем, что вы писали в письмах, и в книге вашей особенно, вижу я прежде всего один главный недостаток: это *ложь*. Ложь не в смысле *обмана* и не в смысле *ошибки*, нет, а в смысле неискренности прежде всего. Это внутренняя неправда человека с самим собою. Такая ложь, ложь внутренняя, рядится всего более в одежду правды, искренности, простоты и прямоты. Такова ваша книга».

Гоголь писал в ответ:

«Июня 3 <1848>. Васильевка.

Откровенность прежде всего, Константин Сергеевич. Так как вы были откровенны и сказали в вашем письме все, что было на языке, то и я должен сказать о тех ощущениях, которые были вызваны при чтении письма вашего. Во-первых, меня несколько удивило, что вы, наместо известий о себе, распространились о книге моей, о которой я уже не полагал услышать что-либо по возврате моем на родину. Я думал, что о ней уже все толки кончились и она предана забвению. Я, однакоже,

прочел со вниманием три большие ваши страницы. Многое в них дало мне знать, что вы с тех пор, как мы с вами расстались, следили (историческим и философическим путем) существо природы русского человека и, вероятно, сделали немало значительных выводов. Тем с большим нетерпением жажду прочесть вашу драму, которой покуда в руках еще не имею. Вот еще вам одна мысль, которая пришла мне в то время в голову, когда я прочел слова письма вашего: *«Главный недостаток книги (моей) суть тот, что она — ложь»*. Вот что я подумал: да кто же из нас может так решительно выразиться, кроме разве того, который уверен, что он стоит на верху истины? Как может кто-либо (кроме говорящего разве святым духом) отличить, что ложь, а что истина? Как может человек, подобный другому, страстный, на всяком шагу заблуждающийся, изречь справедливый суд другому в таком смысле? Как может он, неопытный сердцезнатель, назвать ложью сплошь, с начала до конца, какую бы то ни было душевную исповедь, он, который и сам есть ложь, по слову апостола Павла? Неужели вы думаете, что в ваших суждениях о моей книге не может также закрасться ложь? В то время, когда я издавал мою книгу, мне казалось, что я ради одной истины издаю ее; а когда прошло несколько времени после издания, мне стало стыдно за многое, многое, и у меня не стало духа взглянуть на нее. Разве не может случиться того и с вами? Разве и вы не человек? Как вы можете сказать, что ваш нынешний взгляд непогрешителен и верен или что вы не измените его никогда, тогда как, идя по той же дороге исследований, вы можете найти новые стороны, дотоле вами не замеченные, вследствие чего и самый взгляд уже не будет совершенно тот и что казалось прежде *целым*, окажется только частью целого. Нет, Константин Сергеевич, есть дух обольщенья, дух-искуситель, который не дремлет и который так же хлопочет и около вас, как около меня, и, увы! чаще всего бывает он возле нас в то время, когда думаем, что он далеко, что мы освободились от него и от лжи и что сама истина говорит нашими устами. Вот какие мысли пришли мне в то время, когда я читал приговор ваш книге, на которую до сих пор еще я не имею духу взглянуть. Скажу вам также, что мне ста-

новится теперь страшно всякий раз, когда слышу человека, возвещающего слишком утвердительно свой вывод как непреложную, непогрешительную истину. Мне кажется, лучше говорить с меньшей утвердительностью, но приводить больше *доказательств*.

Драму вашу я прочту со вниманием и даю вам слово не скрыть своего мнения. Она тем более для меня интересна, что, вероятно, в ней я отыщу яснейшее изложение всего того, о чем вы говорите в письме вашем несколько неопределенно и неясно. Прощайте, Константин Сергеевич! Бог вам в помощь! Когда-нибудь переговорим о многом лично, и это, вероятно, будет лучше всяких письменных рассуждений. Покуда не сердитесь на критики в журналах и не называйте их также следствиями вражды, зависти и тому подобного. Во всякой из них может быть та частица правды, которая только сначала колет в глаза, но если прочтешь несколько раз, она будет целительна и полезна.

Искренне желающий вам добра и любящий вас

Н. Гоголь».

Осенью 1848 года Гоголь приехал в Москву. В письмах Веры Сергеевны к М. Г. Карташевской рассказывается о встречах с ним:

14 июня. «Не помню, писала ли я тебе, что Гоголь уже в Малороссии и в августе собирается в Москву. Константин писал ему откровенное письмо; как-то он его примет?»

30 сентября. «Гоголь теперь в Петербурге. Он был в Москве, мы его видели; он мало наружно переменился, но кажется, как будто не тот Гоголь. Константин в минуту свиданья забыл все и задушил было его обнимая».

13 октября. «Ты меня спрашиваешь о Гоголе; Иван может передать подробно наше свидание. Примирение произошло еще на письмах. Все ему обрадовались, и отношения остались попрежнему дружеские; но только все казалось, это не тот Гоголь».

29 ноября. «Гоголь у нас попрежнему бывает так же часто; он веселее и разговорчивее, нежели был прежде; говорит откровенно и о своей книге и вообще стал проще,

как все находят. Он твердо намерен продолжать «Мертвые души».

22 декабря. «Сегодня обедают у нас Гоголь и другие».

Сам С. Т. рассказывает об этих встречах и о зиме 1848/1849 года так:

«Когда Гоголь приехал из Малороссии в Москву (в сентябре 1848 года), я был в деревне и только в октябре переселился в город. В тот же вечер пришел к нам Гоголь, и мы увиделись с ним после шестилетней разлуки. В непродолжительном времени восстановились между нами прежние, как бы прерванные, нарушенные продолжительною разлукою отношения; но об его книге и втором томе «Мертвых душ» не было и помину. Гоголь в эту зиму прочел нам всю «Одиссею», переведенную Жуковским. Он слишком восхищался этим переводом. Я и сын мой Константин были не совсем согласны с ним. Разумеется, это было ему неприятно, но он не показывал никакого неудовольствия. Один раз, когда мы высказали ему немалое число самых неопровержимых замечаний на перевод «Одиссеи», Гоголь сказал: «Напишите все это и пошлите Жуковскому; он будет вам очень благодарен».

Часто также читал вслух Гоголь русские песни, собранные г-м Терещенко, и нередко приходил в совершенный восторг, особенно от свадебных песен. Гоголь всегда любил читать; но должно сказать, что он читал с неподражаемым совершенством только все комическое в прозе, или, пожалуй, чувствительное, но одетое формою юмора; все же чисто патетическое, как говорится, и лирическое Гоголь читал нараспев. Он хотел, чтобы ни один звук стиха не терял своей музыкальности, и, привыкнув к его чтению, можно было чувствовать силу и гармонию стиха. Из писем его к друзьям видно, что он работал в это время неуспешно и жаловался на свое нравственное состояние. Я же думал, напротив, что труд его подвигается вперед хорошо, потому что сам он был довольно весел и читал всегда с большим удовольствием. Я в этом, как вижу теперь, ошибался; но вот что верно: я никогда не видал Гоголя таким здоровым, крепким и бодрым физи-

чески, как в эту зиму, то есть в ноябре и декабре 1848-го и в январе и феврале 1849 года. Не только он пополнел, но тело на нем сделалось очень крепко. Обнимаясь с ним ежедневно, я всегда щупал его руки. Я радовался и благодарил бога. Надобно заметить, что зима была необыкновенно жестокая и постоянная, что Гоголь прежде никогда не мог выносить сильного холода и что теперь он одевался очень легко. Но недолго предавался я радостным надеждам на совершенное восстановление его здоровья. С появлением первых оттепелей Гоголь стал задумчивее, вялее, и хандра, очевидно, стала им овладевать. Однако 19 марта, в день его рожденья, который он всегда проводил у нас, я получил от него следующую довольно веселую записку:

«Любезный друг Сергей Тимофеевич, имеют сегодня подвернуться вам к обеду два приятеля: Петр Михайлович Языков и я, оба греховодники и скоромники. Упоминаю об этом обстоятельстве по той причине, чтобы вы могли приказать прибавить кусок бычачины на одно лишнее рыло».

Именины свои, 9 мая, Гоголь праздновал попрежнему в саду у М. П. Погодина, и 7 мая я получил от него следующую записку (было одно обстоятельство, не касавшееся Гоголя, но которое не позволило ему сделать нам прямого приглашения):

«Мне хотелось бы, держась старины, послезавтра отобедать в кругу коротких приятелей в погодинском саду. Звать на именины самому неловко. Не можете ли вы дать знать или сами, или чрез Константина Сергеевича Армфельду, Загоскину, Самарину и Павлову совокупно с Мельгуновым? Придумайте, как это сделать ловче, и дайте мне потом ответ. Если можно, заблаговременно».

Летом 1849 года Гоголь посетил Абрамцево. Аксаков так рассказывает об этом:

«Гоголь много гулял у нас по рощам и забавлялся тем, что, находя грибы, собирал их и подкладывал мне на дорожку, по которой я должен был возвращаться

домой. Я почти видел, как он это делал. По вечерам читал с большим одушевлением переводы древних Мерзлякова, из которых особенно ему нравились гимны Гомера. Так шли вечера до 18-го числа. 18-го вечером Гоголь, сидя на своем обыкновенном месте, вдруг сказал:

— Да не прочесть ли нам главу «Мертвых душ?»

Мы были озадачены его словами и подумали, что он говорит о первом томе «Мертвых душ». Сын мой Константин даже встал, чтоб принести их сверху, из своей библиотеки, но Гоголь удержал его за рукав и сказал:

— Нет, уж я вам прочту из второго.

И с этими словами вытащил из своего огромного кармана большую тетрадь.

Не могу выразить, что сделалось со всеми нами. Я был совершенно уничтожен. Не радость, а страх, что я услышу что-нибудь недостойное прежнего Гоголя, так смутил меня, что я совсем растерялся. Гоголь был сам сконфужен. Ту же минуту все мы придвинулись к столу, и Гоголь прочел первую главу второго тома «Мертвых душ». С первых страниц я увидел, что талант Гоголя не погиб, — и пришел в совершенный восторг. Чтение продолжалось час с четвертью. Гоголь несколько устал и, осыпанный нашими искренними и радостными приветствиями, скоро ушел наверх, в свою комнату, потому что уже прошел час, в который он обыкновенно ложился спать, то есть одиннадцать часов.

Тут только мы догадались, что Гоголь с первого дня имел намерение прочесть нам первую главу из второго тома «Мертвых душ», которая одна, по его словам, была отделана, и ждал от нас только какого-нибудь вызывающего слова. Тут только припомнили мы, что Гоголь много раз опускал руку в карман, как бы хотел что-то вытащить, но вынимал пустую руку.

На другой день Гоголь требовал от меня замечаний на прочитанную главу, но нам помешали говорить о «Мертвых душах». Он уехал в Москву, и я написал к нему письмо, в котором сделал несколько замечаний и указал на особенные, по моему мнению, красоты».

Вот это письмо от 27 августа 1849 года:

«Я чувствую душевную потребность сказать вам несколько слов, милый друг Николай Васильевич. Я должен перед вами покаяться. После всего случившегося в течение последних семи лет я, Фома неверный, как вы сами меня назвали, потерял было веру в дальнейшее существование вашего творческого таланта. Мне показалось несовместным ваше духовное направление с искусством. Я ошибся. Слава богу! Благодарю вас, что вы, наконец, решились рассеять мое заблуждение. Вы знали его; но не знали, как тяжело было мне смотреть на вас, на мнимого страдальца, утратившего плодотворную силу своего творчества, но не потерявшего стремления, необходимости творить. Много вытерпел я сердечной скорби от моей грубой ошибки. Но теперь все забыто! Слава богу, я чувствую только одну радость. Талант ваш не только жив, но он созрел. Он стал выше и глубже, что я и сказал вам сейчас после чтения.

Может быть, вы хотели бы слышать от меня критическую оценку, но я не могу этого сделать. Я слушал с таким волнением, а сначала и с предубеждением, что подробности впечатлений скоро поглотились одним чувством наслаждения. Притом же я никогда не могу судить верно о подробностях, *слушая в первый раз:* мне надобно прочесть своим глазом. Но вот что у меня осталось в памяти: 1) Мне показалось, что сначала как-то трудно и тяжело выражались вы. 2) Мне показался несколько длинным и натянутым рассказ об Александре Петровиче. 3) Встреча в деревне крестьянами молодого барина как будто жидка и одностороння. Но я не ручаюсь за верность моих замечаний. Если вы захотите их иметь, то дайте мне тетрадь в руки. — Да подкрепит бог ваше здоровье и благословит окончательные труды ваши: ибо я считаю, что «Мертвые души» написаны и что теперь остается последняя отделка. Я прошу у бога милости дожить до их появления, при настоящем моем уме и чувствах. Я хочу вполне насладиться не только восстановлением вашей славы, но и полным торжеством вашим на всем пространстве Руси...

Как утешили вы меня, Константина и все наше семей-

ство! Как долго мы были полны только одним чувством, о которое притуплялось даже горе... Прочь все теории и умствования: да будет благословенно искусство на земле!

Крепко вас обнимаю. Душой ваш С. *Аксаков.*

Иван вам кланяется. Он спрашивает, читали ли вы стихотворения Григория Богослова? Если нет, то прочтите. — В Рыбинске играли «Ревизора»; в половине пиесы актеры, видя, что зрители больше их похожи на действующие лица, помирали все со смеху».

Аксаков продолжает свой рассказ:

«Получив мое письмо, Гоголь был так доволен, что захотел видеть меня немедленно. Он нанял карету, лошадей и в тот же день прикатил к нам в Абрамцево. Он приехал необыкновенно весел, или, лучше сказать, светел, и сейчас сказал:

— Вы заметили мне именно то, что я сам замечал, но не был уверен в справедливости моих замечаний. Теперь же я в них не сомневаюсь, потому что то же заметил другой человек, *пристрастный* ко мне.

Гоголь прожил у нас целую неделю; до обеда раза два выходил гулять, а остальное время работал; после же обеда всегда что-нибудь читали. Мы просили его прочесть следующие главы, но он убедительно просил, чтоб я погодил. Тут он сказал мне, что он прочел уже несколько глав А. О. Смирновой и С. П. Шевыреву, что сам увидел, как много надо переделать, и что прочтет мне их непременно, когда они будут готовы.

6 сентября Гоголь уехал в Москву вместе с Ольгою Семеновной. Прощаясь, он повторил ей обещание прочесть нам следующие главы «Мертвых душ» и велел непременно сказать это мне.

В генваре 1850 года Гоголь прочел нам в другой раз первую главу «Мертвых душ». Мы были поражены удивлением: глава показалась нам еще лучше и как будто написана вновь. Гоголь был очень доволен таким впечатлением и сказал:

— Вот что значит, когда живописец даст последний туш своей картине. Поправки, повидимому, самые ни-

чтожные: там одно слово убавлено, здесь прибавлено, а тут переставлено — и все выходит другое. Тогда надо напечатать, когда все главы будут так отделаны.

Оказалось, что он воспользовался всеми сделанными ему замечаниями.

Января 19-го Гоголь прочел нам вторую главу второго тома «Мертвых душ», которая была довольно отделана и не уступала первой в достоинстве; а до отъезда своего в Малороссию он прочел третью и четвертую главы».

Отъезд Гоголя из Москвы на Украину, вдвоем с М. А. Максимовичем, на долгих совершился летом 1850 года из дома Аксаковых. Гоголь прислал С. Т. записку по этому случаю:

«Мы с Максимовичем заедем к вам на дороге, то есть перед самым отъездом, часу во втором, стало быть во время вашего завтрака, чтобы и самим у вас чего-нибудь перехватить: одного блюда, не больше, или котлет, или, пожалуй, вареников, и запить бульонцем.

Весь ваш *Н. Г.*».

Несколько ранее Гоголь написал записку и Константину Аксакову:

«Оказывается, что вам очень недурно съездить в Киев, Константин Сергеевич: во первых, чтобы не обидеть первопрестольной столицы, а во-вторых, чтобы, задавши работу ногам, освежить голову, совершая путь пополам с подседом на телегу и с напуском пехондачка, совокупно с нами оттопавши дорогу до Глухова, откуда Киев уже под носом, и потом по благоусмотрению можете устроить возврат».

По всей вероятности, к этому году относится следующая записка Аксакова:

«Зачем же вы хвораете, друг мой? Я третий день опять болен и начал лечиться земляничным корнем. Константин уехал с тем, чтобы побывать у вас. Крепко вас обнимаю.

Ваш друг *С. Аксаков*. 11 февраля».

На это последовала ответная записка Гоголя, помеченная карандашом — 1850 г., февраль:

«Чувствую лучше. Простуда и жар в голове уменьшается. Овер одобрил все, сделанное моим доктором. Надеюсь если не сегодня, то завтра выйти на воздух. Рад, что вы также чувствуете лучше. За все слава богу.

Весь ваш *Н. Г.*».

Позднее (2 декабря 1850 г.) Гоголь писал Плетневу:

«Последняя зима, проведенная мною в Москве, далась мне знать сильно. Думал было, что укрепился и запасся здоровьем на юге надолго, но не тут-то было. Зима третьего года кое-как перекочкалась, но прошлого едва-едва вынеслась».

По отъезде Гоголя на Украину Аксаков долго не имел от него известий; письмо от Гоголя пришло уже поздней осенью, из Одессы:

«7 ноября <1850>. Одесса.

Уведомляю вас, бесценный друг Сергей Тимофеевич, что я в Одессе и, может быть, останусь здесь всю зиму, хоть, признаюсь, здешняя зима мало чем лучше московской. Но нечего делать, с паспортом я опоздал. А отсюда подыматься на север тоже поздно. Видел я Казначеева, который мне показался весьма добрым человеком. Часто видаюсь со Стурдзой, с кн. Репниными, Титовыми и со многими старыми товарищами по школе, но чувствую, что вас недостает. Пожалуйста, уведомьте меня о себе, о всех ваших и о всем, что до вас относится, о сем прошу и Константина Сергеевича. Продолжаете ли записки? Смотрите, чтобы нам, как увидимся, было не стыдно друг перед другом и было бы что прочесть. Константину и Ивану Сергеевичам также.

Пишите: В Одессу. В доме генерал-майора Трощинского.

Весь ваш *Н. Г.*

Душевный поклон Ольге Семеновне, Вере Сергеевне и всему дому».

Аксаков отвечал Гоголю:

«Москва, Декабря 3-го <1850>.

Наконец, я получил прямую весточку от вас, милый друг Николай Васильевич! Итак, вы в Одессе и ваше намерение провесть зиму под теплым небом Бейрута не состоялось. Я должен признаться вам, что обрадовался этому известию. Одесса близехонько благодаря легкости и удобству сообщений! Мне страшно было думать, что вы опять заедете так далеко, и я не верил и не верую в мысль, чтоб это чужое тепло было полезно вашему здоровью; а ведь о нем-то и речь идет. Поверьте, что я не увлекаюсь эгоизмом и не подкуплен возможностью скорого свидания с вами: возможностью сесть да и приехать в Москву. Будьте здоровы, доканчивайте успешно свой великий труд и не ездите в Москву хоть целый год.

Я один раз только имел известие, что вы живете в Васильевке, что вы здоровы и сбираетесь в Одессу, чтоб оттуда ехать дальше. О Максимовиче до сих пор ничего не знаем. — Теперь следует рассказать вам по порядку все, что случилось с нами в продолжение шестимесячной разлуки. 4 июня я переехал в свою подмосковную, где я прожил до 21 ноября. До наступления зимы, которая явилась у нас почти месяцем ранее обыкновенного, я неутомимо удил и ходил за грибами и был довольно здоров; последний же месяц писал ежедневно свои охотничьи записки и кончил отделение степной, или полевой, дичи, начатое в Москве; написал даже кое-что в техническое отделение моих записок. По совести должен сказать, что я доволен только некоторыми местами. Я переехал в Москву с гораздо большей неохотою, чем когда-нибудь. Послезавтра две недели, как я переехал и до сих пор еще не начал примиряться со своим положением. Не могу возбудить в себе никакого интереса к окружающим меня предметам. Все мне чуждо и скучно. Писать ничего не могу. Событие, которое в другое время не только бы занимало, но и волновало меня, то есть постановка на сцену драмы Константина, я точно вижу как во сне. Кроме личного участия в сочинителе, тут решаются два важные вопроса: можно ли перенесть

с успехом на сцену, в ее настоящем значении, драматизм исторической старой русской жизни хотя в одном моменте, или простота ее так велика, что для сцены не годится? Второй вопрос еще важнее: сохранилось ли настолько в низших слоях общества (а не народа) и развилось ли в нас русского чувства, чтоб мы способны были почувствовать эту жизнь! Эту пиесу выпросил себе в бенефис один плохой актер Леонидов, и Константин дал мимоходом согласие, предполагая, что это дело, по многим причинам, не состоится; а между тем оно состоялось, и 13 декабря драма идет. Я предполагал, что все актеры, особенно по нерасположению к бенефицианту, будут весьма недовольны постановкой этой пиесы. Может быть, оно сначала так и было; но когда Константин, при первой считке, прочел ее с совершенною простотою и горячим одушевлением, все были увлечены и многие растроганы до слез. Лучшие актеры захотели играть по нескольку лиц в народе, и со вчерашнего дня начались уже репетиции, которые будут продолжаться даже по ночам, после спектаклей, за недостатком времени и свободной сцены. Признаюсь, этого я никак не ожидал и начинаю думать, что многие места произведут сильное действие. Святость содержания драмы и простота, никому не заметная, в совершении великих дел понята толпой актеров, вполне оторванных от народа, недостаточно образованных, чтоб понять его, и забитых представлением лиц, почти всегда совершенно им чуждых!.. Согласитесь, что этого никак нельзя было ожидать. Хочу сделать глупость: ехать на первое представление в литерную ложу, где бы я мог спрятаться от блеска ламп и от зрителей, ибо я никого не хочу соблазнять своим нарядом. Непременно напишу подробно обо всем вам.

Константин, Вера и Надя съездили в Киев и остались очень довольны своим путешествием: чудное местоположение Киева в соединении с его историческим и религиозным значением произвело глубокое впечатление на всех. Малороссия поэтически подействовала на моих дочерей и смягчила даже непреклонного Константина. Впрочем, главная цель поездки не достигнута: здоровье Веры находится в прежнем положении, как и главной больной, Оленьки; все же остальные — слава богу. Гриша мой

служит покуда в Петербурге, а Иван продолжает неутомимо подвизаться в Ярославской губернии. Много нового, любопытного и важного открыл он своим следствием; от него же узнает правительство и все те, кому знать надлежит.

Вот вам, милый друг, рапорт обо всех нас. Старуха моя с прежним самозабвением хлопочет обо всем, и покуда бог хранит ее здоровье. Хомякова еще нет; я крепко звал его к 13 декабрю, но он ничего не отвечает. Кошелев, Томашевский и брат кланяются вам. Жена и вся моя семья вас обнимают. В Москве обдали меня потоком таких гадких вестей, что затыкаю уши. Старинный друг мой и ваш хороший знакомый Кавелин кончил жизнь. Казначеев — добрейший человек и самый старший из моих друзей: мы дружны с ним сорок два года. Я напишу к нему.

Крепко вас обнимаю и молю у бога сил и здоровья вам.

Ваш *С. Аксаков*».

В ответ на это Гоголь писал:

«Одесса. Декабря 23 <1850>.

Очень обрадовали меня вашим письмецом, добрый друг Сергей Тимофеевич. Слава богу, вы здравствуете, хоть и не так, может быть, как хотелось бы; но... за все слава богу! Если будем довольствоваться малым, дастся и больше. Меня тоже бог милует и хранит: зима здешняя благоприятна мне. Занятия мои потихоньку идут. Весной хочется быть в Москве, повидаться с вами и с Москвой. Очень рад, что драма Константина Сергеевича попала на сцену. Весьма меня обяжете, если уведомите, как она шла, каково общее впечатление и что говорят о ней порознь? Затем обнимаю вас от всей души и поздравляю совокупно, со всем милым вашим семейством всех с наступающим годом. Дай бог, <чтоб> он каждому из вас принес в душу много радостей таких, за которые беспрерывно хочется благодарить бога.

Ваш весь *Н. Гоголь*».

Одновременно с тем и сам С. Т. Аксаков писал Гоголю:

«Москва, 25 декабря <1850>. Понедельник.

Поздравляю вас, милый друг Николай Васильевич, с великим праздником. Давно бы следовало мне написать вам о представлении драмы Константина, которое было 14 декабря; но в продолжение этих десяти дней много было у меня смущений разных и нездоровья. Не знаю, как сказать вам об успехе драмы? Если сильное раздражение в одной части публики, внимание — в другой и сочувствие — в третьей, небольшой, части общества может назваться успехом, то успех был огромный. До сих пор Москва полна разговоров, брани и клевет на автора. Я был сам в театре, который битком набился народом. Еще до поднятия занавеса можно было видеть, что везде рассыпаны шикальщики, которые мешали всему без разбора и с такою наглостью, что общий голос публики называет их полицейскими служителями. Впрочем, мы убеждены, что это было сделано без дозволения графа Закревского, и слышали, что он был очень недоволен. Мнимая русская аристократия и высшее дворянство, не знаю почему, изволили обидеться и бояться донельзя, особенно Трубецкие и Салтыковы. Я имел счастие услышать, что про моего Константина говорили речи, какие я слыхал про вас после «Ревизора» и «Мертвых душ», то есть: «В кандалы бы автора да в Сибирь!» Пиеса остановлена до разрешения из Петербурга; но, вероятно, не будет представляться. Да и в самом деле, зачем предлагать публике душеспасительную духовную пищу, если она производит в ней физическую тошноту и рвоту.

Вы знаете драму. Она никогда не назначалась для театра и написана без всякого сценического искусства; но строгая истинность исторических событий и горячее чувство автора очень слышны на сцене, и многие места производят сильное впечатление. Для меня по крайней мере вопрос русской драмы решен: она может и должна быть, но непременно древняя, ибо в настоящее время русской жизнью живет один крестьянин. Что касается до русского чувства, то оно и сохранилось и пробудилось в доказа-

тельство, как хорошо актеры поняли пиесу. Посылаю стихи Ленского, прочтенные на обеде Константину.

Крепко вас обнимаю. Вся голова болит. Все вам кланяются.

Ваш друг С. *Аксаков*».

Январь, февраль и март наступившего 1851 года Гоголь провел в Одессе. Но следующее письмо Аксакова уже не застало Гоголя в Одессе.

«1851, 19 марта, Москва.

Здравствуйте, милый друг Николай Васильевич, в новый ваш год! Крепко вас обнимаю и поздравляю. Несколько любящих вас приятелей заранее согласились было сегодня обедать у нас, но, как нарочно, что-то угораздило Погодина с Шевыревым устроить сегодня обед Иордану. Не только все наши гости обедают там, но и Константина утащили. Надеюсь, однако, что Бодянский отобедает и придет к нам. Хотя вареников есть не будем, но послушаем: «Ой, на дворе метелица».

Давненько не писал я к вам... А от вас уж и не помню, когда получил грамотку. Хоть ваше молчанье я считаю добрым знаком, но это чересчур. В последнее время я крепко расстроился было своими нервами, которые расплясались у меня, как у истерической женщины; теперь понемногу поправляюсь. Причину такой передряги перескажу вам лично. Странное дело: эта нервическая хворь не только не мешала, но даже помогала мне работать над моими записками, которые кончены, и это меня даже огорчает. Конечно, возни за ними осталось еще довольно, но она не может так сильно меня занимать; а без занятия нашему брату плохо. Мне кто-то сказывал, что вы до приезда в Москву поедете на южный берег Крыма. Если это правда, то я боюсь, что это письмо не застанет вас в Одессе и что вы не скоро к нам приедете.

Жду вас с нетерпением: хочу слушать и читать. Прощайте, друг мой! Обнимите за меня Казначеева и скажите ему, что его грамотка шла ко мне два месяца. Прощайте!

Всею душою ваш С. *Аксаков*».

Гоголь отвечал:

«Мая 14 <1851>, д. Васильевка.

Милое ваше письмо, добрый друг Сергей Тимофеевич, получил уже здесь, в Малороссии, и благодарю вас за поздравление с днем рожденья моего, и вас, и Ольгу Семеновну, и Константина Сергеевича, и всю семью. На днях выезжаю в Москву. Вероятно, вы уже будете в вашей подмосковной, но постараюсь заглянуть к вам и туда. О Максимовиче не имею никаких вестей; слышал только, что был он болен, и ничего больше. Весна здесь так благоприятна, как давно не было. Обнимаю вас — до свиданья!

Ваш *Н. Гоголь*».

Вскоре Гоголь прибыл в Москву, откуда проехал в Абрамцево. Аксаков вспоминал об этом времени:

«В 1851 году Гоголь был у нас в деревне три раза; в июне, в половине сентября, когда он сбирался на свадьбу сестры своей в Васильевку, откуда хотел проехать на зиму опять в Одессу, и, наконец, в третий раз 30 сентября, когда он уже воротился с дороги, из Оптиной пустыни. Он был постоянно грустен и говорил, что в Оптиной пустыни почувствовал себя очень дурно и, опасаясь расхвораться, приехать на свадьбу больным и всех расстроить, решился воротиться. Очень было заметно, что его постоянно смущала мысль о том, что мать и сестры будут огорчены, обманувшись в надежде его увидеть. 1 октября, в день рождения своей матери, Гоголь ездил к обедне в Сергиевскую лавру и на возвратном пути заезжал в Хотьков монастырь. За обедом Гоголь поразвеселился, а вечером был очень весел. Пелись малороссийские песни, и Гоголь сам пел очень забавно. Это было его последнее посещение Абрамцева и последнее свидание со мною. 3 октября он уехал в Москву».

Спустя три месяца и семнадцать дней последовала кончина Гоголя. За этот промежуток времени сохранилась одна только записка Аксакова к Гоголю, от 9 января 1852 года, из Амбрамцева:

«Здравствуйте, милый друг Николай Васильевич! Как поживаете? Я кое-как перебиваюсь. Посылаю с Ива-

ном половину моих записок, чтоб процензуровать и печатать; остальную половину пришлю через неделю. — Поздравляю вас с прошедшими праздниками и наступившим Новым годом. 1852 год должен быть ознаменован появлением второго тома «Мертвых душ». Каково ваше здоровье и как идет дело? По слухам, кажется, недурно. Я не надеюсь скоро вас обнять. Не могу и подумать о зимней дороге и возке; да и жить мне в нашей квартире неудобно. Я уже дал доверенность Ивану по всем моим делам. Крепко вас обнимаю. Молю бога, чтоб он подкрепил ваши силы.

Душою ваш *С. Аксаков.*

9 января.

Все мои вас обнимают и поздравляют».

Об этих месяцах жизни Гоголя сам С. Т. вспоминает так:

«В продолжение октября и ноября Гоголь, вероятно, чувствовал себя лучше и мог успешно работать, что доказывается несколькими его записками. В одной из них, между прочим, он писал: «Слава богу за все. Дело кое-как идет. Может быть, оно и лучше, если мы прочитаем друг другу зимой, а не теперь. Теперь время еще какого-то беспорядка, как всегда бывает осенью, когда человек возится и выбирает место, как усесться, а еще не уселся». Следующие слова из другой записки показывают, что Гоголь был доволен своею работой: «Если бог будет милостив и пошлет несколько деньков, подобных тем, какие иногда удаются, то, может быть, я как-нибудь управлюсь». Потом дошли до меня слухи, что Гоголь опять расстроился. Я писал к нему и спрашивал, как подвигается его труд, и получил от него следующую печальную, последнюю записку, писанную или в исходе декабря 1851 года, или в начале января 1852 года: «Очень благодарю за ваши строчки. Дело мое идет крайне тупо. Время так быстро летит, что ничего почти не успеваешь. Вся надежда моя на бога, который один может ускорить мое медленно движущееся вдохновение. Ваш весь *Н. Г.* Обнимаю вместе с вами весь дом ваш».

О последних днях Гоголя, среди материалов, собранных для «Истории моего знакомства», имеется отрывок из письма жившей в Москве Веры Сергеевны в Абрамцево, к отцу, а также отрывок из ее письма к матери Гоголя. Вот первый из них:

«Сегодня Овер удивил нас своими рассуждениями о Гоголе. Как мог он так истинно понять его и то, как должны были бы поступать с ним друзья! Даже слишком было больно слышать, что теперь... нельзя исправить. Но, видно, так богу угодно, таковы судьбы божии и для России. Но грустно, грустно... И никого близких из наших не было около него».

Отрывок из письма В. С. Аксаковой к матери Гоголя:

«Я вам обещала, добрая Марья Ивановна, описание наших последних свиданий с Николаем Васильевичем. Хотя в них особенного ничего не было, но я знаю, что вам все дорого. — Мы жили эту зиму в деревне по обстоятельствам денежным; больной сестре был нанят маленький домик, и кто-нибудь из братьев и из сестер постоянно с ней жил. Николай Васильевич очень уговаривал нанять большой дом и переехать всем, уверяя, что жить на два дома не будет выгодно... После половины января (1852 г.) я с сестрою Надей поехала в Москву. Как приехали, дали знать Николаю Васильевичу. Он навестил нас, и мы нашли его довольно бодрым; но в это время занемогла жена Хомякова, сестра Языкова, с которым Николай Васильевич был так дружен. Всех очень встревожила и огорчила болезнь такой молодой женщины. Николай Васильевич навещал нас через день; хотя на короткое время, но приходил непременно узнать, что у нас делается, какие вести из деревни?.. Вы, может быть, слышали, что у нас как-то певались малороссийские песни, и Николай Васильевич сам их напевал для того, чтобы класть на ноты. Желая ему сделать приятное, сестра предложила ему заняться опять песнями. Хомяковой сделалось получше, и мы назначили день, чтобы собраться; но больной сделалось опять хуже, и накануне назначенного дня она скончалась, тридцати пяти лет, оставя семь маленьких детей и мужа, любившего ее всею душой. Эта кончина поразила и огорчила всех, но Нико-

лая Васильевича она особенно расстроила. Он был на первой панихиде и насилу мог остаться до конца. На другой день он был у нас и говорил, что его это очень расстроило. «Вот как!..» — сказал он, грустно здороваясь с нами; говорил, что боялся в тот день посылать узнавать о ее здоровье и только ждал извещения от Хомяковых, которое и не замедлило прийти. Спросил, где ее положат? Мы сказали: в Даниловом монастыре возле Языкова Николая Михайловича. Он покачал головой, сказал что-то об Языкове и задумался так, что нам страшно стало: он, казалось, совершенно перенесся мыслями туда и оставался в том же положении так долго, что мы нарочно заговорили о другом, чтоб прервать его мысли. На другой день, во вторник, мы не видали Николая Васильевича; в этот день — похороны. На них он не был. На третий день, в середу, пришел он; мы его спросили, отчего он не был? Он сказал, что слишком был расстроен, не мог. Разговор, разумеется, все был о том же. Он сказал: «Я отслужил сам один панихиду по Екатерине Михайловне и помянул вместе всех близких, прежде отшедших; и она, как будто в благодарность, привела их всех так живо перед меня. Мне стало легче. Но страшна минута смерти». — Почему же страшна? сказал кто-то из нас. Только бы быть уверену в милости божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать (о смерти). — «Ну, об этом надобно спросить тех, кто перешел через эту минуту», — сказал он. И в самом деле, с этих пор (после того, как отслужил панихиду) он сделался спокоен, как-то светел духом, почти весел; по крайней мере таким мы его видели во все последние раза. Через день опять он пришел и именно утром. Братья наши разъехались: один в Курск, другой в деревню: к нам принесли корректуру Николаю Васильевичу. Я послала ему с запиской. Он приходит и говорит, что получил записку, но корректуры не получал; сказал, что только что от обедни. Это была пятница перед масленой; в субботу приходилось сретение, и потому поминальную субботнюю службу служили в пятницу. Видно было, что он находился под впечатлением этой службы; мысли его были все обращены к тому миру. Он был светел, даже весел, говорил много и все об одном и том же.

Он говорил, что надобно посоветовать Хомякову читать самому псалтырь по своей жене, что это для него и для нее будет утешение и что тогда только имеет смысл чтение псалтыри по умершим, когда читают близкие; говорил о впечатлении смерти на людей, о том, возможно ли человека воспитать так с малых лет, чтоб он понимал значение жизни и смерти, чтобы смерть не поражала как будто нечаянность. Говорил об одной знакомой старушке, которая по своему дурному нраву возбудила против себя негодование всех. Он говорил о том, как гнев опасен: раздражает других; хвалил очень своего приходского священника и всю службу в его приходе. День был прекрасный, ясный; мы спросили его, работал ли он сегодня? «Нет еще, — сказал он, улыбаясь, — вышел с утра из дома». — Надобно вам теперь позаняться (сказали мы). — «Надобно, — отвечал он, — но не знаю, как пройдет». — В воскресенье он опять пришел после обедни пешком из своего прихода, несколько усталый; опять хвалил очень своего приходского священника и все служение; видно, что он был полон службой; говорил опять о псалтыри. Сказал также: «Всякий раз как иду к вам, прохожу мимо Хомякова дома и всякий раз, и днем и вечером, вижу в окне свечу, теплящуюся в комнате Екатерины Михайловны (там читают псалтырь). Говорил также и о другом, о печатании, хотел прийти к нам держать корректуру, чтобы научить нас. Мы сказали, что на другой день ждали брата из деревни. На другой день, это было в понедельник на масленой, после обеда мы сидели и разговаривали с приезжими из деревни; слышим, что кто-то взошел; оглядываемся: Николай Васильевич! Мы очень удивились и обрадовались ему. Он спросил, приехал ли брат и где он? Узнавши, что у Хомякова, сказал, что пойдет туда. В нем было видно несколько утомление; сказал, что скоро уйдет, что должен лечь ранее, потому что чувствовал какой-то холод ночью, который его, впрочем, не беспокоил. Мы сказали: «Это нервный!» — «Да, нервный», — сказал он совершенно спокойно. Видно, что он сам не придавал тому значения; сказал, что пойдет сейчас. Мы простились, по обыкновению, и он ушел. Это было в последний раз. К Хомякову он не заходил. В середу его навестили; он сказал, что не совсем хорошо себя

чувствует. Видя, что он не идет к нам несколько дней, я написала записочку, чтоб узнать о его здоровье: велели сказать, что не в состоянии отвечать. На другой день посылали узнать; сказали, что ему лучше».

Сохранившийся отрывок на этом обрывается.

Глубоко потрясенный неожиданным известием о кончине Гоголя, Аксаков написал своим сыновьям взволнованное письмо:

«Одним сыновьям. 23 февраля, <1852>.

«Ровно двое суток, как Гоголя нет на свете. Гоголь умер... Странные слова, совсем не производящие обыкновенного впечатления. Если вчера была во мне некоторая борьба частного моего чувства с общею потерею, то сегодня первое совершенно исчезло, так что я не могу отыскать его... и я совершенно подавлен общею бедою. Я не знаю, любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно как человека. Я думаю, нет; да это и невозможно. У Гоголя было два состояния: творчество и отдохновение. Первое давно уже, вероятно вскоре после выхода «Мертвых душ», перешло в мученичество, может быть, сначала благотворное, но потом перешедшее в бесполезную пытку. Как можно было полюбить человека, тело и дух которого отдыхают после пытки? Всякому было очевидно, что Гоголю ни до кого нет никакого дела; конечно, бывали исключительные мгновения, но весьма редкие и весьма для немногих. Я думаю, женщины любили его больше и особенно те, в которых наименее было художественного чувства, как, например, Смирнова. — Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов и которых не видывал до смерти <собственных> детей, я, постоянно боявшийся до сих пор несколько ночей после смерти каждого знакомого человека, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь! Несколько раз просыпался, думал о Гоголе, воображал его труп, лежащий в гробе со всем страшным для меня окружением, — и, не чувствуя никакого страха, вскоре засыпал.

Я признаю Гоголя святым, не определяя значения этого слова. Это истинный мученик высокой мысли,

мученик нашего времени и в то же время мученик христианства. Я это предчувствовал, и еще в 1844 году, когда он прислал нам подарки, написав прежде такое письмо, что я ждал второго тома «Мертвых душ», писал к обоим этим Петровичам о своем отчаянии. Долго хохотали надо мною эти ослы, прочитав в моем письме, что или художник погиб и выйдет святой отшельник, или Гоголь умрет в сумасшедшем доме. Слава богу, не сбылось последнее; но зато он ничего не произвел нового и умер. Правда, я предавался надежде, услышав первые главы «Мертвых душ» второго тома, но с каким-то страхом и даже подшпоривая себя; притом ведь это было написано *прежде* и только воспроизведено или, может быть, только повторено даже в слабейшем виде. Нельзя исповедовать две религии безнаказанно. Тщетна мысль совместить и примирить их. Христианство сейчас задаст такую задачу художеству, которую оно выполнить не может, и сосуд лопнет. Жалею, что я не в Москве. Меня не расстроили бы все эти церемонии. Напротив, мне было бы весело увидеть все улицы около церкви, покрытые толпами людей. Но едва ли это будет?.. Десять лет молчания, шесть лет пропадания из России, слухи об отчаянной болезни и даже смерти, наконец похороны самого себя в известной книге — ослабили общее участие. Бедный, бедный страдалец Гоголь! Боюсь, что чувство жалости сильно мною овладеет; а притом это еще вопрос: как-то мы будем жить при мысли, что нет Гоголя. Прощайте, друзья мои. Крепко обнимаю и благословляю вас.

Отец и друг С. *Аксаков*».

Этим письмом исчерпываются материалы, предназначенные С. Т. Аксаковым для книги «История моего знакомства с Гоголем». После смерти Гоголя Аксаков напечатал в «Московских ведомостях» две небольшие статьи: «Письмо к друзьям Гоголя» и «Несколько слов о биографии Гоголя», хронологически как бы завершающие события, о которых повествуют аксаковские мемуары (см. эти статьи в наст. томе, стр. 599 и 602).

СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ

ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ «ВЕСТНИКА ЕВРОПЫ»

<О ПЕРЕВОДЕ «ФЕДРЫ»>

С радостию прочитал я в 46-й книжке «Сына отечества» под статьею: «Российский театр» известие о блистательном появлении русской «Федры» на петербургской сцене, с замечаниями г. сочинителя об игре актеров и о самом переводе. Давно носился слух, что г. Лобанов им занимается; давно уже любители словесности нетерпеливо ожидали окончания труда его, а прекрасный перевод «Ифигении в Авлиде» увеличивал сие нетерпение. Из отрывков, помещенных в «Сыне отечества», должно заключить, что перевод «Федры» в целом — прекрасен; но позвольте мне, милостивый государь, предложить мои замечания, посредством вашего журнала, на некоторые стихи, единственно в том отношении, что они выставлены сочинителем «Разбора» за лучшие, даже за превосходящие оригинал. В первом действии (явление третье) Федра, открыв ужасную тайну Еноне, говорит:

Взглянув на юношу, бледнела я, пылала;
Вдруг сердце замерло, вдруг грудь затрепетала;
В глазах простерся мрак, язык мой онемел;
Я вся, весь мой состав и дрогнул и горел.
. . . .
Я крылась от него [1].

---

[1] Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue;
Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue;

Первый стих не имеет определенности стиха Расинова: *я его увидела; я краснела, я бледнела от его взгляда;* притом непременно должно было сказать *краснела;* пылать здесь еще не место. У Расина везде соблюдены постепенность и приличие; да и *пылала* — совсем не одно и то же, что *краснела.* Вместо стиха Расинова: *смятение восстало в изумленной душе моей,* переводчик говорит: *вдруг сердце замерло, вдруг грудь затрепетала;* но стих сей слишком сильное показывает действие, а потому, мне кажется, погрешает против быстрого, но постепенного действия любви, везде прекрасно выдержанного у Расина; еще ж и стих не гладок: верно, не для подражательной гармонии составлено последнее полустишие. После слов: *я вся* не нужно говорить: *весь мой состав,* ибо в слове *вся,* верно, заключается и состав Федры. *И дрогнул и горел* — дрогнуть не всегда значит хладеть; например: *дрогнули сердца в Новегороде* и пр. *Я крылась от него...* Скрывалась, убегала, кажется, было бы лучше.

Федра, увлекаясь страстию (действие второе, явление пятое), говорит Ипполиту:

> Но нет, не умер он; он жив в тебе — и вдруг:
> Мне кажется, в тебе — вновь дышит мой супруг [1].

В обоих стихах повторяется одна и та же мысль, и оба стиха нехороши. *Вдруг* вовсе лишнее; близкое повторение слова *в тебе* портит стихи, а не усиливает. Сказавши: *он жив в тебе,* не странно ли говорить: *мне кажется, в тебе вновь дышит* и пр. Как искусно у Расина развертывается одна мысль из другой: *что я сказала? он не умер; он жив в тебе: мне мнится всегда, что я вижу пред собою моего супруга.*

Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler;
Je sentis tout mon corps et transir et brûler.
. . . .
Je l'évitais partout.

[1] Que dis-je? Il ne point mort, puisqu'il respire en vous.
Toujours devant mes yeux je crois voir mon époux.

Ипполит

Я вижу, мой отец, сей доблестный герой, и пр.[1]

Последнее ненужное полустишие есть вставка переводчика, который пропустил стих Расина: *я вижу чудесное действие любви твоей.* Пропуск, по моему мнению, весьма важный, ибо как мог Ипполит не изъявить своего внимания к столь живому мечтанию Федры? Не дать ему благовидных причин в собственных глазах ее?

Федра

Смой стыд *чудовища* ужаснейшего кровью.

Расстановка слов в этом стихе неудачна; *смой стыд...* неприятное стечение звуков, да и мысли сей у Расина нет.

Вдова Тезеева горит к тебе любовью!
Нет, нет, *чудовища* не *должен* ты щадить;
Вот сердце! меч в него ты *должен* свой вонзить.
Да страшное скорей *бесчестие* сотрется;
Я чувствую, *оно* само на меч твой рвется.
. . . .
Отдай ты мне свой меч[2].

Вообще сей монолог не так хорошо переведен. В стихе: *я чувствую, оно само на меч твой рвется* — *оно* должно отнести к *бесчестию*, не говоря о словоударении *само*. Последнее полустишие весьма неприлично растянуто; оно отнимает всю силу и необходимую краткость Расинова: donne... Он с намерением оканчивает монолог Федры одним словом: только одно слово можно произнести при мгновенном исполнении ее намерения.

---

[1] Je vois de votre amour l'effet prodigieux...

[2] Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite.
La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte!
Crois moi, ce monstre affreux ne doit point t'échapper.
Voilà mon coeur, c'est là que ta main doit frapper.
Impatient déjà d'expier son offense.
Au-devant de ton bras je le sens qui s'avance.
. . . .
Donne...

Теперь следуют стихи, в которых г. сочинитель «Разбора» находит, что переводчик превзошел Расина. Вот они:

В третьем действии (явление второе) Федра, увидя входящую Енону, говорит:

Я вижу, ты мне смерть, несчастная, несешь.

Господин сочинитель статьи о «Федре» говорит в примечании: «Скажем мимоходом, что здесь переводчик наш превзошел Расина. Стих его гораздо живее, гораздо вернее выражает отчаяние Федры, нежели стих Расинов: «Oenone, on me déteste; on ne t'écoute pas» (стр. 247).

Мое мнение совершенно тому противно: русский стих хорош, и я был бы им доволен, если б не знал стиха Расинова, который гораздо живее, вернее выражает положение Федры и может назваться одним из превосходнейших. Федра, обольщаемая слабым лучом надежды, что Ипполит внимал с холодностию ее признанию от изумления, от совершенного незнания любви, посылает Енону говорить с ним; приказывает ей или воспламенить его честолюбие, или смягчить его сердце отчаянием умирающей от любви к нему Федры; вся судьба ее зависит от сих переговоров... Енона возвращается с необыкновенною поспешностию. Что натуральнее, приличнее может быть сей мысли, мастерски в отрывистых фразах Расином выраженной: *Енона! меня ненавидят; тебя не хотели выслушать?*

Терамен

В каких же ты странах надеешься найти
Тезея *жаркий след* иль *темные пути?*[1]
(Действие первое, явление десятое.)

В последнем стихе г. сочинитель «Разбора» находит более поэзии, нежели у Расина; но к чему особенная поэзия, чтоб сказать такую обыкновенную мысль: *где ты надеешься найти следы Тезея? — Жаркие следы не*

[1] Sur quel espoir nouveau, dans quels heureux climats
Croyez-vous découvrir la trace de ses pas?

говорится, а *горячие следы*, но и сие употребляется в низком смысле. *Темные пути* истинно темны. Мне кажется, сей эпитет неприличен.

Федра

Енона! от *стыда* лицо мое пылает:
Ты зришь *постыдную* болезнь души моей,
И слезы катятся невольно из очей [1].
(Действие первое, явление третье.)

Г. сочинитель говорит: «Эти стихи и поэзией и свободою стихосложения превосходят стихи подлинника» (стр. 257). Я был бы согласен с ним, если б *стыда* и *постыдную* не стояли так близко один от другого. *Ты зришь* и пр. слишком определенно сказано; у Расина Федра говорит: *я даю тебе видеть* и пр.

Федра

Вновь вспыхнула во мне свирепая любовь.
Уже не тайною я страстию томилась:
Киприда вся в меня, как Фурия, вселилась [2].
(Там же.)

Едва ли кто-нибудь согласится признать сии стихи лучшими французских, хотя Киприда и названа в них Фурией. — Следующие же стихи, названные не уступающими подлиннику, в которых (как сказано в «Сыне отечества» на стр. 58) *переводчик идет рядом с Расином,* весьма далеко отстоят от него:

Как скучен сей наряд, как тягостны покровы.
Чья дерзкая рука власы мои сплела
И на челе моем так пышно собрала?
Все ненавистно мне, все грустно и постыло [3].

---

[1] Oenone, la rougeur me couvre le visage,
Je te laisse trop voir les honteuses douleurs
Et mes yeux malgré moi se remplissent de pleurs.

[2] Ma blessure trop vive aussitôt a saigné
Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées:
C'est Venus tout entière à sa proie attachèe.

[3] Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent!
Quelle importune main, en formant tous ces noeuds,
A pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux?
Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire.

Вместо *дерзкая* должно сказать *докучная*, как заметил и г. сочинитель «Разбора»; слово *пышно* совсем лишнее; наконец, где мысль и мастерское падение звуков последнего стиха: tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire?

Зачем я не в тени развесистых древес!
Когда сквозь пыльный вихрь узрю коней с возницей
И взором понесусь за быстрой колесницей?..[1]

Сии стихи также гораздо хуже французских. *Пыльный вихрь* то ли, что noble poussière? *Узрю коней с возницей* — принадлежит переводчику и совсем лишнее. Перенесены ли на русский язык красоты превосходного стиха: Suivre de l'oeil un char fuyant dans la carrière? Слово: fuyant, сказанное искусною актрисою, заставляло некогда забывшихся зрителей искать взорами исчезающей в отдалении колесницы; русский стих не позволит русской актрисе произвести такого действия.

Какого ждешь плода за все твое стенанье?
Вздрогнешь от ужаса, коль я прерву молчанье[2].

Стенанье? Расин говорит: *violence?* усилие, чтоб проникнуть тайну Федры? тогда мысль правильна; но какого ждать плода за стенанье? Теперь обращусь назад к известному и прославленному рассказу Терамена (о котором напечатано в «Сыне отечества»: «*В некоторых местах, а особливо в рассказе Терамена, он* (переводчик) *даже побеждал непобедимого*», стр. 57), и осмелюсь признаться, что подражательная гармония русского перевода мне кажется неудачною и что от г. Лобанова должно было ожидать лучшего. Я говорю только об отрывке, напечатанном в «Сыне отечества».

---

[1] Dieux, que ne suis-je assise à l'ombre de forêts!
Quand pourrai-je, au travers d'une noble poussière,
Suivre de l'oeil un char fuyant dans la carrière?

[2] Quelle fruit espères tu de tant de violence?
Tu frémiras d'horreur si je romps le silence.

Неукротимый вол, неистовый дракон,
Вращая ошибом, крутился, прядал он.
. . . .
Земля содрогнулась, тлетворен воздух стал;
Его изергший вал со страхом отбежал![1]

Второй стих несравненно хуже знаменитого стиха Расинова: Sa croupe se recourbe en replis tortueux, и не то значит. Последний стих мог бы назваться превосходным, если б, к сожалению, не рифмовала цезура. Отец нашего театра, А. П. Сумароков, почти так же перевел сей стих, если я не ошибаюсь:

И вал, что нес его, со страхом убежал.

Теперь следует продолжение перевода г. Лобанова; пропустя несколько стихов:

Рванулись на скалы, оцепенел возница;
Ось с скрыпом хряснула. С утеса колесница,
Сорвавшись, рухнула, рассыпалася в прах...[2]

Оцепенел возница? Мысли сей у Расина не бывало. Она совершенно не в характере Ипполита. Расин не только не называет его трусом, напротив — говорит: L'intrepide Hippolyte etc. *Ось с скрыпом хряснула...* Подражательная гармония есть; но *хряснула* самое низкое слово. *С утеса колесница, сорвавшись, рухнула* — обстоятельство, прибавленное г. переводчиком. *Рухнула,* мне кажется, неприлично сказать о колеснице. *Рухнула башня, стена* — дело другое. Слово сие у нас еще не облагородствовано употреблением его в высоких родах сочинений; впрочем, это не мешает ему со временем занять в них свое место. — Теперь обращаюсь с вопросом

---

[1] Indomptable taureau, dragon impetueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux;
. . . .
La terre s'en émeut, l'air en est infecté;
Le flot qui l'apporta recule épouvanté.

[2] A travers les rochers la peur les précipite,
L'essieu crit et se rompt: l'entrepide Hippolyte,
Voit voler en éclats tout son char fracassé.

к беспристрастным читателям: можно ли торжествовать мнимые победы русского Тераменова рассказа?—Прочие отрывки из «Федры», напечатанные в «Сыне отечества», истинно прекрасны; но как нарочно слабейшие из них названы превосходнейшими.

Делая сии замечания, я имел особенною целию, как упомянул и прежде, доказать неосновательность суждений г. сочинителя статьи «Российский театр»; тем более, что достоинство оригинала и перевода требовали большего внимания; статья же сия написана, по моему мнению, слишком на скорую руку, хотя и названа г. издателем «Сына отечества» в Современной библиографии той же книжки «Подробным разбором». Может быть, многие назовут мои замечания пустыми привязками, а особливо почитатели (часто, или, лучше всегда, пристрастные) г. Лобанова; может быть, назовут меня завистливым, мелочным Зоилом — но я беру дело на апелляцию к самому г. переводчику. Мне кажется, он будет ко мне справедливее других; он должен быть таким: ибо только отличные произведения достойны истинной, строгой критики, и если б я менее уважал прелестный талант его, то никогда не написал бы сих замечаний.

1824 года, января 3-го дня.
Село Надежино.

МЫСЛИ И ЗАМЕЧАНИЯ О ТЕАТРЕ И ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Того актера можно назвать *совершенным*, которого поймет и не знающий языка (представляемой пиесы) по выразительности голоса, лица, телодвижений; даже глухой — по двум последним; даже слепой — по одному первому.

*

Актер, в сильных драматических ролях, в двух случаях может играть хорошо: он должен быть или с пламенным воображением, с чрезмерно раздражительною чувствительностию, все увеличивающий, все принимающий близко к сердцу, приходящий в восторг от того, что другой едва примечает, — или внимательный только наблюдатель хода страстей человеческих и с хладнокровием, но верно им подражающий. В первом случае — талант, во втором — искусство; соединение их — составляет *совершенство*.

*

Почти каждый из славных актеров имел в игре *нечто свое*, самим гением ему внушенное и — неподражаемое. Без сомнения, надобно пользоваться сим средством, но не забывать меры; иначе оно обратится в порок.

*

Великая важность для актера — особливо же для того, кто не одарен отличными физическими средствами от природы — уметь сберегать себя (не охлаждая игры) для сильных мест своей роли. — Шушерин употреблял сей способ с совершенным успехом.

*

Редко случается, чтоб актеры, одаренные отличными средствами, талантом и блестящею наружностию, достигали великого искусства. Причина ощутительна и естественна: кто обижен от природы, тот старается (имея склонность к своему искусству и ум) вознаградить свои недостатки познаниями, точностию игры, прилежным разбором ролей, примерами, советами; а дарование, украшенное всеми выгодами наружности, бросаясь в глаза полузнатокам, обольщая надеждами даже и образованных судей, исторгает громкие похвалы и, ослепя самолюбием актера, останавливает его на пути к совершенству.— Печальный пример тому был наш Яковлев!.. Яковлев, сотворенный природою со всеми возможными, великими душевными и телесными средствами к достижению совершенства, Яковлев, предназначенный быть славою российского театра, красою знаменитых актеров образованной Европы — скажу смело, не выдерживал ни одной роли! *места* были чудесные, а *все* было дурно!.. Просвещенная русская публика имеет право горько жаловаться на неумеренных его почитателей, которые называли его *северным Лекеном!*.. Дмитревский и Шушерин могут служить противуположными примерами, как искусство побеждает природные недостатки [1].

---

[1] К удивлению моему, г-н Булгарин в прекрасном подарке своем любителям театра, в «Русской Талии», довольно мало и холодно сказал о Шушерине. Шушерин, без сомнения, должен стоять вторым после Дмитревского по своему искусству, тем более, что не имел способов образовать себя учением и примерами, как Дмитревский.

*

Есть весьма дурная привычка у актеров и актрис, впрочем и недурных: они на сцене стараются голос свой делать ненатуральным и в самых жарких местах своей роли смотрят в глаза зрителям; а последние, в самое это время, часто поправляют свои уборы, чем убивают очарование, и зритель не может забыться. От сего порока не изъяты и знаменитые актрисы: девица Жорж была ему подвержена.

*

Хорошо, если актер каждый раз сходит со сцены недовольный собою, несмотря на громкие рукоплескания.

*

Многие спорят о том: нужен ли напев при декламации стихов в трагедиях, или нет? — По моему мнению, он *необходим*, но должно употреблять его умеренно и *не везде*. В местах, где говорится без сильного волнения страстей, в торжественных речах к воинам, к народу, в описательных рассказах, в обращениях к божеству — напев должен быть. К чему сей великий труд писать стихами, если читать их, как прозу? И созвучное протяжение стихов не производит ли живейшего впечатления в сердце человеческом? — Скажут, что такое чтение *ненатурально;* но разве натурально говорить стихами, да еще и с рифмами? В изящных искусствах есть условная натуральность. Не есть ли трагедия возвышенное, необыкновенное зрелище? Но я весьма далек от того, чтоб согласиться *на распевание* трагедии, как то делали в Петербурге французские актеры и сама Жорж. Сие неумеренное распевание всегда вводилось славными артистами; их таланты, огонь, чувства одушевляли напев и делали его привлекательным, а подражатели их, как и всегда бывает, подумали, что в нем-то и заключается вся тайна искусства. Впрочем, на французском языке, который не весьма благозвучен, напев может употребляться в большей степени, нежели на нашем.

*

Можно принять за аксиому, что покуда некоторая часть зрителей не будет состоять из истинных знатоков и покуда актеры не будут уважать их мнением более, нежели рукоплесканием множества, до тех пор и с дарованиями актеры — никогда не будут истинными артистами.

*

Талант — первое условие для успеха; хорошие средства [1] почти так же важны; но без образования, без трудов, без очищенного вкуса, получаемого *непременно в хорошем обществе,* — ничего еще не значит. К сожалению, *важность, необходимость* последнего не всегда уважается молодыми артистами; сие неуважение погубило и Яковлева.

*

Отчего, в продолжение нескольких лет, почти все дебютанты (в обеих столицах, особливо в Петербурге) первыми своими появлениями приводили в восторг простых зрителей и обольщали великими надеждами самих знатоков, а впоследствии времени делались несносными и для тех и для других? Между многими другими главнейшая тому причина (мне кажется) состоит в том, что обыкновенно дебютанты показываются в ролях сильных и всегда бывают кем-нибудь из хороших актеров или любителей театра *поставлены на свои дебюты с голосу.* Зрители с приятным изумлением видят, что неопытный актер, в первый раз выходящий на сцену в роле трудной, уже ее понимает; слабость в выражении чувств относят к несмелости их выказать, к непривычке им предаваться; игра вообще слаба, но нет грубых ошибок; за некоторые точно выраженные места, за трудность роли охотно прощают все дурное, приписывая его неопытности, застенчивости и пр. Не шутка показаться пред целую публику столицы!.. это даже

---

[1] Под техническим термином *хорошие средства* должно разуметь голос, грудь и лицо.

некоторым образом льстит ее самолюбию!.. Сей же актер является потом в роле не так важной; зрители не сомневаются, что он ее сыграет *очень хорошо*... Напротив!.. Увенчанный лаврами дебютант, уже оставленный собственному невежеству и даже получивший о себе высокое мнение, играет ее — *очень дурно*!.. Зрители изумляются, на первый раз прощают, но требуют, чтоб с продолжением времени прибавлялось его искусство... Нисколько; он играет день ото дня хуже. Все видят, что обманулись, и за свою ошибку отмщают ужасно; от сего жестокого мщения гаснет последняя искра дарования, и актер, с восхищением принятый публикою в Полинике, Эдипе и Магомете, сходит на роли наперсников, потом простых вестников и везде — делается посмешищем, предметом оскорбления неумолимых зрителей и — навсегда потерянным для искусства!

1825 года. Февраля 15-го,
Село Надежино.

НЕКРОЛОГИЯ <А. И. ПИСАРЕВА>

Марта 15-го, в шестом часу утра, скончался Александр Иванович Писарев от изнурительной чахотной лихорадки [1]. Бескорыстные усилия знаменитого врача не могли спасти его; умственная деятельность слишком далеко превышала в нем силы телесные. Писарев увлек во гроб с собою великие, блистательные надежды друзей своих и всех коротко его знавших.

Он родился в 1801 году, 14 июля, в селе Паниках, Данковского уезда, Рязанской губернии. С самого детства отличался умом и памятью необыкновенными. В 1817 году он был отдан в университетский благородный пансион; там пробыл четыре года, ознаменованные отличными успехами в науках, и там открылась в нем решительная склонность к словесности: поприще свое начал он, как и всегда почти бывает, лирическими стихотворениями, в которых и тогда ярко блистало истинное дарование. В 1821 году он был выпущен из пансиона: золотая доска и десятый класс свидетельствуют об его успехах. Любовь к театру заставила его служить при нем; испытав свои способности в разных родах словесности, он совершенно посвятил себя драматической литературе: его переводные комедии и водевили суть только опыты упражнения в слоге; но кто не знает остроумных, колких, иногда глубокомысленных

[1] Ровно через год, в один день и час с Д. В. Веневитиновым.

куплетов его?.. К несчастию, он не успел написать начатой им большой исторической комедии «Колумб». План расположен превосходно, обдуман во всех подробностях: он известен многим литераторам; одно действие уже написано. Эта комедия, при хорошем исполнении, в чем нельзя было сомневаться, увенчала бы его долговечными лаврами.

Люди, не коротко знавшие покойного, не могут вполне разделять скорби друзей его, он был холоден в обращении, но пламенные чувства кипели под сей холодною наружностию; в дарованиях же его никто не сомневался, он сделал мало — но *мог сделать* много. Высокая комедия была бы достойным его поприщем, и он вооружил бы Талию, — скажем его словами [1], — кинжалом Мельпомены!.. Глубокий, проницательный ум, чуждый оков пристрастия и предрассудков литературных; строгий, верный вкус; сила мыслей новых, свежих; смелость, резкость в их выражении; едкая, убийственная острота; любовь к справедливости, ненависть к пороку... все заставляло ожидать от него комедий аристофановских...

Да не сочтут слова сии — пристрастными словами дружбы: я говорю о потере общей; скорблю о том, о чем скорбят все истинные любители изящного и дарований. О своей потере дружба не сказала еще ни слова...

Писарев погребен 20 марта в Покровском монастыре.

---

[1] «Похвальное слово Капнисту» (см. «Атенея» № 5 <1828>).

ОПЕРА «ПАН ТВЕРДОВСКИЙ»

Наконец, исполнились ожидания если не многочисленных, зато истинных любителей изящных отечественных произведений. «Пан Твердовский» дан 24 мая, и мы слышали *оперу* А. Н. Верстовского. Намереваясь поговорить о содержании пиесы, о музыке и вообще об исполнении, предварительно скажем, что мы не могли смотреть и слушать ее равнодушно: один из первых русских комиков написал волшебную оперу, натурально не для умножения авторской славы, а для другой, благонамеренной цели, и первый русский композитор музыки, прелестными произведениями которого восхищались все почти без исключения[1], с сожалением прибавляя: *для чего Верстовский не напишет оперы?*.. наконец, написал ее.

Пан Твердовский, богатейший польский вельможа, любит Юлию, дочь бедного дворянина Болеславского, и женится на ней (Юлия выходит замуж против воли; она повинуется только отцу, но любит Красицкого, как говорят, убитого на войне). Чего бы еще хотеть Твердовскому? Но желание быть всесильным повелителем духов не дает ему покою; он уже узнал многие тайны волшебства, но жаждет приобресть последнюю степень могущества. Здесь начинается пиеса.

[1] Мы не говорим о тех людях, которые ничего русского не хвалят, и о тех, которые ничего в целом мире не хвалят.

Действие первое: дремучий лес, древняя гробница, на сцене ночь и гроза; толпа цыган, в том числе мнимоубитый Красицкий, сбились с дороги; один из цыган находит избу, и все решаются переночевать в ней; Красицкий остается один с своею тоскою: он уже знает, что Юлия выходит за пана Твердовского; Гикша (цыган), более других к нему привязанный, приходит звать его обогреться, но Красицкий отказывается; Гикша приступает к нему с вопросами и узнает его историю. Читатели ее отгадывают. Красицкий влюблен в Юлию, он беден, искал счастия на войне с турками и три года не возвращался на родину. Богатый только одними ранами за отечество, не зная, куда приклонить голову, он пристал к шайке бродящих цыган: их беспокойная, разнообразная, кочевая жизнь ему полюбилась, и с ними-то пришел он на родину. После этого рассказа Гикша слышит шум и видит огонек; напрасно уговаривая Красицкого спрятаться, он оставляет его одного[1]. Является Твердовский с слугою: Красицкий изумляется, услыша его имя (слугою произнесенное), и прячется за деревья. Твердовский, узнав из каббалистических книг, что в древней гробнице (которая на сцене), покоится великий мудрец и чародей, скрывший с собою в могилу сосуд (с чем-то волшебным), посредством которого можно вызвать и покорить своей власти повелителя духов, пришел это исполнить. Он вызывает тень мудреца, и, несмотря на грозное условие, что если вызыватель мощного духа оробеет, то соделается сам рабом и жертвою его, Твердовский берет сосуд и с торжеством уходит; но Красицкий все слышал и видел, он летит погибнуть или спасти Юлию от мужа-колдуна. Театр переменяется и представляет готическую комнату в замке Твердовского; будущий тесть его и невеста, им приглашенные, давно ждут хозяина; наконец, он является; рассказывает, что во время грозы сбился с дороги, и спешит отправить своих гостей домой: у него другое на уме. Прощальный финал прекрасно

---

[1] Нам кажется поступок Гикши несообразностью, не он ли с опасностию жизни освобождает после Красицкого? А здесь от маленького шума, ничего еще не видя, бросает его — быть может, на жертву двум разбойникам, с которыми они и сами, будучи вдвоем, легко бы управились.

изображает какое-то страшное нетерпение, волнующее душу Твердовского. Театр переменяется и представляет подземелье, по сторонам которого стоят рядами гробницы; жертвенник, жаровня и лампада показывают, что это, вероятно фамильное, кладбище служит местом волшебных упражнений Твердовского. Мелодрама. Он выливает или высыпает из сосуда что-то на жертвенник и приказывает повелителю духов явиться в прелестном виде эфирного существа; он является истинно таким, но огненная стена и своды, хор невидимых духов смутили немного Твердовского; раздаются подземные громы, земля колеблется под его ногами, наконец гробницы открываются, тени усопших встают, и Твердовский испугался... Прелестный гений исчезает, и страшилище является со свитком в руке, на котором написано: *ты погиб*... «Я погиб», — восклицает Твердовский и падает без чувств... Занавес опускается. Действие второе: театр представляет дикое местоположение, дерево с плодами, из скалы бежит ключ воды; цыганы расположились тут табором, они поют и пляшут; собираются к Твердовскому на свадьбу и рассказывают слухи про его колдовство; приходит Красицкий в большом волнении, уговаривает Гикшу помогать своему намерению и уводит с собою, обещая дорогой все рассказать. Цыганы опять начинают веселиться; злой дух, или страшилище, появляется на скале, бросает каменьями на сцену, сламывает сосну и, наконец, кидает целый отломок скалы; цыганы в ужасе убегают. Приходит Твердовский; он в отчаянии (как он туда зашел?); дух всюду его преследует, везде является пред его глазами; иссушает ручей, плодовитое дерево превращает в сухой пень и сам из него показывается. Приходят слуги Твердовского: они долго ждали его и, наконец, пошли отыскивать; пора идти к невесте. Твердовский оживляется мыслию, что добродетельная супруга может подвигнуть небо к милосердию, и спешит к брачному торжеству. Театр переменяется и представляет веселое местоположение; дом Болеславского, несколько хижин и в глубине театра озеро с каменною плотиною. Мария, подруга Юлии, с молодыми поселянками убирает цветами дом невесты. Являются Красицкий и Гикша; они хотят как-

нибудь увидеть Юлию, наконец она приходит, и сердце ее как будто предчувствует присутствие милого; по просьбе Марии она поет любимый романс свой, кроме последнего куплета, говоря, что его сочинил Красицкий и что никто в мире его не услышит и не будет петь, как вдруг сам Красицкий, спрятавшийся за углом дома, поет свой куплет (это производит приятное впечатление на зрителей). Юлия в изумлении, Красицкий хочет броситься к ногам ее, но приходит Болеславский и Красицкий опять прячется. Юлия уходит скрыть свое смущение и радость; Красицкий с Гикшей показываются; Болеславский, увидев цыган, приглашает их повеселить гостей на свадьбе, и Гикша, чтоб показать свое искусство, поет балладу и под именем боярина Ратибора описывает Твердовского, а под именем отца, выдающего дочь за колдуна, — самого Болеславского; с намерением прерывает пение баллады, а на вопросы, что это значит, сам Красицкий объясняет загадку и сказывает свое имя[1]; старая ненависть Болеславского воспламеняется, он бросается с саблею на Красицкого, но его удерживают. Приходит Твердовский и узнает все дело; Красицкий вызывает его на смертный бой, но его обезоруживают и уводят в темницу. Гикша убегает, Болеславский почти силою подводит дочь к Твердовскому, чтоб она подала ему руку, но страшилище является между ними; его никто не видит, кроме Твердовского, который в отчаянии уходит. Болеславский в сомнении удаляется с дочерью домой; злой дух начинает проказить: является на каменной плотине озера, разрывает ее, вода хлынула, затопляет всю сцену, подмывает и разрушает хижины... Занавес опускается. В третьем действии театр представляет наружную часть замка Твердовского; в одной из башен заключен Красицкий; лунная ночь. Гикша с толпою цыган приходит спасти Красицкого. По заунывному его пению (делать нечего, в опере поют, когда автору хочется) узнают, в которой он башне, приставляют лест-

[1] Прерванное пение баллады было бы очень хорошо, если б было нужно по ходу пиесы; если б это было единственным средством возбудить в старике подозрение, но здесь и без баллады можно было все рассказать, как впоследствии и сделалось.

ницу, перепиливают железную решетку окна, освобождают Красицкого и уводят. Театр переменяется, представляет прорванную плотину [1], которую чинят; чрез воду лежат доски. Крестьяне разговаривают про разные беды — проказы злого <духа>. Приходит Красицкий с Гикшею: первого любовь опять влечет к Юлии; забывая опасность, он хочет проститься или еще раз взглянуть на нее. Двери дома Болеславского отворяются, и Красицкий с Гикшею прячутся; выходит Мария с Юлиею; Красицкий хочет броситься к ногам ее, но отец опять является, и несчастный любовник опять прячется [2]. Болеславский начинает подозревать Твердовского и, несмотря на просьбы дочери и ночное время, идет в замок, чтоб изъясниться с ним откровенно. Едва он ступил на доски, через прорыв плотины лежащие, является злой дух, машет рукою, доски подламываются и Болеславский летит в воду. Дочь падает в обморок. Красицкий все это видел; он бросается в воду и спасает Болеславского, в котором чувство благодарности заглушает старинную ненависть. Красицкий не говорит о себе, умоляет об одном: не отдавать Юлии за колдуна Твердовского. Отец приглашает своего избавителя к себе в дом, и все уходят. Театр переменяется: готическая комната в замке Твердовского. Он торжествует; злой дух, зная еще возможность раскаяния, обманул его ложною покорностью. Уже он исполняет все его мысли и является ему в виде прелестного гения. Приходит старый конюший Твердовского, умоляет его, чтоб он послушался какого-то пустынника и заслужил прощение неба чистосердечным раскаянием. Твердовский отсылает старика с словами: «Я знаю, что делать!» но внутренно колеблется; наконец, жажда волшебного могущества превозмогает, и роковое *нет* вылетает... Мгновенно стол с плодами превращается в гробницу Твердовского, и злой дух в прежнем виде страшилища является со свитком, на котором написано: «Твой час, Твердовский, наступил». Невидимый хор поет сии

[1] Нам показалось, декорация не та, которая была в конце второго действия.

[2] Эти прятанья нам кажутся слишком однообразны и сходны с такими же в втором действии и вообще утомительны.

слова... Но Твердовский решается погибнуть со славою, повелевает стихиям потрясти землю, призывает *с небес пламя*, хочет умереть на развалинах своего замка *повелителем злого духа*[1]. Заклинания его действуют: замок горит, земля колеблется и Твердовский спешит исполнить свое намерение. Театр переменяется и представляет горящий замок над озером, в котором отражается зарево; все действующие лица выбегают на сцену и с ужасом видят казнь небесную. Удар грома разрушает башню, злой дух показывается на воздухе с Твердовским, бросает его в озеро, и — пламя потухает, мир и тишина водворяются. Болеславский выдает Юлию... Нужно ли досказывать за кого?.. Финал утешительными звуками заключает оперу[2].

Вот содержание пиесы; мы заметили некоторые несообразности его; вообще, по нашему мнению, оно очень мало развернуто, особливо в отношении к характерам действующих лиц, а потому они и не возбуждают сильного участия: это очерки характеров. Многое в пиесе кажется даже непонятным, единственно потому, что зрители не могут расслушать слов пения и не знают, что написано *в прописях;* а там-то и находится связь пиесы и объяснения поступков действующих лиц. Впрочем, ход очень естествен, многие положения прекрасны, и некоторые арии написаны хорошими стихами.

Не будучи музыкантом, нельзя сметь определить с надлежащим отчетом истинную степень достоинства музыкальной поэмы; но если музыка должна быть языком души; если назначение ее не одни уши, а сердце; если точное выражение чувств и положения действующих лиц составляют высокое достоинство музыкального произведения, то музыка г. Верстовского — превосходна!

---

[1] Мысль прекрасная, но, кажется, не сообразная с обстоятельствами: Твердовский, раб злого духа, не может уже повелевать стихиями и умереть повелителем его.

[2] Кажется, падением Твердовского надобно бы кончить оперу; зрители отгадали бы последствия. Финал хотя и очень хорош, но не мог уже произвести никакого впечатления на пораженного зрителя.

Опытные знатоки и беспристрастные артисты согласны с нашим мнением. Увертюра показалась нам мастерским произведением; все мотивы оперы прекрасно отзывались в ней и составляли целую музыкальную мысль. Оба антракты прелестны: первый затрогивал сердце живыми звуками веселой, беззаботной жизни цыган, а второй выражал бурное волнение и, наконец, отчаяние души Твердовского. Отличными номерами мы считаем: арию Твердовского в втором действии, где он колеблется, потом заклинание и финал; цыганскую песню, балладу, романс, который допевает Красицкий, дуэт Твердовского с Юлией и все хоры. Инструментовка вообще превосходна.

Должно отдать справедливость: спектакль был дан очень хорошо. Декорации прекрасны, а особливо работы г. Брауна; оркестр выполнял свое дело мастерски; костюмы отличные, одни — богатством, другие — вкусом. Машины, в том положении, как они есть при Московском театре, действовали на этот раз очень удачно [1], пожар потух превосходно. Заметим, что отца Юлии можно было одеть и беднее, но опрятнее: платье на нем казалось очень поношенным; что цыганы, а особливо цыганки, были костюмированы слишком близко с обыкновенными нынешними театральными цыганами; что злой дух или страшилище был не страшен и походил на святочного пугалу; чтоб привести в трепет смелого и решительного Твердовского, надобно было изобресть что-нибудь гораздо ужаснее; что после чистой перемены из готической комнаты в подземелье с гробами сих последних не надобно было выдвигать (это вредит будущему эффекту), а должно поставить их заранее (и в большем числе) за заднею занавесью, которую для этого можно на одну кулису подвинуть вперед; что раскаленной или огненной стены почти никто не приметил; что кудрявые, полупрозрачные тени, или мертвецы, не отвечали своему назначению: не были ужасны и не походили на мертвецов, тут надобно употребить настоящих *будущих мертвецов;* что сосна повисла и после сама встала, а лучше бы, кажется, вырвать ее и с корнем бросить в средину веселящихся цыган; что *камешки* и отломки

---

[1] Эта часть требует улучшения.

скалы были ни на что не похожи и очень смешны; что к полному очарованию наводнения недоставало, чтоб плотина не открывалась прежде воды; доски стукнули, и все очарование пропало, и это неестественно: озеро волнуется, выходит из берегов и должно вместе с вырванной частью плотины, затопляя ее, хлынуть на сцену; что ключ настоящей воды был не приметен и досаждал своим журчаньем. На театре, где все обман, и вода истинная не годится. Лучше бы сделать искусственный каскад в большом виде и поставить его гораздо далее. — Вот все, что можно было заметить самому строгому зрителю.

Очень редко можно найти артиста, соединяющего искусного актера с отличным оперным певцом, а потому не должно слишком строго судить игру их. Мы не будем говорить об игре гг. актеров в этой пиесе, оставляя это до будущих спектаклей, значительнейших в отношении действия. Мы ограничимся на этот раз общим замечанием, что не довольно одних дарований для достижения имени отличного артиста: надобно учиться и трудиться.

Мая 29 дня, 1828 года

НЕЧТО ОБ ИГРЕ Г-НА ЩЕПКИНА ПО ПОВОДУ ЗАМЕЧАНИЙ «СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ»

В 64-м и 65-м №№ «Северной пчелы» напечатаны суждения об игре г. Щепкина в «Эзопе» и «Чванстве Транжирина». Любовь к истине заставляет нас сказать, что они совершенно несправедливы: или пристрастие к гг. актерам, занимающим эти роли в Петербурге, или неведение театрального искусства внушили сочинителю такие приговоры. Он говорит, что г. Щепкин не удовлетворил ожиданию публики; что главное достоинство роли Эзопа состоит в искусном чтении басен, чего он не выполнил, и что г. Брянский в этой роли лучше г. Щепкина. Напротив, последний играет Эзопа с отличным успехом, и сочинитель ошибается, почитая все достоинство игры этой роли в искусном чтении басен. 1) Чтение на театре нестерпимо, а надобно говорить, рассказывать басни, и Щепкин исполняет это прекрасно. 2) Надобно дать характер Эзопу, и в этом-то Щепкин берет решительное преимущество пред г. Брянским. Мы искренно уважаем этого почтенного и преполезного артиста, но всегда скажем, что у него характер Эзопа холоден, бесцветен, тогда как у Щепкина он выражен мастерски. Любовь к свободе, любовь к добродетели и человечеству, вырывающиеся в немногих словах и прямо от сердца у раба-сатирика,

выражаются Щепкиным превосходно. Какою душевною теплотою согревает он весь характер Эзопа! Приговор самой пиесе также несправедлив (ее называют дурною и говорят даже, что в ней нет разговора). Не защищая интриги этого водевиля, можно ли не отдать справедливости отделке характеров и еще более искусству разговора? — Последнее составляет главное достоинство пиесы, и в этом отношении она заслуживает особенное внимание. Суждения об игре г. Щепкина в «Транжирине» еще страннее. В 65-м № «Северной пчелы» напечатано: «*Артист сей* (Щепкин) *был, кажется, не на своем месте. Мы в нем видели не помешавшегося на знати Транжирина, который дурачится от глупости, сам того не понимая, но человека, делающего глупости с умыслом, по расчету. Жесты, движения, мимика г. Щепкина были не транжиринские; у нас в сей роли неподражаем г. Бобров*». Даже смешно защищать игру г. Щепкина в этой роле; он играет ее, предпочтительно пред другими, с таким совершенством, выше которого ничего и придумать нельзя. Предпочитать г. Боброва г. Щепкину в «Транжирине» — значит, с позволения доложить, вовсе не знать театрального искусства. Г-н Бобров артист хороший, почтенный и некоторые роли игрывал прекрасно, но без сравнения с г. Щепкиным. Ему мог быть несколько соперником в этой роли покойный старик Рыкалов, это правда; но и тот в целом характере гораздо был ниже его. В доказательство нашего мнения насчет малого познания театрального искусства сочинителя статей, в «Северной пчеле» напечатанных, довольно привести собственные слова его, что г. Щепкин должен играть благородных отцов и что это его настоящие роли.

Кстати поговорить теперь с сердечным сокрушением о том, как равнодушен у нас так называемый лучший круг публики к отечественному театру, как редко в нем бывают, а потому и мало знают. Например, талант и искусство г. Щепкина, несмотря на славу, которою он пользуется, совсем не оценены. В его игре восхищаются чем? смешными местами и сильным огнем (иногда даже излишним). Не смотрят на то, что Щепкин творец характеров в своих ролях, что цельность их всегда предпо-

читает пустому блеску и что когда он молчит, тогда-то с большим искусством играет свое лицо. Припоминают себе, например, г. Колпакова, который одно слово в целой пиесе говаривал смешнее Щепкина, и определяют, что такой-то играл эту ролю лучше. Есть добрые люди, которые говорят, что Щепкин все роли *на один манер* играет и что ему стоит только выучить слова; а Щепкин из Транжирина переходит в Данвиля (в «Уроке старикам»). Не быть смешным в этой роле — есть уже торжество для Щепкина, а он в ней благороден, исполнен чувств, и только одно закоснелое предубеждение может видеть его и не восхищаться [1]. Щепкин — мученик каждой новой роли до тех пор, покуда трудами, а иногда и ночами, без сна проведенными, не постигнет и не выразит ее характера: разумеется, что мы говорим о ролях значительных. Конечно, г. Щепкин вредит современной славе своей, играя множество ролей [2]; но искусство выигрывает. Побеждение трудностей дело великое, оно облегчает путь другим; но кто замечает это?.. Приезжай булеварный фарсёр из Парижа — прощай Щепкин, бонтон наш на него и не взглянет. Хорошо, что наш артист об этом не заботится и что благородное стремление к возможному совершенству никогда его не оставляет; но сколько дарований и начинаний благонадежных молодых людей погибли единственно оттого, что не были замечены и отличены публикой; итак, кто виноват, что таланты наши останавливаются обыкновенно на первых ступенях искусства?

Да не подумают почтенные читатели, что пристрастие водит пером нашим: со временем они услышат, какую горькую правду станем мы говорить при разборе игры

---

[1] Мы со временем скажем, как в роле Данвиля г. Щепкин достигает общей цели верно,— в частности неверными путями: этому причиною его физические средства.

[2] Г-н Щепкин очень часто играет пустые роли, которые чем лучше сыграны, то есть чем ближе к истине, тем менее заметны: он лично теряет для того, чтоб целая пиеса выигрывала По-настоящему, ему должно бы играть раза четыре в месяц, а не три раза (а иногда и пять) в неделю. Что часто видим, то теряет цену — таков человек!

гг. Щепкина, Мочалова и других. Благонамеренными замечаниями, хотя бы они были строги, даже иногда несправедливы, никому оскорбляться не должно; тем менее людям с истинными дарованиями. Мы можем ошибаться, но никакие отношения не будут управлять нашими мнениями; мы можем ошибаться, но будем говорить искренно, и насмешки, ничтожное оружие по большей части неправой стороны, нами никогда употребляемы не будут.

1828 года. Июня 7 дня.

«ПАН ТВЕРДОВСКИЙ»

Волшебная опера в трех действиях, сочинение М. Н. Загоскина, новая музыка А. Н. Верстовского

10 июня, 1828 года.

Г-н Лавров играл роль Твердовского без искусства, но местами недурно. Пел очень хорошо, особливо первую арию. Мы с большим удовольствием заметили, что в этой опере у него слова в пении были слышнее. Должно сделать общее замечание г. Лаврову, что он на театре дурно себя держит: все его телодвижения неловки, неприятны, неблагородны. Мы не сказали бы этой правды какому-нибудь старому актеру, в котором дурные привычки или несчастная метода напыщенной декламации сделалась второю натурою (зачем огорчать людей без пользы?); но г. Лаврову скажем смело, за долг считаем сказать, что ему грешно остаться неблагодарным за щедрые дары, природою на него излиянные. Превосходный орган, сильная грудь, прекрасная наружность, чувство и огонь (хотя последними пользоваться он не приобрел еще искусства) призывают его на степень отличного артиста даже независимо от пения. Труды, ученье, размышление, *хорошее общество*, советы людей образованных, которым, однако, не должно верить слепо, — вот истинные средства достигнуть славной цели и даже — не умереть в потомстве.

Мы не будем говорить об игре г. Булахова. Скажем единожды навсегда, что мы удивляемся, для чего сей артист, имея прелестный голос, зная так хорошо музыку, не старается хотя сколько-нибудь *одушевлять* своего пения? Мы заметили, что в роли Красицкого и пение его далеко не достигало обыкновенного своего достоинства. Не понимаем причины.

Г-н Бантышев в роли Гикши порадовал нас. Для начинающего артиста он играл довольно хорошо, кроме излишества телодвижений (весьма ошибаются, считая их приличными этой роли) и недостатка огня, особливо в цыганской песне. С его приятным голосом и наружностию каких успехов не может он обещать себе? Условия те же: не считать искусства за ремесло, любить, уважать его, трудиться и учиться.

Г-н Воеводин в роли Болеславского, впрочем ничтожной, играл — как он обыкновенно играет. Сей заслуженный артист *имел* свое достоинство и очень хорошо знает музыку. Времена переходчивы; чем восхищались назад тому десять лет, то ныне почитается дурным. Он не виноват, что образовал себя по старинной, неестественной методе, когда о другой еще не имели понятия.

Г-жа Репина, которую мы так часто и, несмотря на то, всегда с удовольствием видим на сцене, пела не сильно, но приятно и верно. Играть было почти нечего. При первой значительнейшей роли мы, отдавая должную справедливость ее таланту, сделаем верный разбор ее игры.

Остальные лица в пиесе совершенно ничтожны и не заслуживают внимания. Мы поговорим об артистах, занимавших оные, тогда, как они будут играть важнейшие роли.

«ОТЕЛЛО, или ВЕНЕЦИАНСКИЙ МАВР»

Трагедия в пяти действиях

17 июня 1828 года.

Мы не станем излагать содержания пиесы, всем известной; она уже двадцать лет играется на театрах обеих столиц с большим успехом и нередко. Приступая к разбору игры действующих лиц, предварительно только скажем, что пиеса и особенно характер Отеллы обезображены: сначала г. Дюсисом, а потом русским переводчиком, который придал еще пиесе напыщенный слог, всего менее ей приличный; ибо Шекспир не придворный декламатор и писал не по классическим рамкам французских трагедий. Из этого следует, что сыграть трагедию «Отелло», как она есть, на русской сцене с желаемым совершенством — невозможно.

Роль Отеллы, пламенного, ревнивого до бешенства африканца, г. Мочалов играл прекрасно; характер в целом был выражен верно; нет сомнения, что, обладая сильнейшими физическими средствами, он мог бы выполнить его превосходнее; но от г. Мочалова зависит, чтобы мы никогда об этом не вспоминали. Мы видели в этой роли всех лучших русских актеров: гг. Яковлева, Мочалова (отца) и г. Брянского. Г-н Яковлев торжествовал в Отелле, и — не совсем справедливо, несмотря на его превосходные средства для выполнения этой роли

в совершенстве. Довольно сказать, что он ее *декламировал с напевом* и некоторые черты характера неверно понимал [1]. Впрочем, ярость, бешенство он выражал несравненно. Г-н Мочалов (отец), уступая ему в целом, имел счастливейшие минуты в переходах от бешенства к глубокому чувству нежности и страстной любви. Г-н Брянский играет эту роль вообще ровнее, благороднее, или, лучше сказать, пристойнее обоих; но что за Отелло, у которого не кипит в жилах кровь, не льется пламя знойных степей африканских?

По нашему мнению, отлично были выражены г. Мочаловым следующие места: в первом действии защитительные ответы Отеллы в сенате. С каким благородством, достоинством и скромностию сказал он: «Вспомни, что ненавидимый тобою мавр спас твое отечество», и потом с каким простосердечием произнес он: «Вот средства, вот опасное искусство, коими любовь обоих нас прельстила». Во втором действии Пезарро говорит: «Но для вельмож сих ты не что иное, как простой выслуживший воин». Отелло возражает: «Простой выслуживший воин! Дерзкое название сие обязывает их по крайней мере ко мне благодарностию. Так! благодаря их презрению, поддерживаемый самим собою, я достоин названия воина, вышедшего заслугами. Все сии вельможи, утвердив между собою законами права рождения, не совсем безрассудно поступили. Будучи одним знатным происхождением важны в свете, оно в глазах их все в себе заключает. Что бы осталось им, если б они не имели предков! А я, сын знойной степи, сын природы, обязанный всем самому себе и ничем гнусному обману, я шествую в мире без страха, без угрызения совести, во всей своей силе, во всей своей свободе». С какою благородною гордостию сказал г. Мочалов этот монолог, какая мимоходом сверкнула колкая насмешка

[1] Вскоре после представления «Отеллы» Иван Афанасьевич Дмитревский, в одном дружеском обществе, доказал торжествующему г. Яковлеву, что он не понял роли в первом действии и в сенате представлял не великого человека, всегда благородно-скромного, но какого-то буяна (так выразился И. А. Дмитревский). Все без исключения и сам Яковлев были убеждены в истине его слов.

в словах: *не совсем безрассудно поступили!* Последние строки возбудили в душе зрителей удивление к великому человеку — всем одному себе обязанному! Так же превосходно сказал он, при описании Пезарры действий ревности: «О, бедственное состояние!» Это был стон, вырвавшийся из сердца, предчувствующего, какою мукою ревности будет оно терзаться. В четвертом действии вопли его еще за сценою: «Измена, адский умысел!» показали нам, каким гневом кипит Отелло. Слова: «Нет, Пезарро, нет; она невинна, она непричастна злодейству. Можно ли ее винить за то, что она прелестна» и пр. были сказаны с такою истиною, верностью, что можно было подумать: *слава богу, Отелло образумился.* С глубоким, ужасным и холодным отчаянием произнес он: «Друг мой! минуты для меня драгоценны: я люблю республику» и пр. Сердце замирало от страха, когда Отелло, говоря с притворною холодностию, вдруг предался всей ярости своей: «В крови, столь гнусной, в крови, столь для меня ненавистной, я хочу видеть обоих их погруженными» и проч.; но вторичный переход в бешенство, в том же монологе, после некоторого успокоения, который никем, никогда не выполнялся: «Но нет, чувствую, что моя злоба, выходя из пределов, возбуждает меня ко мщению. Иду напитаться кровию лютейшего врага моего...» — был выполнен удивительно и показал нам неистощимый огонь артиста. Сожаление о Брабанцио было выражено с глубоким чувством: «Брабанцио, добродетельный старец» и проч. Душа возмущалась, когда говорил Отелло: «О, почто оставил я знойные степи, почто не умер неизвестным на берегах африканских». И потом: «Друг мой! ветры, носясь с яростию над главами нашими, предвозвещают бурю; вой свирепых тигров, как бы предостерегая, в лесах раздается; а женщина, с спокойным вероломством лаская нас, поражает кинжалом!» В пятом действии, когда на слова Эдельмоны: «*Отелло, сколько ты переменился*», — он отвечает: «Еще, если б угодно было богу испытать меня несчастиями; еще, когда бы он поразил обнаженную главу мою всякого рода бедствиями, уничижениями; когда бы он повергнул меня во все горести нищеты; когда заключил бы меня в узы и разрушил все

мои надежды, я бы нашел в удрученной душе моей несколько терпения. Но сделать меня предметом общего посмеяния; видеть себя столь жестоко оскорбленным, и от кого? — от женщины, в которой полагал я все мое блаженство» и проч. В этом монологе слова: «*Я бы нашел в удрученной душе моей несколько терпения*» — были превосходно произнесены: мы живо почувствовали всю силу характера, которую показал бы этот человек в несчастиях другого рода! Но в четвертом действии, в двух местах, г. Мочалов превзошел все наши ожидания, превзошел самого себя; это было торжество *одного* таланта. Никакое искусство не может достигнуть такой степени совершенства, с каким он сказал по прочтении письма: «О, вероломство!..» Из глубины души растерзанной, убитой вырвались эти звуки, слабо произнесенные, но всем слышные и потрясающие сердца. Слова же: «О, крови, крови жажду я!» были произнесены в неистовстве самим Отеллою [1].

Теперь заметим места, которые показались нам слабо или неверно выраженными. Во втором акте: «Ах! вспыльчивость Брабанцио приводит меня в трепет...» было произнесено с излишним жаром и криком; также и небольшой монолог: «Как! чтобы я был ревнив! чтоб я поработил себя гнусному сему чувству! чтоб я стал влачить адскую жизнь горестного сего состояния!» и проч. Если б выражение, данное г. Мочаловым, было верно, как мог бы Пезарро отвечать: «Как я рад, узнав истинные твои мысли. Теперь я могу показать свободнее совершенную мою к тебе привязанность и открыть тебе, что мой долг велит». Начало четвертого акта (кроме восклицания: измена! адский умысел!) показалось нам несколько слабо [2]. Слова: «Обмани меня, но возврати мне прежнее мое блаженство!» были холодно произнесены; а слова: «Но, может быть, она сняла ее (повязку) без всяких причин, из прихоти, приличной ее полу...» были

---

[1] Мы говорим о спектакле удачном. К сожалению, г. Мочалов играет не всегда одинаково, и, восхищаясь им сегодня, нельзя твердо надеяться того же удовольствия в следующем представлении той же пиесы.

[2] Впрочем, должно было сберечь себя для конца четвертого акта.

сказаны слишком разговорно, даже близко к комическому тону. После слов раскаяния: «А я собой гнушаюсь...» не надобно становиться с такою важностию на колени, как делал это г. Брянский; но едва ли не падает Отелло к ногам Эдельмоны и у Шекспира; если и нет, то переход: «Вот грудь моя, рази, рази ее» надобно отличить явственнее, с большею чувствительностию, с противоположностию прежнему бешенству: в Отелле и раскаяние должно быть чрезмерно. В пятом акте слова: «О, будь еще невинна, будь невинна!» были сказаны с жаром и силою, также без оттенка перехода и без глубокого чувства нежности. Впрочем, это дело сценическое; мы слыхали сии выражения лучше сказанные г. же Мочаловым [1]. Натуральность игры г. Мочалова казалась иногда впадающею в излишнюю простоту (тривиальность); но причиною сему, нам кажется, напыщенный тон других действующих лиц и слог перевода, дико и неприятно отличавшийся какою-то надутостию от простоты его игры; к тому же, когда все декламируют по нотам, странно слышать одного говорящего по-человечески. От излишних криков г. Мочалов удерживался, что в этой роли чрезвычайно трудно. Хотя с сожалением, но мы должны заметить дурные привычки г. Мочалова, как-то: ходить раскачиваясь, сгибаться, пожимать часто плечами, не удерживаться на одном месте в порывах страстей и хлопать ладонями по бедрам. Чем выше дарование, тем сильнее желание видеть его в полном блеске, и ему ли не победить таких ничтожных недостатков? Безделица иногда разрушает очарование; презренная паутина мешает видеть солнце. Благородство во всех движениях есть неотъемлемое свойство лиц, им представляемых.

Г-н Третьяков, артист с истинным дарованием и, как нам известно, любящий свое искусство, в роли Пезарры был гораздо ниже своего таланта: он выражал характер неверно и увлекался общим духом декламации. Пезарро не громкими восклицаниями, не жаром выражений растравляет ревность в Отелле, но насмешливым тоном,

---

[1] Покойный отец его один раз так произнес их, что они остались на целый век в памяти у многих.

холодностью — потому-то Отелло ему и верит. Ему приличнее всех была простота обыкновенного разговора.

Истина заставляет нас сказать, что все прочие артисты играли очень дурно. Напыщенное методическое чтение по каким-то однообразным нотам, мертвая холодность, отсутствие всякого искусства составляли характеристику игры их. Под сей несчастной методой даже нельзя узнать, имеет ли кто дарование, или нет: она, как смерть, равняет всех и потому убийственна для таланта. Должно, впрочем, сказать правду, что г-да актеры и актрисы, которых мы так строго осуждаем, лет пятнадцать тому назад считались бы хорошими артистами, но теперь в трагедиях, верно, не понравились бы образованной публике ни Лапин, ни Плавильщиков, ни Шушерин, ни Дмитревский: все они (прошу заметить — только в трагедиях) не говорили, а читали, декламировали нараспев. Итак, единый способ — обратиться к натуре, истине, простоте; изучить и искусство представлять на театре людей не на ходулях, а в настоящем их виде.

Июня 19 дня.

ОПЕРА «ПАН ТВЕРДОВСКИЙ» и «ПЯТЬ ЛЕТ В ДВА ЧАСА, или КАК ДОРОГИ УТКИ»

Опера-водевиль в двух действиях

Июля 3 дня.

Об опере «Пан Твердовский» мы уже сказали наше мнение во всех отношениях. К сожалению, мы должны прибавить, что время не улучшает ее исполнения. Музыку мы слушали с новым и живейшим удовольствием. Соглашаемся, однако, что превосходный хор при появлении гробницы Твердовского кажется *неуместным*, особенно потому, что хор поет: «Небес свершилось повеленье», а черт держит надпись: «Твой час, Твердовский, наступил». Можно ли действовать заодно небесам и аду? В этот раз г. Бантышев поменее употреблял телодвижений, и приметно, что он старается победить важный порок методы своего пения: невнятное произношение слов. Прочее все шло по-старому, кроме того, что из прежнего святочного пугалы черт превратился в блестящего, розового щеголя; это весьма странно противоречило словам: «Адское чудовище, страшилище, мертвящий твой взгляд» и проч.

С большим удовольствием смотрели мы водевиль «Пять лет в два часа, или Как дороги утки», переделанный с французского незабвенным А. И. Писаревым; это одно из последних его произведений и доказывает,

как овладел было он языком разговорным. Какая легкая острота, непринужденная игра слов! Без всякой натяжки или работы! И на французском языке *так* написанный водевиль заслужил бы похвалы, а на русском это подвиг немаловажный в отношении к слогу. Друзья его смеялись сквозь слезы. — Вот содержание водевиля.

Тони, молодой рыбак и простак, любит Фанни (и любим ею), дочь лесничего Бертрама, который соглашается на их свадьбу с условием, если Тони достанет пятьдесят гиней. Но где их взять бедняку, которому все не удается? Он поет:

Лошадьми, водой, парами,
Сеют, жнут, куют, прядут;
Скоро думать — не умами,
А машинами начнут.
Все колеса да пружины!
Только знай их заводить...
А не вздумают машины,
Чтоб работников кормить.

Фанни придумала и посылает своего любезного к крестному отцу попросить пятьдесят гиней. Во время его отсутствия приходит брат лесничего Бертрама, Джон Пудинг, пирожник; он сбирал свои пирожные долги в их околотке и остается на свадьбу племянницы. Прибегает Дик (молодой рыбак, весельчак и проказник, товарищ простосердечного Тони) и приносит от мирного судьи выписку из газет, в которых напечатано: «Знаменитый разбойник Робинсон остановил вчера одного путешественника и предложил ему купить утку за двести гиней; пистолет, приставленный к груди путешественника, принудил его согласиться на покупку». Слушатели поражены такою новою отраслью торговли, а особливо дядя Пудинг, который от природы трус и собирает деньги. Все расходятся по своим делам и просят Дика сказать Тони, когда он возвратится, что невестино семейство ждет его ужинать. Дик остается один, смеется, вспоминая свои проказы над простодушным Тони, и поет:

Он всех своим аршином мерит
И верить всякому готов:
Судейским обещаньям верит
И предписаньям докторов;

Он верит женским увереньям,
Он верит нашим домовым,
Купцам, журнальным объявленьям
И даже актам долговым.

Тони возвращается в горе и жалуется на своего крестного. Дик спрашивает его: «Что ж? разве он отказал?»

Тони

То-то и беда, что ничего не отказал, решительно ничего.

Дик

Что за вздор ты несешь?

Тони

Я ничего не несу: видишь, вернулся с пустыми руками. Моего крестного угораздило вчера скончаться, и он мне ничего не отказал.

Дику, по старой привычке, пришла охота посмеяться над бедным Тони: он уверил его, что утки чрезвычайно поднялись в цене, что за одну платят по двести гиней. Тони поверил и бежит домой за утками, которых у него, по счастию, две. Дик, смеясь, уходит. В самое это время Пудинг возвращается к брату; ночное время и шестьдесят гиней в кармане заставляют его крепко трусить. Между тем проворный на этот раз Тони, посадя лучшую свою утку в клетку, выбегает на дорогу и сталкивается с Пудингом (они друг друга никогда не видывали), который в самую ту минуту говорит: «Ну, если я наткнусь на молодца, который торгует утками?» Обрадованный Тони сейчас предлагает ему купить утку; натурально, Пудинг принимает его за Робинсона, из чего выходит презабавная сцена. Заплатя шестьдесят гиней, Пудинг бежит прямо к судье. Тони в восхищении мечтает о будущем своем житье-бытье, как вдруг видит команду лесничего, которая уже ищет разбойника, ограбившего Пудинга, и хочет его немедленно повесить. Тони узнает свою ошибку; страх заставляет его бежать куда глаза глядят; он оставляет прощальное письмо к Бертраму и Фанни. Все огорчены, получив его, и намереваются отыскивать Тони. Так кончается первое действие, происходившее в Англии, около Дувра. Второе действие начинается через пять лет, в Париже. Рыбак

Тони уже банкир Петерсон. Он спас жизнь богатому купцу, который усыновил его и умер, оставя ему в наследство все свое имение: у г. Петерсона уже великолепный дом, услуга и управитель Глюкман; он, по совету других, думает жениться, хотя помнит и любит свою Фанни; для будущей супруги приказывает нанять горничную, которая и приходит. Эта горничная — его милая Фанни! Отец ее лишился места, дядя обанкрутился, и все они переехали жить в Париж, где Пудинг опять печет свои пироги. Любовники в восхищении; посылают карету за своими родными; но каково положение Пудинга, когда он, заглянувши в контору банкира Петерсона, видит *своего разбойника*, считающего деньги. Он сообщает это открытие Бертраму. Посылают за полицией и хотят открыть хозяину, что у него в доме скрывается вор. Петерсон приходит; он еще незнаком с Пудингом, который подходит к нему с распростертыми объятиями и видит, о ужас, опять *своего разбойника*!.. Сцена очень смешная. Натурально, дело все объясняется. Пудингу за шестьдесят гиней дают две тысячи, и он с важностию говорит: «Видно, утка вывела утят». Полицию отсылают; мир, веселье и свадьба.

Вообще водевиль разыгран был прекрасно. О г. Щепкине нечего и говорить: мы видели в нем настоящего дядю Пудинга. Нельзя было не смеяться от души, когда ему в первом действии предложили купить утку, и когда он после уверял, что разбойник был великан с огромными усами и что он два раза сбивал его с ног; также и во втором действии, когда с распростертыми объятиями подошел он к будущему племяннику и узнал в нем *своего разбойника*. Г-н Щепкин даже в водевиле умел одушевить свой куплет, слабый в сравнении с целой пиесой [1], и заставил рукоплескать уже разъезжающуюся публику. Вот слова куплета:

Правда, мужество, познанья,
Без которых тяжко жить,
Разум, честность, дарованье,
Продолжайте говорить.

---

[1] Водевильные куплеты слабы в отношении к целой пиесе, потому что она вся исполнена замысловатой остроты и веселости.

Лесть, неправда, предрассудки,
Страсть в невежестве дремать,
Страсть к чужому — хоть на сутки
Не пора ли замолчать?

Г-н Живокини играл Тони; он находился в затруднительном положении: эта роль была прилажена нарочно для г. Рязанцева, так сказать по мерке его таланта — он был любимец публики, — а г-ну Живокини, сообразно с его средствами, надобно было играть совершенно другим образом. Он исполнил это прекрасно и во втором действии был даже лучше Рязанцева, который банкира играл уже ловким, светским человеком, а это неверно: простак Тони должен был выглядывать из банкира Петерсона, как это и выполнил г. Живокини. Ему недоставало натуры Рязанцева, приметно было искусство, но мы надеемся, что со временем он обработает эту роль превосходно. Этот молодой артист заслуживает особенное уважение по любви к своему искусству и с каждым днем оправдывает общие надежды; он уже побеждает свою привычку к фарсам, обратился к натуре, простоте и доставляет нам удовольствие своим разнообразием и оригинальностью.

Г-жа Репина в роли Фанни была очень хороша: невинное простодушие, радость при встрече с Тони, удовольствие быть знатной барыней, женская суетность к нарядам, желание повелевать и вместе робость были выражены ею прелестно. С каким милым простосердечием пропела она:

Чтобы нам приманить в свой дом
Толпу друзей на всякий случай,
Получше повара наймем —
И повалят друзья к нам кучей.
Но в них немного барыша,
И лучше жить своей семьею...
Я молода и хороша:
Семья придет сама собою.

Г-н Потанчиков роль старика Бертрама, для молодого актера, играл недурно.

Г-н П. Степанов в роли Глюкмана — был очень хорош. Хотя это не характер, а карикатура, но, играя ее с таким совершенством, он много обещает в будущем.

Г-н В. Степанов в роли Дика был весел, жив и развязен, он также подает о себе хорошую надежду; но мы, руководствуясь одною благонамеренностию, заметим ему, что в нем приметны какая-то выученная ловкость, а иногда фальшивый жар; мы опасаемся, чтоб он не потерял природного огня и натуральности.

А. И. Писарев не видел представления этого водевиля: он уже носил в груди своей близкую смерть. С большим усилием, за несколько дней до представления, выслушал он в своей комнате, сидя в постели, репетицию пиесы. Его тяжкой болезни должно приписать, что г. Рязанцев не выполнил своей роли с полным успехом. Этот молодой актер, одаренный прекрасным талантом и, к общему сожалению публики, похищенный у Москвы Петербургом, большею частию своих успехов обязан покойному Писареву. Он не только указал ему истинный способ игры, но именно для него обработывал характеры в своих пиесах.

1828 года, июля 6 дня.

«ПОЖАРСКИЙ»

Трагедия в трех действиях, в стихах,

и водевиль

«КОРОЛЬ И ПАСТУХ»

В одном действии с дивертисманом

Июля 22.

Трагедия «Пожарский» г. Крюковского слишком известна всем; давно уже оценено литературное ее достоинство. Несмотря на слабость драматического действия, никогда не ослабеют ее права — двигать душою зрителя. Имена Пожарского, Минина — героев бессмертных, самобытных, народных — всегда будут воспламенять нас восторгом. Доколе будет существовать великое царство Русское, дотоле, при гласе Пожарского: «К Москве!..» станут трепетать сердца истинно русские.

Разбирая представление трагедии «Отелло», мы осуждали напыщенность и декламацию гг. артистов; хотя они в «Пожарском» подвергаются, повидимому, тому же упреку, но трагедия сия, в духе школы французской написанная, сама есть декламация; играть ее с простотой обыкновенного разговора едва ли можно, и потому мы

осуждаем только излишество декламации или недостаток искусства. Спектакль сей заслуживает особенное внимание не изяществом исполнения, но появлением двух новых артистов: г. Орлова в роли князя Пожарского и воспитанницы школы московского театра г-жи Степановой в роли Ольги. Дебютантов, выступающих в первый раз на публичную сцену, судить вообще трудно, а у нас и невозможно. Наши дебютанты, в обеих столицах, почти никогда не являются в настоящем своем виде — с своими природными недостатками и дарованием. Мы видим в них верные отголоски их учителей и по большей части дурные. Это не относится к г. Орлову, в котором мы не заметили особенного кому-нибудь подражания, но зато г-жа Степанова служит очевидным и неприятным доказательством слов наших. Мы не можем ничего сказать об ее даровании; не знаем даже, есть ли оно, или нет, но скажем откровенно, что она продекламировала всю роль машинально, как будто выученную с голосу, без всякого участия души. Она не произвела в нас никакой приятной надежды, хотя и была вызвана. Г-н Орлов обрадовал любителей трагедии прекрасными своими средствами: высокий рост, сильный, но не грубый орган, приятное лицо, довольно хорошее произношение, в самой неловкости приметное благородство — дают г. Орлову возможность достигнуть степени очень хорошего и полезного артиста. Надобно приобресть искусство, следовательно надобно много трудиться; как быть, его легко не достигают. Не должно ослепляться вызовами (г. Орлов был вызван): они происходят от разных побудительных причин и ничего у нас не значат. Зрители всегда снисходительны к дебютанту, а особливо с хорошими средствами, зато после они с сугубою строгостию будут требовать от него успехов. Кроме неопытности и незнания театрального искусства, мы заметили недостаток огня в игре г. Орлова; если б он одушевлял свою роль, мы бы охотно ему простили другие погрешности. Сердечно желаем, чтоб этому причиною была одна робость, которой мы приписываем и неверность чтения в иных местах и которая была слишком заметна. Впрочем, от этого порока у нас скоро освобождаются. Желаем искренно ему

успехов. Заметим вообще, что роль князя Пожарского требует везде сердечной теплоты и достоинства в исполнении: он горит любовию к отечеству, и в нем все подчиняется этому чувству; что ораторская декламация может быть употреблена только в обращениях к богу, к героям русской земли, к отечеству, к войскам; но все прочее, особливо прощание с супругою и сыном, должно быть выполнено совершенно другим образом. Тут не надобно ни чтения с напевом, ни слез, ни жалобной элегии... внутреннее чувство, супруг и отец едва приметны в великом человеке, который идет спасать отечество. Последний стих при прощании ясно это доказывает:

Прости, он при тебе не будет сиротою.

По нашему мнению, двойное обнимание с супругою и сыном пред разлукой, падающий меч из рук при встрече с ними и проч. — совершенно неприличны. Во всей трагедии есть одно только истинно драматическое место: когда Пожарскому доносят, что Заруцкий отступает, что семейство его поляки берут в плен и что неприятель угрожает сбить с тылу правое крыло войска. Оно было выполнено совершенно несогласно с ходом действия и природой, а потому и не произвело впечатления: начато было слишком сильно, в средине — растянуто [1], и конец вышел слаб. С благородным жаром, но без волнения противных чувств, идет Пожарский на брань за отечество; весть о пропуске поляков и об опасности его семейства, составляющего для него все благо жизни, воспламеняет его мужество; он летит спасти жену и сына и потом ударить на врагов; но внезапное известие об измене и отступлении Заруцкого, о вылазке неприятеля, грозящего окружить правое крыло русских войск, производят уже в нем борение чувств, брань *страстей*... Любовь к отечеству торжествует, и в восклицании Пожарского: *К Москве!..* должно быть *слышно* это торжество.

Г-н Третьяков играл Минина, выборного от всея земли Русской, очень недурно; хотя эту роль должно играть

---

[1] Слова: «Москва не мать ли мне?» — были сказаны довольно удачно.

несравненно простее других, но зато он одушевлял свою декламацию, он чувствовал в душе, что говорил, и производил чувства в зрителях.

Г-н Козловский в роли гетмана Заруцкого, напротив,— был очень дурен. Эта небольшая роль может быть сыграна с большим успехом и должна произвести сильное впечатление: она исполнена страсти; но г. Козловский продекламировал ее без всякого огня, даже читал неверно, не дал ей никакого характера; к тому же его странное, манерное, какое-то французское произношение русских слов до чрезвычайности неприятно. Мы советуем ему прежде всего исправить этот недостаток: чистое произношение — первое условие в актере, особливо в трагическом; а потом надобно ему обратиться к искусству выражать характеры. Он имеет хорошие средства.

Г-н Виноградский в роли есаула для многих был загадкою; кажется, он исполнял все, как надобно: читал верно, держал себя прилично, а решительно не производил никакого впечатления! По нашему мнению, отгадка состоит в том, что он не играл, а читал заученное, чужое, не по его средствам расположенное, и потому все выходило холодно и бесцветно — следствие все той же методы декламации.

Г-н Максин порядочно проговорил за начальника дружины русских воинов.

«Король и Пастух», водевиль, переведен с французского князем А. А. Шаховским, нашим первым драматическим писателем, который обогатил русскую сцену многими отличными произведениями, который почти один (как сочинитель) составляет жизнь нашей драматической словесности. Вот содержание водевиля: Фердинанд, король португальский, в день восшествия своего на престол приходит, переодевшись в простое платье, под именем Мендозы, вместе с своим министром дон Рамиром, назвавшимся Перецом, к содержателю трактира близ Лиссабона, Альварецу, у которого год тому назад они были в то же время и в том же виде и с которым очень подружились. У этого трактирщика есть дочь, Ермо-

зина, которую он хочет выдать замуж за пожилого придворного келлермейстера, дон Игнадора; но молодая девушка любит молодого пастуха Педро и, разумеется, любима им. Отец и другие деревенские жители считают этого пастуха сумасшедшим, потому что он всем рассказывает (и совершенную истину), как спас жизнь на охоте королю португальскому. Трактирщику пришла счастливая мысль в голову — доказать дочери, что Педро сумасшедший: он упросил гостя своего Мендозу *назваться королем*. Если пастух примет его за настоящего короля, то явно, что он сумасшедший. Выдумка была очень удачна, ибо пастух в самом деле сейчас узнал короля, и даже просьбы Ермозины не могли вывести его из мнимого заблуждения: это очень забавно и живо на сцене. Ермозина, в досаде на гостей, бежит рассказать все дело деревенскому алькаду, в надежде, что он разделается с самозванцами. Король также узнал своего избавителя; радуясь, что может сделать его счастливым, посылает с запискою во дворец, уверя трактирщика, что отсылает Педро к доктору, который его вылечит. Между тем приезжает и придворный келлермейстер праздновать свой сговор и привозит целую шлюпку столовых припасов и вин, разумеется с кухни и из погреба королевских. Посудите об ужасе дон Игнадора, когда он увидел самого Фердинанда! Дон Рамир тихонько приказывает ему надеть шляпу и не узнавать короля. Сцена очень смешная: дон Игнадор ни жив ни мертв; но делать нечего, садится за свой воровской обед и, дрожа как в лихорадке, терпит пытку от шуток Фердинанда, а вдобавок должен петь. Между тем по уведомлению Ермозины приходит алькад со стражею и хочет взять Мендозу под караул как самозванца; он объявляет свое настоящее имя, и в то же самое время является весь двор короля с пастухом Педро. Трактирщик с алькадом узнают истину. Фердинанд всех прощает, но вместо погреба отдает в смотрение дон Игнадору зверинец, заметив, что он не охотник до дичины, а Ермозину и погреб вручает счастливому Педро. Водевиль прелестный: умный и веселый; переведен прекрасно разговорным языком; некоторые куплеты забавны и остроумны.

Г-н Щепкин играл превосходно роль трактирщика Альвареца. Какая живость, выразительность, мастерская отделка и отчетливость в самых мелочах! Как вполне был выражен характер! как одушевлял он куплеты и какая истинная натура! Обставь такими артистами целую пиесу, и тогда произведешь совершенное очарование.

Г-н Зубов, почтенный ветеран московской сцены, очень хорошо играл придворного келлермейстера; особенно трусость была в нем так натуральна, что зритель мог ошибиться.

Г-жа Лаврова играла роль пастуха Педро местами прекрасно. Искренно признаемся, что мы были поражены не степенью ее искусства, а решительным талантом. Какой голос! Сильный, приятный, исполненный души! Знатоки говорят, что она фальшила в пении; мы этого не заметили; а очень жаль, если это правда. Нам показалось, что и независимо от пения она могла бы быть прекрасною актрисою. За что такое дарование не достигает своей цели? За что артистка, которая могла бы быть украшением сцены, так мало занимается своим искусством? За что изящное превращать в простое ремесло? С сердечным прискорбием говорим слова сии, ибо г-жа Лаврова играет очень редко, а еще реже — достойна своего таланта.

Г-н Виноградский в роли короля был не совсем дурен; но эту роль надобно играть с бóльшим искусством, свободнее, легче и с тонкою выразительностию.

Г-н Щепин, который обещает в себе хорошего резонера, судя по другим ролям, был нехорош в роли дон Рамира: она требует опытного и ловкого актера.

Г-жа Ветроцинская играла роль Ермозины... но для чего говорить бесполезную и неприятную истину? мы никогда не будем судить об ней как об актрисе; говорят, что она и пела так же. Последние три действующие лица охлаждали и растягивали ход водевиля, который должен был идти очень быстро. Кажется, король и министр нетвердо знали свои роли.

Водевиль окончился дивертисманом: между нашими танцовщицами отличалась силою и верностию танцев г-жа Харламова.

Г-жа Гюллень-Сор танцевала pas de deux с г. Ришардом-меньшим. Она восхитила нас. Мы ни в ком не видывали такого счастливого соединения силы и приятности, чистоты и выразительности. Все движения ее исполнены жизни. Московский балет ей много обязан. Молодые танцовщицы наши весьма выгодно переменились со времени приезда этой отличной артистки.

Г-н Ришард-меньшой, несмотря на искусство в танцах, по нашему мнению не имеет приятности: в нем видно какое-то усилие и принуждение.

1828 года. Июля 25 дня.

«БАТЮШКИНА ДОЧКА»

Комедия в трех действиях, в прозе, князя А. А. Шаховского

«ДЯДЯ НАПРОКАТ»

Комедия-водевиль в одном действии и дивертисман

«ПРАЗДНИК ЖАТВЫ»

Августа 23 дня.

Первое действие есть картина капризов и бешенства батюшкиной дочки, Любови Осиповны. Несмотря на доброе сердце, все терпит от ее вспыльчивого нрава: мать, графиня Брезинская, сестра Лиза, самая кроткая девушка, учители и горничная Маша. Капитан морской службы Рогдаев, давно влюбленный в прелестную капризницу, знакомый отцу ее (который сам избаловал дочку), решается ее исправить, согласясь с князем Сицким, влюбленным в Лизу, и с Машею. Сицкий душит Любовь Осиповну комплиментами, а Рогдаев (к которому она неравнодушна) хладнокровно говорит ей резкие истины. Второй акт состоит из балета в трех действиях: со всем *прибором сатана*; туда заманили батюшкину дочку; она видит свое изображение в бешеной графине, видит, как все зрители явно приметили в ней графиню, указывают на нее пальцами; она сердится, терзается.

В третьем акте Любовь Осиповна, почувствовав, так сказать, сама себя, приходит в раскаяние; Маша бежит за Рогдаевым, он приходит и видит, что Любовь целует его *портрет*. Дело объясняется. Рогдаев снимает завесу с глаз ее; в истинном виде изображает ее характер, ужасные его последствия, открывается в любви и получает руку искренно раскаявшейся и твердо положившейся исправиться батюшкиной дочки.

Из содержания этой комедии читатели могли увидеть, что исправление Любови Осиповны невероятно и что драматического действия в этой пиесе мало; надобно прибавить, что в этот раз ее давали в двух актах: средний был выкинут. С одной стороны, пиеса выиграла: она сделалась не так растянута (балет продолжался около двух часов); а с другой стороны, для зрителя, не видавшего балета, связь пиесы была прервана и конец вышел темен. Разговорный язык во всей пиесе большого достоинства.

Любовь Осиповну, батюшкину дочку, г-жа Синецкая играла очень хорошо, относительно к своим средствам. Вся роль бешеной, избалованной девушки разобрана и понята ею прекрасно; везде, где требовались чувствительность и тонкость в выражении, мы были совершенно довольны; но мы не видели вспыльчивости, бешенства. Орган ее, слабый [1] и не способный к одушевленному изменению тонов, не выражал внутренней досады и гнева; в ее движениях неприметно было живости, скорости, нетерпения: необходимых признаков этого характера. Первое действие нам показалось несколько слабее и однообразнее в исполнении; второе — гораздо лучше. Вообще приметно было изученье, искусство. Может быть, многим покажется наше суждение слишком строго, но что ж делать, ежели нам *так кажется?* Мы обещались говорить искренно. Истинная артистка, как г-жа Синецкая, которая во многих первых ролях, в больших комедиях, доставляет зрителям полное удовольствие верною и благородною игрою, конечно не оскорбится нашими благонамеренными замечаниями. Что же касается до всегдаш-

---

[1] Искусному произношению г-жи Синецкой надобно приписать, что каждое ее слово слышно даже на большом театре.

него старательного изучения и исполнения своих ролей, то с этой стороны она заслуживает совершенную благодарность публики.

Г-н Мочалов роль капитана Рогдаева играл не только как артист с талантом, но и с отличным искусством; по нашему мнению, это одна из совершеннейших его ролей. Мы заметили, что по пиесе Рогдаев должен быть старее, нежели каким его играл г. Мочалов; что в четвертом явлении первого акта напрасно погорячился он в словах: «Графиня! капризы, вспыльчивость могут быть извинены воспитанием, лишняя живость нрава — молодостию; но несправедливость ничем, а неблагодарность...» Так же и во втором действии: «Если вы меня принуждаете говорить, то я скажу вашему слишком вспыльчивому нраву, который чуть не стоил жизни человеку...» Все это должно быть произнесено с большею выразительностию, с большею важностию и достоинством, но без вспыльчивости: Рогдаев действует умышленно. Длинный монолог в предпоследнем явлении второго действия был рассказан г. Мочаловым с возможным совершенством, кроме следующего места: «Добрая матушка ваша всякий день плачет и хотя очень вас любит, но я уверен, что иногда принуждена проклинать день вашего рождения и память отца вашего», которое было слабо в отношении к целому. Этого нельзя извинить сценическою случайностию: это место сильнейшее, на нем все основано, им достигается цель, а потому оно непременно должно быть сказано сильнее других.

Графиню Брезинскую г-жа Кавалерова играла очень хорошо: натурально и верно.

Князя Сицкого, роль, впрочем, ничтожную, играл г. Сабуров. Играть нечего, но роль надобно было знать. Не наше дело судить, как должно смотреть на это начальство театра, но, по нашему мнению, незнание ролей есть знак неуважения к публике. Г-н Сабуров так привык к нему, что оно его не смущает, а забавляет.

Г-жа Нагаева изрядно играла Машу, но могла бы играть гораздо лучше. В ней приметно малое упражнение в своем искусстве, иначе она не сказала бы *смо́тря*

вместо *смотря;* роль тоже не совсем была тверда. Мы с сожалением говорим это: г-жа Нагаева для ролей служанок имеет решительный талант.

Г-жа Родецкая в роли Лизы совершенно не походила на лицо, ею представляемое. Признаемся, что даже странно видеть это на столичном театре и доказывает или невнимание к искусству, или совершенную бедность.

Парикмахер Дюшон (г. Ленский), англичанин Жемсон (г. Третьяков), италианец Ремини (г. Живокини), немец Глюкман (В. Степанов) были вообще недурны, но г. В. Степанов играл совсем не пожилого немца, а какого-то молодого француза. Режиссер, как видно, не позаботился и взглянуть, что Глюкман, отец семейства, выходит на сцену пятнадцатилетним мальчиком.

Водевиль «Дядя напрокат», переделанный с французского покойным А. И. Писаревым, весьма забавен и хорошо играется. Прекрасные куплеты, веселость одушевляют всю пиесу. Вот содержание: г. Дерсан, богатый молодой человек, влюблен в бедную благородную девицу, Емилию Дорваль, ремеслом портретную живописицу, у которой, однако, есть дядя в Америке, вероятно наживший большое состояние. Емилия, узнав от живущих с ней в одном доме швеи Луизы и каретного подмастерья Варфоломея (которые друг к другу неравнодушны), что Дерсан тихонько покупает ее картины дорогою ценою и платит за ее квартиру втрое, нежели сколько берут с нее хозяева, почитая выше всего доброе имя, решается съехать с квартиры и никогда не видаться с Дерсаном. Он в отчаянии. Встречается с Фомою Бонитоном, бывшим кучером своего отца, который, узнав, что вся надежда Дерсана основана на возвращении дяди Емилии из Америки, предлагает ему сыграть комедию и назвать его дядею, возвратившимся с большим богатством из Америки. Дело слажено и сначала идет очень хорошо, Емилия поверила; но, по несчастию, Варфоломей в самом деле родной племянник Бонитону и узнает его. Кое-как обман скрывают, хотят уверить Варфоломея, что кормилица его подменила и что он, следственно, не племянник богатому дяде; в самое это время приносят письмо к Бонитону, в котором уведом-

ляют, что ему возвращается место кучера дилижанса, прежде отнятое; сам Бонитон ошибкою отдает его прочесть Емилии. Истина открывается, Варфоломей восклицает: «Так ты был дядей только напрокат!» — но Емилия, тронутая любовью Дерсана, обещавшая ему свою руку, *из опасения разорить его*, соглашается выйти за него замуж. Причина недостаточная, но для водевиля годится. Разговор очень хорош, и большая часть куплетов прекрасны. Последний — особенным отношением к покойному Писареву горестно отозвался в сердце его приятелей. Мы видели, что один почтенный артист на сцене не мог удержаться от слез: вот куплет:

Емилия
(к зрителям)

В представленье, как в процессе,
Суд готовясь произнесть,
Не забудьте, что в пиесе,
Кроме нас, участник есть.
Он решенья ожидает,
Замечаньям будет рад
И, поверьте, не желает
Брать успехи напрокат.

Бонитона играл г. Щепкин... Искренно признаемся, что он приводит нас в затруднение! беспрестанно хвалить, того и гляди что прослывем пристрастными его почитателями, не говоря уже о том, что нажужжит «Северная пчела»; да и словарь похвальных выражений скоро истощится; порицать же его не за что. Есть у него один неизменный недостаток: произношение *некоторой буквы*, но насмешники скажут, что мы *выезжаем на одном глаголе*. Делать нечего; до удобного случая к нему придраться надобно сказать: Бонитона играл г. Щепкин прекрасно.

Г-н Живокини в роли Варфоломея был недурен. Знаем его благоразумие и, не опасаясь оскорбить его, скажем, что Рязанцев в этой роли был превосходен. Счастливая его натура оказывалась тут в полном блеске. В этой роли в первый раз заметили мы в его игре огонь. Отдавая полную справедливость стараниям г. Живокини, за долг считаем напомнить ему, что

простосердечие не есть глупость, а шутовство — не веселость. Он понимает нас.

Г-жа Репина, в роли Емилии Дорваль, не так была хороша, как в других водевильных ролях: это не ее род. Девица Дорваль должна была казаться несравненно выше своего состояния.

Г-жа Лаврова в Луизе произвела на нас неприятное впечатление: таланта много, а успеха — мало. Явное нестарание, явная нелюбовь к искусству: играя так редко, не знать роли; в последнем, право, далеко превосходил ее г. Сабуров; прибавьте к этому холодность, привычную на сцене ловкость, и вот и все, что составляло игру его в роли Дерсана.

Дивертисман был выполнен очень хорошо.

1-е ПИСЬМО ИЗ ПЕТЕРБУРГА

К ИЗДАТЕЛЮ «МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА»

Уезжая из Москвы, я дал вам слово просмотреть внимательно несколько спектаклей в Петербурге и беспристрастно описать их; исполняю ваше желание. Очень знаю, что вооружу на себя многих; сам с изумлением пишу, но истина всего для меня дороже; из любви к ней и театральному искусству предаю себя на жертву критикам и пристрастным хвалителям петербургской сцены.

Вчера я видел «Ябеду», обветшалое слогом и формою, но все бессмертное произведение Капниста. Отдаю полную справедливость г. Боброву: в роле председателя он очень хорош. Главное его достоинство — натуральность, которая соединяется с удивительною наружностью простака, что в этой роли, впрочем, было и не нужно. В некоторых местах г. Бобров был превосходен, но зато другие?.. но зато как поставлена *вся* пиеса? Не верю, что я видел *это* в Петербурге: мне кажется, я съездил в Нижний или Саратов. — Вообразите, что «Ябеда», списанная с натуры, в высочайшей степени комической, «Ябеда», которой единственное и великое достоинство состоит в истине действия, представляемого на сцене, играется здесь *совершенным фарсом!*.. Где теперь ее достоинство? Какое впечатление она произвести должна? Совершенно противное намерениям автора. Он хотел картиною своею возбудить отвращение, ужаснуть

зрителя: вот нравственная мысль, цель этой комедии, а здесь она только смешит чернь и наскучает зрителям образованным. — Повытчика Доброва играет г. Каменогорский какою-то карикатурою и к тому везде читает, а не говорит. Председательша (г-жа Ежова) без всякого отчета беспрестанно кричит, несколько раз начинает драться; нежность и ласки ее — отвратительная утрировка. Представьте себе, что когда муж ее читает от Праволова письмо, из коего выпадают деньги, то председательша растягивается по полу и, ползая, подбирает их... Опьянелость гостей — также фарс и выполняется без искусства: их таскают под руки. Советник-заика забавляет публику тем, что руки и ноги его действуют, а тело не встает со стула. Все советники и прокурор бесцветны и однообразны; даже пьяны делаются все в одно время и вдруг. Секретарь (г. Пономарев) слишком утрировал свою ролю в противность автору и здравому смыслу, вырывая бумагу у повытчика, читавшего очень внятно, и говоря: *ты стал бормотать*, он сам читает внятно и протяжно, тогда как ему именно надобно было читать или очень скоро, или непонятно, для того, чтоб никто не вслушался. Любовник, любовница, Праволов таковы, что, право, совестно писать [1].

Неправда ли, что я удивил вас? Но я сам удивлен не меньше вашего. Признаюсь, вот чего я никак не ожидал. Зная некоторых почтенных, заслуженных артистов петербургских, наслышавшись о разборчивом вкусе публики, я надеялся найти здесь совершенное отсутствие фарсов, лад (ensemble) в пиесах, богатство в *хороших* аксессуарах, искусную обставку, старательное исполнение... и что же я нашел?..

Завтра играют «Коварство и любовь». Нетерпеливо хочу увидеть г-на и г-жу Каратыгиных...

---

[1] Теперь следуют вопросы: какую публику надобно для подобного спектакля? чему дивиться, что театр был пуст? что «Ябеда» считается здесь пиесою, написанною для черни? Сама дирекция признает ее такою, ибо обыкновенно дает по воскресениям и праздникам.

2-е ПИСЬМО ИЗ ПЕТЕРБУРГА

К ИЗДАТЕЛЮ «МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА»

Вчера я видел спектакль в Петербурге!.. Играли «Коварство и любовь»: пиеса обставлена лучшими артистами и очень хорошо слажена. Не выдавая своего мнения безошибочным, сделаю общее замечание, что эту трагедию должно играть гораздо простее, натуральнее; лица, выведенные в ней, взяты из обыкновенного общества, она написана прозою — к чему такая декламация, напев? Г-н Каратыгин, артист с отличным дарованием и даже искусством, в роли Фердинанда исполнен силы, чувства и благородства. К сожалению, орган его как будто испорчен — груб, охрипл; многих изменений голоса он не может взять. Мимика лица в выражении некоторых страстей — неприятна. Вместо нежности, любви — выражает плаксивость. Впрочем, несмотря на сии недостатки, сей просвещенный артист, свергнув оковы декламации и старой методической игры, со временем достигнет, без сомнения, степени знаменитого трагического актера. Г-жа Каратыгина, играя Луизу, была не в своей роли: видна искусная актриса, ловкая, благородная на сцене, но совсем не Луиза; даже наружность ее, прекрасной полной женщины, не шла к этому лицу. Притом много манерности и мало истинной чувствительности.

Г-жа Валберхова роль леди Мильфорт выполнила очень хорошо: с благородством и глубоким чувством; жаль, что она также много декламировала; но, несмотря на это и на приметную слабость голоса и груди, она прекрасно выразила характер представляемого лица. Г-н Брянский превосходно играл старого музыканта, отца Луизы; но, признаюсь: для меня удивительно, почему он не играл президента? Для общего достоинства пиесы это было необходимо. Роль Миллера, правда, — роль очень благодарная, следственно и нетрудная, но такому артисту, как г. Брянский, надобно искать трудностей.

Президента играл г. Толченов, секретаря Вурмса — г. Хотяинцев; первый был отлично дурен, второй — просто дурен, именно оттого, что старался выдавать, выжимать каждое слово и всю ролю играл карикатурно. Он своей диктовкой заставлял смеяться даже тогда, когда Луиза писала письмо, смертный приговор себе и Фердинанду. Но в искусстве смешить некстати превзошел его г. Сосницкий. Он в роли маршала был настоящий буф и много вредил г. Каратыгину при вызове на дуэль. Например: в самое это время, стоя за креслами, он, будто от страху, поджимал то ту, то другую ногу; а когда побежал, то ноги его чуть не до спины загибались. Странно, как артист, пользующийся такою славою и так любимый публикою, позволяет себе неприличные и отвратительные фарсы.

Я видел еще несколько раз г. Каратыгина в других ролях и, наконец, в «Гамлете». Это торжество его; прочие действующие лица, в том числе и г-жа Каратыгина, игравшая Гертруду, заслуживают одно порицание; но г. Каратыгин превосходен: в этой роле и голос его приличен страстям и напев стихов извинителен, даже незаметен; ужас, отчаяние выражал он несравненно. Лучшее место было видение тени отца. Удивительно, как скоро зритель привыкает к методе или особенному способу выражения актера, даже неприятному для слуха, если актер одушевляет игру свою талантом и верностию чувств. Кто никогда не слыхивал г. Каратыгина, тому чтение его до того покажется странным, что можно из театра уйти; но кто выдержит первые минуты, тот не уйдет уже и

целые часы. Живо чувствую теперь, как должен был не понравиться петербургской публике наш москвич Мочалов, который в трагедиях, в стихах, не только не поет, не декламирует, но даже не читает, а говорит. Зрителям, привыкнувшим к величественной, стройной (хотя слишком тонкой) фигуре г. Каратыгина, к важным, благородным его движениям, к его громозвучному органу, к его пышной декламации, к его напеву — под сею формою только признававшим царя на сцене, — чем должен был показаться Мочалов: человек среднего роста, без искусства держать себя хорошо на сцене, с дурными привычками, с небольшим голосом и *говорящий, как и все люди*?.. Но как неизмеримо расстояние между трудностями сих метод! Как легко с хорошими средствами декламировать, и как трудны, опасны и высоки красоты игры простой, истинной; надобно прибавить, что во многих трагедиях она невозможна; но всему есть мера.

Познакомившись довольно коротко с игрою г. Каратыгина и желая передать вам яснее свои мысли, я сделаю сравнение первых артистов обеих столиц.

Г-н Каратыгин сотворен для первых ролей героев, царей; г. Мочалов — для первых ролей любовников и молодых царей. Переходя из одного амплуа в другое, оба *равно* неудовлетворительны; но с г. Каратыгиным случается это очень редко, с г. Мочаловым очень часто: впрочем, это не его вина. Каждый для *своих* ролей имеет прекрасные средства; но орган г. Каратыгина неломок, неприятен; голос г. Мочалова несильный, но прелестный, обольстительный во всех изменениях; черты лица его прекрасны и благородны; чувствительность, любовь, восторг выражает он лучше Каратыгина; но зато чувства ужаса, отчаяние несравненно сильнее изображаются на лице последнего. Декламация г. Каратыгина, всегда равно сильная и верная, заставляет забывать его методический напев; чтение (или лучше разговор) г. Мочалова — совершенство... Г-н Каратыгин благороден на сцене; выдерживает ровно весь характер; его движения красивы, приличны лицу, им представляемому; положения картинны, даже до излишества. Мочалов держит себя дурно; несчастные привычки не оставляют его ни в царях, ни в знатных баричах, ни во фраке, ни в

мундире: везде одна неловкая походка, одни неприятные телодвижения; цельность характеров не всегда выдерживает; всегда играет роли неровно, но зато имеет такие минуты, такие превосходные места, которые доходят прямо до сердца, в восторг приводя зрителя, чего г. Каратыгин в своей игре не имеет и едва ли достигнуть может. Г-н Каратыгин владеет собою при выражении сильнейших страстей: это важное условие в искусстве. Он может быть иногда сильнее, иногда слабее, но никогда не сыграет дурно. За г. Мочалова никто, ни он сам, не может поручиться в том, что он сыграет хорошо. Его искусство — вдохновение. Г-н Каратыгин очень часто играет, очень много трудится: это видно; он неограниченный властелин своих средств. Г-н Мочалов имеет самый тесный репертуар, целый век играет несколько трагедий и то редко; если дела останутся в таком положении надолго, то путь к дальнейшим успехам может и навсегда заградиться для него. Это золото, еще в горниле неочищенное; алмаз в коре, еще неограненный; но ничто лучше не доказывает самобытности его таланта, как смелое введение простого разговора на сцене и упорное его продолжение. Сей путь никто не указал ему; он избрал его по внутреннему убеждению. Какие трудности, неприятности, препятствия надобно было преодолеть сначала! Теперь уже и многие переменили свое мнение, а со временем и все в этом согласятся; но в труднейшем изящном искусстве предупредить свой век и смело побороть его предрассудки — есть подвиг великий. Итак, вот результат мой: талантом — г. Мочалов выше г. Каратыгина; как актер — последний несравненно выше г. Мочалова. — Чего не дано природою, того никакими трудами приобрести нельзя. Искусство — приобресть можно. Публика петербургская обязана благодарностию своему артисту и всегда с восторгом принимает его, но, конечно, публика московская желала бы превзойти петербургскую и в благодарности. До свидания и проч.

P. S. Удивляться надобно здешнему репертуару! — весь Н. И. Ильин на сцене. Бенефисные, спекуляцион-

ные пиесы все в ходу. Часто дают «Татьяну прекрасную на Воробьевых горах», которая отличается особенно следующими стихами:

За царя, за славу, честь
Нам слона приятно съесть!

Также «Вертера», которого истинно я не мог досмотреть: отвратительные фарсы г. Величкина и г-жи Ежовой выгнали меня из театра в половине пиесы. Кажется, убедительный пример для всех фарсёров есть г. Рязанцев: с каким единодушным удовольствием принимает его публика, и как проста, противоположна игра его всяким фарсам!

ПИСЬМО В ПЕТЕРБУРГ

<О ФРАНЦУЗСКОМ СПЕКТАКЛЕ В МОСКВЕ>

Наконец, исполнились нетерпеливые ожидания страстных галломанов, *наступила эпоха в театральных летописях Москвы,* и французский театр в Москве, 1 января 1829 года, открылся «Расточителем» («Dissipateur») Детуша.

Принадлежа к партии умеренных, или, лучше сказать, не принадлежа ни к какой, я сердечно желал, чтобы древняя столица наша украсилась новым общественным удовольствием — французским спектаклем. Признаюсь, однакоже, тебе, что, несмотря на пышные обещания галломанов, на громкие и непонятные фразы «Московского телеграфа», который возвещал, что французский театр будет освещен *разноцветным газом,* и с каким-то удовольствием и народною гордостию повторял выражения: *Французы в Можайске! Французы в Москве!* — несмотря на все это и на известную способность и охоту французов к театральному искусству, я не увлекался блистательными надеждами. Зная, что средства были недостаточны для привлечения к нам отличных артистов, я не ожидал много хорошего, но никогда не воображал, что увижу до такой степени посредственное — чтоб не сказать больше, — как первый французский спектакль. Гостеприимная и великодушная московская публика приняла снисходительно дебют приезжих гостей, но без одобрения: истина была так очевидна, что почти все

мнения слились в одно общее. Боже мой, какой бы шум подняли в Париже, если б там осмелились выписать *такую* иностранную труппу!

Самый выбор пиесы удивил меня. Надобно сказать правду, что и отличные артисты могли бы сделать эту пиесу — только не скучною. Старые, обветшалые формы, безжизненные характеры, пустая декламация, условная неестественность, кажется, уже никому не могут нравиться. Французы говорят, что это именно *пиеса для дебюта*. Положим так, — но для каких артистов? для отличнейших, которые бы собственным искусством и огнем согрели, одушевили холодное произведение старичка Детуша.

Сказав тебе мое мнение о труппе французской вообще, скажу и частное об артистах; но похвалы мои будут относительные к недостатку целого.

Г-н Менье играл Клеона (Расточителя). Выговор и орган у него очень хороши; первые акты, несмотря на выученные, манерные телодвижения, были лучше последних; но когда дело дошло до чувств и до огня, то, скажу скромно, явилась одна холодная, поддельная, несносная декламация. Барона играл г. Далес; его считают лучшим актером, но в этой роли едва ли он кому понравился. При всем том я заметил в нем некоторый жар, и, может быть, в других пиесах он будет играть удачнее[1]. Дядю Жеронта играл г. Филибер. Орган у него не так хорош, по крайней мере он натуральнее других. Г-жа Виржини в роли Юлии была недурна: выговор прекрасный, и некоторые отдельные мысли автора выражены ею довольно удачно, но чувствительности души было очень мало. Всех лучше играла и всех более имеет таланта, по моему мнению, г-жа Альфред, занимавшая роль Финеты. На эту субретку всегда можно смотреть с удовольствием. Роль болтуньи-крестьянки в водевиле она выполнила очень хорошо. Хуже других показался мне г. Виктор, игравший Паскеня; зато Кузнецкий мост, французские книжные лавки и другие московские французы были от него в упоении восторга.

---

[1] Это писано до несчастной кончины г. Далеса. Французский театр много потерял в нем.

Водевиль (Comédien d'Etempes) шел гораздо лучше. Г-н Сент-Альбен, игравший комедианта, имеет талант и искусство, но холоден: эта роль много бы выиграла от живости исполнения. Водевиль, любимое зрелище французской черни, для нее написанный, с такими фарсами, грубыми экивоками и непристойностями, не мог понравиться лучшему кругу московской публики, и выбор его для дебюта еще страннее выбора комедии. Я не дождался конца водевиля; говорят, что пели куплет, в котором величали русских покровителями талантов и изящных искусств. За это спасибо, и слава богу, если это не лесть, а правда — особливо в отношении к отечественным дарованиям. Г-н Сент-Альбен был вызван.

Чтоб лучше тебе дать понятие о французском спектакле, скажу, что его можно было сравнить с каким-то экзаменом взрослых воспитанников и воспитанниц в декламации на французском языке или в сказывании уроков. Чистое, правильное произношение и твердое знание наизусть составляли все его достоинство. Мне даже жаль приезжих гостей наших: вероятно, они думали, что найдут публику, подобную той, которая наполняет мелкие парижские театры: без сомнения, эта уверенность уже проходит. Надобно отдать, впрочем, должную справедливость французским актерам: пиесы слажены, по возможности, очень хорошо, роли выучены твердо, реплики всегда схвачены во-время, и вообще видно старание и внимание к искусству. Вот чему надобно у них учиться русской московской труппе.

1829 года, января 2-го дня.

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»

Комедия в четырех действиях,
*сочинения Бомарше, вновь переведенная с французского Г****

«ВОРОЖЕЯ, или ТАНЦЫ ДУХОВ»

Оригинальная опера-водевиль,
соч. кн. Шаховского, и
Разнохарактерный дивертисман

Понедельник, 14 января.

Кому не известен «Севильский цирюльник»? Этот сюжет сделался как будто народным на нашей сцене; его играют, поют, танцуют. Не смеем решительно судить о переводе — нам показался он весьма посредственным. Комедия же вообще была разыграна очень хорошо, и мы смотрели на нее с большим удовольствием.

Г-н Мочалов, о высоком таланте которого мы уже имели случай говорить, в роле графа Альмавивы не удовлетворил ожиданиям зрителей. Конечно, он был недурен, не портил и способствовал даже успеху пиесы, но не украсил ее: играл слабо, без искусства; не умел или не хотел притвориться пьяным солдатом и бакалавром, — был, против своего обыкновения, холоден и даже известие, что Розина не жена Бартоло — принял довольно равнодушно; наконец, не открыл зрителям и актерам своего графского костюма, а доиграл пиесу в плаще. Кто же виноват, если многие не узнали в нем графа Альмавиву?

Доктора Бартоло играл г. Щепкин. Несмотря на некоторые свои обыкновенные недостатки, то есть излишнюю крикливость, излишнее дрожание рук, несмотря на свою неудобоизменяемую фигуру и однообразный орган, что еще более увеличивало сходство других ролей с ролею Бартоло, он выполнил ее отлично хорошо. Многие места были сыграны превосходно. Нельзя было не восхищаться тонкостию, истиною и разнообразием его игры. С большим искусством оттенял он малейшие изменения страстей и переходы. Все было одушевлено и — верно.

Г-жа Львова-Синецкая очень хорошо играла Розину: с душою и искусством. Нам показалось, однако, что первый разговор ее с Фигаро неверно выполнен: она с какою-то простотою и радостию расспрашивала, в кого влюблен Линдор? Розина не проста и с некоторым беспокойством и даже ревностию должна его расспрашивать. Еще показалось нам странным, что Розина во всю пиесу не снимала шляпки.

В роли Фигаро г. Сабуров доставил нам большое удовольствие, а особенно последними тремя действиями. Первое шло у него как-то вяло; не было плутовства, бойкости. Если б г. Сабуров мог прибавить к своей игре огня и быстроты, он бы играл эту роль превосходно. Г-н Живокини занимал роль Дон Базиля и — неудачно, хотя наружность его очень была выгодна; в нем неприметно было никакого характера. Надобно заметить, однако, что весьма трудно представить в этом лице, черты коего накиданы весьма слабо, плута и дурака, жадного к деньгам. Прочие роли ничего не значат. Лучшая сцена по игре и комическому достоинству — когда Бартоло достает подмененное письмо из кармана Розины, лежащей в притворном обмороке.

Водевиль «Ворожея, или Танцы духов», интрига которого нам кажется невероятною, но который всегда будет нравиться многими остроумными куплетами и прекрасным разговором, был игран некоторыми лицами слабо, а потому и не имел общего ладу. Сверх того, роль у г-жи Лельской была нетверда. Ворожею Кунштук играла г-жа Бажанова как нельзя хуже. Г-жа Сабурова, в роле Лельской, была недурна; можно было даже с удо-

вольствием видеть ее на сцене, но до отличного исполнения этой роли еще очень далеко. Такой опытной и приятной актрисе, как г-жа Сабурова, должно бы, кажется, с бо́льшим искусством обработать эту роль, у нее совершенно бесцветную. Брюзгину играла г-жа Кавалерова прекрасно. Эта почтенная артистка выполняет свои роли всегда верно, умно и натурально. Вот как может скрываться великое дарование, поставленное не на своем месте! Около двадцати лет г-жа Кавалерова была дурна на сцене, играя наперсниц в трагедиях; а третий год, в ролях пожилых и вздорных женщин, она доставляет истинное удовольствие самому взыскательному зрителю. Публика обязана за это кн. Шаховскому. Г-н Сабуров, в роле Клюнова, был очень хорош. Лельского играл г. Бантышев и весьма порадовал нас. Он говорил почти везде хорошо: натурально, верно и даже с чувством, но держал себя дурно, особливо когда горячился. Проклятый цыган Гикша как-то *проявлялся* в нем; со всем тем он подает большие надежды; его старательность делает ему честь, и мы искренно желаем, даже осмеливаемся предвещать ему успехи.

Дивертисман, как и всегда, был очень хорош, и девица Карпакова — прелесть.

Кстати теперь сказать, что мы видели этот самый водевиль, разыгранный школою московского театра. Водевиль вообще шел прекрасно, а девицы Карпакова и Куликова восхищали нас своею игрою и талантом. Первая из них, без сомнения, будет знаменитою жрицею Терпсихоры, хотя Талия не перестанет сожалеть о ней. Девица же Куликова обещает отличную актрису — нельзя еще сказать, в каком роде, но великий талант ее и ум на сцене не подвержены сомнению. От нее зависит учением и старанием оправдать наши надежды.

1829, январь 16.

«ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ ВОЛКОВ,
или
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО ТЕАТРА»

Анекдотический водевиль,
соч. князя А. А. Шаховского

и

«МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ»

Разнохарактерный пантомимный балет,
соч. г. Бернаделли

Пятница, 25 января.

Нельзя без истинного, сердечного наслаждения видеть этот прекрасный, русский, народный водевиль. Мысль высокая и глубокая — представить борьбу невежества и просвещения: луч света проницает мрак. Люди, которых имена всегда будут любезны и драгоценны истинно русским, оживляются пред вами волшебным могуществом драматического искусства. Вот он, представитель способностей русского человека, со всею силою ума, со всею живостию духа, со всею твердостию воли — Федор Григорьевич Волков! Вот его достойные сотрудники, первые любители изящного, первые ревнители учения — братья Волковы, Дмитревский и другие! Вот этот кожевенный сарай, где зародилось зерно театрального искусства в России, столь сильно способствующего просвещению... И, наконец, вот он, прототип

невежества, сильный единомыслием толпы, закоренелостью предрассудков, заклятый враг всякого просвещения — Фаддей Михеич! Сцена, когда последний нечаянно приходит в театр, устроенный в сарае, и, не имея возможности уйти, садится спиною к театру, чтоб ничего не видеть, и затыкает уши, чтоб ничего не слышать, принадлежит к небольшому числу бессмертных сцен Аристофана и Мольера. По нашему мнению, это есть одно из совершеннейших произведений князя Шаховского. Содержание казалось бы слишком глубоким и тяжелым для водевиля, и, конечно, оно подавило бы неопытного комика; но сочинитель с удивительным искусством овладел им и воспользовался. Каким жаром любви к драматическому искусству, еще сильнейшей любви ко всему отечественному, проникнут, согрет этот превосходный водевиль! Кто слушал его равнодушно, для того театр — только средство убивать время. Не заслуживает ли писатель общественной благодарности, доставляя сердцу и уму столь высокое наслаждение, воспламеняя в душе зрителей чувства народной гордости и стремления к просвещению? И о сочинителе-то «Волкова», «Пустодомов», «Аристофана» какой-нибудь *Михеич* нашего века с безнаказанною наглостию смеет сказать, что он «не имеет самобытного таланта, что он имеет относительное достоинство, как *кривой в земле слепых*, что он выбирает без вкуса, переводит дурно, пишет плохо!..» [1] Но не уйти со временем Михеичу от водевиля! Он сам (то есть Михеич нашего века), его мнимая ученость, его литературное самозванство, его минутные успехи, — истинно комическое явление нашего времени, — будут долго забавлять публику: мы охотно смеемся прежним своим ошибкам и заблуждениям, когда успели уже от них освободиться.

Возвращаемся к «Волкову». Единственными недостатками его показались нам (не смеем судить решительно — мы не читали пиесы): излишество пения и некоторые вставки, замедляющие ход действия, хотя имеющие отдельное достоинство. Угощение по старине нищей братии хотя приятно напоминает человеколюбивое

[1] См. «Московский телеграф», 1828, № 22.

обыкновение почтенных наших предков, но слова в нем очень мало слышны, и притом, удерживая на сцене всех актеров, которым потом надобно переодеваться, оно делает антракт очень длинным и охлаждает участие зрителей.

Вообще этот водевиль играется на московской сцене с большим успехом; но, из любви к искусству, мы откровенно скажем, что можно его играть лучше. Не надобно довольствоваться гг. артистам тем, что таланты и выгодная для ролей наружность заставляют хвалить их. Достоинство водевиля и особенное отношение его к ним самим требуют отличного исполнения. Мы уверены, что они смотрят неравнодушно на этот кожевенный сарай, колыбель их искусства и благосостояния. Некоторые аксессуарные лица были плохи [1]; некоторые сцены нетверды и не слажены. Г-н Мочалов в роле Ф. Волкова, кроме неприятных телодвижений и (раза два) неуместных вскрикиваний, был превосходен. Говоря же о ботике Петра и отвечая на вопрос отчима: о чем он задумался? г. Мочалов достиг неподражаемого совершенства. Роль Полушкина удивительно шла к г. Лаврову, и он везде одушевлял ее; но искусство владеть сильным голосом и искусство произношения еще не постигнуты им. У него не только в пении, но и в разговоре иногда не слышно слов, особливо когда заговорит он с жаром; несмотря на это, он играл прекрасно. Г-жа Кавалерова очень хороша была в роли матери Волковых, особливо когда позарумянилась от романеи. Но выражение материнской чувствительности нам не понравилось. Михеича довольно хорошо играл г. Живокини: мы с удовольствием заметили, что он понемногу отвыкает от фарсов [2] и кривляний и что у него появляется истинный жар в игре. Поздравляем его; это плод труда и любви к искусству— теперь успехи его будут вернее. Г-жа Лаврова была недурна в роли Вани Дмитревского; не знаем только, верно ли она пела? Несколько выражений были сказаны

---

[1] Говорят, что причиною этому была передача ролей другим актерам за болезнию прежних.

[2] О другом Михеиче сказать этого еще нельзя; что будет далее — увидим и наберем. *(Замеч. наборщика.)*

ею бесподобно. Г-н Третьяков играл ярославского голову очень хорошо. Г-жа Репина, в роли Груши, питомицы Михеича, доставила полное удовольствие зрителям; она прелестно сыграла Грушу, а рассказ в пении был выполнен мастерски. Хотя роль ее без всякого сравнения ниже роли г. Мочалова, но вот следствие таланта и искусства! Публика вызвала их вместе и почтила равными рукоплесканиями. Надобно сказать правду, г-жа Кавалерова также заслуживала быть вызванною. Заметим, что г-жа Репина была одета слишком несовременно, также и г-жа Лаврова. Другие анахронизмы в костюмах по крайней мере не так бросались в глаза, но Груша должна была быть одетою непременно в кофточку; нам кажется, что и наружность ее нимало не потеряла бы от этой перемены. Публика принимала пиесу с беспрестанным рукоплесканием, внимательно замечая все красоты ее.

Смешной фарс-балет «Механические фигуры» был очень хорошо выполнен во всех подробностях. Девица Карпакова танцевала прелестно.

Января 27.

ОТВЕТ НА АНТИКРИТИКУ г-на В. У.

Публика справедливо скучает антикритиками, еще более возражениями на них, где дело идет всегда об оскорбленном самолюбии сочинителей, а не об истине, и я никогда бы не отвечал на грубую, неприличную антикритику г-на В. У., напечатанную в 1-м нумере «Телеграфа» 1829 г., но раздражительность антикритика, вероятно переводчика комедии «Севильский цирюльник», или его друга, который позволил себе совсем нелитературные выходки и, наконец, невероятную выдумку, принуждает меня сказать несколько слов и подтвердить их доказательствами.

Г-н В. У. говорит, будто *он видел у покойного А. И. Писарева, отданный ему на выправку, жалкий перевод* (то есть мой) *Мольерова «Скупого»*. Если б это было и справедливо, то все он не имеет никакого права говорить о переводе, который не напечатан и не игран; еще менее — публиковать домашние сношения приятелей. Такие поступки нигде не терпимы и нигде не позволены; но теперь не о том дело, а вот о чем: я начал переводить Мольерову комедию «Скупой» *месяц спустя после смерти* А. И. Писарева; кончина его была причиною моего перевода; он обещал г. Щепкину перевести эту пиесу для бенефиса — и я исполнил его обещание. Публика не обязана мне верить на слово, и я свидетельствуюсь в том г. Щепкиным, до которого всех ближе касается это дело, и почтенными особами, бывшими в са-

мой короткой связи с А. И. Писаревым и знавшими все литературные его намерения[1]. Какой же перевод видел г-н В. У. у покойного Писарева? Искренно сожалею, что мое замечание о посредственности перевода «Севильского цирюльника» было невинною причиною такого поступка г. В. У., который назвать настоящим именем я предоставляю ему самому и читателям. Если б Писарев был жив, то, без сомнения, я воспользовался бы его замечаниями. Не худо прочесть свой перевод просвещенному и беспристрастному приятелю прежде печати или представления.

Напрасно также г-н В. У. назвал себя уполномоченным от всех без изъятия артистов московского театра для объявления мне, что они не обращают внимания на мои замечания. Во-первых, это неправда; во-вторых, желая сказать мне неприятность, он оскорбил всех артистов: не уважать чужих мнений есть знак непростительного самолюбия и невежества.

Быть может, г-н В. У. скажет, что он говорил не обо мне, что он видел другой перевод у А. И. Писарева, но дело это слишком известно многим литераторам, и я предупреждаю его: никто не поверит такой увертке. К чему было колоть меня чужим переводом?

1829 год, февраля 4.

---

[1] Князем А. А. Шаховским, М. Н. Загоскиным, Д. М. Перевощиковым и пр.

«РАЗБОЙНИКИ»

Трагедия в пяти действиях,
соч. Шиллера, сокращенный перевод с немецкого.
Дивертисман

Среда, 6 февраля.

Плод разгоряченного воображения юного Шиллера, еще не знавшего ни драматического искусства, ни света, ни людей, несмотря на блистательные красоты, всегда довольно чудовищный, дается на русской сцене — в сокращенном виде! Не о чем жалеть, если б эту пиесу вовсе не давали, но жаль видеть ее обезображенною, безжалостно обрубленною на ложе прокрустовом! Тяжкий грех сей лежит не на московских артистах: в Петербурге произведена сия операция, вероятно для бенефисных спекуляций. Должно еще заметить, что рука, которая поднялась на Шиллера, не необходимостью была на то подвигнута: если б исключили сцены или выражения, противные строгой нравственности, вредные в какомнибудь отношении, по крайней мере признанные такими, это дело другое; а то просто: показалась пиеса длинною, действующие лица болтливыми — и трагедию сократили. Что ж вышло? — Входы и выходы без всякого отчета, беспрестанные, частые перемены, испорченные характеры, для не знающих пиесы темные места, действия лиц без причин, трагедия без связи [1]. Сам Карл Моор, поща-

---

[1] Сколько мы могли заметить, перевод показался нам старый и всем известный. Неужели почтенный переводчик сам позволил сократить пиесу?

женный более других, в теперешнем виде не может быть сыгран отлично, в отношении к целости его характера: везде скачки, нет постепенного и всегда неизменного хода страстей. Трагедия «Разбойники», по преданию, пользуется громкою славою на сцене нашей. Было время, когда публика страстно и добродушно любила театр, восхищалась всеми пиесами, плакала от всех трагических актеров... золотое время невинности! Тогда ходили в театр наслаждаться, а не судить; тогда довольно было белого платка в руке актера и дрожащего голоса, чтоб привесть зрителей в очарование! В это-то время составилась слава «Разбойников». Нынешнее поколение наслышалось о ней — и Большой Петровский театр в другой раз был полон; зрители приметно скучали, несмотря на остатки сильных мест и прекрасную игру г. Мочалова в роли Карла Моора. Разбойничьи сцены были довольно слажены, но вся трагедия выполнена очень слабо. Старый граф (г. Волков) несносно дурен; его холодность, неподвижное лицо, комическая дряхлость — нестерпимы. Г-н Орлов, в роли Франца, совершенно неопытен: да и требовать от него искусства в такое короткое время невозможно. Всего досаднее, что, с превосходнейшим органом, его не было слышно. Амалию г-жа Львова-Синецкая играла хорошо, но играть было нечего. Все прочие лица, кроме Швейцера, были очень плохи. Даже и г. Третьяков, игравший Швейцера, по-видимому, с большим успехом (ему хлопали и его вызывали), по нашему мнению, играл неудачно, хотя мог бы выполнить эту роль прекрасно. Первое: он портил характер, представляя Швейцера крикуном; второе: так дурно управлял голосом, что слышны были одни вскрикиванья и много слов совсем пропало даже для ближайших зрителей. Г-н Мочалов некоторые явления играл превосходно. В четвертом действии слова: *«мой отец»*, или: *«приведи мне его живого»*, *«прочь, злодеи!»* и в пятом: *«она моя! Любовница Карла Моора от него и умереть должна...»* были сказаны неподражаемо.

Дивертисман составляли не отличные артисты.

1829. Февраля 8 дня.

«КАМЕНЩИК»

Комическая опера в трех действиях, музыка соч. г. Обера

и

«ПРАЗДНИК КОЛОНИСТОВ БЛИЗ СТОЛИЦЫ»

Разнохарактерный дивертисман

Понедельник, 18 февраля.

Давно не смотрели мы с таким удовольствием оперы и смело можем сказать, что «Каменщик» идет на московской сцене лучше всех комических опер. К сожалению, великолепный Петровский театр довольно глух: в пении слов никогда не слышно, а потому мы, не читав пиесы, не можем решительно сказать об ее содержании. Странное заключение в оковы Моренвиля и Ирмы, почти в самом предместии Парижа, какими-то турецкими невольниками в испанских костюмах нам показалось невероятным; освобождение их сделалось слишком в короткое время, а появление освобожденных с Рожером было нечаянно и как-то скромно: они бы должны прийти в сопровождении людей, их освободивших, с некоторою торжественностию.

Музыка г. Обера прекрасна и отлично аранжирована. Знатоки называют его немецким Россини и «Каменщика» предпочитают «Снегу» (опера того же сочинителя). Лучшими номерами считают: прощальный дуэт

Рожера с Генриеттой, рабочую песню каменщика и слесаря, прерываемую обходом турецкой стражи, и музыку, выражающую в третьем действии шум в народе. Вся пиеса была слажена отлично, и публика принимала ее с особенным одобрением, тем более, что у нас оперы идут почти всегда плохо. Это даже изумляло многих. Уж не оттого ли так хорошо выполняется эта опера, что две наши водевильные актрисы, г-жи Репина и Сабурова, заменили в ней наших первых оперных певиц?..

Г-н Булахов пел прелестно и играл Рожера лучше всех своих ролей. Костюм его странен: это не каменщик из парижского предместия, а какой-то нарядный швейцарец. Г-н Бантышев пел очень приятно, играл графа Моренвиля недурно, но держал себя нехорошо. Кажется, можно сказать решительно, что у него талант *комический.* Г-н Воеводин в роли слесаря Баптиста был весьма хорош; пел, как и всегда, очень верно. Г-жа Савицкая играла Ирму, молодую гречанку, слабо, но пела довольно хорошо. Г-жа Сабурова в роли Бертран прекрасно играла и пела. Г-жа Над. Репина прелестно играла Генриетту, молодую жену Рожера; пела приятно, верно и с душою. Справедливость требует сказать, что эта артистка есть украшение московской комической оперы и водевиля: с каждым представлением мы замечаем в ней успехи. Ссора с мужем была сыграна превосходно. Никого так часто не видит публика на сцене, как г-жу Репину, и никто так постоянно, как она, не доставляет зрителям удовольствия приятною, верною, старательною игрою. Мы говорим о водевилях и комических операх.

Дивертисман «Праздник колонистов» и пр., весьма подержанный, был выполнен довольно хорошо. Мы ничего не можем заметить в нем особенного, кроме того, что г. Цыганов своим неодушевленным пением малороссийских песен заставил нас вспомнить и пожалеть о г. Рязанцеве (он певал эти песни) даже как о певце, а у него вовсе не было голосу!.. Бог судья людям, лишившим нас его прелестного таланта.

Февраля 19.

ПОСЛЕДНИЙ ОТВЕТ
г-ну ПОД ФИРМОЮ «В. У.»

Г-н В. У., не имея никакой возможности опровергнуть сказанной и доказанной мною истины, обличившей его в двух выдумках, прибегает, как я и предсказал, во 2-м нумере «Телеграфа» к пустому набору слов, к уверткам, к новым выдумкам и к сплетням; отвечать на них совестно и не должно: они сами на себя опровержение.— Теперь заставляет меня писать благодарность. Во-первых, благодарю г-на под фирмою В. У. за исчисление и напоминание публике о моих переводах в стихах: трагедии Софокла, комедии Мольера и сатир Буало. Г-н В. У. их бранит и — делает свое дело. Ведь не хвалить же ему человека, который имел несчастие мимоходом задеть его раздражительное самолюбие; да и такая похвала повредила бы мне в общем мнении: хороши или дурны мои переводы, о том пусть судит публика и литераторы, а не г-н В. У. Во-вторых: благодарю за то, что мои суждения и сравнения гг. Мочалова и Каратыгина, изложенные в 2-м письме из Петербурга и напечатанные в 22-м нумере «Московского вестника», понравились г-ну В. У. и он, разбирая представление «Разбойников», повторил их, разумеется в других выражениях. Забавно, что мы так встретились, а еще забавнее, что он в той же статье называет меня (стало, и себя?) *кривотолком!*

В заключение г-н В. У. пишет: «Литеры В. У. в течение нескольких лет являлись под разными статьями в русских журналах, и посему они сделались уже *фирмою* литератора, их употребляющего» и пр.

На сие объявляю, что г-н под *фирмою* В. У. мне совершенно неизвестен, а по многим разысканиям и расспросам я удостоверился, что ни один *литератор* так не называется.

Февраля 26.

ОТВЕТ г-ну Н. ПОЛЕВОМУ НА ЕГО ВЫХОДКУ ВО 2-м НУМЕРЕ «МОСКОВСКОГО ТЕЛЕГРАФА»

Не желая иметь никаких сношений с г-м Полевым, я считаю, однако, за нужное ему заметить, что он действует сам против себя: к чему было откликнуться Михеичем? Читатели не ведали, и я даже не знал, точно ли сам издатель «Телеграфа» писал несправедливый и дерзкий отзыв о сочинениях кн. Шаховского? Теперь прошу не гневаться на меня, если это имя утвердится за ним: я был невинною причиной. Г-ну Полевому не нравится перевод «Филоктета» — я горжусь тем; г. Полевому не нравится перевод VIII сатиры Буало — это натурально; там есть следующие стихи:

Итак, трудись теперь, профессор мой почтенный,
Копти над книгами, и день и ночь согбенный;
Пролей на знания людские новый свет,
Пиши творения высокие, поэт, —
И жди, чтоб мелочей какой-нибудь издатель,
Любимцев публики бессовестный ласкатель,
Который разуметь язык недавно стал,
Подкупленным пером тебя везде марал!..
Конечно, для него довольно и презренья
и проч. [1]

---

[1] Сии стихи читаны в публичном заседании Общества любителей словесности при Московском университете и напечатаны в трудах оного.

Многие скажут, для чего я не следую смыслу последнего стиха? Вот мои причины: может быть, г. Полевой хороший человек и хороший гражданин; я охотно этому верю. Будь он дурной писатель — никогда моя рука не поднялась бы против него; но лицо, представляемое им в нашей литературе, не только смешно, но и вредно: как издатель журнала, который прежде имел достоинство, он рассевает свои кривые толки, несправедливые и пристрастные суждения; следовательно, обличать его в неправде и невежестве, унижать его литературное лицо — есть долг каждого любителя словесности. Надобно признаться, долг скучный и весьма неприятный.

Наконец, издатель «Московского телеграфа» в пример, как я перевожу Буало, приводит два последние стиха VIII сатиры. Стихи переведены весьма близко. Там их говорит осел: я не понимаю, для чего повторяет их г. Полевой?

Февраля 26.

«ИВАН ВЫЖИГИН»

*Нравственно-сатирический роман
Сочинение Фаддея Булгарина Четыре части.
СПБ. В типографии вдовы Плюшар. 1828.*

Tu seu doneris, seu quid donare velis qui,
Nolito ad versus tibi factos ducere plenum
Laetitiae. Clamabit enim: «Pulchre, bene, recte!»
Horat., de Art. Poët.[1]

Может быть, с требованиями настоящего века и не очень согласно ворошить костями старика Горация: но — что ж делать с глупой привычкой!.. По сю пору нам, простым людям, все еще кажется, что старые люди были не совсем без толку и что их советы могут еще пригождаться и для наших времен, несмотря на всеобщее *омладение*. И действительно!.. То, что покойный римский поэт говаривал некогда о стихах, сбывается ныне и над прозой. Едва только новый литературный гость наш, *Иван Иванович Выжигин*, восприял типографическое бытие и вступил в сию враждебную жизнь, как задушевный приятель и стародавний кум его почтеннейшего родигеля, разделяющий с ним пополам все труды и вы-

---

[1] Если кого ты дарил иль подарок кому обещаешь,
Слушать свои сочиненья его не зови: будь уверен,
Что он в радости сердца всегда закричит: «Бесподобно!»

Гораций, «Наука поэзии» (пер. М. Дмитриева).

годы литературной коммерции, встретил сие юное отроча с громогласными восклицаниями шумной радости и неукротимого восхищения [1]. Конечно, дело естественное и извинительное!.. Слишком жестоко было бы оспоривать у друзей — да и каких *друзей* еще! — сладчайшее утешение любоваться друг другом: и мы охотно верим на слово почтенному восприемнику новорожденного детища, что он *говорил* об нем с столь радушным восторгом — *поневоле* [2]; ибо — *свой своему*, как говаривали добрые старики наши, *поневоле брат!..* Но мы не разгадали еще пока — *волею* или *неволею* вздумалось ему завершить свое хвалебное песнословие... *предсказаниями* о будущей судьбе возлюбленного отрочати. Такой подвиг — во времена, столь скудные пророчествами и пророками, когда и самый Брюсов «Календарь» совершил уже, как говорят, предсказательный цикл свой, — делает, конечно, честь прозорливости нового нашего Задеки: но между тем нельзя, однакож, не заметить, что будущее представлялось ему сквозь ту же призму, как и настоящее. В силу составленного им *гороскопа* все те, кои дерзнули бы посмотреть на новорожденного пришельца не *с удовольствием и благодарностию*, провозглашены *педантами и безграмотными!..* [3] Оглушенные сею сугубою анафемою, мы доселе пребывали в благоговейном молчании и, может быть, не прервали б еще и теперь оного, если б литературному нашему небосклону не загрозило так скоро *вторичное* появление «Выжигина». Осудить себя быть безмолвными зрителями брожения сего неотвязного метеора — значило бы принять тяжкий грех на литературную совесть: запускать же дело далее и далее — значило бы подавать повод к давно уже повторяемому почтеннейшими *кумовьями* реку, что их потчуют *залежавшимися суждениями о литературе* [4]. Итак, нужда, кровная нужда заставляет нас теперь отважиться на... дерзость невиданная и неслыханная!.. на критический разбор «Ивана Выжигина»,

---

[1] «Северная пчела», № 37.

[2] Там же.

[3] Там же

[4] См. «Сын отечества» и «Северный архив», № 17, стр. 170.

коего шумная слава облетела уже *будуары* и *гостиные* и раздается теперь — *в передних* [1].

Но — как приняться нам за разбор сей?.. Уже самое слово *разбор* повевает чем-то старческим, школярным, не романическим. Эти анатомические трупоразъятия словесных произведений, составлявшие некогда славу Ролленей, Лагарпов и Мерзляковых, нагоняют в наши времена ужас и содрогание. Да и что удивительного!.. *разбирать* нельзя иначе как по известным *началам и правилам:* а сии *начала и правила* отзываются так горько школою и ферулою, что их одно воспоминание производит вертижи в матадорах, завладевших самовластно булеварами нашей литературы. Творец «Выжигина» вполне чувствовал это и посему заблаговременно позаботился разрядить искусным *отводом* грозную тучу *правил,* не совсем еще свеянную буйными вихрями своеволия с литературного нашего небосклона. «Школяры и педанты, — говорит он с добродушною наивностью, — школяры и педанты сколотили особые тесные рамочки и требуют, чтобы каждый писатель писал по их мерке. Отступить от этих правил почитается литературною ересью. Но откуда родились эти правила? Они составлены из сочинений авторов, которые писали, не зная других правил, кроме законов вкуса своего времени и своего народа, не зная других образцов, кроме природы. Другие времена, другие нравы» [2]. Сие последнее *возглашение,* по намерению автора, должно, кажется, сминать и задушать всякое покушение — приводить пущенное им детище пред судилище *правил.* Все эти *правила* выдуманы были *прежде:* ныне — *другие времена, другие нравы!..* И кому же должны быть лучше известны эти *другие* нравы, составляющие отличительный характер настоящих *других* времен — как не творцу «Выжигина», угощающему нас с таким радушием картинами русских *нравов,* списанными с оригинальною верностию и точстию... с картин Жуи и Фосса?

---

[1] Передняя-то, кажется, и есть настоящее его место. Тут ему и замаслиться; в первые же залетел он случайно. Примеч. переписчика. Transeat <Пусть минует>.

[2] «Иван Выжигин», ч. I, стр. XVII и XVIII.

Отдавая все должное уважение мастерству списывать и переписывать *нравы*, мы не можем, однакож, не позволить себе, со всею должною скромностью, усумниться: что за существенная и необходимая связь находится между сими *нравами* и литературой?.. В *другие времена* могут быть *другие нравы* и *норовы:* но — *законы прекрасного,* коим должна подчиняться изящная литература, суть непреходящи и вечны, как само *прекрасное.* Что же иное суть *правила,* как не освященные общим согласием и употреблением формулы, в коих выражаются сии *законы*? Всякому предоставляется полная воля покоряться или не покоряться сим вечным *законам:* ибо свобода есть неотъемлемое достояние души человеческой. Но никто не властен отнять у истинной критики право — изрекать праведный суд на своевольные уклонения от *законного* порядка и называть их собственным именем. Даже самые гаеры, подряжающиеся о праздниках тешить толпу, сокращают свое необузданное своеволие в *рамочки, сколоченные* приличием: как же можно представлять притязания на *бессудность* людям, скликающим громогласно на свои произведения внимание просвещенной публики и абонирующимся самонадеянно на уголки в литературе?.. Пусть бы автор «Выжигина» пустил на сцену свое творение как свободную игру досужной фантазии; пусть бы избрал ему девизом народную русскую пословицу: *не любо не слушай,* а говорить *не мешай!..* Тогда никто из литературных досмотрщиков не имел бы права и заикнуться о *правилах!* Но «Иван Иванович» является под именем *романа,* и еще — *нравственно-сатирического!..* Приняв это *школярное* название, он добровольно завербовал себя в ряд литературных произведений, подлежащих суровой критической дисциплине — под знамена *правил.* Итак, просим не прогневаться теперь, если мы — потребуем от него сообразности с именем, коим самому ему заблагорассудилось украситься: ибо иначе Лесажи, Фильдинги, Пиго-ле-Брени, Вальтер-Скотты и Фан-дер-Фельды стали бы жаловаться на наши литературные заставы, что они в их область пропускают *самозванцев!* Воля ваша, дорогой гость наш, «Иван Иванович»!.. а мы должны, скрепя сердце,

подвергнуть вас законному осмотру — по правилам!.. Tu l'as voulu, Georges Dandin! [1]

Что такое *роман?*.. Можно б было изложить здесь происхождение, начало и судьбу романов, от колыбели их до настоящего времени: можно б было показать, каким образом заслужили они свое странное имя, усвояемое ныне с толикою гордостью мятежниками литературного мира: можно б было развернуть пыльный свиток истории и из-под праха всепоедающего забвения воззывать по очереди литературные феномены, украшавшиеся сим именем от блаженной памяти короля Артуса и Сен-Реала до последних романов Купера и Горация Смита. Но на что пугать неслыханными звуками деликатный слух автора и поклонников «Выжигина»?.. Немудрено даже заслужить сим поносное имя *классиков*, сию страшную печать литературного отвержения — хотя предмет наших исследований был бы существенно и par excellence [2] *романтический*. Посему ограничимся просто кратким изложением понятия, которое должно иметь об романе как об изящном словесном произведении!

Роман, кажется, должен быть не что иное, как поэтическая панорама действительной человеческой жизни. И *эпопея* имеет предметом жизнь человеческую: но она рассматривает ее с высшей точки зрения, в ее идеальном величии, как откровение высшей небесной жизни. *Драма* всматривается прилежнее в земную сторону бытия человеческого и объемлет оное многостороннее; но ее подчиненность известным условиям и ограничениям *сценики* — несмотря на романтические льготы, ею ныне добытые — все еще содержит ее в тесных границах и не позволяет ей обозревать и представлять жизнь человеческую во всех ее многоразличных направлениях. Это предоставляется роману, соединяющему в себе с всесторонностью драмы — многообъемлющую вместимость эпопеи. Его существенная задача — раскрывать дух и характер человечества в известной эпохе, под известным поясом неба, на известной степени образования — в полной и цельной картине. Но подобно как в оптической панораме много-

---

[1] Ты этого хотел, Жорж Данден! *(франц.)*
[2] По преимуществу *(франц.)*.

численность и разнообразие представляемых предметов сводится под один пункт зрения, на отражающей поверхности зеркала, в поэтической панораме романа многочисленные и разнообразные явления вещественной человеческой жизни должны сосредоточиваться в единстве жизни героя, назначаемого быть главным действующим лицом представляемого зрелища. Этот герой должен быть душою романа. К нему должны возводиться все частные явления и события, составляющие историческую целость романа. В его лице должна быть сосредоточена вся занимательность, и ни одно происшествие, сколь бы оно само по себе ни было значительно и интересно, не должно быть допускаемо в состав романа, если оно не цепляется, более или менее посредственно, за сие главное колесо всего машинизма. Само собою разумеется, что герой сей, как главнейший представитель духа времени и народа, изображаемого в романе, должен иметь особенную характеристическую физиономию. Да и все прочие лица, составляющие планетную его систему, должны также быть не бесцветными восковыми куклами, а живыми актерами, разыгрывающими роли более или менее знаменательные, в коих главный идеал романа — избранный момент жизни человеческой — отсвечивался бы всеми важнейшими своими сторонами. Таков ли Иван Иванович Выжигин, с братиею?.. Посмотрим!..

Благодаря обязательной предупредительности автора, нам не нужно теперь прибегать к длинным химическим процессам, чтобы взогнать и уловить в ясном понятии характер самого Ивана Ивановича, долженствующий быть Археем всей органической жизни романа. «Мой Выжигин, — говорит он сам со всею искренностью прямодушия, — есть существо доброе от природы, но слабое в минуты заблуждения, подвластное обстоятельствам, одним словом: человек, каких мы видим в свете много и часто» [1].

Итак, вот главный герой романа!.. Сказать правду — что последнее *однословие*, состоящее по верному счету из *девяти* отдельных слов, как-то слишком обще и

[1] «Иван Выжигин», ч. I, стр. XX.

неопределенно. «Человек, каких мы видим в свете много и часто!..» Но *свет* божий так велик и люден, что мы всякой всячины *видим* в нем — *много и часто!* Где ж бы надобно было нам отыскивать Выжигина? Без сомнения, между *существами добрыми от природы, но слабыми в минуты заблуждения, подвластными обстоятельствам!..* A la bonne heure!..[1] Итак, характеристическую черту физиономии Выжигина составляет слабость душевная, раболепная покорность обстоятельствам, одним словом — *бесхарактерность!* Поздравляем. Это по крайней мере делает честь изобретательности автора, умевшего развить в *четырех* порядочных книжках *бесхарактерный характер!* Но зато, правда, какое и развитие? В первой книжке изображается довольно подробно постепенное преобразование нашего героя из Ваньки в Ваню: его характер, следовательно, здесь только что распукивается. Книжка вторая заводит его, под именем Ивана, в Киргиз-Кайсацкие степи, вероятно для того, чтобы *вырастить*, как говорится, *в вольном лесу* — под открытым небом, на просторе: наш Иван и здесь опять — все еще только зреет, и вся деятельная его жизнь, за исключением наезднических подвигов, достойных сильного и храброго Францыля Венециана, ограничивается терпеливым выслушанием длинных историй Арсалан-Султана и Миловидина[2]. Уже при конце третьей книжки герой наш жалуется в Ивана Ивановича: и здесь-то начинается собственно жизнь его! Итак, первые без четверти три книжки романа были не больше как — *предисловие;* из них не узнаем даже и того, что наш герой — *бесхарактерен.* Правда, ему некогда и негде еще было и развернуться: ибо в кухне Гологордовского, в корчме Мовши и в пансионе г. Лебриллиана было и слишком рано и слишком тесно; а в Киргиз-Кайсацких степях слишком просторно. Теперь, наконец, пришло время: Иван Иванович вступает в свет, начинает жить сам собой. Тут-то посмотреть! Тут-то полюбоваться!.. И что же?.. Ничего не бывало! Автор так ревнив к читателям, что едва изредка дозволяет им взглядывать на

---

[1] В добрый час! *(франц.)*
[2] «Иван Выжигин», ч. II, гл. IV, VI и VII.

свое любимое детище, прячет его беспрестанно в тени и между тем забавляет терпеливое их ожидание рассказами, интересными, без сомнения, — для Выжигина. Зачитавшиеся читатели спрашивают: «А что ж Выжигин? что ж сам-то Выжигин?..» И наш Выжигин — вдруг является обладателем миллиона, женится на прекрасненькой девочке, отправляется в Крым на житье — и раскланивается препокойно с сочинителями? Извольте-ка прокатиться туда, если хотите покороче с ним ознакомиться: сам он нас и знать не хочет!.. Таков главный герой романа! Ему, однако, не стыдно пред прочими лицами, составляющими людство романа: это также коллекция силуэтов!.. Плутяговичи, Вороватины, Ножовы, Глупишкины, Ивановы et les autres gens de cet acabit[1] — суть отвлеченные понятия в лицах, или, лучше, имена прилагательные, возведенные на степень существительных. Ни души, ни жизни! Сия мертвенная безжизненность выкупается, однако, их многочисленностью, или, лучше, бесчисленностью: роман кишит ими, подобно как земля — плещущимися животными после первого грому; сказать правду — есть между ними и такие, в коих примечаются признаки индивидуального бытия и которые отличаются от прочих если не значительностию физиономии, в коей везде ощутительный недостаток, то по крайней мере — избытком говорливости, заменяющим иногда самого главного героя. Таков Миловидин, заглушающий беспрестанно Выжигина рассказами своих похождений и хозяйничающий вместе с ним, можно сказать, пополам во всем романе. Такова почтенная родительница Выжигина Аделаида Петровна, напутствующая любезного сынка при вступлении в бурный свет слишком уже чистосердечною для матери исповедью своих прошлых шашней[2]. Таков Арсалан-Султан, возвеличенный громким именем киргизского философа за добродушное предпочтение кумыса петербургским ликерам[3]. Эти достопочтенные персонажи состязаются с главным героем романа в охоте *говорить* и в неохоте *действовать* на авансцене:

---

[1] И прочие люди этого рода (*франц.*).
[2] «Иван Выжигин», ч. I, гл. V и VI.
[3] Там же, ч. II и III.

но зато они деятельны... очень даже деятельны на свой пай — за кулисами. Между тем Иван Иванович есть существо совершенно *бездельное*. Не имея в характере своем никакой вещественной тяжести, он не производит никакого деятельного давления на исторический ход романа. Во всем, что ни делается там, не виноват он ни душою, ни телом: все производится без его участия, а часто даже совсем и без ведома; он не только не заводит собой машинизма романа,—его самого везде водят за нос другие: Вороватины, Миловидины, Виртутины. Самыми блистательнейшими минутами своей жизни он одолжен не себе, а отставному солдату Никите Петрову [1]. Как же теперь сие паутинное существо, движимое туда и сюда каждым легким дуновением обстоятельств, могло приводить в движение целую массу романа?.. Таково и движение?.. Этот роман не движется, а переваливается с ноги на ногу так медленно, так сонливо, что добрые читатели сами неприметно убаюкиваются и — сладко засыпают. Так по крайней мере доводилось нам слыхать от пробудившихся. Коротко сказать — это совсем не история жизни, а собрание различных сказочек и анекдотцев во вкусе покойного «Пересмешника». Иван Иванович Выжигин играет здесь роль *словоохотного рассказчика*, наслаждающегося удовольствием вспомнить виденные и слышанные им там и сям вещи насчет безропотной зевоты терпеливых слушателей. И мы советовали бы автору, если еще заглавный листок не тиснут, наименовать, при *втором* издании, произведение свое не просто: «Иван Выжигин», а гораздо приличнее и точнее: «Рассказы Ивана Выжигина о всякой всячине». Это бы предохранило его навсегда от назойливых притязаний критики, неотвязно требующей *порядка*, *связи* и *единства* от всякого произведения, восхищающего литературное название. Тогда б не удивились мы нимало тому, что рассказываемые им происшествия сменяют друг друга, как китайские тени, без всякой внутренней *связи* между собою, что их можно по произволу переставлять сзади наперед и спереди назад, не ослабляя и не увеличивая тем занимательности рассказа; что их

[1] «Иван Выжигин», ч. IV, гл. VI.

можно выбирать оттоле поодиночке, не нарушая нисколько целости романа, и что стоит только немножко тряхнуть его, чтобы столкнуть Выжигина с занимаемого им поста и отдать главную роль — Миловидину. Мы бы стали любоваться им тогда не как поэтическою *панорамою*, а как литературным *калейдоскопом!* Вольно ж было автору называться добровольно — на излишние привязки! Наименовав произведение свое романом, он дал право взыскивать с него *единство* как дань, должную критике по уставам изящества: а в нем-то оказывается теперь — *недоимка!* — Что ж делать?.. На незаконность требования жаловаться невозможно!.. Tu l'as voulu, Georges Dandin!..

Может статься, однако, что «Иван Выжигин» ссилит доплатить эту недоимку, если уже не *единством состава*, то по крайней мере — *единством цели*. Из уважения к автору мы и на то соглашаемся. В самом деле — произведение его носит имя *романа... нравственно-сатирического!..* Это будто дает подозревать, что автор «Выжигина», вопреки ожесточению своему против обветшалых теорий классицизма, сделал немаловажный *антиромантический* промах — вздумал писать *с целию;* преступление извинительное в людях, коим классицизм и романтизм знакомы только по имени!.. Подозрение наше превращается в сладкую уверенность, когда мы читаем следующие слова самого автора: «Любить отечество, значит желать ему блага. Желать ему блага есть то же, что желать искоренения злоупотреблений, предрассудков и дурных обычаев и водворения добрых нравов и просвещения. Бывает много случаев, где законы не могут иметь влияния на нравы. Благонамеренная сатира споспешествует усовершению нравственности, представляя пороки и странности в их настоящем виде и указывая в своем волшебном зеркале, чего должно избегать и чему следовать. Вот с какою целию сочинен роман «Иван Выжигин» [1].

Итак, Выжигин, по намерению самого автора, должен быть — *волшебным зеркалом* людских *пороков и странностей!..* Затея недурная! Роман должен иметь *цель* —

[1] «Иван Выжигин», ч. I, стр. VII и VIII.

непременно! Ознакомливая человека с самим собою, он обязывается воспитывать его для счастия земной жизни. И сие может быть производимо или прямым путем *назидания,* или косвенной стезей *обличения.* Автор «Выжигина» избрал для себя последнюю дорогу: но — каково он плелся по ней?.. Ему хотелось представить *пороки и странности в настоящем их виде:* но ведь *пороков и странностей* на белом свете такая тьма, что для *представления* их не довольно будет не только *четырех* маленьких *книжек в осьмушку* — *четырехсот* огромных *волюмов* in folio! [1]

Надлежало бы, следовательно, избрать для себя один известный пункт и очертить вокруг себя определенный круг зрения, из которого выбиваться б уже не должно. Это сообщило б произведению по крайней мере призрак *наружной целости,* коим, за недостатком *внутреннего единства,* можно б было — хотя и со грехом пополам — удовольствоваться. Коротко сказать: надлежало бы эти вырванные оттуда и отсюда картинки, из которых состеган «Выжигин» вставить по крайней мере в *одни* рамки и осветить *одним* светом. Это небольшое стеснение не могло бы прогневить самых отчаянных *романтиков,* поелику оно было бы данию необходимости, а не просто только уважению к *правилам!* Не тут-то было!.. Наш Выжигин есть в полном смысле — l'enfant gâté [2] романтической свободы. Ему тяжело было подчинить себя даже условиям — *места и времени...* условиям, от которых душа человеческая не изъемлется вполне — и даже в состоянии *сомнамбулизма.* Это и не удивительно!.. Схоластические вопросы: *где и когда,* столько уважаемые в старинных *классических* теориях, нагоняют тошноту на истинно *романтическое* воображение. На что привязывать себя к одному *месту?* Весь белый свет — не слишком просторен для *ширяющейся* фантазии! Иной *безграмотный,* положившись легковерно на название романа и посулы автора, мог бы подумать, что «Иван Выжигин» есть не более, как сатирическое зеркало наших *отечественных* нравов, и тем подал бы повод иному

---

[1] Большого формата, в лист, согнутый пополам *(лат.).*
[2] Избалованное дитя *(франц.).*

добродушному *педанту* воскликнуть в сердечной радости: «Вот это хорошо! по крайней мере — *единство места!..* Хоть это — *по правилам*!» Не беспокойтесь однако! Те, которые имели мужество дочитать со вниманием весь роман, могут уверить по совести, что этот поклеп — сущая напраслина. «Иван Выжигин» не стесняется пределами Российской империи, хотя она занимает собой и десятую часть земного шара. Ему стоило одного прыжка — перескочить чрез Уральскую линию, в Киргиз-Кайсацкие степи, для того, чтобы иметь удовольствие пересказать нам по возвращении, каким образом приготовляют там *тилегус* и играют на *кобызе* [1]. Но этого еще не довольно! Он передает нам не только то, что сам *видел,* но и что *слышал* от приятеля своего Миловидина, которого по справедливости можно было бы назвать *земляным Куком.* Нашатавшись по Европе и Азии, сей последний поделился всеми собранными им наблюдениями с задушевным своим приятелем: а Иван Иванович, по доброте своей, все нам да нам — в уши!.. Таким образом, нам приводится слушать — много раз уже читанные и перечитанные — рассказы о венецианских cavalieri serventi [2], о цареградских перотах, о персиянах и бухарцах, украшенные по местам любопытными анекдотцами из времен халифа Аарона-ад-Рашида и визиря Муссафера! [3] И это все имеет такое *близкое* отношение к цели романа — содействовать благу *отечества* чрез обличение *отечественных* злоупотреблений, предрассудков и дурных обычаев! На беду случись Выжигину получить довольно длинное письмо из Парижа от Бруни: как не сообщить его читателям!.. И вот мы осуждены еще зевать, слушая тертое и перетертое описание парижской жизни [4]. Право, можно подумать, что автор нарочно раздвигает сцену своего романа, чтобы после сказать с внутренним самодовольствием: «Мы-де не классики! у нас-де *единство места* — нипочем!».

---

[1] «Иван Выжигин», ч. II, стр. III.

[2] Дамских угодниках *(итал.)*.

[3] «Иван Выжигин», ч. II, гл. VI и VII.

[4] Там же, ч. IV, гл. VI.

Столько ж мало, или еще менее, оказано уважения бедному *единству времени*. По хронологии самого автора прошло только *десять лет* [1] после того, как Иван Иванович сошел со сцены, на которой двигался. Стало быть, все, что он ни видел, должно было случиться в прошедшем *десятилетии* XIX века. Мы не претендуем уже нисколько на то, что паутинная ткань похождений и рассказов Выжигина не прикреплена ни к одному действительно *историческому* происшествию той эпохи, в коей она распускается. Это обыкновенная уловка Вальтер-Скоттов, Куперов, Горациев, Смитов и Манзониев: им охота была потыкать вымыслами *историческую* основу якобы для сообщения большей достоверности и занимательности своим романам. Наш автор *оригинален* по крайней мере тем, что не следует *новой* дороге, проложенной и утоптанной великими романистами нашего века: при всей своей *новости* она, верно, уже для него *обветшала*, и он предпочел возобновить опять *старую*, освященную стопами покойников Эминых и издателей английского милорда Георга, храброго Полициона и других подобных антиков, наполняющих книжные магазины толкучего рынка. Иван Выжигин не цепляется ни одним волоском за мир действительный: зато редко можно положиться и на его рассказы о мире действительном. Прошедшее *десятилетие* — не за горами: оно у всех нас — *на памяти*. Была ли, спрашивается, тогда Москва точно такою, какой является она в *панораме*, смастеренной Миловидиным?.. [2] Не есть ли это лучше — говоря собственными словами панорамщика — *живая летопись последнего полувека, живая ссылка (citation) в современной Российской истории?..* [3] Где у нас этот крикливый *ареопаг*, имеющий *свои заседания в Английском клубе?..* Мы захаживали иногда туда и не могли досыта налюбоваться глубоким безмолвием, царствующим обыкновенно там за карточными столами. С чего

---

[1] «Иван Выжигин», ч. IV, стр. 373.
[2] Там же, ч. II, гл. VI.
[3] Там же, ч. II, гл. VI, стр. 161.

вздумалось взять нашему краснобаю, что будто *чинопочитание соблюдается там с такою точно строгостью, как в хорошем полку под ружьем?*[1] Нам доводилось, напротив, нередко слыхать сетования и жалобы многих любительниц порядка и чинности, что Английский клуб развращает московское рыцарство, доставляя кавалерам опасную возможность наслаждаться прелестями общества, не вытягиваясь в тонкую струну пред старшими, с небритою бородою, в длиннополом сюртуке, не выпуская изо рта трубки. И мало ль что еще?..

Что ж подумать теперь об этой диковинной *панораме московского общества?* Это или сущая *небылица* в лицах, или выписка из незапамятных времен прошедшего века! Так-то безжалостно управляется автор «Выжигина» с единством времени!

Остается теперь последняя доска для терпящей кораблекрушение критики — единство взгляда. И, увы! Она также хила и ненадежна. Наш роман, по названию своему, должен иметь рельеф — *сатирический*. Но сатира, предполагая всегда одну и ту же *цель* — остроумное осмеяние недостатков человеческой воли, — может принимать различные *тоны*. Иногда она просто подшучивает над заблуждениями людскими, представляя их в уродливых и смешных карикатурах: это — тон сатирического *гротеска!* Иногда растворяет свои насмешки солию едкости, увлекаясь намерением не просто позубоскалить, а острекнуть и уязвить вместе человеческие дурачества: это — тон сатирической *пародии*! Иногда же отравляет сию едкость желчию презрения, изображая заблуждения людей более в жалком, чем в смешном их безобразии: это тон сатирического *юмора!*

Мудрено угадать, в каком из этих *тонов* аранжирован «Выжигин». Это такое смешение, что — господи упаси!.. Инде он просто хочет смешить, инде — силится уколоть, инде — прибегает к тошнотворным средствам, а инде — ерошит волосы и выгоняет крупный холодный пот, действуя уже не насмешкою и охулою, а со всего плеча — ужасом... Изображение Ножова в остроге[2]

---

[1] «Иван Выжигин», ч. II, гл. VI, стр. 161.
[2] Там же, ч. III, гл. II.

сделало бы честь самой отчаянной ярмарочной трагедии: да и лунатическое бешенство Вороватина годилось бы в самую лихую ультраромантическую поэму! [1] А *сатире* не следовало бы так забываться! Она должна выставлять пороки на посмешище, а не — на лобное место!.. Это, конечно, отзывается *правилами:* но что ж делать?.. зачем принимать схоластическое имя *сатиры?*.. Tu l'as voulu, Georges Dandin!

Итак «Выжигин» всем *единством*, которое он имеет, обязан только *...переплетчику*. Что ж это за *роман?* Что за изящное словесное произведение?.. *Единство* составляет основу изящества: это есть, говоря языком педантов, conditio, sine qua non! [2] Должно ли нам продолжать теперь разбор наш? Должно ль еще волочить бедного «Ивана Ивановича» по мытарствам критики, когда он не подошел под первую меру литературного изящества?.. Станем ли еще доискиваться в нем *естественности, оригинальности*, народности и прочих подобных безделок?..

Нам приходит теперь на память один анекдот, случившийся — не помним где-то, когда-то. Один владетельный князь вздумал посетить одну давно забытую крепость своих владений. Прибыв туда, он изумился, не слыша ни одного приветственного звука пушек с развалившихся башен; требует к себе коменданта и грозно спрашивает о причинах столь непростительного безмолвия. «Государь, — отвечает прямодушный, поседевший в управлении крепостью <комендант>, — я имею на то сто важнейших причин!» — «Какие?» — перервал разгневанный принц. «Первое — в арсенале нет ни зерна пороху». — «Довольно! — вскричал споткнувшийся князь, — о последних *девяносто девяти* мне некогда слушать!»

Не утомим ли и мы наших читателей, если займемся теперь ненужным исчислением остальных *девяноста девяти* или, может быть, еще более — прорех «Выжигина»?.. И за это одно нам, верно, достанется не на шутку; но мы утешаемся — чистотою и *бескорыстием*

---

[1] «Иван Выжигин», ч. II, гл. II.
[2] Необходимое условие *(лат.)*.

наших намерений. Правда для нас святое дело: и мы, сохраняя полное уважение к литературным заслугам автора «Выжигина», заключаем теперь наш разбор так, как и начали, мудрым изречением того же Горация:

Vir bonus et prudens...
. . . .
Fiet Aristarchus; nec dicet: «Cur ego amicum
Offendam in nugis?» Hae nugae seria ducent
In mala derisum semel exceptumque sinistre.[1]

---

[1] Честный и сведущий муж...
. . . .
Как прямой Аристарх, он не скажет: «Зачем же мне друга
Этой безделицей так огорчать»? А безделицы эти
После к насмешкам ведут, к неприятностям более важным.

«Наука поэзии» (перев. М. Дмитриева).

<ОБ ИГРЕ АКТЕРА БРЯНСКОГО>

Мы видели г. Брянского в некоторых пиесах и считаем за долг сказать свое мнение об игре его. Первым дебютом этого почтенного артиста, в нынешний приезд в Москву, была роль Кадера в известном, весьма остроумном водевиле князя Шаховского «Три дела, или Евфратский пеликан». С тою же искренностию, с которою некогда в Отелло и Езопе отдавали мы преимущество артистам, занимающим сии роли на московской сцене, скажем, что в роли Кадера г. Брянский превзошел г. Щепкина. Вся роль разобрана была с тонкостию и выполнена с искусством; умная и верная игра его доставила истинное удовольствие и самым взыскательным зрителям. Мы заметили, однако, две ошибки, из которых последняя могла произойти от случайности сценической. Во втором действии г. Брянский, говоря о желании угостить детей своего друга, коим некогда был сам угощаем, придал вовсе ненужную силу и чувствительность словам простым, неважным: их надобно было сказать мимоходом; а в третьем действии, когда участие в повести, рассказываемой Кадером, изобличает настоящего вора, слова: «*Вор, отдай же украденные алмазы...*» были сказаны слабо, не могли смутить преступника и исторгнуть у него признания в вине. Должно было: искусно ослабя окончание предыдущей речи, поразить виновного решительным переходом в совершенную уверенность или сказать вышеприведенные слова с боль-

шею силою, нежели они были сказаны г. Брянским. Уступая ему преимущество в целом, у г. Щепкина были, однако, места, в которых его живая чувствительность на сцене производила впечатление сильнейшее на зрителей. Два года не был в Москве г. Брянский, и мы с удовольствием заметили, что голос его сделался мягче, гибче и приятнее: верхние тоны прежде у него были дики и несвободны. Вот как истинные артисты и в зрелых летах не перестают трудиться, обработывая свои средства, — пример, достойный подражания!

Нам не случилось видеть г. Брянского в последнее представление «Мизантропа»; по мнению некоторых любителей театра, он всю роль играл ровно, благородно и верно своей методе, но с ощутительным недостатком вспыльчивости и опрометчивой чувствительности. Мы видели его прежде в этой роле и уверены в справедливости сего мнения. Скажем мимоходом, предоставляя себе при случае поговорить об этом пространнее, что роль Мизантропа (переложение сей пиесы *на русские нравы* — есть ошибка), по нашему мнению, играется на сценах обеих столиц даже французскими актерами — неверно. Мольер, вероятно, хотел представить не степенного, важного, благоприличного и *пожилого* человека, но весьма *молодого*, несветского, вспыльчивого до бешенства, опрометчивого и чувствительного до глупости юношу. Он во всей пиесе не мизантроп, а филантроп, и человеконенавистником делается уже после отказа Солимены. Это следствие обстоятельств и поступков его в продолжение пяти действий, а не причина их. Так по крайней мере нам кажется.

С большим любопытством и вниманием смотрели мы на г. Брянского в роли Франца Моора в трагедии «Разбойники». Мы ожидали отличного исполнения и откровенно признаемся — ожидание наше не вполне удовлетворилось. Впрочем, мудрено винить и артиста: роль Франца ужасно обрезана и совершенно искажена; еще прибавим, что судим г. Брянского, как отличного актера, со всевозможною строгостию. Вот какие были недостатки, по нашему мнению: Франц Моор не холодный злодей, а неистовый; бешенство страстей довело его до злодейств неслыханных: зависть к брату,

чувственная любовь к Амалии; яркими чертами горит на нем его характер; его ненавидят все; он никого не обманывает; даже и отца, ослабевшего умом от старости, он не убеждает, а принуждает; вот почему в некоторых сценах первых двух действий игра г. Брянского нам показалась не вполне выражающею характер Франца; она была ровна, спокойна, даже благородна; обманы, убеждения, клеветы его — не отвратительны, не возмущали сердца зрителей; не видно было волнения злодея. — Средину и конец последнего действия сыграл г. Брянский отлично хорошо, а началом мы были также не совсем довольны: не робость простачка, а ужас злодея должно представить. Сон был рассказан холодно, даже неискусно: без крика, шепотом можно рассказать его, но живостию рассказа потрясти сердца зрителей. С сожалением должно сказать, что г. Мочалов роль Карла Моора в это представление играл нехорошо, а, к большему сожалению, именно погрешностями исторгал рукоплескания у некоторых зрителей. Первое действие было играно с излишним огнем и разными выходками для райка; второе — лучше, в третьем и четвертом он уже не находил в себе чувства и огня и заменял их неуместным криком, усиливая и слабые места; *«мой отец...»* — слова, которые он говаривал неподражаемо, были не слышны, а *«приведите мне его живого»* — сказаны карикатурно, с троекратным повторением последнего слова.

Роль Миллера в трагедии «Коварство и любовь» г. Брянский выполнил с удивительным совершенством. Как разнообразен репертуар этого почтенного артиста и как это выгодно для театра!

Наконец, видели мы г. Брянского и в «Уроке старикам», комедии де Лавиня: он играл Данвиля, а г. Щепкин — Бонара. Это был для нас уже последний опыт искусства и дарования г. Брянского. Мы внимательно наблюдали игру и решительно скажем, что ему не должно играть характеров пылких, исполненных живой чувствительности. У него нет наружного, сценического огня, и в чувствительных явлениях мимика лица неприятна; он впадает в чтение, в декламацию во всех сильных местах; когда заговорит скоро — орган его сам

себя заглушает и произношение становится нечистым. Он все делал, что мог и что должно опытному артисту, но все было холодно и потому не производило впечатления. Г-н Щепкин умел весьма искусно сыграть Бонара и доставил удовольствие скучавшим зрителям, хотя нам кажется игра его не совсем верною: Бонар насмешник добродушный, грубоватый в обращении. Впрочем, средства г. Щепкина едва ли позволяют ему играть эту роль иначе. Но кто позволил ему трепать себя по русскому брюшку? Г-жа Синецкая очень хорошо выполнила роль г-жи Данвиль. Г-н Афанасьев, в котором весьма приметно истинное дарование и даже искусство, играл Валентина однообразно, принужденно и карикатурно. Слабая походка никуда не годилась. Советуем ему держаться простоты, естественности и не внимать ни смеху, ни хлопанью райка.

Водевиль «Молод и стар» весьма забавен, а по разговорному языку едва ли не лучший у нас. Некоторые куплеты очень остроумны, некоторые — натянуты. Водевиль разыгран был превосходно. Г-н Живокини очень хорош, кроме походки: зачем фарсы при такой прекрасной игре? Г-ну Щепкину мы бы советовали не торопиться в пении, лучше говорить последний куплет, не слишком живо выражать некоторые чувства, не потирать руками и проч... и без того понятно все и забавно.

Мая 14.

«ОБРИЕВА СОБАКА»

Мелодрама в трех действиях

«ДИПЛОМАТ»

Комедия-водевиль в двух действиях,
перевод с французского гг. Шевырева и Павлова

«НОВЫЙ ПАРИС»

Опера-водевиль в одном действии,
переделан. с французского Н. И. Хмельницким,
новая музыка гг. Маурера и Верстовского

«СЕМИК»

Разнохарактерный дивертисман и пр. и пр.
Бенефис г-жи Над. Репиной

21 июня.

Несмотря на лето и пустоту Москвы, Большой Петровский театр почти был полон. Публика убедительно доказала, что уважает талант и ценит всегдашнее усердие бенефициантки, в первый раз еще получившей бенефис; без этой причины ни «Собака», ни два новые водевиля, ни новая музыка не могли бы собрать лучшую публику в то время, когда она решительно в русский театр не ездит. Г-жа Репина была встречена громкими и продолжительными рукоплесканиями, а после водевиля «Новый Парис» вызвана *одна*, единственно в знак

лестного благоволения публики, хотя гг. Щепкин и Сабуров, по достоинству ролей своих, играли гораздо лучше ее. Выбор пьес, кроме первой, которая попала нечаянно и заменила комедию «Дворянские выборы» [1], делает честь бенефициантке; ее бенефис был прекрасен без всякого содействия театральных машин. Она просто торжествовала благосклонное внимание признательной московской публики.

Ни слова не скажем о «Собаке»: что говорить о подобных пиесах; одно только появление, в роли Немого, нашей прелестной танцовщицы г-жи Гюллень заслуживает внимание.

«Дипломат», комедия-водевиль, известный давно остроумием и веселостию, который на сцене многие давно желали видеть, заранее обещая ему блестящие успехи, испытал странную участь и непрочность надежд человеческих! Переведенный уже целый год, ходивший по Москве в многочисленных списках, игранный на благородных театрах, осыпаемый похвалами за интригу и острые куплеты — был принят на публичной сцене довольно холодно; даже не последовало обыкновенного знака одобрения, часто незаслуженного и весьма несправедливого, — вызова переводчиков. По нашему мнению, вот решение этой задачи: 1) Большая часть публики не слыхала водевиля, следственно не поняла и скучала. Известно, что наш Большой театр глух; к тому же в этой пиесе нельзя было кричать или вытягивать слова карикатурно, ибо действующие лица в нем принадлежат к лучшему обществу, а потому этот водевиль был слышен менее всех, игранных когда-либо на Большом Петровском театре. 2) Публика наша, как и везде, делится на два разряда, из которых высший (а пиеса именно написана для него), к сожалению, не хлопает и не вызывает. 3) Артисты наши делали все, что могли [2]; но скажем откровенно, не опасаясь оскорбить их самолюбия и отдавая всю справедливость их стараниям, что

---

[1] Представление этой комедии по особенным обстоятельствам отложено на некоторое время.

[2] Кроме, однако, г. Бантышева, который, вероятно, мог бы не говорить *теперича* и держать себя не столь дурно.

и в этот раз мы можем похвалить в них — одно усердие. Актеры, которые обыкновенный водевиль разыгрывают превосходно, легко могут в такой пиесе, где действующие лица — владетельные герцоги, посланники, князья и графы, играть дурно, тем более, что такого рода пиес они никогда не играют. Женщины были лучше мужчин, но г. Сабуров несравненно лучше всех: ловок и натурален; более живости — и мы назвали бы его игру прекрасною. Искренно желаем, чтоб такие пиесы игрались часто: это было бы школою для наших артистов, разумеется любящих свое искусство. 4) По замечанию многих зрителей, герцог и его племянник были одеты неприлично, а музыка к некоторым куплетам (не слишком ли их много?) прибрана не весьма удачно. Вот причины, по которым прекрасный водевиль, с прекрасными куплетами, был принят несколько холодно; удивительно, однако, как многие острые куплеты, блестящие не пошлыми насмешками над судьями, докторами и мужьями, но мыслями новыми, не обратили на себя внимания публики? Как бы не похлопать, например, следующим стихам:

Шавиньи

Война — вот наше наслажденье!
В своем мы деле мастера;
И наша шпага на сраженье
Острее колется пера.
И вы ведь так же много бьетесь,
У вас все та же кутерьма;
Но только вы с умом деретесь,
А мы деремся без ума.

Он же

Поверьте мне, почтенный граф,
Что я политикой не занят;
Меня от милых мне забав
Ее дела не переманят.
Я с ней век сладить не умел,
И мне ль она не надоела?
Служил у иностранных дел —
И вечно странствовал без дела.

Герцог

Он вас всех слушается боле,
И ваш совет ему так свят.

Шавиньи

Все, что в его светлейшей воле,
Ему советовать я рад.
Мы то укажем, что прикажут;
Властители, в делах своих,
Всегда нам одобренье скажут,
Когда мы скажем что по них.

Шавиньи

Я какой судьбою чудной
Залетел так высоко:
Хоть попасть в министры трудно,
Но министром быть легко.
Я здесь первый и последний
Выслужился без хлопот:
И не терся я в передней,
Чтобы двигаться вперед.

Мы не выписываем самых лучших куплетов потому, что они были уже напечатаны в «Атенее».

Опера-водевиль «Новый Парис», довольно забавный фарс, написанный легким, разговорным языком, с гладенькими куплетами, был разыгран очень хорошо. Вот тут наши артисты стояли на своих местах. Г-н Сабуров отлично играл нового Париса.

В «Семике» случилась другая странность: прелестные русские песни г. Верстовского не удостоились ни малейшего одобрения! Что сказать в оправдание? Их так проворно спел г. Бантышев, что зрители не успели почувствовать их достоинства; иные ждали этих песен до конца дивертисмана, а к тому же — было слишком поздно.

26 июня.

Сейчас мы, к удивлению нашему, прочли в газетах, что «Дипломат» и «Парис» повторяются в пятницу, 28 июня, опять на Большом театре! Чтобы опять их не слыхали? Кажется, комедии и водевили всегда повторяются на Малом театре, по крайнем мере некоторых сочинителей и переводчиков?..

«ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ, или РУССКИЕ В 1612 ГОДУ»

Исторический роман в трех частях
Сочинение М. Н. Загоскина. Ч. I, с. 236. Ч. II, с. 166. Ч. III, с. 263.
Москва. В тип. Н. Степанова, 1829

Радуясь прекрасному явлению в литературе нашей, как общему добру, мы с большим удовольствием извещаем читателей, что, наконец, словесность наша обогатилась *первым историческим романом,* первым творением в этом роде, которое имеет народную физиономию: характеры, обычаи, нравы, костюм, язык. Не один раз прочитав его со вниманием и всегда с наслаждением, мы считаем за долг сказать свое мнение откровенно и беспристрастно, подкрепляя по возможности доказательствами похвалы свои и осуждения, разумеется кроме тех случаев, где и то и другое будет основано на чувстве чисто эстетическом — вкусе: он у всякого свой. Если б романы Вальтер-Скотта были написаны на русском языке, и тогда бы «Юрий Милославский» сохранил свое неотъемлемое достоинство. Это небывалое явление на горизонте нашей словесности: романы Нарежного хотя показывают некоторое дарованье в сочинителе, но выполнены слишком дурно во всех отношениях; в других новых наших романах нет ничего национального, русского.

Эпоха или время действия выбрано самое счастливое; исторические происшествия и лица вставлены в раму интриги с искусством, освещены светом истории прекрасно и верно.

Москва во власти поляков присягнула королевичу Владиславу. Страх, своекорыстные виды и неимение других средств к спасению государства, раздираемого безначалием, междоусобием и развращением нравов вследствие тиранского самовластия Иоанна, слабоумия Федора и преступных путей к престолу Годунова, заставили всех прибегнуть к сему несчастному поступку. Герой романа, Юрий, сын умершего боярина Дмитрия Милославского, бывшего воеводой в Нижнем-Новгороде, известного своею ненавистью к ляхам, присягнул вместе с прочими Владиславу. Юный, прекрасный, добродетельный, набожный и страстно любящий свое отечество, Юрий увлекся примером и обстоятельствами. Личное уважение и даже приязнь соединяет его с Гонсевским, начальником польских войск, занимающих Москву. Слух, что низовцы, удаленные от ужасов московских, следственно лучше других понимающие настоящее положение дел, уже вразумленные коварством Сигизмунда, собираются восстать народною войною на чуждых утеснителей, встревожил сих последних, и Гонсевский, вместе с другими, посылает в Нижний-Новгород Юрия Милославского для усмирения взволнованных умов. Кто лучше его, сына заклятого врага поляков, добровольно целовавшего крест Владиславу, может убедить непокорных? С этой точки начинается роман. Расскажем в коротких словах его содержание, обнажив главный ход от явлений эпизодических: влюбленный в неизвестную девушку, виденную им недавно в московской церкви Спаса на Бору, Юрий Милославский едет в Нижний; в продолжение дороги, а особливо в доме боярина Кручины Шалонского глаза его открываются, и раскаяние в присяге Владиславу им овладевает; в Нижнем это чувство возрастает до высочайшей степени, до отчаяния, и Юрий, сказав речь в собрании сановников нижегородских как посланник Гонсевского и спрошенный Мининым: *что бы он сделал на их месте?* — не выдержал и дал совет идти к Москве, ибо поляки слабы.

В то же время решается он и объявляет торжественно, что идет в монахи, ибо не может сражаться ни за ту, ни за другую сторону. Юрий приезжает в Сергиеву лавру, объявляет Аврааму Палицыну о своем желании и о причинах оного. Палицын принимает его предварительный обет иночества, разрешает от клятвы Владиславу и посылает как своего послушника сражаться с поляками под Москву. Юрий едет; на дороге, чтоб избавить от виселицы дочь боярина Шалонского, в которой он еще прежде узнал свою любезную, женится на ней (это обстоятельство оправдано прекрасно) и тот же час отвозит свою несчастную молодую в монастырь Хотьковский и прощается с нею навеки. Москву освобождают, поляки разбиты и бегут; Юрий открывается Палицыну в своем вынужденном браке, и Палицын разрешает его от обета идти в монахи, основываясь на том, что брак есть уже таинство неразрешимое, а послушники могут возвращаться в свет, и Юрий, как видно из эпилога, делается счастливым супругом Анастасии.

В чувствительном роде лучшие места: восстание нижегородцев и смерть боярина Шалонского; в комическом: две шутки Кирши, его колдовство и посвящение в колдуньи старухи Григорьевны; в ужасном: буйная ярость шишей (русских гвериласов); в описательном: переправа через Волгу в то время, когда лед только что тронулся.

Должно заметить, что никто не имеет такой комической добродушной веселости, как г. Загоскин; в этом отношении талант его высокого достинства и совершенно оригинален. Читая роман сей, есть где заплакать от душевного умиления и от сердца посмеяться самому невеселому человеку. Но нельзя сказать, чтобы любопытство и участие в развязке были подстрекаемы сильно.

Не говоря уже о характерах некоторых действующих лиц, большею частью хорошо выдержанных, разнообразных, прекрасно изобретенных, комических положениях, об искусной отделке подробностей, впрочем не всех, главнейшее достоинство сего романа состоит в живом, верном, драматическом изображении нравов, домаш-

него быта, местностей, особенностей и природы царства Русского. Вот язык, которым должны были, кажется, говорить люди русские в 1612 году; вот их образ мыслей. Кто знает хорошо свое отечество, тот станет восхищаться верностью сих картин; кто не знает его (ибо много есть русских, не знающих ничего в России, кроме гостиных Петербурга или Москвы), тот, вместе с иностранцами, познакомится с жизнию наших предков и теперешним бытом простого народа.

Интрига романа проста, не запутана эпизодами, хотя ход ее не везде равно выдержан; некоторых мест нельзя читать или слышать без живейшего участия, без слез; таковы: речь Минина, восстание в Нижнем-Новгороде, смерть боярина Кручины, смерть юродивого. Впечатление сего романа самая чистая нравственность: любовь к отечеству и добродетели.

В первой части и несколько во второй приметна в романе какая-то неполнота в описаниях, сжатость, неоконченность и даже неясность. Не знаем, что тому причиною: новость ли труда, или торопливость; третий том во всех отношениях написан лучше двух первых. Можно заметить, что поступок Юрия Милославского, уже разочарованного насчет намерений Сигизмунда, но продолжающего действовать вопреки своему сердцу и даже долгу к отечеству и, наконец, в совете сановников нижегородских от одного вопроса Минина говорящего против себя и опровергающего собственные слова (ну, если бы его послушались?) — несколько странен. Можно укорить Юрия слабостью ума и характера. Не говорим уже о том, что Гонсевский и другие, пославшие его в Нижний для укрощения бунта, были весьма неблагоразумны, даже просты, ибо людей нетвердых и всего более вполовину преданных к их стороне, не посылают для отвращения гибели в решительную минуту. Шутка Милославского с паном Копычинским, которого он заставляет съесть целого гуся, — всем известная быль, она не в характере Юрия, доброго и кроткого человека; запорожец Кирша гораздо забавнее и естественнее выгоняет лишний народ из избы, сказав, что один из проезжих — разбойничий атаман, по прозванию *чертов ус*. Из всех лиц романа язык только одного Юрия иногда

отзывается новыми выражениями и мыслями[1]. Вот несколько частных замечаний:

Часть I.

1) Нельзя *в начале апреля, при необыкновенном продолжении зимы,* ездить целиком (стр. 8): глубокие снега около Нижнего того не позволят, разве по *насту,* но этого не объяснено. Жестоких метелей в сие время не бывает: снег получил *осадку,* и ветер не может *взрывать* его (стр. 9). Нехороша фраза: *на бесчувственном лице изобразилась радость* (стр. 17).

2) Вначале сказано, что *Смоленск во власти польского короля* (стр. 3), а известие о взятии его получено Юрием после: в доме Кручины Шалонского.

3) Слово *беглец* (стр. 24), вероятно, не употреблялось тогда — в простых разговорах, как и ныне, не скажут: он беглец, а он беглый.

4) *Простоволосая* (стр. 38) значит не глупую, а не повязанную платком женскую голову, что считалось и считается предосудительным; отсюда в переносном смысле составился глагол *опростоволоситься,* то есть дать себя поймать без повязки, застать врасплох.

5) Слово *мыт* (стр. 39) надобно объяснить. Его знают как имя болезни.

6) *Я не привык кормиться ничьими остатками* (стр. 77). Дурное и двусмысленное выражение. *Объедками,* вероятно, желал сказать сочинитель.

7) Не говорят колдуну: *тебя умудрил господь* (стр. 105).

8) Причина недостаточна, почему поляки не стали осматривать чулана колдуна (стр. 113): *кой черт велит ему забиться в эту западню,* говорят они, но сия причина и прежде существовала, а они все-таки выбили

---

[1] Надобно признаться, что хотя Юрий предобрый, и благородный, и храбрый человек, но слишком горячо к нему не привязываешься. Как скоро он действует с кем-нибудь вместе, он уже играет второклассное лицо; в нем ничего нет славного, сильного, увлекательного, самобытного. Его спасают, посылают, освобождают, не слушают, разрешают и венчают. В своем роде Кирша нравится гораздо более. Лучше всех написанный и выдержанный характер это юродивый, за ним следует Туренин.

дверь; явно, что это нужно было автору и он поступил самовластно.

9) *Узда заменялась медною цепью* (стр. 121). Едва ли! Разве вместо удил и поводьев была медная цепочка.

10) Колдуны именно не ходят в церковь; им за то и верят, что они в связях с дьяволом! (стр. 122).

11) Странно, как ускакал Алексей на своем *пешем* коне от преследованья поляков? (стр. 125).

12) Выражения Юрия: *мнение толпы ничего не доказывает, и сольются поколения в один народ...* слишком новы и неуместны в разговоре со слугою. Это хотелось сказать автору (стр. 127).

13) Не говорится: *зарезанный бык* (стр. 133), а убитый.

14) *Ревел нелепым голосом* (стр. 138), выражение неточное.

15) *Дурной гражданин едва ли может быть хорошим отцом* (стр. 148). Весьма часто бывает: примеров много.

16) Подстилка нескольких снопов соломы (стр. 161) в избе, куда ждут молодых из церкви и кучу гостей, — невероподобна.

17) Дурные стихи плохого поэта дурно выраженной мысли Байрона не стоят повторения:

Улыбка горести подобна
На гроб положенным цветам!..

18) *Бедненький ох, а за бедненьким бог;* зачем изменять народную пословицу в народном романе? (стр. 245). Надобно сказать: голенький ох, а за голеньким бог!

19) *Воображение охладело, и Юрий заснул* (стр. 255). Боже сохрани, только успокоилось.

Часть II.

1) *В случае нужды готов довольствоваться* (стр. 19); правильнее сказать: не готов, а может.

2) *Вспорхнул на седло* (стр. 3) нейдет как-то к запорожскому казаку; лучше: вэмахнул, а притом правильнее: вспорхнуть с гнезда, нежели вспорхнуть на дерево.

3) *Народ отхлынул, как вода* (стр. 31); непременно надобно сказать: от чего? от скалы или плотины.

4) Злые кони сбивают седоков тем, что на всем скаку бросаются в сторону; а поворотить круто на скаку, как пишет сочинитель на стр. 32, никакая лошадь не может: сама упадет.

5) Околица не может быть *затворенная* (стр. 23), а разве ворота.

6) *Юрий с слугою опередили солнце* (стр. 36); чем? как? Переход к прощанью Юрия с Шалонским чрезвычайно сжат.

7) *Похоронит* так далеко от *торопился*, что лучше сказать уж: *похоронил* (стр. 43).

8) *Соскучив не получать ответов* (стр. 43); дурная фраза.

9) Кирша говорит неправду два раза сряду. Прежде он сказывал, что казак им убит, а теперь говорит: *к счастью, он отдохнул*. Корабленников тоже ему не давали, а только хотели дать (стр. 47).

10) Ангел крассты (стр. 50) нейдет говорить Юрию: ново.

11) Оправдание, почему Кирша не открыл опасности Юрию (чтоб не поссорить его с отцом любезной), весьма выискано и казаку не свойственно (стр. 57).

12) Нехорошо сказать: *Аргамак вместо того, чтоб драться с лошадью* и пр. (стр. 68).

13) Читатель остается в неизвестности, зарядил ли пистолет свой Юрий (стр. 71), а это знать нужно.

14) Ответ запорожца Кирши на вопрос Алексея: для чего он не предуведомил их о разбойниках? самый странный; он говорит: *я боялся, что вы не сумеете притвориться*, и т. д. Это пустое оправданье; да разве он не мог также хватить Омляша по голове, не доезжая до оврага, где спрятаны его товарищи? Какой опасности подвергал он и себя и своих благодетелей без всякой причины! Не понимаем даже, для чего автору было это нужно?

15) На стр. 79 опять наши путешественники в водополь и распутье, только начавшееся, когда глубокие снега напитались водою, ездят по лесу и оврагам без

дороги. У нас в это время почти вовсе проезда не бывает и по дорогам, особливо около Нижнего.

16) *Закраиною* называется лед, примерзший к берегу, а не расселина между льдом и берегом, как выразился сочинитель на стр. 85: *перепрыгнув через закраину*.

17) На стр. 89. Юродивый играет на песчаной косе с ребятишками; это невозможно: тогда все было еще покрыто льдом, снегом и прибывшею, полою водою.

18) *Милославский провел большую часть ночи, размышляя о своем положении, которое казалось ему вовсе незавидным* (стр. 108). Последние слова похожи на шутку, а Юрий был в ужасном состоянии.

19) Побасенка Минина об утопающем отце и сыновьях его (стр. 133) рассказана неясно, и применение ее к положению Милославского неверно.

Должно заметить, что выражение *меж тем* чрезмерно часто и иногда некстати употребляется в целом романе. А всего досаднее оно после прекрасного, исполненного чувства обращения автора на стр. 121:

> О, как недостаточен, как бессилен язык человеческий для выражения высоких чувств души, пробудившейся от своего земного усыпления. Сколько жизней можно отдать за одно мгновение небесного чистого восторга, который наполнял в сию торжественную минуту сердца всех русских! Нет, любовь к отечеству не земное чувство! Она слабый, но верный отголосок непреодолимой любви к тому безвестному отечеству, о котором, не постигая сами тоски своей, мы скорбим и тоскуем почти со дня рожденья нашего.
> Меж тем все спешили по домам и пр.

Часть III.

1) Запорожец, столько преданный Юрью, узнав о мнимой его смерти, вскрикивает: *ах боже мой, боже мой*... и велит казакам подать кису с водкой и пирогом (стр. 8). Это не в характере Кирши: он слишком горячо привязан к Милославскому.

2) *Лошади шарахнулись и стали* (стр. 16). Шарахнулись не значит испугались, а бросились от испуга.

3) *Что же прибыли, что Юрий и жив* (стр. 21); и правильнее по смыслу речи, и лучше сказать: *если Юрий и жив*.

4) Сочинитель говорит на одной и той же 58 стр.: *и в наше время многие воображают Муромские леса*

Жилищем ведьм, волков,
Разбойников и злых духов.

А несколько строк пониже: *о ведьмах не говорят уже и в самом Киеве; злые духи остались в одних операх*, и пр.

5) Автор прекрасно выдержал характер запорожца Кирши, который не согласился вытащить утопающего в болоте земского ярыжку (стр. 96), но, кажется, в оправдание Кирши надобно бы сказать, что, вытаскивая разбойника, подвергались опасности утонуть честные его товарищи. Притом не худо объяснить, что дорога по таким непроходимым топям делается из гати, которая, перегнив, превращается в чернозем, а по оному растут не одни уже болотные травы и корнями связывают зыбкую трясину. Этого не все знают. Стая волков, бегущая к утопшему, хотя производит эффект на читателя, но это несправедливо. Никакое чутье не могло слышать запаха от человека, затянутого глубоко в тину, тем более по прошествии одной минуты.

6) *В течение сего разговора* (стр. 98). Нехорошо. Лучше: *в продолжение.*

7) Опять искажение пословицы: *Не спросясь броду, не бросайся в воду.* Надо сказать: *не суйся в воду.* При некотором размышлении всякий почувствует, что *бросаться* и *соваться* не синонимы.

8) На стр. 112 сочинитель говорит, что Троицкая лавра *отстоит от Москвы не далее шестидесяти четырех верст.* Тут надобно сказать положительно: во стольких-то верстах.

9) *Я едва смею надеяться, что ты не отринешь* и пр.; нехороша фраза.

10) *Хлебы пересидели* (стр. 142); говорится: *пересиделись.*

11) (стр. 175) невероятно, чтоб у Анастасии, бывшей в руках грабителей-шишей, нашлись, как нарочно, на пальцах два золотых перстня для обрученья.

12) *Он приподнял раненого, в котором читатели, вероятно, узнали уже боярина Кручину.* Никак нельзя

узнать; сочинитель описал местоположение, не известное читателям.

13) Анастасия, обвенчавшись с Юрием, через несколько минут прижимает руку его к своему сердцу и говорит: *чувствуешь ли, как бьется мое сердце? Оно живет тобою* и пр. ... И действие и слова не в характере того времени. Анастасия могла взять руку Юрия и поцеловать. Также, прощаясь с ним у ворот Хотьковского монастыря, по нашему мнению, следовало бы ей поклониться в ноги своему спасителю, супругу и *господину*.

Искренно признаемся, что большая часть наших замечаний маловажны; это послужит доказательством автору внимания, с которым мы читали его сочинение, и желания видеть труд его в совершеннейшем виде. Хотели было мы выписать несколько страниц из лучших мест, но поистине затруднились в выборе: весь роман есть одна из приятнейших и замечательных страниц в летописях нашей словесности [1].

К сожалению, должно прибавить, что, несмотря на хорошую бумагу и буквы, печать нехороша и что бесчисленное множество знаков восклицаний, двоеточий и тире, часто неверно поставленных, досаждают читателю. Правописание также несколько капризно. Виньеты гравированы недурно, но нарисованы очень плохо. Мы уверены, что скоро понадобится второе издание, в котором, конечно, постараются избегнуть этих мелочных недостатков.

---

[1] Быть может, некоторые из читателей спросят: не подражание ли это Вальтер-Скотту? Вот наше мнение: если б не писал знаменитый шотландец, быть может, не существовал бы и «Юрий Милославский» или явился в свет под другою формою, но вот все влияние Вальтер-Скотта, какое только можно допустить. Подражания мы решительно не заметили.

РЕКОМЕНДАЦИЯ МИНИСТРА

Довольно рано поутру, то есть в одиннадцатом часу, и в приемный день докладывают министру, что какой-то чиновник с рекомендательным письмом просит позволения представиться его высокопревосходительству. Министр был человек неласковый на приемы. «Черт бы его взял! — закричал он. — Что ему надобно? Впусти его». Чиновник входит тихими шагами, униженно кланяется и объясняет, что его высокопревосходительство обещался при случае замолвить за него словечко. «Вот тебе раз! — заревел министр. — Ты, батюшка, сумасшедший: я сроду тебя не видывал». — «Точно так, ваше высокопревосходительство, но вот письмо той особы, которой вы изволили обещать — попросить за меня», — и чиновник подал письмо с низким поклоном. Письмо было от такого человека, которому *нельзя было* отказать. Министр бесился, но делать нечего. «Ну хорошо, — сказал он, — хоть я тебя не знаю и ты просишь важного места, на которое много искателей, но так и быть: *для его сиятельства* я напишу письмо к N. N., а он *для меня* даст тебе место. Садись и пиши». Чиновник сел за письменный стол, взял бумагу, перо, обмакнул его в чернилицу и с подобострастием ожидал диктовки. «Пиши, — начал министр, ходя большими шагами по комнате. — Милостивый государь мой... Ну, пиши, как его зовут?» — «Я не знаю, ваше высокопревосходительство», — с трепетом и едва внятным голосом отвечал чиновник... «Ну вот, ба-

тюшка, ведь ты глуп! Не знаешь, как зовут того, кого надобно просить за тебя!» — «Кажется, Иван Федорович или Федотович...» — «Ну, пусть будет он Федотович, пиши: Милостивый государь мой Иван Федотович! Написал?» — «Написал, ваше высокопревосходительство». — «Покажи... Ну, батюшка, ты совсем дурак. Зачем ты поставил знак восклицанья? Ведь он не министр и не равный мне: пристало ли моему знаку восклицания стоять перед ним во фрунте? Точку, сударь, ему, точку. Пиши: податель сего письма известен мне... Ну, да черт тебя знает, как ты мне известен!» — «Письмо его сиятельства», — промолвил чиновник. «Ну, ну, пиши: известен мне за способного и знающего чиновника, а потому прошу вас, милостивый государь мой, доставить ему место, коего он желает; а я за оное останусь вам благодарным... благодарным!.. Черт вас побери обоих... Есть за что мне благодарить!.. Ну, пиши: с моим почтением честь имею, и прочее, как обыкновенно. Написал? Давай подпишу, да и провались от меня... Ах ты, болван! — закричал министр вне себя от гнева, взяв письмо и прочитав его. — Ну как тебе быть правителем дел, когда ты под диктовку трех слов написать не умеешь! Ты написал: имею честь быть... Да разве я могу быть?.. Ты можешь быть, он может быть (указал министр на человека, прошедшего мимо дверей). А я могу пребыть; разве не читывал рескриптов? как там пишется? пребываем. Я ведь министр. Выскобли, сударь, выскобли, вот так»... Чиновник выскоблил; министр подписал.

Рекомендация подействовала, место было дано искателю, и он через несколько лет подлыми происками приобрел довольную значительность и даже, несправедливую впрочем, славу умного человека. Но министр всегда улыбался, когда слышал последнее, и говорил: «Полноте, он дурак; он думал, что я могу быть!».

«ДОН КАРЛОС, ИНФАНТ ИСПАНСКИЙ»

Трагедия в пяти действиях,
сочинение Шиллера, переведенная стихами,
размером подлинника[1], *г. П. Ободовским*

«ПОСЛАННИК»

Комедия-водевиль в одном действии,
перевод с французского
Разнохарактерный дивертисман
1830 года, января 3. Пятница. Бенефис г. Мочалова

Жалко было смотреть и на изуродованных «Разбойников»; но искажение «Дон Карлоса» несравненно прискорбнее для всех почитателей знаменитого германского драматурга. Это правда, что пиеса в оригинале не удобна для представления по своей огромности, но, кажется, есть «Дон Карлос», уменьшенный самим автором и написанный прозою для игры на театре. По нашему мнению, как мы и прежде имели случай сказать, такого рода выкройки суть святотатства, в смысле оскорбления святости прав сочинителя, и какого же? великого Шиллера!.. Никого не обвиняя положительно, заметим, что в Петербурге для бенефисов заведено такого рода выкраивание. — Всех более пострадал несчастный маркиз Поза, этот высокий фанатик добродетели! Поступки

[1] С дипломатическою точностию списываем афишку.

его — загадка для зрителей, ибо характер нимало не развернут; Филипп — сумасброд, а последняя сцена с Дон Карлосом — бессмыслица! Вот каково вынимать звено из славного целого творения. Забавно также превращение Доминго из духовной особы в светскую, тем более, что ему обещают кардинальскую шапку. Хорошее исполнение «Дон Карлоса» затруднит всякий театр, труппу, богатую драматическими актерами; но в Москве, где существует один только талант трагический, такое предприятие вовсе неудобоисполнимо. Итак, искренно пожалев о наших артистах, делавших не свое дело или не умевших за него приняться, поговорим о г. Мочалове. Роль Дон Карлоса создана, так сказать, по форме его таланта. Порывы страстей, бурные восторги любви, благородный пламень чувств, характеристика Карла и — таланта Мочалова; в этой роли он должен был далеко превзойти Каратыгина; совершенства могли мы ожидать и — обманулись в своих ожиданиях. Кроме обыкновенных пороков игры его, впрочем неизвинительных, то есть недостатка благородства, беганья по сцене, хлопанья руками по бедрам, он до того неровно играл, что казалось, в одной и той же сцене говорили за Дон Карлоса разные люди; он впадал в такую тривиальность, что многие выходки можно было назвать истинно комическими. Откуда взял он это приторное нежничанье, это псалмопевное завыванье? Мы не узнавали Мочалова. Но вправе ли мы требовать, чтоб он поверил нам? Публика осыпала рукоплесканиями те места, за которые его освистали бы в Париже, и молчала там, где был он прекрасен! (ибо все-таки он имел минуты превосходные); но мы напомним г. Мочалову, что просвещеннейшая часть зрителей, по несчастному какому-то обычаю, хлопает мало и редко и что всего менее можно полагаться на одобрение публики бенефисной. Нелицеприятная истина заставила нас без пощады высказать правду; но мы знаем, что многое можно сказать и в извинение г. Мочалову. Первое: играть не с кем; второе, и самое важное: это был бенефис. Не всем известны хлопоты и суматоха, его сопровождающие. Послезавтра повторяют «Дон Карлоса»; посмотрим и скажем читателям, ошиблись мы или нет в своих предположениях. Кажется,

нельзя г. Мочалову самому не чувствовать дурного исполнения прелестной роли.

Прекрасный водевиль «Посланник», весьма хорошо переведенный (переводчик неизвестен) и прекрасно разыгранный, доставил нам большое удовольствие. Куплеты очень милы, но последние слабее, а это важная ошибка, ибо в водевиле, более даже чем в других делах, конец венчает дело. Как обрадовались зрители, увидя превращение г. Щепкина (из превращенного в секретари Доминго) в графа Аранцо. Г-жа Репина играла прелестно, по обыкновению, а г. В. Степанов—необыкновенно хорошо. Не имея никаких *особенных* причин бранить этого приятного молодого актера, мы скажем, что игра его доставила большое удовольствие всем зрителям. Дивертисман был составлен из прекрасных танцев, как и всегда.

Выписываем несколько куплетов из водевиля «Посланник». Слуга, Лафлеш, говорит: каков же я дипломат? а граф Аранцо отвечает: не дипломат, а разве плут! Лафлеш, оставшись один, поет:

Мы слыхали то издревле:
Что дороже, то в чести;
Что немножко подешевле,
В том как будто нет пути.
Здесь зависит все от платы:
Попадем по деньгам мы
За сто франков — лишь в плуты,
За сто тысяч — в дипломаты.

Лафлеш уговаривает Занету, молоденькую модную торговку, чтоб она притворилась влюбленною в одного молодого человека, за что ей щедро заплатят.

Занета

(поет)

Нет, нет, благодарю покорно,
В любви я никогда не лгу.
Любить, вздыхать, страдать притворно
Я не умею, не могу.

Лафлеш

Так вот совет для нашей цели.

Занета

Какой, позвольте вас спросить?

Лафлеш

Его притворно полюбить,
Его ж червонцы — в самом деле!

Потом Занета поет:

Пускай язык болтает гибкой,
Пусть бредит он — но то беда,
Что сердце слушает ошибкой
Его болтанье иногда.
Я это очень разумею,
Любовь лукавое дитя:
Когда шутя играем с нею,
Она уколет не шутя.

Наконец, вот два куплета из окончательного водевиля:

Граф

Чтобы попасть в чины большие,
Советы выслушай мои:
Умей секреты знать чужие
И крепче запирай свои.
Возможно ль быть нам без секрета?
Весь мир есть тайный кабинет;
И знанье всех секретов света —
Есть дипломатики секрет.

Занета

А разве мы не дипломатки?
Кто в силах нас перехитрить?
Красавиц милые загадки
Кто может лучше нас решить?
Иная свежестью пленяет,
Хотя давно ей сорок лет,
И кто же, кроме нас, узнает
Увядшей младости секрет?

«Дон Карлос» отменен за болезнию г. Мочалова, и мы не можем сдержать своего обещания читателям. Не можем сказать, чувствовал ли Мочалов недостатки первого представления и умел ли их поправить.

«Посланника» давали в другой раз с комедиею «Недоросль», и прелестный, умный, чуждый фарсов и экивоков водевиль сей доставил новое удовольствие публике.

1830. Января 9.

«ВНУЧАТНЫЙ ПЛЕМЯННИК, или ОСТАНОВКА ДИЛИЖАНСА»

Комедия в пяти действиях, в прозе, Пикара, перевод А. И. Писарева

«ЧУДНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И УДИВИТЕЛЬНОЕ МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПЬЕТРО ДАНДИНИ»

Волшебная опера-водевиль в трех действиях, перевод с французского г. Ленского, и разнохарактерный дивертисман. Бенефис г-жи Львовой-Синецкой 16-го января.

Содержание пиесы Пикара, впрочем презабавное, слишком скудно для комедии в пять актов; его было бы достаточно для водевиля или маленькой комедии в стихах; это веселая шутка, довольно игриво исполненная, но чрезвычайно растянутая сочинителем и прекрасно переведенная покойным А. И. Писаревым. Пиеса вообще была разыграна довольно удачно; молодого адвоката, вместо г. Мочалова, играл г. Ленский недурно; но зато приятеля его, военного офицера Дервиля, играл г. Бантышев весьма плохо. Неотъемлемый его талант для ролей комических весьма невыгодно выказывался и в Дервиле. Роль г-жи Синецкой (она играла актрису Сенанж) неважна и могла быть выполнена лучше. Она играла

благородно и ровно всю свою ролю, а ей бы следовало сначала играть бойкую французскую актрису-субретку, а потом, когда она представляет вымышленное лицо наследницы, внучатную сестру настоящего наследника, Ласуша, то надобно больше аффектации, больше явного притворства и манерности, ибо глупого Ласуша обманывать должно крупными, так сказать выпуклыми, чертами; тонкому, искусному притворству, похожему на истину, он скорее бы не поверил.

Г-н Баранов был весьма натурален в роли дурного актера; г-н Афанасьев играл доктора Монришара порядочно, но мы ожидали от него лучшего исполнения. Г-н Щепкин был очень хорош в роли Ласуша, купца, торгующего лесом; можно, однако, заметить, что он напрасно покашливал, пожимался и вообще, так сказать, поддавал пьесе излишнего комического жару. Мы знаем, что это значит: он боялся, что комедия покажется скучною; но, несмотря на доброе намерение, этого похвалить нельзя. Гг. Живокини и П. Степанов выполнили неважные свои роли прекрасно.

Волшебный водевиль «Пьетро Дандини», несмотря на фарсы автора, а может быть, и переводчика, весьма забавен: в нем много остроумных, колких и даже глубоких мыслей, завернутых в шутовские слова; приметно было, что иных намеков зрители и не поняли в настоящем смысле, тем более, что не ожидали их в волшебном и вздорном водевиле; перевод очень хорош: проза разговорна, и некоторые куплеты написаны легко и замысловато; жаль, что встречается довольно плоских шуток и каламбуров. Нельзя не похвалить г-на переводчика за благородное употребление своих досугов; встретить в актере образованного человека, с успехом занимающегося переводом театральных пиес, хорошо делающего стихи — весьма приятно. Хотя перевод водевилей дело неважное, но приобретение разговорного языка не безделица. Желаем от души дальнейших успехов г. Ленскому.

В этом водевиле была важная достопримечательность: это декорации подводных чертогов Амфитриты, работы г. Брауна. Вот артист, которым московский театр по справедливости может гордиться! Это было истинное

очарование! Восхищенные зрители встретили громкими рукоплесканиями новое и прекраснейшее произведение мастерской кисти нашего отличного декоратора. Многие утверждают, и мы согласны с ними, что ни в Москве, ни в Петербурге не бывало такой декорации. По окончании водевиля г. Браун был вызван, после г-жи Синецкой, вместе с гг. Живокини и Бантышевым[1]. Новые костюмы, сделанные по рисункам Локуэса, очень хороши; но нельзя не заметить, что Истина, Нереида, реки и речки были одеты по-домашнему; что драгоценные статуи, долженствующие явиться в великолепных волшебных чертогах последнего явления, весьма неприятно отличались от старой голубой залы, слишком всем известной за комнату человеческой работы[2]. Роль бабушки Дандини, превращающейся от живой воды в молоденькую девушку, занимала бенефициантка; дряхлую старушку можно бы сыграть с бо̀льшим искусством, но быть весьма хорошею драматическою актрисою и хорошо представлять карикатуры — дело разное. Впрочем, мы рады, что г-жа Синецкая отлично исполняет первое, а не последнее. Карикатура не характер, и карикатурщик искусный — еще не артист и не актер. Г-жа Синецкая не поет, а потому она читала куплеты, и прекрасно. Восторг женщины, вдруг помолодевшей, она выразила отлично хорошо: с чувством и огнем. Г-н Живокини играл Пьетро Дандини с большим успехом. Еще поменее фарсов — и трудно будет пожелать лучшего исполнения этой роли. Г-жа Н. Репина, по обыкновению, была прелестна. Грех на сочинителе или переводчике, что он куплетом счастливого Пьетро возбудил в зрителях порок отвратительный — зависть. Несмотря на опасность прогневить г. Бантышева, несмотря на вызов публики, его прекрасный голос и комический талант, скажем, что он в роле

---

[1] Хотя должно сказать, что г. Браун предпочтительно заслуживал особого вызова, если вызов что-нибудь значит.

[2] Найдутся люди, которые упрекнут нас в излишестве требований и скажут: и без того водевиль стоит дорого; можно ли еще бросать тысячи для новых волшебных чертогов, для костюмов Истины, Нереиды, рек и речек!.. — Милостивые государи, вы правы, но зритель не хочет знать расходов и приходов дирекции, требует целого в исполнении, очарования полного.

Фретино, молодого мызника, сам не знал, кого играл: в одной и той же сцене он переменял тон, выражение и характер. Знатоки в музыке говорят, что он в пении не успевает... рано же г. Бантышев вздумал отдыхать на лаврах!..

О прекрасных танцах на Московском театре нечего и говорить. Заметим только, что г-жа Гюллень, к удивлению зрителей, никогда почти не танцует с г. Ришаром; но это не мешает ей отличаться между нашими лучшими танцовщицами, как Сириусу между звездами!

Бенефис был невелик, мы насчитали очень много пустых лож, особливо в бельэтаже. Удивляемся этому. Кажется, бенефициантка не менее прежнего заслуживала внимания и одобрения публики.

Вот несколько куплетов из «Пьетро Дандини».

Пьетро и Фретино попали в кита; первый по возвращении в свет хочет издать свое путешествие, журнал которого держит в руке. Он поет:

Натуралисты, рот разиня,
Прочтут на первом здесь листе:
«Записки о китах Дандини,
Который сам сидел в ките».
А если сделать я успею,
Что эту книгу запретят:
Ее раскупят наподхват,
И тут-то я разбогатею!

Фретино развел огонь в ките, жарит проглоченных им рыбок и припевает:

Ей-богу, это презабавно,
Как все друг другу мы вредим:
Кит нас обоих съел недавно,
А этих рыбок мы съедим;
Для выгод собственных — творенья
Один другого не щадят:
Всегда, везде без исключенья
Большие маленьких едят.

Пьетро с товарищем провалились сквозь брюхо кита и попали в подводные чертоги Амфитриты. Нереида показывает гостям разные реки и называет их по именам.

Пьетро

А это кто такой прелестный
И стройный кавалер?

Нереида

Узнай,
Что это в свете всем известный
Свидетель храбрости Дунай;
Он здесь историк между нами,
И, быв соседом мусульман,
Он с давних лет шумит волнами
О грозной славе россиян.

Фретино уронил шляпу в источник живой воды — и старая, дрянная шляпенка сделалась новою и прекрасною. Он поет:

Твердят о новом то и дело;
А если посмотреть на свет:
Все в нем ужасно постарело,
И нового давно уж нет.
Известные поэты наши!
Чтоб новой мыслию блеснуть,
Не худо б вам творенья ваши
В живую воду окунуть.

Не худо бы!

1830 года, января 22.

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА»

<О ЗНАЧЕНИИ ПОЭЗИИ ПУШКИНА>

Не для комплимента вам, м. г., а для правды надобно сказать, что журнал ваш всегда был беспристрастнее и умереннее других; должно признаться, что в нынешнем году, говоря об «Истории русского народа», и вы сбились с тону; но только *с тону*, а сказали чистую правду. Итак, позвольте и теперь поместить в вашем журнале отзыв человека, не принадлежащего ни к одной из партий, разделяющих на разные приходы нашу отечественную словесность.

Всегда уважая необыкновенный талант А. С. Пушкина и восхищаясь его прелестными стихами, с неудовольствием читывал я преувеличенные, безусловные и даже смешные похвалы ему в «Сыне отечества», в «Северной пчеле» и особенно в «Московском телеграфе». Пушкина не разбирали, не хвалили даже, а обожали и предавали анафеме всех варваров, дерзавших восхищаться не всеми его произведениями и находивших в прекрасных стихотворениях его — недостатки!.. Называя Байрона *первым поэтом человечества, своего века*, «Телеграф» не обинуясь говаривал: *Байрон, Пушкин* и пр. И что же теперь?.. Если неумеренные похвалы возбуждали неудовольствие в людях умеренных, какое же негодование должны произвести в них явные притязания

оскорбить, унизить всякими, даже нелитературными средствами, того же самого поэта, перед которым те же раболепные журналы весьма недавно — пресмыкались во прахе? Разве Пушкина можно ставить в ряд с его последователями, хотя бы и хорошими стихотворцами? Он имеет такого рода достоинство, какого не имел еще ни один русский поэт-стихотворец: силу и точность в изображениях не только видимых предметов, но и мгновенных движений души человеческой, свою особенную чувствительность, сопровождаемую горькою усмешкою... Многие стихи его, огненными чертами врезанные в душу читателей, сделались народным достоянием! Об искусстве составления стихов я уже не говорю.

Многие скажут: *«Зачем узнавать Пушкина в пародиях? Зачем относить к нему разные намеки? Он выше их...»* Милостивые государи, узнавать — не значит признавать обвинения и клеветы справедливыми! Но не узнать нельзя... Мудрено ли подделаться к наружной форме, употребя карикатурно и слова и выражения поэта?..

Есть и другие журналы, впрочем достойные уважения, в которых разбирали Пушкина или с пустыми привязками, или с излишним ожесточением. Последнее тем прискорбнее, что встречалось в рецензиях критика, по-видимому имеющего обширные познания не только в своей, но в древних и новейших иностранных литературах, мысли которого по большей части свежи и глубоки. Я уверен, что он отдает полную справедливость Пушкину и что только нелепые похвалы и вредное для словесности направление его последователей, вместе с строгим образом мыслей самого критика о некоторых предметах, увлекли его в излишество... [1]

При нынешнем странном и запутанном положении литературных мнений не должно молчать. Пусть публика знает, что многие, или, лучше сказать, все благомыслящие люди радуются, например, отпадению «Теле-

---

[1] Это говорилось о Н. И. Надеждине, в грубых критиках которого всегда было много и дельного; впоследствии он сознавался мне не один раз, что был неправ перед Пушкиным. *(Позднейшее примечание С. А.)*

графа» и «Северной пчелы» от так называемых *знаменитых друзей* и их приверженцев, ибо все они более или менее известны своими дарованиями и талантами. Похвалы вышесказанных журналов — пятнали славу их!.. и да погибнет навсегда прозвище *знаменитых друзей*, не в добрый час данное им в «Сыне отечества». Круг людей, которых славит «Телеграф» и «Северная пчела», до того уменьшился, что им приходится хвалить — только друг друга; брань их — есть уже право на уважение просвещенного общества. Прежде «Телеграф» нападал на литераторов, не пользующихся громкою славою, и на людей ученых (последнее весьма понятно); теперь он напал, или, приличнее сказать, *кинулся*, на все отличные таланты и на всех, совершивших уже свое литературное поприще, не в шутку знаменитых и заслуженных корифеев нашей словесности... В добрый час!.. Но под каким медным щитом[1] укроется он от клейма общественного мнения?..

1830 года.

[1] Вместо слова «щитом» стояло «лбом»; но издателю показалось это уже слишком резко. (*Позднейшее примечание С. А.*)

О ЗАСЛУГАХ КНЯЗЯ ШАХОВСКОГО В ДРАМАТИЧЕСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Странное положение нашей словесности, или, лучше сказать, литературных мнений, которых представителями, к сожалению часто неверными, более или менее должны называться журналы, заставляет говорить о том, о чем говорить еще рано и при других обстоятельствах было бы ненужно и неприлично. Но время летит, и будущее поколение, будущий историк словесности русской с негодованием отзовется о нашем молчании; ибо никогда столь быстро не менялась литературная слава, как ныне; это правда — иные потеряли ее и справедливо, но зато какою черною неблагодарностью платим мы некоторым писателям, которых имена, по их заслугам и талантам, должны мы произносить с почтением и признательностию. Напоминаю читателям, что я принимаю журналы представителями мнений литературных целой публики. Не говоря о других, скажем только о князе Шаховском: никто не представляет разительнейшего примера. Двадцать пять лет князь Шаховской обогащал русскую сцену новыми пиесами; в продолжение этого времени переведено, переделано и сочинено им шестьдесят шесть или шестьдесят семь пиес; почти все из них имеют прямое или относительное достоинство; многие приводили в восхищение зрителей и читателей; многие и теперь доставляют им истинное, постоянное удоволь-

ствие; везде есть или веселость, или остроумие, или неподдельное чувство горячей любви ко всему отечественному. Двадцать пять лет русская публика веселилась его произведениями; да и что бы был наш репертуар без разнообразного и плодовитого таланта кн. Шаховского? В течение последних десяти лет между многими другими написал он четыре пиесы, утвердившие его славу, казалось, на незыблемом основании [1]. Первая из них — «Пустодомы», оригинальная комедия, отличного достоинства, написанная весьма хорошими, а местами прекрасными стихами; в ней вывел князь Шаховской с большим искусством старое зло в новом костюме: мотовство, или, удачно названное им, пустодомство; комедия богата прелестными сценами; разговорный язык отличный и до сего времени неслыханный у нас на театре. Вторая — «Финн», обязанная своим существованием прелестному эпизоду в поэме Пушкина «Руслан и Людмила». В «Финне» многие места написаны такими превосходными пламенными стихами, которые во мнении людей беспристрастных поставили князя Шаховского наряду с первыми русскими стихотворцами, чего до тех пор, конечно, никто не думал. Тот же поэт (Пушкин) внушил ему и новое произведение: «Керим-Гирей, или Бахчисарайский фонтан», которое снова всех удивило, ибо в нем князь Шаховской показал опыт прекрасного лирического стихотворства. Наконец, явился давно ожидаемый «Аристофан», комедия, исполненная возвышенных чувств и богатая сценами изящной красоты, к сожалению не для всей публики понятными; разговор в ней прекрасный, даже иногда образцовый для комедий такого рода. Я не говорю, чтоб каждое из сих четырех драматических произведений не имело своих недостатков; но человек, написавший их даже и не в нашей литературе, заслужил бы истинную благодарность от своих

---

[1] В это же время написаны им и другие замечательные пиесы; водевили: «Езоп у Ксанфа», «Волков» и «Евфратский пеликан». Первый заслуживает внимания по необыкновенному искусству в языке разговорном, второй — горячим чувством народности, живостью и верностью характеров, третий — остроумием.

современников; а у нас?.. Прочтите отзывы о князе Шаховском в «Телеграфе» и «Северной пчеле»... Впрочем, я не думаю опровергать их; я пишу свои мысли, предлагаю мои доказательства тем людям, которые, не отнимая у нашего первого комика, употребляю их выражение, *некоторого дарования* и заслуг, обвиняют его за то, что он написал слишком много, а потому будто большая половина пиес вышла слабых; за то, что большая часть из них переводные или заимствованные; что в пиесах его везде почти вставлены музыка и танцы; наконец, что он пишет иногда дурные лирические стихи.

Здесь выходит странное противоречие: обвинения сии в частности, порознь более или менее справедливы, а результат, выводимый из них о князе Шаховском, — неверен. Вот мои объяснения и доказательства: князя Шаховского можно обвинять за множество им написанных пиес потому только, что, вероятно, их количество мешало ему обработать их качество; без его плодовитой производительности, конечно, получили бы мы половину из них в совершеннейшем виде; но сие обстоятельство, вредное *непосредственно* славе Шаховского, было полезно литературе — *относительно.* Он перепробовал все роды драматической словесности, заимствовал содержание пиес из театров всех образованных наций, примеривал их на русский вкус и лад, много раз торжествовал, нередко терпел неудачи, иногда падал, но своими падениями, своими опытами указал путь к надежным успехам будущему драматику. Когда князь Шаховской начал писать, у нас не только не было драматической литературы (которой и теперь нет), но мы даже не знали: как она может быть у нас? что нам пригодно? кому мы можем или должны подражать? Само собою разумеется, что у нас не было разговора на сцене, а потому успехами стихотворного и прозаического языка в театральных сочинениях мы обязаны князю Шаховскому, ибо он и в том и другом показал прекрасные опыты; нужно ли объяснять, что под именем *разговора на сцене* я разумею *разговорность языка, сообразную с характеристикою действующих лиц,* а не гладкий слог, не

красноречие, в котором выказывается, как в зеркале, сам автор со всеми приметами и образом мыслей своего времени.

Оттого, что князь Шаховской перевел, написал так много, несколько лет имели мы, да и теперь имеем, приятный и разнообразный репертуар в обеих столицах. Правда, некоторые пиесы, принятые в свое время с восторгом, надоели публике и считаются ею уже пустыми, скучными; но причиною сему не столько переходчивость времени, как чрезмерно частое их повторение и весьма плохое исполнение сценическое: ибо они, как пиесы старые, избитые, обставлены самыми дурными актерами. Правда и то, что они были написаны для своего времени, для особенных обстоятельств, что некоторые из них должны быть оставлены как средства или орудия, уже исполнившие свое дело; но если это назвать недостатком, то ему подвержены все знаменитые комики всех веков и всех народов.

Беспрестанно составляя новые пиесы, князь Шаховской имел еще другую цель — и достиг ее: он *воспитал* ими труппу артистов по новой методе игры; если ни одного из них не вышло великого по таланту, то неужели и за то обвинять Шаховского? Но г-да Брянский, Сосницкий, покойный Рамазанов, г-жи Валберхова (в комедиях), Дюр, которой также нет на свете, Сосницкая и некоторые другие всегда будут признаны прекрасными артистами, истинными художниками. Многие пиесы писаны Шаховским именно для них, по мере их раскрывающихся дарований и возрастающего искусства; ему обязаны мы, что у нас начали говорить на сцене *почеловечески*. Пусть только укоренится эта метода, и со временем, когда явятся у нас актеры с талантами и образованием, почувствуют цену благого начала, сделанного Шаховским.

Правда, у князя Шаховского часто некстати бывает музыка и танцы; вообще он любит великолепный спектакль, и его обвинители, недоброхоты говорят, что он делает это с намерением, для поддержания слабости своих произведений; но с этим никак нельзя согласиться. Ясно, что князь Шаховской имел другую цель: соединение

на нашей сцене всех изящных искусств; что он жертвовал иногда собою для таких опытов, ибо часто и очевидно вредил себе ими, а сценические выгоды, вероятно, ему слишком хорошо известны. Итак, опыт сей, хотя он был не всегда удачен и, по моему мнению, даже не может иметь успеха в наше время, как объяснитель неизвестного заслуживает нашу благодарность, а не порицание. Кажется, что опыту сему более подвергались пиесы бенефисные.

Наконец, князь Шаховской пишет иногда лирические дурные стихи и печатает их... Очень жаль, но разве из этого следует, что он плохой драматик? что все им прежде написанное дурно? Державин писал ужасными стихами уродливые драматические произведения, но разве от того он менее великий бессмертный лирик — наша слава, наша народная гордость? Никто не может подумать, чтоб я ставил рядом исполинский гений Державина с плодовитым талантом князя Шаховского; но род сочинений сего последнего несравненно труднее и важнее для общества, нежели вдохновенное парение музы первого, ибо, кроме таланта, требует великой опытности, искусства, долговременного наблюдения нравов, познания сердца человеческого. Хотя иные не признают влияния театра на ход образования и нравственности человеческой, но, кажется, в этом нельзя сомневаться; конечно, никто не выйдет из театра лучшим, нежели в него вошел; никакой порочный уже человек не исправится; но семена, западающие в сердца невинные, неприметным образом для них самих пускают рост и дают благое направление их нравственности, предохраняя ее от будущих уклонений.

Еще должно с признательностью сказать, что во всех шестидесяти семи пиесах князя Шаховского сохранена строжайшая нравственность; что пламенная любовь ко всему народному, русскому отражается везде, где она могла иметь место; никто не найдет в его сочинениях ни соблазнительных сцен, ни экивоков, ни вольнодумных выходок, столь любимых чернью публики и столь выгодных для автора на сцене. Полный театр князя Шаховского, если б он был напечатан, служил бы очевидным и убедительным доказательством, что автор нигде не

упускал из виду своей цели. Конечно, в этом отношении не упрекнет его ни один отец семейства, ни моралист, ни гражданин, ни христианин. Итак — благодарность писателю, подвизавшемуся со славою и общею пользою на поприще многотрудном, выполнившему так много различных условий, удовлетворившему стольким требованиям, обстоятельствам и времени [1].

Мая 17 дня. Москва.

---

[1] Эта и следующая статья служат убедительным доказательством, что значит двадцать восемь лет в нашей словесности. Я сам не могу без улыбки перечитывать некоторых выражений. *(Позднейшее примечание С. А.)*

РАЗГОВОР О СКОРОМ ВЫХОДЕ II ТОМА «ИСТОРИИ РУССКОГО НАРОДА»

А. Здравствуйте, почтеннейший!

Б. Здравствуй, любезнейший! Что скажешь новенького? Ты что-то весел!

А. Признаюсь, я очень доволен, что, наконец, г. Полевой напечатал в 9-й книжке «Московского телеграфа» объявление о скором выходе второго тома «Истории русского народа» и последующих за ним. Теперь прекратятся пустые толки, будто он, г. Полевой, оставляет «Историю» и раздает деньги подписавшимся. Вот и «Телеграф»: не угодно ли вам прочесть?

Б. Я читал.

А. Что же вы скажете, почтеннейший?

Б. То же, что я говорил тебе некогда при чтении пресловутого объявления об «Истории русского народа», напечатанного при 80-м нумере «Московских ведомостей» в 1829 году. Все, что я тогда предсказывал, — сбылось на самом деле. Я говорил, что «История» не может быть даже сносною; что такое сочинение — не стишки, которые могут быть написаны удачно и дурным поэтом, ибо минута вдохновения может посетить всякого; что нельзя верить, будто г. Полевой без предварительных сведений, без помощи предуготовительных наук (его ученость всем известна) написал в несколько лет, между дел, «Историю

русского народа» до Адрианопольского трактата, тогда как Карамзин, при всех средствах и пособиях, в двадцать пять лет довел ее только до Междуцарствия. Я говорил тебе, что это физически невозможно, что это насмешка над легковерием публики и что вам не видать этой «Истории» не только в 1830-м, но и в последующих годах. Я говорил тебе, что одна мысль написать *современную* «Историю» — уже нелепа и смешна, что слог, понятия и связь их в вышесказанном объявлении достаточно обличают: каково будет написана сама «История» и — скажи правду, первый ее том не превзошел ли все дурные ожидания?..

А. Я не стану с вами спорить: мы различно понимаем вещи; но почему ж объявление в 9-й книжке «Телеграфа» вам не нравится?

Б. Да разве я это говорю? Напротив, оно мне нравится. Хочешь ли, я переведу его на русский язык и растолкую тебе настоящий смысл? Например, слова: «*Получив несколько вопросов о том: скоро ли будут изданы второй и следующие томы «Истории русского народа», вопросы, сопровожденные изъявлением нетерпения видеть оные скорее*» и пр.[1] — значат, что обманутое легковерие публики истощилось и что многие начинают г. Полевого побранивать, а он за это нетерпение — благодарит. Далее: «*Все томы «Истории русского народа» у меня приготовлены...*» в переводе значит: их нет, ибо когда же было: первый том два раза выдать, второй выдавать, остальные переделать и последний, то есть до Адрианопольского трактата, — написать? Далее: «*Я решился изменить многие подробности, переменить расположение многих глав, словом переделать все*» и пр. значит: этого нельзя сделать, ибо «История» не выдумка, не сказка, и в ней такого рода самоуправные перестановки и изменения невозможны (впрочем, что невозможно г-ну Полевому?). Далее: «*Второй том* (который надобно выдать сейчас) *требовал переработки, а последующие: третий, четвертый и пятый, изображая просто ход происшествий, подверглись меньшей отделке вновь...*» потому

---

[1] Все напечатанное курсивом взято из 9-й книжки «Телеграфа» (см. стр. 130, 131 и 132).

что их могут и подождать; но каков язык, любезнейший? *меньшей отделке вновь!* Наконец: «*Теперь второй том выдан будет вскоре; третий, четвертый и пятый последуют за ним без остановки; думаю, что шестой, седьмой и восьмой успею выдать в нынешнем году*» и пр. значит: и не думай получить их, ибо четыре тома выдать в 1830-м нельзя успеть, потому что половина его уже прошла, а и второго еще не издано. — Вот настоящий тебе перевод.

А. Воля ваша — вы пристрастны. Увлекаетесь духом партии и осуждаете целое творение, из двенадцати томов состоящее, по одному первому.

Б. Послушай, любезный; мне уж скучно стало повторять тебе одно и то же: я никаких духов не знаю и не имею причин быть пристрастным; я зритель, а не актер на сцене словесности. Знаю только, что издание вашей «Истории» продолжится много лет, а всего вероятнее — никогда не кончится; что г. Полевой затеял труд не по силам, ибо все им написанное явно доказывает: недостаток образования, незнание языка, сбивчивость в суждениях; все написанное им есть не что иное, как собрание чужих мыслей, готовых фраз, часто бессмысленных, и общих мест. Его выражения вошли в пословицу как примеры надутой галиматьи: это мыльные пузыри, которые кажутся чем-то издали и разлетаются при малейшем прикосновении. — В последней статье, которою ты так доволен, позабавило меня особенно выражение г. Полевого, что *все время его посвящено «Истории», а прочие занятия составляют его отдых.* Вот истинно не знаешь, чего пожелать ему: труда или покоя! Прощай, любезный! советую тебе осторожнее хвалить «телеграфские» выходки: время обмороченья проходит. Скажу тебе по секрету, что скоро все вы явно отложитесь от издателя «Истории русского народа», ибо большая часть из вас делают это теперь — тайно!

Москва, 1830, июня 6 дня.

«ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ»

Романтическое представление в пяти сутках (?), взятое из романа г. Загоскина, соч. кн. Шаховского

«ФИЛИПП, или ФАМИЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ»

Комедия-водевиль в одном действии,
соч. Скриба, Мельвиля и Баярда,
переведенная г. Ленским.
В заключение дивертисман.
Спектакль на Большом театре,
в бенефис г. Щепкина, 13 февраля

Театр почти был полон. Ложи все были заняты, кроме шести или семи в бельэтаже. Из уважения к кн. Шаховскому, его заслугам и многим произведениям драматическим скажем только, что драма «Юрий Милославский» есть новое доказательство, что роман переводить на сцену нельзя, ибо у них совсем разные условия. Взять эпизод, или даже один характер романа, и создать из него театральную пиесу — это дело другое. Вальтер-Скотт много страдал от таких неудачных (а впрочем, весьма естественных) попыток, ибо они кажутся легкими; почему и Загоскину не подвергнуться такой же участи? Неприятная обязанность говорить правду заставляет нас сказать, что исполнение драмы было весьма посредственно. Нет! не публику надо винить, зачем она не ездит в театр, а бедный репертуар и младенческое состояние театрального искусства здешней труппы. В последнем представлении все было неудачно:

и распределение ролей и самое исполнение... Лучше всех играл свою роль... кто бы вы думали? Г-н Орлов! Он походил на истинного батьку Еремея! О Мочалове совсем говорить нечего. Г-н Щепкин, как единственный артист нашей труппы, делал что только мог из роли, вовсе ему не приличной; но сделал не много.

Не можем похвалить содержание водевиля, которое совсем не *водевильное*, а *важное*, но должны отдать полную справедливость исполнению: оно было прекрасно. Щепкин же и Синецкая играли превосходно. Заметим последней, что трепет ее доходил до излишества. Танцев мы не видели: это было почти невозможно, ибо спектакль кончился в два часа за полночь. Советуем гг. бенефициантам не морить публику по восьми часов в театре. Право, это дурной расчет во всех отношениях.

«ПРАРОДИТЕЛЬНИЦА»

Романтическая трагедия в пяти действиях, в стихах, соч. Грильпарцера, перевод с немецкого Ободовского

«БАНДИТ, или РАЗБОЙНИК НА БАЛЕ»

Романтическая комедия-водевиль в двух действиях, взятая (?) с французского, с хорами, танцами и праздником (?); музыка набрана из известных (?) авторов. В заключение разнохарактерный дивертисман. Спектакль на Большом театре, в бенефис г. Мочалова, 19 февраля

Никто не может оспоривать у Мочалова таланта. Природа снабдила его богатыми средствами. Он не пренебрегает ими; и Московский театр имеет в нем если не гения-артиста, то, без всякого сомнения, актера-художника, который возвышается колоссом над бедною нашею труппою. Но талант его слишком односторонен. Круг действия его так определен, так ограничен, так сжат, что малейшее уклонение от черты, на которой является он во всей славе, ниспровергает его до совершенной ничтожности. Тот Мочалов, от которого в «Жизни игрока» волосы становятся дыбом и сердце обливается кровью, в «Юрии Милославском» не разделял даже со своими собратиями жалкого преимущества — возбуждать невинную зевоту. Его игра была более чем скучна — дурна положительно. Не он создан для ролей, но для него роли должны быть созданы.

«Прародительница» именно такова, что в ней роль Яромира как будто нарочно сотворена для Мочалова. Пиеса сия производит много шуму в Германии: она растрогивает все струны фантастической немецкой чувствительности и собирает с ней богатую жатву слез и рукоплесканий. Название *романтической трагедии* принадлежит ей по всем правам. Ее тему составляет любимое народное поверье немцев о фамильном проклятии, коего непреодолимым тяготением целое потомство, за грехи предков, влечется к злодеяниям неотвратимым и становится жертвою гибели неотразимой. Тема сия уже была испытана Вернером и Мюльнером, но Грильпальцер умел дать ей новое развитие и выражение в своей «Прародительнице». Вот ее содержание. Граф Бароним, последний остаток древней польской фамилии, доживает свою, обильную славными делами, но скудную счастием, жизнь в прародительском замке, с единственною дочерью, молодою и прекрасною Бертою. Замок сей с давних времен был позорищем ужасных бедствий, низводимых на всю фамилию Баронимов преступлением прародительницы, которая погибла жертвой справедливой мести оскорбленного ею супруга и с тех пор блуждала зловещею тенью между своим потомством, плодом ее преступления. В одну ночь, накануне которой посещения сей тени, уже давно было переставшие, опять возобновились и Берта должна была узнать их тайну, молодой человек, на лице коего изображалось разъярение бурных страстей, вбегает в замок и требует себе ночлега. Берта узнает в нем избавителя, который спас ее некогда от разбойников и которому она тайно отдала уже свое сердце. Старый граф благословляет их любовь. Но в ту минуту, как он соединяет руки их, раздается стук у ворот замка и капитан королевских сыщиков, преследующий разбойников, кои гнездились издавна в окрестностях, является. Молодой человек, известный только под именем Яромира, приходит в смущение. Старик, напротив, вызывается лично помогать сыщикам. Все бросаются в лес, кроме Яромира, который оставлен в замке по болезни. Берта в беспокойстве. Пистолетные выстрелы умножают сие беспокойство; она спешит в комнату, отведенную Яромиру: его нет. Ужас. Яромир

возвращается раненый; Берта верит, что он получил рану, сражаясь с разбойниками, и перевязывает ее; но прибытие воина, который приносит кусок шарфа, сорванного с жесточайшего из разбойников (а этот шарф она сама дала Яромиру), открывает ей всю тайну. Отчаяние. Яромир снова является. Страшное объяснение. Но любовь превозмогает над всеми борениями Берты: она обещает в следующую полночь бежать со своим любовником чрез подземелье, в коем находилось фамильное кладбище Баронимов. Яромир кажется глубоко тронутым и раскаивающимся. Но вид рокового кинжала, бывшего некогда орудием смерти несчастной прародительницы и сохранявшегося с тех пор с благоговейным ужасом в фамилии, возбуждает снова его ярость. Он хватает его и бежит снова в лес. Баронима приносят раненого, по одержании победы над разбойниками. Один из злодеев, взятых в плен, хочет купить себе жизнь обещанием открыть ему важную тайну, и Бароним на смертном одре узнает, что Яромир — атаман разбойников, которого рука вонзила в него убийственное железо, немедленно им узнанное, — был сын его, брат Берты, пропавший в младенчестве!.. Слабые нити, привязывавшие старика к жизни, обрываются; Берта не переживает его. Между тем Яромир узнает от того же злодея, коего считал дотоле отцом своим, ту ж самую тайну. Несчастный отцеубийца, преследуемый воинами, поклявшимися отомстить ему, скрывается в подземелье, где назначено было свидание с Бертою. Тень прародительницы является: ее сходство с Бертою, уже приведшее его однажды в заблуждение, теперь снова его обольщает. Он думает видеть Берту, в коей упорствует признать сестру свою. Но зловещая праматерь совлекает могильный покров с одра смерти, стоящего в подземелье. Яромир узнает Берту, и в то время, как толпа разъяренных преследователей вторгается в сие убежище смерти, он повергается в хладные объятия неземной гостьи и погибает в них с диким стоном. Зрелище, раздирающее душу! Фантастическое убранство сцены — хотя и не соответственное требованиям истинного искусства — возвышает ужас минутного впечатления до оцепенения. Оцепенение сие, конечно, проходит скоро, и душа догадывается немедленно, что

она больше напугана, чем тронута: но его первоначальное действие тем не менее могущественно и непреодолимо.

Яромир (Мочалов) был превосходен. В роли юноши, обреченного на злодеяния, коих тяжесть он чувствует, но, по роковому заклятию судьбы, свергнуть не может, он находился в своей сфере, в своей стихии: дикие порывы разъяренных страстей, клубившихся вихрями в огненной душе его, особенно беспрестанные переходы из неистового исступления дикой радости к неистовому исступлению дикого отчаяния, — передаваемы были им с ужасающею истиною и естественностью. Особенно в сцене, где Яромир узнает от мнимого отца своего, что он не сын разбойника, и вместе видит себя отцеубийцею,— талант Мочалова является во всей своей силе. Жаль только, что иногда декламаторский бомбаст заступал в нем место истинного языка страсти. Это было особенно ощутительно в приветствии к кинжалу, где, однако, большая часть вины лежит не на нем, а на творце трагедии, растянувшем сию сцену до излишества, которое отзывается напыщенностию. Берта (Львова-Синецкая) понимала свою роль очень хорошо, старалась исполнить ее со всем жаром и, вопреки скудости средств своих, нередко являлась достойною Яромира. Сцена открытия, где она узнает в своем любовнике злодея, была для нее особенным торжеством. Все в ней заменялось чувством, и замечательно, что там, где исступление страсти доходило до такой степени, которая должна пугать талант с могущественнейшими средствами, она изменяла своей роли менее, чем в слабейших положениях, где надлежало казаться спокойнее. Бароним (Третьяков) на одре смертном был истиннее и естественнее, чем в добром здоровье. Из остальных лиц старый Роберт (Потанчиков) играл всех сноснее. Болеслав (Орлов) столь же мало походил на закоснелого разбойника, сколько Капитан (Козловский) — на храброго воина. Этот недостаток совокупности (ensemble) в игре — неисправимое зло нашего театра — разрушал по крайней мере половину действия.

Комедия-водевиль, несмотря на игру Щепкина, пение Лаврова и Бантышева, грациозность Репиной и фарсы Живокини, шел неудачно. Сабуров, потерявший на этот раз голос, был очень плохой Ринальдо. Бантышев не

умел постигнуть вполне поэзию роли Сальватора Розы. Щепкин заставлял иногда посмеяться и тем только отводил душу у райка. Живокини был приторен до излишества в своих гримасах и кривлянье. Во втором действии Щепин своим певучим рассказом и танцы своею неуместною продолжительностию в середине действия увеличили скуку. Одним словом — и выбор и игра пиесы не удалися. Некоторые старички еще до начала водевиля роптали вслух и повторяли с неудовольствием: «C'est drôle; deux bandits à la fois» [1]. Но они брюзжали напрасно: пиеса только по имени была разбойническая.

Заглавия обеих игранных пиес выписаны нами из афиш с дипломатическою точностию. Читатели видели в них несколько вопросительных знаков, кои мы принуждены были поставить, и, конечно, вместе с нами пожелают знать: долго ль еще будет продолжаться это жалкое обыкновение заманивать публику в театр, точно как в лубочный балаган, ничтожными погремушками? По крайней мере можно б было оказать пощаду тем пиесам, в коих репутация главных действующих лиц есть уже довольное ручательство.

---

[1] Это смешно; двое разбойников зараз *(франц.)*.

ТЕАТР

Наконец, открыт *новый театральный год* представлением 27-го числа. Театр начался многими переменами и приятными для нас надеждами. Спешим разделить их с публикою и уверены, что истинные любители и ценители благородного драматического искусства порадуются вместе с нами... Почтенный и всеми любимый наш романист и опытный, *заслуженный* драматический писатель М. Н. Загоскин вступил в исправление должности директора императорских московских театров.

Спектакль составляли: опера Обера «Каменщик» и балет Дидло «Пажи герцога Вандомского». Обе пиесы давно известны публике, а теперь в них не было никаких перемен, кроме того, что в переменах декораций было менее беспорядка, чем всегда, и что актеры играли с большею рачительностию и заметным удовольствием, как то всегда бывает после долгого закрытия театра; и, может быть, теперь этому были и другие причины. Наша опера была довольно долго в упадке; в прошлом году не поставлено ни одной *новой*; тем приятнее нам объявить, что теперь ставятся две отличные оперы, которые вскоре будут даны: «Невеста», соч. Скриба, музыка Обера, и знаменитая «Осада Коринфа» Россини. Какой праздник для сладострастного уха! Первая пойдет на бенефис г. Бантышева, другая — в пользу г. Булахова. Поблагодарим первых певцов наших за хороший выбор пиес и пожелаем им и себе хорошего *выполнения* оных.

25-го числа мы с несказанным удовольствием смотрели в Малом театре спектакли для *испытания* воспитан-

ников и воспитанниц школы императорских московских театров в их драматических успехах. Сначала дан был водевиль перевода г. Ленского «Крестная маменька» и был сыгран очень хорошо; в особенности отличились: девица Куликова в роле г-жи де Нерис в некоторых местах довольно удачно подражала г-же Львовой-Синецкой, которая превосходно играет эту ролю,— девица Куликова еще очень молода, следовательно неопытна в искусстве и не уверена в игре своей, а потому подражания для нее необходимы, все дело состоит только в выборе: *кому*? и потому мы должны отдать полную честь и похвалу девице Куликовой за выбор прекрасного подлинника; г-н Богданов в роле управителя Жоржа был прекрасен; мы его уже видели на большой сцене в роле Сумбурова в «Модной лавке» и в водевиле «Лучший день в жизни» и вполне уверились, что он имеет дарования и может быть весьма полезным актером в амплуа резонеров; в девице Лидиной также заметен развивающийся талант. После водевиля дан был анакреонтический балет Дюпора: «Зефир, или Ветреник», сделавшийся постоянным, и был дан на славу. Таланты гг. Оттаво, Карасева, Самарина и девиц Карпаковой, Михайловой и Барковой явились тут в новом блеске. Оттаво со временем обещает опасного соперника Ришарду, а девица Карпакова — вся талант. В ней созревают великие надежды Московского театра: прекрасная комическая актриса и отличная танцовщица; с такими разнообразными дарованиями она непременно займет одно из первых мест на нашей сцене. В балете это настоящая Грация! Какая беглость и чистота в отделке самых трудных *па!* Какое соответствие жестов к предмету ощущений или выражений! Одно заметим нашей юной питомице Терпсихоры: в выражении лица ее слишком мало соответствия душевным ощущениям. Мимика ее слишком постоянна и холодна; а мы желали бы видеть, как душа ее играет в тончайших оттенках физиономии. Это общий порок большей части наших танцовщиц. Конечно, балет есть не что иное, как сюжет драмы или комедии, в котором танцы так, как в опере пение, более или менее выражают положение и ощущение действующих лиц и в котором самое действие, как бы в одушевленной кар-

тике, представляется зрителю в таком от него отдалении, что только одно чувство зрения может обнимать всю полноту оного и он по телодвижениям только и жестам действующих лиц должен отгадывать смысл речей их, которые не достигают его слуха. В таком отношении ближайшие зрители должны воображать, что действие приближено к ним чрез посредство зрительной трубки, и потому балетные актеры и актрисы всегда обязаны помнить, что для сих последних каждая черта лица их ясно и ярко освещена. Какова ж должна быть досада такого зрителя, когда при очаровательнейших телодвижениях, верно и резко выражающих волнения душевные, он видит неподвижную, безучастную, мертвую физиономию? По этой же причине не желали бы мы, чтоб группы и corps de ballet [1] слишком близко подходили к оркестру, а более держались и вели все действия на средине сцены, не выходя за портал, представляющий в этом случае окно или раму, в которую для зрителя заключена вся картина действия. Но обратимся опять к нашему предмету. В заключение спектакля дана была «Молодая молочница, или Нисетта и Лука» — пастораль, разыгранная меньшим возрастом с таким же искусством и приятностью, как и предыдущий балет старшими воспитанниками. Она показалась нам прекрасною отдаленною кинетозографиею. Как милы, пленительны были малютки Иванова и Санковская! В них видны отпрыски будущих талантов; они подрастут, и дарования их принесут блистательные плоды. Одним словом, должно отдать справедливость сценическому образованию, которое дают воспитанникам и воспитанницам московской театральной школы. Не знаем, соответствует ли ему и так называемое *светское* их воспитание; но от души того желаем, потому что то и другое необходимы для совершенного образования хорошего артиста. Удовольствуемся пока тем, что есть. В течение нескольких лет театральное училище много улучшилось против прежнего. Честь и слава тем, которые словом или делом, советом или властью споспешествовали во благо этого рассадника юных талантов русских!

---

[1] Кордебалет *(франц.)*.

ТЕАТР

С удовольствием замечаем, что репертуар наш становится разнообразнее и свежей. Многие хорошие пиесы, которые давно уже не были в помине и почивали сном забвения на полках театральной библиотеки, теперь опять стали появляться на сцене. В запрошлый четверток, 14-го числа, мы видели возобновление трилогии князя А. А. Шаховского «Керим Гирей»; и в прошлый, 21-го — «Своей семьи, или Замужней невесты» А. С. Грибоедова, Н. И. Хмельницкого и князя А. А. Шаховского. Признаемся откровенно: обстановка первой совсем не соответствует ее содержанию; начиная от главных персонажей до последнего аксессуара — в ней *все* не на своем месте. В татарском стане совсем не дикие мусульмане — в них нет и тени азиатского раболепия и страха к своему шаху; в польском замке — это молодцы и красные девицы из русского хоровода, со всею их неподвижностью и флегматическими песнями. А Бахчисарайского фонтана мы вовсе и не видали — слышали только о нем от Заремы и Гирея. Декорации и костюмы распределены плохо, и вообще эта пиеса не годится для малой сцены и теряет лучшие эффекты. Но нельзя умолчать о диковинке: г. Козловский, в роле муллы, был, сверх чаяния и обыкновения, очень, очень недурен, а в сравнении с прочими лицами даже хорош.

Еще несколько любимых публикою пиес назначено к возобновлению; назовем из них на первый случай:

«Липецкие воды» князя Шаховского; «Забавы Калифа» А. И. Писарева и водевиль: «Кто брат, кто сестра?» А. С. Грибоедова и князя Вяземского.

«НЕВЕСТА»

Комическая опера в трех действиях,
соч. Скриба, перевод г. Ленского, музыка Обера

«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»

Комедия-водевиль в одном действии
Дивертисман
Спектакль на Большом театре, 22 мая,
в бенефис г. Бантышева

Гг. Булахов и Бантышев в этом году заслуживают полную признательность критики за прекрасный выбор пиес для своих бенефисов; жаль, что их подвиг оценен был не по достоинству: очень немного нашлось зрителей для обоих представлений. При такой холодности публики к русскому театру у правдивого рецензента не поднимется рука на тех артистов, которые, подобно г. Глушковскому, прибегают к спекуляциям или, подобно многим другим, дают под громким названием совершенный вздор в свои бенефисы. Нельзя решить: публика ли приучила артистов длинными афишами возбуждать ее внимание, или артисты заставили ее не верить скромным бенефисным объявлениям? Как бы то ни было, но г-н и г-жа Глушковские угостили в последний раз зрителей смесью старины весьма изношенной, с новостию вовсе незанимательною, не дали ничего целого; а между тем столько же, если не больше, выручили, сколько гг. Булахов и Бантышев, употребившие на свои бенефисы много труда, много издержек и поставившие на сцену нашу такие пиесы, которые могут быть украшением любого репертуара.

Обратимся к самому представлению. Музыка «Невесты» прекрасна, долго продержится на театре и займет одно из первых мест между комическими операми нашего времени. К совершенству ее недостает только националь-

ности: от первых звуков оперы до последних слышишь французского композитора, между тем как действие происходит в Вене, городе весьма музыкальном, достигшем в этом отношении до оригинальности. Заметим еще, что финал оперы совершенно слаб и беден в отношении к целому произведению. Впрочем, Обер оригинален, и не по тождеству только некоторых мотивов «Каменщика» и «Невесты» догадаешься, что обе оперы одного и того же автора. Содержание драмы, о котором не будем распространяться, заимствовано из повести Мармонтеля, известной русской публике по прекрасному переводу Карамзина «Так было должно», с тою разницею, что в опере пожертвовано для характера невесты благородным характером Орсильи в повести, или графа Левенштейна, как он назван в пиесе. Опера поставлена на нашей сцене с особенным старанием, и это утешает истинного любителя русского театра. В течение прошлого года мы видели такие поставки пиес, что... но, повинуясь пословице, мы ни слова не скажем о старом. Музыкальная часть сочинения оркестром и актерами выполнена была с похвальною точностью и особенным прилежанием. Театр наш имеет средства — следовательно, для усовершенствования оного нет препятствий, которых нельзя было бы не преодолеть. Г-жа Н. Репина своею умною, простою, благородною игрою растрогала зрителей. Она была прекрасна, и мы советуем ей остаться при подобных ролях, которые впоследствии доставят ей прочную славу. Желательно, чтобы г-жа Репина в будущие представления «Невесты» поживее играла в первом действии; чтобы она ослабила испуг свой в третьем, при входе графа Левенштейна, и чтоб шла со сцены, когда ее гонят из магазина Шарлотты, просто и естественно, а не по образцу наших трагических героинь. Уверяем ее, что подобная походка наскучила публике даже в трагедиях, что ее не существует в природе и что она, г-жа Репина, без подобных штук очень хорошо выполняла свою должность. Мы не можем не осудить г-жи Репиной, впрочем, за самое простительное в женщине желание, за желание — лучше одеться. Надобно подобные желания подчинять требованиям пиесы: зачем было надевать на себя такого яркого цвета фартучек за работою в первом действии? Для чего простая

девушка, по собственным словам ее весьма довольная своим состоянием и своею партией, надела на себя венчальный убор графини или баронессы? Покрой этого платья совершенно неприличен для ее звания. Наконец, платье, в котором явилась г-жа Репина в третьем действии, разноречило и с ролею и с ходом пиесы. Какой невесте после того, чем оканчивается для нее второе действие оперы, войдет в голову надеть щеголеватое неглиже в третьем? В будущие представления советуем в третьем акте одеться в рабочее платье без передника. Сии замечания делаем потому, что надеемся от г-жи Репиной многого на сцене и что костюм — важное дело в представлении. Г-н Бантышев не совсем хорошо выполнил свою роль; ему не следовало так кричать на свою невесту в первом действии, при отдаче Шарлоттою визитной карточки Генриетте; можно было обнаружить ревность без крику на особу, которая ему не была еще подвластна; а во втором акте нельзя с такою жестокостию отталкивать девушку, с которой он разрывал все узы. Советуем г. Бантышеву получше разобрать характер представляемого им лица: Франц ревнив, вспыльчив, но добродушен и чувствителен. Он женится на Шарлотте с досады, эту сцену отделать должно с большим тщанием. Г-н Булахов довольно хорошо выполнял роль графа. Надобно бы потребовать от него большей живости, ловкости, чувствительности и умеренности в печали; но первых двух качеств, кажется, он не приобретет к будущим представлениям «Невесты» и потому о последних только решаемся повторить настоятельно свои требования. Г-н Лавров в роли камергера совсем не был камергером; ему недоставало обхождения в свете людей высшего круга. Он одним тоном и голосом волочился за Генриеттой и спрашивал графа Левенштейна о деле, щекотливом для его чести. Справедливость, однакож, заставляет сказать, что г. Лавров был хорош в третьем действии — желательно, чтоб и в первых двух он поровнял свою игру с игрою в последнем. Г-жа Сабурова, как Шарлотта, незаметна была на сцене, хотя, по содержанию пиесы, эта роль одна из значительных пружин действия. Надобно было с бо́льшим участием и тонкостию расстроивать свадьбу Генриетты и ладить свою. Холод-

ная игра г-жи Сабуровой совсем не содействовала успеху представления. Мы заметили с удовольствием очень хорошую декорацию, представляющую внутренность модной лавки.

Водевиль «Знакомые незнакомцы» разыгран был хорошо; хотя он сам по себе не без достоинства, но утомителен сценою журналисток, вовсе ненужною для пиесы. Прекрасный романс Дельвига, петый в дивертисмане г. Бантышевым «Наяву и в сладком сне», совершенно был убит безжизненною музыкою.

«ФРА-ДИАВОЛО, или РАЗБОЙНИКИ В ТЕРАЧИНЕ»

Опера в трех действиях,
с хорами, маршами (?) и великолепным спектаклем,
соч. Скриба и Варнера, переведенная с французского г. Зотовым;
музыка Обера

«СТАРЫЙ ГУСАР, или ПАЖИ ФРИДРИХА II»

Опера-водевиль в трех действиях,
переведенная с французского г. Ленским;
музыка разных авторов

«ВОЗВРАЩЕНИЕ КНЯЗЯ ПОЖАРСКОГО В СВОЕ ПОМЕСТЬЕ»

Большой аналогический (??) дивертисман,
с хорами, куплетами и танцами, поставленный г. Глушковским.
Спектакль на Б. театре, 5 июня,
в бенефис г-жи Над. Репиной

Судя по летнему времени, публика была довольно многочисленна: кресла кипели зрителями, разного наименования ложи были заняты если не все сряду, то по крайней мере не с такими значительными пробелами, как в бенефисе гг. Булахова и Бантышева, а громогласные восклицания, вызовы и оглушительное хлопанье доказывали могущество и силу райка. Следовательно, бенефис

г-жи Репиной, наружною и выгоднейшею невещественною своею стороною, превосходил прочие летние бенефисы. Но внутренним достоинством он уступал, и очень уступал, спектаклям, данным в пользу гг. Булахова и Бантышева. Музыка оперы «Фра-Диаволо» замечательна по именной цене, а не по вещественной: ее украшает имя Обера, а не гений этого музыканта. Оттого-то и опера своим *целым* не производит никакого впечатления ни на душу знатока, ни на чувство простого любителя. Все части произведения как-то разбросаны, не докончены — не выделаны. Лучшее в ней — молитва Церлины и повторение оной во сне в ту минуту, когда разбойник заносит кинжал на спящую красавицу. Может быть, мы похвалили бы и песню о Фра-Диаволо, если бы г-жа Репина потрудилась пропеть ее драматически. Содержание пиесы заимствовано у Вашингтона Ирвинга, а обработано плоховато: герой ее, Фра-Диаволо, завален эпизодическими лицами. Английский лорд только для того выведен на сцену, чтоб было кому платить за разбитые горшки, то есть уладить свадьбу на своих расходах. Музыкальная сторона пиесы выполнена была удачно; сценическая постановка хотя и была хороша, но не имела того одушевления, которое мы с удовольствием заметили в «Невесте». Зато костюмы действующих лиц составляли странную смесь: тут были и колеты испанские и красные мундиры на сбирах, и новомодный сюртук на англичанине и многие другие несообразности, которых очень можно было бы избежать, имея в соображении время и место действия. Как не подосадовать иногда на своеволие композиторов? По прихоти их Танкреда играет какая-нибудь синьора Кресчендо, а плутоватого, злобного и отчаянного разбойника — сладкогласный Булахов, которого сердечная доброта, написанная на лице, заверяет, что он не может даже притвориться разбойником. Булахов пел прекрасно, но не имел ни ловкости, ни хитрости, ни зверской насмешливости Фра-Диаволо; г. Лавров ни на волос не походил на англичанина, а г-жа Сабурова на светскую леди: отличительною чертою ее игры была холодность, а по смыслу оперы Памела догадлива и кокетка. Г-жа Репина... Зная дарования и опытность ее на сцене, признаемся — мы ожидали от нее гораздо

больше. Она ничего не сделала из своей роли; хотела представить в живом образе добродушную невинность и простосердечие, но сквозь тонкое покрывало этих милых качеств беспрестанно пробивались в ней наглость трактирной служанки, свыкшейся с своим званием. Вообще пиесы, в которых одеваются и раздеваются на сцене, не очень ладят с приличием: нам бы не хотелось слышать в другой раз ни этого громкого хохота, ни сильного аплодисмана, последовавшего за хохотом, при раздеванье Церлины. Еще одно сомнение: с кем раскланивалась и прощалась г-жа Репина, улегшись в постелю? На сцене никого не было, а об опасном соседстве Фра-Диаволо и его товарищей ей знать не следовало. Г-н Бантышев играл Лоренцо довольно хорошо; выражал горесть любовника, почитающего свою любезную изменницей, удачно и очень верно оттенил намерение не обличать ее в мнимом проступке. Пожелаем ему поболее ловкости и живости — и эта роль пойдет у него весьма успешно.

Содержание «Старого гусара» весьма старо. Кому не известен роман Пиго-Лебрюня «Барон Фелогейм, или Прекрасный паж в Шпандау»? Кто не знает оперы под тем же названием? И вот они повторены в водевиле, с прибавлениями прямо на французский лад. Тут выведен и Фридрих Великий, есть и сражение, и гусар, толкующий о субординации и едва не бьющий гофмейстера пажей в шитом французском кафтане, превращающегося потом в коменданта крепости без перемены костюма; есть и лгун паж, и старая надзирательница, и тюремщик, бежавший с арестантами на сражение, и... словом, тут все есть, кроме прекрасного. Забавно было видеть на сцене, в свите Фридриха, между прусскими мундирами мундиры шведские, австрийские и другие. Г-н П. Степанов в роли Фридриха казался живым портретом сего знаменитого короля, весьма удачно подражал его походке, телодвижениям, привычкам; жаль только, что не слышно было многим того, что он говорил, но эта беда поправная. *Старый гусар*, г. Щепкин, одетый слишком карикатурно и неестественно, очень хорошо выражал привязанность свою к молодому Фелогейму, но не совсем удачно — к Кретли. Заметим ему, что, певши о восхищении своем,

когда молодой барон начал черкаться, или чертаться, старый гусар не должен был показывать руками фехтовальных темпов; ибо здесь шла речь не о драке, а об имени лукавого. Мы желали бы, чтоб г. Щепкин в этой роле был воином более пламенным; иначе совершенно нельзя будет оправдать побега его из крепости с двумя пажами, хотя этот побег совершенно невероятен. Г-жа Петрова решительно была дурна в роле Башильды, и громкий голос ее нисколько не украсил водевильного пения. О благородстве ее игры и сообразности оной с представляемым лицом нечего и говорить. Г-жа Лисицына, по обыкновению, была очень хороша, но роль ее, особенно куплетцы о старом Брандте куда как незатейливы. Г-н Орлов делал свое дело весьма недурно и довольно был похож на коменданта и генерала; то же самое должны мы сказать и о девице Куликовой, игравшей прекрасно молодого Фелогейма. Но г-жа Репина, в роле другого пажа, не представила, как бы следовало, мальчишку *сорви-голову*. Очень, очень было заметно, что она переодетая девушка, ей недоставало живости и наглости, отличительных свойств Карла.

Дивертисман, несмотря на громкое свое название, крайне дурен, и жаль, что имя Пожарского употребляется для прикрытия подобных вздоров. Антракты хотя были и не очень коротки, но казались короче воробьиного носа в сравнении с антрактами блаженной памяти.

«ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЭТ, или ЛЮБОВЬ ХИТРА НА ВЫДУМКИ»

Комедия в трех действиях, перевод с французского

«ЗЕФИР И ФЛОРА»

Балет.
Спектакль на М. театре, 9 июня

Зрителей было весьма мало; спектакль кончился в *девять часов* — это такая редкость, что необходимо надобно довести ее до сведения наших читателей как самую неожиданную и свежую новость. Бог знает, что за комедия: «Деревенский поэт»! Она переделана на русские нравы, то есть в ней русские имена действующих лиц и Россия — место действия; но так мало русского быту, что величайший знаток наших отечественных достопримечательностей не доберется до того, в какое время могло бы быть усвоено нам содержание сей пиесы с ее подробностями. Слуги бранятся между собою и нагло оскорбляют гостей в присутствии своих господ; волочатся за своей барынею и говорят ей комплименты; словом, в пиесе забыты приличия до невероятности. Комедия была бы сыграна очень хорошо, если бы гг. Живокини, Третьяков и Ленский потрудились выучить свои роли. Первый, сверх того, ознаменовал себя довольно плоскими фарсами и странным размахиванием рук во все стороны. Это, конечно, весьма картинно, но, право, нисколько не

изящно и не грациозно. У г-жи Львовой-Синецкой, в сцене сумасшествия, заметили мы с удовольствием внезапный переход слез к хохоту, выработанный отлично. Но обратимся к Живокини, Третьякову и Ленскому и скажем откровенно этим господам, что незнание ролей есть величайшая неучтивость перед публикой, которая платит деньги не за то, чтоб видеть, как артисты, даже с помощию суфлера, не попадают на прямую дорогу и расстроивают игру своих товарищей, исправных и вежливых. О балете, составленном из театральной школы, «Молва» остается при своем мнении, изложенном в отчете об испытании означенного училища.

«ПОВО(А)РА ДИПЛОМАТЫ»

Комедия-водевиль в одном действии, соч. Рошефора, Бертелеми и Масона, переделанная (?!) с французского А. Н. П.

«БРАТЬЯ МАТРОСЫ, или ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»

Опера-водевиль в одном действии Ф. А. Кони; сюжет заимствован с французского; музыка разных авторов

«Я — МОЙ БРАТ»

Комедия в одном действии с куплетами, переведенная с немецкого Ф. А. Кони. В заключение

«ДЕВИШНИК, или ФИЛАТКИНА СВАДЬБА, СЛЕДСТВИЕ ЯМА И ПОСИДЕЛОК»

Комическая опера в одном действии, соч. А. Княжнина, музыка А. Титова. Спектакль на Б. театре 11 июня, в бенефис г. Живокини.

Бенефис г. Живокини можно назвать весьма блистательным спектаклем по числу зрителей, но весьма несчастным по выбору пиес, составлявших оный. В одном из предыдущих нумеров «Молвы» по ошибке сказано было что г. Живокини в свой бенефис даст несколько *невинных* комедий и водевилей: опечатка непроститель-

ная — комедии и водевили были виновны до невероятности и во всех отношениях. «Повара дипломаты» — пиеса, ничтожная по содержанию своему, была замечена на сцене по тонкой и обдуманной игре девицы Куликовой, по превосходному представлению пьяного повара г. Щепкиным и по совершенному незнанию своей роли г. Сабуровым. Бедняжка! какая у него слабая память! Кажется, он не слишком завален работой, ибо со времени возобновления спектаклей мы видели его только в двух новых ролях, и то довольно коротеньких.

Почему следсвавший за комедиею водевиль назван «Братья матросы» — остается и по сие время для нас тайною. Содержание водевиля занимательно, и положение отца, любящего страстно дочь, но таящего сии права свои, чтоб не помешать ее благополучию, не совсем ново, но отработано чрезвычайно дурно. Проза и стихи водевиля написаны варварским наречием, выражения совершенно не русские, и только звуки слов, а не смысл и связь их принадлежат родному языку нашему. Г-н Щепкин в роле отца был очень хорош, как и г. Живокини в роле другого матроса. Последний отличился, пропев два раза мастерски следующие куплеты:

Уж это умное сужденье!
И в *модном* свете точно так.
Давно вошло в употребленье:
Кто ясно видит, тот дурак!

Лесть любят дамы и мужчины,
Министр, кокетка, весельчак...
У женщин видишь коль морщины
Из-под румян, так ты — *дурак!*

С пристрастьем наглым для разборов
Ты к журналисту на чердак
Не наводи правдивых взоров,
Иль *выдаст в свет,* что ты — *дурак!*

Что знатный — глуп, смешон — вельможа,
Мильонщик — плут и туп — остряк...
Не смей сказать, избави боже!..
Иль закричат все — *он дурак!*

Девица Куликова была мила, за исключением трогательных сцен; горесть и слезы не сдружились с открытою и веселою ее физиономией. Но молодая актриса,

обладающая истинным дарованием, должна учиться, учиться беспрестанно и стараться победить самую природу. Впрочем, Луизой с большим успехом могла быть г-жа Репина, которая, кажется, слишком рано собралась отдыхать на лаврах и потому в этой пиесе не играла. Г-жа Кашина в роли ловкой и капризной кокетки была нестерпима; впрочем, играть ее следовало бы г-же Сабуровой, ибо, судя по рядовому ее таланту, эта роль ей и по плечу и по амплуа. Г-н Кони, творец водевиля, через девицу Куликову намекнул публике, что он не прочь от вызова, и был вызван.

«Я — мой брат» — длинный, пустой, болтливый и несносный немецкий фарс, к сожалению, разыгран был отлично хорошо. Как жалели мы о первых талантах наших и о дарованиях, обещающих многое, осужденных выучить огромные роли из этой галиматьи, напичканной всевозможными барбаризмами, солецизмами, германизмами, плоскостями и неблагопристойностями. Г-н Щепкин, сначала удачно подделавшийся под физиономию немца, в продолжение пиесы сбился на тон Транжирина и кончил свою роль настоящим русаком. Прочие артисты очень хорошо выразумели и исполнили свое дело. Г-н Кони, переводчик комедии, был опять вызван. Да не ослепится г. Кони этою благосклонностию публики, в коей вопиющую часть, вероятно, составляли его доброжелатели, к которым и мы охотно себя причисляем. Но — magis amica veritas! [1] Не узнавши основательно русского языка, не приобретя разного рода познаний, необходимых для сочинителя и переводчика, он не должен подвизаться на драматическом поприще. Советуем ему в тиши учебного кабинета посблизиться с отечественным языком нашим, которого он не большой знаток, и хорошенько им подковаться — театральная сцена скользка. С тем же беспристрастием мы похвалим его хорошие переводы, но и тогда заметим, что на плоскостях и неблагопристойностях дальше райка не уедешь.

«Филаткина свадьба» содержанием своим давно известна. Главные лица — Филатка и Федора — были разыграны г. Живокини и Репиной очень хорошо, и мы с удо-

[1] Истина дороже *(лат.)*.

вольствием заметили, что они избежали той отвратительной стороны, какую придавали этим ролям некогда г. Лисицын и г-жа Шепелева. Несносных фарсов сих отшедших к миру артистов без внутреннего и мучительного содрогания не мог видеть ни один умный и просвещенный зритель. Г-н Живокини выдержал роль свою до конца, а г-жа Репина иногда забывалась и выходила из надлежащего тона. Саломаниду играла Лисицына, и при всем уважении к ее таланту мы должны сказать — она играла неудачно. Протяжный разговор совершенно нейдет к этой скороговорной роли. Думаем, что г-жа Кавалерова была бы тут превосходна и совершенно на своем месте. Спектакль кончился почти в двенадцать часов, по милости несносно длинных антрактов, неприятным образом напоминавших старину и грустное былое.

На другой день, в пятницу, мы смотрели «Свою семью» и «Механические фигуры». Зрителей было весьма мало; спектакль кончился в девять часов без четверти!!! Разбор игры актеров в «Своей семье» будет предложен при следующем представлении этой комедии.

«ТЕРЕЗА, или ЖЕНЕВСКАЯ СИРОТА»

Мелодрама в трех действиях

«ТРИ ДЕСЯТКИ, или НОВОЕ ДВУХДНЕВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

Опера в трех действиях,
переведенная с французского А. И. Писаревым;
музыка А. Верстовского и А. Алябьева.
Спектакль на Б. театре, 18 июня,
в бенефис г. Орлова

Один из самых скудных бенефисов! Удивляться нечему; г. Орлов не приобрел благосклонности здешней публики, ибо с того времени, как играет на Московском театре, не более двух ролей поставил он успешно. При всем том нельзя его не похвалить за выбор пиес для своего бенефиса. Не подражая иным товарищам своим, вместо новых вздоров он заимствовал из старого репертуара занимательный водевиль незабвенного Писарева и довольно сносную мелодраму. В последней только один злодей, одно смертоубийство, одно привидение, два пистолетных выстрела и один пожар от громового удара: согласитесь, что на этот раз зрители дешево отделались от мелодрамы. «Женевская сирота» не может похвалиться поставкою. Мызник с домашними своими весьма поздно выходит на сцену, когда Валтер покушается заколоть Терезу; следовательно, злодей, имеющий довольно

времени убить свою жертву и скрыться, потому только не совершает преступления, что роль велит ему грозить, а не поражать. Напротив того, сцена наполняется людьми весьма рано, когда выбегает Тереза с ножом из горящего павильона. В виду Карла и Пикара уходит Валтер; следовательно, они имеют средство захватить убийцу на месте преступления или по крайней мере по пятам погнаться за ним в лес. Бенефициент нетвердо выучил свою роль и выполнил ее дурно. В нем нельзя было признать отчаянного злодея, готового решиться на все для достижения своей цели: трепет обвиненного преступника, опасающегося изменить самому себе перед судьей, ужас при взгляде на мнимое привидение убитой и невольное признание в злодействе, противу желания исторгшееся из груди, — все это было г. Орловым выражено весьма неудачно. Выключая сцен с Валтером, обдуманных очень хорошо и выполненных с благородством, г-жа Львова-Синецкая играла Терезу слишком искусственно и потому неправильно, ибо характер Терезы требует простоты, приличной для гонимой невинности и совершенно ее украшающей. Не советуем г-же Львовой-Синецкой в этой роле так часто прибегать к слезам: положение «женевской сироты» есть положение отчаяния и той безмолвной горести, в которой человек не находит в себе слез и считает их особенным благодеянием неба. Г-жа Борисова исполняла свою обязанность хорошо, и наше общее замечание насчет игры ее, кажется, не послужит в пользу: эта актриса слишком привязана к правилам прежней школы и едва ли согласится победить давнюю привычку — вычитывать и выпевать свои монологи. Привычку сию с сожалением заметили мы и в этом представлении при обдуманной игре г-жи Борисовой. Простота, по нашему мнению, вернее ведет к изящному, нежели затейливые выдумки старых наставников драматического искусства; но с законом давности сражаться трудно. Г-н Волков ничем не походил на Эгертона, благородное, человеколюбивое и умное лицо мелодрамы. С начала до конца он без складу пропел свою роль и был доволен собою; но недовольны им критика и зрители. Г-н Афанасьев, представляя хорошо мызника Матурина, ходил по сцене так, как будто бы ноги его по-

ражены были параличом. Неужели подобная походка есть отличительный признак пожилого крестьянина? — Ни рецензенту, ни зрителям никакой надобности нет проникать в причины, заставившие г. Мочалова появиться в ничтожной роле Карла; но первый и последние вправе требовать от всякого артиста, чтобы он с должным старанием выполнял на сцене свое дело. О дарованиях г. Мочалова никто не спорит; но познания его в драматическом искусстве весьма ограничены; следовательно, из любви к своему званию он обязан всякую роль отработывать со всем усердием и тем постепенно совершенствоваться на сценическом поприще; а из уважения к публике он не должен своею небрежностию показывать: я-де великий гений, эта роль слишком для меня низка, и я играю ее из снисхождения. Как ни маловажна роль Карла, но г. Мочалов был в ней по игре своей ниже ее несравненно. Прочие артисты, за исключением г. Усачева, бывшего не в своей тарелке, играли в мелодраме хорошо.

«Три десятки» — водевиль, переведенный г. Писаревым, благодаря разборчивости нынешнего театрального начальства в Москве возобновлен к удовольствию публики, всегда с благосклонностью принимавшей труды поэта, так рано кончившего литературное и житейское поприще. Эта пиеса, хотя несколько растянутая, довольно занимательна по своему содержанию. Ей усвоен характер новейшего водевиля, распространившего пределы свои в область важного, трогательного и ужасного. Писарев, в продолжение своей жизни, исключительно посвящал свои труды Московскому театру не только в качестве сочинителя и переводчика, но и в качестве чиновника, коего ласковое обращение и благоразумные советы по драматическому искусству должны быть в свежей памяти здешних артистов. Из признательности к его заслугам надлежало бы по крайней мере при возобновлении водевиля «Три десятки» получше заняться обставкою оного. Действие происходит в Париже, а гг. артисты, участвовавшие в представлении оного, поступали совершенно вопреки французским нравам: они на празднике целовали ручки у дам; дамы, приехавшие на бал к г-же Сенанж, целовались с хозяйкой; танцевавшие ка-

валеры (за исключением г. Сабурова) были одеты совсем не по бальному, взглянув на них, всякий мог бы подумать, что они только что кончили прогулку по булевару; одна г-жа Ришард явилась на сцену в приличном костюме. Наблюдая за ходом водевиля, в третьем акте мы заметили, что чего-то недоставало в полноте и ясности действия, и не прежде разгадали себе эту странность, как по окончании представления. На афише между действующими лицами значился: Брант, отставной гусар, слуга полковника — г-н П. Степанов. На этот раз мы не видали г. Степанова на сцене, следовательно, соображая сие обстоятельство с замечанием нашим, изложенным выше, заключаем, что целое явление не было разыграно в конце второго акта, и это подтвердили нам видевшие представление сего водевиля во времена оны. Нам сказывали, что в пропущенном явлении Брант приносит к полковнику письмо от мэра, по которому зритель приготовляется в Эмилии найти дочь Гриднера. Сцена сия совершенно необходима для связи пиесы, и выпускать ее нипочему не следовало. Чья бы ни была тут оплошность, но она досадна для размышляющего зрителя. Водевиль был разыгран очень хорошо, за что обязаны мы благодарить г-ж Сабурову, Репину и г. Сабурова. Хотя роль г-жи Дюфур совсем не отвечает по летам г-же Сабуровой, но она выполнила ее с большим чувством, точностию, полным успехом и пропела балладу о своем приемыше весьма трогательно. Г-жа Репина играла очень хорошо, просто, благородно, без всяких театральных вычуров; до сих пор отдается в ушах наших ее: *да!* Г-н Сабуров одет был лихо; костюм его совершенно отвечал требованиям роли и нынешней французской моды; играл он весьма хорошо, ловко и выпевал куплеты мастерски, так что ни одна острота оных, ни один каламбур не были потеряны для зрителей. Хотя г. Сабуров и воспользовался замечанием нашим, сказанным в предыдущем нумере «Молвы», хотя на этот раз он тверже знал свою роль — но все еще не так, как бы хотелось публике, ибо и в «Трех десятках» язык его немножко спотыкался. Г-н Лавров в *третьем* акте отличился: он был настоящим отцом, из груди которого вырывались вопли родительской нежности и отчаяния,

и это загладило неловкую и неудачную игру его в первых двух действиях. Г-жа Лаврова была очень мила и нас порадовала доброю надеждою. Публике известны ее дарования, но не было известно то, что она намерена пользоваться ими и вырабатывать свои роли. Г-жа Борисова выполняла свою обязанность также хорошо; зато г. Щепкин ни на волос не походил на честолюбивого французского банкира, г. Бантышев — на образованного и чувствительного человека, а г-жа Петрова — на благовоспитанную девушку. Игра сих трех артистов заслуживает строгое осуждение критики. Спектакль кончился в одиннадцать часов, антракты были сносны, кроме одного, в продолжение коего можно б было поскучать, если б в торжественную минуту общей тишины не пролился из райка двузнаменательный визг, вроде свиста, вероятно от насморка, которым страдал какой-нибудь из тамошних обывателей. В заключение заметим, что в водевиле мы не слыхали куплета, оканчивающегося так:

Всем мил цветок оранжерейный,
И всем наскучил полевой!

Вероятно, он был выпущен для предупреждения соблазна в публике; но мы скорее порадовались бы, если б не пели также двуличного куплета о том, что бывает с девушкой на другой день ее замужества.

До «Молвы» доходят сетования артистов на строгость ее критики; однажды навсегда объяснимся по этому случаю. С равною готовностью хвалим мы достойное одобрения, с какою осуждаем заслуживающее порицания. В этом отношении мы руководствуемся вкусом и беспристрастием, а не посторонними какими-либо причинами. Цель наша содействовать своими замечаниями успехам российской сцены, которой желаем сравниться с знаменитейшими театрами Европы и даже превзойти их. Руководствуясь таким благородным чувством, мы всегда будем глухи к жалобам провинившихся артистов, к просьбам дружбы, к воплю всяких посторонних отношений. Мы не принесем им на жертву благородного искусства, процветание коего в любезном отечестве нашем необходимо будет содействовать просвещению оного.

«ИОСИФ»

Большая опера в трех действиях,
соч. Дюваля, перевод Льва Брандта, музыка соч. Мегюля;
с принадлежащими к оной хорами,
маршами и великолепным спектаклем

«ЗЕФИР, или ВЕТРЕНИК, СДЕЛАВШИЙСЯ ПОСТОЯННЫМ»

Балет в одном действии,
соч. Дюпора, поставленный Глушковским.
Пятница, июля 24, на Малом театре

Несмотря на недостаток исполнения и осиплый голос г. Булахова, мы с большим удовольствием были в театре: прелестная музыка Мегюля все вознаграждала. Нельзя было, однако, видеть без досады, как дурно воспользовался автор пиесы этою превосходною повестью священной истории, столь известной каждому зрителю; для чего он не следовал истине, которой одной достаточно б было для очарования? Переводчик также был с ним заодно, везде напыщенный слог и даже нелепые выражения.

Г-н Булахов, как певец, выполнял роль Клеофаса, или Иосифа, прекрасно. Г-н Лавров в роли Иакова мог бы, при большей степени искусства, дойти до возможного совершенства. Он и теперь был весьма хорош. Наблюдая театр, давно мы заметили, однако, к сожалению,

что г. Лавров играет Иакова с теми же недостатками, как и в первый раз: мы говорим об игре, а не о пении. Быть может, наше замечание покажется странным г. Лаврову, ибо, вероятно, многие твердят ему, что он в роли Иакова превосходен; но если он истинный артист, то почувствует правду наших слов и поймет наше желание: в искусствах надобно идти вперед, в противном случае непременно пойдешь назад. Чего недостает г. Лаврову, чтоб сделаться первоклассным актером и певцом? Труда, ученья. Пусть он сердится, если хочет, за нашу благонамеренную правду! Вениамина играла г-жа Лаврова и, несмотря на свой прекрасный голос и дарование, играла и пела весьма дурно и неверно, даже не знала роли. Вот в чем состоит несчастие русского театра, где артисты не любят своего искусства и дарования их не процветают, а гибнут. Г-н Бантышев, скажем откровенно, был нехорош, но по крайней мере он старался выполнить трудную роль Симеона; даже прелестный голос его и прекрасное лицо не шли к этой роли. О прочих говорить нечего. Балет *танцевали* отлично, ибо он был обставлен лучшими нашими танцовщицами и танцовщиками.

ТЕАТР

После поста театр открылся русским спектаклем в воскресенье, 16 августа. Давали «Гуситов под Наумбургом», известную драму Коцебу, которая во *времена оны* заставляла плакать навзрыд и партер и ложи. Хотя сии блаженные времена сохраняются уже только в преданиях, но мы видели и ныне несколько белых платков перед глазами зрительниц. И правду сказать, многие сцены в пиесе таковы, что от них никогда не стыдно поплакать. Мы не знаем меры в наших предубеждениях ни *за*, ни *против*, и отвержение, лежащее теперь на всех произведениях Коцебу, едва ли более справедливо, чем прежнее фанатическое пристрастие. Нынешняя пиеса, конечно, не имеет в себе никакого художественного достоинства: в ней нет действия, главной стихии драмы; но зато есть ситуации, трогающие до глубины души. Таковы все те, в которых являются дети. Сцена Вольфа с Берфою, где несчастной матери предоставляется жестокий выбор между детьми, ознаменована печатию глубокой естественности. Г-жа Борисова, игравшая Берфу, вообще была очень хороша, но позволяла себе иногда вскрикивать слишком громко. Г-н Орлов в роли Вольфа был, сверх всякого ожидания, постоянно хорош и держал себя как нельзя лучше; но зато г. Третьяков, игравший видное лицо Прокопия, совершенно не знал своей роли. Это нестерпимо!

За драмою следовала известная опера-водевиль «Невинный в вине, или Судейский приговор», которая

шла очень хорошо. Г-н Щепкин был, особенно к концу, превосходен; г-жа Над. Репина, по обыкновению, мила. Нельзя было также не заметить с удовольствием, что г. Живокини приметно отвыкает от фарсов, кои безобразили, в угодность райку, талант его. На этот раз он играл с большим приличием и ровностию.

В понедельник, 17 августа, на Большом театре давался большой балет «Астольф и Жоконд, или Искатели приключений»; на Малом театре играли французские актеры. В тот же вечер г. Пивко, актер немецкой труппы, утверждающейся в Москве, праздновал свою серебряную свадьбу, о чем «Молва» не умедлит известить подробно.

«НОЧЬ НА НОВЫЙ ГОД»

Новая комедия в трех действиях, переложенная из повести Цшокке В. Мещериновым

«МОЛОД И СТАР, ЖЕНАТ И НЕТ»

Комедия-водевиль в двух действиях, переведенная с французского Н. Ф. Павловым

«СВАТ ГАВРИЛЫЧ, или СГОВОР НА ЯМУ»

Интермедия с хорами и танцами
Спектакль на Большом театре, 16 сентября, в пользу г-жи Кавалеровой

Новая комедия этого спектакля служит новым доказательством того, что из романов и повестей хороших комедий и драм не делается. Прекрасная повесть Цшокке «Ночь на Новый год» в чтении кажется драматическою картиною, которая кипит действием с возрастающею занимательностию; эта же самая повесть на сцене, *переложенная* в комедию, утомительна до чрезвычайности, снотворна, длинна, болтлива и вовсе незанимательна. Творческая фантазия и самая природа положила резкое различие между действием эпическим и действием драматическим. Действие повествования есть рассказ сочинителя о поступках других людей; действие драмы — поступки лиц, в ней выведенных. Повествователь говорит вам, что видит и как видит; комик не показывается

пред зрителями, но высылает к нам людей, которые сами действуют сообразно с своими характерами, своими намерениями и волею, своею или чужою. Нельзя спросить: почему ты это видишь или почему ты это видишь так, а не иначе; но можно и должно спрашивать: почему ты это делаешь или почему ты это делаешь так, а не иначе. Но разве одно и то же происшествие не может быть содержанием и повести и драмы? Может; но не более того, как одно и то же золото идет на ожерелье красавицы и вооружение воина. Драматический писатель занимает у сочинителя повести — один миф; а все прочее: характеры, пружины действия, положения своих героев, начало драмы, завязку, минуту и обстоятельства развязки творит сам, и все это приводит в соприкосновение так, что последствием оного бывает совершенная гармония целого при совершенном разнообразии частей. Г-н Мещеринов действовал иначе: с робостию неопытного ученика влачился он за Цшокке, перекладывал в разговоры его повествование и отказался от прав и преимуществ изобретателя. Следствием этой робости были повторения в рассказах того, что зритель видел в действии, неясность характеров, незанимательность положений, несвязность явлений с целым и между собою; наконец, скука, которая на минуту рассталась с зрителями совершенно без причины и ожидания при уведомлении об адресе Розы, живущей в Молочной улице. Словом, в драме мы не видали ни необходимости драмы, ни необходимости определенной ей развязки; но видели необходимость окончания этой комедии, которая сделалась тягостною работою для зрителей, хотя и была забавой для сочинителя.

Надобно признаться, что и артисты наши отличились в представлении комедии «Ночь на новый год»! По сю пору мы не можем решить: кто играл лучше других, потому что они все играли худо; или кто играл хуже прочих, потому что они не уступали друг другу. Г-н Щепкин, вероятно решась не выдавать товарищей или, может быть, по свойственному для дарования самолюбию, захотев и в дурном оригинальности, проиграл всю свою роль втихомолку, так что едва слышал его беседовавший с ним на сцене г. Мочалов. Должно пожа-

леть о г-же Федоровой, которая, при настоящих дарованиях, играет дурно, пищит, кривляется на сцене и не вникает в свои обязанности. В самом безобразии, с которым отделала она роль Розы, мы с удовольствием заметили истинное дарование и неподдельную природу при ссоре ее с Филиппом в начале третьего акта. Должно сознаться, что и сценическая поставка комедии была достойна игры и пиесы. В пышной танцевальной зале, во время маскерада, неведомо как очутилась кушетка, на которой некоторые из масок изволили покоиться, как у себя дома.

Водевиль искупил с избытком скуку, причиненную комедиею. Он шел прекрасно. Г-н Щепкин был превосходен. Г-ну Живокини немногого недоставало к совершенству: крошечку б еще поменьше кривлянья и фарсов! Г-жа Над. Репина была очень хороша, и г. П. Степанов, пока оставался стариком, заменял удачно покойного Сабурова.

В интермедии, не имеющей, впрочем, в себе ничего, мы видели г-жу Кавалерову на своем месте и полюбовались от души натуральностью, с которою играла она роль русской простой старухи, для которой она именно и создана.

В заключение должно сказать, что спектакль был блестящий, зрители снисходительны и многочисленны. Это сердечно порадовало нас за бенефициентку, своими дарованиями и трудолюбием совершенно заслуживающую поощрения публики.

«ФРА-ДИАВОЛО, или РАЗБОЙНИКИ В ТЕРАЧИНЕ»

Опера в трех действиях, музыка Обера

«СТРАНСТВУЮЩИЕ ЛЕКАРЯ»

Опера-водевиль в одном действии
Спектакль на Большом театре, 18 сентября

Угадать настоящую потребность и вкус нашей публики в драматическом отношении значит разрешить загадку сфинкса. Чтобы увериться в справедливости этого, надобно было только посетить театр во время сего прекрасного спектакля: грусть одиночества томила несколько десятков зрителей в первых двух рядах кресел; остальные все были пусты, так же как ложи и бенуары, издавна покрытые тьмою кромешною. Такое хладнокровие к русскому театру и русским артистам очень прискорбно и тем еще более, что оно вовсе *незаслуженное*, ибо желание совершенствоваться, во многих отношениях с большим успехом уже оправданное, очевидно на нашей сцене. Для поддержания его нужно только ободрение, которое для таланта то же, что солнце для растения. Когда же солнце это проглянет на русских артистов?

Мнение наше об опере «Фра-Диаволо» было сказано при появлении оной в первый раз в бенефис г-жи Репиной — мы ничего к нему прибавить не имеем; но в игре некоторых действующих лиц с удовольствием заметили

зрители счастливую перемену и больше внимания к своим ролям. В этом отношении особенно поблагодарим г. Бантышева (Лоренцо), который ни одним движением не уронил характера представляемого им лица, и г-жу Репину. Последняя привела нас в умиление молитвою во втором действии, и вообще всю сию сцену, лучшую и труднейшую в пиесе, исполнила в этот раз отлично и с благородством, не позволив себе ни малейшего отступления от характера, данного ей автором. Отдавая всегда полную справедливость усердию и таланту сей артистки, нам тем более приятно делать это теперь, потому что при первом представлении «Фра-Диаволо» долг беспристрастия обязывал нас отнестись об игре ее совсем иначе.

За возобновление на нашей сцене «Странствующих лекарей» незабвенного Писарева публика обязана деятельности нынешнего театрального начальства, которое в продолжение нескольких месяцев извлекло из мрака забвения многие прекрасные пиесы и поставило несколько совершенно новых. Что касается до «Странствующих лекарей», то основная их идея, сама по себе весьма высокая, не могла быть развита с достоинством в тесной водевильной раме. Вот почему пиеса сия никогда не произведет желаемого эффекта на сцене, хотя и имеет на то полное право по отличному исполнению, по хорошей музыке и превосходным своим куплетам, из коих в каждом отражается пламенная душа автора.

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»

Комедия в четырех действиях

«ДВЕ ЗАПИСКИ»

Водевиль в одном действии
Спектакль на Малом театре, 2 октября

Бедный Бомарше! С какою неблагодарною холодностию приняла его московская публика! Театр был почти совершенно пустой. Зато и артисты наши, без хвастовства сказать, не потратили сил даром. Начиная с актеров, выходивших на сцену для двух слов, до г. Щепкина включительно, все были чудесны! Г-н Щепкин, в «Женитьбе Фигаро», играл Бартоло стариком довольно крепким, а теперь, неизвестно почему, вздумал шемшить в «Севильском цирюльнике». Это шемшенье вовсе нейдет ни к роли, ни к актеру, который от того становится не вразумительнее для зрителей. Везде, где г. Щепкин шемшит, везде бывает он нехорош и везде не выдерживает этого признака дряхлости. Кроме настоящего случая, ссылаемся на Скупого и на Каталани в «Кривинкеле». Еще одно замечание для г. Щепкина: Бартоло и Транжирин — две параллели, нигде не соприкасающиеся. Климат, обычаи, поверья и особенности каждого из этих двух характеров полагают между ними совершенное несходство. И что ж — в конце четвертого действия явился здесь старый знакомец наш Транжирин под нарядом испанского доктора. Г-н Мочалов в образе

пьяного коновала и Алонзо остался тем же Мочаловым, каким он был в прочих явлениях. Ничто не оттеняло разговоров его с Бартоло во всеуслышание от разговоров с Розиной потихоньку; прибавьте к тому неловкость г. Мочалова и неуменье быть знатной особой на сцене, и вы будете иметь совершенное понятие о том, как сыграл он графа Альмавиву. Посчастливится ли г. Афанасьеву в будущие представления «Севильского цирюльника» — не знаем; на этот раз он весьма немного походил на Фигаро. Всех хуже была г-жа Панова. Она не рождена для драмы и хорошо сделает, если воротится к танцам. Неприятный голос, балетные ухватки и отсутствие всякого дарования должны убедить ее, что новое поприще не по ее силам. Сноснее прочих был Базиль, которого играл г. Никифоров.

Между некоторыми возобновленными водевилями г. Писарева мы с сожалением заметили одно из плохих его произведений: «Две записки». В ней всем пожертвовано для двусмысленностей, любезных райку. Игра г-жи Репиной и г. Рязанцева поддерживала ее прежде; но г-жа Лаврова — худая поддержка. Г-н Живокини слишком фарсил, слишком суетился и тем затмил несколько выражений, произнесенных им весьма удачно. Костюмы были не соблюдены в этом водевиле.

Кстати о театре. В № 216 «Северной пчелы» напечатано письмо к Булгарину из Москвы от невидимки В. У., известного в нашей журналистике странными понятиями о различных вещах, о которых он довольно откровенно беседует в переписке со своим другом, а тот, вероятно для забавы, предает их тиснению. Но на этот раз В. У. к обыкновенной своей странности прибавил нечто новое — именно неправду. Речь идет о комедии «Ночь на Новый год», соч. г. Мещеринова, игранной на нашей сцене и о которой мы отдали уже отчет читателям. В. У. решительно недоволен этим спектаклем и, перефразировав нашу о нем рецензию, прибавил к ней, в пылу страсти, несколько неприличных по грубому тону выражений насчет отличнейших артистов и, сверх того, позволил себе написать клевету на дирекцию. «Последняя, — говорит он решительно, — выкинула лучшую сцену из комедии, урезала разговор без милосердия,

заменив многие выражения другими и все это — *без воли автора, который находился в Петербурге»*. Мы уверены, что ни один из благомыслящих читателей «Северной пчелы» г-ну В. У. на слово не поверил; но не менее того долг справедливости обязывает нас сказать, что он говорит совершенную неправду, ибо, сколько нам известно, без воли автора ничего не изменено в пиесе «Ночь на новый год», да и ни в каких пиесах сего не делается и делаться не может. Все доказательство В. У. основывается на пустой фразе: *который* (т. е. автор) *находится в Петербурге;* но из этого еще ничего не следует, кроме разве того, что В. У. находится хотя и в Москве, а все-таки говорит о ней небывальщину, как ясно видно из всех его писем к Булгарину. Что касается до других придирок В. У. к этому спектаклю, то они смешны и совершенно в духе логики и вкуса г-на В. У. Одно только очень мило: это досада его, зачем декорация улицы германского города не засыпана была снегом. В самом деле, очень жаль, что об этом не догадались, ибо снежок прохладил бы хоть сколько-нибудь излишнюю горячность, с какою В. У. смотрел на эту пиесу.

«ВОЛЬНЫЕ СУДЬИ, или ВРЕМЕНА ВАРВАРСТВА»

Историческое представление (?!) в четырех действиях, соч. Ламартирьера

«ДВА МУЖА»

Комедия-водевиль в одном действии, перевод г. Ленского

«НИНА, или СУМАСШЕДШАЯ ОТ ЛЮБВИ»

Балет в двух действиях
Спектакль на Б. театре 6 октября, в пользу г-жи Ришард

Ужасная драма, которую и разыграли ужасно. Трудно описать скуку зрителей в продолжение четырех актов длинной и необработанной пиесы. Перевод достоин оригинала. Основная идея сочинения и намерения автора хороши и под искусным пером проявились бы в занимательных образах; но перо сочинителя «Вольных судей» едва сумело изобразить слабый очерк благородных усилий законной власти к низвержению адского судилища, оковывавшего трепетом Европу средних веков. Г-н Козловский, в роли Германа, показал nec plus ultra [1] дурной

[1] Высший предел *(лат.)*.

игры; не говорим о том, что провинциальное произношение его в вечной ссоре с гласными и согласными (*май друк*, вместо: *мой друг!*), что он верный представитель старой школы, прославившейся ужасными завываниями, столь нетерпимыми для ушей и вкуса зрителей; нет, мы заметим ему по крайней мере, как немного нужно соображения и внимания на то, чтоб разгадать: должно ли раненому, едва притащившемуся от истечения крови человеку так ужасно кричать, так твердо ходить, так сильно размахивать руками? Мы готовы были обвинить г-жу Львову-Синецкую за то, что она, в качестве супруги Германа, невнимательна была к своему полуубитому мужу, но прекрасное состояние здоровья г. Козловского после операции, сделанной над ним по приговору *невидимых*, всякую заботливость о нем сделало бы карикатурой. Кажется, что обставка пиесы выиграла бы очень много, если бы гг. Мочалов и Козловский поменялись своими ролями. Г-н Орлов (Конрад) играл хорошо, но выступал условными шагами, на которые прошла мода совершенно. Г-н Третьяков... что сказать этому актеру? Некогда мы заметили ему, что не учить своих ролей значит быть неучтивым к публике; теперь уверяем его, что не знать роли значит не знать своих обязанностей, не уважать своего искусства, вредить своим товарищам и шутить над публикой. Г-н Третьяков молод — следовательно, когда же было ему потерять память? Мы помним, как успешно действовал он на сцене, по скольку новых ролей выучивал он в течение карнавала, как твердо знал он эти роли... но...

Давно, давно уж это было! [1]

Г-н Лукьянов (сын Германа) был дурен. Его движения и слова отзывались чем-то взрослым и затемняли благородные чувства и простосердечие детской его роли. Г-жа Львова-Синецкая выполнила хорошо обязанность

---

[1] Нам сказывали, что в последнем представлении «Пиетро Дандини», кроме госпож Львовой-Синецкой и Репиной, все артисты, а с ними и *кит* и *машины*, не знали своих ролей. Какой заразительный пример!

Матильды, и на этот раз преимущество в искусстве пред товарищами остается за нею.

Водевиль «Первая любовь» вознаградил нас за скуку драмы. Гг. Живокини, Ленский и г-жа Репина играли очень хорошо; но первый лучше всех обделал свою роль, второй лучше всех понимал свою, а третья нравилась сценическою любезностью. Кажется, однако, что характер Эммелины был бы вернее обработан, если бы в ней романическая мечтательность взяла решительный перевес над простосердечием.

Балет очень длинен: в нем много лишнего и утомительного; хотя главный предмет — *сумасшествие от любви* — развит дурно, это не помешало, однакож, г-же Ришард очаровать зрителей верною, благородною, блестящею игрою. Как она была прелестна! как выразительна, как понятна ее пантомима! Бенефициентка попеременно возбуждала ужас и сострадание и совершенно обрисовала трудный для выполнения характер балетной Нины. Совершенным контрастом г-же Ришард был театральный отец ее — г. Лобанов. Спектакль кончился в одиннадцать часов. Публика была многочисленна; пустых мест мы нигде не заметили. Достойной — достойное!

«МАРИЯ СТЮАРТ»

Трагедия

«СТАНИСЛАВ»

Водевиль

На Малом театре. Октября 10

Эта трагедия по своему составу есть смесь классических начал с порывами к романтизму. Игра в ней наших артистов представляла также смесь верований старой театральной школы с новыми понятиями о драматическом искусстве. Г-н Козловский, например, в роле Бурлея с верностию сохранил и заказную выступку, которая смешила зрителей, и завывания по каким-то нотам, непонятным даже для музыкантов, и свои телодвижения, не подчиненные никакой уже школе. Г-н Орлов (Мельвиль), отбившись от распевания по методе г. Козловского, не дошел до простого и естественного произношения стихов и довольно неудачно был представителем обеих декламационных систем. Г-н Третьяков (Паулени) пребыл верен своей привычке — не знать твердо ролей. Г-н Мочалов (Лейчестер) в стремлении к естественности перешагнул все возможные пределы и впал в комическую тривиальность. Г-жа Борисова (Елисавета) произносила просто, естественно и сыграла бы хорошо свою роль, если б она поняла отношения Елисаветы к Лейчестеру, обрисованные автором в конце второго дейст-

вия, и сохранила бы высокомерный, насмешливый, или, лучше сказать, язвительный тон с Марией в третьем акте. Г-жа Львова-Синецкая (Мария) с чувством, простотой и благородством представляла пылкую, страждущую женщину, но не Марию Стюарт. Достоинство царского сана, величие и особенные черты характера несчастной шотландской королевы совершенно не были ею сохранены в представлении. Слабость природных средств этой актрисы была заметна. Впрочем, публика на этот раз была к ней одной благосклонна и рукоплесканиями своими, вероятно, желала наградить старание, но не исполнение. Г-жа Боженовская (Эмма) совершенно затмила театрального Бурлея своими возгласами, неестественными аттитюдами и странною выступкою. В игре ее не было ни на волос натуры, благородства, верности и участия к драме. Нелегко играть с подобными сотрудниками! Надобно сказать несколько слов о дебютанте, г. Калинине, представлявшем Мортимера. Он играл нехорошо, неестественно, размахивал руками и был совершенным новичком на сцене, но у него прекрасная фигура и довольно чувства; с прилежанием и добрым руководством он может быть хорошим актером. Водевиль разыгран был недурно, но с ужасною холодностию. Г-н Живокини не полагал меры своим несносным фарсам. Публика была немногочисленна.

ИСПЫТАНИЕ В ИСКУССТВАХ ВОСПИТАННИКОВ И ВОСПИТАННИЦ ШКОЛЫ ИМПЕРАТОРСКОГО МОСКОВСКОГО ТЕАТРА

Ежегодно делаются испытания театральных школ в Москве и в Петербурге. Сии так называемые экзамены, как и все вообще, не достигают цели и не отвечают даже своему названию. Прежде всего надобно определить назначение театральных школ. Если оно состоит в доставлении театрам фигурантов и фигуранток, изредка солистов и никогда актеров или актрис *образованных*, то мы согласимся, что школы свое назначение исполняли и исполняют. Нам могут возразить, что публика видела на сцене артистов с дарованиями и даже с большим талантом, вышедших из школы... Это правда; но много ли их было? Образованы ли их способности и развиты ли дарования ученьем?.. Одним словом, грамотны ли они были? Бог давал их нам (и то уж давно), а школы в этом столько же виноваты, как Холмогоры в рождении Ломоносова. При теперешнем начальстве московской дирекции публика имеет все причины надеяться и всё право ожидать, что оно, обратив внимание на ученье, даст другое направление школам — приличнее и полезнее прежнего. Из сотни *избранных* воспитанников и воспитанниц неужели все обижены от бога, неужели русский народ так беден дарованиями? Нет,

вся тайна состоит в том, чтоб каждого поставить на свое место...

Испытание началось хором Россини (верхний певческий класс г. Эрколани) и дуэтом из оперы «Ilda d'Avent», пропетым девицами Куликовою и Виноградовою; потом воспитанник Петров пел арию из оперы «Невеста» (последний принадлежит к нижнему певческому классу г. Наумова). Здесь можем только заметить, что Виноградова имеет прекрасный, сильный и одушевленный голос, на котором, вероятно, дирекция основывает свои надежды для оперы: в последнюю зиму мы заметили в Виноградовой способности сделаться со временем не только певицею, но и актрисою; Куликова, кажется, лучше знает музыку, но ее поприщем должна быть комедия, а не опера. Засим следовал танцевальный класс; воспитанники Карпаков, Карасев и Самарин-бис, воспитанницы Санковская-бис, Сонина, Литавкина, Михайлова-бис, Опалихина, две Негины, Самарина-бис, Акимова, Полетаева, Оттаво и Алексеева танцевали разные па — и прекрасно! Соло, сочинения Эрколани, очень хорошо играл на виолончели ученик г. Марку, воспитанник Куликов: мы надеемся, что он со временем сделается артистом, достойным своего учителя. Скрипичный класс г. Мазанова отличился: воспитанник Щепин прекрасно играл *попурри* из тем А. Н. Верстовского, а Гурьянов и Поляков — концертант *своего* сочинения. Все любители и знатоки музыки слушали их с большим удовольствием, отдавая полную справедливость исполнению и сочинению концертанта; многие заметили, что для полного успеха недоставало только нашим музыкантам — иностранных фамилий. Потом был разыгран водевиль в одном действии «Новая шалость, или Театральное сражение». Выбор пиесы, назначение ролей и самая постановка показались нам не совсем удачными. Для чего школа разыгрывает пиесу? Вероятно, не для того, чтоб показать множество личик воспитанниц и воспитанников, а для того, чтоб в исполнении ролей, по способностям розданных, видеть род и меру дарований маленьких актеров, определить будущее их назначение и ободрить вниманием и похвалою избранных зрителей. «Новой шалостью» этого сделать было

нельзя; водевиль самый вздорный и пустой: не в чем было показать ничьих способностей! Прошла пора, когда за переводы таких пустяков *ставили* в первые драматические писатели, прошла пора смотреть эти пустяки! Хоры были хорошо слажены и живо исполнены. Можем похвалить воспитанницу Григоровичеву в роли Кого, старой арендаторши [1], и Алексееву в роли Виктора, одного из мальчиков-офицеров; последняя очень много обещает; Самарин мл., кажется, не без таланта, но роль Алина, им игранная, требует живости, веселости, резвости, которых именно он не имеет; напротив, мы заметили в глазах его выражение унылой чувствительности; Лидину мы все равно что не слыхали: она говорила два слова; Куликова только пела в дуэте, Виноградова также... Это жаль! способности сих последних известны: зрители желали бы видеть их успехи. Пусть школа поставила бы новые, трудные пиесы; пусть они были бы разыграны в целом нехорошо (детям нельзя хорошо представлять людей взрослых); но зато начальство и зрители видели бы ход, успехи дарований воспитанников и будущие надежды. Из виолончельного класса г. Марку мы слышали еще воспитанника Наврозова: он довольно хорошо разыграл концертино Ромберга, но, кажется, Куликов сыграл бы его гораздо сильнее. В заключение испытания был дан известный пантомимный балет в одном действии «Пажи герцога Вандомского», поставленный в школе из маленьких воспитанников и воспитанниц г-жою Гюллень: это был настоящий экзамен танцев! Должно отдать полную справедливость г-же Гюллень: она не только превосходная танцовщица, но и учительница! В балете обратили на себя общее внимание: Санковская мл., две Миняевы, Филлис, Тукмакова, Иванова и Шван; последнего, кроме искусства в танцах, заметили мы по живости его особенной физиономии, которая как будто обещает в нем комического актера.

Нечего сказать, танцы в Москве отлично хороши! Заметим только, что надобно обращать внимание не на

---

[1] Карикатурные роли вредны для детей, начинающих играть: они убивают самообразность дарования.

одни ноги; не одна трудность и чистота в отделке разных мудреных па нравится на сцене, но грациозность всего бюста, особенно рук, выражение лица должно соответствовать выражению танца. Признаемся откровенно, мы не любим этих трудных, мудреных, вычурных па! Танец, например, должен выражать восхищение, а лицо искажается от напряжения сил и грудь колышется от усталости: Зефир или Флора готовы задохнуться!.. Неужели это приятное зрелище? И как тяжелы, как вредны для здоровья такие танцы! Кого употребляют в них с малых лет, те никогда уже не могут быть актрисами или актерами: от танцев страдает грудь, повреждается орган, и, вероятно, они немало погубили у нас истинных талантов для сцены словесной. К этому должно прибавить, что вкус публики к балетам прошел; да и как любить их? Содержания почти никакого — и одни бесконечные танцы: высокие искусства мимики и пантомимы у нас не существуют. Сделаем еще одно замечание, что воспитанницы слишком скоро говорят и имеют какое-то неприятное, жеманное произношение. Вместо *е*, выговаривают *и*; мы уже давно и много раз замечали это и заключим искренним желанием, чтоб образование ног не мешало образованию голов и чтоб в школе был открыт класс искусства чтения, которое должно быть основанием театрального ученья.

«МАРФА И УГАР»

Комедия в одном действии,
переведенная с французского

«ЖЕНЩИНА-ЛУНАТИК»

Опера-водевиль в одном действии,
переведенная с французского кн. Шаховским

«НОВЫЙ ПАРИС»

Опера-водевиль в одном действии,
подражание французскому г. Хмельницкого.
Музыка гг. Верстовского и Маурера. 19 апреля. В Большом театре

Видно, необходимость заставила дать такие пиесы для первого появления г. Сосницкого, который, кажется, года три не являлся на московской сцене. Даже странно видеть искусного, опытного артиста, каков, без сомнения, г. Сосницкий, играющего Луцкого и нелепого Лионеля. Бог судья г. Хмельницкому, который испортил живую интригу французской пиесы вставкою своего Нового Париса! Смешно было бы судить о г. Сосницком по таким ничтожным ролям; но его ловкость, натуральность, благородство, верность и точность выражения даже и в них приметны, равно как и недостаток живости, резвости и огонька. «Марфа и Угар» давалась для съезда публики, которой было довольно много. Нижние три ряда лож и кресла были полны: остальное все пусто. Оба водевиля

шли весьма недурно. Но жалко было смотреть на г. Щепкина в роли Мишо; неприлично и невыгодно большой талант и большое искусство показывать публике в роли паяца из-под Новинского: кажется, прошли времена, когда Щепкин игрывал Бабу-Ягу. Этот спектакль показался нам дебютом г-жи Репиной: она играла две роли, совершенно в разных родах. Хотя мы с удовольствием смотрели на нее и в Наташе (в «Женщине лунатике»), но Фаншету она играет несравненно лучше. Заметим г. Щепкину, что он напрасно разнообразил выражение слов *«долго скрывался я...»*, а всего более заметим — или пожелаем, — чтоб он не играл таких ролей: совестно даже и похвалить его! Виноградова с одушевлением пропела свой куплет. Круглая комната в «Женщине лунатике» без разреза боковых кулис и с потолком есть приятная новость на сцене. Выгоды этого способа, особенно на нашем Большом театре, весьма важны: для глаз обман полный; закулисных лиц и сцен никому не видно, и, что всего важнее, несравненно слышнее все, даже негромкие разговоры действующих лиц на сцене. Публика, верно, будет весьма благодарна дирекции за такое внимание к ней и к искусству.

«БЛАГОРОДНЫЙ ТЕАТР»

Комедия в четырех действиях, в стихах, соч. М. Н. Загоскина

«КЕТТЛИ»

Водевиль в одном действии. Перевод с французского г. Ленского. 26 апреля. Вторник, Малый театр

Комедия «Благородный театр», всегда доставлявшая удовольствие зрителям своими комическими сценами и неподдельною веселостию, погибшая для нас со смертию Сабурова, была дана по случаю приезда к нам петербургского гостя, г. Сосницкого. Публика обрадовалась, и театр наполнился зрителями; даже роптали, почему не дана пиеса на Большом театре, ибо многие не достали билетов; хотя те же зрители стали бы роптать, смотря эту пиесу на Большом театре, приговаривая: «Ну как можно на такой площади играть комедии! это убийство!» и проч. и проч. Мы давно уже слышали отличные похвалы г. Сосницкому в исполнении роли Посошкова; похвалы сии, с одной стороны, совершенно справедливы. Он играет эту роль с большим искусством, с большою отчетливостию в отделке самых мелких подробностей! Но характер Посошкова, неудобопонятный и неестественный, если он не будет представлен человеком *страстным*, влюбленным до безумия в театральное искусство и в

свое драматическое произведение, человеком, для которого все прочее дело постороннее, — такой характер был лучше выражаем покойным Сабуровым; в нем было более собственной жизни; это обстоятельство имело сильное влияние на всю пиесу, и нам кажется, что ее игрывали прежде гораздо удачнее. Впрочем, г. Щепкин (Любский), г-жа Кавалерова (Любская) и г. Цыганов (Бирюлькин) были очень хороши; зато г-жа Боженовская (Кутермина) и г. Соколов 1-й (Честонов) — очень дурны, по обыкновению. Г-жа Нагаева (Наташа) прежде удачнее играла, особенно в том явлении, где она уведомляет Любского о побеге дочери; эту сцену исполняла она иногда отлично; многие помнят, как Наташа говаривала: «Кричала!» Г-н Потанчиков приятно удивил нас: он хорошо сыграл Волгина. Желаем ему успеха в подобных ролях. Мы недовольны были концом того явления, где Посошков не выпускает Волгина из комнаты; но, кажется, г. Сосницкий затянул эту сцену, которая должна гореть: он как будто забывал иногда ролю. О прочих актерах говорить нечего.

Водевиль «Кеттли» доставил всем удовольствие прекрасною игрой г-жи Над. Репиной: верность пения и, всего более, одушевление оного заставляли забывать слабость голоса певицы. Уступая г-же Дюпарк в выражении простодушия и тайной печали, г-жа Репина решительно превосходит ее в выражении чувства любви и к отцу и к любовнику.

«ГОРЕ ОТ УМА»

Комедия

«МЕЛЬНИКИ»

Комический балет в одном действии. Среда, 27 апреля, на Большом театре

Нечего говорить об этой пиесе: все знают ее наизусть, и все по нескольку раз видели на сцене; множество стихов из нее сделались народными пословицами. Щепкин, Кавалерова, Орлов играли отлично хорошо; но в роли Софьи Павловны видеть г-жу Панову — нестерпимо!.. Г-н Мочалов держал себя как будто поприличнее, зато менее было огня; несколько слов в разных местах сказаны им прекрасно; но поговорим о своих артистах когда-нибудь после. С нетерпением желали мы видеть г. Сосницкого и с сожалением должны сказать, что он не совсем удовлетворил нашему ожиданию, то есть ожиданию отличного исполнения роли Репетилова, в которой одним явлением так мастерски нарисован портрет и характер! Мы судим строго нашего дорогого гостя, судим его как образованного художника: зачем он шатался на ногах? Репетилов ужинал, выпил лишний стакан шампанского, но отнюдь не пьян. Как мог Репетилов, описывая от чистого сердца друзей своих, насмехаться над ними? По крайней мере смех и тон г. Сосницкого выражал

насмешку, а не глупую веселость; но, несмотря на это, мы слушали Репетилова с удовольствием.

Для г. Флери (которого афиши величают первым комиком берлинского театра) смотрели мы несносный балет «Мельники». Конечно, г. Флери отличный гротеск (русского, пожалуй, назвали бы и паяцом); но со всем тем таких искусников даже неприятно видеть на сцене, посвященной высокому драматическому искусству.

«ГРАФИНЯ ПОСЕЛЯНКА, или МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

Комедия в двух действиях,
сочинение гг. Скриба, Мельвиля и Кармуша,
перевод с французского А. Б.

«ДВЕ ЗАПИСКИ, или БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТ»

Опера-водевиль в одном действии,
перевод А. И. Писарева

«ЧЕРТОВ КОЛПАК»

Волшебный водевиль,
перевод с французского А. С.

Разнохарактерный дивертисман.
Пятница, 20 мая, бенефис г. Баранова

«Две записки» — один из слабых водевилей, переведенных покойным А. И. Писаревым, всем известен: с потерею Рязанцева, который играл Батермана, эта пиеса совсем упала. «Графиня поселянка» — настоящая диковинка! В комедии Скриба находятся между прочими лицами баронесса Владимирская, русская госпожа, и Трофим Куликов, управляющий вотчиною! Содержание пиесы состоит в исправлении от бешенства и капризов одной молодой женщины; но все это ведено и сведено весьма дурно, за что, вероятно, мы обязаны переводчику. Главную роль бешеной Полески де Ферсгейм играла

г-жа Панова; роль требует искусства и таланта; итак, нужно ли говорить, как она была отделана? Прочие все наши артисты играли, как обыкновенно; но зрители, которых, впрочем, было весьма немного, были вознаграждены за скучную комедию «Чертовым колпаком»! Этот водевиль до того нелеп, что своей дичью заставил всех хохотать. Идея «Чертова колпака» напоминает комедию Макиавеля; но мы грешим — думаем, что это не перевод, а оригинальное всероссийское сочинение; итальянец Любим (одно из действующих лиц) утверждает нас в этом мнении. Подобного бессвязного вздора еще не случалось нам видеть на сцене! Черт женат, бегает от жены с колпаком; час изгнанья из ада пробил, он проваливается и сейчас возвращается; он подавал бумагу Плутону, уволен на жительство в мир православный и вот каким куплетом объясняется с зрителями:

Спешил сюда я с нетерпеньем,
Чтоб жить спокойно в сих местах,
И вдруг заметил с удивленьем,
Что все здесь ходят в колпаках.
Желал узнать я непременно,
Умнее ль от него дурак;
Но вижу, вижу совершенно,
Что это все не мой колпак.

Особенно позабавили нас четыре стишка одного куплета, которых, по несчастью, очень много. Вот они:

Ах! сколько в свете шуму, гаму,
Что это люди за народ!
Один другому роет яму,
Да сам в нее и попадет.

Об игре актеров не станем говорить; да и кого играть было? Заметим только, что к девице Лидиной роль черта не шла и по тоненькому голоску и по личику. Надобно, чтоб в черте проглядывало что-нибудь чертовское. Еще заметим, что и человеческий колпак может быть впору на всякую голову, а чертов и подавно; но в бенефисе случилось противное, и колпак не влезал на головы некоторых, особенно г. Живокини, который буфонил *крошечку* поменьше.

«МАСКАРАД»

Водевиль в одном действии, перевод с французского

«РАУЛЬ СИНЯЯ БОРОДА, или ТАИНСТВЕННЫЙ КАБИНЕТ»

Пантомимный балет в четырех действиях, соч. Валберха

«ШВЕЙЦАРСКАЯ МОЛОЧНИЦА

Водевиль в одном действии, перевод с французского

«ДОМАШНИЙ МАСКАРАД»

Разнохарактерный дивертисман

Бенефис танцовщице г-же М. Ивановой.

Пятница, 27 мая, Большой театр

Этот бенефис придуман замысловато: он начался и кончился — маскерадом! И ход был правилен: начали языком — кончили ногами!.. Несмотря на то, зрителей было немного; впрочем, несравнено больше, чем в бенефисы гг. Баранова и Ленского.

Комедия «Маскерад» ничтожна и была разыграна, как обыкновенно разыгрываются одноактные французские комедийки, поставляемые в начале спектаклей для съезда публики. «Рауль Синяя Борода», несмотря на давность, избитость, так сказать, своего содержания, все-таки его имеет, а потому сноснее других. Лет сорок уже начали печатать на Руси, под именем детских волшебных

повестей, на французском и русском языках одну книжку, для детей даже неприличную, где между «Красной Шапочкой», «Семимильными сапогами» и «Тремя сестрами» находится и «Рауль Синяя Борода»: итак, кому он не известен? С удовольствием отдаем справедливость танцам Московского театра; но танцы не пантомима, а пантомима, не доведенная до высокой степени совершенства — более чем скучна: Гюллень и Ришард, как танцовщики, отличные артисты, а как мимики — весьма обыкновенны. Г-н Флери, явившийся Раулем, принадлежит к этому же разряду (хотя должно сказать, что в нем очень мало проявлялась прежняя складная кукла). Итак, какое действие мог произвести весь балет?.. Скуку! Последнее сражение было исполнено живо; г. Флери вызвали: учтивость московской публики!

Водевиль «Швейцарская молочница» — чувствительного содержания; жаль, что развязка мало развита, а потому и безотчетна, веселости же в пиесе мало: ибо шутки г. Живокини, игравшего пастуха Цуга, впрочем, довольно умеренные, шутки над слепым стариком Яковом — совсем не забавны. Последнего играл г. Лавров недурно; но он не водевильный актер: прекрасный и сильный голос его глушит куплеты, и слова бывают не слышны. Девица Федорова, игравшая главное лицо Графини, дочери слепого Якова, некогда бежавшей с любовником, уже скончавшимся, а теперь, под чужим именем Эммелины, живущей у своего отца, который не хочет простить раскаявшейся дочери, не могла выполнить хорошо своей роли: и потому, что она требует большого искусства, и потому, что девица Федорова вовсе не умеет да, кажется, и не может петь: при ней голос г-жи Н. Репиной казался слишком сильным! Заметим девице Федоровой, что она напрасно старалась представлять какую-то вертлявую крестьяночку, напрасно каждую минуту оборачивалась к зрителям: роль ее совсем этого не требовала (оборачиванье же к зрителям — порок, к сожалению, многих и нигде не годится). Впрочем, у девицы Федоровой есть чувствительность, по крайней мере в голосе, и она могла бы с успехом выполнить свою ролю. Г-н П. Степанов в ничтожной роли бургомистра Бетемберса был так хорош, что нельзя не отдать ему полной справедли-

вости. Бургомистр явился прекрасною карикатурой без всякого фарса. Так мастерски обработать и выдержать созданную им самим физиономию лица ничтожного может только артист, любящий и уважающий свое искусство: ибо он знал, что публика не обратит внимания на его художническое старанье. Но, судя по оному, мы осмеливаемся предсказывать, что г. П. Степанов со временем сделается украшением московской сцены и любимцем публики; г-жа Н. Репина играла работницу Катерину очень мило; роль мала и не важна; но именно в этом роде ролей г-жа Н. Репина бывает всегда прелестна. В последнем куплете (некоторые из них были недурны) она умела придать столько души слову: *от души*, что зрители от души похлопали ей. Мы забыли сказать, что бенефициантка, г-жа М. Иванова, танцевала свои па с большою приятностию, чем она и всегда отличалась.

ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ

После статьи, напечатанной в «Молве», об испытании в искусствах воспитанников и воспитанниц Московской театральной школы, я дал тебе слово описывать школьные спектакли. На сих днях, к большому моему удовольствию, удалось мне видеть один из них, и я исполняю мое обещание. В школе играли два водевиля: «Теобальд, или Возвращение из России», и «Два учителя, или Осел осла дурачит». Последнюю пиесу, конечно, можно бы исключить из школьного репертуара. Начну с того, что спектакли в школе необходимо должны продолжаться во весь год, что, говорят, и будет исполняться. Это делает честь театральному начальству, коего внимание и заботливость о школе суть вернейшие залоги приятной будущности для нашей сцены. Не стану судить строго, ибо строгие требования здесь неуместны; но и без всякого увеличения скажу, что весь спектакль вообще был разыгран прекрасно; к сожалению, «Два учителя» шли ладнее и тверже; впрочем, этот водевиль и выполнить гораздо легче.

Из воспитанников Самарин 2-й и Максин были очень хороши. Первый играл Теобальда, роль необыкновенно трудную, состоящую из отрывистых слов и прерываемых

фраз; странность и страдательность положения этого лица должна была выражаться мимикою, и Самарин весьма удовлетворительно все это выполнил: он был благороден и вообще играл с чувством; жаль, что голос у него, кажется, слаб, особенно в грудных, низких тонах; впрочем, не смею решительно этого утверждать, ибо зрители сидели аршинами двумя ниже действующих лиц, звуки через них перелетали, и вообще нехорошо было слышно. Максин в роли Жака Трише показал очень много ловкости, естественности и тонкости в верном выражении лица, им игранного. Из воспитанниц много обещает девица Виноградова: голос у ней прекрасный, и хотя она не всю роль Розалии (в «Теобальде») играла верно, но в некоторых местах была очень хороша, и смело можно надеяться, что она будет не только оперной певицей, но и хорошей актрисою, если будет стараться образовать себя: ученье единственная к тому дорога. Девица Лидина играла маленькую роль Баронессы: она также подает большие надежды. Девица Алексеева обещает хорошую субретку, девица Негина — оперистку. Воспитанник Сахаров в роли Чупкевича был недурен. Но выше других, без сомнения, — девица Григоровичева, которая играла прекрасно и г-жу Лормуа и Турусину. Эта воспитанница имеет решительный талант и весьма редкий: глубокую, тихую чувствительность. Амплуа благородных матерей и старух почти всегда исполняется дурно. Девица Григоровичева, к удивлению моему, и в роли провинциальной старухи (Турусиной) была также очень хороша и — нисколько не карикатурна. Впрочем, последних ролей не должно играть много и часто. Девица Григоровичева имеет чувствительность, ум в игре, нераздельное свойство таланта, а потому она может играть и другие роли: без сомнения, начальство школы сделает несколько опытов, и я надеюсь, что они будут счастливы. Оркестр был составлен из воспитанников; один из них управлял им, это воспитанник Поляков. Печать дарования видна на лице его и во всех приемах; нарочно для сего случая и, как я слышал, в самое короткое время сочинил он два антракта, которые и композицией и оркестровкой заслуживают похвалу. Хоры в водевиле «Два

учителя» были составлены также из воспитанников и воспитанниц школы, и все любовались верностью и живостию исполнения; хоры не только что пели, но играли, а оттого действие на сцене было одушевлено: этого недостает на наших больших сценах. Пожелаем искренно успехов искусству, которое мы с тобою до сих пор так горячо любим.

«НЕНАВИСТЬ К ЛЮДЯМ И РАСКАЯНИЕ»

Комедия в пяти действиях,
Дивертисман.
Пятница, 10 июня, Малый театр

Давно уже афиши возвещали возобновление, или восстановление, этой пиесы, старой, всем известной, многими охуждаемой, но всегда производящей сильное действие; наконец, ее дали. Если б до представления пиесы или до прочтения афиши спросить всех, не только знатоков, любителей, но даже и посетителей театра, кто играет Эйлалию, то, конечно, начав с г-жи Синецкой и дойдя до г-жи Пановой, никто не отгадал бы, что Эйлалию играет воспитанница Федорова. Бедная девочка попалась в преступницы, в матери восьмилетних детей! из ролей простеньких крестьяночек — в образованные женщины! С своим румяным, как маков цвет, лицом — в казнимую совестью, бледную, желтую г-жу Миллер (об этом идет целое явление в пиесе). Даже и побелить или пожелтить ее никто не потрудился! Как девица Федорова, а не как Эйлалия, она была очень жалка, и совестно осуждать ее; скажу даже, что все заметили в ней если не сильное чувство, то по крайней мере какую-то слезливую чувствительность. Но заметно было и то, что вся роль выучена ею с голоса и она пропела ее, как канарейка с органчика! Даже все положения, все движения были заученные, чужие, следственно принужденные!.. Зато сбылись робкие

надежды некоторых любителей театра. Г-н Мочалов сыграл Неизвестного, или Мейнау, — превосходно! Двадцать пять лет знаю я Петербургский и Московский театры, видел всех артистов, с успехом игравших эту роль (в том числе одного немецкого актера в Петербурге, лучше других понимавшего Мейнау), и, несмотря на сильные места в роли, которыми славился покойный Яковлев, по моему мнению никто с такою истиною чувства, с такою верностию, целостью характера не играл Мейнау, как г-н Мочалов. Но, увы! сыграет ли он так же эту роль в следующий раз? Ручаться не смею, но повторяю при этом случае, что талант его, хотя редко бываешь доволен им, может стоять на высокой степени достоинства! Да не соблазнится г. Мочалов скудостью рукоплесканий: кому было хлопать? В креслах половина зрителей была официальная! И неужели внутреннее чувство самодовольствия не наградило его за прекрасное исполнение роли Мейнау? Артиста, который всегда так разыгрывал бы свои роли, поистине можно назвать жрецом в храме изящного искусства! Весь рассказ, особенно первая половина и вся последняя сцена с Эйлалией были исполнены г. Мочаловым с совершенством. Какой ужасный смех! Какая истина, глубокость чувства! Заметим, однако, что ему надобно быть постарее, а на лице его должны лежать морщины, не старостью, но страданиями души налагаемые. Заметим, что последнее восклицание Мейнау, сделанное г. Мочаловым: «Друг мой, я тебя прощаю!» — неверно. Одно слово *прощаю* должно вырваться из души его при взгляде на детей, из души, и без того уже изнемогавшей от полноты чувств. Гг. Цыганов, в роли Биттермана, Потанчиков, в роли слуги, Живокини, в роли Петра, были очень хороши; первый смешил без всяких фарсов и излишеств. Г-жа Нагаева изрядно играла Лотте, дочь лейб-кучера, а г-жа Рыкалова — жену графа. Г-н Орлов был нехорош потому, что роль Горста к нему не шла, а г. Соколов в роли графа Винтерзее был несносен потому, что к нему никакие роли нейдут.

АНТИКРИТИКА

В № 20 «Сына отечества» нынешнего года напечатан критический разбор трагедии «Марфа Посадница новогородская», соч. г. Погодина. Прежде всего заметим, что никто не имеет права назвать г. Погодина сочинителем оной трагедии, ибо он сам в предисловии называет себя только издателем. Сия критика, под наружною холодностью и спокойствием, проникнута сильнейшим ожесточением, и вся ее неприязненная цель — унизить до последней степени такое сочинение, которому, несмотря на его недостатки, порадовался, без сомнения, каждый благонамеренный литератор и любитель словесности. Мы знаем, что ничего нет скучнее антикритик и рекритик, да и объем «Молвы» не позволяет входить в подробности. Но считаем за долг предупредить своих читателей, что вышесказанная статья написана не с тем, чтоб, разбирая сочинение, определить в нем и дурное и хорошее, но с намерением, принятым заблаговременно, — разбранить оное! Осуждения г. критика были бы весьма дельны, если б были справедливы и доказаны; вероятно, он думал, что ему поверят на слово, ибо взводит на сочинителя то, чего не бывало. Например, г. критик говорит, что «Послы новогородские признают Иоанна государем и соглашаются на все его требования, но великий князь отсылает их» и проч. (стр. 332). Стоит прочесть траге-

дию, чтоб увидеть несправедливость последнего. Послы уступали только некоторые из прежних прав своих, а Иоанн хотел всего и говорил: «Хочу властвовать у вас, как властвую в Москве». В противном случае не за что было бы и драться. Г. рецензент продолжает: «Снимают вечевой колокол, но вдруг Марфа бросается со слезами обнимать его, и эта выходка заставляет толпу переменить намерение» и проч. (стр. 333). Новая неправда: колокола не снимали и даже не говорили об этом, а *выходка Марфы* есть одно из прекрасных драматических движений; таково сердце человеческое, что, допуская мысль, бываешь не в силах ее исполнить, даже видеть исполнение. По безотчетному ли чувству поступила так Марфа, или по глубокому расчету, это все равно; но сей порыв всегда производит на слушателей сильное действие, а потому весьма натурально и даже неизбежно, что он должен был увлечь — и увлек народную толпу. «Заговор удельных князей неуместен, — говорит г. рецензент, — его не бывало, следовательно и быть не могло» (стр. 338). Плохая аксиома! Мало ли что быть могло и чего не было! И мало ли что было, вероятно, о чем молчит Летопись новогородская! Г. рецензент обвиняет Марфу, что она «с начала до конца трагедии говорит», а не действует (стр. 343). Но чем же Марфа должна действовать, как не умом, не мыслями и не словами (выражением их)? Неужели руками? Действие слова человеческого всего сильнее: оно движет толпы народные и управляет сообщниками в переворотах, подобных новогородскому. Г. рецензент называет трагедию *«площадною»*, основываясь на том, что два действия «происходят на площади» и что она «наполнена площадными лицами» (стр. 347). Если лица дьяка Феофилова, посадников, Марфы и, наконец, Иоанна кажутся г-ну критику площадными, то нам остается только удивляться его площадному воззрению на высокие предметы. Опасаясь наскучить читателям и полагая, что мы довольно убедили их в *благонамеренности* критики «Сына отечества», мы оканчиваем свои возражения самою смешною выходкою г. рецензента, который говорит, что трагедия никуда не годится потому,

что ей самое приличное название: «Трагедия о том, как Иоанн разбил войско новгородское и взял Новгород» (стр. 335). Мы спрашиваем г. критика и всех читателей: какой первоклассной трагедии нельзя сделать такого определения? Например: Трагедия о том, как Отелло по несправедливой ревности убил Десдемону, Трагедия о том, как Вильгельм Телль убил Гесслера и освободил Швейцарию, и проч. Вот до каких несообразностей доводит пристрастная неприязнь... и не хуже ли она пристрастной дружбы, о которой говорит г. рецензент?

ПИСЬМО К ДРУЗЬЯМ ГОГОЛЯ

Гоголя нет на свете, Гоголь умер... Странные слова, не производящие обыкновенного впечатления. Умереть Гоголю вдруг нельзя: тело его предано земле, но дух вошел в нашу жизнь, особенно в жизнь молодого поколения. Много, очень много надобно времени, чтоб память о Гоголе потеряла свежесть; забыт, кажется мне, он никогда не будет. Но Гоголь сжег «Мертвые души»... вот страшные слова! Безотрадная грусть обнимает сердце при мысли, что Гоголь не досказал своего слова, что погиб плод десятилетних вдохновенных трудов, что навсегда исчезли созданные им образы, выступавшие во втором томе «Мертвых душ», первые главы которого он читал многим. Я сам слышал четыре, а С. П. Шевырев и А. О. Смирнова, как говорят, слышали семь глав. И Уленька, и Тентетников с их взаимною любовью, и генерал Быстрищев, и Костанжогло, и братья Платоновы, и многие другие — все погибли, и навсегда! Это ужасно, это невыносимо горько. Но теперь еще не время распространяться об этом. Я обращаюсь к статьям Гоголя, получившим теперь настоящий смысл, к его «Предисловию» и «Завещанию», напечатанным в книге «Выбранные места из переписки с друзьями». Если б Гоголь был жив, я никогда бы не стал перечитывать этой книги, в свое время не один раз прочитанной мною; но теперь следовало это сделать, и я прочел ее вновь. Поразили меня эти две статьи. Больно и тяжело вспомнить

неумеренность порицаний, возбужденных ими во мне и других. Вся беда заключалась в том, что они рано были напечатаны. Вероятно, такое же действие произведут теперь обе статьи и на других людей, которые, так же, как и я, были недовольны этою книгой и особенно печатным завещанием живого человека. Смерть все изменила, все поправила, всему указала настоящее место и придала настоящее значение. Гоголя как человека знали весьма немногие. Даже с друзьями своими он не был вполне или, лучше сказать, всегда откровенен. Он не любил говорить ни о своем нравственном настроении, ни о своих житейских обстоятельствах, ни о том, что он пишет, ни о своих делах семейных. Кроме природного свойства замкнутости, это происходило от того, что у Гоголя было постоянно два состояния: творчество и отдохновение. Разумеется, все знали его в последнем состоянии, и все замечали, что Гоголь мало принимал участия в происходившем вокруг него, мало думал о том, что говорят ему, и часто не думал о том, что сам говорит; одним словом, Гоголя не могли знать хорошо и потому могли усомниться в задушевности, в правде многих слов его последней книги. Но теперь, когда он смертью запечатлел искренность своих нравственных и религиозных убеждений, кажется наступило время дать полную веру его христианской любви к людям. Речь идет не о том, ошибочны были или нет некоторые мысли и воззрения Гоголя, речь идет о правде его смирения, чистоте намерений, сердечности чувствований и стремления к добру.

Я убедительно прошу всех друзей и почитателей Гоголя обратить особенное внимание на следующие его слова: «Завещаю по смерти моей не спешить ни хвалой, ни осуждением моих произведений в публичных листах и журналах; все будет так же пристрастно, как и при жизни. В сочинениях моих гораздо больше того, что нужно осудить, нежели того, что заслуживает хвалу. Все нападения на них были в основании более или менее справедливы. Передо мной никто не виноват; неблагороден и несправедлив будет тот, кто попрекнет мною кого-либо в каком бы то ни было отношении» [1]. Неужели

---

[1] «Выбранные места из переписки с друзьями», стр. 12.

теперь мы не поверим в искренность каждой буквы этих слов? Чем можем мы достойнее почтить память усопшего нашего друга, как не самым точным исполнением завещанного им желания? Я знаю, нельзя ожидать общего почтительного молчания хотя на короткое время. Вероятно, много будут писать и уже пишут теперь о Гоголе. Вероятно, некоторые, глубоко, болезненно огорченные смертию любимого и чтимого художника, станут так горячо хвалить его, что оскорбят самолюбие многих; оскорбленные станут возражать с большею неумеренностью; охотно присоединится к ним онемевшее перед таинством смерти старинное недоброжелательство, и закипят над свежею могилой Гоголя новые вражды, тогда как сердце его билось одним желанием, чтоб люди жили в мире и любви. Не будет ли это истинным оскорблением памяти Гоголя, который никогда ни к кому не питал неприязни, даже скоропреходящего гнева: эту истину могут засвидетельствовать не только все друзья, но даже сколько-нибудь знакомые с ним люди. Не заводить новые ссоры следует над прахом Гоголя, а прекратить прежние, страстями возбужденные, несогласия и в этом искать утешения в нашем общем великом горе.

Деревня.
1852 года. 6 марта.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БИОГРАФИИ ГОГОЛЯ

Вот и год прошел, как нет на свете Гоголя! 21 февраля 1853 года, в память дня его кончины, много пролито теплых слез и отслужено панихид: Гоголь был не только великий художник, но и вполне верующий христианин. Гоголя нет на свете — мы привыкли к этим словам и к горестному их смыслу. Изумление прошло; но не прошла и никогда не пройдет скорбь, что уже нет между нами великого писателя, от которого мы еще так много ожидали в будущем. В продолжение года беспрестанно где-нибудь писали о Гоголе. Писано было не помногу, но с живым участием; печатали иногда то, чего не следовало, что рано было печатать; но немало высказалось прекрасных мыслей, верных взглядов и твердых убеждений. Конечно, никто не прочел без сочувствия и благодарности благородной статьи одного из жителей Курской губернии в защиту Гоголя [1]. Печатные известия и достоверные слухи пробежали по всей России о тех немногих нравственных сокровищах, которые остались в утешение нам после смерти Гоголя. В почтительном ожидании остаются все, жаждущие этой умственной пищи, известной еще немногим. Между тем прежние печатные сочинения Гоголя давно разошлись, и уцелевшие экземпляры покупаются, как я слышал, за страшно дорогую

---

[1] «Московские ведомости» 1852 года.

цену. Ожидание всех обращено на его семейство или на тех, кому поручены литературные дела покойного. В сочинениях Гоголя чувствуется потребность, необходимость: иначе не стали бы платить пятьдесят и семьдесят пять рублей серебром за те четыре книжки, за которые недавно платили и, вероятно, скоро будут платить попрежнему двадцать пять рублей ассигнациями.

Естественно было желание публики узнать биографию Гоголя, и так же естественно было желание людей пишущих сообщить хотя некоторые биографические известия о нем. Жаль, что, увлекаясь добрым чувством, нарушая должное уважение к предмету, столь важному и многозначительному, печатали иногда известия рановременные (и потому лишенные всякого значения), перемешанные с известиями о модных платьях и катаньях [1]; неуместны также и не интересны для публики странные споры о дне и годе рождения Гоголя, когда так нетрудно и положительно можно узнать эти числа от его матери; еще менее интересны улики в ошибках, когда сам исправляющий их впадает в другие ошибки [2]: все это разрешить и поправить было легко не печатным образом. Не заслуживает внимания недавно раздавшееся шипение, вероятно, давно сдерживаемой неприязни или зависти, скрытое под формою повести. Презрительным равнодушием наградит публика такие бессильные и жалкие попытки. Но были статьи, замечательные по изложению и содержанию. Первое почетное место между ними принадлежит статье, напечатанной в апрельской книжке «Отечественных записок» прошедшего года: «Несколько слов для биографии Н. В. Гоголя». Она написана с участием, увлекательно, тепло и в то же время с соблюдением разумной меры теплоты; она составляет драгоценный материал для будущей пространной, полной биографии Гоголя. Но ее время не близко. Биография всякого известного и почему-нибудь замечательного человека представляет много затруднений; не только нельзя ее скоро напечатать по свежести отношений покойного к живым людям, но даже нельзя беспристрастно написать:

---

[1] «Московские ведомости» 1852 года.
[2] «Отечественные записки» № 2, 1853 года.

ясности взгляда будет мешать близость предмета; надобно отойти от него, и чем предмет выше, тем отойти надобно дальше: я разумею биографию внутренней жизни, искреннюю и полную. Прекрасная статья, о которой я сейчас говорил, могла быть написана вполне удовлетворительно, потому что время, ею изображенное, время детства Гоголя, *уже далеко* и потому что детский и юношеский возрасты не представляют препятствий и трудностей к их описанию, непременно сопровождающих изображение жизни человека в летах зрелого мужества. Биография же Гоголя заключает в себе особенную, исключительную трудность, может быть единственную в своем роде. Натура Гоголя, лирически-художественная, беспрестанно умеряемая христианским анализом и самоосуждением, проникнутая любовью к людям, непреодолимым стремлением быть полезным, беспрестанно воспитывающая себя для достойного служения истине и добру,— такая натура в вечном движении, в борьбе с человеческими несовершенствами ускользала не только от наблюдения, но даже иногда от понимания людей, самых близких к Гоголю. Они нередко убеждались, что иногда не вдруг понимали Гоголя, и только время открывало, как ошибочны были их толкования и как чисты, искренни его слова и поступки. Дело, впрочем, понятное: нельзя вдруг оценить и поверить тому чувству, которого сам действительно не имеешь, хотя беспрестанно говоришь о нем.

Для большего уяснения предмета я позволяю себе повторить некогда сказанное мною: «Гоголя как человека знали весьма немногие. Даже с друзьями своими он не был вполне, или, лучше сказать, всегда откровенен. Он не любил говорить ни о своем нравственном настроении, ни о своих житейских обстоятельствах, ни о том, что он пишет, ни о своих делах семейных. Кроме природного свойства замкнутости, это происходило от того, что у Гоголя было постоянно два состояния: творчество и отдохновение. Разумеется, все знали его в последнем состоянии, и все замечали, что Гоголь мало принимал участия в происходившем вокруг него, мало думал о том, что говорят ему, и часто не думал о том, что сам говорит». К этому должно прибавить, что разные люди, знавшие

Гоголя в разные эпохи его жизни, могли сообщить о нем друг другу разные известия. Да не подумают, что Гоголь менялся в своих убеждениях; напротив, с юношеских лет он оставался им верен. Но Гоголь шел постоянно вперед; его христианство становилось чище, строже; высокое значение цели писателя — яснее, и суд над самим собою — суровее. Итак, в этом смысле Гоголь изменялся. Но даже в одно и то же время, особенно до последнего своего отъезда за границу, с разными людьми Гоголь казался разным человеком. Тут не было никакого притворства: он соприкасался с ними теми нравственными сторонами, с которыми симпатизировали те люди или по крайней мере которые могли они понять. Так, например, с одним приятелем и на словах и в письмах он только шутил, так что всякий хохотал, читая эти письма; с другими говорил об искусстве и очень любил сам читать вслух Пушкина, Жуковского и Мерзлякова (его переводы древних); с иными беседовал о предметах духовных; с иными упорно молчал и даже дремал или притворялся спящим. Кто не слыхал самых противуположных отзывов о Гоголе? Одни называли его забавным весельчаком, обходительным и ласковым; другие — молчаливым, угрюмым и даже гордым; третьи — занятым исключительно духовными предметами... Одним словом, Гоголя никто не знал вполне. Некоторые друзья и приятели, конечно, знали его хорошо; но знали, так сказать, по частям. Очевидно, что только соединение этих частей может составить целое, полное знание и определение Гоголя.

Итак, остается желать, чтоб люди, бывшие в близких сношениях с Гоголем, записали для памяти историю своего с ним знакомства и включили в свое простое описание всю свою с ним переписку. Тогда эти письма, будучи объяснены обстоятельствами и побудительными причинами, осветили бы многие, до сих пор неясные для иных стороны жизни Гоголя. Такие-то, поистине драгоценные материалы в соединении с печатными сочинениями Гоголя, с теми, которые будут напечатаны, и с его письмами дали бы возможность биографу достойным образом исполнить свое важное и трудное дело. Гоголь вел обширную переписку. Приблизительно можно сказать,

судя по числу его писем к некоторым известным лицам, что число всех писем может простираться до нескольких сотен. Какое богатство! Гоголь выражается совершенно в своих письмах; в этом отношении они гораздо важнее его печатных сочинений. Какое наслаждение для мыслящих читателей проследить, рассмотреть в подробности духовную жизнь великого писателя и высоконравственного человека! Сколько борьбы в примирении художника с христианином, сколько подвигов послушания и сколько ошибок, увлечений зыбкого человеческого ума, никогда, однакоже, не помрачивших чистоты душевной, открыла бы такая биография! Сколько умилительного и поучительного нашли бы в ней даже такие читатели, которые чужды литературного направления! Да исполнится когда-нибудь это желание, без сомнения разделяемое многими, и да будет оправдан и оценен Гоголь по достоинству как художник и как человек.

1853 года, марта 1-го дня.
Деревня.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТАТЬЕ «ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ТЕАТРАЛА»

В октябрьской книжке «Отечественных записок» напечатана очень интересная статья под названием: «Воспоминания старого театрала». В ней находятся, между прочим, хотя не прямо высказанные, опровержения моей статьи: «Яков Емельянович Шушерин», напечатанной в «Москвитянине». Если б в «Воспоминаниях старого театрала» выражалось только несогласие с моими мнениями и негодование за мой ошибочный взгляд, то я не сказал бы ни одного слова, хотя бы мог много сказать в подтверждение моих мнений. Доказывать, что такой-то актер был лучше или хуже такого-то актера, тогда как прошло уже несколько десятков лет после их смерти — дело весьма затруднительное, не говоря уже о том, что это дело чисто вкуса и личных понятий о театральном искусстве; а главное — такие споры бесполезны и скучны для читателя. Скажу только, что, опровергая мои заключения о достоинстве игры Шушерина и Плавильщикова, стараясь доказать, что Дмитревский не мог никого образовать (чего я и не говорил), господин сочинитель своими собственными выводами как нельзя лучше доказывает, разумеется с некоторыми оттенками, что мои мнения справедливы: если б кто-нибудь решился прочесть обе наши статьи последовательно одну за другою,

то я смею надеяться, что он согласился бы со мною. Но в «Воспоминаниях старого театрала» находится указание моих ошибок в годах, и я спешу поблагодарить его за эти указания. Я предполагаю, что они верны, потому что господин сочинитель, как сам пишет, сорок шесть лет ведет ежедневные записки. Я не стану извиняться тем, что писал на память, писал о слышанном мною от других; я должен был прежде справиться, а потом печатать. Я сделаю это теперь и, печатая собрание моих воспоминаний, конечно, исправлю мои ошибки.

С искренним удовольствием прочел я в «Воспоминаниях старого театрала» все, что касается до князя А. А. Шаховского. Я сердечно обрадовался, что, наконец, нашелся человек, который по своему близкому и многолетнему знакомству с князем Шаховским и с его управлением в Петербурге тогдашнею репертуарною частью имел право обличить клевету, которая так долго лежала на памяти нашего даровитого писателя, принесшего так много пользы сценическому искусству в России. Я сам несколько раз хотел написать об этом. Но я был коротко знаком с князем Шаховским только в то время, когда он, оставив Петербург, переехал в Москву и прожил в ней несколько лет сряду: в эти года я виделся с ним почти каждый день. Несмотря на прежние мои предубеждения, я вполне убедился, что князь Шаховской неспособен был к таким недостойным поступкам, в каких его обвиняли; но личное мнение не доказательство. Я написал тогда статью о заслугах князя Шаховского, оказанных драматической литературе и сценическому искусству, и напечатал ее в «Московском вестнике», который издавался тогда М. П. Погодиным; но в котором это было году и как называлась моя статья — решительно не помню. Помню только, что князь Шаховской был ею не совсем доволен и сказал кому-то, что ожидал от моей дружбы более горячего заступления. Это последнее слово доказывает, чего желал князь Шаховской и до чего касаться я считал себя не вправе. Очень будет жаль, если господин сочинитель «Воспоминаний старого театрала» не напишет о князе Шаховском всего того, что ему было

так хорошо известно. Личность князя Шаховского, его живость, веселость, забавное и безобидное остроумие, его детское притязание на хитрость, его незабвенные репетиции, на которых он предавался вполне своей горячей любви к театру, сопровождаемые бесчисленными, самыми комическими анекдотами, — представляют богатое и благородное поле для биографа.

В заключение скажу: неужели нельзя, опровергая чьи-нибудь мнения, обойтись без таких выражений и такого тона, какой слышится, например, на стр. 117 «Воспоминаний старого театрала»?

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О М. С. ЩЕПКИНЕ

По случаю пятидесятилетия его театрального поприща

В исходе ноября 1805 г. в городе Курске на частном публичном театре содержателей — актеров Барсовых назначен был спектакль в пользу актрисы, г-жи Лыковой. Молодой человек лет семнадцати, с живою и умною физиономией, беспрестанно бегал с раннего утра из дома своего господина, графа Волькенштейна, в дом Дворянского собрания, где помещался театр. На озабоченном лице юноши ясно выражалась радость, тревога и опасение: это был дворовый мальчик графа, всеми называемый Миша, которому, по случаю внезапной болезни какого-то мелкого актера, дали сыграть маленькую роль. Миша с детских лет страстно любил смотреть театральные представления. Его охотно пускали и в оркестр и за кулисы, где все его знали, любили и где он всем услуживал. Сыграть какую-нибудь роль на публичном театре было его любимою мечтою, его постоянным и горячим желанием; наконец, желанная мечта превращалась в действительность, и Миша выходил на сцену в драме «Зоя», в роли почтаря Андрея. Этот Миша — теперь наш знаменитый артист, ветеран театрального искусства, честь и гордость руской сцены, Михаил Семенович Щепкин.

Щепкин страстно полюбил театр еще в ребячестве. Семи лет он увидел на домашнем театре у графа Воль-

кенштейна оперу «Новое семейство», и неожиданное зрелище так его поразило, что с тех пор в восприимчивой, горячей голове мальчика беспрестанно роились декорации, оркестр, сцена и действующие лица. Вскоре после того, когда он был уже в народном училище городка Суджи, удалось ему сыграть слугу Розмарина в комедии Сумарокова «Вздорщица»: разумеется, это усилило его страсть. Впоследствии, когда Щепкину уже было лет четырнадцать, он сыграл на домашнем театре своего господина несколько ролей и, между прочим, роль актера в комедии «Опыт искусства» и Степана сбитенщика в опере «Сбитенщик». С 1801 года Щепкин жил в Курске, учился в народном училище и все свободные часы проводил в театре. В этом положении оставались дела до незабвенного дня, до бенефиса г-жи Лыковой.

Итак, в исходе ноября (подлинное число неизвестно) настоящего 1855 года исполняется пятьдесят лет с первого появления Щепкина на сцене публичного театра. Долгое поприще, редко совершаемое не поденщиками, не простыми исполнителями, равнодушными к своему ремеслу, а художниками по призванию, пламенно, тревожно любящими свое дело! Каких горячих усилий, каких постоянных трудов, какой напряженной работы духа и тела стоило возведение на степень искусства простой, повидимому, охоты мальчика: выбежать перед публикою в каком-то святочном наряде и пробормотать несколько выученных речей. Так начинают многие, и трудно бывает разгадать в безотчетном влечении молодых людей: минутная ли это забава, или призвание истинного таланта.

Разумеется, в достопамятный день представления «Зои», за пятьдесят лет пред сим, никто из окружающих Щепкина не подозревал в нем будущего знаменитого артиста, и всякий только посмеивался, глядя на его озабоченное лицо и важность, придаваемую им такому, повидимому, пустому делу; но Щепкин чувствовал бессознательно, что роль почтаря Андрея решает его судьбу и определяет славную будущность.

С этого времени, после удачного дебюта, Щепкину начали давать многие небольшие роли и, разумеется, самые разнохарактерные. Захворал ли, загулял ли кто-ни-

будь из актеров — Щепкин в несколько часов выучивал его роль и, конечно, играл всегда лучше того, чье занимал место. Одним словом: им затыкали все прорехи малочисленной труппы и скудного репертуара. Оркестр прозвал его «контрабасною подставкой», и вся труппа со смехом повторяла *остроумное* прозвище.

Публика начинала любить и принимать Щепкина с одобрением. Каждый спектакль был шагом вперед для молодого актера, и в течение нескольких лет он сам и все его окружавшие убедились в том, что Щепкин родился для театра. Не получив достаточного образования, не видав ни одного актера, который бы имел какое-нибудь понятие о сценическом искусстве, который бы ходил и говорил на театре по-человечески, Щепкин, конечно, не мог тогда создавать себе идеала представляемого лица, не мог не подчиняться вредным традициям, от которых трудно отделываться во всю жизнь, не мог не перенимать форм, которыми был окружен; но нет такой неестественной формы, которая не могла бы быть одушевлена, а Щепкин, одаренный необыкновенным огнем и чувством, оживлял ими каждое произносимое слово; кстати или некстати, верно или неверно — до этого никому не было дела, этого никто не понимал, и все безусловно восхищались новым и свежим талантом.

Чрезвычайно было бы любопытно и поучительно проследить постепенно, как уяснялся взгляд молодого актера, как зарождалось понимание лиц, им представляемых, как блеснула и разгоралась мысль об истине, естественности игры, и как он понял, наконец, что сцена — искусство, что он — художник!.. Но этого никто не может сделать, кроме самого Щепкина, и на нем лежит долг написать историю своего театрального поприща, чем он окажет великую услугу не только театральному искусству, его служителям и почитателям, но и всякому мыслящему человеку, для которого дороги проявления, усилия и торжество духа человеческого над всеми препятствиями и случайностями жизни. У Щепкина хранится лист бумаги, на котором великий художник Пушкин своею рукою написал следующее:

Записки актера Щепкина.

«Я родился в Курской губернии, Обоянского уезда, в селе Красном, что на речке Пенке».

Как красноречиво выражается в этом поступке важность интереса, который придавал Пушкин запискам актера Щепкина!

Семнадцать лет играл Щепкин на губернских театрах, переходя из труппы в труппу, разъезжая по ярмаркам с своими товарищами и постоянно идя вперед. У Щепкина не было амплуа, он не выбирал себе ролей, а играл все, что было необходимо для составления спектакля. Так, например, в «Железной маске» он, начиная с часового, дошел до маркиза Лувуа, а в «Рекрутском наборе» переиграл все роли, кроме молодой девушки Варвары. Слава Щепкина росла, преимущественно в южной части России, дошла до Москвы, и, наконец, в 1823 году поступил он на императорский Московский театр. Не входя в подробности, потому что я пишу не биографию Щепкина, а краткий очерк пятидесятилетнего театрального его поприща, должно, однако, сказать, что Щепкин в продолжение своей провинциальной сценической жизни получил два толчка, как он сам выражается, которые были ему очень полезны. Первый случился в 1810 году, когда он увидел домашний благородный спектакль в селе Юноховке (Харьковской губернии); в этом спектакле князь Прокофий Васильич Мещерский играл роль Солидара в комедии Сумарокова «Приданое обманом». Естественная игра князя Мещерского сильно поразила молодого актера и произвела решительное влияние на его понятия о сценическом искусстве [1]. Второй толчок случился гораздо позднее: его произвел замечательный актер Павлов, выехавший из Казани и странствовавший тогда по разным провинциальным театрам. Этот актер с необыкновенною для того времени истиною и простотою играл многие роли, особенно роль Неизвестного в комедии Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние».

---

[1] Подробное описание этого происшествия можно прочесть в альманахе «Комета», изданном Н. Щепкиным, сыном нашего знаменитого артиста, в Москве, в 1851 году.

Актера Павлова мало понимали и мало ценили, но Щепкин понял, оценил его и воспользовался добрым примером, несмотря на противуположное значение своего амплуа.

Московская публика обрадовалась прекрасному таланту и приняла Щепкина с живейшим восторгом в полном значении этого слова; но Щепкин не успокоился на скоро приобретенных лаврах, как делали и теперь делают это многие. Постоянно трудясь с первого дня поступления своего на сцену, постоянно изучая, обработывая игру, он удвоил свои труды, поступя на московскую сцену. Он делал это не для приобретения большей славы или выгод житейских, — он удовлетворял собственной душевной художественной потребности. Театр уже был для него необходимостью, воздухом, условием жизни... Жить — для Щепкина значило играть на театре; играть — значило жить. Сцена сделалась для Щепкина даже целебным средством в болезнях духа и тела. Горевал ли он о чем-нибудь, как человек, которому надо было много преодолеть препятствий, много биться с жизнью, — искусство мирило его с действительностью; болел ли телом,— искусство, оживляя его нервы, чудотворно врачевало его тело. Много раз и многие были тому свидетелями, что Щепкин выходил на сцену больной и сходил с нее совершенно здоровый.

Обеспеченный в своем существовании, получивший независимость, придворный артист Щепкин вполне предался искусству. Обширный репертуар его с каждым годом обогащался новыми, значительнейшими ролями, над которыми надо было подумать, надо было потрудиться. Один ряд мольеровских стариков представлял уже назидательное поприще для его сценической деятельности, и Щепкин воспользовался этою высокою школой. На московской сцене Щепкин нашел товарищей более или менее образованных, нашел публику более просвещенную, судей более строгих и лучше понимающих дело. Кроме того, Щепкин нашел в московском обществе дружеский литературный круг, в который приняли его с радостью и где вполне оценили его талант, природный ум, любовь к искусству и жажду образования. По счастливому стечению обстоятельств, в этом круге находились между прочими главные лица московской дирекции: Кокошкин,

Загоскин, Писарев и Верстовский; но всего важнее было то, что в этом же приятельском круге на то время был наш даровитый писатель князь Шаховской, единственный знаток сцены, страстный и опытный любитель театрального искусства. Этого только и недоставало Щепкину: он весь предался труду и учению, предался пламенно и неутомимо.

Обыкновенно сценические артисты, сколько-нибудь замечательные, разделяются на два разряда: первый состоит из людей даровитых иногда в высокой степени, но не думающих об искусстве, об изучении его, не признающих необходимости труда, иногда даже не понимающих прямого значения художника. Второй разряд состоит не скажу из людей бездарных, но наделенных от природы скудною долею дарования, обработке которого положены, к сожалению, слишком тесные границы. Это достойные уважения труженики. В нравственном отношении они, без сомнения, несравненно выше ленивых дарований, но, увы! всякий из нас предпочтет талантливого актера, у которого посреди неверной, даже бессмысленной игры вырвется иногда увлекающее и потрясающее душу слово,— предпочтет бедному труженику, бесцветно исполняющему умно и верно понятый характер. Это справедливо: сцена требует выражения ясного, живого, так сказать осязательного, без которого зритель не может видеть понимания роли, не может сочувствовать представляемому лицу. Но бывает редкое соединение таланта с ясным умом и горячею любовью к искусству, и это счастливое соединение представляет нам Щепкин. Его отличительное качество именно состоит в чувстве священного долга к искусству, долга неоплатного, каков бы ни был талант человека. Щепкин всю жизнь выплачивал этот долг по мере сил, платит и теперь и, конечно, не перестанет платить, пока будет жить. С ослаблением физических средств, которые не могли не измениться в течение пятидесяти лет, Щепкин усиливал средства духовные и вознаграждал, по возможности, неизбежные утраты, наносимые временем.

Несмотря на страшное число ролей, переигранных Щепкиным, несмотря на их бесконечное, дикое разнообразие, несмотря на их ничтожность, Щепкин не пренебрег

ни одною из них. Выезжая на сцену Бабой-Ягой на ступе с помелом, являясь Еремеевной в «Недоросле», он старался быть тою личностью, которую представлял. От смешных фарсов и карикатур Щепкин в ролях своих доходил иногда до характеров чисто драматических и на одном из них столкнулся с первым трагиком своего времени — с Тальмой: роль Данвиля в комедии Делавиня «Урок старикам» в Париже играл Тальма, а в Москве — Щепкин!.. И что же? несмотря на тяжелый и темный русский перевод, Щепкин был так хорош, что удовлетворил требованиям самых строгих судей. Привычка смеяться от комизма игры Щепкина исчезала, и зрители всегда были растроганы до слез.

Во все пятьдесят лет театральной службы Щепкин не только не пропустил ни одной репетиции, но даже ни разу не опоздал. Никогда никакой роли, хотя бы то было в сотый раз, он не играл, не прочитав ее накануне вечером, ложась спать, как бы поздно ни воротился домой, и не репетируя ее настоящим образом на утренней пробе в день представления. Это не мелочная точность, не педантство, а весьма важное условие в деле искусства, в котором всегда есть своя, так сказать, механическая, или материальная, сторона, ибо никогда не может быть полного успеха без приобретения власти над своими физическими средствами. Но этого мало: вся жизнь Щепкина и вне театра была для него постоянною школою искусства; везде находил он что-нибудь заметить, чему-нибудь научиться; естественность, верность *выражения* (чего бы то ни было), бесконечное разнообразие и особенности этого выражения, исключительно принадлежащие каждому отдельному лицу, действие на других таких особенностей — все замечалось, все переносилось в искусство, все обогащало духовные средства артиста. Более двадцати лет я вместе с другими следил за игрою Щепкина на сцене и за его внимательным наблюдением бесед общественных. Нередко посреди шумных речей или споров замечали, что Щепкин о чем-то задумывался, чего-то искал в уме или памяти; догадывались о причине и нередко заставляли его признаваться, что он думал в то время о каком-нибудь трудном *месте* своей роли, которая, вследствие сказанного кем-нибудь из

присутствующих меткого слова, вдруг освещалась новым светом и долженствовала быть выражена сильнее, или слабее, или проще и вообще вернее. Иногда одно замечание, кинутое мимоходом и пойманное на лету, открывало Щепкину целую новую сторону в характере действующего лица, с которым он до тех пор не мог сладить. Из всего сказанного мною очевидно, что роли Щепкина никогда не лежали без движения, не сдавались в архив, а совершенствовались постепенно и постоянно. Никогда Щепкин не жертвовал истиною игры для эффекта, для лишних рукоплесканий; никогда не выставлял своей роли напоказ, ко вреду играющих с ним актеров, ко вреду цельности и ладу всей пиесы; напротив, он сдерживал свой жар и силу его выражения, если другие лица не могли отвечать ему с такою же силою; чтоб не задавить других лиц в пиесе, он давил себя и охотно жертвовал самолюбием, если характер играемого лица не искажался от таких пожертвований. Все это видели и понимали многие, и надобно признаться, что редко встречается в актерах такое самоотвержение.

Талант Щепкина преимущественно состоит в чувствительности и огне. Оба эти качества составляют основные, необходимые стихии таланта драматического, и я думаю, что в этом отношении драма была по преимуществу призванием Щепкина, но его живость, умная веселость, юмор, его фигура, голос, слишком недостаточный, слабый для ролей драматических (ибо крик не голос) навели его на роли комических стариков — и слава богу! По неудобствам физическим едва ли бы Щепкин мог достигнуть такого высокого достоинства в драме, какого достиг в комедии. Я сказал, что у Щепкина есть умная веселость; но в тех комических ролях, которые не соответствовали этому свойству, чего стоило ему выражать глупость или простоту на лице необыкновенно умном? Вместо проницательности и юмора — изображать простодушную, самодовольную веселость? Чего стоило также выработать свое произношение до такой чистоты и ясности, что, несмотря на жидкий, трехнотный голос, шепот Щепкина был слышен во всем Большом Петровском театре? Но всего труднее было ему ладить с своим жаром, с своими чувствами и удерживать их в настоящей

мере, в узде; правда, они иногда одолевали его, но с намерением Щепкин никогда не украшал, не расцвечивал ими бесцветного лица в пиесе. Один только раз был я свидетелем, что Щепкин намеренно сыграл целую роль не так, как понимал. Это случилось в 1828 году: давали в первый раз перевод английской комедии «Школа супругов», пиесы очень умной, но растянутой и оттого довольно скучной. Я знал, как понимал и как исполнял свою роль Щепкин. Я видел его на главной репетиции и восхищался, вместе с другими, строгим исполнением характера замечательного, но уже слишком неэффектного. Во время представления, когда сошел уже первый акт (Щепкин в нем почти не участвовал), принятый публикою с явными признаками скуки, вдруг Щепкин с половины второго акта начал играть с живостью и горячностью, неприличными представляемому лицу; оживленные внезапно его игрой, актеры также подняли тон пиесы, публика выразила свое сочувствие, и комедия была выслушана с удовольствием и одобрением. Когда я вошел к Щепкину в уборную, он встретил меня словами: «Виноват, но я боялся, что зрители заснут от скуки, если досидят до конца пиесы». Именно то и случилось при повторении бенефисного спектакля, в котором Щепкин играл уже свою роль, как требовала неподкупная истина и строгие правила искусства; в третий раз этой комедии уже не играли.

Идя неуклонно путем опыта, труда, ученья, дошел, наконец, Щепкин, еще в полной силе своих средств, до того возможного совершенства, с которым он играл Бота, Досажаева, Транжирина, Богатонова, Арнольфа в «Школе жен» (любимая его роль), Гарпагона, Сганареля, Любского в «Благородном театре» Загоскина и, наконец, Фамусова, Шейлока и Городничего в «Ревизоре». Кроме того, Щепкин перенес на русскую сцену настоящую малороссийскую народность, со всем ее юмором и комизмом. До него мы видели на театре только грубые фарсы, карикатуру на певучую, поэтическую Малороссию, Малороссию, которая дала нам Гоголя! Щепкин потому мог это сделать, что провел детство и молодость свою на Украине, сроднился с ее обычаями и языком. Можно ли

забыть Щепкина в «Москале-Чаривнике», в «Наталке-Полтавке»?

В эпоху блистательного торжества, когда Петровский театр, наполненный восхищенными зрителями, дрожал от восторженных рукоплесканий, был в театре один человек, постоянно недовольный Щепкиным; этот человек — был сам Щепкин. Никогда не был собою доволен *взыскательный художник*, ничем неподкупный судья!

В продолжение тридцатидвухлетнего своего служения на московской сцене скольким людям доставил Щепкин сердечное наслаждение и слез и смеха! Кто не плакал от игры его в «Матросе», кто не смеялся в «Ревизоре»?.. Но смех над собой — те же слезы, и равно благодетельны они душе человека. Из людей, видевших полное развитие таланта Щепкина, уже многих нет на свете; нет именно тех людей, которых верная оценка и нелицеприятный приговор были для Щепкина высшею наградою, с мнением которых соглашалось и общественное мнение.

Из всех художников художник-актер, без сомнения, производит самое сильное, живое впечатление, но зато и самое непрочное. Нет выше наслаждения, нет более утешительного чувства, как двигать тысячи людей одним словом, одним взглядом. Актер, заставляя зрителей одно с ним чувствовать, одному радоваться, одно ненавидеть и об одном скорбеть — вдруг от нескольких тысяч людей слышит голос сочувствия и одобрения, выражаемых громом рукоплесканий!.. Но, увы, мимолетно это впечатление, и если не исчезает в зрителях мгновенно, по возвращении их в мир действительный, то, конечно, слабеет и умирает вместе с ними. Актер не оставляет свидетельства своего таланта, хотя разделяет творчество с драматическим писателем: ни картина, ни статуя, ни слово, увековеченное печатью, не служат памятником его художественной деятельности, и потому о художнике-актере надобно более писать, чем о художниках другого рода, которые своими созданиями говорят сами о себе даже отдаленному потомству. Да сохранится же по крайней мере благородное имя сценического художника в истории искусства и литературы, да сохранится память уважения к нему признательных современников!

Не благосклонно мирному искусству настоящее грозное время; мрачен наш небосклон; строго испытание... Но всегда время отдавать справедливость заслуге; благодарным быть — всегда время. Если мы признаем за истину, что воспитание, усовершенствование в себе природного дара есть общественная заслуга, то не должны ли мы признать, что Щепкин оказал такую заслугу русскому обществу, преимущественно московскому? Итак, благодарность ему за доставление нам, в продолжение стольких лет, высоких наслаждений, сердечных и умственных! Благодарность за благотворные слезы и благодетельный смех!

1855 года, ноября 18-го, Москва.

ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ «МОЛВЫ»

Милостивый государь!

Какая благодетельная фея внушила вам мысль воскресить имя «Молвы»! Я долго не верил своим глазам. Как, опять в Москве будет выходить «Молва», газета, и каждую неделю! Я не знаю, как понравится публике ваше предприятие и будет ли она довольна вашим изданием. Но что мне до этого за дело? Я старик, следовательно немножко эгоист, и потому очень буду рад появленью вашей газеты. Она напомнит мне прошедшее веселое время, жизнь, еще полную жизни, борьбу, удачи и неудачи и многие памятные, дорогие имена. Она напомнит мне и «Колченогого Надоумку» [1], и «Пе-Ща» [2], и битву за Мочалова против Каратыгина, и полемические выходки против издателя «Телеграфа», которыми он так раздражался, что домашние, как было слышно, даже прятали от него легкие листочки «Молвы»... Ну,

---

[1] «Надоумка» — известный псевдоним Н. И. Надеждина, которого однажды печатно назвали «Колченогим Надоумкой» в собственной его газете, в «Молве».

[2] П. Щ. — этими буквами подписывал иногда Надеждин полемические свои статьи, хотя немножко семинарски, но едко написанные. П. Щ. — начальные буквы имени и фамилии короткого приятеля Надеждина, всем известного тогда, достойного и почтенного профессора, Павла Степановича Щепкина.

надобно признаться, что выходки были слишком резки, слишком грубы, не литературны. Видите, я человек беспристрастный, я говорю правду про свое время, даром что люблю его. Мое время, если хотите, если уж пошло на правду, было несколько, как бы это сказать, не то что поглупее теперешнего... нет, с этим нельзя согласиться; оно было простее, простодушнее, наивнее... Все не то; оно было пустее, вот это правда. Впрочем, мы не виноваты в том, что таково было время. Да, вопросы литературные и жизненные, особенно последние, были гораздо помельче, далеко не так важны, я не спорю, но жить было веселее; мы жили спустя рукава, не оглядываясь на свое прошедшее, не вникая в безнравственность отношений настоящего и не помышляя о будущем.

Впрочем, зачем же все это я говорю вам? Цель моего письма совсем другая. Я хотел только высказать вам мое удовольствие, что будет опять выходить газета «Молва», хотел познакомиться с вами, ее редактором, и попросить у вас местечка для моей стариковской болтовни. Я не имею чести вас знать; но не знаю почему, считаю вас человеком ученым и даже немножко серьезным, как и все нынешнее молодое поколение; я опасаюсь, что моя болтовня о прошедшем покажется вам ничтожною, не интересною для публики. Я понимаю, с одной стороны — вы правы: самое имя вашей газеты требует современности, свежести, животрепещущих интересов настоящего времени; но, милостивый государь, нельзя отделить настоящее от прошедшего китайской стеною ни в литературе, ни в жизни. Многое посеяно, может быть и бессознательно, именно в мое время, даже пустило корни, и многое, что теперь цветет и пышно красуется современностью, думая, что оно родилось вчера, — долго лежало в земле, всасывая в себя питательные ее соки; на таком основании я думаю, что и мои простодушные воспоминания, благонамеренные напоминанья и откровенные замечания могут иметь место в вашей газете и могут найти себе благосклонных читателей. Мир велик, вкусы различны; найдутся и на мою долю добрые люди, которым мои статейки придутся по вкусу.

В заключение позвольте дать вам совет как человеку неопытному в журнальном деле: будьте серьезны, учены, резки, несправедливы, сколько вам угодно; но не будьте темны, бесцветны и скучны; последнего не простят вам читатели, то есть не будут вас читать. По секрету скажу вам, что журналы наши нередко страдают болезнью темноты и скуки. — Вы никогда от меня не узнаете моего имени; если же узнаете от других или догадаетесь сами, то я надеюсь, никогда не назовете меня; это было б крайне неучтиво. Уважьте прихоть старика, напечатайте мое письмо в 1-м нумере вашей газеты.

ТРИ ОТКРЫТИЯ В ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ПЧЕЛЫ

К. Ф. Рулье, Москва, в типографии Каткова и К°, 1857 года

Эта брошюра, состоящая из пятидесяти семи страниц, заслуживает полного внимания не только ученых, но и всех любознательных людей. Даровитость г-на профессора Рулье, с полным сочувствием и благодарностью давно оцененная его слушателями, давно известна всей образованной публике. Письменная его речь отличается живостью, точностью, меткостью выражений и простотою. Изустная его речь, по общему признанию, еще лучше; то есть лучше тем, что сильнее действует на слушателей, чем письменная на читателей, хотя, без сомнения, профессор правильнее, отчетливее пишет, чем говорит. Живая импровизация, восполняемая личностью и одушевлением говорящего, никогда не может быть перенесена на бумагу. Профессор Рулье принадлежит к числу тех немногих профессоров, которых слушают не по обязанности и которых лекции никогда не забываются. Мы имели случай не один раз убедиться в том. Тут дело идет уже не об одной науке, не о числе и тонкости волокон и перепонок, жизненных орудий насекомого, открываемых только посредством микроскопа, — тут слышится и чувствуется нечто важнейшее: поэзия природы, вечная мудрость, высокое наслаждение в уразумении ее законов! Брошюра, о которой мы говорим, служит убедительным

доказательством последних наших слов. Ее содержание, скажут, неудобно, неприлично для изложения, хотя в науке все удобно, все прилично и все чисто. Всякий, кто прочтет эту брошюру, вероятно, согласится с нами; мы с жадностью и наслаждением прочли ее. Кроме удовлетворения любознательности, «Три открытия в естественной истории пчелы», одной из любопытнейших и полезнейших тварей божьего мира, произвели на нас два впечатления: глубокое благоговение к тому безграничному предвиденью, к той высшей экономии, с которою создано все в природе, и благодарность к благородным деятелям на поприще науки.

Москва.
1857 года, апреля 14-го.

ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ «МОЛВЫ»

В первом моем письме я просил у вас местечка в «Молве» для помещения моей стариковской болтовни. Вы довольно неучтиво промолчали. Вам бы следовало сказать: «Милости просим!» — Ну, да я на это не смотрю. Я прикрываюсь известной поговоркой, что молчание есть знак согласия — и пишу к вам второе письмо.

Итак, ожила «Молва»! Вот уже три нумера, каждый в полтора листа, да еще с *прибавлением* (гораздо более, чем вы обещали), лежат на столе передо мною. Я любуюсь вашей газетой, как любовался бы старой приятельницей, воротившейся после долгого отсутствия, и с тревожным любопытством смотрю, как она переменилась и стала серьезна. Не скрою от вас, что настоящая «Молва» не совсем похожа на мой идеал. Я разумею идеал современный: я не такой старик, который бы пожелал сходства настоящего с прошедшим. Я люблю правду и соглашусь, если мне возразят, что, может быть, мой идеал не понравится большинству публики. Время — деспот, и я признаю его права. Но позвольте, однако, вам заметить, что у вас в «Молве» — мало молвы; а мало ли ее ходит по Москве? Уверяю вас, что найдется много читателей, которые будут вам благодарны за скорое сообщение живых известий о том, что думает, о чем говорит, в чем принимает участие образованное общество. Предоставляя вам самим позаботиться о молве для

вашей «Молвы», хочу поговорить о действительном литературном событии.

В Петербурге скоро выйдет полное собрание сочинений Гоголя, со включением его огромной переписки, составляющей два большие тома. Письма Гоголя любопытны и поучительны в высшей степени. Можно надеяться, что русская публика, прочитав их, составит себе верное и определенное понятие о Гоголе как о человеке; убедится в искренности его стремлений, в горячей любви к людям и в полном самоотвержении для общего блага. Все его человеческие ошибки и уклонения — драгоценное наследие человечеству. Вот где заключается его полная биография! Едва ли какой-нибудь из великих писателей писал столько писем, как Гоголь. В его жизни был период, очень долгий, когда он не мог продолжать своего гениального труда, то есть «Мертвых душ», и вся его внутренняя умственная и душевная деятельность находила себе выражение в письмах. Собрание их не полно. Многого нельзя было получить, и еще менее можно было напечатать. Труд издания взял на себя соплеменник Гоголя, известный своею деятельностью, точностью и знанием дела, г. Кулиш. Многие, видевшие образцовые листы нового издания, говорят, что оно так хорошо, так исправно и отчетисто, как не издают книг в России.

1857 г. Апрель 29.
Москва.

<О РОМАНЕ Ю. ЖАДОВСКОЙ «В СТОРОНЕ ОТ БОЛЬШОГО СВЕТА»>

В «Русском вестнике» напечатан небольшой роман, или повесть, или рассказ о жизни деревенской девушки до замужества, под названием «В стороне от большого света», сочинения Юлии Жадовской, вероятно той самой, которой стихи, всегда с сочувствием и удовольствием, мы встречаем в наших журналах. Новое сочинение г-жи Жадовской принадлежит к роду так называемых мемуаров, или воспоминаний. Мы спешим радушно приветствовать сочинительницу на новом поприще, спешим высказать впечатления, которые произвело на нас чтение этого рассказа. В нем нет ничего блестящего, глубокого и сильно действующего на читателя; но есть много простоты, много правды и неподдельного чувства; а это такие достоинства, которые не часто встречаются в произведениях нашей беллетристики. Содержание ничего не имеет в себе особенного, да и нет в том никакой надобности. Жизнь всегда интересна. Г-жа Жадовская рассказывает то, что видела, что пережила, что перечувствовала. Язык у ней везде хорош, а в некоторых местах, несмотря на свою простоту, делается выразителен и живописен. Достоинство рассказа не везде одинаково. Он слабеет там, где сочинительница менее сочувствует обстоятельствам, которые описывает. Она не владеет еще искусством придавать пошлым мелочам интерес художественного представления. Но все соприкосновения с деревенским бытом,

с природою, даже с зимнею безотрадною природой, переданы прекрасно. Особенно хороши ожидания и встреча пасхи, свадьба героини романа и окончание рассказа — эти места имеют художественное достоинство. Некоторые женские личности очерчены очень удачно и всех лучше тетка — благодетельница сироты; но таинственный Тарханов и магнетический Данаров не похожи на действительных людей, это не живые лица; черты их неопределенны, неясны и загадочны. Вероятно, сочинительница не выдумала их и по каким-нибудь причинам не хотела обрисовать точнее, не хотела, чтоб узнали их. Если ж она думала придать им более интереса загадочностью их физиономий, то это большая ошибка: что не ясно для понимания, то не возбуждает сочувствия. Мы написали не разбор, а коротенький отзыв о новом сочинении г-жи Жадовской, которое, по своей замечательности, имеет полное право на подробную критическую оценку.

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ТРИ КАНАРЕЙКИ

(Басня)

Какой-то птицами купчишка торговал,
Ловил их, продавал
И от того барыш немалый получал.
Различны у него сидели в клетках птички:
Скворцы и соловьи, щеглята и синички.
Меж множества других,
Богатых и больших,
Клетчонка старая висела
И чуть-чуть клетки вид имела:
Сидели хворые три канарейки в ней.
Ну жалко посмотреть на сих бедняжек было;
Сидели завсегда нахохлившись уныло:
Быть может, что тоска по родине своей,
Воспоминание о том прекрасном поле,
Летали где они, резвились где по воле,
Где знали лишь веселия одне
(На родине житье и самое худое
Приятней, чем в чужой, богатой стороне);
Иль может что другое
Причиною болезни было их,
Но дело только в том, что трех бедняжек сих
Хозяин бросил без призренья,
Не думав, чтоб могли оправиться они;
Едва кормили их, и то из сожаленья,
И часто голодом сидели многи дни.

Но нежно дружество, чертогов убегая,
А чаще шалаши смиренны посещая,
Пришло на помощь к ним
И в тесной клетке их тесней соединило.
Несчастье общее союз сей утвердило,
Они отраду в нем нашли бедам своим!
И самый малый корм, который получали,
Промеж себя всегда охотно разделяли
И были веселы, хотя и голодали!
Но осень уж пришла; повеял зимний хлад,
А птичкам нет отрад:
Бедняжки крыльями друг дружку укрывали
И дружбою себя едва обогревали.
Недели две спустя охотник их купил,
И, кажется, всего рублевик заплатил.
Вот наших птичек взяли,
В карете повезли домой,
В простой клетке им приют спокойный дали,
И корму поскорей, и баночку с водой.
Бедняжки наши удивились,
Ну пить и есть, и есть и пить;
Когда ж понасытились,
То с жаром принялись судьбу благодарить.
Сперва попрежнему дни три-четыре жили,
Согласно вместе пили, ели
И уж поразжирели,
Поправились они;
Потом и ссориться уж стали понемножку,
Там больше, и прощай, счастливы прежни дни!
Одна другую клюнет в ножку,
Уж корму не дает одна другой
Иль с баночки долой толкает;
Хоть баночка воды полна,
    Но им мала она.
В просторе тесно стало,
И прежня дружества как будто не бывало.
И дружбы и любви раздор гонитель злой!
Уж на ночь в кучку не теснятся,
А врознь все по углам садятся!
Проходит день, проходит и другой,

Уж ссорятся сильнее
И щиплются больнее —
А от побой не станешь ведь жиреть;
Они ж еще хворали,
И так худеть, худеть,
И в месяц померли, как будто не живали.

Ах! лучше бы в нужде, но в дружбе, в мире жить,
Чем в счастии раздор и после смерть найтить!
Вот так-то завсегда и меж людей бывает:
Несчастье их соединяет,
А счастье разделяет.

А. И. КАЗНАЧЕЕВУ

Ах, сколь ошиблись мы с тобой, любезный друг,
Сколь тщетною мечтой наш утешался дух!
Мы мнили, что сия ужасная година
Не только будет зла, но и добра причина;
Что разорение, пожары и грабеж,
Врагов неистовство, коварство, злоба, ложь,
Собратий наших смерть, страны опустошенье
К французам поселят навеки отвращенье;
Что поруганье дев, убийство жен, детей,
Развалины градов и пепл святых церквей
Меж нами положить должны преграду вечну;
Что будем ненависть питать к ним бесконечну
За мысль одну: народ российский низложить!
За мысль, что будет росс подвластным галлу жить!..
Я мнил, что зарево пылающей столицы
Осветит, наконец, злодеев мрачны лицы;
Что в страшном сем огне пристрастие сгорит;
Что огнь сей — огнь любви к отчизне воспалит;
Что мы, сразив врага и наказав кичливость,
Окажем вместе с тем им должну справедливость;
Познаем, что спаслись мы благостью небес,
Прольем раскаянья потоки горьких слез;
Что подражания слепого устыдимся,
К обычьям, к языку родному обратимся.
Но что ж, увы, но что ж везде мой видит взор?
И в самом торжестве я вижу наш позор!

Рукою победя, мы рабствуем умами,
Клянем французов мы французскими словами.
Толпы сих пленников, грабителей, убийц,
В Россию вторгшися, как стаи хищных птиц,
Гораздо более вдыхают сожаленья,
Чем росски воины, израненны в сраженьях!
И сих разбойников — о, стыд превыше сил, —
Во многих я домах друзьями находил!
Но что? Детей своих вверяли воспитанье
Развратным беглецам, которым воздаянье
Одно достойно их — на лобном месте казнь!
Вандама ставили за честь себе приязнь,
Который кровию граждан своих дымится,
Вандама, коего и Франция стыдится!
А барынь и девиц чувствительны сердца
(Хотя лишилися — кто мужа, кто отца)
Столь были тронуты французов злоключеньем,
Что все наперерыв метались с утешеньем.
Поруганный закон, сожженье городов,
Убийство тысячей, сирот рыданье, вдов,
Могила свежая Москвы опустошенной,
К спасенью жертвою святой определенной, —
Забыто все. Зови французов к нам на бал!
Все скачут, все бегут к тому, кто их позвал!
И вот прелестные российские девицы,
Руками обхватясь, уставя томны лицы
На разорителей отеческой страны
(Достойных сих друзей, питомцев сатаны),
Вертятся вихрями, себя позабывают,
Французов — языком французским восхищают.
Иль брата, иль отца на ком дымится кровь —
Тот дочке иль сестре болтает про любовь!..
Там — мужа светлый взор мрак смертный покрывает,
А здесь — его жена его убийц ласкает...
Но будет, отвратим свой оскорбленный взор
От гнусных тварей сих, россиянок позор;
Благодаря судьбам, избавимся мы пленных,
Забудем сих невежд, развратников презренных!
Нам должно б их язык изгнать, забыть навек.
Кто им не говорит у нас — не человек,

В отличных обществах того не принимают,
Будь знающ и умен — невеждой называют.
И если кто дерзнет противное сказать,
Того со всех сторон готовы осмеять;
А быть осмеянным для многих сколь ужасно!
И редкий пустится в столь поприще опасно!..
Мой друг, терпение!.. Вот наш с тобой удел.
Знать, время язве сей положит лишь предел.
А мы свою печаль сожмем в сердцах унылых,
Доколь сносить, молчать еще мы будем в силах...

Москва.
Сентябрь, 1814.

ПЕСНЬ ПИРА

Вслед один другому
Быстро дни летят;
К брегу так морскому
Ветры — волны мчат.

Младость пролетает,
Как веселый час;
Старость догоняет
Скорым шагом нас.

Истощим утехи,
Пресытимся всем;
Радость, игры, смехи,
Множьтесь с каждым днем.

Насладившись мира,
Так с него уйдем,
Как с роскошна пира,
И потом — заснем.

* * *

За престолы в мире
Пусть льют бранну кровь;
Я на тихой лире
Буду петь любовь.
Не любя на свете,
Лучше умереть.
Есть ли что в нас злее
Друг друга губить,
Есть ли что милее
Пламенно любить.
Не любя на свете,
Лучше умереть.
В юности ль прелестной
Должно тигром быть?
Нет! Творец небесный
Создал нас любить.
Не любя на свете,
Лучше умереть.
Сладких восхищений,
Счастия богов,
Райских наслаждений
Ты творец — любовь.
Не любя на свете,
Лучше умереть.

* * *

Юных лет моих желанье
В летах зрелых не сбылось,
Непременное мечтанье
Как мгновенье пронеслось.

Я мечтал, что с другом нежным
Буду время проводить;
Буду в горе неизбежном
Сердце с ним мое делить.

Я мечтал в любови страстной
Чашу восхищений пить
И с подругою прекрасной
Небо в зависть приводить.

* * *

Вот родина моя... Вот дикие пустыни!..
Вот благодарная оратаю земля!
Дубовые леса, и злачные долины,
И тучной жатвою покрытые поля!

Вот горы, до небес чело свое взносящи,
Младые отрасли Рифейских древних гор,
И реки, с пеною меж пропастей летящи,
Разливом по лугам пленяющие взор!

Вот окруженные башкирцев кочевьями
Озера светлые, бездонны глубиной,
И кони резвые, несчетны табунами
В них смотрятся с холмов, любуяся собой!..

Приветствую тебя, страна благословенна!
Страна обилия и всех земных богатств!
Не вечно будешь ты в презрении забвенна,
Не вечно для одних служить ты будешь паств.

ПОСЛАНИЕ К КН. ВЯЗЕМСКОМУ

Перед судом ума сколь, Вяземский, смешон,
Кто, самолюбием, пристрастьем увлечен,
Век раболепствуя с слепым благоговеньем,
Считает критику ужасным преступленьем
И хочет, всем назло, чтоб весь подлунный мир
За бога принимал им славимый кумир!
Благодаря судьбе, едва ль возможно ныне
Всех мысли покорить военной дисциплине! —
Я чту в словесности, что мой рассудок чтит.
Пускай меня Омар и рубит и казнит;
Пускай он всем кричит, что «тот уж согрешает
И окаянствует, кто смело рассуждает».
Неправда ль, Вяземский, как будет он смешон,
В словесность к нам вводя магометан закон?
Священный Весты огнь не оскорблю сравненьем
Сего фанатика с безумным ослепленьем.
И что за странна мысль не прикасаться ввек
К тому, что написал и славный человек?
И как же истины лучами озаримся,
Когда поклонников хвалами ослепимся?
Наш славный Дмитриев сказал, что «часто им
Печатный каждый лист быть кажется святым!»
Так неужели нам, их следуя примеру,
К всему печатному иметь слепую веру?..
Ты скажешь, Вяземский, и соглашусь я в том:
«Пристрастие, водя защитника пером,

Наносит вред тому, кого он защищает,
Что лавров красота от лести померкает!
Ответ ли на разбор — *сатиры личной зло,*
Хоть стрелы б увивал цветами Буало?..
Лишь может истина разрушить ослепленье,
Лишь доказательства рождают убежденье».
Так, Вяземский, ты прав: презрителен Зоил,
Который не разбор, а пасквиль сочинил
И, испестрив его весь низкими словами,
Стал точно наряду с поденными вралями!
О, как легко бранить, потом печатать брань
И собирать хвалы, как будто должну дань!
Легко быть славиму недельными листами,
Быв *знаменитыми* издателей друзьями;
Нетрудно, братскою толпой соединясь,
Чрез *рукопашный бой* взять приступом Парнас,
Ввесть самовластие в республике словесной,
Из видов лишь хвалить — хвалой для всех бесчестной,
Друг друга заживо бессмертием дарить
И, ах! недолго жив, бессмертье пережить;
Но кратковременно сих хищников правленье!
Исчезнет слепота — и кончится терпенье:
Тогда восстанет все на дерзких храбрецов,
И не помогут им запасы бранных слов;
Им будут мстить за то, что долго их сносили
И равнодушными к суду пристрастну были.
Шумиху с золотом потомство различит
И время слов набор, как звук пустой, промчит;
Ни связи, ни родство, ни дружески обеды,
Взаимною хвалой гремящие беседы
Не могут проложить к бессмертию следа:
Суд современных лжив; потомков — никогда!

Москва.

ЭЛЕГИЯ В НОВОМ ВКУСЕ

Nugae canorae ...
Horat. [1]

Молчит угрюмый бор... луч солнца догорает...
Бродящий ветерок в листочках умирает...
С безбрежной высоты
Прохлада снизошла на лоне темноты,
И ночь таинственным покровом
Как тучей облекла природы наготу;
И запад потухал... с мерцанием багровым
Безоблачных небес сливая красоту.
Молчанье мертвое настало,
И тишина на ветвях возлегла.
И ночи божество дремотой оковало
Природу всю — людей, и мысли, и дела.
Как бы окаменев, древ гибкие вершины
Нахмурившись стоят,
И вечно трепетной осины
Листочки, опустясь, недвижимо висят.
Река в родных брегах неслышима катится,
Как будто жизни нет в живых ее струях...
Невидимая тень на дне ее ложится,
Повсюду бродит тайно страх.
С душой отцветшею для милых наслаждений
Как странник сирота — с улыбкой незнаком —

[1] Звучные безделки...
Гораций.

И жизни молодой крылатых обольщений
Утративши зарю... унынием влеком,
Иду бестрепетно под сосен мрачны своды
И там беседую с приветною тоской
Слезой тяжелою (один сей дар природы
Не похищен людей безжалостной рукой),
Слезой тяжелою грудь скорбну омывая;
Воспоминания о бывшем пробуждая,
Лечу в туманну даль, мечтами окрылен...
О сердца радости!.. погибши безвозвратно,
    Почто так рано вас лишен?..
    Почто ты было так превратно,
    О счастие моих весенних дней?..
    Едва блеснуло... и сокрылось!..
    Погас мгновенный блеск лучей
И солнце радостей навеки закатилось!..
Стеснилась грудь моя... и вдруг как будто сном
        Или оцепененьем
    Невидимый одел меня крылом.
И внял я тайный глас с безвестным мне веленьем:
«О странник! — он вещал, — воспрянь и ободрись!
О благах временных ты не крушись тоскою!
Там, выше твой удел!.. Туда, туда стремись!
    Там обновишься ты душою!..
    Там вкусишь плод добра из бед!..
    Из мрака будет свет!..»
И он умолк... неспавшие открыл я вежды.
Душа присутствием небесного полна...
На ней сиял луч кроткия надежды...
Воззрел — окрест меня страна озарена,
Бор черный — побледнел... и плавала луна
        Над мной — и подо мною,
И все вокруг — повторено коварною рекою.
Познал я сладость слез: незримый спутник мой,
        Благое провиденье!
    Прости младенца дерзновенье,
Посмевшего роптать на тайный промысл твой...

15 Апреля.

УРАЛЬСКИЙ КАЗАК

(Истинное происшествие)

Настала священная брань на врагов
И в битву помчала Урала сынов.

Один из казаков, наездник лихой,
Лишь год один живши с женой молодой,

Любя ее страстно и страстно любим,
Был должен расстаться с блаженством своим.

Прощаясь с женою, сказал: «Будь верна!»
«Верна до могилы!» — сказала она.

Три года за родину бился с врагом,
Разил супостатов копьем и мечом.

Бесстрашный наездник всегда впереди,
Свидетели — раны, и все на груди.

Окончились битвы; он едет домой,
Все страстный, все верный жене молодой.

Уже достигают Урала брегов
И видят навстречу идущих отцов.

Казак наш объемлет отца своего;
Но в тайной печали он видит его.

«Поведай, родимый, поведай ты мне
Об матери милой, об милой жене».

Старик отвечает: «Здорова семья;
Но, сын мой, случилась беда у тебя:

Тебе изменила младая жена;
Зато от печали иссохла она.

Раскаянье видя, простили мы ей;
Прости ее, сын мой: *мы* просим об ней!»

Ни слова ответа! Идет он с отцом,
И вот уже входят в родительский дом.

Упала на грудь его матерь в слезах,
Жена молодая лежала в ногах.

Он мать обнимает; иконам святым,
Как быть, помолился с поклоном земным.

Вдруг сабля взвилася могучей рукой...
Глава покатилась жены молодой!

Безмолвно он голову тихо берет,
Безмолвно к народу на площадь идет.

Свое преступленье он всем объявил,
И требовал казни, и казнь получил.

ПОСЛАНИЕ К ВАСЬКОВУ

Ты прав, любезный Васьков мой,
Чувствительность есть дар несчастный.
Я прежде споривал с тобой,
Но в вёдро ль видеть день ненастный.
Когда лелеет счастье нас,
То сильно чувствовать приятно,
Но горести в ужасный час
Холодным лучше быть стократно!

РОЗА И ПЧЕЛА

(Басня)

В саду, цветами испещренном,
В густой траве, в углу уединенном
Прелестная из роз цвела;
Цвела спокойно, но — довольна не была!
Кто завистью не болен?
Кто участью своей доволен?
Она цвела в глуши; но что ж в глуши цвести?
Легко ль красавице снести?
Никто ее не видит и не хвалит;
И роза всех подруг себя несчастней ставит,
Которые в красивых цветниках
У всех в глазах
Цвели, благоухали,
Всех взоры, похвалы невольно привлекали.
«Что может быть печальнее того?
Невидима никем, не видя никого,
В безвестности живу, и в скуке умираю,
И тщетно всякий день на жребий свой пеняю», —
Роптала роза так. Услыша речь сию,
Сказала ей пчела: «Напрасно ты вздыхаешь,
Винишь судьбу свою;
Ты счастливее их, на опыте узнаешь».
Что ж? так и сделалось! Все розы в цветниках
За то, что были на глазах,
Все скорой смертью заплатили.
Тех солнечны лучи спалили,

Те пострадали от гостей,
Которые в жестокости своей
Уродовали их — хоть ими любовались:
Один сорвет цветок,
Другой изломит стебелек,
А третий изомнет листок —
И, словом, розы те, которые остались,
Такой имели жалкий, скучный вид,
Что всякий уж на них с холодностью глядит,
А наша розочка, в углу уединенном,
Древ тенью осененном,
Росой до полдня освеженном,
Была любимицей и резвых мотыльков
И легких ветерков;
Они и день и ночь ее не оставляли,
От зноя в полдень прохлаждали,
А ночью на ее листочках отдыхали.
Так долго, долго жизнь вела,
Спокойна, весела и счастлива была
Затем, что в уголку незнаема цвела.

8-я САТИРА БУАЛО «НА ЧЕЛОВЕКА»

<I>

Из тварей всех, в земле и на земле живущих,
И зрячих и слепых, безгласных и поющих,
Которые ползут и ходят на ногах,
Летают в воздухе и плавают в водах,
От Лимы до Москвы, от Темзы до Терека —
Нет твари ни одной глупее человека.
«Как, — спросят вдруг меня, — червяк, и муравей,
И насекомое, чуть зримо для очей,
Едва ль живущее, — умнее человека?»
Так точно. Разве ум зависит наш от века?
Я вижу, изумлен, смущен, профессор мой,
Качаешь ты своей ученой головой.
«В природе человек верховный повелитель, —
Ты говоришь, — весь мир его страстям служитель.
Ему леса, луга, и горы, и моря,
И все животные в нем признают царя,
И разум свыше дан ему лишь в достоянье».
Профессор мой, ты прав: рассудком обладанье
Единый человек стяжал в природе всей;
И потому-то он из тварей всех глупей.
«Такие выходки в сатире лишь годятся
И могут рассмешить, кто хочет рассмеяться, —
Ты говоришь, — но мне их должно доказать,
Взойди на кафедру, изволь мне отвечать».
Что мудрость! — власть ума над чувствами, страстями,
Спокойствие души, испытанной бедами,

Неизменяемость чувств, мыслей, правил, дел.
Кто ж менее людей сей дар благий имел?
Все лето муравей проводит за трудами,
Наполнить закром свой старается плодами:
Когда ж дохнет борей, повеет зимний хлад,
Спокойный муравей запасами богат,
Смеется под землей метелей зимних вою
И ест, что собрано им летнею порою.
Видал ли муравья, скажи, профессор мой,
Весной ленивого, прилежного — зимой?
А человек? Сие разумное творенье
Когда о будущем имеет попеченье?
В дни лета красного свой не исправя кров,
Не он ли, голоден, зимой дрожит без дров?
И в мыслях, и в делах, и в чувствах до могилы
Непостоянен он, как ветер легкокрылый!
Его рассудок — раб, игралище страстей,
Бессилен вырваться из чувственных сетей;
А сердце слабое — челнок на океане
Средь бурь, без кормчего, сомнения в тумане.
Он вмиг и добр и зол, и весел и сердит;
Что хвалит поутру, то к вечеру́ бранит:
Как мотылек летит с цветка к другому цвету,
Кружится человек, меняя цель, по свету.
В желаниях отчет не может дать себе
И — за худой успех пеняет злой судьбе.
«Как? мне? сковать мой век супружества цепями
С кокеткой, женщиной? стать наряду с глупцами?
Быть притчей в обществе, насмешкам жертвой злым?» —
Так говорил наш граф приятелям своим;
Но месяц не прошел, и вот уж две недели,
Как брачное ярмо на хвастуна надели.
Примерным мужем став, уверен всей душой,
Что обладает он вернейшею женой,
Что, к удивлению всего земного круга!..
Родилась для него примерная супруга.

Таков-то человек: не верен он себе,
Сегодня лучший друг, а завтра — враг тебе;

Переменяет мысль, желания по моде,
И плачет, и поет, и пляшет — по погоде.
Что легкомыслен он и ветрен, знаешь сам;
Он предан собственным обманчивым мечтам,
Ты знаешь, и — зовешь его царем творенья!
Но кто ж, ты говоришь, имеет в том сомненье?
Я сомневаюсь, да! и льщусь вам доказать:
Извольте выслушать. Не станем разбирать:
Когда бы ты в лесу с медведем повстречался,
Который бы из вас скорее испугался
И по указам ли нубийских пастухов
Терзают Ливию стада барканских львов?
А спросим — этот царь над тварию земною,
Сколь многих он владык имеет над собою?
Гнев, скупость и любовь, тщеславие и страх
Содержат ум его, как узника в цепях!
Едва покойный сон глаза его смыкает,
Как скупость говорит: — *Вставай, уже светает.* —
Оставь меня. — *Вставай! Пора, сбирайся в путь.* —
Хоть час один... — *Нет, нет, готов в минуту будь.* —
Помилуй, да куда? — *В Ямайку плыть за ромом,*
Потом в Японию за амброй и фарфором. —
К чему богатства мне? Я потерял им счет. —
Глупец! богатства кто излишними зовет?
Приобретая их, и знать не должно меры,
Ни жизни не щадить, ни совести, ни веры:
На голых спать досках, почти не есть, не пить,
За денежку себя позволить удавить. —
Но для чего, скажи, такое сбереженье? —
Не знаешь? Для того, чтоб все твое именье,
На диво промотал наследник пышный твой
И занял бы столиц внимание собой... —
Что делать? — Плыть скорей, матросы уж готовы...

<II>

Все скажут: человек один из всех скотов
Живет средь общества обширных городов;
Он ввел приличия, полезные обряды,
Любезность нравов, вкус, веселости, наряды;

Поставил над собой законы и царей,
Завел полицию, судилища, судей...
Конечно, нет в лесах полиции устава,
И неизвестна там судебная расправа;
Для дел бессовестных — нет совестных судов,
Лисиц-секретарей, исправников-волков;
Не размежеваны бесспорные владенья,
Нет межевых контор запутывать именья;
Не ездит земский суд с указом на разбой,
Чтоб собственность отнять законною рукой.
Нет формы и суда, и нет формальных споров;
Нет исков, нет тюрьмы, нет стряпчих, прокуроров;
Нет департаментов ни горных, ни лесных,
Приказной саранчи не слыхано у них;
Невинных барышей — нет и по винной части,
. . . .
Но между зайцами видал ли кто воров?
Но волки грабят ли когда-нибудь волков?
Бывало ль, замыслов своих для исполненья
Другими жертвуя — себя для возвышенья,
Чтоб тигр Гиркании крамолой возмущал,
Чтобы медведь когда с медведем воевал?
И лев противу льва, отец противу сына
Сражался ли когда за выбор властелина?
И лютый зверь свой вид в другом животном чтит
И ярость, зря себе подобного, смирит!
Как братья твари все живут между собою;
Ни злата, ни честей не мучатся алчбою,
Ни гнусной завистью; у них нет тяжеб, ссор;
Друг друга не теснят, и всякому простор;
А мы? за горсть травы — прошенье исковое;
Безделки стоит вещь, а мы заплатим втрое.
Да что — к безделке сей придравшись, наконец
Отнимут, чем владел и дед твой и отец.
Кто нажил взятками кровавое именье,
Тот в славе, в почестях и у людей в почтенье;
Служить — уж значит красть; а кто не мыслит так —
По мненью общему, конечно, тот дурак;
А мы, разумные, в неистовстве разврата
Щадим ли ближнего, иль друга, или брата?
Пороки гнусные себе мы ставим в честь.

Тот славится, что мог он много пить и есть;
Тот картами своих друзей был разоритель;
Тот честных жен, девиц счастливый обольститель;
А этот дуэлист, славнее всех других:
На поединках он зарезал семерых;
Но мало! человек с чертовским ухищреньем
Не занят ли всегда подобным истребленьем?
Он порох изобрел, железо изострил;
Вдруг тысячи губить науку сотворил.

<III>

«Потише, говоришь, к чему так горячиться?
Имеем страсти мы, в том всякий согласится,
Подобно иногда волнению морей;
Но добродетели малейшие людей
Вознаграждают их все слабости, пороки.
Скажи: не их ли ум и смелый и высокий
Измерил небеса, нашел пути планет,
На утлом челноке кругом объехал свет,
Обширным знанием объемля и пучины,
Проник природы ход, явления, причины?
Ужели мы и сим не превзошли скотов?
Цветут ли, как у нас, в глуши твоих лесов
И академии и университеты,
И выпускают ли ученых факультеты
Поэтов, химиков, юристов, докторов?»
Нет, доктор ни один не отравлял лесов
Своей убийственной и дерзкою наукой,
И без болезней жизнь зверей — тому порукой:
Не мучатся они над путаницей прав;
Природы таинства, природы не познав,
Проникнуть не хотят; и в гордости свободной
Не силятся они забыть язык природной.
Пустыми беднями, набором пышных слов
Не затмевается врожденный свет умов...
Но это в сторону. Оставя древних мненья,
Что наши знания едва ль не заблужденья,
Я сам спрошу тебя: в наш просвещенный век
Где ж по учености ценится человек?..

«Когда желаешь быть в больших чинах,
в почтенье
(Родитель говорит сынку нравоученье,
Который выходить из детских начал лет),
Последуй мне во всем, прими ты мой совет.
Во-первых: книги брось и школьное ученье;
Науки сущий вздор, знай только умноженье;
В нем заключается премудрость всех наук.
Спеши не торопясь, *всего* не можно вдруг;
Но всякий день и час — приобретать старайся.
Бессильного — дави, пред сильным — пресмыкайся.
На помощь призови: обманы, подлость, ложь,
Прижимки, воровство, подлоги и грабеж.
Богатство наживать — все средства благородны.
Честные бедняки к чему на свете годны?
Поверь, мой сын, когда ты будешь богачом,
Толпою набегут ученые в твой дом,
Хоть не бывали ввек они с тобой знакомы:
Артисты, физики, поэты, астрономы
Превознесут тебя напыщенной хвалой
И к Цезарю причтут ближайшею родней.
Тебе припишутся огромные творенья;
Ты будешь фаросом наук и просвещенья!
Знаток изящного, хоть сам тому не рад,
И грамоте не знав, ты будешь Меценат!
Богач имеет все: познания, свободу,
Чины, любезность, ум, достоинства, породу;
Он знатными — почтен, прелестными — любим;
Честь строгая — как воск растает перед ним;
Свет полон для него друзьями и родными —
Все отпирается ключами золотыми.
Богатство — дурноте даст прелесть красоты,
А бедность — красоте ужасные черты!..»
Вот так-то, облечен родительскою властью,
Сыночку батюшка путь открывает к счастью,
Которого всегда скорей достигнет тот,
Кто пальцам на руках едва ли знает счет!
Итак, трудись теперь, профессор мой почтенный!
Копти над книгами, и день и ночь согбенный,
Пролей на знания людские новый свет,
Пиши творения высокие, поэт,

И жди — чтоб мелочей какой-нибудь издатель,
Любимцев публики бессовестный ласкатель,
Который разуметь язык недавно стал —
Подкупленным пером тебя везде марал;
Конечно, для него довольно и презренья...
Холодность публики — вот камень преткновенья,
Вот бич учености, талантов и трудов!
Положим, перенесть ты и его готов:
Переплетя свои творения сафьяном,
С поклоном явишься пред счастливым болваном,
Который, на тебя с презреньем посмотря,
Движеньем головы едва благодаря
И даже ласковым не удостоя словом,
Заговорит с другим — о балансере новом...
Вот тут-то в бешенство придет нрав тихий твой,
И согласишься ты на мой совет благой,
Хоть будет он тогда немного и не в пору:
Проститься с музами и сесть скорей в контору
К банкиру иль к кому из знатных...

. . . .

<IV>

Осел, не к пению природой сотворенный,
Определению покорствует смиренно
И диким голосом не гонит из лесов
Прелестныя весны пленительных певцов.
Осел без разума, а действует, как должно;
Мы им озарены и вечно судим ложно;
Противу склонностей природных восстаем,
И потому успеть не можем мы ни в чем;
В поступках наших нет ни цели, ни причины:
Иль глупо искренни, иль носим век личины;
Иль хвалим без ума, иль без толку браним;
Сегодня выстроим, а завтра разорим.
Лев, тигр или медведь, хотя без просвещенья,
Страшатся ль собственной мечты воображенья?
Имеют ли в году несчастливые дни,
Числа тринадцати боятся ли они?

От встреч дурных не ждут несчастного успеха,
И понедельник им в делах их не помеха;
Видал ли кто в лесах, чтоб полусгнивший пень,
Колени преклоня, боготворил олень,
Когда кто из зверей как бога обожал
Обтесанный болван иль сплавленный металл?
А мы каких скотов в числе богов не чтили?
Мы кошек, обезьян, быков боготворили.
Народы славные на нильских берегах
Пред крокодилами не падали ль во прах?
«К чему, — ты скажешь мне, — столь гнусные примеры?
Лжебоги египтян, постыдные их веры?
Ты хочешь доказать набором дерзких слов,
Что человек глупей бессмысленных скотов,
Что будто бы осел — профессора умнее...
Осел, который всех животных уж глупее,
Которого одно прозванье значит брань...
Ты можешь разсуждать, браниться перестань».
Напрасно ты осла так много унижаешь
И имя честное его за брань считаешь;
Хотя смеемся мы большим его ушам,
Но если б как-нибудь заговорил он сам?
Смотря на наши все дурачества, пороки —
Какие бы он мог наговорить уроки!
Когда ж бы заглянул еще в столицу к нам,
Чего б, профессор мой, он не увидел там?
Глядя на пестрые, смешные одеянья,
Услыша плач, и смех, и песни, и рыданья,
И громы музыки, и пенье похорон,
Ученье, и пальбу, и колокольный звон,
Услыша, как в глаза один другого хвалит
И третьему его ж — поносит и бесславит,
Увидя меж купцов не торг, а плутовство,
В одежде нищенской обман и воровство,
Увидя скачущих к больным, со смертью рядом,
Убийц морить людей позволенным обрядом?
За ними же купцы с атласом и парчой,
И нищие, <и поп>, и мастер гробовой;
Увидя, как ведут к суду воришку — воры
Выслушивать воров важнейших приговоры;

Увидя грабежи и частных и квартальных,
Денной разбой в судах, в палатах у приказных —
Осел от ужаса не мог найти бы слов.
По справедливости вдруг ставши мизантропом,
Сказал бы нам, как он говаривал с Езопом:
«Благодарю творца, что я в числе скотов!
Божусь, что человек глупее нас, ослов!»

ПОСЛАНИЕ К БРАТУ

(Об охоте)

Предвестник осени туманной,
Седой зимы суровый сын,
Печальный гость, никем не жданный,
Губитель красоты долин!
Дохнул мороз — и пожелтели
Одежды рощей и лугов;
Повеял ветер — полетели
Листы увядшие лесов;
Но мы с тобою, брат мой милый,
Мы любим осени приход,
И самый вид ее унылый,
Для нас исполненный красот,
Какую-то имеет сладость!
Не знаю, как ее назвать?..
Она... не веселит, как радость,
Не заставляет горевать,
Она... есть тайна сердца... Полно
Неизъяснимость объяснять;
Без нас любителей довольно
О тайнах сердца толковать!..

*

Охота, милый друг, охота
Зовет нас прелестью своей
В леса поблекшие, в болота,
На серебристый пух степей.

Уж гуси, журавли стадами
Летают в хлебные поля;
Бесчисленных станиц рядами
Покрыта кажется земля.
И вот подъемлются, как тучи,
Плывут к обширным озерам,
Их криком стонет брег зыбучий...
И как он слышен по зарям!
Пруда заливы уток полны;
Одев живой их пеленой,
Они вздымаются, как волны,
Под ними скрытою волной.
Вертятся стаи курахтанов,
Пролетных разных куличков;
Среди осенних лишь туманов
Мы видим их вокруг прудов.
Бекас и гаршнеп, разжиревши,
Забыли быстрый свой полет
И, к кочкам в камышах присевши,
Таятся плотно средь болот.
Товарищ их, летать ленивый,
Погоныш, вечный скороход,
С болотной курицей красивой
В корнях кустов, в топях живет.
Но дупель, вальдшнеп — честь и слава,
Один — болот, другой — лесов,
Искусных егерей забава,
Предмет охотничьих трудов —
Переменили на отлете
Житья всегдашнего места;
Уж дупель в поле, не в болоте,
А вальдшнеп пересел в куста.
Перепела с коростелями,
Как будто обернувшись в жир,
Под травянистыми межами
Себе находят сытный пир.
Собравшись стрепета стадами,
По дням таятся в залежах,
А в ночь свистящими рядами
Летят гостить на озимях.
По ковылю степей волнистых

Станицы бродят тудаков
Иль роются в местах нечистых
Башкирских старых кочевьев.
Расправив черные косицы,
Глухарь по утренним зарям, —
Нет осторожнее сей птицы, —
Садится сосен по верхам.
И, наконец, друг неизменный,
Стрельбы добыча круглый год,
Наш тетерев простой, почтенный,
Собравшись в стаи, нас зовет.
Черкнет заря — и как охотно
Валят на хлеб со всех сторон,
Насытились — и беззаботно
На ветвях дремлют до полдён!
И на деревьях обнаженных
Далеко видит острый взор,
Как будто кочек обожженных,
Угрюмых косачей собор!

Надежино, 1823 г. Сентябрь.

ОСЕНЬ

(Брату Аркадию Тимофеевичу, в Петербург)

Я был в Аксакове, и — грусть
Меня нигде не оставляла;
Мне все тебя напоминало,
Мне дом казался скучен, пуст...
Тебя везде недоставало.
И дружба братская, любовь
Осиротели будто вновь.
Ах! Так ли прежде все бывало?
Бывало, тягостных часов
Холодное сложивши бремя,
Освободившись от оков,
Желанного дождавшись время,
Умы и души обнажив,
Сердец взаимным излияньем
Или о будущем мечтаньем
Мы наслаждались — все забыв.
Сходны по склонностям, по нравам,
Сходны сердечной простотой,
К одним пристрастные забавам,
Любя свободу и покой,
Мы были истинно с тобою
Единокровные друзья...
И вот — завистливой судьбою —
Без друга и без брата я.

Я видел пруд: он в берегах
Отлогих мрачно расстилался,
Шумел в иссохших камышах,
Темнел, багровел, волновался,
Так хладно, страшно бушевал;
Небес осенних вид суровый
В волнах свинцовых отражал...
Какой-то мрак печали новой
По пруду томно разливал.
И грустное воспоминанье
Невинных радостей твоих,
Невинной страсти обоих
Мое умножило мечтанье.
Везде я видел все одно;
Везде следы твоей охоты
И дружеской о мне заботы:
Полоев в тинистое дно
Там колья твердою рукою
Глубоко втиснуты тобою,
Уединенные стоят,
Качаясь ветром и волнами...
Красноречивыми словами
Мне о прошедшем говорят.
Лежит там лодка на плотине
В грязи, с изломанным веслом,
Но кто ж на ней поедет ныне
Со мной, трусливым ездоком?
Кто будет надо мной смеяться,
Меня и тешить и пугать,
Со мною Пушкиным пленяться,
Со мной смешному хохотать.
Кто старшим лет своих рассудком
Порывы бешенства смирит
И нежным чувством или шуткой
Мою горячность укротит.
Кто, слабостям моим прощая,
Во мне лишь доброе ценя,
Так твердо, верно поступая,
Кто будет так любить меня!

И ты, конечно, вспоминаешь
Нередко друга своего,
Нередко обо мне мечтаешь!..
Я знаю, сердца твоего
Ни петербургские забавы,
Ни новые твои друзья,
Ни служба, ни желанье славы,
Ни жизни суетной отравы
В забвение не увлекут...
Но годы вслед годам идут,
И, если волей провиденья
Мы встретимся опять с тобой... —
Найдем друг в друге измененье.
Следы десницы роковой,
Сатурна грозного теченья,
Увидим мы и над собой.
Прошедшее сокрылось вечно,
Его не возвратит ничто;
И как ни больно, но, конечно,
Все будет то же — да не то.

Кто знает будущего тайны?
Кто знает о своей судьбе?
Дела людей всегда случайны,
Но будем верны мы себе!
Пойдем, куда она укажет,
Так будем жить, как бог велит!
Страдать — когда страдать прикажет,
Но философия нам щит!
Мы сохраним сердца прямые,
Мы будем с совестью в ладу;
Хотя не попадем в святые,
Но все не будем же в аду.

Прости, храни святую дружбу
И братскую ко мне любовь;
Будь счастлив и цареву службу
Начни, благословяся, вновь!
Пиши ко мне, ты очень знаешь,
Как письма дороги твои...

Уверен также, что читаешь
Ты с удовольствием мои!
Да всем, что услаждает младость
Ты насладишься в жизни сей!..
Неукоризненная радость
Да будет спутницей твоей.

1824 г. Ноябрь.
Надежино.

P. S. Это последнее усилие призвать простившихся со мной муз!.. Ясно вижу, что мое знакомство с ними кончено, и только осиротелая братская дружба могла вымолить у них одно мгновенье слабого вдохновения.

РЫБАЧЬЕ ГОРЕ

(Русская идиллия)

Младший рыбак.

Товарищ, что так приуныл? здоров ли, любезный?
Здорова ль жена твоя, малые дети?

Старший рыбак.

Спасибо,
Мой друг, за участье твое, за приветное слово.
Здоров я, по милости божьей, с моею семьею.
Вчера лишь такая досада случилась со мною,
Что, кажется, ввек не забыть...

Младший.

Расскажи поскорее:
Сперва подосадуем вместе, а после забудем.

Старший.

Вчера поутру, лишь на небе брезжиться стало,
Со всем рыболовным снарядом я был на плотине:
Три уды, мешок со пшеницей, и ящик с червями,
И хлеба краюха, и раков линючих десяток
(По грошу за них заплатил деревенским мальчишкам) [1],

---

[1] Раки, линяя, т. е. переменяя свою кожу, прячутся в норы, и доставать их бывает очень трудно, а рыба особенно любит их.

В запасе и крючья, и лесы, и грузилы были,
Сачок для язей (за грехи мои взял у соседа).
Туман словно дым волновался!.. в воде по колени,
Разлив перешед, кое-как пробрался я на стрелку[1].
Прикормку сейчас набросал и все уды закинул,
Одну на линючего рака, другую на мякиш,
А третью на белого угря с простыми червями.
Сам трубку набил, закурил и присел на дощечке.
Туманная сырость меня до костей пронимала,
А только к заре, наклонясь, наплавки было видно.
Люблю я, товарищ, рассвета часы золотые!
Не знаю, с чего то, а утро на праздник похоже!
Заря загорелась; струей ветерок перелетный
(Всегда перед солнечным всходом он с неба слетает)
Туман и камыш взволновал и рябью подернул
Дымящиясь воды... и шум небольшой будто шепот
Кругом пробежал и затих, и следов не бывало;
Лишь изредка крупная рыба плеснется, как плаха[2],
И круг, расширяясь, с водой неприметно сольется.
Ну, так мне, товарищ, и грустно и весело стало!..
Сильнее из трубки я дым выпускал, и мешаясь
С туманом седым — улетал он на воздух,
И думы одна за другой в голове пробегали,
Да слов не найду рассказать, а много их было.
Ну, вот наступило и время для рыбьего клёву:
Прикормку почуя, и сверху и снизу тронулись
Язи, головли, и лини, и плотва красноперка,
И окунь, всегда ненасытный, и лещ простоватый;
По дну пузыри выпуская, забулькали воду,
И сердце, как варом облито, забилось... Чуть дух
Переводил потихоньку, и с трубкой рука опускалась.
Склонив к наплавкам неподвижные, жадные взоры,
Я ждал поминутно, что хватит и ко̀ дну утащит, —
Напрасно: то тот, то другой наплавок пошевелит,
И только. Ты знаешь, что я терпелив и не скучлив:
Все удочки вынул, одна за другой, и насадку
Оправил, закинул — и трубку забытую снова
Курю и счастливого часу опять дожидаюсь.

[1] Стрелка — место, не залитое водою.
[2] Плаха — пластина. Техническое выражение у рыбаков.

Все то же: шалили язи, а не брали, как должно.
Манила надежда не раз, а все попустому:
Не то же ли с нами, товарищ, бывает и в жизни?

Младший.

Конечно; кто прожил свой век, не бывши обманут?
Дивлюся, однако, всегда твоему я терпенью!
Ты смейся как хочешь, а удить плотву веселее.

Старший.

Дружок, без терпенья язя никогда не достанешь.
Таскать же плотичек, как ты, по-моему, скучно. —
Уж солнце высоко взошло, а нету талана.
На белого угря которая уда ходила,
Три раза ее повело и подернуло шибко;
Тихохонько уду я вынул — червя постащило;
Червяк был велик, заглотать, знать, не может — подумал,
И выбрал поменьше, его насадил и закинул:
Руки не успел отделить, как вдруг утащило
На дно наплавок... подсекаю [1], и что же? головлик,
Хотя небольшой, но все не плотичка, все лучше.
А! а! я подумал, так это все вы здесь шалите,
Вот я вас ужо... и уду большую отбросил,
А среднюю взял, червячка насадил молодого,
Закинув, держу удили́ще в руке, и, конечно,
Кусок и до дна не дошел — наплавок повернуло
И тихо в камыш повезло... Подсекаю легонько...
Ужасная тяга, как будто задел за корягу...
В кольцо удилище... вскочил я, и сердце взыграло;
Попался, мой милый, кричу, и все уды отдернул;
Веду потихохоньку около стрелки налево,
На чистое место, а рыба большущая, слышу,
Идет тяжело, как будто в воде упираясь;
Едва половина лесы показалась, и мигом,
Как молонья, прянула вверх аршинная рыба...
Какая ж, не мог разглядеть, задрожали и руки,
И свету не взвидел от страха, что с рыбой не слажу:
Крючок небольшой и леса только в шесть волосочков!

---

[1] Подсекать — вдруг дернуть уду.

Водить я ее и туда и сюда... присмирела.
Гляжу, разглядел, наконец: головлина ужасный!
Такого еще никогда не видал и даже не слышал.
Дрожащей рукою хватаю сачок — не годится:
И мал, и без зыби совсем[1], захватить невозможно.
И только я стал подводить, а головль мой стрелою
Махнет из воды... и сачок я отбросил проклятый.
Повел головля вверх реки, хоть до первой заводки[2],
На мелкой воде не удастся ль схватить мне рукою
(Ты знаешь, в подпруде река наравне со краями);
Лишь к берегу стал подводить... небесная сила!..
Головль сам собою на берег взмахнул будто птица!
Оробел я пуще, и чем бы схватить поскорее
Руками иль пасть на него — обезумел я, грешный,
Забыл стариков запрещенье, схватил я за лесу...
Леса порвалася, головль перметнулся — и в воду!
А я?.. я стою, будто в камень меня обернуло,
За кончик оборванной лесы держуся руками,
Глаза устремив неподвижно на мокрое место,
На берег зеленый, головль где лежал серебристый...
И долго б стоял недвижим я, как в воду опущен,
Когда бы головль мой, почувствуя острое жало,
Пронзившее губу, желая его свободиться,
Саженей десяток отплыв, наверх не взметнулся.
Пришел я в себя, и досада меня обуяла,
И в бешенстве все побросав: припасы и уды,
Ушел я домой — и с тех пор со двора ни ногою.
Стыжуся глаза показать; для чего мне и счастье,
Когда совладеть не умел я с такою добычей?
Не в добрый, знать, час я пошел, иль от встречи зловещей
Нашло на меня небывалое прежде затменье.
Как будто бы я не таскал и на тонкие лесы
Огромных язей, а бойчее их нету и рыбы!
Поверишь, товарищ, с досады от хлеба отстал я
И сна по ночам не имею.

---

[1] Сачок без зыби — если сетка, к нему пришитая, коротка. Не зыблется — как мешок.

[2] Заводка — узкий залив воды.

Младший.

Товарищ любезный,
Забудь ты свою неудачу; и с кем не бывало
Ошибки, невзгодья, на ловле недоброго часу?
Пойдем-ка со мною — и время теперь золотое;
Ведь после грозы и ненастья вся рыба гуляет
И жадно клюет; пойдем, попытаем-ка счастье.
Товарищ, ты старше меня, и разумные речи
Слыхал от тебя я не раз — куда ж они делись?
Не ты ль говорил мне всегда: после дождичка вёдро,
А после несчастья бывает сугубое счастье?

Старший.

Все так, но на счастье худое пенять мне не можно,
А должно винить мне себя за свое нетерпенье,
За жадность, горячность, еще же за глупую робость.

Младший.

Товарищ, не ты ль говорил — не нажить нам ума
Без потерь, неудач, без нужды и без разных печалей?
Не ты ль говорил, что терпенье в успехе порука?
Что радость без горя была б человеку не в радость?

Старший.

Конечно, правдивы слова: спасибо, любезный!
Меня оживил ты своей добродушною речью;
Ах, добрый товарищ всего нам на свете дороже,
Печаль с ним покажется легче, а радость милее!

1824.

ПОСЛАНИЕ В ДЕРЕВНЮ

(к А. Т. Аксакову)

Весна, весна! ты прелесть года,
Но не в столичной тесноте.
Весна на Деме[1], где природа
В первообразной чистоте
Гордится девственной красою!
Где темные шумят леса,
Где воды кажут небеса,
Где блещет черной полосою
Под плугом тучная земля,
Цветут роскошные поля!

О подмосковной я природе
В досаде слушать не могу!..
Засохлой рощей в огороде,
Гусиной травкой на лугу,
Загнившей лужи испареньем
Доволен бедный здесь народ!
И — зажимая нос и рот —
Он хвалит воздух с восхищеньем...
Нет, нет!.. Не там моя весна,
Где топь, песок или сосна!

---

[1] Дема — река в Оренбургской губернии, около которой места живописные и самые привольные для житья.

В наш дикий край лечу душою:
В простор степей, во мрак лесов,
Где опоясаны дугою
Башкирских шумных кочьёвьев,
С их бесконечными стадами —
Озера светлые стоят [1],
Где в их кристалл с холмов глядят
Собравшись кони табунами...
Или где катится Урал
Под тению Рифейских скал!

Обильный край, благословенный!
Хранилище земных богатств!
Не вечно будешь ты, забвенный,
Служить для пастырей и паств!
И люди набегут толпами,
Твое приволье полюбя...
И не узнаешь ты себя
Под их нечистыми руками!..
Сомнут луга, порубят лес,
Взмутят и воды — лик небес!

И горы соляных кристаллов
По тузлукам твоим найдут [2];
И руды дорогих металлов
Из недр глубоких извлекут;
И тук земли неистощенной
Всосут чужие семена;
Чужие снимут племена
Их плод, сторицей возвращенный;
И в глубь лесов, и в даль степей
Разгонят дорогих зверей!

Лечу в мой дом, соломой крытый,
Простой, как я в желаньях прост;
Куда, породой знаменитый,
Скучать не придет скучный гость.

---

[1] Кандра и Каратабынь — прелестные большие и необыкновенно прозрачные озера.

[2] Тузлук — соленый ключ.

Где с беззаботною душою,
Свободный света от оков
. . . .
Живал я с милою семьею;
Где я беспечно каждый день
Блажил мою богиню — лень!

Ах! если б *долга* исполненьем
Судьба мне не сковала рук —
Не стал бы вечным принужденьем
Мрачить и труд мой и досуг.
Мне дико всякое исканье,
Не знал я за себя просить,
Противу сердца говорить,
Томить души моей желанье...
Противны мне брега Невы,
Да и развалины Москвы!

К тебе, о друг и брат мой милый,
Товарищ в склонностях моих,
Которому, как мне, постылы
Столицы с блеском, с шумом их,
К тебе лечу воображеньем:
С тобой сижу, с тобой иду —
Стреляю, ужу на пруду,
Но не делюсь моим волненьем
Ни с кем!.. и спорю о стихах
Да о горячке в головах.

Май, 1830.
Москва.

СТАНСЫ

К Александру Александровичу Кавелину,

написанные вследствие его письма, в котором он, сожалея о моей отставке, говорит, что хотя я искусно притворяюсь, но в душе не спокоен и что как ни верти, а такая отставка пятно.

Поверь, во мне достанет сил
Перенести царя неправость,
А возбуждать людскую жалость
Я не люблю — и не любил.

Спокоен я в душе моей,
К тому не надобно искусства;
Довольно внутреннего чувства,
Сознанья совести моей.

Моих поступков правоты
Не запятнает власть земная,
И честь моя, хоругвь святая,
Сияет блеском чистоты!

Не ангел царь, а человек.
Я не ропщу. Безумен ропот.
Я презираю низкий шепот;
Как был, таким останусь век.

Но подлые мои враги
Уж не сотрут клейма презренья,
Клейма общественного мненья
Со лба наемного слуги.

1832 г. Апрель. Москва.

К ГРИШЕ

Ну, рыбак мой, шевелися
Поскорее, поскорей
И наудить торопися
Огольцов и пескарей!

Там с приветными волнами
Ждет тебя широкий пруд;
Под зелеными кустами
Начинай веселый труд!

Богородское.
1832 г.

* * *

Поверьте, больше нет мученья,
Как подмосковную сыскать;
Досады, скуки и терпенья
Тут много надо испытать.
Здесь садик есть, да мало тени;
Там сад большой, да нет воды;
Прудишка — лужа по колени,
Дом не годится никуды.

Там есть и рощи для гулянья,
Да нет усадьбы никакой;
Здесь дом хорош, да нет купанья,
Воды ни капли ключевой.
Там развалилось все строенье,
А здесь недавно выпал скот;
Красиво местоположенье,
Да Костя кочкой назовет.

Там хорошо живут крестьяне,
Зато дворовых целый полк;
Там лес весь вырублен заране —
Какой же будет в этом толк?
Там мужики не знают пашни,
А здесь земля нехороша.
Там есть весь обиход домашний,
Да нет доходу ни гроша.

Там есть и летние светлицы,
Фруктовый сад и огород,
Оранжереи и теплицы,
Да только вымер весь народ.
Там есть именье без изъяна,
Уж нет помехи ни одной,
Все хорошо в нем для кармана,
Да — нету рыбы никакой!

1843 г. Август.

* * *

«Сплывайтеся тихо
На лов мотылей!» —
Так царевна Ершиха
Скликала ершей.

1843.

* * *

Вот, наконец, за все терпенье
Судьба вознаградила нас:
Мы, наконец, нашли именье
По вкусу нашему, как раз.
Прекрасно местоположенье,
Гора над быстрою рекой,
Заслонено от глаз селенье
Зеленой рощею густой.

Там есть и парк, и пропасть тени,
И всякой множество воды;
Там пруд — не лужа по колени,
И дом годится хоть куды.
Вокруг чудесное гулянье,
Родник с водою ключевой,
В пруде, в реке — везде купанье,
И на горе и под горой.

Не бедно там живут крестьяне;
Дворовых только три души;
Лесок хоть вырублен заране —
Остались рощи хороши.
Там вечно мужики на пашне,
На Воре нет совсем воров,
Там есть весь обиход домашний
И белых множество грибов.

Разнообразная природа,
Уединенный уголок!
Конечно, много нет дохода,
Да здесь не о доходах толк.
Зато там уженье привольно
Язей, плотвы и окуней,
И раков водится довольно,
Налимов, щук и головлей.

Москва, 1844.

К МАРИХЕН

Ты в Москве перводержавной
Увидала божий свет
И жила в столице славной
До четырнадцати лет.

В первый раз ты поздравленье
(Сам я вижу, как во сне)
Получаешь с днем рожденья
В деревенской тишине.

Завсегда мы были чужды
Шуму жизни городской,
Без богатства и без нужды
Жили мы своей семьей.

Будет нам еще привольней
В сельской мирной простоте
И приятней и покойней,
Позабыв о суете.

Хоть сурово время года
Поздней осени порой,
Хороша зато погода
У тебя в семье родной.

Радонежье, 4 октября.

* * *

Рыбак, рыбак, суров твой рок;
Ты ждал зари нетерпеливо,
И только забелел восток,
Вскочил ты с ложа торопливо.

Темны, туманны небеса,
Как ситом сеет дождь ненастный,
Качает ветер вкруг леса —
Ложись опять, рыбак несчастный.

ПОСЛАНИЕ К М. А. ДМИТРИЕВУ

Обещал писать стихами... [1]
Да и жизни уж не рад;
Мне ли мерными шагами
Рифмы выводить в парад?
Стих мой сердца выраженье,
Страсти крик и вопль души...
В нем тревоги и волненье —
И стихи нехороши.

Стары мы с тобой и хворы
И сидим в своих углах;
Поведем же разговоры
На письме, не на словах!
Хороша бывает старость,
Так что юности не жаль:
В ней тиха, спокойна радость,
И спокойна в ней печаль.
Сил душевных и телесных
Благозвучен общий строй...
Много в ней отрад, безвестных
Даже юности самой!
Но не мне такая доля
Ни болезни, ни года,

[1] Дмитриев писал ко мне три раза стихи, и я обещал.

Ни житейская неволя,
Ни громовая беда
Охладить натуры страстной
Не могли до этих пор,
И наружностию ясной
Не блестит спокойный взор!
Дух попрежнему тревожен,
Нет сердечной тишины,
Мир душевный невозможен
Посреди мирской волны!
И в себе уж я не волен.
То сержуся я, то болен,
То собою недоволен,
То бросаюсь на других,
На чужих и на своих!
Раздражительно мятежен
В слабом теле стал мой дух,
И болезненно так нежен
Изощренный сердца слух.
И в мгновениях спокойных
Вижу ясно, хоть не рад,
Сил телесных и духовных
Отвратительный разлад.
Есть, однако, примиритель
Вечно юный и живой,
Чудотворец и целитель, —
Ухожу к нему порой.
Ухожу я в мир природы,
Мир спокойствия, свободы,
В царство рыб и куликов,
На свои родные воды,
На простор степных лугов,
В тень прохладную лесов
И — в свои младые годы!

Март, 1851.
Москва.

ПЛАЧ ДУХА БЕРЕЗЫ

Тридцать лет красой поляны
На опушке я жила;
Шли дожди, вились туманы,
Влагу я из них пила.
В дни засухи — тень отрадну
Я бросала от ветвей,
Освежала землю жадну,
Защищала от лучей.
Все прошло! Не гром небесный
Разразился надо мной,
А топор в руке безвестной
Подрубил ствол белый мой.
И, старик неутомимый,
За грибами ты пойдешь,
Но березы столь любимой
Ты на месте не найдешь.
Поперек твоей тропинки
Свежий труп ее лежит
И, творя себе поминки,
Тихо ветвями шумит.
Обойдешь ты стороною
Безобразный мой пенек,
С огорченною душою
На безвременный мой рок,

На судьбу мою столь строгу.
И за что ж она казнит? —
На Хотьковскую дорогу
Вам понадобился вид.

6 июля 1853.
Абрамцево.

ШЕСТИЛЕТНЕЙ ОЛЕ

Рано дед проснулся,
Крякнул, потянулся,
Давши мыслям волю,
Вспомнил внучку Олю.
Семь часов пробило;
Затопили печку,
Темно очень было,
И зажег он свечку.
И дедушка хилый
К внучке своей милой
Пишет поздравленье
С днем ее рожденья.
Пишет понемногу,
Часто отдыхая,
Сам молится богу,
Олю вспоминая:
«Дай бог, чтобы снова
Оленька была
Весела, здорова —
Как всегда мила;
Чтоб была забавой
Матери с отцом —
Кротким, тихим нравом,
Сердцем и умом!»
Если бог даст силы,
Ровно через год

Оле, внучке милой,
Дедушка пришлет
Книжку небольшую
И расскажет в ней:
Про весну младую,
Про цветы полей,
Про малюток птичек,
Про гнездо яичек,
Бабочек красивых,
Мотыльков игривых,
Про лесного Мишку,
Про грибочек белый —
И читать день целый
Станет Оля книжку.

Дедушка
Сергей Аксаков.

21 декабря 1854 года.

31 ОКТЯБРЯ 1856 ГОДА

Прощай, мой тихий сельский дом!
Тебя бежит твой летний житель.
Уж снегом занесло кругом
Мою пустынную обитель;
Пруды замерзли, и слегка
Ледком подернулась река.

Довольно спорил я с природой,
Боролся с снегом, с непогодой,
Бродя по берегам реки,
Бросая вглубь ее крючки.
Метель вокруг меня кипела,
Вода и стыла и густела;
А я, на мерзнувших червей,
Я удил сонных окуней.

Прощай, мое уединенье!
Благодарю за наслажденье
Природой бедною твоей,
За карасей, за пескарей,
За те отрадные мгновенья,
Когда прошедшего виденья
Вставали тихо предо мной
С своею прелестью живой.

17 ОКТЯБРЯ

(А. Н. Майкову)

Опять дожди, опять туманы,
И листопад, и голый лес,
И потемневшие поляны,
И низкий, серый свод небес.
Опять осенняя погода!
И, мягкой влажности полна,
Мне сердце веселит она:
Люблю я это время года.

Люблю я звонкий свист синицы,
Скрып снегирей в моих кустах,
И белые гусей станицы
На изумрудных озимях.
Люблю я, зонтиком прикрытый,
В речном изгибе, под кустом,
Сидеть от ветра под защитой,
Согретый теплым зипуном —
Сидеть и ждать с терпеньем страстным,
Закинув удочки мои
В зеленоватые струи,
Вглубь Вори [1] тихой и неясной.

---

[1] Название речки.

Глаз не спускаю с наплавка,
Хоть он лежит без измененья;
Но вдруг — чуть видное движенье,
И вздрогнет сердце рыбака!

И вот он, окунь благородный,
Прельстясь огромным червяком,
Подплыл отважно и свободно,
С разинутым, широким ртом
И, проглотив насадку смело,
Все поволок на дно реки...
Здесь рыбаку настало дело,
И я, движением руки,
Проворно рыбу подсекаю,
Влеку из глубины речной
И на берег ее бросаю,
Далеко за моей спиной.

Но окуни у нас не диво!
Люблю ершей осенний клев:
Берут они не вдруг, не живо,
Но я без скуки ждать готов.
Трясется наплавок... терпенье!
Идут кружочки... пустяки!
Пусть погрузит! Мне наслажденье
Ерша тащить со дна реки:
Весь растопыренный, сердитый,
Упорно лезет из воды,
Густою слизью ерш покрытый,
Поднявши иглы для защиты, —
Но нет спасенья от беды!

Теперь не то. Внезапной хвори
Я жертвой стал. Что значим мы?
Гляжу на берега я Вори
В окно, как пленник из тюрьмы.
Прошло и теплое ненастье,
Сковал мороз поверхность вод,
И грустно мне. Мое участье
Уже Москва к себе зовет.

Опять прости, уединенье!
Бесплоден летний был досуг,
И недоступно вдохновенье.
Я не ропщу: я враг докук.
Прощайте, горы и овраги,
Воды и леса красота,
Прощайте ж вы, мои «коряги» [1],
Мои «ершовые места!»

1857.
С. Абрамцево.

---

[1] Название места, где берет крупная рыба.

ПРИМЕЧАНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Закончив подготовку к печати второго издания «Семейной хроники и Воспоминаний», С. Т. Аксаков приступил к работе над новым циклом мемуаров, посвященных друзьям его литературной юности, — «Литературные и театральные воспоминания». 16 июля 1856 г. писатель сообщал сыну Ивану: «Времени свободного у меня довольно, а потому принялся я писать литературные воспоминания, в которых будет заключаться знакомство с Загоскиным, кн. Шаховским, Кокошкиным и Писаревым; о последнем едва ли кто другой так много знает, как я. Вдохновения для этой статьи не нужно, а потому, работая ежедневно хотя понемногу, я надеюсь написать листа четыре печатных для 3-го нумера «Беседы», для которого, говорят, нет материалов» (Л. Б., ГАИС III, III/20д).

«Литературные и театральные воспоминания» охватывали эпоху 1812—1830 гг., непосредственно следовавшую за периодом, который освещается в гимназических и университетских воспоминаниях Аксакова. Новое произведение должно было, по замыслу автора, явиться дополнением и продолжением его мемуаров о Державине, Шушерине, Шишкове. Все эти воспоминания близки между собой по характеру и методу воспроизведения исторического прошлого. Они отличаются строгой фактичностью, подчеркнуто «деловой» манерой повествования и вместе с тем почти лишены того свободного и широкого поэтического обобщения, которое было свойственно автобиографической трилогии Аксакова.

Впервые «Литературные и театральные воспоминания» были опубликованы в журнале «Русская беседа» (1856, кн. IV, стр. 1—52; 1858, кн. I, стр. 5—37, с датой: «1857 года, января 10 дня. Москва»; кн. II, стр. 52—84; кн. III, стр. 9—43, датировано апрелем 1858 г.) и затем вторично напечатаны в книге «Разные сочинения С. Т. Аксакова» (М. 1858, стр. 3—234). Воспоминания были сопровождены в этом издании «Приложениями», состоявшими из трех статей Аксакова, напечатанных в 1830 г. в «Московском вестнике» («О заслугах князя Шаховского в драматической словесности», о романе Загоскина «Юрий Милославский», «Письмо к издателю «Московского вестника» о значении поэзии Пушкина, а также заметки от сочинителя. «Разные сочинения» включали еще в себя «Буран», статью «Несколько слов о М. С. Щепкине», незначительную мемуарную заметку «Воспоминания о Д. В. Мертваго» и обширную биографию М. Н. Загоскина, написанную в тоне, мало соответствовавшем реальному значению этого писателя. Достаточно, например, сказать, что Загоскин был объявлен здесь чуть ли не «единственным исключительно русским народным писателем».

«Разные сочинения» были встречены современной Аксакову критикой весьма прохладно, или, как писал рецензент «Русского слова», с «каким-то равнодушием и даже кой-где с насмешкою» («Русское слово», 1859, № 4, Библиография, стр. 72). Сравнительно с «Семейной хроникой» новая книга представлялась большинству критиков слишком «субъективной» по содержанию и рассчитанной на гораздо более узкий круг читателей, чем прежние произведения Аксакова.

«Разные сочинения» были подвергнуты критике и Н. А. Добролюбовым. Высоко оценивая «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука», Добролюбов вместе с тем отмечал присущую аксаковскому таланту некоторую односторонность, которая особенно наглядно проявилась в его «Литературных и театральных воспоминаниях». Автор оказался в них, по мнению критика, «слишком несвободен» в отношении к тем личностям и явлениям жизни, которые его занимали в молодости. «Мелочная обстоятельность», благодушная сосредоточенность на малозначительных подробностях и «некоторые остатки наивного подобострастия» к бывшим знаменитостям — все это представлялось Добролюбову слишком «старомодным». «В его рассказах, — писал критик,— мало объективности, лирические порывы беспрестанно мешают эпическому спокойствию рассказа; заметно, что автор недостаточно возвысился над тем ми-

ром, который изображает» (Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., т. II, 1935, стр. 456).

Эти строки были написаны в 1859 г., в один из самых политически острых моментов истории России XIX века. Революционная демократия требовала от писателей активного вмешательства в современную жизнь, страстного обличения устоев крепостнического режима. С этой точки зрения воспоминания Аксакова мало чем могли импонировать Добролюбову, и он был прав, резко их критикуя. В наше время аксаковские воспоминания воспринимаются несколько иначе. Для советского читателя они представляют прежде всего интерес познавательный. Написанные пером первоклассного художника, они достоверно и ярко рисуют различные стороны духовной жизни русского общества 10—20-х гг. XIX века, содержат в себе немало конкретных и интересных фактов, характеризующих атмосферу литературного и театрального быта, нравов той поры. Наконец, со страниц аксаковских мемуаров словно живые предстают перед нами люди — не очень обширная, но рельефно выписанная галерея деятелей русской литературы и театра начала XIX века. И сколь бы ни казались ныне незначительными многие из персонажей этой галереи, — они сохраняют свое значение определенного исторического типажа, помогающего нам воссоздать живой облик минувшей эпохи.

Фактическая достоверность аксаковских мемуаров хорошо известна. М. А. Дмитриев, один из друзей молодости писателя, в своих неопубликованных воспоминаниях недаром отказывается «распространяться о театре», ссылаясь на то, что этот «период московской сцены и актеры того времени описаны подробно С. Т. Аксаковым — в его воспоминаниях, — знатоком, с которым я не могу сравниться» (М. А. Дмитриев, Воспоминания, Л. Б., ф. Музейный, М. 8184 /1, ч. II, л. 29).

Готовя свой новый цикл мемуаров в 1858 г. к переизданию, Аксаков внес в текст более ста двадцати стилистических исправлений и добавил несколько подстрочных примечаний. В настоящем издании «Литературные и театральные воспоминания» печатаются по тексту «Разных сочинений». В рукописи этих мемуаров имеются некоторые разночтения с печатным текстом. Наиболее значительные из них приведены в примечаниях.

Некоторые имена, обозначенные у С. Т. Аксакова инициалами, в тех случаях, когда они могли быть расшифрованы, даются полностью.

Ввиду большого количества упоминаемых собственных имен в тех произведениях, которые включены в настоящий том, оказалось целесообразным дать в конце тома, в отличие от предшествующих томов, аннотированный именной указатель.

Стр. 10. *...напечатанной в «Российском феатре».* — «Российский феатр, или Полное собрание всех российских феатральных сочинений» — осуществлявшееся Академией наук издание, которое включало в себя наиболее значительные произведения русской драматургии; выходило в 1786—1794 гг., в 43 частях.

Стр. 11. *...рукописной сатиры кн. Горчакова.* — Строки, цитированные Аксаковым в основном тексте и в подстрочном примечании, — из «Послания к кн. С. Н. Долгорукову», полностью напечатанного в «Сочинениях кн. Д. П. Горчакова» (М. 1890). Отрывок из этой сатиры, под названием «Невероятные», был опубликован в «Памятнике отечественных муз на 1827 год».

«Гуситы под Наумбургом» (СПБ. 1807) и *«Попугай»* (М. 1796) — пьесы Коцебу.

«Матильда...» — Точное название романа популярной в свое время французской писательницы Марии Коттен — «Матильда, или Записки, взятые из истории крестовых походов», в шести частях, пер. Д. Бантыша-Каменского, М. 1806.

«Памятник друзей Н. П. Николеву» — эта брошюра вышла в Москве, в 1819 г.

Стр. 12. *...я переводил тогда «Филоктета».* — Об аксаковском переводе «Филоктета» см. примеч. на стр. 496, т. 2 наст. изд.

Стр. 19. *Дон Ранудо де Калибрадос* — герой одноименной комедии Коцебу, перев. с немецк. (М. 1805).

Стр. 22. *«Школа мужей»* в переводе Аксакова была впервые поставлена на петербургской сцене 13 мая 1819 г., но напечатана лишь в 1886 г., в т. IV его полного собрания сочинений; переводу было предпослано стихотворное посвящение А. С. Шишкову.

Стр. 25. *В 1836 году С. Н. Глинка* — в тексте С. Т. Аксакова ошибочно было указано, что книга С. Н. Глинки «Записки о 1812 годе» вышла в 1812 году.

Стр. 29. *«Липецкие воды».* — Комедия А. А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды», в которой высмеивалось литературное направление В. А. Жуковского, была опубликована в Петербурге в 1815 г. и в том же году поставлена на сцене.

Стр. 30. *«Комедия против комедии, или Урок волокитам»* — комедия М. Н. Загоскина, вышла в Петербурге в 1816 г.

Стр. 35. *«Гваделупский житель»* — комедия французского драматурга Мерсье (1740—1814), перев. Н. Брусилова (СПБ. 1800).

«Тон модного света» — комедия в четырех действиях, перев. с немецк. А. И. Шеллера (М. 1800), ставилась на сцене Большого театра в Петербурге.

Стр. 40. *«Два Фигаро»* — комедия в 5 действиях, перев. с французск. Баркова (М. 1800).

Стр. 43. *«Холостой заряд»* — комедия Коцебу, перев. с немецк. И. Ренофанца (СПБ. 1827).

Стр. 45. *Рифейские горы* — Уральские.

Стр. 46. *«Говорун»* — комедия французского драматурга Луи Буасси (1694—1758); «переложена на русские нравы» Н. И. Ильиным (М. 1807) и Н. И. Хмельницким (СПБ. 1817).

Стр. 47. *«Два Криспина»* — вероятно, имеется в виду комедия Лесажа (1668—1747) «Криспин, соперник своего господина» (М. 1779).

Стр. 50—51. *«Десятая сатира»* Буало в переводе Аксакова вышла отдельным изданием в Москве, в 1821 г., с посвящением Ф. Ф. Кокошкину.

Стр. 51. *«Уральский казак», «Элегию в новом вкусе»... «Послание к князю Вяземскому...»* — см. ниже в настоящем томе, стр. 647, 645, 643.

Стр. 52. *В этом же году я был выбран в действительные члены Общества любителей российской словесности...* —Процедура избрания Аксакова зафиксирована в протоколах заседаний Общества. В «Протоколе 55-го заседания, чрезвычайного», состоявшегося 8 марта 1821 г., указано, что избраны большинством голосов в действительные члены общества пять человек, в их числе — С. Т. Аксаков, в отношении которого голосование было единогласным. 30 апреля 1821 г. состоялось следующее, 56-е заседание Общества, на котором вновь избранным членам были вручены дипломы. Председатель Общества в своей приветственной речи заявил: «При сем избрании вас в члены Общества нашего, мы питаем себя приятною надеждою, что найдем в вас и верных друзей и ревностных сподвижников в трудах своих. Ваши достоинства и вкус ко всему изящному служат в том верною за вас порукою» («Труды Общества любителей российской словесности», 1821, ч. XX, стр. 253—254).

Затем с ответной речью выступил С. Т. Аксаков. Воспроизводим целиком ее текст, никогда в аксаковской литературе не перепечатывавшийся:

«Милостивые государи!

Конечно, одно снисхождение руководствовало вами, когда вы удостоили меня лестной чести, в строгом смысле мною нимало не заслуженной, избрания в число сочленов ваших. Примите, милостивые государи, искреннее изъявление моей благодарности, хотя слабо выраженное, но сильно мною ощущаемое. Я поистине должен гордиться, видя себя посреди мужей, отличившихся своими дарованиями и полезными трудами на поприще отечественной словесности. Не имея ни того, ни другого — предлагаю все, что могу: мое усердие, мое искреннее желание хотя со временем сделать что-нибудь достойное вас, достойное цели вашей, высокой цели, смею сказать, со славою Отечества нашего нераздельной: установить правила истинного вкуса и тем предохранить юные таланты от заблуждения; определить свойства богатого языка российского и тем облегчить путь на сем поприще трудящихся; возбудить любовь к отечественной словесности и внимание к занимающимся ею — внимание, без которого хладеет ревность к трудам, увядают дарования!

Вновь избранные члены в последнем чрезвычайном собрании, с которыми вместе и я удостоился сей чести, сделали мне лестное препоручение: изъявить всему достопочтенному Обществу чувствительную их благодарность, их уверения, что они принимают за отличную честь — звание сочленов ваших; что они употребят все усилия оправдать вашу доверенность, ваше лестное об них мнение» («Труды Общества любителей российской словесности», 1821, ч. XX, стр. 254—255).

На том же заседании Аксаков прочитал свою басню «Роза и Пчела» и с этого времени стал постоянным сотрудником «Трудов Общества».

Стр. 53. Профессор и ректор Московского университета А. А. Прокопович-Антонский был одним из основателей и первым председателем Общества любителей российской словесности при Московском университете, основанного в 1811 г. Перерыв в деятельности Общества, о котором пишет Аксаков, имел место с 1837 по 1858 г. (см. «Общество любителей российской словесности при Московском университете, 1811—1911. Историческая записка и материалы за сто лет», М. 1911, стр. 40).

Стр. 55. *Я перевел осьмую сатиру Буало.* — См. в наст. томе, стр. 652.

Стр. 56. *Статья моя о театре...* — Статья Аксакова называлась «Мысли и замечания о театре и театральном искусстве» (см. в наст. томе, стр. 399).

...не знаю, почему Каченовский не напечатал моей критики. — Аксаков запамятовал. Статья «О переводе «Федры», о которой он говорит, была напечатана в «Вестнике Европы» в форме письма к редактору этого журнала, 1824, № 1, стр. 40—53 (см. в наст. томе, стр. 391).

Стр. 60. *...перед началом представления первой части «Днепровской русалки».* — Речь идет о популярной в начале XIX века комической опере Кауэра и Кавоса в трех частях: «Русалка» (СПБ. 1804), «Днепровская русалка» (СПБ. 1805) и «Леста, днепровская русалка» (СПБ. 1806), перед. с немецк., автор русского текста Н. С. Краснопольский.

Стр. 68. *...да и дело того не стоило.* — После этих слов в рукописи «Литературных и театральных воспоминаний» имелась любопытная подробность об А. А. Шаховском, позднее автором зачеркнутая и, таким образом, не попавшая в печатный текст: «Я был сильно предубежден против кн. Шаховского как против человека. Шушерин наговорил мне об нем очень много дурного. По его словам, Шаховской был гонитель всех актеров, которые не были его учениками» (Л. Б., ф. Аксакова, III. 66., л. 4 об.).

Стр. 75. *Круг людей, в котором я жил, был весь против Полевого, и я с искреннею горячностью разделял его убеждение.* — Отношения Аксакова с издателем «Московского телеграфа» были очень напряженными. Резкие и чаще всего справедливые отзывы Н. Полевого о творчестве А. И. Писарева, Загоскина, Шаховского восстановили против него весь круг аксаковских друзей. В ожесточенной полемике, которая велась в течение шести-семи лет, участвовал и Аксаков. И политическая и эстетическая позиция Н. Полевого была для него неприемлема. Либеральное, буржуазно-просветительское направление «Московского телеграфа» казалось Аксакову слишком радикальным. Не принимал Аксаков и того идеала романтического искусства, которому поклонялся Полевой. В одной из своих полемических заметок Аксаков без обиняков писал об издателе «Телеграфа», что «лицо, представляемое им в нашей литературе, не только смешно, но и вредно» (наст. том, стр. 471). Надо, впрочем, сказать, что в полемику с Полевым Аксаков был

втянут не только принципиальными разногласиями с ним, но и чувством «обиды» за своих друзей.

Стр. 77. Комедия В. И. Головина «Писатели между собой» вышла в Москве, в 1827 г.

Стр. 78. ...*из известного романа Вальтер-Скотта* — имеется в виду роман «Приключения Нигеля» (М. 1822).

Стр. 93. ...*применяли ко мне стихи Пушкина: «Мне душно здесь, я в лес хочу»* — из поэмы «Братья разбойники».

Стр. 98. ...*пойдут отлично «Попугаи» Хмельницкого* — имеется в виду опера-водевиль «Бабушкины попугаи», переделанная с французского Н. И. Хмельницким, музыка А. Н. Верстовского; впервые была сыграна на петербургской сцене в 1819 г.

Стр. 100. Стихотворение «Рыбачье горе» — см. наст. том, стр. 668.

Цитируемая строка Державина — из его стихотворения «Приглашение к обеду».

Стр. 112. *Статейку мою я помещаю в «Приложениях»* — см. в наст. томе, стр. 520.

...*и сдержал мое обещание.* — Аксаковский перевод «Скупого» был закончен в 1828 г. В девятой книжке «Московского вестника» за 1828 г., процензурованной Аксаковым 9 мая, было напечатано: «С. Т. Аксаков окончил перевод комедии Мольеровой «Скупой» (стр. 113). 10 июля 1828 г. перевод комедии был разрешен театральной цензурой к представлению. Этот перевод никогда при жизни Аксакова не появлялся в печати и впервые увидел свет в т. IV его Полного собрания сочинений (СПБ. 1886).

Стр. 115. *В «Вестнике Европы».* — Журнал «Вестник Европы» был основан в 1802 г. Н. М. Карамзиным, выходил в Москве до 1830 г.; с 1805 г. до прекращения издавался преимущественно М. Т. Каченовским (о позиции «Вестника Европы» и участии в нем Аксакова см. во вступительной статье к т. 1 наст. изд.).

«Сын отечества» — петербургский журнал, выходивший в 1812—1852 гг.; до 1825 г. был одним из наиболее видных и прогрессивных изданий, после восстания декабристов стал органом реакции.

«Северная пчела» — реакционная газета, выходившая в Петербурге в 1825—1864 гг.; была основана Ф. В. Булгариным, а в 1831—1859 гг. издавалась совместно с Н. И. Гречем; с 1860 г. газету издавал П. С. Усов.

...*появление «Московского вестника»* — журнал «Московский вестник» выходил в 1827—1830 гг. Главным редактором его был

М. П. Погодин, виднейшими сотрудниками — Д. В. Веневитинов, В. Ф. Одоевский, С. П. Шевырев, А. С. Хомяков, Н. М. Рожалин. Короткое время участвовал в журнале Пушкин. «Московский вестник» отражал идеалистические позиции литературно-философского кружка любомудров.

Стр. 116. ...*новый устав напечатан.* — Речь идет о так называемом «чугунном» цензурном уставе 1826 г., он был разработан А. С. Шишковым и просуществовал до 1828 г.

В рукописи «Литературных и театральных воспоминаний» имеется первоначальный, зачеркнутый автором, более короткий вариант истории цензорской деятельности Аксакова, в котором обращают на себя внимание некоторые небезинтересные детали, отсутствующие в печатном тексте. «Устав был совершенно несовременен и стеснителен до высшей степени: при малейшей неблагонамеренности цензора бедный писатель предавался совершенно его произволу. Он имел право, даже был обязан, отыскивать тайный смысл в словах, читать между строк. Этого мало: цензор имел право запретить сочинение, если слог ему не нравился; это предписывалось под благовидным предлогом соблюдения чистоты российского языка. Само правительство признало невозможность такого устава и заменило его другим, написанным людьми просвещенными в духе законной свободы. В настоящую минуту я один остался в живых из действовавших тогда цензоров по шишковскому уставу и скажу по совести, что никто из нас не употреблял во зло своей власти, никто из сочинителей не жаловался на притеснение и даже на замедление, и никто из цензоров не получал ни одного замечания. У меня хранится бумага, подписанная всеми тогдашними московскими литераторами, журналистами, содержателями типографий и книгопродавцами; в этой бумаге заключается благодарность за успешный и свободный ход цензурного дела... Это довольно странно, дико — но это факт» (Л. Б., ф. Аксакова, III, 66, лл. 23 об.—24 об.).

Стр. 127. ...*я окончил перевод этого романа и напечатал.* — Аксаковский перевод двух последних глав романа Вальтер-Скотта «Певериль де Пик» был опубликован в журнале «Русский зритель», 1829, №№ 15—16, стр. 241—262; еще один отрывок — в «Московском вестнике», 1830, № 4, стр. 338—353.

Стр. 128. ...*письмо к Погодину о значении поэзии Пушкина* — см. в наст. томе, стр. 517.

Стр. 129. ...*одну книжку издал я.* — Аксаков редактировал два номера «Русского зрителя» — 15 и 16 за 1829 г. На титульном

листе журнала обозначено: «№№ 15 и 16, издаваемые С. А—м за К. Ф. Калайдовича». В мае 1829 г. Петр и Иван Калайдовичи объявили на страницах «Русского зрителя» благодарность ряду литераторов, принявших на себя хлопоты по изданию и редактированию журнала. Список из одиннадцати человек открывался именем С. Т. Аксакова (ч. V, стр. 245).

Стр. 136. *Впрочем, где-то было напечатано об этом и перевод мой назван недюжинным.* — Действительно, в 1819 г. рецензент журнала «Благонамеренный» назвал аксаковский перевод комедии Мольера «Школа мужей» «не из числа дюжинных» и отметил, что «многие места оного заслуживают особое одобрение» («Благонамеренный», 1819, ч. 6, стр. 263).

ИСТОРИЯ МОЕГО ЗНАКОМСТВА С ГОГОЛЕМ

Смерть Гоголя глубоко потрясла С. Т. Аксакова. Под свежим впечатлением этого события он начал писать свои воспоминания о великом писателе. Уже 28 марта 1852 г. он сообщал А. О. Смирновой: «С 21 февраля я погружен в одно занятие: я пишу или диктую о Гоголе. Я сначала писал без плана, что приходило мне в голову, но потом начал писать «Историю моего знакомства с Гоголем» («Русский архив», 1896, кн. 1, стр. 152). Повидимому, это были лишь предварительные заметки и наброски будущего произведения. Вскоре, однако, работа над ним была прервана.

В конце 1853 г. П. А. Кулиш прислал С. Т. Аксакову для ознакомления рукопись своей книги «Опыт биографии Гоголя». Прочитав ее, Аксаков исписал целую тетрадь «замечаний и дополнительных сведений» и в связи с этим сообщал 18 декабря 1853 г. своему сыну Ивану: «Это занятие подняло со дна моей души воспоминание о Гоголе, и мне стало совестно, что я до сих пор не исполнил священного долга его памяти и потомству: не написал истории моего знакомства с Гоголем со включением всей нашей переписки. Я хотел было немедленно приняться за это дело; но меня уговорили наперед окончить «Казанскую гимназию»... Как скоро кончу, то немедленно примусь за Гоголя и не отстану, если буду жив и здоров, пока не совершу этого подвига» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 14, лл. 3 об. — 4).

Аксаков действительно вскоре снова приступил к обещанным мемуарам, совмещая эту работу с другими литературными занятиями. На титульном листе рукописи стоит авторская помета: «Начато 9 января 1854 г.». Первые десятки страниц были напи-

саны с необычной для Аксакова быстротой. Уже в марте того же 1854 г. он писал сыну Ивану: «Я диктую уже седьмую тетрадь истории нашего знакомства с Гоголем, а как эта работа очень утомительна, то для отдохновения и развлечения пишу еще эпизод из семейной хроники...» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 14, л. 27).

Следующей весной воспоминания были доведены до середины 1843 г. Об этом свидетельствовал Аксаков в письме к М. И. Гоголь, матери писателя, от 7 апреля 1855 г. (ИРЛИ, ф. 652, оп. 2, д. № 32, лл. 27 об. — 28).

Гоголь сыграл колоссальную роль в творческой судьбе С. Т. Аксакова, очень во многом определив направление его литературного развития и содействовав рождению в нем выдающегося художника-реалиста. В примечании к одному из отрывков «Истории моего знакомства с Гоголем» Иван Аксаков писал: «Появление сочинений Гоголя произвело такой резкий переворот в общественном и, в частности, в литературном сознании, что сочувствие или несочувствие к Гоголю определяло степень развития и способность к развитию самого человека. Это был рубеж, перейдя через который Сергей Тимофеевич растерял всех своих литературных друзей прежнего псевдоклассического нашего литературного периода. Они остались по *сю сторону* Гоголя» (С. Т. Аксаков, Полн. собр. соч., т. III, СПБ. 1886, стр. 335).

Не удивительно, что воспоминаниям о Гоголе Аксаков придавал исключительно важное значение, несомненно выделяя их среди многих других своих мемуаров. Еще в самом начале работы автор писал Погодину: «Это пишется искренне — следственно, для потомства» (Л. Б., ф. Погодина, II, 1/60). Аналогичную мысль развивал Аксаков в письме к М. И. Гоголь в 1855 г.: «Я пишу с полной искренностью: пусть рассудит справедливое потомство; я не щажу ни себя, ни других, окружавших Николая Васильевича» (ИРЛИ, ф. 652, оп. 2, д. № 32, л. 28). Поскольку «История моего знакомства с Гоголем» затрагивала еще живых, близких друзей, Аксаков пришел к выводу, что с публикацией воспоминаний необходимо подождать и в ряде писем подчеркивал их «секретный» для современников характер. Например, в его письме к художнику К. А. Трутовскому от 20 марта 1855 г.: «Итак, направляю для печати прежнее и продолжаю составлять понемногу секретную историю знакомства с Гоголем... секретную для современников, а потомство должно узнать ее, как матерьял к полной биографии Гоголя» («Русский художественный архив», 1892, вып. III—IV, стр. 132). Что многое в воспоминаниях не сможет быть

напечатано даже сразу после его смерти, Аксаков отмечал и в цитированном выше письме к А. О. Смирновой («Русский архив», 1896, кн. 1, стр. 152).

Впрочем, несколько позднее Аксаков изменил свое намерение, решив подготовить мемуары к печати, исключив из них «все, чего еще нельзя напечатать в настоящее время». О причинах, побудивших его это сделать, он сообщил во «Вступлении» к «Истории моего знакомства».

Воспоминания С. Т. Аксакова занимают видное место в мемуарной литературе о Гоголе. В них содержится много ценных сведений, необходимых для биографии великого писателя. Несмотря на дружбу, продолжавшуюся два десятилетия, отношения между Гоголем и Аксаковым были неровными, а порой — сложными. Годы дружбы то и дело прерывались периодами взаимного отчуждения. И эти колебания в отношениях дают себя чувствовать в воспоминаниях Аксакова, имеющих не только биографический, но в значительной степени и автобиографический характер.

Славянофилы и их друзья прилагали немало усилий, чтобы обратить Гоголя в свою веру, изолировать его от влияния Белинского и использовать имя великого художника в своих интересах. Наиболее прямолинейно и грубо действовал в этом направлении Погодин. В воспоминаниях Аксакова содержится немало фактов, являющихся достоверной тому иллюстрацией. Аксаков не одобрял поведения Погодина, нередко даже им открыто возмущался, но вместе с тем и он очень тревожно, болезненно воспринимал все то, что могло указывать на возможность сближения Гоголя с наиболее передовыми общественными силами России и прежде всего — с Белинским.

Воспоминания Аксакова в той части, в какой они воссоздают конкретные факты жизни Гоголя, точны и правдивы. Но из мемуариста Аксаков иногда превращается в полемиста и дидактика. И тогда в этих, правда немногих, случаях рассказ его теряет интерес и достоверность. Надо сказать, что при всем своем стремлении быть объективным летописцем событий автору мемуаров все же не удалось избежать пристрастия в освещении некоторых существенных обстоятельств жизни Гоголя. Сложная история отношений Гоголя с семейством Аксаковых, равно как и со всем кругом «московских друзей», освещается в воспоминаниях порой односторонне, неправильно. Недостаточно раскрывается в них и внутренняя борьба Гоголя против его «друзей» славянофилов, которая происходила на протяжении многих лет.

Но при всех этих недостатках «История моего знакомства с Гоголем» является выдающимся произведением Аксакова, одним из ценнейших источников для изучения Гоголя.

Аксаков предполагал рассказать историю своих отношений с Гоголем вплоть до самой его смерти. Подзаголовок воспоминаний гласит: «Со включением всей переписки с 1832 по 1852 г.». Однако обширный замысел не был доведен до конца. Последние годы жизни Аксаков был поглощен работой над «Детскими годами Багрова-внука», а затем помешала быстро прогрессировавшая болезнь писателя. Значительная часть собранных материалов оказалась необработанной.

Начало публикаций настоящих воспоминаний связано с именем П. А. Кулиша, частично использовавшего материалы Аксакова, с разрешения автора, в своей книге «Записки о жизни Гоголя» (СПБ. 1856). В 1880 г. И. С. Аксаков напечатал несколько отрывков из воспоминаний покойного отца в своей газете «Русь» (№№ 4, 5 и 6). Наконец, в 1890 г., в восьмой книжке «Русского архива» и одновременно отдельным оттиском «История моего знакомства с Гоголем» была напечатана полностью. Ряд последующих публикаций воспоминаний Аксакова представляет собой перепечатку издания 1890 г.

Между тем в этом издании оказалось много неточностей: пропуски слов, даже целых фраз, произвольная замена одних имен другими и пр. В рукописи «Истории моего знакомства с Гоголем» имеется специальное примечание автора относительно того, что «все письма Гоголя не только списаны с точностью, но даже *скопированы*». Это, однако, не соответствует действительности. Тексты писем Гоголя и писем к Гоголю воспроизведены переписчиками Аксакова, а также в издании «Русского архива» неисправно: в письмах допущены различные искажения, ошибки в их датировке и т. д.

Текст первой, законченной, части воспоминаний Аксакова сверен нами с рукописью, хранящейся в Рукописном отделе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ф. Аксакова, VI/I), с которой набирался текст, опубликованный в «Русском архиве». Рукопись писалась под диктовку С. Т. Аксакова членами его семьи и правлена автором. Карандашные пометы Аксакова дублированы чернилами рукою редактора-издателя «Русского архива» П. И. Бартенева. Им же расшифрованы некоторые собственные имена, в рукописи обозначенные инициалами.

Письма С. Т. Аксакова сверены нами с автографами, а письма Гоголя — с изданием: Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., АН СССР, тт. XI—XII, а в некоторых спорных случаях — с автографами. В датировку отдельных писем внесены исправления. В угловых редакторских скобках проставлены отсутствующие в оригинале даты писем, окончания недописанных слов или слова, необходимые для связи.

Стр. 149. *Вступление.* — Рукопись «Вступления» представляет собой незаконченный черновой карандашный набросок, сделанный рукой С. Т. Аксакова.

Я печатно предлагал всем друзьям... — имеется в виду статья С. Т. Аксакова «Несколько слов о биографии Гоголя» (см. в наст. томе, стр. 599).

Стр. 150. *...биограф его* — П. А. Кулиш. Его двухтомные «Записки о жизни Н. В. Гоголя» вместе с предшествовавшей им книгой того же автора «Опыт биографии Н. В. Гоголя» (СПБ. 1854) представляли собой ценные для своего времени, хотя ныне уже отчасти устаревшие, материалы для биографии великого писателя.

Значительную часть фактических сведений Кулиш почерпнул у С. Т. Аксакова, П. А. Плетнева и других знакомых Гоголя, которые были заинтересованы в тенденциозном освещении некоторых сторон биографии писателя — например, его отношений с Белинским и другими прогрессивными деятелями литературы. Будучи сам человеком консервативных убеждений, Кулиш охотно выполнял указания «министерства общественной нравственности», как он называет Аксакова и Плетнева. На склоне лет своих Кулиш признался в этом В. И. Шенроку — известному биографу Гоголя: «Недостаток моих сообщений заключается в утайке от публики темных сторон жизни Гоголя: но такова была воля тогдашнего министерства общественной нравственности. Например, Плетнев с крайним негодованием рассказывал мне, что Гоголь по возвращении из-за границы, тайком от него, делал визиты журналистам и критикам» (Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки УССР. Шифр: Гоголиана, 347).

Стр. 151. *...Погодин привез ко мне... Гоголя.* — Первая встреча Гоголя с С. Т. Аксаковым состоялась не весной 1832 г., а в начале июля. Незадолго перед тем Гоголь познакомился с М. П. Погодиным, причем, вероятнее всего, уже во время пребывания Гоголя в Москве, а не в Петербурге, как указывает ниже Аксаков (см. Н. Барсуков, Жизнь и труды Погодина, т. IV, стр.

113—114; В. И. Шенрок, Материалы для биографии Гоголя, т. II, стр. 110—111).

Стр. 152. *У нас остались портреты...* — Речь идет, вероятно, о портрете Гоголя работы А. Г. Венецианова (1834). Это единственный вполне достоверный портрет Гоголя в петербургский период.

Стр. 153. Цитата из «Евгения Онегина» (гл. VII, строфа XLVIII).

...русская комедия его сильно занимала... — Это свидетельство Аксакова подтверждает, как глубоко и серьезно уже в ту пору размышлял молодой писатель над вопросами драматургического искусства. Надо заметить также, что желание Гоголя познакомиться с М. Н. Загоскиным отнюдь не связано было с его интересом к личности или к творчеству этого писателя. Загоскин с 1831 г. состоял в должности директора московских театров, и знакомством с ним Гоголь, несомненно, преследовал определенные практические интересы в отношении театра. Гоголь, очевидно, уже в это время вынашивал замысел комедии «Владимир 3-й степени». 8 декабря 1832 г. П. А. Плетнев сообщал Жуковскому: «У Гоголя вертится на уме комедия. Не знаю, разродится ли он ею нынешней зимой; но я ожидаю в этом роде от него необыкновенного совершенства» (Сочинения и переписка П. А. Плетнева, т. III, СПБ. 1885, стр. 522). Имеется также прямое свидетельство самого Гоголя. 20 февраля 1833 г. он писал Погодину из Петербурга: «Я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал» (Полн. собр. соч., АН СССР, 1940, т. X, стр. 262. Все последующие ссылки на сочинения и письма Гоголя даются по этому изданию).

Стр. 154. *...на самое короткое время.* — Описанные выше эпизоды относятся ко времени первого посещения Гоголем Москвы (конец июня — 7 июля 1832 г.), проездом из Петербурга в Васильевку. Второй раз он остановился в Москве на обратном пути (18—23 октября 1832 г.). Встреча с Загоскиным, о которой рассказывается ниже, происходила именно в эту пору.

Стр. 155. *В 1835 году...* — В рукописи здесь явная описка: «В 1834 году», не исправленная в издании газеты «Русь», а также «Русского архива» и механически перешедшая в последующие издания С. Т. Аксакова. События, излагаемые ниже (выход «Арабесок» и «Миргорода», а также приезд Гоголя в Москву), относятся именно к 1835 г.

Стр. 156. *Он сам вызвался прочесть ее вслух.* — Гоголь впервые читал «Женитьбу» у Погодина не на обратном пути из Васильевки в Петербург — то есть в августе 1835 г., а в начале мая 1835 г., когда он по пути из Петербурга в Васильевку сделал короткую остановку в Москве (см. Н. И. Мордовченко, Гоголь и журналистика 1835—1836 гг., в кн. «Н. В. Гоголь, Материалы и исследования», АН СССР, 1936, II, стр. 117—121).

Стр. 157. *...Гоголь ужасно смешно читает.* — М. П. Погодин так рассказывает об этом знаменитом чтении Гоголем «Женитьбы»: «Читал Гоголь так, скажу здесь кстати, как едва ли кто может читать. Это был верх удивительного совершенства. Прекрасно некоторые вещи читал Щепкин, прекрасно читают другие комические вещи Садовский, Писемский, Островский; но Гоголю все они должны уступить. Скажу даже вот что: как ни отлично разыгрывались его комедии, или, вернее сказать, как ни передавались превосходно иногда некоторые их роли, но впечатления никогда не производили они на меня такого, как в его чтении. Читал он однажды у меня, в большом собрании, свою «Женитьбу» в 1834 или 1835 году. Когда дошло дело до любовного объяснения у жениха с невестою — в которой церкви вы были в прошлое воскресенье? Какой цветок больше любите? — прерываемого троекратным молчанием, он так выражал это молчание, так оно показывалось на его лице и в глазах, что все слушатели à la lettre <буквально> покатывались со смеху и долго не могли прийти в себя, а он, как ни в чем не бывало, молчал и поводил только глазами...» («Русский архив», 1865, № 7, стр. 891—892).

...гостями были Станкевич и Белинский. — Здесь, в доме С. Т. Аксакова, в 1835 г., состоялась первая встреча Белинского с Гоголем.

Стр. 158. *...начали его ставить и в Москве.* — Первое представление «Ревизора» в Москве состоялось 25 мая 1836 г., на сцене Малого театра. 21 февраля 1836 г. Гоголь сообщал Погодину, что текст «Ревизора» пересылать не будет, ибо актеры ежели «прочтут без меня, то уже трудно будет переучить их на мой лад. Думаю быть если не в апреле, то в мае в Москве» (Полн. собр. соч., т. XI, стр. 35). Однако обстоятельства, связанные с постановкой комедии в Петербурге, побудили Гоголя решительно отказаться от своего первоначального плана. Мотивируя свой отказ от поездки в Москву, он писал М. С. Щепкину 29 апреля 1836 г.: «...я такое получил отвращение к театру, что одна мысль о тех приятностях, которые готовятся для меня еще и на московском театре, в силе

удержать и поездку в Москву и попытку хлопотать о чем-либо... Мочи нет. Делайте, что хотите, с моей пиесой, но я не стану хлопотать о ней» (там же, стр. 38). Никакие просьбы и уговоры со стороны С. Т. Аксакова и Щепкина не могли поколебать решения Гоголя. В дело даже пробовал вмешаться Пушкин. 6 мая 1836 г. он писал жене из Москвы: «Пошли ты за Гоголем и прочти ему следующее: видел я актера Щепкина, который ради Христа просит его приехать в Москву, прочесть «Ревизора». Без него актерам не спеться... С моей стороны, я то же ему советую: не надобно, чтоб «Ревизор» упал в Москве, где Гоголя более любят, нежели в П. Б.» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., АН СССР, т. 16, 1949, стр. 113). Гоголь, однако, был неумолим. Он поручил постановку комедии Щепкину. Но в результате закулисных интриг Щепкину пришлось отказаться от предложения Гоголя, и организация постановки была передана дирекции московских театров, которая отнеслась к пьесе Гоголя с полным равнодушием. Спектакль, впрочем, имел огромный успех. В нем принимали участие виднейшие актеры Малого театра: Щепкин (городничий), Ленский (Хлестаков), Орлов (Осип), Потанчиков (почтмейстер) и др. С отчетом о московской постановке «Ревизора» выступил Белинский на страницах «Молвы» (см. сб. «Белинский о Гоголе», М. 1949, стр. 93).

Стр. 160. *...не находит актера для этой роли.* — В Александринском театре Хлестакова играл известный водевильный актер Н. О. Дюр. Он исполнял роль в легковесно-водевильной манере, усердно комиковал, стараясь чисто внешними приемами вызывать смех в зрительном зале, и оказался в конце концов неспособным раскрыть социально-обличительный смысл образа. Гоголь был крайне недоволен игрой Дюра. В «Отрывке из письма, написанного автором после представления «Ревизора» к одному литератору» Гоголь отмечал: «Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков» (Полн. собр. соч., т. IV, стр. 99). Гоголь считал роль Хлестакова «главной» и «труднейшей». В связи с готовящейся постановкой «Ревизора» в Москве писатель обращал внимание Щепкина на необходимость особенно тщательного выбора исполнителя этой роли: «Я не знаю, выберете ли вы для нее артиста. Боже сохрани, <если> ее будут играть с обыкновенными фарсами, как играют хвастунов и повес театральных!.. Я сильно боюсь за эту роль» (там же, т. XI, стр. 39). На московской сцене Хлестакова играл первоначально Ленский, а с 1838 г. — Самарин. Критические отзывы Белинского об игре этих испол-

нителей (см. «Белинский о Гоголе», стр. 99—104) показывают, что опасения Гоголя не были напрасными.

Сам Гоголь видел его... — Об этом спектакле см. в воспоминаниях Л. И. Арнольди и Н. В. Берга («Гоголь в воспоминаниях современников», М. 1952, стр. 495 и 507).

Гоголь сделался болен и духом и телом. — Известие о трагической гибели Пушкина застало Гоголя в Париже. Он встретил А. С. Данилевского и сказал ему: «Ты знаешь, как я люблю свою мать; но если бы я потерял даже ее, я не мог бы быть так огорчен, как теперь: Пушкин в этом мире не существует больше» (В. И. Шенрок, Материалы для биографии Гоголя, т. III, стр. 166). Потрясенный горем, Гоголь писал П. А. Плетневу 16 марта 1837 г. из Рима: «Что месяц, что неделя, то новая утрата; но никакой вести хуже нельзя было получить из России. Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою. Что скажет он, что заметит он, чему посмеется, чему изречет неразрушимое и вечное одобрение свое — вот что меня только занимало и одушевляло мои силы» (Полн. собр. соч., т. XI, стр. 88—89; см. там же письма: к Погодину от 30 марта 1837 г., к Прокоповичу от 30 марта 1837 г., к Жуковскому от 18 апреля и 30 октября 1837 г.).

Стр. 162. *Он ни слова не писал нам о свидании с Гоголем.* — О своих встречах с Гоголем за границей Погодин рассказывает в своих воспоминаниях «О жизни в Риме с Гоголем и Шевыревым в 1839 г.» («Русский архив», 1865, № 7, стр. 887—895). См. также: М. Погодин, Год в чужих краях. Дорожный дневник (М. 1844).

Стр. 168. *Тридцатого октября...* — в рукописи явная описка: «30 ноября».

Стр. 170. *Вот, например, Владимир Иванович Панаев.* — В. И. Панаев в 1830—1831 гг. был непосредственным начальником Гоголя по службе в департаменте уделов и, судя по дошедшим до нас документам, оказывал ему покровительство (см. «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», I, 1936, стр. 295—300). В. И. Панаев впоследствии дослужился до крупных административных чинов. Одновременно он претендовал на литературную славу, сочиняя старомодные сентиментальные идиллии. В. И. Панаев был человеком реакционных убеждений и крайне неодобрительно относился к сатирическим произведениям своего бывшего подчинен-

ного — Н. В. Гоголя. Выразительный портрет Панаева и характеристику его отношения к творчеству Гоголя оставила в своих воспоминаниях Авдотья Панаева (см. «Воспоминания», М. 1956, стр. 159—160).

Стр. 173. *...трагедия из истории Запорожья* — незаконченная и сожженная историческая трагедия Гоголя из украинской жизни «Выбритый ус», которую он начал писать в 1839 г., во время работы над второй редакцией «Тараса Бульбы». Именно об этой пьесе Гоголь сообщал 10 августа 1839 г. Шевыреву из Вены: «Труд мой, который начал, не идет; а, чувствую, вещь может быть славная» (Полн. собр. соч., т. XI, стр. 248). Гоголь был необычайно увлечен сюжетом новой пьесы. Он с радостью погружался в столь любимую им героическую историю Запорожской Сечи (см. письмо к Погодину от 17 октября 1840 г. — там же, стр. 314). Литератор В. А. Панов, которому Гоголь читал в ноябре 1840 г. в Риме начало трагедии, поделился в письме к С. Т. Аксакову своими впечатлениями о ней: «Действие в Малороссии. В нескольких сценах, которые он уже написал и прочел мне, есть одно лицо комическое, которое, выражаясь не столько в действии, сколько в словах, теперь уже совершенство» (Н. Барсуков, Жизнь и труды Погодина, т. V, стр. 369). Об обстоятельствах сожжения трагедии см. в воспоминаниях Ф. В. Чижова («Гоголь в воспоминаниях современников», стр. 229). Сохранившиеся небольшие отрывки из этой трагедии были впервые опубликованы П. А. Кулишом («Заметки и наброски Н. В. Гоголя для драмы из «Украинской истории», «Основа», 1861, № 1, стр. 116—120). См. также Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. V, стр. 199—201. Материал, собранный Гоголем для исторической драмы, был им использован в новой редакции «Тараса Бульбы».

...откупщику Бенардаки. — Гоголь познакомился с Д. Е. Бенардаки, нажившим спекулятивными сделками миллионное состояние, летом 1839 г. в Мариенбаде. Он питал к этому человеку интерес несколько специфический, видя в нем источник полезной для себя информации. Об этом, например, свидетельствовал Погодин: «Гоголь выспрашивал его (Бенардаки. — *С. М.*) о разных исках и, верно, дополнил свою галерею оригинальными портретами, которые когда-нибудь увидим на сцене» («Год в чужих краях», М. 1844, т. IV, стр. 75). Есть указание того же Погодина, что Бенардаки явился одним из прототипов Костанжогло: «Мы все гуляли вместе (в Мариенбаде. — *С. М.*). Бенардаки, знающий Россию самым лучшим и коротким образом, бывший на всех концах ее, рассказывал

нам множество разных вещей, которые и поступили в материалы «Мертвых душ», а характер Костанжогло во второй части писан в некоторых частях прямо с него» («Русский архив», 1865, № 7, стр. 895).

Стр. 174. *...калибаны в понимании искусства.* — Калибан — персонаж из трагедии Шекспира «Буря», уродливый дикарь.

Стр. 175. *...вторые «Три повести» Павлова* — «Маскарад», «Демон» и «Миллион» (СПБ. 1839). Первый сборник Н. Ф. Павлова под тем же названием вышел в 1835 г. и содержал в себе следующие произведения: «Именины», «Аукцион» и «Ятаган». Эта книга вызвала ярость Николая I и специальное цензурно-полицейское дознание. О ней тепло отозвался Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя». Критика особенно заинтересовала социально острая повесть «Именины», посвященная изображению трагической судьбы крепостного музыканта. В дальнейшем, однако, антикрепостнические мотивы в творчестве Павлова почти не проявлялись. Идейная позиция писателя становилась все более умеренной. В начале 60-х гг. он перешел в лагерь реакции.

Стр. 177. *Я подозреваю в этом даже Пушкина...* — Утверждение С. Т. Аксакова, что Пушкин якобы «не вполне ценил талант Гоголя» — безосновательно. Общеизвестные ныне факты (например, письма и дневник Пушкина, свидетельства многих современников) категорически опровергают это мнение.

Стр. 179. *Он потерян.* — Это письмо давно найдено. И. С. Аксаков подарил его в 1839 г. Ф. А. Бюллеру, одному из своих приятелей по Училищу правоведения, который, много лет спустя, отдал его в редакцию «Русской старины» для опубликования (1871, № 12, стр. 681). См. текст этого письма — Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 265.

Стр. 180. *...выехали мы из Петербурга.* — Гоголь выехал с С. Т. Аксаковым из Петербурга 17 декабря 1839 г.

Стр. 183. *...был недоволен ею как взыскательный художник.* — В письме к Погодину от 23 февраля 1833 г. Гоголь совершенно ясно объяснил причину, которая препятствует ему завершить работу над комедией «Владимир 3-й степени»: «Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит... Мне больше ничего не остается, как выдумать сюжет самый невинный, которым даже квартальный не мог бы обидеться. Но что комедия без правды и злости!» (Полн. собр. соч., т. X, стр. 262—263). К этому же неосуществленному замыслу Гоголя относятся слова Плетнева

в письме к Жуковскому от 17 февраля 1833 г.: «Его комедия не пошла из головы. Он слишком много хотел обнять в ней, встречал беспрестанно затруднения в представлении и потому с досады ничего не написал» (Сочинения и переписка П. А. Плетнева, т. III, стр. 528).

Стр. 184. *Он начал чтение...* — Подробное описание этого чтения см. в воспоминаниях И. И. Панаева («Гоголь в воспоминаниях современников», стр. 214).

Стр. 185. *...как нужен был товарищ Гоголю...* — Находясь в затруднительном материальном положении, Гоголь искал товарища, с которым можно было бы поделить дорожные издержки. С этой целью он даже опубликовал специальное «Объявление о выезде»: «Некто, не имеющий собственного экипажа, ищет попутчика до Вены, имеющего собственный экипаж, на половинных издержках: на Девичьем поле, в доме проф. Погодина; спросить Николая Васильевича Гоголя» («Московские ведомости», 1840, № 28. «Прибавления», № 90, стр. 246). Первоначальный шутливый вариант этого объявления не был пропущен в газете (см. Полн. собр. соч., т. IX, стр. 489; ср. также «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 587).

Стр. 186. *...А. И. Тургенев...* — Во всех старых изданиях воспоминаний С. Т. Аксакова здесь назван И. С. Тургенев. В. Вересаев первым высказал сомнение в том, присутствовал ли на этих именинах И. С. Тургенев. Свое сомнение В. Вересаев обосновывал ссылкой на то, что Тургенев ничего об этой знаменательной встрече не рассказывает в своих воспоминаниях о Гоголе и Лермонтове: «Невероятно предположить, чтоб Тургенев забыл о празднике, проведенном им с Гоголем в среде интимных его друзей, и о чтении Лермонтовым «Мцыри» («Гоголь в жизни», Academia, М.—Л. 1933, стр. 239).

И. С. Тургенев действительно не мог присутствовать 9 мая 1840 г. на именинах Гоголя в Москве, потому что с января 1840 по сентябрь 1841 г. он был за границей. Присутствовал же на именинах А. И. Тургенев. Это подтверждается недавно опубликованной записью из его дневника: «9 мая <1840>. К Свербеевой. С ней у крыльца. Там и Павлов. Оттуда к Лермонтову, не застал, домой и к Гоголю на Девичье поле у Погодина: там уже la jeune Russie <молодая Россия> съехалась: это напомнило мне и *наш поддевиченский* Арзамас при Павле I. Мы пошли в сад обедать. Стол накрыт в саду: Лермонт<ов>, к. Вязем<ский>, Баратынский, Сверб<еевы>, Хомяков, Самарин, актер Щепкин, Орлов,

Попов, Хотяева и пр. Глинки; веселый обед... В 9 час. разъехались. Приехал и Чаадаев. Я домой и опять к Павлов<у>, кот<орый> ошибкой приглашен не был...» (Э. Герштейн, Дуэль Лермонтова с Барантом, «Литературное наследство», т. 45—46, 1948, стр. 419—420).

Повод для недоразумения дала сама рукопись С. Т. Аксакова. В ней первоначально назывался А. И. Тургенев, но затем первый инициал был ошибочно зачеркнут, а сверху, после «И», карандашом вписано «С». Так вместо А. И. Тургенева появился И. С. Тургенев.

...Лермонтов... — До недавнего времени считалось, что 9 мая 1840 г. состоялась единственная встреча двух великих русских писателей — Лермонтова и Гоголя. Между тем в дневнике А. И. Тургенева упоминается еще одна встреча, происходившая на другой день у Е. А. Свербеевой. «10 мая... Вечер у Свербеевой<еевой> с гр. Зубовой. Павлова: подарил ей лиру. Очень довольна. Лермонтов и Гоголь. До 2 часов...» («Литературное наследство», т. 45—46. 1948, стр. 420). Это — единственное скупое свидетельство о неизвестном до сих пор эпизоде в биографии Гоголя и Лермонтова.

Стр. 187. *...нам казалось, что Гоголь не довольно любит Россию.* — Длительное пребывание Гоголя за границей объяснялось вовсе не тем, что он «не довольно любит Россию». Гоголь горячо любил свою родину, но Россия чиновничья, крепостническая приносила ему невыразимые страдания. Он почувствовал это особенно остро после выхода в свет «Ревизора». Яростные нападки на Гоголя той части русского общества, против которой была обращена комедия, вызвали в нем болезненную реакцию. Почувствовав себя одиноким, всеми, как ему казалось, покинутым («Все против меня», — писал он), Гоголь уехал за границу. Но уже первые его письма из-за границы полны глубокой тоски по родине. 22 сентября 1836 г. Гоголь пишет Погодину из Женевы: «На Руси есть такая изрядная коллекция гадких рож, что невтерпеж мне пришлось глядеть на них. Даже теперь плевать хочется, когда об них вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокруг меня чужбина; но в сердце моем Русь, не гадкая Русь, но одна только прекрасная Русь...» (Полн. собр. соч., т. XI, стр. 60). Гоголя звали домой, упрашивали вернуться, но чувство любви к родине было отравлено у него сознанием властвующей там несправедливости, сознанием невозможности писать там «с правдой и злостью». И он принимает решение не возвращаться. Он пишет снова

Погодину: «Ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить. Нет, слуга покорный!» (там же, стр. 92). С подобными настроениями мы встречаемся во многих письмах Гоголя: гневные воспоминания о «гадких рожах», или «презренной черни», или «благородном нашем аристократстве», при одной мысли о котором «сердце... содрогается», неизменно переплетаются с трогательно нежными чувствами к родной русской земле.

Гоголь писал, что ничто на чужбине не может вдохновить его как художника: «Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему... И я ли после этого могу не любить своей отчизны?» (там же, стр. 92). Искренность этих взволнованных строк Гоголя подтверждается всеми его художественными произведениями, проникнутыми могучим патриотическим чувством. Все это наглядно опровергает ошибочное утверждение С. Т. Аксакова.

Стр. 190. *«Русских песней» Сахарова* — «Песни русского народа» И. П. Сахарова (чч. 1—5. 1838—1839).

Стр. 193. *...оба издания песней Максимовича.* — Речь идет о сборниках народных украинских песен, собранных и изданных М. А. Максимовичем: «Малороссийские песни» (М. 1827), «Украинские народные песни», ч. I (М. 1834), «Голоса украинских песен» (М. 1834).

Гоголь был знатоком и собирателем народной песни. «Моя радость, жизнь моя! песни! Как я вас люблю! — писал он в 1833 г. своему другу М. А. Максимовичу. — ...Я не могу жить без песен. Вы не понимаете, какая это мука» (Полн. собр. соч., т. X, стр. 287). Еще в юношеские годы пробудилась у Гоголя страсть к собиранию памятников народного творчества. Будучи учеником нежинской гимназии, он завел у себя специальную тетрадь под названием «Книга всякой всячины, или Подручная энциклопедия», в которую записывал услышанные где-либо народные песни. К середине 30-х годов у Гоголя образовалось большое собрание произведений народного творчества, в котором было немало песен, совершенно неизвестных специалистам-этнографам. Намерение Гоголя издать это собрание совместно с М. А. Максимовичем не было осуществлено (см. «Песни, собранные Н. В. Гоголем» в сборнике «Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя», выпуск 2, СПБ. 1908).

Стр. 194. *Товарищ мой...* — имеется в виду В. А. Панов, с которым Гоголь выехал 18 мая 1840 г. из Москвы за границу

и с которым жил некоторое время в одной квартире в Риме. Паков писал под диктовку Гоголя первые главы первого тома «Мертвых душ», затем его сменил Анненков.

Стр. 195. *«Дядька в хлопотах»*, или *«Дядька в затруднительном положении»* — комедия итальянского писателя Джиованни Жиро. Перевод ее помещен в т. V Полн. собр. соч., стр. 203—241. В письме Гоголя упоминается лишь первое действие этой пьесы, так как второе действие было вложено в письмо к Щепкину и третье — в письмо к Погодину. В какой мере участвовал Гоголь в переводе этой комедии на русский язык, точно не известно. В том письме, которое Гоголь выше просит Аксакова передать Щепкину, сказано: «Комедия готова. В несколько дней русские наши художники перевели. И как я поступил добросовестно! Всю от начала до конца выправил, перемарал и переписал собственною рукою» (Полн. собр. соч., т. XI, стр. 304).

Вы... узнали великую утрату. — Гоголь имеет в виду смерть Г. И. Карташевского.

Стр. 197. *...нужно к спеху.* — Речь идет о подготовке второго издания «Ревизора»; под работой «не к спеху» имеется в виду завершение «Мертвых душ». Опутанный долгами, Гоголь должен был, вопреки своему желанию, прервать напряженный труд над «Мертвыми душами» и заняться срочной подготовкой к переизданию «Ревизора».

Стр. 198. *...до сведения кое-кого* — то есть до сведения К. С. Аксакова.

Стр. 199. *...что этого чувства у него не было или было слишком мало* — см. выше примеч. к стр. 187. Ниже — неправильное рассуждение С. Т. Аксакова о характере влияния московских славянофилов на Гоголя. Здесь уместно вспомнить Чернышевского: «Эти мудрые варяго-руссы если и были в чем-нибудь виноваты, то разве в «Переписке с друзьями» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. III, М. 1947, стр. 40).

Стр. 200. *...потеряли мы сына.* — Речь идет о смерти младшего сына С. Т. Аксакова, Михаила.

...письмо, писанное мною к Пушкину — имеется в виду «Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору». Этот «Отрывок», напечатанный в шестой книжке «Москвитянина» за 1841 г. и в том же году в качестве приложения — во втором издании «Ревизора», представлял собой блестящий авторский комментарий к комедии. «Отрывок» датирован 25 мая 1836 г. По мнению Н. Тихонра-

вова и В. Шенрока, работа Гоголя над «письмом» была завершена в 1841 г., и, таким образом, его адресатом уже не мог быть Пушкин. Эта точка зрения, впрочем, не может считаться окончательно подтвержденной.

Стр. 208. *...ко всему нашему русскому направлению.* — В. Г. Белинский неутомимо боролся со славянофилами, беспощадно разоблачая в своих статьях реакционный характер их политических и эстетических позиций. Славянофилы ненавидели Белинского, справедливо усматривая в нем своего непримиримого идейного противника. Отрицательно относился в это время к Белинскому и С. Т. Аксаков (см. вступительную статью к т. I наст. изд.).

«Секретное» свидание Гоголя с Белинским состоялось в начале января 1842 г. В связи с отказом московской цензуры разрешить к печати «Мертвые души» (см. письмо Гоголя к П. А. Плетневу от 7 января 1842 г. — Полн. собр. соч., т. XII, стр. 28—30) Гоголь обратился к гостившему в Москве Белинскому с просьбой захватить с собой рукопись в Петербург и посодействовать скорейшему ее прохождению через тамошние цензурные инстанции. Белинский охотно согласился выполнить поручение. Что касается «секретного» характера этого свидания, то оно объясняется нежеланием Гоголя разглашать перед московскими друзьями (Аксаковым, Шевыревым, Погодиным) свои отношения с Белинским. Встреча с ним Гоголя была для них полной неожиданностью. Они были сильно встревожены этим фактом и весьма опасались влияния Белинского на Гоголя.

Во время свидания критик пытался привлечь Гоголя к сотрудничеству в «Отечественных записках». От этого сотрудничества Гоголь уклонился (см. В. Г. Белинский, Избранные письма, М. 1955, т. 2, стр. 197).

Стр. 209. *...даже записками... которые посылал ежедневно к нему снизу наверх.* — Эта своеобразная переписка между Погодиным и гостящим в его доме Гоголем проливает яркий свет на характер их отношений. Погодин настойчиво добивался согласия Гоголя на сотрудничество в «Москвитянине». Предполагалось использовать имя великого писателя в интересах славянофильского лагеря; участие Гоголя в «Москвитянине» должно было продемонстрировать его солидарность со славянофилами и их друзьями. Но именно поэтому Гоголь так ожесточенно сопротивлялся домогательствам Погодина. Вот одна из записок Погодина, написанная на клочке бумаги в начале 1842 г.: «Я устраиваю теперь 2-ю книжку <«Москвитянина»>, будет ли от тебя что для нее?»

Гоголь кратко и выразительно ответил на обороте того же клочка: *«Ничего»* (Е. Казанович, К истории сношений Гоголя с Погодиным, «Временник Пушкинского дома», Петроград, 1914, стр. 75. Здесь опубликованы двадцать четыре записки, которыми обменялись Погодин и Гоголь). Погодин не унимался и не гнушался никакими средствами, чтобы достичь цели. В ответ на очередное его домогательство Гоголь отправляет вниз, хозяину дома, записку: «Не беспокой меня в теченье двух неделей по крайней мере. Дай отдохновенье душе моей!» (Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 53). В начале апреля 1842 г. Гоголь получил из Петербурга цензурное разрешение на печатание «Мертвых душ». На страницах «Москвитянина» появилось объявление о предстоящем выходе нового произведения. Погодин потребовал от Гоголя разрешения опубликовать в своем журнале несколько отрывков из поэмы до ее выхода в свет отдельным изданием. Гоголь категорически отказался. Он написал откровенную записку Погодину: «А насчет «Мертвых душ»: ты бессовестен, неумолим, жесток, неблагоразумен. Если тебе ничто и мои слезы, и мое душевное терзанье, и мои убеждения, которых ты и не можешь и не в силах понять, то исполни по крайней мере, ради самого Христа, распятого за нас, мою просьбу: имей веру, которой ты и не в силах и не можешь иметь ко мне, имей ее хоть на пять-шесть месяцев. Боже! Я думал уже, что я буду спокоен хотя до моего выезда» (Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. XII, стр. 56).

После вскоре состоявшегося отъезда Гоголя из Москвы дружеские отношения его с Погодиным оказались надолго прерванными.

Стр. 211. *...мы уговорили Гоголя посмотреть свою комедию.* — Это представление «Ревизора» состоялось не в 1840 г., а 17 октября 1839 г. См. письма Грановского к Н. В. Станкевичу от 25 ноября 1839 г. («Т. Н. Грановский и его переписка», М. 1897, т. II, стр. 374—375), Н. П. Огарева к Герцену («Русская мысль», 1888, № 11, стр. 1), Н. Ф. Павлова к Шевыреву от 20 октября 1839 г. («Из собрания автографов имп. публ. биб-ки», СПБ. 1895, стр. 119). Об этом спектакле см. также в воспоминаниях И. И. Панаева («Гоголь в воспоминаниях современников», стр. 217).

Стр. 213. *...на литературном вечере у князя Дм. Вл. Голицына.* — О характере «литературных вечеров», устраивавшихся у князя Д. В. Голицына, рассказывает в своих неопубликованных мемуарах современник: «В 1842 году учредились литературные же вечера и у генерал-губернатора Москвы, добродушного

и благородного князя Дмитрия Владимировича Голицына. Мы этому очень удивились, потому что он был совсем не литератор. Но вот что было этому причиною. Ему велено было наблюдать, и наблюдать за всеми, бывавшими на наших вечерах. Он, как человек благородный, нашел такое средство, чтоб этих же людей приглашать к себе...» (М. А. Дмитриев, Воспоминания, Л. Б., ф. Музейный, М. 8184/II, ч. II, л. 100). На голицынские «пятницы» часто бывал зван и Гоголь. А он, словно догадываясь о специфическом характере «интереса» князя Голицына к литературе и к его собственной персоне и вообще чураясь великосветского общества, старался как можно реже переступать порог генерал-губернаторского дома. Тот же М. Дмитриев свидетельствует, как Погодину и Шевыреву удалось однажды ценой больших усилий привезти Гоголя к Голицыну, а он «...не сказав ни слова, сел на указанные ему кресла, сложил ладонями вместе обе протянутые руки, опустил их между колен, согнулся в три погибели и сидел в этом положении...» (там же).

Стр. 214 *...рукопись ехала из Петербурга до Москвы целый месяц.* — В связи со столь необычной задержкой в получении Гоголем рукописи Белинский писал 31 марта 1842 г. В. П. Боткину: «Мертвые души» отправлены в Москву (цензурным комитетом) 7 марта, за № 109, на имя Погодина с передачею Гоголю. Но Гоголь не получал: подозревает Плетнев, Прокопович и я, что Погодин получил, но таит до времени, с целью выманить у него пока еще статейку для журнала» (В. Г. Белинский, Избранные письма. М. 1955, т. 2, стр. 188). Хотя подозрение Белинского и не подтвердилось (рукопись была задержана цензурным комитетом и получена Гоголем 5 апреля), но это место в его письме правильно раскрывает характер отношения Погодина к Гоголю.

...ни одного замаранного слова. — Петербургская цензура отнюдь не так благодушно отнеслась к «Мертвым душам». Хотя рукопись и разрешено было после долгих хлопот печатать, но цензурный комитет при этом признал в ней тридцать шесть мест «сомнительными»; кроме того, от Гоголя потребовали внести существенные исправления в «Повесть о капитане Копейкине» либо снять ее вовсе и, наконец, изменить самое заглавие поэмы; вопреки воле автора, она должна была теперь называться «Похождения Чичикова, или Мертвые души».

Стр. 220. *...путешественника бы не пропустили.* — Ср. в воспоминаниях Погодина: «Гоголь ни за что на свете не хотел

никому показывать своего паспорта, и его надо было клещами вытаскивать из его кармана. Он уверял меня даже, что когда ездит один, то никогда не показывает паспорта никому по всей Европе под разными предлогами. Так и при нас, не дает да и только: начнет спорить, браниться и, смотря в глаза полицейскому чиновнику, примется по-русски ругать на чем свет стоит его императора австрийского, его министерство, всех гонфалоньеров и подест, но таким тоном, таким голосом, что полицейский думает слышать извинения и повторяет тихо: Signore, passaporti! Так он поступал, когда паспорт у него в кармане и стоило только вынуть его, а это случалось очень редко; теперь представьте себе, что паспорта у него нет, что он засунул его куда-нибудь в чемодан, в книгу, в карман. Он должен, наконец, искать его, потому что мы приступаем с просьбами: надо ехать, а не пускают. Он начнет беситься, рыться, не находя его нигде, бросать все, что попадется под руку, и, наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому: на тебе паспорт, ешь его, и проч., да и назад взять не хочет. Преуморительные были сцены. Кто помнит, как читал Гоголь свои комедии, тот может себе вообразить их, и никто более» («Русский архив», 1865, № 7, стр. 890—891).

Стр. 229. *Константин напечатает свою статью особой брошюркой.* — После неудачи с помещением статьи в журнал Аксаковы решили издать ее отдельной брошюрой. 7 июля 1842 г. было получено цензурное разрешение, и она вскоре вышла в свет. Брошюра вызвала большой шум в журнальных кругах, особенно после резкого выступления Белинского на страницах «Отечественных записок». Гоголь, узнав о брошюре и о том впечатлении, какое она произвела, неодобрительно отнесся к выступлению К. Аксакова, причем не только потому, как ниже указывает С. Т. Аксаков, что брошюра «появилась не во-время». Гоголь был недоволен статьей К. Аксакова и по существу. В письме к С. Т. Аксакову от 18 августа 1842 г. Гоголь действительно отмечает: «Ей (т. е. брошюре. — *С. М.*) рано быть напечатанной теперь»; но этой фразе предшествует другая: «Я был уверен, что Конст. Сер. *глубже и прежде поймет, и уверен, что критика его точно определит значение поэмы*». (Выделено нами. — *С.М.)* (см. наст. том, стр. 240). Полгода спустя, когда С. Т. Аксаков поставил вопрос в упор: «Я боюсь, что вы недовольны или досадуете за брошюру Константина», Гоголь вежливо ответил (в письме от 18 марта

1843 г.), что он и «не думал сердиться на него за брошюрку», но тут же продолжил: «Горе тому, кто объявляет какую-нибудь замечательную мысль, если эта мысль еще — ребенок» (наст. том, стр. 257).

В течение многих лет брошюра К. Аксакова была предметом резкой критики со стороны прогрессивной журналистики. В 1860 г. ее высмеял Добролюбов в статье «Благонамеренность и деятельность» (Полн. собр. соч., 1935, т. 2, стр. 241—242).

Стр. 235. *...на квартиру Нащокина.* — П. В. Нащокин, будучи в молодости очень богатым человеком, промотал все свое состояние и последние полтора десятилетия своей жизни сильно бедствовал. Гоголь пытался принять участие в его судьбе. Письмо, о котором Гоголь наводит справки у Аксакова, было им послано Нащокину 20 июля 1842 г. из Гастейна. В этом письме Гоголь сообщал о своих переговорах с откупщиком-миллионером Д. Е. Бенардаки относительного того, чтобы Нащокин стал воспитателем его сына.

Стр. 236. *«Статистику России».* — Точное название книги экономиста и критика В. П. Андросова — «Хозяйственная статистика России» (М. 1827).

Кошихин — Котошихин Григорий Карпович — подьячий Посольского приказа, в 1663 г. изменил родине и бежал в Швецию. Речь идет о его произведении «О России в царствование царя Алексея Михайловича», которое было обнаружено лишь в 30-х гг. XIX века и впервые опубликовано в 1840 г.

Стр. 337. *Повесть Гоголя «Портрет»* — впервые появилась в «Арабесках» в 1835 г. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» Белинский дал в общем суровую оценку этому произведению. «Портрет» — есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде» («Белинский о Гоголе», стр. 84). Во второй половине 30-х годов Гоголь начал коренную переработку «Портрета», завершенную весной 1842 г. и опубликованную в том же году в «Современнике» (т. XXVII, № 3). Вполне вероятно предположение, что переработку «Портрета» Гоголь осуществил под влиянием Белинского. Это подтверждается и характером переработки. Именно вторая часть, которая не понравилась Белинскому, была особенно серьезно переделана: существенно перестроена вся сюжетная канва, значительно ослаблен фантастический элемент. Однако общая концепция повести свидетельствовала об усилении в Гоголе идейных противоречий. В 1842 г. в статье «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя...» Белинский снова

возвращается к «Портрету», только что появившемуся в новой редакции. Он отмечает, что первая часть «стала несравненно лучше», но итоговая оценка повести остается отрицательной («Белинский о Гоголе», стр. 236).

Стр. 245. *Одно только лирическое место (стр. 58)...* — В рукописи С. Т. Аксакова здесь, повидимому, описка. Следует читать, очевидно, стр. 258 первого издания «Мертвых душ» (М. 1842). Речь здесь идет об известном лирическом отступлении в седьмой главе поэмы, в котором писатель обещает в будущем вернуться к своим героям, и тогда, по его словам, читатели «почуют в смущенном трепете гром других речей...»

в доказательство постоянного направления Гоголя. — Здесь неверное утверждение Аксакова, будто бы Гоголь всегда придерживался того направления идей, которое нашло свое выражение в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Подобного рода ошибки допускали и некоторые другие мемуаристы и биографы Гоголя, например Кулиш в своих «Записках». На это обратил внимание уже П. В. Анненков. В воспоминаниях «Гоголь в Риме летом 1841 г.» он писал: «Великую ошибку сделает тот, кто смешает Гоголя последнего периода с тем, который начинал тогда жизнь в Петербурге, и вздумает прилагать к молодому Гоголю нравственные черты, выработанные гораздо позднее, уже тогда, как свершился важный переворот в его существовании» («Гоголь в воспоминаниях современников», стр. 263).

Стр. 247. *Шевырев написал две, пишет еще третью статью.* — Две статьи С. П. Шевырева о «Мертвых душах» были напечатаны в 7-й и 8-й книжках «Московитянина» за 1842 г. Некоторые положения этих статей были кратко изложены в его обзоре: «Критический перечень произведений русской словесности за 1842 г.» («Москвитянин», 1843, № 1). Реакционная концепция Шевырева была неоднократно предметом резкой критики Белинского.

Стр. 249. *...Белинский... их далеко не понимает.* — Здесь следует подчеркнуть, что именно Белинский был первым критиком, правильно понявшим и оценившим идейное и художественное значение «Мертвых душ», как и всего творчества Гоголя.

Стр. 250. *Письмо это должно принадлежать к 1842 году.* — Выше Аксаков предположительно относит это письмо к январю 1843 г. В действительности оно относится к ноябрю 1842 г. (см. Полн. собр. соч., т. XII, стр. 616—617).

Стр. 251—252. *...памятником его царствования...* — Ныне эти строки Аксакова, конечно, могут быть восприняты лишь ирони-

чески. В действительности, лучшие произведения Гоголя беспощадно обличали феодально-крепостнический режим Николая I.

Стр. 252. *Позволите ли вы?* — Гоголь охотно разрешил эту перемену (см. наст. том, стр. 256.). С получением ответа Гоголя Щепкин и Живокини тотчас же обменялись ролями.

Стр. 253. *Мне тяжело смотреть на Щепкина...* — Когда Щепкин осенью 1844 г. приехал в Петербург на гастроли и выступал в «Женитьбе» (в роли Кочкарева), Белинский дал в общем высокую оценку, хотя и с серьезной оговоркой, его исполнению: «В роли Кочкарева (в «Женитьбе») он обнаруживает больше искусства, нежели истинной натуры; но тем не менее только его игра в этой роли показала петербургской публике, что за пьеса «Женитьба» («Белинский о Гоголе», стр. 288).

Кругель, Швохнев — персонажи «Игроков».

Стр. 254. *...полнейшее развитие «Тараса Бульбы» также...* — Речь идет о второй, окончательной редакции «Тараса Бульбы», значительно отличающейся в идейном и художественном отношении от первой, «миргородской» редакции (1835 г.).

Стр. 263. *Прокоповичу я поручил...* — Поручив вести дела по изданию своих сочинений в Петербурге Прокоповичу, Гоголь вызвал этим острое неудовольствие московских друзей. Этот шаг со стороны Гоголя объяснялся его стремлением хоть в какой-нибудь степени ослабить свою зависимость от «москвичей». Многие из них донимали Гоголя своими докучливыми просьбами поскорее издать второй том «Мертвых душ», работу над которым писатель считал еще далеко не завершенной. Кроме того, как уже отмечалось, Гоголя особенно возмущало поведение Погодина, который, в ответ на оказываемые писателю услуги, грубо понуждал его сотрудничать в «Московитянине», что послужило в конце концов причиной продолжительной ссоры Гоголя с Погодиным.

Стр. 265—266. *...напечатано было в «Москвитянине» извещение.* — Незадолго перед тем имела место другая выходка Погодина: когда Гоголь еще продолжал работать над окончательной редакцией «Женитьбы», в «Москвитянине» (1841, № 2) неожиданно появилось объявление, извещавшее, что «комедия «Женихи» в двух действиях давно готова». Было много и других актов самоуправства Погодина, необычайно возмущавших Гоголя.

Стр. 272. *...о которых он думал одинаково с нами.* — Что касается Белинского, то Гоголь относился к нему вовсе не так, разумеется, как Аксаков, Шевырев и Погодин.

Такую же сумму думал я занять у Д. <Свербеева>. — Фамилия Д. Н. Свербеева была, как установлено Л. Р. Ланским, вырезана из рукописи И. С. Аксаковым или П. И. Бартеневым и заменена инициалом Д., так как его жена, Е. А. Свербеева, в момент печатания «Истории моего знакомства с Гоголем» была еще жива (см .«Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 682).

Стр. 276. *Вероятно, его надо отнести к другому периоду.* — Это письмо относится к 1846 г. (Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 62—63).

Стр. 278. *...публичные чтения сочинений Гоголя.* — По инициативе М. С. Щепкина группа артистов начала в 1843 г. в Москве проводить вечера художественного чтения. Исполнялись преимущественно произведения Гоголя (см. отклик на эти чтения в статье Гоголя «Чтения русских поэтов перед публикою» (Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 233—234).

Стр. 279. *...рукописная статья Самарина.* — Имеется в виду не статья, а письмо к К. С. Аксакову, в котором Ю. Ф. Самарин излагал свой взгляд на «Мертвые души». Письмо было напечатано много лет спустя в «Русском архиве» (1880, № 2, стр. 298—302) и «Русской старине» (1890, № 2, стр. 421—425).

Стр. 284. *...по Глинкиной части...* — намек на религиозно-мистические настроения, которыми был в это время проникнут Ф. Н. Глинка.

«Твой Погодин. — На этом обрывается та часть рукописи «Истории моего знакомства с Гоголем», которую С. Т. Аксаков успел обработать и подготовить к печати.

Как уже отмечалось, С. Т. Аксаков предполагал довести «Историю моего знакомства с Гоголем» до 1852 г. Но автор не успел осуществить всего своего замысла. Первая часть мемуаров, законченная и подготовленная им к печати, обрывается на событиях 1843 г. Материалы второй части представляли собой разрозненные и не связанные между собой письма, выписки, заметки. Н. М. Павлов, первый публикатор «Истории моего знакомства», проделал значительную работу по подготовке к печати материалов ко второй части аксаковских мемуаров, собрав и в основном правильно организовав все сохранившиеся материалы. Во вступительной заметке ко второй части этих воспоминаний Н. М. Павлов перечислил те материалы, которые легли в основу второй части аксаковских мемуаров. К ним относятся: переписка Аксакова с Гоголем;

выписки из дневника старшей дочери автора, Веры Сергеевны, и выдержки из ее переписки с М. Г. Карташевской; различные черновые заметки и наброски — частью продиктованные и выправленные рукой Аксакова, а частью писанные им самим от начала до конца; переписка С. Т. Аксакова с членами своей семьи по поводу смерти Гоголя; наконец, предварительные наброски воспоминаний о Гоголе, сделанные самим Аксаковым для П. А. Кулиша, который использовал эти материалы в книге «Записки о жизни Гоголя». Эти напечатанные Кулишом отрывки — не очень ценные в той части, в какой они относятся к периоду до 1843 г. (поскольку это время полно отражено в первой половине аксаковских мемуаров), — представляют большой интерес в отношении последующего периода жизни Гоголя.

Первая публикация полного текста мемуаров Аксакова («Русский архив», 1890, № 8, одновременно — отдельным оттиском) оказалась и единственной до сих пор. Вторая часть никогда не перепечатывалась и стала библиографической редкостью. Между тем она содержит в себе ценные материалы, представляющие несомненный интерес не только для специалиста, но и для широкого читателя.

Вторая часть воспоминаний С. Т. Аксакова воспроизводится в настоящем издании почти в том виде, в каком она была напечатана в «Русском архиве», за исключением двух статей Аксакова («Письмо к друзьям Гоголя» и «Несколько слов о биографии Гоголя»), помещаемых в разделе «Статьи, рецензии, заметки». Письма, вошедшие во вторую часть аксаковских мемуаров, оказались напечатанными в издании «Русского архива» с гораздо большим количеством неисправностей, чем те, которые вошли в первую часть. Письма Аксакова, как и в первой части его воспоминаний, сверены с автографами, а письма Гоголя — с изданием: Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., АН СССР, тт. XII—XIV, а в некоторых спорных случаях — с автографами. Остальные материалы также сверены с первоисточниками.

Пояснительные заметки ко второй части воспоминаний, необходимые для связности изложения, набраны петитом.

В заключение отметим, что переписка Аксакова и Гоголя отнюдь не исчерпывается теми материалами, которые были подготовлены автором мемуаров и имелись в распоряжении Н. М. Павлова. За последние шестьдесят пять лет, прошедшие после публикации «Русского архива», выявлено немало новых документов, сущест-

венно дополняющих наше представление об истории взаимоотношений Гоголя и Аксакова.

Стр. 285. Это письмо Гоголя к Погодину относится к началу ноября 1843 г.

Стр. 286. *...вырвался я из домика на Девичьем поле.* — Гоголь имеет в виду свое пребывание у Погодина в последний приезд в Москву. Будучи в Москве, он обычно останавливался и жил у Погодина, в мезонине его дома на Девичьем поле.

Стр. 295. *«Подражание Христу»* — сочинение средневекового философа, мистика Фомы Кемпийского, написанное около 1441 г.; неоднократно выходило в русском переводе.

Стр. 302. *...невинные замечания, напечатанные в «Сыне отечества».* — Речь идет о статье К. Масальского о «Мертвых душах» («Сын отечества», 1842, № 6).

Стр. 305. *...о несчастии бедного Погодина.* — Речь идет о смерти жены Погодина.

...свою диссертацию. — Магистерская диссертация К. С. Аксакова «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» была опубликована в Москве в 1846 г. и защищена в 1847 г.

...вы знаете о Княжевиче? — Аксаков имеет в виду смерть Д. М. Княжевича.

Дело это должно остаться. — Суть дела состояла в следующем. Гоголь решил передать деньги, которые должны были быть выручены от продажи его «Сочинений», изданных в 1842 г., в фонд помощи нуждающимся одаренным студентам Петербургского и Московского университетов. Осуществление этой идеи поручалось Плетневу и Прокоповичу — в Петербурге, Шевыреву и Аксакову — в Москве.

Стр. 306. Письмо Гоголя по ошибке датировано 22 декабря. Об ошибке свидетельствует почтовый штемпель: «21 Dez. 1844».

Стр. 307. *Что я написал глуповатое письмо...* — Речь идет о письме от 16 мая 1844 г. (см. наст. том, стр. 299).

Стр. 314. *...большим письмом... об «Одиссее».* — Речь идет о статье В. А. Жуковского, посвященной переводу «Одиссеи» и напечатанной в форме «Отрывков из письма» («Москвитянин», 1845, № 1, стр. 37—42).

...относительно дел по книге и ее продаже — см. последнее примечание к стр. 305.

Стр. 319. *...напрасно они собираются писать ответ на письмо* — имеется в виду письмо Гоголя к Шевыреву от 14 декабря 1844 г. (см. последнее примечание к стр. 305).

Стр. 323. *Радонежье* — Абрамцево, подмосковное имение Аксаковых.

Стр. 325. *...началась у меня переписка с Александрой Осиповной.* — Переписка С. Т. Аксакова с А. О. Смирновой опубликована в «Русском архиве», 1896, кн. 1, стр. 142—160.

Стр. 327. *Он заговорил вновь... никогда не говорить мне.* — Шевырев усиленно убеждал Гоголя отказаться от его благотворительных замыслов, ссылаясь на то, что нужду в деньгах испытывает сам Гоголь, а также его мать. Все эти доводы решительно отметались Гоголем. В связи с этим он и предлагает ниже Аксакову, если Шевырев не изменит своей позиции, взять все дело в свои руки. Передача дела, впрочем, не состоялась ввиду того, что Шевырев в конце концов согласился выполнить поручение Гоголя.

Стр. 331. *Московской газеты* — имеются в виду «Московские ведомости», в 89-м номере которых (а не в 88-м, как сообщается в письме) за 1846 г. была напечатана статья Гоголя «Об «Одиссее», переводимой Жуковским», позднее вошедшая в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Статья эта, содержавшая в себе реакционные идеи, вызвала острую критическую оценку со стороны Белинского.

Стр. 332. *Отесенька... писал письмо к Плетневу...* — В этом письме, написанном в конце ноября 1846 г., Аксаков предлагал Плетневу не издавать «Выбранных мест» и обратиться к Гоголю с откровенным коллективным письмом, а если это не поможет — отказаться от выполнения его поручений («Русская старина», 1887, № 1, стр. 249—250). Плетнев отверг предложение Аксакова и выпустил в свет книгу Гоголя, идеи которой вполне разделял.

Стр. 333. *Мы получили верное и секретное известие из Петербурга.* — Это известие о том, что в Петербурге печатается книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», было получено, как это сейчас установлено, от Е. А. Свербеевой (см. «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 686).

«Предуведомление». — В 1846 г. Гоголь задумал осуществить в пользу бедных одновременно два издания (четвертое и пятое) «Ревизора» в Москве и Петербурге. К этим предполагавшимся, но так и не осуществившимся изданиям автор написал

специальное «Предуведомление», в котором призывал в христиански проповедническом тоне к широкой благотворительности.

Стр. 334. ... *были им отданы П. А. Кулишу* — см. П. А. Кулиш, «Записки о жизни Н. В. Гоголя», СПБ. 1856, т. II, стр. 95.

...а что он поколебался, это доказывается отменением некоторых распоряжений его, связанных с изданием «Ревизора с Развязкой». — В 1846 г. Гоголь написал «Развязку» «Ревизора», в которой пытался дать религиозно-нравственное истолкование своей гениальной комедии. Под давлением С. Т. Аксакова, Щепкина, отчасти и Шевырева Гоголь отменил свое прежнее распоряжение о напечатании «Ревизора» «в полном виде», то есть вместе с «Развязкою» (см. его письма к Плетневу и Шевыреву от 8 декабря 1846 г., Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 152—153).

Стр. 336. *Предисловие ваше ко второму изданию «Мертвых душ»* (М. 1846). — Это предисловие знаменовало собой резкое усиление в Гоголе симптомов духовного кризиса. Оно было сурово осуждено Белинским, заявившим в рецензии, напечатанной в первой книжке «Современника» за 1847 г., что оно «внушает живые опасения за авторскую славу в будущем» («Белинский о Гоголе», стр. 327). Любопытно, что это выступление Белинского о втором издании «Мертвых душ» было высоко оценено С. Т. Аксаковым. 11 января 1847 г. он писал сыну Ивану: «...в первом номере «Современника» я выслушал только две статьи Белинского: о русской литературе (имеется в виду статья «Взгляд на русскую литературу 1846 года». — *С. М.*) и втором издании «Мертвых душ». С обеими статьями я совершенно согласен, они мне очень нравятся» («Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 696).

Стр. 337. *Брамбеус торжественно и печатно объявил, что новый Гомер впал в мистицизм* — имеется в виду статья Сенковского, напечатанная в «Библиотеке для чтения», 1847, т. 80, Литературная летопись, стр. 42—50.

Этой тайны не знают даже наши семейства — см. примеч. к стр. 305.

...каким образом Щепкин... увенчает сам себя каким-то венцом. — М. С. Щепкин был выведен в «Развязке» в качестве действующего лица. Как и Аксаков, Щепкин резко протестовал против попытки Гоголя исказить собственное произведение и требовал от него отменить свое распоряжение ставить «Ревизора» вместе с «Развязкой». 22 мая 1847 г. он писал Гоголю: «...прочтя ваше окончание «Ревизора», я бесился на самого себя, на свой близо-

рукий взгляд, потому что до сих пор я изучал всех героев «Ревизора», как живых людей... я так свыкся с городничим, Добчинским и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще — это было бы действие бессовестное. Чем вы их мне замените? Оставьте мне их как они есть... Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился» (М. С. Щепкин, Записки. Письма. М. 1952, стр. 202).

Стр. 340. *...а просто уничтожило на некоторое время.* — Это письмо И. С. Аксакова от 11 января 1847 г., которое так взволновало С. Т. Аксакова, представляло собой откровенную апологию «Выбранных мест». И. С. Аксаков писал, что в своей книге Гоголь предстает «как идеал художника-христианина» («Иван Сергеевич Аксаков в его письмах», ч. I, т. I, М. 1888, стр. 406—408).

Стр. 341. *Я никогда не прощу ему выходок на Погодина.* — В четвертой главе «Выбранных мест», озаглавленной «О том, что такое слово», содержалось несколько гневных и справедливых строк о Погодине: «Приятель наш П<огоди>н имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно, или к бесчестью его... он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им все, чего ни набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом—выказывал перед читателем себя всего, во всем своем неряшестве... Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек... И ни один человек не сказал ему спасибо; ни одного признательного юноши я не встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным стремленьем к добру, которое бы внушило его слово...» (Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 230—232). Эти строки взбудоражили всех «московских друзей». Шевырев назвал поступок Гоголя «нехорошим» и ультимативно сообщил, что он отказывается хлопотать о втором издании «Выбранных мест», если не будет в них уничтожено все, компрометирующее Погодина («Отчет императорской публичной библиотеки за 1893 год», стр. 42, 44). С. Т. Аксаков, ранее не раз возмущавшийся неблаговидным поведением издателя «Москвитянина» в отношении Гоголя, на этот раз присоединился к хору голосов, выступивших в защиту Погодина.

Стр. 341. *...где эстамп «Преображения господня» так и ложится рядом с его портретом.* — «Преображение господне» — знаменитая картина Рафаэля. Аксаков имеет в виду то место из «Завещания» Гоголя, где он высказывает надежду, что люди, «которые имеют достаток, станут вместо портрета» его «покупать самый эстамп «Преображения господня» (Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 223).

Стр. 342. *Шевырев даже хочет напечатать беспощадный разбор его книги* — в действительности же статья Шевырева о «Выбранных местах» носила иной характер. Одобряя в целом книгу Гоголя, он утверждал, что она вышла «из доброго и чистого источника». Шевырев убеждал Гоголя в том, чтобы он не ограничился тем, что высказал свои новые идеи в форме «поучительных писем и размышлений», но постарался бы воплотить их в художественном произведении («Москвитянин», 1848, № 1, Критика, стр. 1—29).

Стр. 344. *Прилагаю письмо Д. Н. Свербеева.* — Письмо Д. Н. Свербеева Гоголю, о котором идет речь, см. в книге: В. Шенрок, Материалы для биографии Гоголя, т. IV, М. 1898, стр. 519—523. В этом письме содержалась критика «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Стр. 347. *Поблагодарите также и милую супругу его за ее письмецо.* — Речь идет о письме Екатерины Александровны Свербеевой; оно также напечатано в «Материалах» В. Шенрока, т. IV, стр. 524—525.

Стр. 352. *...из Франкфурта от 10 июня.* — Речь идет о письме Гоголя, ошибочно помеченном этой датой; в действительности же письмо было написано 10 июля 1847 г.

Стр. 353. *Первое большое письмо мое (кажется, от 12 января)...* — Аксаков запамятовал; очевидно, речь идет о его письме от 9 декабря 1846 г. (см. наст. том, стр. 334).

Стр. 354. *...письмо же ваше к кн. Львову обрадовало еще более.* — В этом письме, датированном 20 марта 1847 г., Гоголь по существу высказывал, хотя и с оговорками, отрицательное отношение к своим «Выбранным местам из переписки с друзьями» (Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. XIV, стр. 263—265).

Стр. 359. *...если бы вы стали диктовать кому-нибудь воспоминания прежней жизни вашей и встречи со всеми людьми...* — Это предложение Гоголя содействовало созданию многих произведений Аксакова и прежде всего — «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука».

Стр. 361. *...положим хоть бы написаньем записок жизни вашей* — см. примеч. к стр. 359.

Стр. 363. *...вы получите драму Константина.* — Речь идет о драме К. Аксакова «Освобождение Москвы в 1612 году» (М. 1848).

Стр. 364. *Эту статью вмещу я в письмо к вам и непременно пришлю ее. Завтра же начну писать.* — Ни статья Аксакова, ни его письмо не сохранились.

Стр. 365. *...начну писать другую книжку: «Об охоте с ружьем».* — Речь идет о «Записках ружейного охотника», появившихся в Москве в 1852 г. Упоминаемые выше «Записки об уженье» были опубликованы в 1847 г. (обе книги см. в т. 4 наст. изд.

Стр. 370. Рассказ С. Т. Аксакова извлечен из книги П. А. Кулиша «Записки о жизни Гоголя», т. II, стр. 222—224.

Стр. 371. Воспоминание Аксакова см. в указанной книге Кулиша, т. II, стр. 228—230.

Стр. 373. *...рассказ об Александре Петровиче* — учителе Тентетникова.

Стр. 376. *Продолжаете ли записки?* — «Записки ружейного охотника».

Стр. 382. Воспоминание Аксакова извлечено из «Записок» Кулиша, т. II, стр. 254.

Оптина пустынь — мужской монастырь в Козельском уезде, Калужской губернии.

Посылаю с Иваном половину моих записок... — см. примеч. к стр. 365.

Стр. 383. Воспоминание Аксакова извлечено из «Записок» Кулиша, т. II, стр. 255.

Стр. 388. *...писал к обоим этим Петровичам* — М. П. Погодину и С. П. Шевыреву.

...в известной книге... — в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ

Критическое наследие С. Т. Аксакова не очень велико по объему. Но в различные периоды своей жизни, и особенно в 20-х и начале 30-х гг., он охотно выступал в роли критика, чаще всего — театрального. Аксаков был постоянным театральным обозре-

вателем «Вестника Европы», «Московского вестника», «Галатеи» и «Молвы». Особенно близкими были отношения Аксакова с «Московским вестником». В конце 1827 г. он писал: «...с издателем «Московского вестника» М. П. Погодиным и сотрудником его С. П. Шевыревым я познакомился и сблизился очень скоро. Я даже предложил Погодину писать для него статьи о театре с разбором игры московских актеров и актрис» (Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. II, СПБ, 1889, стр. 271). С начала следующего года редкая книжка «Московского вестника» выходила без театральной статьи или рецензии Аксакова. В середине 1828 г. по инициативе Аксакова было создано специальное «Драматическое прибавление», в котором он участвовал не только как автор, но и как редактор. Об этом свидетельствуют примечания, которыми Аксаков сопровождал чужие статьи. Любопытен характер этих примечаний, подписанных буквами Л. Р. Т. (т. е. Любитель Русского Театра). Это был один из известных псевдонимов С. Т. Аксакова. Например, в рецензии на постановку комедии Загоскина «Благородный театр» автор, скрывшийся за буквой N., указывает на прекрасную игру Щепкина в роли Любского. К этому месту Аксаков дает примечание: «В отношении к последнему представлению похвала сия может быть и совершенно справедлива. Это тем более делает чести г. Щепкину, что в первые представления строгий и внимательный зритель очень мог заметить: как высказывался иногда в Любском старый приятель Транжирина — Богатонов; мог заметить излишний крик, излишнее движение рук, изредка малороссийское произношение буквы «г» («Драматическое прибавление к Московскому вестнику», 1828, № V, стр. 4).

В той же рецензии, в связи с положительной оценкой игры Третьякова в роли Волгина, Аксаков дает еще одно примечание: «Г-н Третьяков, по нашему мнению, не только понял, но и выполнил эту роль превосходно» (там же, стр. 51). В другой рецензии — на постановку комедии А. А. Шаховского «Аристофан» — указывалось, что Мочалов играл в заглавной роли крайне неудачно. К этому рассуждению следует примечание Аксакова: «Справедливость требует сказать, что г. Мочалов прежде игрывал Аристофана прекрасно; в этом представлении мы не были» («Московский вестник», 1828, №№ 19—20, «Драматическое прибавление», №№ 7—8, стр. 384).

Аксаковские примечания носят явно редакторский характер, уточняя те или иные положения статьи или полемизируя с ними.

Подобное вторжение в чужой текст могло быть позволено, разумеется, не рядовому сотруднику журнала, а человеку, наделенному редакторскими полномочиями. Нельзя забывать, что эти полномочия Аксаков должен был выполнять негласно, ибо в это время он цензуровал «Московский вестник».

Таким образом, Аксаков не просто сотрудничал в «Московском вестнике», но был фактическим руководителем его театрального отдела.

В 1829 г. у издателя «Московского вестника» Погодина родился план преобразования журнала. В связи с реорганизацией цензурного ведомства Аксаков с декабря 1828 по май 1830 г. оказался не у дел. Он был причислен к департаменту министерства народного просвещения «для особых поручений» и никаких цензорских обязанностей не выполнял. В это-то время у Погодина и возникла мысль о привлечении Аксакова к изданию журнала. 13 августа 1829 г. Погодин писал в Италию Шевыреву: «Теперь в Москве принимаюсь за работу... «Вестник» передаю Дмитриеву и Аксакову; сам беру на себя историческую часть» («Русский архив», 1882, кн. III, № 5, стр. 98). Несколько месяцев спустя, 7 января 1830 г., Погодин записывает в своем Дневнике: «Издавать «Московский вестник» по прежнему плану, при нем «Нимфу» с ста четырьмя картинками и «Бич», полемическое прибавление. Согласились с Надеждиным и выпили в честь зачатия. Пригласить Михаила Дмитриева, Аксакова. Убьем всех» (Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. III, СПБ. 1890, стр. 77).

Аксаков с энтузиазмом откликнулся на предложение Погодина. 30 сентября 1829 г. он сделал характерную приписку в письме Погодина к Шевыреву: «Да здравствует и да увенчается полным успехом «Московский вестник». Он был и будет единственным журналом с благородною целию» («Русский архив», 1882, кн. III, № 5, стр. 115).

Плану Погодина, однако, не суждено было сбыться. Начавшиеся нелады внутри редакции, уход из журнала Пушкина, недостаточное количество подписчиков (к началу 1830 г. их осталось 250 человек) — все это запутало и расстроило дела «Московского вестника», превратившегося под конец в специально историческое издание. В исходе 1830 г. «Московский вестник» вместе с несколькими другими московскими журналами прекратил существование.

В начале 30-х годов деятельность Аксакова, в качестве театрального критика, сосредоточилась в «Молве». Эта почти

неизвестная до сих пор страница аксаковской биографии представляет значительный интерес.

После неудачи с реорганизацией «Московского вестника» у Погодина и его друзей возникла мысль о создании нового журнала. Об этом новом плане Погодин сообщал Шевыреву еще 27 января 1830 г. Речь шла о том, чтобы с будущего года начать совместно с Надеждиным издание двухнедельного журнала «Фонарь» с тремя прибавлениями: а) «Русалка» (или «Нимфа») — два раза в неделю, с картинками мод, под редакцией А. Ф. Томашевского; б) «Литературная расправа» (или «Меч и щит») — с полемикой, «полнейшей библиографией», раз в неделю и в) «Московская вестовщина» — «нравы и театр», раз в неделю. Редактором двух последних прибавлений предполагался Аксаков. «Издание окупается 600 подписчиков, — замечает далее Погодин, — остальное делится между нами четырьмя и тобою пятым» («Русский архив», 1882, кн. III, № 6, стр. 129).

Таким образом, новый журнал был задуман как коллективное издание, одним из равноправных участников которого должен был быть Аксаков. Вместо «Фонаря» журнал получил название «Телескоп», вместо трех прибавлений — начало выходить одно: «Молва». Официальным издателем журнала стал Н. И. Надеждин. Именно он был наибольшим энтузиастом нового издания. 18 июня 1830 г. Погодин записал в Дневнике: «К Акс., с Надоумкой (псевдоним Надеждина — *С. М.*) недостойным о журнале. Ему очень хочется издавать, а я — похолоднее» (Л. Б., д. 231, 38, 5, л. 32).

Хотя «Телескоп» стал «журналом Надеждина», как сообщал Погодин Шевыреву, но имелось в виду, что фактическими его соиздателями будут Погодин, Томашевский и Аксаков. Погодин брал в свое заведование «историческую часть», а Аксаков — театр. 12 мая 1830 г. Аксаков писал Шевыреву: «Что вы думаете о нашем предприятии насчет журнала? Правда, вы не знаете Надеждина; это драгоценный камень, но черт знает, не лопнет ли он от шлифовки, выдержит ли грань? Вдобавок мы все четверо не журналисты. Впрочем, я не отвергаю успеха и охотно буду действовать, если должность не помешает» («Русский архив», 1878, кн. II, № 5, стр. 52).

Но должность помешала. Обстоятельства сложились таким образом, что Аксакову, вернувшемуся после полуторагодичного перерыва к исполнению цензорских обязанностей, пришлось отказаться от роли соиздателя журнала. Совмещать ее со службой

в цензурном комитете оказалось и неудобным и невозможным. Когда в 1831 г. произошел скандал из-за статьи Надеждина «Современное направление просвещения» — программной статьи, которой открывалась первая книжка «Телескопа» и которая была признана московскими властями статьею «скверного направления»,— Аксаков, в качестве цензора, в специальном рапорте на имя Бенкендорфа всячески выгораживал «Телескоп» и его издателя и при этом рассказал историю возникновения этого журнала: «Вот моя искренняя исповедь. Уже год тому назад (в это время я не был еще вторично определен цензором) гг. Погодин, Надеждин, Томашевский и я решились издавать журнал для доставления публике не только приятного, но и полезного чтения, для распространения благонамеренной любви к просвещению и для оппозиции некоторым журналам, особенно «Телеграфу», которого дух, направление и невежество в науках мы считали и считаем вредными во всех отношениях». И далее, касаясь причин своего неучастия в издании «Телескопа», Аксаков продолжает: «Меня определили цензором, и по моему образу мыслей я счел за неприличное участвовать в издании журнала: ибо должность моя имела влияние на типографии и книгопродавцев. Я отстранился, но трое моих прежних товарищей привели в исполнение общее наше намерение, и «Телескоп» издается с 1831 г.» («Русский архив», 1898, № 5, стр. 89—90).

Формально «отстранившись» от участия в соиздании «Телескопа» и «Молвы», Аксаков принимал, однако, деятельное участие в «Молве» в качестве автора и, более того, главного автора (по крайней мере в первые два года) ее театрального отдела. Само собой разумеется, что сотрудничество Аксакова в «Молве» в 1831 г. было тщательно законспирировано. Все его статьи печатались без подписи. И лишь в 1832 г., после увольнения из цензуры, он стал выступать открыто, подписывая статьи своими инициалами. Отсюда и возник в 50-е гг. один из многочисленных псевдонимов Аксакова — «Сотрудник «Молвы» 1832 года». Это был единственный год, когда Аксаков выступал в «Молве», не скрывая своего имени. Активно участвовал же он в этом издании не только в 1832, но и в 1831 г. Есть немало оснований полагать, что и после 1832 г. его сотрудничество здесь не прекратилось.

Театрально-критические статьи Аксакова свидетельствуют о том, что еще задолго до того, как Аксаков сформировался как выдающийся художник-реалист, он тяготел к искусству, которое глубоко отражало бы правду жизни. Театральная эстетика Аксакова,

хотя и не лишенная противоречий, содержала в себе новаторские идеи. Молодой критик воевал против эпигонов классицизма и тех мертвых канонов старой театральной школы, которые они отстаивали. Он стремился к национально-самобытному искусству, «простому» и «натуральному», которое было бы понятно и близко народу. Едва ли не первым в театральной критике Аксаков оценил принципиальное, новаторское значение игры Щепкина и Мочалова. С поразительной чуткостью он понял, что будущее русского сценического искусства связано с теми принципами игры, которые утверждали своим творчеством Мочалов и особенно Щепкин (см. вступительную статью к т. 1 наст. изд.).

На статьях Аксакова лежит печать его индивидуальности. В своих критических выступлениях он не тяготел к широким теоретическим обобщениям, хотя и не игнорировал их. Его интерес преимущественно сосредоточен на конкретном разборе спектакля. Замечательная особенность его статей — в скрупулезном, точном и тонком анализе актерской игры, спектакля в целом, в умении глубоко понять театральное представление с точки зрения требований жизненной правды. Свои наблюдения Аксаков чаще всего выражает в форме коротких рецензий или заметок-обозрений, в которых с заботливостью друга, с требовательностью критика и режиссера разбирает все мельчайшие подробности спектакля. От его внимательного, острого взгляда не ускользает ничего — он фиксирует неточный жест актера или неверную интонацию в произношении фразы, мелкую ошибку в костюме или нетвердое знание роли в какой-нибудь даже крохотной реплике. Особенно заботился Аксаков о том, чтобы актер правильно понимал свою роль, чтобы он был способен раскрыть характер того образа, который он воплощает. Известно, что в те времена режиссура спектакля была чрезвычайно слаба и единое художественное руководство нередко и вовсе отсутствовало, — в этих условиях статья, рецензия, заметка Аксакова оказывали актеру неоценимую практическую помощь.

Чрезвычайно интересно свидетельство одного из современников: «Аксаков стоял на каком-то пьедестале. Не имея никаких прав и служебной силы по театру... Аксаков раздавал славу актерам и определял достоинства пиес» (М. А. Дмитриев, Воспоминания, Л.Б., ф. Музейный, М. 8184/I, ч. II, л. 13). И в другом месте, говоря о молодых годах Аксакова, тот же автор замечает, что он, Аксаков. «имел в отношении к литературе и тогда большое достоинство — именно: строгий вкус и чрезвычайную вер-

ность в оценке литературных произведений. Стихотворения или драматические пиесы, прошедшие через его строгую цензуру, могли быть уверены или в своем достоинстве, или в вернейшем указании всех недостатков. В этих изустных критиках он обнимал в целом произведение и все его подробности от малейших оттенков и в худом и в хорошем (там же, л. 2).

Многие критические, а также публицистические статьи Аксакова никогда до сих пор не входили в его собрание сочинений. Иные из них, затерянные в современных писателю журналах и газетах, не были даже выявлены, например статьи, опубликованные в «Молве». Вместе с тем в собрание сочинений Аксакова включались статьи и заметки, ему не принадлежащие. Несколько таких заметок, ошибочно приписанных Аксакову, помещены и в недавно вышедшем сборнике «Павел Степанович Мочалов» («Искусство», 1950, стр. 121—124).

Театрально-критическое и публицистическое наследство Аксакова отнюдь не исчерпывается материалами, собранными в настоящем томе. С одной стороны, некоторые малозначительные критические заметки не включены в него, а с другой — последующие розыски в архивах и в современной писателю периодической печати, несомненно, могут обогатить эту часть наследия Аксакова новыми текстами.

Несмотря на то, что отдельные помещаемые здесь рецензии и заметки посвящены, казалось, частным вопросам, в своей совокупности они, однако, дают достаточно яркое представление о процессе формирования эстетической мысли Аксакова, о ее общем направлении и развитии, а кроме того — содержат в себе ценный материал для суждений о различных явлениях русского театра первой половины XIX века.

Хотя некоторые оценки в литературно-критических статьях Аксакова не выдержали испытания временем и устарели, но все же эти статьи в целом не потеряли значения для современного читателя. Они прежде всего — памятник критической мысли давно минувшей эпохи. Но интерес к ним — не только исторический. В них содержится немало живых, плодотворных мыслей, а также полезный материал для характеристики различных явлений русской литературы и русского театра.

Тексты статей, рецензий и заметок Аксакова сверены с первоначальными журнальными публикациями, а в тех немногих случаях, когда они перепечатывались автором — даются по последним прижизненным изданиям.

ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ «ВЕСТНИКА ЕВРОПЫ» <О ПЕРЕВОДЕ «ФЕДРЫ»>

Впервые напечатано в «Вестнике Европы», 1824, № 1, стр. 40—53. Подписано: *С. А.*

Стр. 391. Трагедия Расина «Федра» в переводе М. Лобанова была впервые поставлена на петербургской сцене 9 ноября 1823 г. и в том же году вышла из печати.

«Ифигения в Авлиде» — трагедия Расина, пер. М. Лобанова.

МЫСЛИ И ЗАМЕЧАНИЯ О ТЕАТРЕ И ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Впервые напечатано в «Вестнике Европы», 1825, № 4, стр. 298—305 за подписью: *С. А—в.*

Стр. 403. *Полиник, Эдип* — герои трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афинах», *Магомет* — герой одноименной трагедии Вольтера.

НЕКРОЛОГИЯ <А. И. ПИСАРЕВА>

Впервые: «Московский вестник», 1828, № 6, стр. 238—240, за подписью: *А—в.*

Стр. 404. *Он родился...* — Биографические сведения об А. И. Писареве (год и место рождения) здесь неточны. См. правильные данные, сообщаемые Аксаковым в «Литературных и театральных воспоминаниях» (наст. том, стр. 143).

Стр. 405. *Талия* — в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, покровительница комедии. *Мельпомена* — муза, покровительствующая трагедии.

ОПЕРА «ПАН ТВЕРДОВСКИЙ»

Впервые: «Атеней», 1828, ч. III, № 10, стр. 225—235, за подписью: *Любитель русского театра.*

Придавая большое значение «Пану Твердовскому» в истории русской оперы, Аксаков трижды на протяжении полугода выступил в печати с оценкой этого произведения. Настоящая статья, до сих пор неизвестная и нигде не учтенная, является первым из трех откликов С. Т. Аксакова на оперу А. Н. Верстовского. Принадлежность статьи Аксакову не вызывает никаких сомнений. Она

подписана псевдонимом, которым никто, кроме Аксакова, не подписывался и тем более не мог подписаться в журнале, к которому сам Аксаков имел непосредственное отношение в качестве цензора.

В «Литературных и театральных воспоминаниях» Аксаков рассказал о том, как он побуждал Верстовского создать русскую оперу. Для этой цели он сам принялся было даже писать либретто, написал первый акт, начал второй... но, загруженный обязанностями цензора, работу до конца не довел. «Я убедил Загоскина... — вспоминает он в тех же мемуарах, — сочинить либретто для Верстовского, и он... принялся писать оперу «Пан Твердовский» (наст. том, стр. 123). Загоскин частично использовал написанную Аксаковым цыганскую песню.

Стр. 406. *...один из первых русских комиков* — имеется в виду М. Н. Загоскин.

Стр. 413. *...мая 29 дня 1828 года.* — В журнальном тексте под статьей ошибочно обозначен 1826 год.

НЕЧТО ОБ ИГРЕ Г-НА ЩЕПКИНА...

Впервые: «Московский вестник», 1828, № 11, стр. 333—337, за подписью: *Любитель русского театра.*

Стр. 414. *«Эзоп»* — «Притчи, или Эзоп у Ксанфа» — комедия-водевиль А. А. Шаховского.

«Чванство Транжирина» — имеется в виду неизданная комедия А. А. Шаховского «Чванливый Транжирин, или Следствие полубарских затей».

Стр. 416. *«Урок старикам»* — комедия французского драматурга К. Делавиня.

«ПАН ТВЕРДОВСКИЙ»

Впервые: «Драматическое прибавление к «Московскому вестнику», 1828, № 1, стр. 10—13, за подписью: *Любитель русского театра.* Это одна из трех частей коллективной рецензии на постановку в Москве оперы А. Н. Верстовского «Пан Твердовский». Остальные две части рецензии были подписаны буквами «S» (С. П. Шевырев) и «М» (Н. А. Мельгунов).

«ОТЕЛЛО, ИЛИ ВЕНЕЦИАНСКИЙ МАВР»

Впервые: «Драматическое прибавление к «Московскому вестнику». 1828, № II, стр. 1—8, за подписью: *Любитель русского театра.*

ОПЕРА «ПАН ТВЕРДОВСКИЙ» И «ПЯТЬ ЛЕТ В ДВА ЧАСА, ИЛИ КАК ДОРОГИ УТКИ»

Впервые: «Драматическое прибавление к «Московскому вестнику», 1828, № III, стр. 1—8, за подписью: *Любитель русского театра.*

«ПОЖАРСКИЙ». «КОРОЛЬ И ПАСТУХ»

Впервые: «Драматическое прибавление к «Московскому вестнику», 1828, № IV, стр. 1—8, за подписью: *Любитель русского театра.*

«БАТЮШКИНА ДОЧКА». «ДЯДЯ НАПРОКАТ». «ПРАЗДНИК ЖАТВЫ»

Впервые: «Драматическое прибавление к «Московскому вестнику», 1828, № V, стр. 7—14, за подписью: *Л. Р. Т.* (т. е. Любитель Русского Театра).

1-е ПИСЬМО ИЗ ПЕТЕРБУРГА К ИЗДАТЕЛЮ «МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА»

Впервые: «Московский вестник», 1828, № 19—20, стр. 378—380, за подписью: *Л. Р. Т.*

2-е ПИСЬМО ИЗ ПЕТЕРБУРГА К ИЗДАТЕЛЮ «МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА»

Впервые: «Московский вестник», 1828, № 21—22, стр. 148—154, за подписью: *Л. Р. Т.*

Это «Письмо» принадлежит к числу самых замечательных выступлений Аксакова — театрального критика. Много лет спустя о нем вспомнил в своей знаменитой статье «Мочалов в роли «Гамлета» (1838) Белинский: «Все это мы говорим отнюдь не для того, чтобы поднять Мочалова: его талант, этот, по выражению одного литератора, самородок чистого золота...» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. II, АН СССР, М. 1953, стр. 303). Здесь имеются в виду следующие строки из «Письма» Аксакова: «Это золото, еще в горниле неочищенное; алмаз в коре, еще неограненный» (наст. том, стр. 450).

ПИСЬМО В ПЕТЕРБУРГ
<О ФРАНЦУЗСКОМ СПЕКТАКЛЕ В МОСКВЕ>

Впервые: «Галатея», 1829, № 2, стр. 104—108, за подписью: *А—в.*

«Письмо» Аксакова вызвало «Антикритику», подписанную буквой В*** (Василий Ушаков) и напечатанную в «Галатее», 1829, № 4. Полагая, что «частное суждение г. А...ва об актерах, составляющих французскую труппу, довольно справедливо» и что «г. А...в судил как человек сведущий», автор «Антикритики» считает, однако, что Аксаков в своих оценках французского театра «судил слишком скоро и по одному спектаклю, а может быть, и с некоторым предубеждением против галломанов, что весьма простительно для русского».

В. А. Ушаков был близким сотрудником Н. Полевого, в середине 30-х гг. эволюционировал вправо и стал писать для реакционной «Северной пчелы».

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». «ВОРОЖЕЯ, ИЛИ ТАНЦЫ ДУХОВ»

Впервые: «Галатея», 1829, № 3, стр. 165—170, за подписью: *С. А—в.*

«ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ ВОЛКОВ...» «МЕХАНИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ»

Впервые: «Галатея», 1829, № 5, стр. 282—286, за подписью: *С. А—в.*

Одно место в этой рецензии (конец первого абзаца) напечатано в «Галатее» неисправно и в таком виде воспроизведено в т. IV Полн. собр. соч. С. Т. Аксакова (СПБ. 1886). Между тем в следующей, шестой книжке «Галатеи» редакция дала поправку с ссылкой на рукопись Аксакова.

Стр. 460. *О другом Михеиче сказать этого еще нельзя* — намек на издателя «Московского телеграфа» Н. А. Полевого. *Михеич* — Фаддей Михеевич Михеев — образ невежды в водевиле А. Шаховского «Федор Григорьевич Волков, или День рождения русского театра». Примечание, несомненно, принадлежит С. Т. Аксакову.

ОТВЕТ НА АНТИКРИТИКУ Г-НА В. У.

Впервые: «Галатея», 1829, № 6, стр. 347—348, за подписью: *С. Аксаков.*

Эта полемическая заметка, как явствует из ее содержания, вызвана «Антикритикой» В. У. (Ушакова), напечатанной в «Московском телеграфе», 1829, № 1, стр. 142—144, с таким подзаголовком: «О замечаниях г-на С. А—ва в № 3-м «Галатеи». Статья Ушакова содержала грубые выпады против Аксакова, взявшего, по словам критика «Московского телеграфа», «на откуп раздачу театральной славы».

Чрезвычайно интересно, что позиция Аксакова в полемике с Ушаковым была публично поддержана М. Щепкиным и П. Мочаловым. В той же шестой книжке «Галатеи» вслед за «Ответом» Аксакова было помещено открытое письмо к издателю «Галатеи» за подписями обоих артистов:

«Покорнейше просим г. издателя «Галатеи» напечатать в своем журнале, что мы, артисты императорского Московского театра, никогда не говорили г-ну В. У. и никому о неуважении нашем к замечаниям г-на Аксакова и просим его, В. У., не вмешивать нас в свои антикритики. Напротив, мы *все* замечания об игре актеров уважаем и читаем со вниманием и благодарностию.

М. Щепкин.
П. Мочалов.

1829 года. Февраля 4 дня.

P. S. Мы уверены, что и другие товарищи наши не имеют такого излишнего самолюбия».

«РАЗБОЙНИКИ»

Впервые: «Галатея», 1829, № 7, стр. 46—48, за подписью: *С. А—в.*

«КАМЕНЩИК».
И «ПРАЗДНИК КОЛОНИСТОВ БЛИЗ СТОЛИЦЫ»

Впервые: «Галатея» 1829, № 8, стр. 104—106, за подписью: *С. А—в.*

ПОСЛЕДНИЙ ОТВЕТ Г-НУ ПОД ФИРМОЮ «В. У.»

Впервые: «Галатея», 1829, № 9, стр. 166—167, за подписью: *С. А—в.*

Эта заметка Аксакова является продолжением полемики с критиком «Московского телеграфа» Василием Ушаковым (см. наст. том,

стр. 462, «Ответ на антикритику г-на В. У.»). В. Ушаков поместил в «Московском телеграфе» (1829, № 2, стр. 294—299) новую статью: «Ответ на ответ г-на С. Аксакова», в которой продолжал обвинять Аксакова в том, что тот пытается «присвоить себе исключительную привилегию быть судьею театрального дела». Ответом на эту заметку Ушакова и является настоящее выступление Аксакова.

Отметим лишь, что оно не исчерпало истории взаимоотношений между Аксаковым и Ушаковым. 12 мая 1830 г. Аксаков писал Шевыреву: «Друг Видока-Булгарина, его достойный Жермани из третьего действия «Жизни игрока» и наружностью и душою, одним словом Ушаков, написал на меня такой гнусный пасквиль за перевод «Скупого», которого я не желаю читать вам, ибо вы, любя меня, оскорбитесь. Если б не куча детей, то надобно бы драться с ним или просто бить его. И вдобавок, никто из журналистов ни слова!» (С. Т. Аксаков, Полн. собр. соч., т. III, СПБ. 1886, стр. 438). Аксакову случилось полемизировать с Ушаковым еще и в 1831 г., на страницах «Молвы» (см. наст. том, стр. 569—570).

Стр. 468. *...суждения... изложенные во 2-м письме из Петербурга* — см. в наст. томе, стр. 449—450.

ОТВЕТ Г-НУ Н. ПОЛЕВОМУ...

Впервые: «Галатея», 1829, № 9, стр. 168—169, за подписью: С. *А—в*.

Содержащийся в рецензии С. Т. Аксакова на постановку водевиля А. А. Шаховского «Федор Григорьевич Волков...» выпад против Н. Полевого, вызвал резкий отклик со стороны издателя «Московского телеграфа». Во второй книжке этого журнала за 1829 г. он выступил с антикритикой против Аксакова. Таким образом, в одном номере «Московского телеграфа» было напечатано два полемических выступления против Аксакова: В. Ушакова и Н. Полевого.

Настоящая полемическая заметка С. Т. Аксакова является ответом на антикритику Н. Полевого. Об отношениях Аксакова и Полевого см. выше, на стр. 703—704.

Стр. 471. *...приводит два последние стиха VIII сатиры* — имеются в виду стихи:

«Благодарю творца, что я в числе скотов!
Божусь, что человек глупее нас, ослов!»

«ИВАН ВЫЖИГИН»

Впервые: «Атеней», 1829, ч. II, № 9, стр. 298—324, за подписью: *Истома Романов.*

Принадлежность этой, неизвестной до сих пор, статьи С. Т. Аксакову подтверждается письмом М. П. Погодина к С. П. Шевыреву от 28 апреля 1829 г. Сообщая своему другу в Италию последние литературные новости, Погодин отмечает выход в свет романа Булгарина «Иван Выжигин» и вызванные им резкие критические отзывы: «Надеждин вооружается и говорит много дела между прочим, хотя и семинарским тоном. Теперь нападает он на «Выжигина» в «Вестнике Европы», *Аксаков поражает его же в «Атенее»*, а Кир<еевский> в «Галатее», а я скажу кое-что в 6 части «Вестника» («Русский архив», 1882, кн. III, № 5, стр. 80).

Стало быть, перед нами заранее спланированное, так сказать, фронтальное выступление московских критиков против Булгарина. Об участии Аксакова в этой кампании до сих пор ничего не было известно. Впрочем, из своего отношения к Булгарину и его клике Аксаков не делал никакого секрета. В 1831 г. Грёч недаром пожаловался попечителю московского учебного округа кн. Голицыну, в подчинении которого находилась цензура, на Аксакова — за то, что он в качестве цензора «одобряет к печатанию» в журнале «Телескоп» «самые гнусные и непозволительные ругательства» на Булгарина («Русская старина», 1903, № 2, стр. 322).

Девятая, майская, книжка «Атенея» со статьей Аксакова вышла в свет спустя несколько дней после письма Погодина. Повидимому, эта статья была ему известна еще в рукописи. Находясь в коротких отношениях с Аксаковым, Погодин был хорошо осведомлен о литературных планах своего друга, и, таким образом, достоверность его сообщения Шевыреву не может вызывать ни малейших сомнений.

Роман Булгарина «Иван Выжигин» обрел скандальную известность. Он вызвал шумную полемику в печати и множество толков, о которых был хорошо осведомлен Аксаков. 8 января 1830 г. А. А. Шаховской, например, сообщал Аксакову из Петербурга, что был накануне в гостях у Жуковского и встретил там Крылова, Пушкина, Гнедича. Шаховской рассказывает затем об одном эпизоде, словно предполагая особую заинтересованность в нем своего корреспондента: «После чтения и во время ужина начались суждения о Булгарине и новом журнале. «Иван Выжигин» был выжжен единогласно из русской словесности, а сочинитель его

объявлен мерзавцем со всеми своими собутыльниками и сидельниками («Русский архив», 1873, кн. I, № 4, стр. 473).

Происхождение псевдонима «Истома Романов», которым подписана статья Аксакова, не вполне ясно. Возможно, что он возник по ассоциации с одним из персонажей романа Загоскина «Юрий Милославский» — бояриным Андреем Никитичем Истома-Турениным. Правда, роман этот вышел в свет двумя — двумя с половиной месяцами позже опубликования статьи о «Выжигине» (цензурное разрешение «Юрия Милославского» — 19 июля 1829 г.), но, будучи близким приятелем Загоскина, Аксаков, конечно, был знаком с его романом еще в рукописи.

Настоящая статья Аксакова представляет большой интерес. Она расширяет наше представление о литературно-критической деятельности Аксакова и прибавляет несколько новых и притом ярких черт к характеристике его полемического стиля.

Стр. 473. *...с громогласными восклицаниями шумной радости и неукротимого восхищения* — речь идет о восторженном отзыве Н. Греча о романе «Иван Выжигин» («Северная пчела», 1829, № 37).

...радушным восторгом — поневоле — имеется в виду следующее рассуждение в рецензии Н. Греча: «За неимением других литературных журналов в Петербурге мы поневоле должны говорить друг о друге сами!» («Северная пчела», 1829, № 37).

...провозглашены педантами и безграмотными — имеется в виду замечание Н. Греча о том, что «непредубежденные читатели» примут книгу Булгарина «с удовольствием и благодарностью», а «надутые критики (педанты и безграмотные) будут бранить ее» («Северная пчела», 1829, № 37).

Стр. 476. *Жорж Данден* — герой одноименной комедии Мольера.

Стр. 480. *...во вкусе покойного «Пересмешника».* — «Пересмешник, или Славенские сказки», соч. М. Д. Чулкова, в 4 частях (СПБ. 1766—1768).

Стр. 484. *...издателей английского милорда Георга, храброго Полициона.* — Речь идет о сочинении Матвея Комарова «Повесть о приключении английского милорда Георга и о Бранденбургской маркграфине Фридерике Луизе» (1-е изд. — СПБ. 1782 — выдержало более тридцати изданий) и «Истории о славном рыцаре Полиционе, египетском царевиче, и прекрасной королевне Милитине и о сыне их...» в четырех частях (М. 1787).

<ОБ ИГРЕ АКТЕРА БРЯНСКОГО>

Впервые: «Галатея», 1829, № 20, стр. 247—251, за подписью: *С. А—в.*

«ОБРИЕВА СОБАКА». «ДИПЛОМАТ». «НОВЫЙ ПАРИС». «СЕМИК»

Впервые: «Галатея», 1829, № 26, стр. 268—272, за подписью: *С. А—в.*

Стр. 492. *«Обриева собака»* — мелодрама, перев. с французск. А. Шеллера.

«ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ, ИЛИ РУССКИЕ В 1612 ГОДУ»

Впервые: «Московский вестник», 1830, № 1, стр. 75—90, за подписью: *С. А—в.*

Перепечатано в книге «Разные сочинения С. Аксакова» (М. 1858), в «Приложениях», стр. 389—404. Воспроизводим текст этого последнего прижизненного издания.

Аксаков сопроводил «Приложения» короткой вступительной заметкой «От сочинителя», объясняющей мотивы, по которым автор решил перепечатать почти три десятилетия спустя несколько своих критических статей: «Прилагаемая статейка «О заслугах князя Шаховского в драматической словесности» <см. наст. том, стр. 520>, а равно и последующая за ней критика на «Юрия Милославского» могут иметь тот интерес для любознательного читателя, что представляют, так сказать, наглядным образом состояние критики вообще в 1830 году. Писавши о моих коротких приятелях по настоятельному их желанию, я предупреждал их заранее, что мои статьи будут беспристрастны, что (по крайнему моему разумению), похвалив хорошее, я непременно замечу недостатки. Оба говорили, что они именно того желают — и оба остались недовольны, особенно кн. Шаховской. Может быть, опасаясь показаться пристрастным, опасаясь, чтоб моих статьей не назвали дружескими панегириками, я впал в противоположную крайность: говоря о лирико-патриотических стихотворениях князя Шаховского, я выразился слишком резко. Разбирая же «Юрия Милославского» и обвиняя автора за слабый характер героя в романе, мне бы следовало вспомнить, что многие герои в романах Вальтер-Скотта не лучше Юрия Милославского и что мне не следовало подсмеиваться над ним. Главное достоинство

романа Загоскина — народность, русский дух, которым проникнуты многие действующие лица, были мною почти не замечены. Двадцатиосьмилетний промежуток в нашей литературе стоит целого века. Мои статьи служат тому убедительным доказательством для меня самого» («Разные сочинения С. Аксакова», М. 1858, стр. 379—380).

Нет нужды полемизировать с С. Т. Аксаковым относительно «народности» «Юрия Милославского». В иных случаях он словно сам с собой полемизирует. «Роман Загоскина, — писал Аксаков Шевыреву еще в 1830 г., — имеет большое достоинство: воображение, жизнь, теплоту и веселость, но часть художническая — в младенческом положении; глубины также нет» («Русский архив», 1878, № 5, стр. 50). Позднее, в других своих высказываниях, он еще ближе к исторической истине оценивал талант Загоскина. Вот что он, например, писал в 1846 г. сыну Ивану: «Загоскин читал новый выпуск своих «Москвичей» («Москва и москвичи». — *С. М.*): плохо, очень плохо, особенно когда он рассуждает, а не рассказывает. Мысли детские, допотопные, невежество непостижимое и неимоверная дерзость: желая уничтожить Гоголя, пишет о нравах в провинции, сидя на своем чердаке в Денежном переулке! Ему назначено умереть, не понюхав искусства. При всем усилии я не мог его похвалить. Это было особенно странно потому, что поутру он не находил слов, как похвалить мою статью, и кончил словами: «Ну, да я боюсь больше хвалить, чтоб ты из учтивости не стал меня хвалить ужо ввечеру». Я отвечал ему: «Ну, брат, на это не надейся», — оно так и случилось» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 10, лл. 29—29 об.).

Статья Аксакова о «Юрии Милославском» обратила на себя внимание Пушкина. В небольшой заметке о том же романе, вскоре появившейся в «Литературной газете», приведя примеры некоторых языковых и стилистических погрешностей, Пушкин упомянул о статье Аксакова: «Но сии мелкие погрешности и другие, замеченные в I № «Московского вестника» нынешнего года, не могут повредить блистательному, вполне заслуженному успеху «Юрия Милославского» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, 1949, т. 11, стр. 93).

•

РЕКОМЕНДАЦИЯ МИНИСТРА

Впервые: «Московский вестник», 1830, № 1, стр. 118—121, за подписью: *N*. Этот сатирический фельетон С. Т. Аксакова, никогда до сих пор не включавшийся в его собрание сочинений,

был напечатан в «Московском вестнике», в разделе «Нравы», вместе с двумя другими заметками, также, повидимому, принадлежащими перу Аксакова. «Рекомендации министра» было предпослано следующее примечание издателя журнала М. Погодина: «Издатель получил сии статьи при следующем письме: «Посылая, м. г., в объявленное Вами отделение вашего журнала *Нравы* три статьи, я спрашиваю Вас, можете ли вы напечатать некоторые статьи о злоупотреблениях, преимущественно тех, кои можно делать на полицейских местах. Прося у вас ответа печатного, имею честь и проч. Декабря 21. 1829». Благодаря вас за присланные статьи, уведомляю касательно прочих, что мы имеем законную цензуру, которая, разумеется, не пропустит непозволительного. В ободрение вам указываю еще на примеры негодяев полицейских, представленные в «Выжигине» и принятые благосклонно от высшего начальства. От себя скажу вам только, что, благодарный за общие замечания, я не потерплю личностей и не напечатаю ни слова из тех статей ваших, где их замечу. Ваш покорный слуга, *Издатель*».

Принадлежность фельетона С. Т. Аксакову была впервые отмечена Н. Барсуковым (см. «Жизнь и труды Погодина», т. III, СПБ. 1890, стр. 81—85).

Появление в печати фельетона Аксакова вызвало шумную реакцию в официальных кругах Москвы и Петербурга и угрожало автору серьезными последствиями. «Но все это видно, — писал Аксакову его отец Тимофей Степанович, — что ты себе наделал неприятелей своим невоздержанным сочинением критическим, а может быть, и другими разговорами» («Русский архив», 1894, № 9, стр. 134). Нависла угроза и над журналом и над его издателем. 19 февраля 1830 г. Погодин писал Шевыреву: «Мы ожидаем еще, чем это кончится для нас, т. е. меня, как издателя, и Аксакова, как сочинителя, который вызвался сам и объявил свое имя, когда стали спрашивать у меня. Надеемся, что не будет никакой неприятности. Я готов бы перенести ее, но боюсь за Аксакова. Впрочем, после его благородного вызова, да и по незначительности статьи нельзя ожидать ничего» («Русский архив», 1882. кн. III, № 6, стр. 134—135).

История со злополучным фельетоном вызвала полицейское дознание, и на Аксакова было заведено в III Отделении специальное «дело» (см. вступительную статью к т. 1, настоящего издания, стр. 28—30).

«ДОН КАРЛОС, ИНФАНТ ИСПАНСКИЙ». «ПОСЛАННИК»

Впервые: «Московский вестник», 1830, № 2, стр. 221—226, за подписью: *С. А.*

Стр. 508. *«Посланник»* — водевиль Скриба, пер. А. Таскина.

«ВНУЧАТНЫЙ ПЛЕМЯННИК...» «ЧУДНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И УДИВИТЕЛЬНОЕ МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПЬЕТРО ДАНДИНИ»

Впервые: «Московский вестник», 1830, № 3, стр. 325—331, за подписью: *С. А—в.*

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «МОСКОВСКОГО ВЕСТНИКА»

Впервые: «Московский вестник», 1830, № 6, стр. 201—204, за подписью: *А.* Перепечатано в книге «Разные сочинения С. Аксакова» (М. 1858), в «Приложениях», стр. 405—408 (см. выше примеч. к ст. о романе Загоскина «Юрий Милославский», стр. 750). Печатаем по тексту этого издания. В журнальном тексте статья помечена датой: «1830, марта 23».

Стр. 519. *...прозвище знаменитых друзей.* — Ксенофонт Полевой в своих «Записках о жизни и сочинениях Н. А. Полевого» так объясняет происхождение этого «прозвища»: «Слова *знаменитые друзья*, или просто: *знаменитые*, на условном тогдашнем языке имели особенное значение и произошли вот каким образом. В 1821 г. Н. И. Греч издавал «Сын отечества» вместе с Воейковым... Воейков переселился в Петербург и при посредничестве *друзей* умел сделаться товарищем Н. И. Греча... Воейков, сделавшись соиздателем «Сына отечества», выпрашивал у Жуковского, Пушкина, князя Вяземского и других известных писателей стихотворения для печатания в журнале, где в то же время завел войну с «Вестником Европы», и когда этот журнал на *своем* наречии объявил однажды, что *какой-то* журнал *взял на откуп* всех стихотворцев, Воейков с сладкою улыбкой отвечал: «Жалеем о несчастном журнале; а мы можем похвалиться, что *наши знаменитые друзья* украшают наш журнал своими бесподобными сочинениями». Это произвело общий взрыв насмешек и негодования, потому что Воейкова не любили, да он же оскорбил общее мнение, назвав *своими друзьями* знаменитых писателей, которые давали в журнал стихи свои не из дружбы к нему... Название *знаменитых друзей* и просто *знаменитых* стало смешным и сделалось вовсе не лестным эпитетом. Ближе всего означали этим словом писателей бездарных

или с маленьким дарованием, причислявших себя без всяких прав к литературным аристократам» («Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы» <Л. 1934>, стр. 153—154).

О ЗАСЛУГАХ КНЯЗЯ ШАХОВСКОГО В ДРАМАТИЧЕСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Впервые: «Московский вестник», 1830, № 11, стр. 230—237, за подписью: *С. А.* Перепечатано в книге «Разные сочинения С. Аксакова» (М. 1858), в «Приложениях», стр. 381—388 (см. выше примеч. к статье о романе Загоскина «Юрий Милославский», стр. 750). Печатаем по тексту этого издания.

РАЗГОВОР О СКОРОМ ВЫХОДЕ II ТОМА «ИСТОРИИ РУССКОГО НАРОДА»

Впервые: «Московский вестник», 1830, № 11, стр. 281—285, за подписью: *200—1* (это был один из псевдонимов С. Т. Аксакова).

Том I «Истории русского народа» Н. Полевого вышел из печати в 1829 г. Полемически направленный против концепции «Истории государства Российского» Карамзина, труд Полевого вызвал вокруг себя острые споры. Настоящая заметка Аксакова отражает отношение части русской журналистики к Полевому и его «Истории». О своих отношениях с Полевым Аксаков рассказал в «Литературных и театральных воспоминаниях».

Стр. 526. *...пресловутого объявления об «Истории русского народа», напечатанного при 80-м нумере «Московских ведомостей» в 1829 году.* — Текст этого обширного объявления начинался так: «Доныне не было у нас Истории великого отечества нашего, которая, представляя вполне события, совершившиеся в русской земле, являла бы взорам просвещенного наблюдателя картину судеб России в течение девяти с половиною веков, от начала русского народа до нашего времени». Отмеченный недостаток Н. Полевой обещал отчасти восполнить своим трудом, состоящим из двенадцати якобы уже законченных томов. В объявлении указывалось, что первые тома уже печатаются, что в текущем, 1829 году будут опубликованы два тома и все издание завершится в 1830 году. В заключение Н. Полевой уведомлял об открытии подписки на свою «Историю».

Это широковещательное объявление Н. Полевого дало повод к многочисленным ироническим замечаниям в его адрес. «История русского народа» оказалась значительно меньшей по объему, и

в издании ее автор не выдержал обещанных сроков. Всего вышло из печати шесть томов: первый — в 1829 г., второй и третий — в 1830, а последующие три — в 1833 г.

Стр. 527 *Адрианопольский трактат* — Адрианопольский мирный договор, заключенный в 1829 году между Россией и Турцией после победоносно законченной для России войны 1828—1829 гг.

Междуцарствие — так называли период русской истории от смерти царя Федора Ивановича (1598) до восшествия на престол Михаила Федоровича Романова (1613).

«ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ». «ФИЛИПП, ИЛИ ФАМИЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ»

Впервые: «Молва», 1831, № 7, стр. 13—14, без подписи.

Принадлежность этой заметки С. Т. Аксакову подтверждается путем сопоставления ее с напечатанной в «Молве», № 38, 1831 г., заметкой «Ночь на Новый год» (наст. том, стр. 563—565). В обеих заметках развивается почти в одних и тех же словах мысль о безнадежности попыток сделать пьесу из прозаического произведения. Кроме того, данная заметка содержит целый ряд деталей, совокупность которых дает все основания считать ее автором Аксакова. Отметим, например, и весьма характерную для Аксакова оценку Щепкина «как единственного артиста нашей труппы» и реплику о «неприятной обязанности говорить правду» (ср. наст. том, стр. 416—417, 486, 509) и т. д.

«ПРАРОДИТЕЛЬНИЦА». «БАНДИТ, ИЛИ РАЗБОЙНИК НА БАЛЕ»

Впервые: Прибавление к «Молве», 1831, № 8, стр 1—7, без подписи.

Авторство С. Т. Аксакова в отношении этой статьи подтверждается множеством аргументов. Отметим прежде всего характеристику Мочалова как «актера-художника». Аксаков, как известно, подразделял актеров на два типа — художников и мастеров. К первым он всегда относил Мочалова (ср. наст. том, стр. 450, 615. См. также «Лит. наследство», т. 56, 1950, стр. 112). Чрезвычайно характерны для Аксакова и замечание об «односторонности» и неровности мочаловского таланта, который способен переживать то могучие взлеты, то катастрофические неудачи (ср. наст. том, стр. 450, 595), и резко отрицательная оценка фарсов Живокини (ср. наст. том, стр. 460, 514, 587).

ТЕАТР

Впервые: «Молва», 1831, № 17, стр. 10—14, без подписи.

Принадлежность С. Т. Аксакову этой статьи устанавливается путем сопоставления ее с другой его статьей: «Испытание в искусствах воспитанников и воспитанниц школы императорского театра», опубликованной в «Молве», 1832, № 31 (см. в наст. томе, стр. 576). В обеих этих статьях развиваются общие мысли и притом в одинаковых выражениях — о том, что артист балета должен уметь раскрывать чувства и переживания своих героев, что выражение лица, мимика исполнителя должны соответствовать выражению танца, а жест — предмету ощущений (об этом же пишет Аксаков и в рецензии на постановку балета «Рауль Синяя Борода», см. наст. том, стр. 589), также — о том, сколь важно для артиста *образование*. Не может быть никаких сомнений, что обе статьи написаны одним автором.

ТЕАТР. «НЕВЕСТА». «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ»

Впервые: «Молва», 1831, № 21, стр. 6—12, без подписи.

Давая высокую оценку постановке оперы «Невеста» на московской сцене, автор данной статьи отмечает: «Опера поставлена на нашей сцене с особенным старанием, и это утешает истинного любителя русского театра». Уже последние три слова в этой фразе вызывают естественную ассоциацию с известным псевдонимом Аксакова. Статья действительно написана им. И это подтверждается прежде всего сопоставлением ее с рецензией Аксакова на оперу «Фра-Диаволо», напечатанной в № 23 «Молвы». Здесь мы читаем следующие строки: «Музыкальная сторона пиесы выполнена была удачно; сценическая поставка хотя и была хороша, но не имела того одушевления, которое *мы с удовольствием заметили в «Невесте»* (наст. том, стр. 545). Перед нами прямое указание на то, что обе статьи принадлежат одному автору. Характерно также замечание в первой статье о «длинных афишах», коими пытаются «возбуждать... внимание» публики. Достаточно сравнить это рассуждение с последними строками статьи Аксакова о «Прародительнице» («Молва», 1831, № 8; наст. том, стр. 535), посвященными той же «афишной» теме, чтобы устранить малейшие сомнения относительно тождества авторов обеих статей. В этой статье есть и множество других доказательств в пользу авторства Аксакова — например, характерная для него оценка самого себя как «правдивого рецензента» (ср. примеч. к рецензии на «Юрия Милославского», наст. том, стр. 755) и др.

«ФРА-ДИАВОЛО, ИЛИ РАЗБОЙНИКИ В ТЕРАЧИНЕ». «СТАРЫЙ ГУСАР, ИЛИ ПАЖИ ФРИДРИХА II». «ВОЗВРАЩЕНИЕ КНЯЗЯ ПОЖАРСКОГО В СВОЕ ПОМЕСТЬЕ»

Впервые: «Молва», 1831, № 23, стр. 10—14, без подписи.

Через четыре месяца после появления этой заметки «Молва» в № 38 снова выступила с рецензией на постановку «Фра-Диаволо, или Разбойники в Терачине». В ней есть следующие строки: «Мнение наше об опере «Фра-Диаволо» было сказано при появлении оной в первый раз в бенефис г-жи Репиной — мы ничего к нему прибавить не имеем; но в игре некоторых действующих лиц с удовольствием заметили зрители счастливую перемену и больше внимания к своим ролям» (наст. том, стр. 566—567). Обе статьи были написаны, конечно, одним автором. О принадлежности второй статьи Аксакову см. ниже, в примеч. на стр. 760—761).

«ДЕРЕВЕНСКИЙ ПОЭТ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ХИТРА НА ВЫДУМКИ». «ЗЕФИР И ФЛОРА»

Впервые: «Молва», 1831, № 24, стр. 8—9, без подписи.

Принадлежность этой заметки Аксакову устанавливается путем сопоставления ее с рецензией «Театр», напечатанной в «Молве», 1831, № 17 (см. наст. том, стр. 536—538). Заметка кончается указанием на то, что «Молва» в оценке поставленного воспитанниками театрального училища балетного спектакля «остается при своем мнении, изложенном в отчете об испытании означенного училища». Оба эти выступления, несомненно, принадлежат одному автору. Что им был Аксаков — подтверждается и другими обстоятельствами. Автор заметки выговаривает актерам Живокини, Третьякову и Ленскому за плохое знание своих ролей и отмечает, что «незнание ролей есть величайшая неучтивость перед публикой». А несколько месяцев спустя («Молва», № 41) Аксаков снова возвращается к этой теме: «Г-н Третьяков... что сказать этому актеру? Некогда мы заметили ему, что не учить своих ролей значит быть неучтивым к публике...» (наст. том, стр. 572). Наконец, в данной заметке обращает на себя внимание и характерный для Аксакова упрек Живокини в том, что он «ознаменовал себя довольно плоскими фарсами». Почти ни одно из известных нам упоминаний Аксакова об этом актере не обходится без упрека в склонности его к фарсам (ср. прим. к рецензии на «Прародительницу», наст. том, стр. 755).

«ПОВО(А)РА ДИПЛОМАТЫ». «БРАТЬЯ МАТРОСЫ, ИЛИ ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». «Я — МОЙ БРАТ». «ДЕВИШНИК, ИЛИ ФИЛАТКИНА СВАДЬБА...»

Впервые: «Молва», 1831, № 24, стр. 9—13, за подписью: «*1. 19*».

Эта вторая половина театрального отчета в № 24 «Молвы», как и первая («Деревенский поэт...» см. выше), написана, конечно, одним автором. В обеих заметках, между прочим, подчеркивается одна и та же мысль — о том, что актерам необходимо твердо знать свои роли. В первой половине отчета речь шла о Живокини, Третьякове и Ленском, во второй — о Сабурове. В следующем номере «Молвы», в рецензии на оперу «Три десятки...» Аксаков писал: «Хотя г. Сабуров и воспользовался замечанием нашим, сказанным в предыдущем нумере «Молвы», хотя на этот раз он тверже знал свою роль — но все еще не так, как бы хотелось публике: ибо и в «Трех десятках» язык его немножко спотыкался» (наст. том, стр. 557).

Принадлежность данной заметки Аксакову подтверждается и некоторыми стилистическими деталями, например — характерным для него выражением: «Я — мой брат» разыгран был *отлично хорошо»* (ср. в наст. томе, стр. 578, 584). Наконец, и необычная подпись «1.19» — не неожиданна для Аксакова, неистощимого в изобретении мистифицирующих псевдонимов. Это не единственный его цифровой псевдоним. Известное стихотворение Аксакова «Послание к кн. Вяземскому», а также одно из полемических выступлений против Н. Полевого «Разговор о скором выходе в свет II тома «Истории русского народа» были подписаны цифровым псевдонимом: «200—I» (см. в наст. томе, стр. 754 и 771).

«ТЕРЕЗА, ИЛИ ЖЕНЕВСКАЯ СИРОТА». «ТРИ ДЕСЯТКИ, ИЛИ НОВОЕ ДВУХДНЕВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

Впервые: «Молва», 1831, № 25, стр. 9—16, без подписи.

Доказательства принадлежности С. Т. Аксакову этой статьи многочисленны. Они и в характерном интимно-дружественном отношении к памяти А. И. Писарева, ближайшего приятеля Аксакова (ср. в наст. томе, стр. 404—405, 426, 512), и в иронически-насмешливых отзывах о «правилах прежней школы» актерского мастерства с ее склонностью «вычитывать и выпевать монологи», а также о «затейливых выдумках старых наставников драматического искусства», и в тезисе — что «простота... вернее ведет

к изящному», и в противопоставлении таланта Мочалова его недостаточному мастерству и ограниченности его «познаний в драматическом искусстве» (ср. примеч. к рецензии на «Прародительницу», наст. том, стр. 755), и в реверансе перед «нынешним театральным начальством», которым как раз в 1831 г. стал близкий друг Аксакова М. Н. Загоскин (ср. наст. том, стр. 536, 576, 581), и, наконец, в патетическом замечании о том, что в оценке игры актеров автор руководствуется не посторонними соображениями, а «беспристрастием», стремлением служить истине (ср. примеч. к рецензии на «Юрия Милославского», наст. том, стр. 755). Вся совокупность этих соображений не оставляет ни малейших сомнений в принадлежности этой статьи перу Аксакова.

Стр. 558. *Всем мил цветок оранжерейный,*
И всем наскучил полевой —
в этих строках содержится колкий намек на Н. А. Полевого. О том, сколь шумную реакцию у зрителя вызывали эти слова во время первых представлений водевиля «Три десятки...», Аксаков рассказал в «Литературных и театральных воспоминаниях» (см. наст. том, стр. 146—147).

В своей рецензии Аксаков не случайно напомнил эти строки. Давний противник Н. Полевого, он, вероятно, с удовольствием использовал представившийся случай, чтобы уколоть своего неприятеля.

«ИОСИФ». «ЗЕФИР, ИЛИ ВЕТРЕНИК, СДЕЛАВШИЙСЯ ПОСТОЯННЫМ»

Впервые: «Молва», 1831, № 30, стр. 60—62, без подписи.

О принадлежности этой заметки перу Аксакова свидетельствует прежде всего оценка актера Лаврова, в некоторых случаях текстуально совпадающая с отзывом, который дал тот же автор об игре этого актера в статье о «Пане Твердовском» в «Драматическом прибавлении к Московскому вестнику», 1828, № 1 (см. в наст. томе, стр. 418). В обеих статьях содержится характерный для Аксакова упрек Лаврову в том, что ему не хватает «труда, учения». Совпадает также в этих двух рецензиях и оценка актера Бантышева — его голоса и внешности.

ТЕАТР

Впервые: «Молва», 1831, № 33, стр. 109—110, без подписи.

Принадлежность этой заметки Аксакову устанавливается сопоставлением ее с театральным отчетом того же автора, напечатан-

ным в «Молве», 1831, № 41 (наст. том, стр. 572; ср. оценку игры актера Третьякова). Характерна в данной заметке и реплика о фарсах Живокини (ср. примеч. к «Прародительнице», наст. том, стр. 755).

«НОЧЬ НА НОВЫЙ ГОД». «МОЛОД И СТАР, ЖЕНАТ И НЕТ». «СВАТ ГАВРИЛЫЧ, ИЛИ СГОВОР НА ЯМУ»

Впервые: «Молва», 1831, № 38, стр. 184—187, без подписи.

В театральном обзоре, напечатанном в «Молве» год спустя (1832, № 42), Аксаков, коснувшись игры Живокини, отметил, что этот актер «буфонил *кроиечку* поменьше» (выделено автором, наст. том, стр. 587). В данной заметке, говоря об игре того же Живокини, автор отмечает, что этому актеру «немного недоставало к совершенству: *крошечку еще поменьше* кривлянья и фарсов». Этой характерной стилистической детали, кажется, достаточно для того, чтобы судить о том, что обе статьи принадлежат одному автору.

Принадлежность Аксакову этой заметки подтверждается, кроме того, еще сопоставлением ее с театральным отчетом Аксакова, напечатанным в № 40 «Молвы» за 1831 г., в котором автор, полемизируя с В. Ушаковым, вспоминает именно данную статью: «Речь идет о комедии «Ночь на Новый год», соч. г. Мещеринова, игранной на нашей сцене и о которой мы отдали уже отчет читателям. В. У. решительно недоволен этим спектаклем и, перефразировав нашу о нем рецензию, прибавил к ней...» (наст. том, стр. 569; см. также примеч. на стр. 761).

См. также примечание к рецензии о спектакле «Юрий Милославский» стр. 755.

«ФРА-ДИАВОЛО, ИЛИ РАЗБОЙНИКИ В ТЕРАЧИНЕ». «СТРАНСТВУЮЩИЕ ЛЕКАРЯ»

Впервые: «Молва» 1831, № 38, стр. 187—189, без подписи.

Эта вторая половина театрального отчета № 38 «Молвы», как и первая, принадлежит перу одного автора. Им был Аксаков. Об этом свидетельствуют и характерные для него замечания о «незабвенном Писареве» (ср. примеч. к рецензии на «Терезу...», наст. том, стр. 758, о «нынешнем театральном начальстве» (см. там же, стр. 759) и столь же характерная для Аксакова апелляция к «долгу беспристрастия», вынуждающему говорить актерам иногда

неприятные вещи (ср. примеч. к рецензии на «Юрия Милославского», стр. 755) и т. д.

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». «ДВЕ ЗАПИСКИ»

Впервые: «Молва», 1831, № 40, стр. 218—221, без подписи.

Авторство Аксакова в отношении этой статьи доказывается путем сопоставления ее с театральным отчетом, опубликованным в № 38 «Молвы» за 1831 г. (см. примеч. на стр. 760). Отметим, кроме того, характерные для Аксакова критические замечания в адрес Живокини, который «слишком фарсил», и особенно — оценку игры Мочалова. В статье отмечается «неловкость г. Мочалова и неуменье быть знатной особой на сцене». Но еще в 1829 г. в рецензии на постановку того же «Севильского цирюльника» («Галатея», 1829, № 3) Аксаков отмечал именно тот же недостаток Мочалова, в котором «многие не узнали... графа Альмавиву» (наст. том, стр. 455). Об этом же неуменье Мочалова изображать на сцене царей, «знатных баричей» — во фраке или в мундире — писал Аксаков еще раньше во «2-м письме из Петербурга», напечатанном в «Галатее», 1828, № 21—22 (см. наст. том, стр. 449).

Принадлежность Аксакову данной статьи подтверждается и характером содержащейся в ней полемики с В. У. (т. е. В. Ушаковым). Ушаков — давнишний антагонист Аксакова, не раз выступавшего против него с резкими полемическими статьями (см. наст. том, стр. 462, 468 и примеч. на стр. 745—747). Аксаков пишет о придирках В. У., что «они смешны и совершенно в духе логики и вкуса г-на В. У.». Здесь несомненный намек на то, что «логика и вкус» В. Ушакова давно уже знакомы автору статьи.

Стр. 569. *...о которой мы отдали уже отчет читателям* — см. наст. том, стр. 563.

«ВОЛЬНЫЕ СУДЬИ, ИЛИ ВРЕМЕНА ВАРВАРСТВА». «ДВА МУЖА». «НИНА, ИЛИ СУМАСШЕДШАЯ ОТ ЛЮБВИ»

Впервые: «Молва», 1831, № 41, стр. 232—235, без подписи.

Принадлежность Аксакову этой статьи доказывается и характерной для автора оценкой «старой школы» актерского мастерства, «прославившейся ужасными завываниями», и замечанием о том, сколь важна в искусстве балета мимика актера (см. примеч. на стр. 756); дополнительным штрихом является и аксаковское

выражение сценическая «поставка пиесы». См., кроме того, примеч. к театральному обзору, напечатанному в № 24 «Молвы» за 1831 г. (наст. том, стр. 757).

«МАРИЯ СТЮАРТ». «СТАНИСЛАВ»

Впервые: «Молва», 1831, № 43, стр. 267—268, без подписи.

Многочисленные аргументы подтверждают принадлежность Аксакову этой статьи. Здесь и столь характерное для него ироническое отношение к «верованиям старой театральной школы» с ее склонностью к «завываниям» и «распеваниям», и ратование за «простое и естественное произношение стихов», за «верность натуре», и снова (в который раз!) упреки Живокини в «несносных фарсах», а Третьякову (также — в который раз!) в том, что он «верен своей привычке — не знать твердо ролей» (ср. примеч. на стр. 755 и 757).

ИСПЫТАНИЕ В ИСКУССТВАХ ВОСПИТАННИКОВ И ВОСПИТАННИЦ ШКОЛЫ ИМПЕРАТОРСКОГО МОСКОВСКОГО ТЕАТРА

Впервые: «Молва», 1832, № 31, стр. 121—124, за подписью: *С. А—в.*

«МАРФА И УГАР». «ЖЕНЩИНА ЛУНАТИК». «НОВЫЙ ПАРИС»

Впервые: «Молва», 1832, № 33, стр. 130—131, за подписью: *С. А.*

«БЛАГОРОДНЫЙ ТЕАТР». «КЕТТЛИ»

Впервые: «Молва», 1832, № 35, стр. 138—139, за подписью: *С. А.*

«ГОРЕ ОТ УМА». «МЕЛЬНИКИ»

Впервые: «Молва», 1832, № 35, стр. 139—140, за подписью: *С. А.*

«ГРАФИНЯ ПОСЕЛЯНКА, ИЛИ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». «ДВЕ ЗАПИСКИ, ИЛИ БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТ». «ЧЕРТОВ КОЛПАК»

Впервые: «Молва», 1832, № 42, стр. 165—166, за подписью: *С. А.*

«МАСКАРАД». «РАУЛЬ СИНЯЯ БОРОДА». «ШВЕЙЦАРСКАЯ МОЛОЧНИЦА». «ДОМАШНИЙ МАСКАРАД»

Впервые: «Молва», 1832, № 44, стр. 174—176, за подписью: *С. А.*

ПИСЬМО ИЗ МОСКВЫ

Впервые: «Молва», 1832, № 46, стр. 183—184, за подписью: *С. А.*

Стр. 591. *После статьи, напечатанной в «Молве»...* — см. стр. 576.

«НЕНАВИСТЬ К ЛЮДЯМ И РАСКАЯНИЕ»

Впервые: «Молва», 1832, № 48, стр. 189—191, за подписью: *С. А.*

Эта в свое время популярная на русской сцене комедия А. Коцебу была издана в переводе И. Репьева (СПБ. 1792) и А. Малиновского (М. 1796).

АНТИКРИТИКА

Впервые: «Молва», 1832, № 49, стр. 194—195, за подписью: *С. А.*

Упоминаемый Аксаковым «критический разбор» «Марфы Посадницы» («Сын отечества», 1832, № 20, стр. 330—352) был подписан инициалами Н. Ю. и содержал в себе резко отрицательную оценку трагедии Погодина.

ПИСЬМО К ДРУЗЬЯМ ГОГОЛЯ

Впервые: «Московские ведомости», 1852, № 32, от 13 марта, стр. 328, за подписью: *С. А.*

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БИОГРАФИИ ГОГОЛЯ

Впервые: «Московские ведомости», 1853, № 35, от 21 марта, стр. 360—361, за подписью: *С. А—в.*

Эта статья была написана в ознаменование первой годовщины со дня смерти Гоголя. О замысле статьи С. Т. Аксаков сообщал 27 февраля 1853 г. Тургеневу: «21 февраля, в день кончины

Гоголя, написал я несколько слов о нем, желая сообщить мои мысли о составлении биографии Гоголя тем господам, которые весьма легкомысленно принимаются за это важное дело» («Русское обозрение», 1894, № 9, стр. 19).

Стр. 602. *...благородной статьи одного из жителей Курской губернии в защиту Гоголя.* — Эта статья — «Отзыв провинциала на статью о Гоголе, помещенную в «Северной пчеле», — была опубликована в «Московских ведомостях», 1852, № 76.

Стр. 603. *...перемешанные с известиями о модных платьях и катаньях.* — Повидимому, речь идет о статье Г. Данилевского «Хуторок близ Диканьки», напечатанной в № 124 «Московских ведомостей» за 1852 г.

...когда сам исправляющий их впадает в другие ошибки — имеется в виду статья «Выправки некоторых биографических известий о Гоголе», в которой анонимный автор, справедливо во многих случаях полемизируя со статьей Г. Данилевского (см пред. примеч.), сам, однако, допустил ряд существенных фактических погрешностей в освещении биографии Гоголя.

...скрытое под формою повести. — Речь идет, несомненно, о повести Е. И. Вельтман — жены известного романиста и археолога — «Виктор», напечатанной в «Москвитянине», 1853, №№ 2, 3, 4. По поводу этого очень слабого в художественном отношении произведения С. Т. Аксаков с возмущением писал И. С. Тургеневу: «Эта... женщина вздумала мимоходом попачкать славу Гоголя. Оба они с мужем всегда шипели около себя хулу и клевету на Гоголя, а теперь осмелились даже и печатно поплевать на его память. Я сейчас уведомил об этом Погодина, а он с своей молодой редакцией и не узнал, что у него в журнале напечатано. Надобно бы ее показнить несколькими строками равнодушия и презрения, да негде, да еще, пожалуй, и не пропустят» («Русское обозрение», 1894, № 9, стр. 19).

Стр. 604. *...некогда скаванное мною* — см. наст. том, стр. 600.

Стр. 606. *...число всех писем может простираться до нескольких сотен.* — Эпистолярное наследство Гоголя гораздо более велико по объему. Ныне выявлено свыше тысячи трехсот его писем.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТАТЬЕ «ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО ТЕАТРАЛА»

Впервые: «Москвитянин», 1854, т. V, № 20, «Смесь», стр. 201—202, за подписью: *С. Аксаков*.

Эта статья Аксакова является ответом на критику, которой были подвергнуты его воспоминания о Шушерине (см. т. 2, наст. изд., стр. 337—399) со стороны С. П. Жихарева, выступившего под псевдонимом «Старый театрал» («Отечественные записки», 1854, № 10, отд. II, стр. 93—132).

Стр. 608. *Я написал тогда статью* — см. наст. том, стр. 520.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О М. С. ЩЕПКИНЕ

В конце ноября 1855 г. исполнялось пятидесятилетие сценической деятельности М. С. Щепкина. С. Т. Аксаков горячо поддержал мысль широко отметить юбилей великого русского актера и обещал в связи с этим написать статью о нем. 23 мая 1855 г. он с огорчением уведомлял своего сына Ивана: «Кажется, никто не думает праздновать юбилей его 50-летнего театрального поприща. Конечно, времена так трудны и тяжелы, что забвение его заслуг извинительно; но я не отказываюсь от моего обещания и готов написать его театральную биографию, т. е. 50-летнюю историю его действительной службы на сцене; но ты должен для этого дела прожить у меня и много мне рассказывать, так чтобы я немедленно мог записывать, или ты должен мне доставить записку, им самим составленную, — и то и другое у нас как-то не клеится» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 14, лл. 84 об.—85).

Это первое в аксаковской переписке упоминание о статье «Несколько слов о М. С. Щепкине». Неизвестно, устно ли сообщил Щепкин необходимые сведения Аксакову, или представил ему «записку», но осенью Аксаков начал писать обещанную статью. 17 октября того же 1855 г. он сообщил сыну Ивану: «Я начал писать статью о театральном поприще Щепкина, для его юбилея» (ИРЛИ, ф. 3, д. № 14, л. 106 об.). Статья «Несколько слов о М. С. Щепкине» писалась быстро, с большим творческим подъемом и явилась своего рода итогом тридцатилетних раздумий писателя над творчеством любимого актера. 13 ноября Аксаков писал И. С. Тургеневу: «Если его (Щепкина. — *С. М.*) юбилей пройдет без всяких знаков уважения к его таланту и к его постоянному художническому труду, то это будет стыдно московскому обществу. Я очистил мою совесть и приготовил статью с кратким обозрением театральной жизни Щепкина; но, к удивлению моему, покуда не вижу ни в ком горячего желания дать Щепкину обед». Аксаков затем высказывает пожелание, чтобы Тургенев письмами к своим московским знакомым помог «подвинуть это дело» и сам приехал на торжества в Москву

(«Русское обозрение», 1894, № 12, стр. 572—573). Тургенев в Москву приехать не смог, но о том, как он реагировал на предложение Аксакова, свидетельствует письмо последнего к сыну Ивану от 24 ноября 1855 г.: «Я написал в Петербург к Тургеневу об юбилее, и он поднял там всех на ноги: делает подписку, собирает деньги, и пишут адрес Щепкину от имени всех литераторов, артистов и художников» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 3, д. № 22, л. 45).

Чествование Щепкина состоялось 26 ноября. В этот день, рассказывал С. Т. Аксаков в письме к сыну Ивану, «дан был Щепкину обед в зале Училища живописи и ваяния. Посетителей было до двухсот, и в том числе несколько лиц почетных, то есть: Перфильев, Назимов, Трубецкой, Казначеев и проч. Перед обедом Константин прочел мою статью, сидя за особым столом вместе с Щепкиным, который плакал и смеялся. Слушатели, разумеется, рассыпались рукоплесканиями. Потом присланный из Петербурга депутат, актер Бурдин, прочел прекрасное поздравление Щепкину от петербургских артистов. За обедом было много спичей... Я забыл сказать, что Щепкину был прочтен адрес, прекрасно написанный, от всех петербургских литераторов; разумеется, тут были Плетнев и князь Вяземский — и не было Греча и Булгарина» (Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. XIV, СПБ. 1900, стр. 444—445).

Одновременно Аксаков писал художнику К. А. Трутовскому: «Празднование щепкинского юбилея было поистине прекрасно, и, конечно, оно тем приятнее для меня, что без меня его бы не было... Итак, совершилось первое празднование юбилея русского актера. Это не только торжество Щепкина, но торжество искусства вообще и сценического искусства в особенности» («Русский художественный архив», 1832, вып. II—III, стр. 132).

Статья Аксакова впервые появилась в печати в «Московских ведомостях» («Литературный отдел», 1855, № 143) и отдельным оттиском — М. 1855. С незначительными стилистическими исправлениями (около десяти) статья была перепечатана в книге «Разные сочинения С. Аксакова», М. 1858, стр. 345—361. После смерти Аксакова и Щепкина статья была помещена в качестве предисловия к «Запискам и письмам М. С. Щепкина» (М. 1864). В настоящем издании печатается по тексту «Разных сочинений».

Стр. 610. *«Зоя»* — «Зоа», драма Мерсье, перев. с французск. Малиновского (М. 1789).

Стр. 611. *«Новое семейство»* — комическая опера в одном действии С. К. Вязмитинова (М. 1781).

«Опыт искусства» — комедия Н. Р. Судовщикова.

«Сбитенщик» — комическая опера в трех действиях Я. Б. Княжнина (СПБ. 1790).

Стр. 613. *«Железная маска»* — драма в пяти действиях, переделанная с немецкого Н. Краснопольским (СПБ. 1808).

«Великодушие, или Рекрутский набор» — драма в трех действиях Н. Ильина (М. 1804), впервые представлена на петербургской сцене в ноябре 1803 г.

Стр. 618. *Бот — персонаж комедии* «Бот, или Английский купец, перев. с французск. (СПБ, 1804); другой перевод — Н. Долгорукова (М. 1804).

Досажаев — герой комедии Шеридана «Школа злословия», вышедшей в переводе, точнее переделке, И. М. Муравьева-Апостола под названием «Досажаев» (СПБ. 1794).

Богатонов — персонаж комедии М. Н. Загоскина «Господин Богатонов, или Провинциал в столице» (СПБ. 1817).

«Школа жен» — комедия Мольера.

Гарпагон — герой комедии Мольера «Скупой».

Сганарель — имя героев нескольких комедий Мольера.

Стр. 619. *«Москаль-Чаривник»* («Солдат-Чародей») и *«Наталка Полтавка»* — комедии украинского писателя Ивана Петровича Котляревского (1769—1838).

«Матрос» — водевиль Соважа и Делюрье, перев. с французск. Д. Шепелева.

ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ «МОЛВЫ»

Впервые: Молва», 1857, № 1, стр. 10—11, за подписью: *Сотрудник «Молвы» 1832 года* (о сотрудничестве Аксакова в Молве» 1857 г. см. во вступительной статье к т. 1 наст. изд., стр. 32 и 64).

Стр. 621. Категорическое указание Аксакова на то, что П. Щ. это Н. И. Надеждин, опровергается... самим Надеждиным, сообщавшим в 1835 г. Е. В. Сухово-Кобылиной, что статьи П. Щ. написаны не кем иным, как «отцом Аксаковым». Мысль об авторстве Аксакова в отношении статей П. Щ., особенно некоторых из них, кажется весьма соблазнительной. Ее давно поддерживает ряд исследователей — например, А. И. Кондратьев, В. С. Нечаева и др. См. новейшую работу, посвященную этой проблеме:

В. С. Нечаева, Кому принадлежат статьи, подписанные П. Щ.? («Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка, 1956, т. XV, вып. 1, стр. 38—51).

Автор этой статьи приводит большой фактический материал в доказательство того, что основным автором статей П. Щ. был Аксаков. Многие из этих доказательств серьезны и убедительны. И конкретным содержанием и общей своей идейной направленностью статьи П. Щ. действительно близки эстетической позиции Аксакова. Но аргументы В. С. Нечаевой вместе с тем не снимают всех вопросов и недоумений, вызываемых гипотезой об авторстве Аксакова. Среди них немаловажное значение имеет, например, вопрос о том, зачем в 1857 г., т. е. спустя четверть века, Аксакову надо было отрекаться от столь блестящих статей и приписывать их авторство Надеждину. Соображения В. С. Нечаевой относительно того, что Аксаков не желал «обидеть» Шевырева, — очень зыбки. «Шевырев был еще жив, — замечает она, — а Надеждина уже не было в живых, и ему можно было приписать какие угодно статьи» (указ. изд., стр. 51). Но какая вообще была нужда Аксакову в этой столь хитроумной дипломатии? Если он действительно считал неудобным перед Шевыревым признавать себя автором статей П. Щ. — зачем ему надо было касаться этой темы? Кто его неволил? Не проще ли было ему обойти молчанием весь этот эпизод!!

Вопрос об авторстве статей П. Щ. нельзя считать окончательно решенным.

«ТРИ ОТКРЫТИЯ В ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ПЧЕЛЫ»

Впервые: «Молва», 1857, № 2, стр. 20, за подписью: *Сотрудник «Молвы» 1832 года.*

ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ «МОЛВЫ»

Впервые: «Молва», 1857, № 4, стр. 49—50, за подписью: *Сотрудник «Молвы» 1832 года.*

Стр. 627. *В Петербурге скоро выйдет полное собрание сочинений Гоголя со включением его огромной переписки...* — Это издание «Сочинений и писем Гоголя» в шести томах вышло в 1857 г. под редакцией П. Кулиша. В него вошло всего 780 писем (см. примеч. к стр. 606).

<О РОМАНЕ Ю. ЖАДОВСКОЙ «В СТОРОНЕ ОТ БОЛЬШОГО СВЕТА»>

Впервые: «Молва», 1857, № 8, стр. 92—93, за подписью: *Сотрудник «Молвы» 1832 года;* статья напечатана без названия.

Стр. 628. *...вероятно, той самой, которой стихи...* — Стихи Ю. В. Жадовской вызвали сочувственную оценку Добролюбова, а роман «В стороне от большого света» он назвал «замечательным» (Н. А. Добролюбов, Полн. собр. соч., 1934, т. I, стр. 368—379).

Короткая заметка С. Т. Аксакова о романе Ю. Жадовской интересна тем, что она содержит несколько любопытных деталей для характеристики эстетических взглядов Аксакова в 50-е гг.

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

С. Т. Аксаков был «убежденным» прозаиком. Но поэт в душе, он очень любил стихи и писал их с необычайным увлечением на протяжении почти всей своей жизни — с юношеских лет до глубокой старости. Это увлечение было особенно сильным в молодости, когда он не только писал оригинальные лирические стихи «для души», но и переводил стихами крупные драматические произведения — например, Софоклова «Филоктета» и комедию Мольера «Школа мужей». Впрочем, Аксаков никогда не придавал серьезного значения своему стихотворчеству. В 1854 г. он писал Тургеневу: «Стихи мои имели все пороки своего времени, но стихов оригинальных я никогда не печатал» («Русское обозрение», 1894, № 11, стр. 18). Аксаков запамятовал. Некоторые его стихи не только переводные, но и оригинальные появлялись в печати при жизни писателя, за его подписью или под псевдонимами.

Разумеется, не следует преувеличивать художественного значения стихов Аксакова. Не отличаясь очень высокой поэтической культурой, они все же привлекательны простотой и искренностью, с какой выражены в них настроение, душевное состояние лирического героя, то есть самого автора. Часть аксаковских стихотворений носит шуточный характер и вызвана различными обстоятельствами семейной жизни писателя, а также впечатлениями страстного рыболова и охотника. Стихи Аксакова глубоко автобиографичны, и в этом прежде всего состоит их интерес для современного читателя.

Все стихи расположены в хронологическом порядке по времени их написания.

ТРИ КАНАРЕЙКИ

Впервые напечатано: «Русский вестник», 1812, № 7, стр. 57—61, за подписью: *С. Аксаков.*

Это стихотворение представляет собой едва ли не первое выступление С. Т. Аксакова в печати.

Затерянное в журнале «Русский вестник», оно никогда позднее не перепечатывалось и даже никогда не упоминалось в литературе об Аксакове.

А. И. КАЗНАЧЕЕВУ

При жизни Аксакова в печати не появлялось. Впервые опубликовано в «Русском архиве», 1878, № 2, стр. 253—254. Воспроизводим этот текст. В тексте «Русского архива» явная опечатка в первой строке: «Ах, ежели ошиблись мы с тобой, любезный друг...»

ПЕСНЬ ПИРА

Впервые напечатано: «Труды Казанского общества любителей отечественной словесности», Казань, 1815, кн. 1 стр. 292—293, за подписью: *Сергей Аксаков.*

Время написания этого и следующего стихотворения неизвестно. Можно предполагать, что они были написаны вскоре после выхода Аксакова из Казанского университета и во всяком случае — не позднее конца 800-х гг.

«ЗА ПРЕСТОЛЫ В МИРЕ...»

Впервые напечатано: «Труды Казанского общества любителей отечественной словесности», Казань, 1815, кн. 1, стр. 293—294, за подписью: *Сергей Аксаков.*

«ЮНЫХ ЛЕТ МОИХ ЖЕЛАНЬЕ...»

Публикуется впервые, по автографу, находящемуся в «Книге для всякой всячины», начатой Аксаковым в 1815 г. (Л. Б., ГАИС III, VII/I, л. 10). К стихотворению рукой автора была сделана приписка: «Сия мечта сбылась». Повидимому, стихотворение было написано до 1816 г., то есть до женитьбы Аксакова на Ольге Семеновне Заплатиной. Надо полагать, что именно в связи с этим событием и появилась приписка.

«ВОТ РОДИНА МОЯ!..»

Публикуется впервые, по черновому автографу (ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, д. № 75, лл. 1—1 об.).

Стихотворение было написано Аксаковым в конце 10-х или в самом начале 20-х гг. и отправлено в письме к сестре, Надежде Тимофеевне, в Петербург, «на строгий суд». В этом письме он сообщал из Оренбургского края: «У нас совершенный неурожай и даже голод, почему места наши еще кажутся более печальными, а я было начал писать стихи к своей родине; только видя, что они слишком несправедливы, решил их оставить». Перед нами, очевидно, отрывок из обширного и незавершенного стихотворения (ср. ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 1, д. № 14, лл. 4—4 об.).

ПОСЛАНИЕ К КН. ВЯЗЕМСКОМУ

Впервые: «Вестник Европы», 1821, № 9, стр. 12—14, за подписью: *«200—1»*.

Редактор «Вестника Европы» М. Каченовский, не поставив в известность автора, самовольно озаглавил стихотворение: «Послание к Птелинскому-Ульминскому» и соответственно заменил фамилию Вяземского в тексте (об этом, а также об обстоятельствах, вызвавших появление этого пародийно-сатирического стихотворения, см. во вступительной статье к т. 1 наст. изд., стр. 14; см. также «Литературные и театральные воспоминания», наст. том, стр. 51—52).

Стр. 644. *Быв знаменитыми издателей друзьями* — см. примеч. к статье «Письмо к издателю «Московского вестника» (наст. том, стр. 753).

ЭЛЕГИЯ В НОВОМ ВКУСЕ

Впервые: «Вестник Европы», 1821, № 9, стр. 15—17, за подписью: *Подражаев*.

Стихотворение было сопровождено примечанием редактора «Вестника Европы»: «Читавши в рукописи эту «Элегию», некоторые строгие критики, или, прямо скажем, зоилы, осмеливались утверждать, будто бы в ней не заключается никакого смысла. Пускай и так; зато уж какой слог! какой язык! Кому не известна привязчивость педантов? Но кто же и смотрит на их требования? Истинный поэт, человек со вкусом, гений не имеет нужды в правилах; он скажет: *так пишут!* И педанты посрамлены!»

В «Литературных и театральных воспоминаниях» Аксаков утверждал, что его «Элегия в новом вкусе» явилась выражением «протеста против туманно-мечтательных стихотворений, порожденных подражанием Жуковскому» (наст. том, стр. 51). «Элегия» представляла собой пародию на стихотворение П. А. Вяземского «Вечер на Волге».

УРАЛЬСКИЙ КАЗАК

Впервые: «Вестник Европы», 1821, № 14, стр. 88—90, за подписью: *С. Аксаков.*

В «Литературных и театральных воспоминаниях» Аксаков назвал это стихотворение «слабым и бледным подражанием «Черной шали» Пушкина» (наст. том, стр. 51).

Стихотворение стало популярной народной песней.

ПОСЛАНИЕ К ВАСЬКОВУ

Публикуется впервые по автографу, находящемуся в «Книге для всякой всячины» (Л. Б., ГАИС III, VII/I, л. 34). Написано, повидимому, в первой половине 20-х гг.

РОЗА И ПЧЕЛА

Впервые: «Труды Общества любителей российской словесности», 1822, ч. 1, стр. 178—180, за подписью: *С. Аксаков.*

8-Я САТИРА БУАЛО «НА ЧЕЛОВЕКА»

Это вольный перевод, а местами даже переделка «на русские нравы» сатиры Буало (см. вступительную статью к т. 1 наст. изд., стр. 28). Она публиковалась Аксаковым отдельными отрывками и никогда до сих пор не перепечатывалась.

Отрывок I был опубликован в «Трудах Общества любителей российской словесности», 1824, ч. 4, стр. 256—261, за подписью: *Аксаков;* отрывки II и IV — в «Московском вестнике», 1829, ч. I, стр. 183—187, за подписью: *А*, и датированы 1823 г.; отрывок III — в «Трудах Общества любителей российской словесности», 1828, ч. 7, стр. 155—158, за подписью: *С. Аксаков*, и помечен датой: «1823 год, в марте».

Этот отрывок был сопровожден подстрочным примечанием Аксакова: «Вся сатира есть разговор ученого профессора и сатирика. Последний описывал пагубные действия воинского искусства. Ученый возражает».

Стр. 657. *Фарос* — небольшой островок в дельте Нила, знаменитый своим маяком; это слово стало нарицательным обозначением маяка.

Стр. 659. *И нищие <и поп> и мастер гробовой.* — В тексте «Московского вестника» слова «и поп» отсутствуют. Они появились в четвертом томе Полн. собр. соч. С. Т. Аксакова (СПБ. 1886), которое выходило под наблюдением И. С. Аксакова, вероятно восстановившего цензурную купюру. Предположение, что здесь имела место купюра, подтверждается тем, что отсутствие указанных слов явно нарушает строгий размер стихотворения.

ПОСЛАНИЕ К БРАТУ (ОБ ОХОТЕ)

Не полностью впервые напечатано в «Письмах С. Т., К. С. и И. С. Аксаковых к И. С. Тургеневу» («Русское обозрение», 1894, № 11, стр. 19—21).

Это стихотворение было написано Аксаковым в форме послания к брату Аркадию Тимофеевичу. Несколько десятилетий спустя автор вспомнил свое давнишнее послание и в письме к И. С. Тургеневу от 22 августа 1854 г. процитировал его, сопроводив следующим комментарием: «Мне пришла фантазия послать вам послание мое к брату, писанное около 37 лет тому назад; я отрубил ему голову и хвост. Стихи, конечно, несовременные, но иное схвачено верно и вам, как охотнику, может быть приятно» («Русское обозрение», 1894, № 11, стр. 21). «Около 37 лет тому назад» — значит, Аксакову казалось, что стихотворение было написано около 1817 г. Между тем в сохранившейся рукописной копии стихотворения стоит дата, представляющаяся нам более вероятной: «Надежино, 1823, сентябрь» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 11, д. № 1).

Тургенев, прочитав стихотворение Аксакова, согласился с его оценкой: «Стихи ваши хотя и старой фактуры, как вы говорите, но исполнены жизни» («Вестник Европы», 1894, № 2, стр. 488).

Текст стихотворения печатаем по указанной выше рукописной копии, в которой сохранились первые двадцать строк, «отрубленные» Аксаковым в письме к Тургеневу.

ОСЕНЬ

Публикуется впервые, по копии, написанной рукой Ольги Григорьевны Аксаковой — внучки писателя (ИРЛИ, ф. 3, оп. 11, д. № 1, лл. 3—7).

В копии этого стихотворения имеется следующая приписка: «В случае если стихи С. Т. войдут в полное издание собрания сочинений С. Т. Аксакова, то покорнейше прошу напечатать этот P. S. <см. в наст. томе, стр. 667> и в виде замечания прибавить, что С. Т. никогда не считал себя хорошим стихотворцем, хотя и был поэтом в душе и один из первых оценил Пушкина. Внук С. Т. Аксакова *Сергей Аксаков*».

РЫБАЧЬЕ ГОРЕ

Впервые: «Московский вестник», 1829, ч. I, стр. 149—155, за подписью: *С. Аксаков.*

ПОСЛАНИЕ В ДЕРЕВНЮ
(К А. Т. Аксакову)

Впервые напечатано: «Телескоп», 1831, ч. III, № 11, стр. 300—303, за подписью: *С. А—в.*

Это стихотворение Аксакова, представляющее определенный автобиографический интерес, оказалось затерянным в журнале, никогда не перепечатывалось и не зарегистрировано в аксаковской библиографии.

Стихотворение это, повидимому, нравилось самому автору. 12 мая 1830 г. он в письме к Шевыреву процитировал третью строфу стихотворения и заметил: «Вот вам и стихи, мой возлюбленный. Весною так стало грустно мне по деревне, что я написал строф десяток и одну вам сообщил» («Русский архив», 1878, кн. II, № 5, стр. 52). Аксаков снова вспомнил об этом стихотворении два с половиной десятилетия спустя и процитировал две строфы из него (четвертую и пятую) в «Семейной хронике» (наст. изд., т. 1, стр. 83).

СТАНСЫ

Впервые опубликовано в кн. Н. Пахомова «Абрамцево. Музей-усадьба АН СССР» («Московский рабочий, 1953, стр. 32—33). Вторая строка «Стансов» звучит в этой первой публикации так:

«Перенести судьбы неправость». Между тем у Аксакова речь идет не о «судьбе», а о «царе»: «Перенести царя неправость». Текст стихотворения, напечатанный Н. Пахомовым, взят из семейного аксаковского альбома, датированного 1847 г. и хранящегося в музее «Абрамцево». Мы же воспроизводим текст, относящийся к более позднему времени, — к 1857 г. Это запись в другом семейном альбоме, сделанная рукой одной из дочерей писателя и подписанная С. Т. Аксаковым (ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 2, д. № 3, лл. 9—9 об.).

Стихотворение это было написано в связи с «высочайшим повелением» об освобождении Аксакова от должности цензора (см. вступительную статью к т. 1 наст. Собр. соч., стр. 32).

К ГРИШЕ

Публикуется впервые, по тексту аксаковского альбома «Семейные стихотворения, писанные на разные случаи до 1841 года. Москва, Аксаковых», хранящегося в ИРЛИ, ф. 3, оп. 11, д. № 2, л. 7.

«ПОВЕРЬТЕ, БОЛЬШЕ НЕТ МУЧЕНЬЯ...»

Публикуется впервые, по тексту альбома «Семейные стихотворения» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 11, д. № 2, лл. 10—10 об.).

Приближавшаяся старость лишала С. Т. Аксакова возможности часто ездить в свое далекое поместье в Оренбургском крае. Возникла мысль о приобретении небольшого имения в Подмосковье. Публикуемые стихи отразили настроения писателя, связанные с поисками этого имения в 1843 г.

«СПЛЫВАЙТЕСЯ ТИХО...»

Публикуется впервые, по тексту альбома «Семейные стихотворения» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 11, д. № 2, л. 13).

«ВОТ, НАКОНЕЦ, ЗА ВСЕ ТЕРПЕНЬЕ...»

Впервые опубликовано в кн. Н. В. Поленовой «Амбрамцево. Воспоминания» (М. 1922, стр 6) Печатаем по тексту альбома «Семейные стихотворения» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 11, д. № 2, лл. 11—11 об.).

После долгих поисков С. Т. Аксаков остановился, наконец, на Абрамцеве, которое и купил в 1843 г. До конца своей жизни писатель проводил большую часть времени в этой своей подмосковной (см. кн. Н. Пахомова «Абрамцево», «Московский рабочий», 1953).

К МАРИХЕН

Публикуется впервые, по тексту альбома «Семейные стихотворения» (ИРЛИ, ф. 3, оп 11, д. № 3, лл. 16—16 об.). Стихотворение это относится, повидимому, к 1845 г.

«РЫБАК, РЫБАК, СУРОВ ТВОЙ РОК...»

Публикуется впервые, по автографу (ЦГАЛИ, ф. 139, оп. I, д. № 47, л. 40 об.). Автограф представляет собой черновой карандашный набросок, сделанный С. Т. Аксаковым на обороте черновика письма к Гоголю, датированного 26 июля 1847 г. К этому же времени, повидимому, относится и данное стихотворение.

ПОСЛАНИЕ К М. А. ДМИТРИЕВУ

Публикуется целиком впервые, по тексту альбома «Семейные стихотворения» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 11, д. № 2, лл. 18 об.—20).

Последние одиннадцать строк этого стихотворения С. Т. Аксаков хотел предпослать в качестве эпиграфа ко второму изданию «Записок ружейного охотника» (М. 1852), но московская цензура не пропустила эпиграфа. По этому поводу Аксаков жаловался Тургеневу в письме от 29 октября 1852 г. («Русское обозрение», 1894, № 8, стр. 484). Как теперь выясняется, цензуре показались предосудительными содержавшиеся в отрывке две строчки: «Ухожу я в мир природы, в мир спокойствия, свободы». Два года спустя этот стихотворный отрывок был использован Аксаковым в качестве эпиграфа ко второму изданию «Записок об уженье рыбы» (М. 1854).

Стр. 685. Дмитриев писал ко мне три раза стихи, и я обещал... — Одно из этих стихотворных посланий к С. Т. Аксакову опубликовано в сборнике М. Дмитриева «Стихотворения» (ч. 1, М. 1865, стр. 225—235).

ПЛАЧ ДУХА БЕРЕЗЫ

Впервые опубликовано в книге Н. В. Поленовой «Абрамцево. Воспоминания» (М. 1922, стр. 14). Печатаем по копии, сделанной рукой И. С. Аксакова и хранящейся в музее «Абрамцево» (шифр: Рук. 8). Имеется еще список этого стихотворения в альбоме «Семейные стихотворения» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 11, д. № 2, лл. 20 об. — 22).

В тексте абрамцевской копии имеется сноска, сделанная неизвестной рукой: «Эта береза, заслонявшая вид на Хотьковскую дорогу с балкона, была срублена по распоряжению дочерей С. Тимофеевича».

ШЕСТИЛЕТНЕЙ ОЛЕ

Факсимиле стихотворения (автографа) приведено в юбилейном издании «Детских годов Багрова-внука» (СПБ. 1891). Печатаем по этому тексту.

Это шуточное стихотворение представляет несомненный автобиографический интерес. Оно фиксирует возникновение у Аксакова замысла книги для детей, который несколько лет спустя был воплощен в «Детских годах», вышедших, как известно, с посвящением внучке, Ольге Григорьевне Аксаковой.

31 ОКТЯБРЯ 1856 ГОДА

Впервые опубликовано в «Журнале охоты», 1858, т. 1, № 1, стр. 10, за подписью: *С. Аксаков.* По крайне неисправному тексту напечатано в газете «Новое время. Иллюстрированное приложение», 1909, № 11902. Имеется несколько списков этого стихотворения с существенными разночтениями. Печатаем по тексту «Журнала охоты».

17 ОКТЯБРЯ
(*А. Н. Майкову*)

Впервые опубликовано в «Журнале охоты», 1858, т. 1, № 2, стр. 139—141, за подписью: *С. Аксаков.* Впоследствии, посмертно, несколько раз воспроизводилось по различным спискам, существенно между собой отличающимся. Печатаем по тексту «Журнала охоты». В пятьдесят первом стихе исправляем по рукописной копии в альбоме «Семейные стихотворения» опечатку: «Что знаем мы?» (ИРЛИ, ф. 3, оп. 11, д. № 2, л. 42). В фондах ИРЛИ хранится еще одна рукописная копия (ИРЛИ, 16. 469/с IV 6. 19)

этого стихотворения, правленная рукой С. Т. Аксакова и подписанная им. Стихотворение здесь озаглавлено: «Октября 16-го 1857 г. (Посвящается А. Н. Майкову.)» В этой копии имеются и некоторые другие разночтения с печатным текстом.

Это стихотворение было прислано автором в 1857 г. А. Н. Майкову в ответ на посвящение им своего стихотворения «Рыбная ловля» С. Т. Аксакову, некоторым другим литераторам «и всем понимающим дело».

В рукописном списке стихотворения, хранящемся в музее «Абрамцево» (шифр: Рук. 8), имеется примечание, сделанное рукой Ивана Аксакова: «Это стихотворение было также написано перед переездом из Абрамцева в Москву на зиму, но С. Тим. более уже не вернулся в Абрамцево. Захворав осенью еще в деревне, он проболел всю зиму, летом 1858 г. вынужден был жить в Петровском парке, чтоб быть поближе к доктору, а 30 апреля 1859 г. он скончался. Таким образом, эти стихи — его последнее прощание с любимым Абрамцевым, исполненное грустных предчувствий»

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН[1]

[1] Указатель составлен А. В. Вансловой.

СОДЕРЖАНИЕ[1]

ВОСПОМИНАНИЯ

СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ, ЗАМЕТКИ

[1] Одной звездочкой обозначены произведения, впервые включаемые в Собрание сочинений С. Т. Аксакова; двумя звездочками — впервые публикуемые, а также те, в отношении которых впервые устанавливается авторство С. Т. Аксакова.

---

[1] В этом стихотворении впервые вводится в Собрание сочинений лишь первая часть.

[2] Впервые публикуется лишь первая часть этого стихотворения.

АКСАКОВ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Собрание сочинений, т. 3

Редактор А. Ванслова
Оформление художника А. Ахметьева
Художественный редактор К. Буров
Технический редактор В. Гриненко
Корректор Р. Гольденберг

*

Сдано в набор 9/I 1956 г.
Подписано к печати 30/III 1956 г. А 04224.
Бумага 84×108¹/₃₂ — 50,75 печ. л. = 41,61 усл.
печ. л. 37,97 уч.-изд. л. + 1 вкл. = 38,02 л.
Тираж 150 000. Зак. 943. Цена 11 р. 50 к.

Гослитиздат,
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической
промышленности.
4-я тип. им. Евг. Соколовой.
Ленинград, Измайловский пр., 29.